



ГОСУДАРЬ
РУСИ ВЕЛИКОЙ

А.ШАРДИН

РОД КНЯЗЕЙ
ЗАЦЕПИНЫХ,
ИЛИ ВРЕМЯ
СТРАСТЕЙ
И КАЗНЕЙ



Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней //Современник,
Москва, 1995
ISBN: 5-270-01854-3
FB2: , 10.09.2018, version 1.0
UUID: C66DE321-9FDE-4E1B-9CC9-019333528DAE
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Петр Петрович Сухонин

Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней (Государя Руси Великой)

А. Шардин — псевдоним русского беллетриста Петра Петровича Сухонина (1821—1884) который, проиграв своё большое состояние в карты, стал управляющим имения в Павловске. Его перу принадлежат несколько крупных исторических романов: «Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы», «На рубеже столетий» и другие.

Настоящее издание является первым после 1883 года. В романе на богатом фактическом материале через восприятие князей Зацепиных, прямых потомков Рюрика, показана дворцовая жизнь, полная интриг, страстей, переворотов, от регентства герцога Курляндского Бирона, фаворита императрицы Анны Иоанновны и правительницы России при малолетнем императоре Иване IV Анны Леопольдовны до возведённой на престол гвардией Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого, ставшей с 1741 года российской императрицей. Здесь же представлена совсем ещё юная великая княгиня Екатерина, в будущем Екатерина Великая.

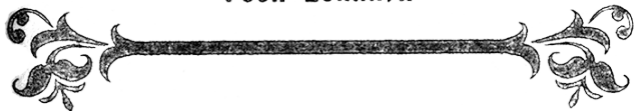
Содержание

#1	0007
Часть первая	0007
I Петербург	0007
II Русский помещик первой половины восемнадцатого века	0036
III Против силы	0072
IV Князя Зацепины	0131
V Рукопись монаха	0159
VI Дядя и племянник	0208
VII Русский петиметр	0240
Часть вторая	0290
I Леклер	0290
II Влиятельные типы прошлого века	0309
III Двор цесаревны Елизаветы	0351
IV Маркиз Шетарди	0386
V Бал в посольстве	0413
VI Другой мир — другие люди	0434
VII Что съедено и выпито, то наше	0455
VIII Старики шалуны	0483
IX Капитал	0504
X Шуты	0538
XI Не бойся!	0556
XII Баритон	0579
XIII Бирон в политике	0598
Часть третья	0630

I Медвежья охота	0630
II Гедвига	0682
III Граф Линар	0729
IV Отъезд	0776
V Остерман	0809
VI Последователь философии пантеизма .	0836
VII Две смерти	0883
VIII Решилась	0941
IX Переворот	0983
Часть четвёртая	1000
I Новое царствование	1000
II Генерал-бас	1054
III Опять Гедвига	1089
IV В милости	1118
V Барон Черкасов	1157
VI Зацепинск	1189
VII Подкопы	1211
VIII Опасность соединяет врагов	1268
IX Борьба начал	1312
X Схима	1370

Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней

ГОСУДАРИ
РУСИ ВЕЛИКОЙ



А.ШАРДИН



РОД КНЯЗЕЙ
ЗАЦЕПИНЫХ,
ИЛИ ВРЕМЯ
СТРАСТЕЙ
И КАЗНЕЙ

Часть первая

I

Петербург

В половине марта 1740 года по Аничковой Слободе, среди слякоти и грязи, ехали одна за другой три тяжело нагруженные кибитки, запряжённые каждая тройкой хорошо откормленных лошадей. Передняя кибитка была с кожаным верхом, с особым сиденьем для возницы и с запятками для выездного, вообще, хорошо прибранная. Другие кибитки были обиты просто рогожей. В первой кибитке среди пуховых подушек и ковров, на перине сидел наглухо завёрнутый в овчинное, крытое сукном одеяло молодой человек в лисьей шубе, невысокой собольей шапке и валяных сапогах. Он уткнул голову в подушку и, казалось, дремал. Подле кибитки с правой стороны шёл возчик[1], в малахае из волчьего меха, в овчинном тулупе, сверх которого был надет тёмно-синий армяк, и в замшевых рука-

вицах, подбитых заячьим мехом; с левой — шёл выездной, в таком же тулупе и рукавицах, а вместо армяка на нём была надета тёплая епанча с воротником из крашеной лисицы. Он был в татарской шапке, опушённой собачьим мехом.

За этой кибиткой ехала другая, без особого сиденья для возницы, или возчика, а просто с перекинутой через неё и прибитой к облучку доской. Она была наполнена огромным количеством сундуков, чемоданов, ящичков и кульков, между которыми кое-как примостился мальчик лет тринадцати, дрожавший от холода, потому что был в одном только суконном зипуне и с голой шеей.

Подле мальчика сидел старик лет шестидесяти, с чисто выбритым и хмурым лицом, старик пасмурный и сердитый. Он был одет в овчинный, ничем не покрытый тулуп, подпоясанный казанским ремнём; за который был заткнут большой и широкий татарский нож, в высокие валенки и тоже татарскую шапку; шея его была обмотана красным немецким шарфом. Подле кибитки шёл только возчик. Последняя кибитка ехала без возницы, ею

правил сам ехавший в ней седок, малый лет двадцати семи, здоровенный как бык, с красными щеками и белокуроыми волосами. Он был тоже только в армяке и помещался между кулями овса и разными припасами, находившимися в бочонках, корзинках, связках, бадьях и всякой другой посуде, предназначенными для дальнего переезда.

Караван, выехав из Московской ямской слободы, повернул уже на Невскую перспективу, въехал на деревянный настил, который, вместо мостовой, тянулся от самой охтинской дороги вплоть до моста между деревьями, насаженными ещё Петром, — проехал Вшивую биржу, где стояло несколько чухонских саней и толпился народ, миновал шорные ряды, называвшиеся тогда казанскими, так как в них преимущественно продавались сыромятные кожи, мыло и другие казанские товары, — ряды грязные до невероятности.

Караван шёл шагом, медленно продвигаясь вперёд и звеня колокольцем передней кибитки и бубенчиками задних.

По обеим сторонам дороги тянулись маленькие домики, большею частью деревян-

ные, с мезонинами и вышками, между которыми стояли заборы и лежали неогороженные пустыри; чуть не на каждом шагу встречались кабаки, харчевни, постоялые и заезжие дома. Кабаки было легко узнать по воткнутым над входом и по сторонам ёлкам, а харчевни, постоялые и заезжие дома — по выступающему на улицу крытому крылечку со скамьями для посетителей, а также по большому навесу вокруг двора. Впрочем, на некоторых из харчевен были вывески с нарисованными на них калачом, штофом водки и блюдом, на котором красовались не то пряженцы, не то булыжник, долженствующий обозначать подаваемое в харчевне съедомое. Постоялые и заезжие дома отличались, кроме того, ещё более или менее замысловатой надписью вроде: «Выпей и закуси!», или «Милости просим!», или просто лаконичным: «Заходи!».

Проехали чистенькую нарышкинскую дачу; из-за низеньких домиков и деревьев, обнажённых от листвы, справа показались роскошные палаты ныне покойного генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шере-

метева; а слева потянулась берёзовая рошица, из-за которой виднелось Троицкое подворье, а за ним расстился сад бывшего провиантского чиновника Обольянинова, с пестро раскрашенным забором, глиняным филином на воротах и золочёным купидоном на дворе.

Вскоре караван въехал на небольшую площадку перед узеньким деревянным мостиком, выкрашенным коричневой краской. За этим мостиком белелась знаменитая Аничкова усадьба, с пристройками, службами, хозяйственными учреждениями, садом и обширным двором, на котором летом ходили коровы. Почти напротив этой усадьбы красовалась дача Румянцева[2], с каменными львами у подъезда. Дача эта, составлявшая прежде часть Аничковой усадьбы и данная Аничковым в приданое за дочь, долго была заколочена, так как владелец её генерал-аншеф Александр Иванович Румянцев был в немилости и сперва, в виде ссылки, был назначен командующим гилянским отрядом, а потом жил в своих деревнях. Жена его, графиня Марья Андреевна[3], урождённая Матвеева, за которою и была дана эта дача от её матери, урождён-

ной Аничковой, с мужем не разлучалась и здесь не жила. Теперь, впрочем, они вернулись. Бирон хотел дать Румянцеву случай вновь войти в милость и назначил его в комиссию суда над Волынским, так как желал, чтобы комиссия эта состояла исключительно из русских, но таких, которые действовали бы на руку Бирону.

Проехав эту дачу[4], каравану пришлось остановиться перед прикрытой рогатками и защищённой шлагбаумом заставой.

Пока из второй кибитки вылезал хмурый старик, пока он искал караулку и прописывал там нужные бумаги, седок передней кибитки поднялся и огляделся кругом. Это был молодой человек, с ясным и глубоким взглядом из-под длинных ресниц. Едва начинавшиеся пробиваться на верхней губе усы, высокий лоб, русые волосы и сильно развитые мускулы обозначали его молодость и здоровье. Тонкие чёрные брови его почти сходились между собою на переносице, такие брови называли тогда союзными. Выражение лица было замечательно гордо и насмешливо. В общем, нельзя было сказать, чтобы он был некрасив, но в его

насмешливой улыбке было столько пренебрежения, а пронизательный и упорно устремлённый взгляд его серых глаз был так резок, что, думалось, не скоро он встретит такого, кто захотел бы сойтись с ним, ему ввериться, признать в нём товарища и друга. Взглянув на него, всякий подумал бы: «Эге! Да это из молодых, да ранний! Этот, несмотря на свою молодость, не разнежничается перед чужим горем, не накормит голодного... Правда, зато, надо полагать, если он что скажет, то на его слово можно положиться, но ведь лишнего-то он ничего и не скажет!...»

Вглядываясь в молодого человека пристальнее, нельзя было не прийти к такому заключению, что он ценит себя чересчур высоко, чересчур много думает о своих достоинствах и не умеет ценить достоинств других. Если он твёрд в слове, не притязателен, щедр, то не от доброты к другим, а от внутренней гордости. Разумеется, всё это могли говорить мужчины; другое, вероятно, думали о молодом человеке женщины. Но в то время он находился ещё совершенно вне женского влияния и с насмешкой глядел на всё, на чём оста-

навливался его взгляд.

«И это столица! — думал он. — Наш Зацепинск не в пример красивее. По крайности, грязи такой нет! А это что? Ни церкви Божией, ни здания какого! Хоть бы ворота-то городские как следует сделали. Просто ни на что не похоже!»

Пока он рассуждал таким образом, а возница, опустив вожжи, зевал на проходивший народ, к каравану подошла женщина.

— Елпидифор, ты ли это? — спросила она, вглядываясь пристально в возчика.

Елпидифор встрепенулся. Перед ним стояла женщина, лет уже за сорок, повязанная тёмным платком, в тёмной, на заячьем меху, душегрейке, в тёмной же исподнице, как называли тогда юбку, и в валяных чёрных котлах, подшитых кожей.

— Что глядишь, али не признал? — улыбаясь, спросила она.

Елпидифор вглядывался.

— Нет, будто бы и знакомая, а признать никак не могу!

— А забыл Фёклу?

— Фёкла Яковлевна, матушка! — радостно

вскрикнул Елпидифор. — Да как же ты, голу-бушка, постарела! Никак бы не узнал!

— Да времени-то прошло немало! Вот уж годов больше пятнадцати, как я тут, в Питере, маюсь. А всё я тебя сразу признала! Нельзя, впрочем, сказать, чтобы ты очень переменялся! Бороду-то небось бреешь, а?

— Брею, матушка! Такая напасть на меня нашла! Трифон Савельич, приказчик-то наш, ни с того ни с сего чуть не кажинный день вздумал меня в город посылать, говорит — князь велел! Ну, тут, знаешь сама, много не наговоришь! А в город с бородой не пускают; говорят, давай алтын на въезд и на выезд! Заплатил раз, другой, — надоело, поневоле обрился! Не то я, — вот увидишь, Парамон Михайлович и тот обрился, вот что! Да как часто в город-то ездить приходится, так поневоле...

— Пожалели денег, а души своей не пожалели! Эх, грехи, грехи! — Фёкла Яковлевна тяжело вздохнула.

— И рады бы не жалеть, да откуда взять-то? Ведь нонче не прежние времена, когда жили словно у Христа за пазухой! Всё поборы

да налоги, всё стало дорого; хоть в могилу ложись, да и за ту платить надо! А о старой-то вере нонче у нас, почитай, и в помине нет!

— Ишь ты! А говорили, что князь новшеств не любит, так старину держать будет!

— Он и держит старину, да не по вере, а так, по своим обычаям! По вере же он настоящий никоновец! Приезжал тут к нам воевода, на поклон к князю нашему зашёл да и говорит, что у нас беспоповщина пошла, а он прямо как есть наотрез: вздор, говорит, — никаких эдаких расколов у меня нет! Все держатся православного обычая: в церковь по старине ходят и в церкви Божией венчаются, всех один поп венчает. Да в тот же день велел всех девок и подростков перевенчать. Так тут много не наговоришь; пожалуй, не то бороде, голове рад не будешь!

— Так-то оно так! Люди подневольные! А всё бы, кажись... С чем вы сюда?

— А вот, видишь, княжича везём!

— Какого это? Не того ли, что при мне ещё Параньку к нему в мамки определили?

— Того самого, матушка; а теперь, видишь, вырос!

— Господи, господи, время-то как идёт! Что же, на службу, что ли, надумались? Старый-то князь ведь куда! Как потребовали княжичей на службу, так руками и ногами! Ни в жизнь не хотел отдавать!

— Да и этот не больно лез, только бог его знает, что с ним сделалось! А впрочем, по правде сказать, и не знаю зачем! Призвали, — говорят, с молодым князем едешь, ну и дело с концом! Трифон Савельич обещал через год мне на смену Фильку, фурлетора, прислать, говорит, в год приучит, а бог его знает, сдержит ли обещание!

— Кто же ещё с вами?

— Из старых один Парамон Михайлович, дворецким и дядькой при княжиче состоять будет, да я возницей, или, по-новому, кучером, а то все молодые: Фёдор Сохатый, при тебе совсем ещё мальчишкой был, да мне в помощь и вообще для чёрных работ взят из Зубиловки, тоже молодой, Кирилл Гвозделом! Ну, ещё казачок; помнишь кривого Ермилку, от него взяли! А Селифонт — не знаю, помнишь ли его, кажись, в ученье был, как ты уехала, — так тот на паре домой поедет! С на-

ми-то только семь лошадей останется. Ну, а сказано, что если ещё что нужно будет, повар, что ли, или конюх другой, или какая там женская прислуга, так, когда устроимся, Парамон Михайлович отписал бы, вышлют! Да ты о себе-то расскажи, голубушка Фёкла Яковлевна! Что ты здесь и как! Здорова ли?

— Да ничего. Вот как был жив-то мой Маркел Иванович, так Бога гневить было нечего, жили хорошо! Хоть и староват был и выпить любил, но, сам знаешь, какой он был досужий да рабочий человек! Ну и то, наших-то здесь нашлось много, а свой своему поневоле друг, выбрали его в десятники, а потом по хозяйской части стали употреблять, купить нужно что али заготовить, всё это он! Жить и было чем! А как помер-то, так и впроголодь подчас насидишься! Ну, а всё живу и хлеб жую: где постираю, где поворожу, а где и посватаю. Купцы меня любят, да и наших здесь довольно развелось, в молельщицы выбрали, поддерживают тоже по усердию, так оно и нельзя сказать, чтобы совсем с голоду умирала!

— А Маркел Иванович побывшился, значит? Царствие ему небесное! Усердный рев-

нитель церковный и слуга Божий был, только выпить любил, не тем будь помянут покойник... — Елпидифор перекрестился и посмотрел на Фёклу Яковлевну ласково. — Ну, да и боялся же я его, что греха таить, взглянуть не смел! Сердитый он такой был, не приведи бог попасть под его руку!

— Не больно, знать, боялся, когда молодую жену целовать, да ласкать приходил, да за печкой в каморке прятался, пока тот заснёт с похмелья!

— Молод был! Да и то: был, говорят, молодцу не укора; оченно уж и ты хороша была, Фёкла Яковлевна! Такая была красавица, что другой такой нонче, кажись, и нет! Всё бы на тебя глядел, да не нагяделся. К тому же ты начётчица была, умница! Недаром тогда, как последний поп-то наш умер, тебя враз всем миром молельщицей выбрали. Как ты-то уехала, так всё у нас вверх дном пошло, всё и распадаться начало. Хоть бы про себя скажу: я чуть с ума не сошёл, года три просто как шальной ходил! Любил-то тебя уж оченно!

— Да и я тоже помоложе была, хоть и годилась тебе чуть не в матери. Тебе тогда, думаю,

и двадцати не было, ну а я была баба в полном соку! Муж старый, выпить любил, а тут тебя по молельне мне сподручником сделали. Всё вместе да вместе... как тут не быть греху! Поневоле и я по тебе поскучала. Ну да как быть! Вот Бог привёл свидеться! Ты по старой памяти заходи ко мне. Меня не забывают добрые люди; сходимся и тоже иногда кое-что почитаем! Я тебя и в молельню нашу сведу. Уставщиком у нас Ермил Карпыч; из купцов он, богач большой, да это ничего, такой начётчик, что не приведи господи! Самого Андрея Денисыча за пояс бы заткнул, коли бы тот жив был. А я молельщицей, как и у нас была, только теперь не то, теперь у нас не только что молитва, но и раденье. Придёшь — увидишь! И я радею; знаешь, на сиротский зуб всё что-нибудь перепадёт!

Оба замолчали. Кирилл Гвозделом вышел из задней кибитки и стал что-то расспрашивать махального. Мальчишка тоже выполз на божий свет и начал скакать, чтобы согреться.

— Ну что, озаконился? — спросила Фёкла Елпидифора как-то глухо.

— Как же, женили! Знаешь Марфутку, Па-

расковьину дочку, при тебе ещё девчонкой была, так на ней!

— И детки есть?

— Есть! Старшему-то десять лет минуло. В прошлом году в Москву хотели в шорники отправлять, да отмолил на год.

— Да! Время идёт! Я вот старухой сделаться успела, а ты, нечего сказать, всё ещё бравый молодец. Приходи же; посмотришь, послушаешь, может, и опять бороду отрастить захочешь!

— Как не прийти, голубушка! Уж одно, что старое помянем, так и то радость! Я хоть душу-то отведу, голубушка, право! А у тебя, Фёкла Яковлевна, детей нет?

— Нет и не было! Бог не благословил! От того ли, что Маркел Иваныч, покойный, старенек для меня был или от того, что из-за живого мужа с тобой, проходимцем эдаким, гуляла, а может, и так воля Божия, только никогда и не было.

В это время Парамон Михайлович вынес бумаги, шлагбаум приподнялся, возчик, или кучер, должен был подвязать колоколец и взяться за вожжи.

— Ну-ну, голубчики, вытягивай! — машинально крикнул он, и караван тронулся.

— Так это-то Парамон Михайлович? — спросила Фёкла. — Батюшки, без бороды-то он какой страшный стал! И дома-то я его недолюбливала, когда он ещё человеком ходил; а теперь-то, когда он в кикимору какую-то оборотился, я уж и не знаю...

В это время Парамон Михайлович проходил мимо.

— Парамон Михайлыч! — заискивающим голосом сказала Фёкла.

Тот оглянулся и всмотрелся.

— А, Фёкла! — сказал он хмуро. — Тебя ещё с твоим Маркелкой черти-то не унесли? Ишь, как сморщилась! — прибавил он потом в виде любезности и сел в свою кибитку.

«Тебе бы дорогу показать, проклятый, — сказала про себя Фёкла, когда тот уже отошёл. — Видишь, как ругается! И слова-то у них христианского, как и лика человеческого, нет, прости Господи!..»

Караван тронулся. Фёкла Яковлевна шла подле Елпидифора. Мальчишка выпросил у Кирилла дозволения править лошадью и сел

в заднюю кибитку. Кирилл шёл рядом с Фёдором.

— Куда вы пристать-то надумались? — спросила Фёкла.

— Да к дяденьке; к нему на двор прямо велели ехать и от него уж ждать распорядка! Ты тут старожилка, Фёкла Яковлевна, верно, знаешь, скажи, где зацепинский-то двор?

— Как не знать! Ведь что ни говори, а всё-таки свой! Захожу иногда, хоть и не люблю, признаться! Там всё как-то не по-русскому, всё по моде; да ведь мне что? Стоит он, как бы тебе сказать, подле дворцовых портомойных плотов. Вот поезжай Невской-то перспективой всё прямо. Липы по бокам посажены, так не собьёшься. Проедешь, сударь мой, ты этак ряды, то есть не ряды, а так, будки понаставлены, красным товаром торгуют; затем церковь Рождества, а потом будет роцца; тут большой дом строить хотят, увидишь — шесты наставлены, так напротив этих самых шестов, проезжая немецкую кирку, стоит полицейский дом, где часовые стоят. Дом-от на речку выходит, Меей зовётся. Через речку от него ко дворцу мост построен, Зелёным назвали, и в

самом деле зелёной краской выкрашен. Ты на мост-от не въезжай, а, проезжая полицейский дом[5], повороти направо, прямо по речке. За полицейским-то домом будет другой дом, красивый такой, это дом князя Волконского; за ним — дворцовый прачечный дом, против которого большие портомойные плоты стоят; а за ним сейчас же и зацепинский двор. Выходит он на речку одними флигелями; забор между ними немудрый сделан, а ворота каменные и на верях-то каменные же львы посажены. Дом стоит на дворе и глядит таково редкостно. Кругом болваны да столбы поставлены, а за ним сад идёт сквозь на самую улицу, что к конюшенному двору выходит. Сказать нечего, хороший дом! Да вот я с тобой пойду, так покажу, а мимо поедем, так укажу кстати, где и моя каморка!

На улице между тем начали попадаться экипажи, и чем караван продвигался далее, тем разнообразнее и богаче. Молодой человек с невольным любопытством следил за этими колымагами цугом, на шести, даже на восьми лошадях, за этими линейками, фаэтонами, раскидными каретами, — саней уже мало бы-

ло, — снующими взад и вперёд, в сопровождении вершников, гайдуков, скороходов, егерей и всякого рода прислуги. Смотря на эту суету, на этот блеск, для него совершенно новый, он невольно думал о своём дяде.

«И он, пожалуй, в такой же колымаге ездит, и тоже с скороходами и верховыми. А какой он, желал бы я угадать! Неужели он ходит таким же куцым, как эти бегуны, или хотя бы как зацепинский воевода? Вот смешно-то! Мой почтенный дядя, князь Зацепин, и вдруг — в чулочках, башмачках, с обтянутыми ногами, в обгрызанном кафтане, бритый, да ещё в парике! Помоги Бог не расхохотаться! Матушки, какая там барыня катит! На голове-то у неё будто капуста выросла и цветы! А раззолоченная развалка эта хороша, нечего сказать! И скороходы, и вершники, красиво выходит! Зато здесь больше ничего хорошего нет!»

Караван ехал в это время мимо немецкой кирки, подъезжая к полицейскому дому. Елпидифор рассказывал Фёкле о своей свадьбе:

— Сам Трифон Савельич вдруг приходит...

— Неужто сам?

— Так-таки сам и пришёл, прямо на конюшню! Я, помню, Соловья чистил. А он прямо: «Что ты это, Елпидифор, у меня девок смущать задумал? Говоришь, что в царицынских скитах и все без венцов живут?» — «Я, сударь, — говорю, — их не смущал, а сказал только, что коли поп не поп, так всё равно и венец не в венец будет». — «Да ты мне зубы-то не заговаривай, — закричал он, — говори дело! А то, смотри, сведу к князю, пожалуй, в застенке разговаривать придётся! Ты говорил Парасковьиной дочери, что в прежние поры всегда у вод да у огня свадьбы спорились?»

— Что ж ты? — спросила Фёкла.

— Да что мне говорить-то было; я смолчал, а он велел Марфутку позвать и Моргача потребовал да велел розог принести. Та как увидела розги-то, да взглянула на Моргача, а тот стоит жёсткий такой, пучок розог в руках держит и им помахивает, словно с родного отца с живого кожу спустить готов, — ну, разумеется, спужалась и рассказала всё.

— Что же он?

— Известно, рассерчал! «Ишь ты какую за-

тею выдумал, а? А по чём же князь тяглы-то считать будет, ты об этом подумал ли, а?» И велел меня сейчас же отстегать! Ну, а на другой день и окрутили. Она баба добрая, нечего сказать, а всё бы, кажется... Ну, после за нашими-то начали туго смотреть, всех и перевели!

Фёдор между тем пояснял Гвозделому, что вот тут, за мостом прямо, стоит зимний дворец[6], не настоящий, настоящий-то на Неве строить хотят, а летний, хоть и деревянный, но не в пример красивее; а это, за рощей, дом графа Апраксина, потом палаты графа Головкина[7]. В этих палатах он кухонным мальчишкой жил. А дальше-то дом его зятя, Ягужинского Павла Ивановича, — генерал отважный и развесёлый был такой; хоть сама царица тут будь, так он и той зубы заговаривать начал бы, да вот умер, что ты тут станешь делать?

В это время караван, не переезжая моста, называвшегося Зелёным и выкрашенного, в самом деле, зелёной краской, начал, по указанию Фёклы, поворачивать вправо вдоль по набережной речки Меи, чтобы ехать к дому,

который находился на месте, где теперь помещается известный ресторан фирмы «Донон».

Навстречу каравану с моста неслась карета шестерней, с двумя форейторами, вершиником, двумя выездными на запятках и двумя скороходами с боков.

— Пади! Пади! — кричали форейторы.

— Берегись! Берегись! — кричали скороходы, несясь во всю прыть.

Но Елпидифор, увлѣкшись разговором, не поостерѣлся и хотя успел отдѣрнуть несколько лошадей в сторону, но всё же уносные попали в построжки пристяжной; те и другие лошади начали биться.

Выездные быстро соскочили с запяток кареты и вместе со скороходами подбежали распутывать лошадей, ругаясь, разумеется, на все лады. Один из них начал бить по морде княжескую лошадь. Фѣдор счёл своей обязанностью вступиться:

— Что ты, беспутная твоя рожа, лошадь-то бьёшь? Сами виноваты, скачут сломя голову, а тоже озорничают и скотину бьют!

— Я и тебе морду сворочу на сторону! — отвечал сердито выездной. — Вишь, распусти-

лись, словно на пошехонский базар приехали!

— Ну, брат, шалишь! — отвечал Фёдор. — Я у самого скорей рыло-то на Пошехонь поворачочу!

Другой выездной в это время хотел перерезать постромку, но Фёдор схватил его за шиворот.

Кучер между тем кричал, фореиторы вопили, выездные и скороходы ругались, лошади бились и ржали.

Вершник, поняв, что Фёдор не даёт резать постромки, сперва было думал взять криком, но, видя, что тот не слушает и осилил уже их выездного, ударил его арапником по лицу, но в ту же секунду сам полетел кувырком с лошади от тычка Гвозделома. Крик, разумеется, усилился. Экипажи начал обступать народ и тоже галдел.

Скороходы хотели было напасть на Гвозделома, но, видя его необыкновенную силу, не решались и стали звать свободного выездного, пока другой боролся с Фёдором. К ним присоединился другой вершник, должно быть перед тем посланный куда-то. Нападение было

уже готово, и ему первый подвергся было Селифонт, поспешивший от кибитки к своим на выручку, так как один из скороходов уже подмял его под себя и начал тузить, но в это время раздался звонкий голос молодого князя.

— Перестать буяннить! — крикнул он и сам вышел из кибитки.

Несмотря на то что в голосе молодого князя слышалась ещё нежно-пискливая, детская нотка, твёрдый, повелительный звук и то не допускающее возражений выражение в нём гордой строгости заставили всех разом остановиться. Скороход отпустил Селифонта; Гвозделом спрятал свой железный кулак, занесённый уже над другим скороходом; Фёдор выпустил из рук выездного, а другой выездной остановился в своём намерении напасть на Гвозделома; вершник, поспешавший было к своим, тоже осадил лошадь и хлопал глазами, смотря на молодого человека, который распоряжался.

— Отстёгивай постромки у Арабчика, Елпидифор! А ты отводи свою уносную! — приказывал молодой князь. — Заворачивай кибитку! Вот так! Селифонт, возьми коренную

под уздцы, ворочай! Ну...

Вероятно, не прошло бы и несколько секунд, как спутавшиеся лошади были бы распутаны, но из кареты вышел господин и презрительно, закинув назад голову и как-то подёргивая своими морщиноватыми, бритыми губами, спросил, картавя:

— Какой там человек разбойничать сметь имеет?

Ему никто не отвечал. Он рассердился.

— Кидай! Опрокидывай их! — закричал рассвирепевший немец, увидев, как поднимали сбитого с лошади его вершника, который едва начинал приходить в себя.

— Что? Я скорее вас всех велю вот в эту речку швырнуть! — грозно, несмотря на свой полудетский голосок, сказал князь. — Не сметь подходить! Кирилл, не подпускай!

Гвозделом расправил руки и захватил в кулак булыжник.

Вершник соскочил с лошади и доложил своему барину, что им не справиться, так как у противников есть страшный силач... Не прикажет ли призвать городских?

Господин прямо подошёл к князю.

Это была длинная и довольно красивая ещё бритая немецкая фигура, с маленькой треуголочкой сверх парика на голове, обёрнутая кружевами вокруг шеи и в длинном фиолетовом бархатном плаще.

— Кто тут разбой смеет чинить? — спросила фигура, обращаясь к молодому князю.

— Никто, кроме ваших людей, — пренебрежительно отвечал князь. — Сами виноваты, да сами и буйствовать начинают.

— Отчего дорогу дать вы не могли?

— Кто тебе обязан дорогу давать? Сами должны были своротить! Впрочем, и тут мой возница своротил, сколько было можно; не на мостки же ему въезжать было? А вы скачете как бешеные...

— Как вы разговаривать со мной так можете?

— Отчего не говорить, когда я говорю дело? — гордо отвечал князь.

— Кто вы такой, что смеее со мною такой говор сказывать? — прикрикнул было расходившийся немец.

— Что ты за ворона, что смеешь меня так спрашивать? — презрительно отвечал князь.

— Я ворон? Я?.. О! Я гофмаршал двора её величества, граф Левенвольд! — отвечал немец. — Кто вы, маленький...

Вероятно, он хотел прибавить слово «скотин», но, взглянув на князя, остановился.

Князя немножко покорило от слова «её величества», тем не менее он твёрдо ответил:

— Я князь Зацепин, если ты хочешь это знать!

Имя Зацепина заставило в свою очередь немножко поморщиться Левенвольда, тем не менее он, не изменяя своего голоса, сказал:

— Хорошо, молодой человек, вы увидайте, кто из нас кому уступать должен! Вы не забудьте это! Я позабочусь, чтобы вы не забыли!

— Я тоже прошу не забыть нашу встречу и, наверное, позабочусь о том напомнить! — дерзко отвечал молодой человек.

В это время лошади были уже распутаны, и князь сел в свою кибитку. При помощи своих людей сел также в свою карету Левенвольд и мигом исчез из глаз с своими скороходами и вершниками, предшествоваемыми криком фореиторов. Караван в это время плёлся прежним порядком по набережной

Мойки, или так называемой тогда Меи. По указанию Фёклы он въехал на двор, посреди которого стоял небольшой барский дом, с колоннами, статуями, вазами, солнечными часами и другими подражательными затеями французского Трианона, приноворожденными к нижегородскому вкусу. Кибитка с кожаным верхом подъехала к выступающему из фасада в виде портика крыльцу; другие две кибитки по указанию привратника должны были въехать в ворота одного из боковых флигелей и отправиться на задний двор.

К кожаной кибитке подошёл швейцар.

«А что, если он вдруг совсем не захочет меня видеть?» — подумал невольно молодой человек и вздрогнул от гордости; однако ж он приказал доложить, что молодой князь Зацепин желает дядюшке отдать своё почтение. Швейцар позвонил, подбежал официант. Ему пришлось повторить то же, что было сказано швейцару. Через минуту сбежал сверху другой официант и проговорил:

— Приказали просить и проводить в орлеанские комнаты.

Молодой человек задумался от этих слов.

«Что это значит? Какие это комнаты? — спрашивал он себя. — Отчего не ведут меня прямо к дяде? Ведь я ему свой, близкий, родной племянник! Отчего же не принимает он меня как своего, как близкого?»

Несмотря, однако ж, на эти вопросы и возникающее в нём сомнение, он не сказал ни слова.

Фёдор при помощи швейцара помог ему выйти из кибитки; швейцар передал его официанту словом: «Проводи!» Официант, поклонившись, повёл его из просторных, обставленных тоже колоннами и статуями и устланных красным сукном с серой дорожкой сеней по широкому коридору в назначенные ему покои. Там встретил его дворецкий с приветствиями и объяснениями от дядюшки.

Но мы должны познакомить читателей с молодым человеком, прибывшим теперь в Петербург, чтобы сделать свою карьеру под покровительством дядюшки, и начавшего её столь неудачно — ссорой с одним из влиятельнейших тогда любимцев двора. Для этого заглянем прежде в усадьбу его отца.

Русский помещик первой половины восемнадцатого века

На берегу реки Ветлуги, в глубине костромских лесов, которые в то время по справедливости признавались непроходимыми, прихотливо раскинулось село Зацепино, место рождения нашего юноши и одна из родовых вотчин древнего и славного рода князей Зацепиных.

Зацепино было большое село. Оно тянулось вдоль правого берега реки и состояло из нескольких улиц, перпендикулярных её течению, застроенных деревянными и большей частью весьма чистыми домиками, так как лес был под боком и никто не мешал рубить его сколько душе угодно. В селе были: две церкви — одна каменная, другая деревянная; торговая площадь, на которой тянулась линия базарных рядов; три завода, несколько кабаков, особое кладбище с деревянной часовней при нём и высокой бревенчатой огра-

дой от волков. Княжеский дом, или, как говорили тогда, княжеские хоромы, стоял на выезде из села, на высоком холме, по скату которого до самой реки расстилался сад, идущий вниз по течению реки версты на полторы.

Княжеский дом был тоже деревянный с единственной каменной старинной башней. Дом этот представлял удивительное смешение сборной постройки. Основанием ему служил крепко сложенный из дубовых брусьев, на фундаменте из дикого камня, сруб, составлявший часть небольшой сторожевой крепостцы, выстроенной одним из предков князей Зацепиных ещё в то время, когда нужно было беспрестанно опасаться нападения остяков, вотяков, вогуличей и других югорских народов. В то время вся эта страна, со всеми своими городами и пригородами, со всеми сёлами, деревнями и починками принадлежала князьям Зацепиным и составляла их родовое великое княжение, разделяясь, по обычаю рода, на несколько удельных княжеств, зависящих от старшего в роде князя Зацепина, как от старшего брата и отца, в то время как этот старший брат и отец в свою очередь считался

младшим братом и удельным князем великого князя всея Руси, князя суздальского, владимирского и нижегородского. Когда князья Зацепины, оставленные, даже, можно сказать, выданные своими удельными князьями, должны были уступить своё княжество и свой стольный город Зацепинск великому князю московскому Ивану Васильевичу, то они выбрали для своего местопребывания эту сторожевую крепостцу с каменной дозорной башней и пристроили к ней брусную избу, два терема и сенцы. К этой постройке, в плане представлявшей вид молота, последующие владельцы приделывали и пристраивали, по случайным требованиям, кому что вздумалось, каждый по своему личному вкусу. Можно себе представить, какой из всех этих приделок и пристроек вышел архитектурный сумбур! Флигели, башни, переходы, балконы самых невероятных форм и стилей, с самым разнообразным назначением и различными причудливыми украшениями в виде петухов, шаров, шпилей, коньков, грифов и цветов — всё это было настроено, нагромождено, можно даже выразиться, напутано. Таков был за-

цепинский дом, или зацепинские палаты, построенные грубо, некрасиво, но с прочностью изумительной, так что хотя от времени всё почернело, частью даже обросло, но нигде не покривилось, не тронулось, и можно было быть твёрдо уверенным, не тронется и не покривится ещё сотню лет.

Дом этот был окружён службами, хозяйственными учреждениями, садовничьими и охотничьими домами, теплицами, сараями, амбарами и отдельными помещениями. К каждому из таких помещений были пригорожены садики, огороды, дворы, примыкающие к огромному, обсаженному липами красному двору, соединяющемуся, с одной стороны, с княжеским садом, а другой стороной подходящему к самой торговой площади села.

Всё это было полно с утра до ночи снующим взад и вперёд народом; повсеместно оглашалось собачьим лаем, криком петухов, мычаньем коров, блеяньем овец, ржаньем лошадей и руганью возчиков. Если кто может всё это себе вообразить, то получит ясное понятие о княжеской усадьбе села Зацепина в тридцатых и сороковых годах прошлого века.

В этом-то образчике вавилонского столпотворения проживал с женой и детьми старший представитель знаменитого рода князей Зацепиных, князь Василий Дмитриевич Зацепин, отец того юноши, князя Андрея Васильевича, которого мы видели въезжающим в Петербург.

Это был худощавый, сухой, довольно высокий, но сутуловатый старик, с густыми поседевшими волосами и небольшой русой, с проседью, бородкой. Густые, нависшие и тоже почти сросшиеся брови, тёмно-серые сверкающие глаза, прямой нос и тонкие, но без малейшего оттенка улыбки губы придавали ему суровое, вместе с тем и грустное выражение. То было не выражение гордости его сына, — пылкой, отважной, задирающей, то была просто суровость, немая, подавленная, или выражение той же гордости сына, но молчаливой, сосредоточенной. При первом взгляде на старика казалось, что сын вовсе не похож на него, но, взглядевшись в того и другого, нельзя было не признать, что каждая черта сына была точная копия с лица отца, так что приходилось сказать, что сын походил на отца

вполне, но походил так, как ясное, светлое утро походит на сумрачный вечер. В сыне была суровость и гордость, но была уверенность в себе, была сила; в отце тоже была суровость и гордость, но — больше ничего!

Зато в глазах старика, в его грустной улыбке, в морщинах его высоко поднятого чела светилась мысль. Мысль, рассматривающая, разбирающая, думающая, хотящая доискаться оснований, открыть начала, найти корень. Видно было, что это человек, не бросающийся на решения, не полагающийся, что ему всё должно прийти само собою; но человек, оценивающий всякий предмет и событие сообразно их сущности; человек, сравнивающий, обдумывающий и сознательно определяющий то, чего должно было в них искать, чего должно было достигать и чего избегать.

Правда, по его сдержанности, сосредоточенности и определённости можно было быть твёрдо уверенным, что решения, им окончательно принятые, он уже круто приводит в осуществление, что он уже не колеблется, не останавливается, не сдаётся на полумеры, но со всей суровостью и с неизменной

точностью выполняет их. Но самая эта точность и неизменность, самая крутость осуществления были следствием тех колебаний, того сомнения, того всестороннего обсуждения, которые предшествовали данному решению, поэтому были не пустое упорство, не упрямство, а сознание.

Вот и теперь он в борьбе с самим собой. В его больших, глубоко впавших серых глазах светится дума. Мысль гнетёт его, давит, грызёт... И он не может ни одолеть её, ни отбросить. Она въелась в его мозг, охватила собой всё его существо. Он невольно борется со своим сомнением, невольно обращается к себе и спрашивает: «Оно ли? То ли?» — и невольно перебирает в памяти всё, что можно сказать «за» и «против»!

Он был известен как самый строгий ревнитель старины, как ярый и упорный враг всяких новшеств, какими были и его отец, и его дед. До сих пор он не отступал ни перед какими затруднениями, чтобы отстаивать то, что он считал правым, и удерживать всё, что от него зависело, в кругу старых, вековых обычаев Древней Руси, переходивших по преданию

от отца к сыну и бывших как бы неизменным законом их рода. Он стоял за этот родовой закон. В восемнадцатом веке он не забыл ни родового права Рюриковичей, призванных владеть и княжить на Русской земле, ни порядка, коим право это определялось. В восемнадцатом веке он помнил всё, что завещали ему хранить как святыню его отец и дед, которые, в свою очередь, принимали эти заветы от своих предков, хранителей доблести старинного русского рода, колена Рюрика.

В доме у него всё было просто, всё по-старинному, так, как, надобно полагать, было устроено ещё основателем села Зацепина, его предком, тем самым Зацепиным, который был вынужден выехать из своего стольного города Зацепинска и уступить его по договору, вместе с своим родовым двором и всем княжением, собирателю земли Русской. Это было давно, очень давно! Более двух с половиной веков прошло с тех пор, как он подписал этот договор. Девять поколений уже кануло в вечность, после того как родоначальник их мог говорить о себе как о самостоятельной единице Древней Руси. Несмотря на то, все

они помнили, что, умирая, он сказал детям и внукам своим: «Бог наказал нас, дети, за грехи наши, за грехи рода нашего, но в его воле нас и помиловать! То, что взято силой, силой же может быть и отнято. Молитесь и ищите силы! Да не забываете рода своего! Не забывайте, что вы есть и чем должны быть! Не забудете — вас и Бог не забудет!»

И они не забывали, ни на одну минуту не забывали, передавая от поколения к поколению целый ряд преданий, пока этот ряд не дошёл преемственно до него. И он помнит эти предания, держится их во всём по старине, как отец, дед, прадед и все Зацепины держались. Он говорит: «Силой могут всё взять, — волей не дам ничего! Против силы я тоже буду искать силы, и то, что отнимут у меня, я также могу отнять!» Он знал, что так думали и дед его, и отец, целый век отстаивавший свои родовые предания и едва не заплативший за то своей головой в грозное царствование Петра.

— Не люблю я этих новшеств! — говорил обыкновенно князь Василий Дмитриевич, когда ему предлагали что-нибудь новое, служа-

щее к удобству или спокойствию. — Наши деды без них тысячу лет прожили, так нам мудрить тут нечего!

То же самое говорили его отец и его дед. И ни они, ни он не мудрили. Они не допускали ни малейшего отступления от того, что установилось веками, не принимали никаких изменений, которые могли бы дать повод думать, что и они могут смотреть по-новому.

Такая нелюбовь Зацепиных к новшествам и всякой отмене старого порядка неоднократно возбуждала ошибочные надежды тех, которые, не понимая начал, из коих такая нелюбовь в них исходила, полагали встретить в них сочувствие, когда сами тоже вооружались против нового и отстаивали старое. Эти надежды постоянно обманывались. Князья Зацепины видели новшество в том, что другим давно уже казалось стариной. Они видели новшество даже в том, что было нужно отстаивать от новшеств. Напрасно Трубецкой и Ляпунов в Смутное время на Руси посылали посла за послом к Зацепиным, — они не дали даже отзыва. Правда, предок их был не прочь вести на Москву нижегородскую рать, но не

захотел стать под стяг Пожарского. «Эта нижегородская, суздальская и владимирская рать моя, — говорил он, — поэтому я должен и вести её на мою отчину и дедину Москву, которая за прекращением московского дома тоже должна быть моя! Так при чём тут Пожарский, какой-то стародубский князёк?» Напрасно хлопотали потом сблизиться с отцом и дедом Василия Дмитриевича сперва князь Мышецкий, потом князя Василий Голицын, Хованский и другие; ни смуты в царствование Алексея Михайловича, ни происки Лопухиных и Кикиных — ничто не могло вызвать себе сочувствия князей Зацепиных и прекратить их упорную пассивность.

«Какое нам дело до всех этих московских затей? — говорили они. — Наше дело Зацепинск, наше родовое княжество! Там, что по роду приходится, ещё рассудим! А нет, так пусть мутят, как хотят!»

Таким образом, ни государственные, ни религиозные, ни династические события не могли оторвать князей Зацепиных от их преемственного родового начала, не могли вызвать их на активную деятельность. Когда

Мышецкий доказывал князю Дмитрию Андреевичу, деду Василия Дмитриевича, что патриарх Никон не прав; что всё придуманное им — внушённое дьяволом новшество; что крест и венец должны идти посолонь; что знамение христианства должно быть двуперстное; что нельзя по воле изменять слова, принятые в святых книгах, так как «книги эти были установлены, приняты и переходят из века в век; по ним молились многие сподвижники Церкви и святые венцы заслужили; поэтому одно из двух: или не правда, что милость Божия осенила их, или переменять ничего нельзя!».

Дмитрий Андреевич вслушивался в эти слова, вслушивался долго, раздумывал, разбирал, потом отрезал разом.

— Оно, может, и так, княже, — сказал он. — Может, ты и прав, что у патриарха нашего ум за разум зашёл и он перемудрил! Может, и точно, что его сатанинская гордость обуяла. Да вот что я тебе скажу: дело-то это их, поповское, а не наше, княжее. По-моему, посолонь или противосолонь, а поп окрестил или обвенчал, и слава богу. Какое мне дело, так ли

он читал, что там написано. Это дело его совести и разума. Ему дана власть решить и вязать, ну пусть решит и вяжет. Я принимаю то, как он решит. А коли он решит неправильно, на его душе грех. Моё дело — на деле да на правде стоять!

Говоря это, Дмитрий Андреевич думал про себя: «Всё это затеи московского боярства, их чванливые пререкания и местническая привередливость! Ишь, какую затею выдумал: попов учить! А тоже, говорит, князь! Чёртов он князь, вот что! Я и колена-то эдакого Мышецкого в князьях никогда не слышал! А надевает же он им хлопот, коли не сумеют перехватить в самом начале, и в сотню лет не расхлебают! Ну да пусть их грызутся!»

Когда Мышецкий начинал горячиться и доказывать, что так нельзя, что вера их, а не поповская, что они должны рассудить, Дмитрий Андреевич думал:

«Ври, ври, Денисыч, с вранья мыта не берут. Меня-то уж ты, наверно, не подденешь. Да мне и нельзя. Я не какой-нибудь Мышецкий. Мне в ваши местнические споры, в ваши домашние белендрысы входить нечего. Мне

всё равно: Милославский, Хованский или хоть ты, Мышецкий, или Нарышкин. Все одинаково слуги слуг предков моих. Правда, первые-то нашего же рода, Рюриковичи, но прежде всего ведь не Зацепины же? А потом — назвался груздем, полезай в кузов! Сами в бояре пошли к московским князьям, так и верстайтесь с их боярами всласть».

Совершенно согласно этому рассуждению князь Дмитрий Андреевич отделялся от заискиваний всех противников Петра, хотя сам был его ярким противником.

— Всё это тоже новшество, тоже московская затея, — говорил он.

И точно, оно не могло не казаться новшеством для него, не примирившегося ещё с государственным началом Московского царства и смотревшего на самую Москву как на княжество младшей отрасли его дома.

Зато когда у него в Зацепине началась было беспоповщина, то он принял столь крутые меры, каких не принимал ни до него, ни после него ни один самый закоренелый фанатик обрядности. Вожаки раскола, думавшие видеть в Зацепиных поддержку своим замыс-

лам, голову потеряли, встретив такое противодействие. Они не могли понять, каким образом такие ревнителы старины, как Зацепины, могли стать на сторону новшества, и в объяснение такой казавшейся им странности могли придумать только то, что высказал Трифон Савельевич Елпидифору, то есть, дескать, коли попы венчать не будут, так по чём же князь свои крепостные тягла считать будет? Не понимали они того, что для Зацепиных не только их притязания, но и самое крепостное право было не старина, а новшество; такое же новшество, как и самое Московское царство.

Василий Дмитриевич так же стоял против раскола, как и его отец. Он стоял против соединения, общения, против единства. Он стоял за род, за отдельные права, сближаемые только общностью родового начала. Он себя не жалел, борясь за эти начала, точно так же, как не жалели себя ни его отец, ни дед, ни все Зацепины, не сдаваясь и не уступая ни на один волос из того, что они признавали своим. Неужели все эти общие усилия, вся эта борьба против всего, что врывалось в жизнь,

были только пустой, напрасной тратой времени?

Но ведь на такую трату времени, на такую борьбу ушла жизнь не одного поколения. Сотни лет от одного к другому, от другого к третьему передавалось то, что их поддерживало, оживляло, давало им силу упора. Неужели и самый упор этот был только недоумение, был только ошибка?

«Нет, не может быть! Мог ошибаться я, мог ошибаться мой отец, дед, прадед, но чтобы ошибались всё, чтобы ошибались целые поколения князей умных и твёрдых, чтобы, начиная от Ярослава Мудрого до Данилы Васильевича, от Данилы Васильевича до моего отца, никто не взглянул прямо, — этого не может быть! Между тем... между тем вот два старца, два отшельника, ничем не сходные один с другим, на двух концах Руси, оба одинаково пишут... Пусть вот этого я не знаю, — думал Василий Дмитриевич, указывая на один из свитков, — а этот — наш предок, знающий наши воззрения, отшельник, умудрённый самим отшельничеством, рассуждающий и обдумывающий. Он явно говорит... Как

же это?..»

Князь Василий Дмитриевич сидел в это время у себя в своей княжьей горнице на кресле с княжеской короной. Но прежде нужно рассказать, что это за княжья горница и что это за дом, в котором возникла эта борьба начал.

С так называемого красного крыльца, прирубленного к середине дома, широкая дубовая дверь, обитая толстым сукном и в летнее время всегда настежь отворенная, вела в просторные сени с лавками кругом для проходящих и прислуги. Из сеней несколько дверей вели в различные отделения дома. Одни, главные, вели в гостиные палаты, другие в брусяную избу, третьи в кладовые, четвёртые на приезжую половину, наконец, пятые в так называемую испокон века княжью горницу.

Гостиные палаты состояли из трёх горниц. Первая была большая комната с выходом в сад. Она была обшита тёсом, украшена русской резьбой и обставлена небольшими диванчиками, с небольшими столиками и стульями-табуретами у каждого дивана. Посредине комнаты, на низенькой скамейке, стоял

фарфоровый горшок с божьим деревом, выросшим до самого потолка. По углам стояли горшки с растением богородицыны слёзы. На полу был разостлан большой, почти во всю комнату, кызылбашский ковёр. Вторая комната не была обита ничем. Стены её были просто бревенчатые и не стёсанные. Но к её стенам в разных местах были приделаны полки, поставцы и подставки, на которых были расставлены редкие произведения китайского досужества: фарфоровые цветы, картины, сделанные из рыбьей чешуи, разные работы из слоновой и мамонтовой кости. На поставцах стояла также дорогая и редкая посуда из золота, серебра, перламутра и черепахи. Эту комнату обвивал кругом мягкий диван, над которым висело несколько портретов предков князей Зацепиных. Между ними нельзя было не обратить внимания на один, изображающий больного, истощённого старца в монашеской одежде, указывающего на начертанные на стене кельи слова: «Аз упокою вы!» Посредине этой комнаты висела серебряная с хрустальными привесками люстра. Третья гостиная была обтянута холстом, на кото-

ром была нарисована соколиная охота, и обставлена стульями, без задников, с боковыми ручками и столиками, с нарисованными на них шашечницами. Новшество убранства этой комнаты было введено дедом Василия Дмитриевича, Дмитрием Андреевичем, страстным любителем шахматной игры и соколиной охоты и не раз охотившегося с царём Алексеем Михайловичем.

Из второй гостиной был выход в большую столовую, или трапезную, палату, соединённую галереей, или, как тогда говорили, галдареей с затрапезной, кухней и пекарней и обставленную кругом посудой: серебряной, оловянной, фарфоровой и в весьма небольшом количестве хрустальной. Из столовой особый выход вёл во внутренние комнаты княгини — её уборную, швейные, девичьи, наконец, в общую князя и княгини спальню, которая, переходом через несколько комнат, соединялась с брусяной избой, где князь чинил суд и расправу по своим обширным имениям и все стены которой были заняты прибитыми к ним крючками с навешанными на них во множестве счетами, бирками, заметками, об-

разцами и всем, что могло быть нужно по хозяйству.

Из уборной княгини лестница вела в девичьи терема, занятые княжнами и их прислугой; из брусняной избы был ход в детские комнаты княжат.

Приезжую половину описывать нечего. Она была такой же, какие устраиваются и теперь, то есть состояла из коридора с комнатами по бокам. Кроме приезжей половины, гости могли помещаться в башнях, флигелях и разных пристройках, где находились также помещения для высшей дворни: княжеской барыни, дворецкого, конюшего, постельничего, управителя, приказчика и так далее. Кроме них, в доме помещалось ещё несколько приживальцев и приживалок, два шута и одна дурка. Между службами целая слобода занималась дворовыми мастеровыми и разночинцами. По тогдашней переписи число собственно дворовых по селу у князя Василия Дмитриевича Зацепина числилось четыреста двадцать восемь душ мужского пола.

Перейдём к описанию княжьей горницы.

Княжья горница по назначению своему

была тем, что не только теперь, но и тогда уже звали кабинетом. Она состояла из двух срубов, представляющих как бы совершенно отдельные комнаты, соединённые между собой небольшим переходом в два света. Первая часть комнаты была обставлена кругом дубовыми шкафами, из которых в одном хранились фамильные бумаги рода князей Зацепиных, их переписка, отчёты по имениям и дому; в другом шкафу были книги, большею частью духовного содержания, среди которых пользовалась тогда преимущественным, едва ли заслуженным почётом «Рукопись камня веры» Яворского.

Тут же лежало несколько свёртков, заключающих в себе исторические предания, географические и этнографические описания разных стран, описание космических явлений, путешествия русских людей в Царьград и к святым местам, например игумена Даниила Заточника и других паломников, замечания о разных случаях в физическом и атмосферическом отношениях. Тут же лежал Брюсов календарь, предсказания Мартына Задеки и связки ведомостей и указов. В других шка-

фах сохранялись платье, вещи, оружие, пояса, шапки, меха и другие предметы быта и домашней утвари, чем-нибудь замечательные в историческом или художественном отношении.

Вторую часть княжьей комнаты, весьма светлую, так как в ней окна были прорезаны в трёх стенах, занимали: во-первых, в переднем углу божница, большой шкаф с образами в золотых, серебряных и шитых жемчугом и золотом ризах. Перед образами денно и ночью горели две лампы, по одной на каждой стене угла; горели также лампы против складней, сделанных из золота, серебра, кипариса, чёрного дерева и слоновой кости, расположенных между окнами по другим стенам. На задних простенках, отделяющих эту часть комнаты от прохода, висели большие, искусной работы портреты отца и матери Василия Дмитриевича, его самого, его жены и мальчика, его брата, князя Андрея Дмитриевича.

Около переднего угла, ближе к середине, стоял большой дубовый стол, на котором лежала куча бумаг и находилось несколько образков и крестов со святыми мощами, перед

которыми тоже горела лампадка.

Вдоль стены этой части комнаты тянулись лавки, кругом стола были поставлены табуреты, скамьи и большое кресло, украшенное позолоченной княжеской короной. Лавки, скамьи, табуреты были обиты войлоком и покрыты зелёным сукном. Несколько ковров висело между окнами на стенах. На кресле лежала вышитая подушка. Пол комнаты был обит циновками, на которых были дорожки из серого, обшитого красной каймой сукна. Перед креслом на полу были брошены медвежьих шкуры.

Вот в этом единственном кресле княжьей горницы сидел князь Василий Дмитриевич за столбцами рукописей, взятых из его книжного шкафа. Столбцы эти были именно те, которые вызвали вопрос: прав ли он, правы ли были предки его, что отстаивали свой быт и свои обычаи в такой степени, что отделились от самого хода жизни, стали непонятными, даже прямо противодействующими тому, чего так усиленно добивались, то есть возвышения своего рода перед всем, что некогда перед ним склонялось? Правы ли они были, что не

только он сам, его чада и домочадцы, но даже самый дом, самый порядок жизни, им принятый, идут прямо вразрез тому, к чему стремятся теперь все, начиная от императрицы до последнего приказного и мелкой сошки помещика.

«Обсудим сначала, — думал он. — Мы не верстаемся ни с кем — это так. Кто должен быть выше всех, тому нечего и не с кем верстаться. Но они богатеют, а мы беднеем. Это уже вопрос, это сущность, которая не может возвышаться. Оно понятно, дело раздела: отец должен был выделить одну волость, я уже две. А что, если у Андрея будет пять сыновей, и у этих сыновей будет тоже по пяти, ему уже внуков, тогда, пожалуй, и выделять будет нечего... А затем? Мы ещё держимся, но почему? Потому только, что, будто нарочно, пращур, прапрадед, прадед и дед все одни в семье родились, выделять было некому! Ну а вот теперь началось... Бедным кемским князьям теперь, почитай, не то что о роде, да о хлебе думать так впору. Монах прав, говоря, что коли всея Руси, от Каменного хребта до Хвалынского моря, нашему роду делить мало было, так

достанет ли какого ни на есть там села Зацепина? А если так, то дело не на том стоит и мы, не двигаясь вперёд, явно идём назад.

Я целовал крест отцу и деду стоять твёрдо на родовом начале, себя для рода не жалеть. Видит Бог, жалел ли я себя! Я не унизил, не обеднил, ничем не уронил своего рода, не стал ни с кем в версту. Я держался особняком, был тем же, что и предок наш Данило Васильевич. Но если выходит, что именно потому, что мы все стоим на своём, что не сдаёмся и не отступаем, мы и остаёмся назади, то каким же образом идти, да не то идти, а и детей, и внуков своих вести по той же дороге, на которой заведомо они должны исчезнуть, пропасть, измельчать, как кемские, кубенские, заозерские и другие наши родичи и удельные наши князья, потомки тоже князя Юрия и Владимира Мономаха? Ну подумаем, разберём, рассмотрим! Вон Толстопузов умер и оставил семь сыновей. Всем им от отца досталось больше, чем получил от своего отца он сам. Отчего? От того, что он варницы держал, торговал, старался своё добро увеличить, нажить. Он, разумеется, не уронил своего рода.

Вон Толстопузовы из каких-то офень стали богатые купцы, у которых и дело, и капитал есть. Если теперь все его семь сыновей будут также хорошо дело вести, а им вести хорошо дело с деньгами уж легче, чем было отцу, то они оставят детей своих ещё богаче, хотя бы у каждого опять было по семи сыновей. А мы? Прадедушка Кубенских был очень богат, всё Заозерье его было, а как выделил пяти сыновьям, да у старшего-то было опять пять, так у старшей-то ветви, из которой я княгиню мою взял, кое-что ещё было, а младшие-то хоть коров гонять ступай. Вот те и княжество! Этого ли мы хотим, этого ли добиваемся? Сосед мой по Шугароновке, Каблуков, был так себе, из боярских детей, мелкая сошка! Что у него — дворов с пятьдесят, не знаю, было ли? А вот теперь, смотри: словно князь какой обстроился, и, говорят, мошна толста! У него три сына. Разумеется, каждый будет богаче и важнее, чем был он. А отчего? Он служил, он дело делал! А мы что делаем? Помню, как провожали брата Андрея, плакали как по покойнику; а теперь он в чести, даже немцы, говорят, ему кланяются! Отец назначил ему ед-

ва пятую часть того, что назначил мне, а он давно богаче меня! А всё оттого, что служит, дело делает, а мы спим. Говорят, береги денежку на чёрный день, не мотай. Хорошо. Вот я не мотаю и скопил-таки кое-что. Но там как хочешь, а скупостью рода не поддержишь, особенно как наделы большие делать придётся. Да ведь и дочерей нужно же устраивать да награждать. А что, если, как у моего отца, все чёрные дни будут и сколотить-то будет не из чего? Ясно, всё в разгром и разоренье пойдёт. Какой уж тут будет род? Совсем захудает! Да и чего мы ждём? Разгрома, разъединения! Мо-нах опять прав, когда говорит: «Не желай худого, не то тебе худо будет, ибо в худом только худое!» Ну да вот и был такой разгром, что же, вспомнил ли о нас кто-нибудь? Нашёлся ли хоть один голос, который заговорил бы, что вот есть родовые князья, прямые потомки князя Юрия Владимировича, основателя Москвы, от старшего внука его Василия Константиновича, сложившего живот свой за Русь святую и веру православную против лютой татарвы. И что князья эти истые, настоящие, которые ни в службу ни в чью, ни в вер-

сту ни к кому не шли, и что теперь старшие из этих князей — князя Зацепины! Нет, такого голоса не нашлось. О нас забыли. Да как и не забыть, когда, пожалуй, мы скоро сами себя забудем? Вон Хохолковы, так те и князьями зваться уж перестали. О ком говорила тогда Русь? Кого вспоминал народ? Сперва народ выбрал какого-то татарского выходца, положим хитрого и умного, но который одним татарским именем своим, кажется, должен бы был от себя отталкивать. А его выбрали, и он царил. Откуда же он взялся? Как его узнали? Узнали оттого, что он был первым служилым человеком, что всё делалось его именем!..

Ну, он не выстоял, и не выстоял благодаря немецкому новшеству: к земле народ прикрепить задумал, — в неметчине, видите, всё так! Боярам было это на руку, но нам, которые опирались не на бояр, а на всю Русь православную, разумеется, такое новшество было некстати. Но нас не знали, а знали бояр, и вот о нас, которые ни перед кем не склонялись, ни с кем не якшались и ни от кого, кроме Бога, не зависели, никто и не подумал. Вы-

брали сперва Кирдяпина потомка, правда, нашего же рода, Мономаховича, но который давно в изгоях считался и с боярами в версте стоял! Опять, почему выбрали? Потому что его знали, а знали оттого, что он был служивый человек, важный московский боярин, с боярами сошёлся и для них должен был быть хорошим царём. Не устоял и он, — что же? О ком была речь? О Мстиславском, Оболенских, хотя все они черниговского колена, даже не Мономаховичи и по роду далеко нам в версту не идут. Потом стали говорить о Трубецких, Голицыных, Пожарском, хотя ни Трубецкие, ни Голицыны даже не Рюриковичи, а литовского рода от князя Гедимины, а Пожарский, пожалуй, Рюрикович, но дальнего колена стародубских князьков, и в своём-то роду числившийся в изгоях, который, почитай, и сам не думал не то с Зацепиными, но и с Трубецкими верстаться. Отчего же? Всё опять потому, что они были служилые князья, что их знали, слышали хоть имя и что у них сила была! Да чего? Как Кузьма Минин стал в Нижнем народ собирать, мой пращур сам в Нижний ездил, думал, может, ему рать дадут. А

был он молодец, сказать нечего, с медведем один на один боролся, так нет — выбрали Пожарского! Всё оттого, что Пожарский был служилый князёк, был воевода, хоть дальнего какого-то городка, и становился в третье подручные земской рати на правом крыле, если крылом заправляли Воротынский или Долгорукий. Но его всё же знали; о нём хоть слышали; а о нашем пращуре никто никогда и не слыхал!

Ну смирили смуту, опять выбирают, и кого же? Даже не Пожарского, не князя, а молодого птенца старинных служилых московских бояр, которых все знали, которых уважали, потому что испокон века они служили на виду у всех!

Не видимое ли указание, не перст ли это Божий, который как бы внушает, что, дескать, было одно время, теперь стало другое, как бы указывает на то, что князь Ромодановский был прав, сказав моему отцу: «Дескать, прошлое ушло, теперь новое ловить нужно!» Как же тут быть? Что же тут делать?

Положим, что мне делать уже нечего! Я своё прожил, мне начинать теперь поздно!

Но дети, дети? Ну, Андрей как-нибудь с Зацепиным и всем, что я ему оставляю, ещё будет на ногах стоять, ну а что, если у Дмитрия или у Юрия пять или шесть сыновей будут? Ведь они в кожу кемских князей влезут! А их внуки?.. Нет, так нельзя, никак нельзя!

Монах, наш предок и родич, опять прав, тысячу раз прав, когда говорит: «Иже не несёт тяготы, не зовётся и к брашну!»

Но опять, неужели вся моя жизнь, вся жизнь моего отца, деда и всех Зацепиных была только пустое самообольщение? Неужели Данило Васильевич, отдав княжество своё, уступая, силе, должен был идти в служилые князья, чтобы не мытьём, так катаньем наверстать то, что он терял?

Да! Положим, он сам и не должен был! Но он и его потомки должны были смотреть, следить, наблюдать, куда идёт жизнь и, согласно тому, вести дело. А они упорно стояли только на одном; удивительно ли, что их обходят все, которые идут, когда они стоят на месте?»

Василий Дмитриевич вспомнил своего отца, князя Дмитрия Дмитриевича Зацепина. Он был тоже суровый старик, такой же, ка-

ким теперь он сам стал.

У него также были густые союзные брови, серые выразительные глаза, седые волосы и небольшая русая с проседью борода.

Он был тоже решительным врагом всяких новшеств и тоже стоял на том, чтобы не отступать от старых обычаев Древней Руси. Большую часть последней половины жизни своей он провёл в упорной борьбе за старый порядок против преобразований, вводимых царём-преобразователем, и чуть жизнью не заплатил за то.

Борьба была действительно упорная. В руках царя была сила, а в его груди железная воля, способная сломить всякое сопротивление. Князь Дмитрий Дмитриевич это признавал, тем не менее решил, что он князь Зацепин и, ради спасения своей головы, уступать не должен.

«Против силы, разумеется, хитрить нужно, — говорил он, — увёртываться, подчас и сгибаться, но уступать — никогда! Против рожна не пойдёшь, лбом стены не прошибёшь, — объяснял он. — Тут смекалка нужна. А смекалкой разведёшь, пожалуй, и стена

упадёт!»

Так он и сына учил.

«Нужно своё помнить, — говорил он, — своё тянуть. Понемногу, а всё тянуть! Посмотришь, как ни крепок камень, а вода, по капле, и его точит!»

И он не принял новшеств Петра, не признал их и не склонился. Осторожно, сдержанно, со всею уклончивостью слабости, но твёрдо и открыто боролся он против них, отстаивал свои начала, и отстаивал с неменьшим упорством, чем проводил свои преобразования Пётр.

От детей он не только не скрывал своей борьбы и своего упорства, но растолковывал, объяснял, учил для будущего, и не только его, Василья Дмитриевича, но и другого сына, Андрея, который был совсем ещё мальчик, лет эдак одиннадцати, не более. Он говорил им:

— Ты что думаешь: зачем это царь нас в немцы перерядить хочет и вон, на приклад, кафтаны прислал? Да не только это! И гробы-то христианские запретил, чтобы и на том свете против басурманов никакой отлички не было! Ну, говори, Василий, зачем?

«Я, разумеется, не мог угадать, о чём он думал».

— Затем, чтобы старое-то всё из головы вышло. Чтобы самый народ-то новый стал. По-новому наряжался, по-новому думал, по-новому и жил. И жизнь новая чтобы у всех одна была. Чтобы от Рязани до Киева, от Стародуба до Суздаля, от Смоленска до Архангельска и Каменного пояса все до одного в нём только и свет видели. Мы это понимаем, потому и стоим за старину. По старине, Чернигов сам по себе, а Рязань сама собою; Киев — одно, а Зацепинск — другое! А если другое, так, стало быть, не его, а наше, как и вся земля теперь, от самого то есть Яика вплоть до моря, благословением Божиим и славных предков великого рода нашего — вся наша, по правде, по разуму... тут и говорить нечего! А что сила сломила, так это не разум. Ищи силы — и бери своё!

— Коли найти негде? — спрашивал брат Андрей.

— То есть ты не знаешь, где её взять. Это незнание твоё и указывает на Божье наказание. Значит, грешен, когда Бог силы не даёт.

Молись и жди! Бог прогневался на род наш за грехи наши, но Он милосерден, простит и помилует. А если силы нет, значит, время не пришло. Но ты о том не думай. Ты помни своё! Верь, не тебе, так детям твоим возвратится. Только сам-то ты не склоняйся, не уступай, прорухи на род не клади. Да, детки, — продолжал он весело, — сложу я свою голову, отстаивая святую старину, — пусть! Ваше дело продолжать будет и себя не жалеть. Стойте твёрдо за обычай, за право, за славный род наш. Терпите иго, гнитесь, но не уступайте. Не попадайте в неволю к неметчине! Знайте, нет горше горя, нет лютее несчастья, как потерять землю, на которой стоишь, забыть род и права свои. Помните это!

И он объяснял нам, — вспоминал Василий Дмитриевич, — рассказывал, как началась Русская земля; говорил о славном роде нашем и о нашем прямом, божеском праве на Зацепинск и на Суздальское княжение; говорил также, что случалось не раз, как князья нашего рода, изгнанные и обиженные, скитались без пристанища, а в конце концов, по воле Божией, восстановились во всех правах своих и

сияли ещё большим блеском и силой.

— Разумеется, без разума нельзя, — говорил отец. — Увёртывайтесь, хитрите, где сила не берёт. Наши предки тоже гнулись. Вон Александр Ярославич славный воитель был, но и он в Орду ездил, татарских жён улещевал, мурзам угождал и хану кланялся. Но берите сейчас своё, как только можете взять. Не жалейте же себя для рода. Отдавайте в жертву роду всё: и себя, и детей своих, и что у кого есть дорогого. Тогда вы будете истинными Рюриковичами, настоящими Зацепиными и Бог простит вас, даст вам силу и вы возьмёте назад всё, что по праву принадлежит вам. И благословят вас тогда все предки ваши, все великие блюстители земли русской!..

III

Против силы

«Скоро ему пришлось на себе испытывать всю тяжесть того, на что он нам указывал, — вспоминал Василий Дмитриевич. — Скоро пришлось именно ни себя, ни детей не жалеть, пришлось нести все жертвы. Первою жертвой был брат Андрей».

Василий Дмитриевич задумался.

«Да! Как ни хитрил, как ни увёртывался, как ни уклонялся отец, а ему пришлось потерпеть, — продолжал нить своих воспоминаний Василий Дмитриевич. — Царь потребовал молодых дворян знатных фамилий для отправки в чужие края учиться. В числе записанных значился и молодой князь Зацепин.

После невероятного количества отнекиваний, колебания, отступлений, отписок пришлось признать необходимым пожертвовать одним из нас. Отец выбрал брата, как младшего.

И вот, — припоминает Василий Дмитриевич

вич, — начали снаряжать и оплакивать брата, будто на тот свет. Какие заклятия над ним произносили, какие молитвы творили. Поп приезжал служить особый молебен, чтобы отогнать нечистого духа, долженствующего неминуемо в чужих землях охватить его. Надели на него несколько ладанок, крестиков, святых памяток, зашили ладанки в платье, положили в вещи, чтобы сберечь сколь возможно от натиска нечистой силы; окуривали его ладаном, обрызгивали святой водой, чтобы пропитать его глубже православием и чтобы басурманский дух долее не мог его одолеть. После всего начали оплакивать».

Помнит Василий Дмитриевич это оплакивание, оно продолжалось не один день.

«Вот пришло время прощанья. Мать лежала на лежанке в детской, обвивала рукой голову брата, который перед ней стоял, и выла. Её поддерживали голоса десяти-двенадцати приживалок и плакальщиц. Все они перебирали похоронные причитанья и, смотря на брата, повторяли слова, обращаемые, по обычаю, только к покойнику:

*На кого ты покидаешь нас,
Голубчик Андрюшенька!
На кого оставляешь?
Али мы тебе не угодили,
Али чем не потрафили?
Кто закроет мне глаза — твоей
матери?
Кто помолится со мной в смерт-
ный час?
Кто поплачет над моей гробовой
доской?
Я ли тебя не лелеяла?*

Брат обнимал мать и горько, навзрыд плакал, я стоял в углу, тоже в слезах.

Дверь отворилась, вошёл отец.

Мать, как лежала на подушке, как выла и плакала она перед братом, с выбившимися из-под платка волосами и распущенным воротом сарафана, так и упала с лежанки на пол, в ноги отцу.

Я замер от испуга.

— Батюшка! Отец родной! Дорогой мой! Милый! сними с меня голову! Проткни грудь насквозь! Коли виновата я, вели казнить меня! Но не бери от меня Андрюшеньку, не от-

нимай у меня моей радости! Он дороже мне жизни, дороже головы моей!

Отец молчаливо, с грустью поднял мать, посадил на братнину постель, обнял и стал уговаривать:

— Полно, княгиня моя, дорогая моя! Разве я не делал всё, что можно, чтобы избавить... Но когда такой гнев Божий нашёл...

— Так, батюшка, так! Но Андрюшу, Андрюшу! Он молод, совсем дитя! Смотри, ведь ты отдаёшь его на заклятие. Нет, нет! Не могу! Уж лучше Васю, он постарше!

— Василья? Он старший, он наш первенец! От него скорее увидим утешение. Впрочем, не сказано которого... требуют одного... которого хочешь... пожалуй, Василья...

— Нет, нет! Я сама кормила его, помнишь, как родился-то он, Вася, милый Вася! Нет, нет! Но Андрюша, Андрюша! За что я вживе похороню его?.. — И начинался опять вой, опять плач, опять горькие причитания.

Когда наконец подвели его под последнее благословение, когда он пал ниц в земном поклоне, мать начала заклинать его.

— «На земле, на воде, на море-океане, не

потонешь не сторишь...»

Отец не плакал, не стонал, не жаловался. Он благословил молча. И только когда последний раз пришлось прижать брата к своей груди, он сказал глухо:

— Не забывай отца, Андрей! — Потом обратился ко мне и таково сурово прибавил: — А ты, Василий, помни, что он жертва за нас! Будьте же, дети, настоящими Зацепиными, чтобы жертва не пропала!

Пожертвовав сыном, отец думал, что затем он может быть покоен. Не тут-то было. Отец не знал царя Петра. Не прошло года, потребовали на службу не только меня, но и самого отца.

Шла война со шведами; отразилась она страшным нарвским погромом. Царь сказал:

— Себя жалеть нечего, надобно землю Русскую спасти, идём все!

— Не хочу! — сказал отец. Не поехал и меня не отпустил. — Что я, кабальный, что ли? В договоре сказано: ни меня, ни моих маетностей не касаться!

Ослушание указов Петра было тогда дело страшное. Чтобы отстаиваться, пришлось вы-

носить ряд унижений, выполнять несчётное количество поклонов, заискиваний, а главное, нужно было платить, и много платить.

— Что же делать? — говорил отец. — Будем платить, будем кланяться и унижаться! Ведь платили же предки наши татарским ханам, заискивали в жёнах их, мирзах и любовницах. Как быть? Война всегда война; иго всегда иго!

И отец не жалел ничего, платил и жил в своём Зацепине.

Но пришло время, что после нескольких повторительных указов Петра никакие поклоны и заискивания не стали помогать, никакой платёж не выручал. От наших денег стали отворачиваться, как от зачумлённых. Требовали явиться непременно. Велено было представить нас живыми или мёртвыми. Нужно было ехать; мы с отцом и пропали без вести.

Скитались мы с места на место, не зная, где приклонить голову, что-то больше трёх лет. В Зацепине оставалась только моя мать-княгиня да сестры-княжны. Но и им покоя не было. Чуть не кажинный месяц являлся при-

став и требовал княгиню.

— А князя нет?

— Нет, батюшка, отъехал!

— Куда?

— А кто его знает, батюшка! У меня ему не спрашиваться стать. На то он муж. Взял большака да и поехал. А куда, Бог его ведает! Может, по вотчинам, а может, и душу свою спасти, — на богомолье заехал куда. Ведь тоже стар человек, и о душе подумать нужно!

— Не бери греха на душу, княгиня, верно, отписывает он тебе! Царь велел его непременно представить.

— Ни-ни! Ничего не пишет батюшка! Уж и сама-то я с ума схожу, не напали ли лихие люди! Чего доброго? Пожалуй, стубил свою голову.

Допытывались и у сестры. Ну да та, в самом деле, ничего не знала, так и допытаться ничего нельзя было.

— Так не знаешь, княгиня? Ну, смотри, к тому месяцу я приеду, непременно узнай! А то мне тебя в город везти придётся!

И пристав уезжал с хорошим подарком.

А мы с отцом чего не перенесли, чего не

испытали! Но отец говорил:

— Что ж? Несём мы иго за род свой, за имя наше, князей Зацепиных, чтобы не быть им служилыми князьями, не быть в неволе, словно кабальные. Пусть сгинем мы, но сгинем честно, вольными князьями, которые никому, кроме Бога, не служат, никому не кланяются и воли своей княжеской никому не отдадут!

Подле Зацепина оставаться было опасно, и мы продвигались всё дальше и дальше, где на лошадях, где пешком, где переряженными. Были разосланы везде указы схватить нас и представить в Москву. И мы должны были опасаться каждого, с кем только встречались, с кем успевали переломить кусок хлеба.

Раза два за нами гнались сыщики, и мы спаслись только находчивостью и спокойствием отца. Раз спаслись тем, что соскочили в угольную яму, и сыщики пронесли мимо. А другой раз успели перерядиться в разносчиков и подладились к сыщикам, угощая их водкой и обещая указать верное место, где нетчики прячутся.

Наконец далее и прятаться нельзя было.

Дан был срок явиться нетчикам, а кто не явится, велено было приговаривать к лишению чести и живота, отбирать имение и половину из него отдавать доносчикам и указчикам. Велено было доносить не только на тех, кого знаешь, но и на тех, кого не знаешь, но кого можешь подозревать, что он из нетчиков. Тогда нам нельзя было купить хлеба на базаре из опасения попасть на доносчика и указчика, который из желания разбогатеть на чужой счёт мог указать на нас по одному подозрению. Нельзя было войти в церковь Божию, даже на дневной свет взглянуть. Мало ли кто подозревать мог! Мы, как тати какие, должны были бояться собственной своей тени.

Отец переносил всё и молчал, а за ним, разумеется, и мне говорить не приходилось.

— Говорят, землю православную отстаивать нужно от свейского короля, постоять за веру православную, оберегать церкви Божии, города и сёла защищать! — рассуждал отец. — Кто бы не захотел постоять за родную землю? Кто бы с радостью за неё головы не положил? Будто первый раз нам землю свою отстаивать.

вать! От татар, ляхов, немцев и от того же свейского короля, от всех отстаивали, ну и теперь готовы! Собирай же рать по обычаю. Я своих зацепинцев всех до одного приведу и сам впереди всех пойду. Договор выполню свято. Ведь князь Григорий Данилыч, удалая голова, предок наш, Данилы Васильевича сын, водил же по договору зацепинскую рать под Казань, хоть и не сидел уже на родном столе, там и голову свою сложил, ну и я не прочь! Но нет! Им не рать нужна, им нужно кабалу утвердить. Видишь, рать прежняя не хороша, не годится. Ополченье им не нужно. Они его не хотят, не требуют. Это старый порядок. А им нужно по-новому. Нужно рекрутчину собрать, в кабальные записать. Ну и записывай кого хочешь, только не князей Зацепиных!

Разумеется, я молчал, так как общего ополчения и народной рати в самом деле не собиралось, а велено было только от волостей, от городов да от общин рекрутов поставлять, подводки готовить и деньги собирать.

Была зима. Мы расположились в каком-то овине на задворках бедной деревушки, по до-

роге к Смоленску. Одеты мы были в серые зипуны, бараньи полушубки и деревенские лапти. Ночью отец больно прозяб. Мы собрали разного хламу и зажгли. Отец подошёл к костру и погрелся. На другой день в сумерки я запасся дровами. Ночью опять зажгли костёр. Было холодно. Отец достал серебряную фляжку, золотую чарку, налил романеи и выпил.

— Есть хлеб? — спросил он.

Хлеба не было.

— Нужно бы раздобыть как! — сказал он.

На рассвете я вышел на улицу, поймал мальчишку, дал ему алтын, — а вся деревня-то алтына не стоила, — и сказал:

— Ступай к Федоту и купи на грош хлеба, а копейка тебе за труды будет!

— К какому Федоту? — спросил мальчик.

— Ну вот к тому, что дом-то большой!

— Стало, к Петру! Это у него большой дом, он один и хлеб продаёт!

— Да, да! К Петру! Перепутал я, должно быть; Федот не продаёт!

Мальчишка убежал, а мы с отцом сели на завалинку у овина ждать.

Подошли к клети, по другую сторону ови-

на, два мужика.

— Говорю, не в порядке, стало, не в порядке! — сказывал один.

— Да в чём непорядок-то? Рассуждай! — говорил другой.

— А в том непорядок, что вот в запрошлом месяце у меня кринку масла унесли! Ну скажи, кто унёс?

— Да ты, може, сам под ёлку снёс, да спяна-то и забыл! А може, баба сарафан справить захотела, а тебе сказать и не подумала!

— Ишь ты! Как не баба! Ты, пожалуй, скажешь, что кринка сама себя унесла! Ну, а кто у Ерёмки по лету узду стянул?

— Хватил когда, по лету; да теперь рази лето? Ерёмка в город ездил, а там лихого народу не занимать стать! А у нас, слава те Господи, ни воров, ни татей не живёт.

— Ан живёт!

— Живёт! Где живёт? В твоей голове, что ли?

— Нет, не в голове, а где живёт — там и живёт!

— И ты видел?

— Коли говорю, так видел.

— Ну скажи где.

— Ну-ка ты, голова, скажи, отчего по ночам из Степанова овина дым идёт? Что он, по зимам-то ночью хлеб сушит, что ли?

— Да рази идёт?

— Вот третьи сутки кажинную ночь сам вижу, право слово, вижу!

— Да ты по ночам-то звёзды считаешь, что ли?

— Нет, я бурку наведать хожу; в закут поставили, так, знаешь, наведывать нужно. Только вот иду и вижу — месячно таково было — дым. Что бы такое? Сперва было спужался, пожар, думал...

Мы с отцом слушали. Отец встал и сказал:

— Довольно, идём!..

Мы не стали ждать мальчика с хлебом и пошли околицей, стараясь ни с кем не встречаться.

— Трёх дней провести на месте не дадут! — сказал отец. — Это было его первое слово ропота на нашу скитальческую жизнь.

В Зацепине — узнали мы — какого-то комиссара прислали и двух драгунов. Тот начал там всё мутить по-своему и мать очень стес-

нил, так что ей и весточки к нам переслать нельзя было.

Пожалел отец своё родовое Зацепино.

— Нужно этого комиссара и драгунов его во что бы то ни стало спровадить! — сказал он.

— Что ж, батька, — отвечал я. — Он, сказывают, занял Поликарпову избу, и драгуны с ним. Можно подобраться вечерком попозже, заколотить хорошенько кругом и всю избу вместе с ними спалить. А там и поминай как звали!

— Ну нет! — сказал отец. — Это не дело. Первое, своё добро жечь не приходится, а потом другого пришлют, и все хлопоты будут даром. Да и княгиню мою жаль. Ей и теперь жутко, а тогда совсем со света Божьего сгонят. Пожалуй, ещё подумают, что она велела. А я тебе вот что скажу, ну делали, что могли, а коли сила не берёт, делать нечего, нужно смириться. Это не значит, что мы волей ярмо принимаем, когда против нас чуть не целое царство идёт. Лучше голову дать снять, чем на нищенство весь род обречь. Пойдём к царю!

Царь, однако ж, головы не снял.

— Где был? — спросил он сурово отца, когда тот, потупив голову, молча стоял перед ним, приведённый Яковом Фёдоровичем Долгоруким.

— На богомолье ходил, за твоё царское здравие помолиться! — отвечал отец.

— Что долго?

— По обету пешком ходил, ну а ноги-то не молодые.

Отцу тогда давно за пятьдесят было, а от трудов и огорчений он казался старше.

Царь не сказал ни слова и назначил его к Ромодановскому в совет, а меня рядовым в Преображенский полк в запасную роту записал.

Ромодановский был вельможа умный, нашего рода, Рюрикович, от стародубских удельных князей, и тоже такого колена, которое долго удерживалось принять на себя иго служилых.

С виду он был тоже враг всяких новшеств, но только так вёл дела, что все они в царскую руку шли; за то Пётр его и любил.

Он сразу понял отца.

— Полно, князь Дмитрий Дмитриевич, — сказал он, — выше лба уши не растут, пролитое полным не бывает!

Отец смолчал; но ни подражать, ни даже согласиться с ним не мог. Раз даже сказал ему:

— Ты только Ромодановский, а я Зацепин!..
Помни!

Отец думал, что тот рассердится, но старый и суровый князь Фёдор Юрьевич только засмеялся.

— Э-эх, братец, ты всё своё! Пойми, что старое ушло, нужно начинать сызнова! И Ромодановский, и Зацепин, и Меншиков — все равные князья и все рабы государевой воли! Какой, братец, теперь род, когда вон детям нашим с рядовых службу начинать приходится!

Отец не сказал ни слова, но остался при своём. Ромодановский, нечего сказать, ему мирволил.

Мне мой полк показался хуже каторги. И ведь будто нарочно, — в полку были больше все дворяне да боярские дети, а меня записали в отделение, в котором урядником был сын нашего зацепинского пастуха.

Он под Нарвой ещё отличился и был, нечего сказать, молодец и грамотный; службу всю постиг до тонкости и, говорят, был мастер обучать. Он имел право не только штрафовать меня всячески, но на ученье даже бить. Я чуть с ума не сошёл, когда это узнал.

Когда меня к нему привели, он сказал:

— Ну, княжич, держи у меня ухо остро! Ведь отец-то твой, старый князь, у нас в Зацепине и сам не любил никому повадки давать! — и на первом же ученье так стал меня муштровать, что я счёл необходимым поговорить с отцом.

А отец в это время очень прогневил государя. Государь встретил его и сказал так, без сердца:

— Что ты, Зацепин, всё козлом ходишь? Не стыдно ли? Пора, кажется, за ум взяться, одеться по-людски и бороду сбрить.

На эту речь, сказанную милостиво и с усмешкой, отец отвечал:

— Жизнь моя принадлежит вашему величеству, а борода моя — мне!

И с этими словами он показал раскольничий оплаченный знак, разрешающий носить

бороду.

Государь очень рассердился.

— Старый дурак! — сказал государь. — Неужели ты думаешь, что я не знаю всех твоих пакостничеств и шатаний, за которые ты давно бы живота лишён должен быть! Я тебе мирволил, но смотри, берегись!

Когда я сказал отцу о моём тяжёлом положении в полку, отец позвал к себе урядника, своего бывшего крепостного.

— Слушай! — сказал он ему. — Коли ты чем тронешь или как оскорбишь княжича, то вот тебе моё слово, что не только отца и мать, не только всю семью, братьев и сестёр и все животы ваши, но самый двор, самую избу вашу со свету божьего сживу, по ветру размести велю, бревна на бревне не оставлю! Коли хочешь денег, он тебе даст! Мне не занимать стать, ты знаешь; а чтобы княжича, понимаешь, ни-ни!

— Да помилуйте, ваша княжеская честь, — отвечал смело солдат. — Денег ваших мне не нужно, а ведь я их милость обучать должен, так как же мне то ись? Ведь я в ответе буду!

— Уж там как ты знаешь, а слышал? Я сво-

их слов даром на ветер не пускаю. Коли ты жалеешь своих, так подумай.

Солдат подумал. Он пошёл к своему ротному. Немец такой поганый был.

— Власть ваша, ваше благородие, а княжича учить не могу — за своих боюсь!

Тот сейчас к Меншикову, а этот к царю.

— Вот какие проделки старые-то роды выкидывают! Государь тогда только воротился из Тулы — был чем-то недоволен и сердит.

Когда Меншиков сказал ему об отце, он разгневался — страх!

— Ты говорил это? Ты смел это говорить? — вскрикнул Пётр, когда представили к нему отца по его требованию.

— Пьян тогда был, так и не помню, что говорил.

Государь вспылил пуще.

— Пьян был, старый дурак! А кто тебе велит напиваться до беспамятства? Да как ты смел делать служилому человеку угрозы, а?

Царь оглянулся, должно быть дубинку искал, но дубинки не было, и он схватил отца за бороду.

Через секунду он опомнился. Эта минута

была самая страшная.

— Взять его! В кандалы, в застенок, в пытку! Сказать Ромодановскому, чтобы до корня добрался! Это всё Милославских отброски! Да я дурь эту боярскую выбью!.. Взять!

Будто из-под земли выросло четверо ординарцев, живо оковали отца и увели в Преображенский приказ, как явного слушника воли царской.

Плохо приходилось отцу. Не только головы лишиться должен был, но до того в застенке руки и ноги переломали бы.

Отец ни одним звуком не показал, что боится пытки или смерти.

— Хотите моей старой головы? — сказал он Ромодановскому. — Ну рубите, я шею протяну! Хотите кости ломать? Я и в том не поперечу, ломайте всласть! А говорить мне нечего: пьян был, да и только. Вот вам и весь сказ!

— Ну что же, князь, и поломаем ваши косточки княжеские, за тем не постоим, — отвечал князь Фёдор Юрьевич, посматривая на отца исподлобья. — Андрей Иваныч, позаботься, братец, чтобы завтра нам с утра вот его княжескую честь поразмять. Право, лучше,

князь, понадумался бы ты да порасскажал нам, что есть, без утайки, и тебе бы легче, и нам бы меньше хлопот. Ну а не хочешь, как хочешь. До завтра...

Вдруг вечером в каморку, куда посадили окованного отца, входит тюремный сторож.

— А зе, светлейший князь, я хотел разговор с вами весть: тысяцу рубликов маете?

Отец окинул его презрительным взглядом.

— Что тебе нужно? — спросил он.

— Визу, цто благеродный князь не узнал меня. А я к нему в его маетность Зацепу с Шмулем Исакицем из Полоцка хлеб покупить сам приеззал. О вей мир, какая богатая маетность! Думаю, как тысяце рублей у такого богатого пана не быть.

— Что тебе нужно? — ещё суровее и прерзительнее спросил отец.

— А то нузно, цто вот завтра светлого князя пытать станут. На дыбу поднимут, клесцами рвать тельце станут. Сказывают, сам князь-кесарь будет; ух, какой строгий, не приведи бог! А коли князь мне тысяцу рублёвиков позертвует, то я двери сейчас отворю, кандалы сниму и до Полоцка провозу сам, а

там Рига рукой подать, а из Риги к немцам и шведам, — куда только князь задумает.

— Ты всё лжёшь!

— Не лгу, ясновельможный пан! Мне вше равно безать нужно. Целовек я вольный, цесный еврей, а закабалил меня сюда князь Менсциков. Велел схватить и за своего музыка представить. Антон Мануйловиц, тот из насих, дай Бог ему здоровье, меня сюда определил. А то бы меня давно уз из пуски заштреляли. Здесь бы зить и ницего, хоть вше на трэфном сидеть приходится, да мне никак нельзя. У Шмуля Исакица доцка есть, Рифка, уз такая крашавица, цто я и не видал такой! Я на ней зениться хоцу. Отец не отдаёт, затем цто я беден. Ну и сюда тозе не отпустит. А коли я отсюда бегу да тысяца рублёвиков будет, зенюсь непременно, из Мовши зделаюсь Янкелем, и меня не то Антон Мануйловиц, а сам князь-кесарь не сысцет.

— Да как же ты меня выведешь, везде заперто и часовые стоят?

— О вей мир! Я шлесарь хоросий и ключи давно заранее приготовил. А цасовой у круглых ворот ресил со мной безать, тозе из на-

сих, князем Менсциковым со мной одинаково в полон взят.

Отец встал и походил по каморке взад и вперёд. Потом сказал себе решительно: «Нет, мне это не рука! Коли я бегу, Зацепино в казну возьмут и дети нищими останутся! Если же я на пытке себя не оговорю, то меня, может, замучат, а у детей ничего не отнимут. Так лучше уж пусть мучат, да дети-то все князьями Зацепиными останутся. Да и что я в Неметчине или у свейских народов делать стану? Нет, не рука!»

— Нет, жид, — отвечал он, — с тобой я не пойду. А вот что: тысячи рублей я тебе не дам, жирно будет. А дам тебе рублёвиков двести, если принесёшь перо и бумагу и снесёшь сыну записку. От него и деньги получишь.

Через минуту перо и бумага были доставлены, и вот что он мне написал:

«Любезный мой сын, князь Василий!

Посылаю тебе моё родительское благословение, навеки ненарушимое. Уведомляю, что меня завтра будут пытками разными в застенке мучить. Но ты будь покоен, ничем не

только тебя, но никого не припугаю! Коли замучат или голову снимут, не горюй, но помни завет: будь как есть настоящий Зацепин. Женишься, будут дети, их тому же учи, и будут над тобой милость Божия и моё благословение. Жиду дай двести рублей из кованого сундука. После меня Батановская волость — Андрею, всё остальное — твоё. Будь ему вместо отца. Благословляю обоих на счастье, твой отец, князь, теперь колодник.

Дмитрий Зацепин».

Письмо это у меня всегда в памяти; кажется, умирать буду и тут вспомню, как, запыхавшись, прибежал жид и говорит: «О Бозе, Бозе, какие муки сетлому князю готовятся! И клесцами сципать будут, и руки вывёртывать, пальцы давить и ломать, огнём подпаливать, воловыми жилами бить! Чужой дрозить от страха! О вей мир, вей мир! Пускай безит, я провозу, я выпускаю... И денег-то всего тысящу просу!»

Но отец не боялся ни смерти, ни мук. Он сказал нет и не ушёл, как ни соблазнял его жид, как ни уговаривал.

Однако мучиться ему не пришлось. На другой день допрос отложили. Потом Ромодановский вступился и сам ездил к Меншикову. Что он там с ним говорил, Бог его ведаёт. Только тот сейчас же к царице. А тогда Пётр только что взял её к себе от Меншикова. Молодая, красивая была, царь очень её любил. Она, дай Бог ей здоровья, выпросила отцу пощаду. Меншиков, я думаю, так из чванства бился. Покажу, дескать, этим старым князьям свою силу: хочу, дескать, казню, хочу — милую.

Но отцу всё-таки дело это так не прошло. Царь ему сказал:

— Коли ты, старый дурак, так напиваешься, что себя не помнишь, так вот тебе новое назначение: явись ты к всепьянейшему князю-папе Никите Моисеевичу Зотову, и быть тебе в его конклаве кардиналом. Да смотри! Коли у пастуха или его семьи хоть один волосок тронешь... слышишь! Я напишу нарочно к зацепинскому воеводе, так, понимаешь, за один волосок ты головой заплатишь!

Разумеется, после такого наказа пастуха тронуть было нельзя. Но не прошло месяца,

как мой урядник прибежал к отцу, бросился в ноги и стал у него со слезами просить прощения, заверяя и клянясь всем на свете, что княжичу, то есть мне, первым слугой будет.

Дело в том, что доняли его, не мытьём, так катаньем!

В Зацепине, кроме отца, матери, братьев и сестёр урядника, жила ещё девушка, тоже наша крепостная, дочь второго садовника, Маланья. Эта Маланья, ещё до рекрутства, невестой урядника была, и он любил её больше отца-матери, больше души своей; на побывку раз к ней отпросился из Питера, — тогда он не был ещё в запасной роте, — в Зацепино пешком ходил. Кто-то шепнул отцу, он и распорядился. Семьи урядника он не коснулся ни на волос, велел им все льготы давать, а велел схватить Маланью и отправить её тайно в Шугарановскую волость, вёрст эдак за пятьсот, и там велел держать её на господской работе впредь до распоряжения, да так, чтобы никто не знал и не подозревал ни где она, ни куда и по чьему распоряжению исчезла. Отец её плакал по ней, как по умершей, и даже не подозревал, что отправлена она по господско-

му приказу. Он думал, что просто сбежала девка, и больше всего подозревал урядника, думал — верно, к нему.

О Маланье воеводе не писали, потому ему и в голову не приходило что-нибудь о ней думать или доносить. Он доносил только, что пастух цел, семья его невредима и никаких притеснений себе не терпят. Маланьи между тем и след простыл.

Дошла весть до бедного жениха. Он света не взвидел. Удар был нанесён туда, куда он не ждал. Он никак не полагал, что князь мог даже знать о его тайной зазнобушке, о его сватанье и жениханье. Воротясь из побывки, он всё ждал случая выпросить царскую милость, то есть приказ — отдать ему девку Малашку в жёны. А тут, хоть бы приказ такой и вышел, — где её искать. Известно, скажут — знать не знаем, ведать не ведаем, может, с любовником, а может, в скиты бежала девка, кто ж тут виноват? Но он знал свою Маланью, или, может быть, сердце ему подсказало, только он прямо прибежал к нам и на всё согласился.

Тогда моя служба пошла повольготнее.

Немец, ротный, не в урядника был — от денег не отказывался, так что я служил на полной своей воле; а всё же я и отец считали мою службу в полку игом, тягчайшим, чем было иго татарское, и оба только и думали о том, как бы это иго с нас сложить.

Свейский Карл в Россию вошёл. Царь поехал к войску, и нас повели за ним, чтобы заместить убылых людей в полку. Под Лесным в первый раз я пороху понюхал, ничего! Даже благодарность начальства заслужил. В Полтавской битве я не участвовал: в запасе стояли. Но когда шведы дрогнули и побежали, Меншиков и нас захватил, вдогонку добивать. Почитай, всех уничтожили, а кто и спасся, так в полон попал. Торжество и радость были великие.

На службе числился я чуть уж не пятый год, капралом был сделан, а всё считал себя в полону и думал об одном только, как бы от такого ига себя освободить? Нас повели к Пруту, против турок. В одной из стычек меня взяли в полон, хотя и отбивался я всеми силами от проклятых басурманов, как и следовало православному. У меня были деньги. Их турки не

нашли. Эти деньги помогли мне бежать. Но, убежав, я и не подумал явиться в полк. «Что я за дурак, в самом деле, чтобы своей волей в кабалу пошёл? — думал я. — Ни за что! Лучше смертная казнь!» Рассуждая так, я решил идти прямо в Зацепино, ну и пошёл. Пришлось мне пробираться тайком и наугад, потому что дороги не знал, да и прятаться от всех нужно было. Деньги у меня все вышли, и я крайне нуждался. Оборванный, холодный и голодный, пешком, прячась от своих и чужих, пробирался я степями и камышами к Воронежу, не всегда имея возможность добыть себе кусок хлеба. Но ни на одну минуту не подумал объявить о себе, явиться, хотя и знал, что меня, как бежавшего из плена, примут за спасшегося чудом. «Это будет не по-нашему, — говорил я себе, — будет не по-зацепински, чтобы волей в неволю идти! Там уж будь что будет! Пусть считают меня в полону или хотя мёртвым, пусть возьмут силой!» И плутался я, и маялся, а всё продвигался, стараясь всё на полночь да на восток идти. Больше года так шлялся, как вдруг вместо Воронежа вышел на Клязьму. Ну тут дорога пошла знакомая. В

этих местах мы ещё с отцом шатались, когда от службы прятались. Дело пошло спорее, и наконец я увидел нашу зелёную колокольню Спаса Нерукотворного, воздвигнутую моим прадедом Андреем Дмитриевичем в память своей первой жены. Помню, как я обрадовался и истинно от души помолился. А в Зацепине, по счастью, я нашёл отца. Матери уже не было в живых.

Надоело царю смотреть на хмурого боярина и в пьяном конклаве. А как он больше всё отмалчивался и его не сердил, в деле лопухинцев оказался чистым как стекло, и царю доподлинно было известно, что по этому делу он и говорить не захотел, и как меня считали убитым, а о брате Андрее писали всё хорошее, хвалили, — то как-то раз, после хорошей выпивки, царь вдруг спросил:

— Ну что ты, Зацепин, всё хмуришься? Сидишь, словно ворон на дубу или филин в дупле. Али не рад нашей царской радости, что вот викторию вспоминаем и нашу матушку-Россию прославляем?

— Как не радоваться твоей радости, государь! И я радуюсь, хотя на сердце кошки скре-

бут! Вон сына не стало, за тебя в бою лёг; другого сына ты Бог весть куда заслал, ну пусть тебе служит! Жена с горя померла, двух девочек на руках оставила; а животы, какие были, без присмотра расхищаются, пока я здесь сижу и в почтенном соборе пирую. Как же мне, царь, не радоваться и мошкаррой разной не утешаться? Велишь в пляс, я и в пляс пойду!

Пётр нахмурился и гневно взглянул на него.

— Ну, чёрт с тобой, старик! — сказал он. — Поезжай к себе в лес, коли ты всё волком глядишь, да не смей мне и на глаза показываться! Сын твой если и убит, так убит в честном бою, не за меня, а за Русь святую, за веру православную! Другой учится и, Бог даст, человеком будет. А что жена умерла, так в этом никто не виноват, да и не всем до ста лет жить. Либо муж, либо жена, всегда который-нибудь прежде умирает. Убирайся же с глаз долой!

Отцу не нужно было повторять этих слов. На другой же день он уехал из Москвы.

Не ведал того царь, что если не хотел отец разговаривать ни с лопухинцами, ни с рас-

кольниками, как после ни он, ни я не стали мешаться по делу царевича Алексея в заговор Кикина, то не потому, что с новшествами мирились, а потому, что думали: пусть меж собой грызутся, как хотят, нам какое дело? Мы — Зацепины!

Как бы там ни было, но отец был уже в Зацепине и несказанно обрадовался, когда увидел меня. Он никак не чаял видеть меня в живых. Первым делом его было спрятать меня от целого мира, спрятать так, чтобы сто Девьеров не нашли. Попавшись, ведь я не только сам погибал, не только губил отца, как укрывателя, но сгубил бы весь род свой, стало быть, всех будущих потомков наших, то есть моих и брата, князя Андрея, так как всё имущество наше, как изменника-дезертира и его утайщика, подлежало бы изъятию в казну. Скучновато было всё прятаться, да что было делать-то? Не в кабалу же в самом деле было волей идти?

Но вышел такой случай. Дело моё взялся устроить Вилим Вилимович Монс. Этот немчура тогда сила была.

Отец подобрался к нему через Егорку Сто-

летова, с которым познакомился ещё в Москве, и кызылбашского жеребца ему подарил.

— Деньги нужны, — говорил Егорка.

Отец за деньгами не стоял.

— Что делать, — говорил отец. — Платим и кланяемся за грех предков наших! Ведь сила солому ломит, поневоле солома согнуться должна!

— В полону у татар были, — продолжал он, поясняя необходимость согнуться, уступить, чтобы потом взять своё. — Татарам кланялись и платили; потом попали в полон Москве, — та всё взяла и тоже заставила кланяться и платить! Теперь попали в полон немцам, — ну, немцам кланяйся и плати, видно, ещё не искупили родовые грехи свои!

И платили, и кланялись мы Монсу, Егорке Столетову, Матрёшке Балк, сестре её Аннушке и всем, кто только случай имел. Посылали памятки Меншикову, Толстому, Ягужинскому, самой царице калмычку выписали. Егорка бумагу написал от отца, что вот привезли меня к нему, больного и раненого, из хивинского плена, куда будто продали меня турки, под-

няв без памяти, с проломанной головой и с двумя пулями в груди, и что вот в настоящее время я от всех этих ран, болезней и мучения самый рассудок потерял и даже своё имя забыл, потому не человек, можно сказать, стал, и не только службы, но и ничего человеческого исполнять не могу. К этой бумаге приложили свидетельства лекарей разных, кого только могли подкупить, сам воевода и его помощник подписались. Одним словом, хлопотали изо всех сил, пока не получили полной моей отставки, будто бы за ранами и увечьем.

Тогда отец позвал меня к себе и говорит:

— Ну, Василий, теперь ты должен жениться. Ведь тебе уже за тридцать, давно бы пора было, да сам знаешь, какие обстоятельства мешали. Теперь же пора, пора! Коли ты не женишься — род Зацепиных пропадёт. Андрея я своим не считаю, хотя и послал к нему недавно письмо и деньги, да живёт он у басурманов, у папистов, возится всё с ними, учится у них всякому окаянству, — долго ли до греха, пожалуй, и сам папистом или басурманом станет! Какой же он будет Зацепин? Стало быть, тебе нужно жениться непременно

но, и откладывать дело в долгий ящик нельзя.

Вот таким-то образом состоялась моя свадьба».

В глухой, отдалённый угол ветлужских лесов преобразовательные требования царя долго не могли проникнуть. Поэтому свадьба Василия Дмитриевича происходила на точном основании преданий, сохранившихся в старинных боярских родах, и с соблюдением всех обычаев и обрядов, передаваемых из рода в род в древней нашей жизни, от времён язычества, даже до нынешнего времени. Обряды эти, составлявшие, вероятно, часть языческого богослужения, так как заключают в себе прославление языческих божеств, удерживались в русской жизни отчасти из суеверия, боявшегося изменением свадебного порядка лишиться себя тех благ, которых всякий ожидает от семейной жизни, отчасти же от преемственной преданности народным верованиям. В них сохранялась неизменно истинно русская, народная старина, не тронутая ни норманским влиянием, ни татарским погромом, ни московским самовластием. Поэтому обряды эти свято чтились Зацепиными, как

завет предков.

До венца Василий Дмитриевич невесты своей не видал и не знал даже, на ком остановится выбор его отца. Смотрины невесты были возложены на его родную тётку, княгиню Мосальскую, которая взяла на себя труд объездить дома, где были взрослые девицы, могущие быть, по родовой гордости князей Зацепиных, избранными в невесты для одного из молодых представителей их рода.

Когда, после некоторых колебаний, между отцом и ею было решено, что приличнейшей супругой для Василия Дмитриевича могла быть одна из княжон Кубенских, княгиня Мосальская отправилась к Кубенским и, разумеется, была принята с большим почётом.

После первых обыкновенных приветствий княгиня Мосальская сказала Кубенской, что она много слышала хорошего о её дочерях, слышала, что они и красавицы, и скромницы, и рукодельницы, и очень бы хотела с ними познакомиться. Кубенская, разумеется, поняла, в чём дело, и позвала обеих своих дочерей: Груню и Сашу. Мосальской больше понравилась Саша, младшая сестра; но когда ей

тонко, очень тонко дали понять, что прежде старшей сестры выдавать младшую замуж они не полагают, то Мосальская, рассчитывая, что её племяннику Василию ждать некогда и давно уже пора было озакониться, перенесла свой хвалебный гимн на старшую, Грушу. Эти похвалы её были приняты княгиней Кубенской вполне сочувственно, и она немедленно начала показывать Мосальской шитьё и другие рукоделья своей княжны Груши; начала рассказывать о её воспитании, доброте и других качествах, представила ей нянюшку и сенных девушек княжны Аграфены Павловны, которых княгиня Мосальская, разумеется, щедро одарила. За обедом княжна Аграфена Павловна сидела подле княгини Мосальской. Она же проводила её в опочивальню для послеобеденного отдыха и сидела подле её постели. В заключение, для доказательства своего полного расположения и уважения, с тем вместе, разумеется, чтобы показать, что её дочь Груня — товар нележалый и непорочный, а девушка во всех отношениях хорошая, скромная и благонравная, княгиня Кубенская, угощая Мосальскую всем, чем можно, сказа-

ла ей, что с дальней дороги ей нужно отдохнуть, — шутка, без мала двести вёрст проехала, нужно оправиться, и предложила, по русскому обычаю, сходить в мыльню. Мосальская не отказалась. Тогда Кубенская приказала Груне сопровождать её и угощать, наблюдая, чтобы всё было хорошо, в порядке и чтобы всего было вдоволь.

Таким образом, Мосальской был представлен случай лично удостовериться в правильном и красивом сложении княжны, в её девической красоте и скромности. Она могла вполне оценить внешние достоинства молодой девушки, которую выбирала в подруги жизни своему племяннику. Она убедилась, что будущей супруге его не нужно ни подкладок, ни фальшивых кос, ни сурьмы, ни белил, что она не горбатая, не кривобокая, не золотушная или чахоточная, а просто хорошая девушка, которая, надобно думать, будет хорошей женой и хорошей матерью. Возвратясь, она расхвалила Груню брату. Тот, не говоря ни слова, поехал сам к Кубенскому; переговорил обо всём, что следовало, уговорился и о рядной записи. Потом гостил там целую неде-

лю и порешил всё настолько, чтобы на следующей неделе можно было, благословясь, и дело начать. На возвратном пути он заехал просить быть сватами Вадбольского и Щепина, князей их же рода. Устроив таким образом это дело, он воротился домой и велел позвать сына.

— Ну, Василий, мы с тёткой тебе невесту сыскали на зависть. Нашего рода, Рюриковичей, княжна, во всём подходящая и не бедная. Сватами пригласил князя Григория да князя Ивана Алексеевича. На той неделе поедут. Выбирай себе дружку и подружьев.

Василий Дмитриевич только спросил на это:

— К кому же, родимый, ты надумал сватов посылать?

Да и спрашивать более было нечего. Ведь переменить было невозможно. Отец заручился за него своим словом, а разве может слово князя Зацепина на ветер лететь? Василий Дмитриевич был уже не мальчик, сам понимал, что после того, как отцы по рукам ударили, детям рассуждать не приходится. На весь род охулку положишь. А ведь он сам ни за

что в мире не захотел бы, чтобы на его род пятно легло.

Отец назвал ему невесту, хвалил её, но это для него было совершенно безразлично. Он не подумал бы возражать, если бы вместо Кубенской ему назвали Вадбольскую, Ростовскую или какую бы там ни было иную княжну. Он не сказал бы ни слова, если бы даже знал или слышал, что выбранная ему отцом невеста была кривобока или глуха. Вопрос его женитьбы был вопрос рода, ясно, что и решать его должен был глава рода. Что же касается до него самого, то выбранный им дружка мог смело в тот же вечер начинать свою: «Славу Ладу и Лелю», с которой начиналось в древней русской жизни величание жениха. Таким образом, Василий Дмитриевич стал из молодого княжича настоящим князем и семейным человеком. Аграфена Павловна, его жена, была действительно хорошая женщина и добрая подруга. Она заведовала всем в доме и была прекрасная хозяйка, несмотря на свою молодость. Старика тестя она берегла, ходила за ним как за ребёнком. Он жил долго. Андрею уже не то четвёртый, не то пятый год

пошёл, как старик что-то очень расхворался. Мать подвела к нему его внука Андрея.

— Батюшка, благослови внука-то! — сказала она.

Отец приподнялся.

— Благословляю тебя, — сказал он, осеняя ребёнка образом. — Будь ты своему отцу и роду нашему тем, чем князь Зацепин! Не забывай это!

«Потом меня и жену благословил, послал своё заочное благословение брату Андрею и велел ему Батановскую волость отдать.

— Он не виноват, — проговорил отец, — если он не такой, каким мы желали бы его видеть. Он искупительная жертва за нас.

После стал меня благодарить. Благодарил за верность родовым преданиям, за любовь и почтение к нему.

— Помни — сказал он, — род прежде всего! Сына тому же учи и других детей, если, Бог даст, будут. — Тут вспомнил о внучках, тоже благословил, старшей Аграфене много говорил о любви и послушании, а младшая, Елизавета, слишком ещё мала была. Потом ещё раз простился с нами и почил с миром. Жена

закрыла ему глаза.

Да! Счастливо я с женой живу вот уже более двадцати лет. Слова от неё поперёк не слышал. Раз только как-то, в первые ещё годы, из Москвы портниху привезли, там обучалась; я и вздумал пошалить, пощекотал там её, что ли, при встрече. Увидала жена и таково тихо сказала:

— Князь Василий Дмитриевич! Я в твои мужские дела там, где на стороне, не мешаюсь! Это дело твоей совести. Но в доме нашем, уж как ты там хочешь, о чём-нибудь таком и думать не моги. Не то я от тебя уеду Богу молиться и в монастырь уйду.

И не стала держать при себе портнихи, настояла, чтобы замуж её выдать, а потом, когда стали требовать людей Петербург строить и на канальные работы, потребовала, чтобы её с мужем я в Питер отправил. Я, разумеется, не спорил.

Этот только раз она и выказала себя, а то никогда ни слова. Всегда любящая, послушная, детям мать, а мне друг... Между тем, между тем...»

Лет ещё за двенадцать до свадьбы, когда

он вместе с отцом в нетчиках скитался, стараясь скрыться от страшных указов Петра, — он был ещё совсем юношей и шёл куда-то в Пскове, — вдруг его обожгли чьи-то глаза.

«И что это за глаза были! — вспоминает Василий Дмитриевич. — Бывают же такие ясные, чистые, как лазурь небесная! Глубоко смотрели на меня эти глаза из-под длинных ресниц, в самое сердце заглядывали!

— Боярин молодой, помоги! — сказала ему девушка, сверкая своими глазами. — С матушкой тут на улице бог весть что приключилось, обморок, что ли, какой!

Щёчки говорившей зарделись ярким румянцем; на ресницах засверкала слезинка, а сама она будто улыбнулась, светло так улыбнулась.

Я бросился по указанию, дотащил старуху до скамьи, положил, sprыснул водой и позвал людей, которые донесли её до дому. Они жили близко.

— Что с ней сделалось? — спросил я.

— Бог ведает! С утра матушка жаловалась, а сегодня праздник, — как помолиться не пойти? Только идём домой, вдруг матушка

опустилась, хочу поднять — сил нет! А на улице ни души. Только вот, на счастье, ты идёшь. Прости, что потревожила.

Мать скоро пришла в себя. Обе они благодарили меня, а я думал: «Господи, бывают же такие глаза, ведь взглянуть на них радостно!»

Она оказалась дочерью какого-то приказного, стало быть, девицей, вовсе не подходящей быть подругой жизни светлого князя Зацепина. Из Пскова они должны были скоро скрыться. Он больше и не видал её. Но что до того? До сих пор он чувствует на себе этот светлый взгляд, эту тёплую, сердечную улыбку.

«Полжизни, кажись, отдал бы, — думает Василий Дмитриевич, — за то, чтобы эти глаза смотрели на меня любовно да ласково, чтобы видел я в них привет сердечный... Ведь вот Груня у меня добрая, хорошая! С нею я целую жизнь счастливо прожил! Но всё-таки в этой счастливой жизни будто не было чего, будто было что-то пропущено, чего я не испытал и за что даже теперь, старик уже, готов был жизни не пожалеть».

Но всё это уже прошло! Где она? Что она?

Он не знает! Он устроился, женился, и ясно-окая красавица ступевалась среди бурь житейской суеты. Но при воспоминании о ней и теперь будто щемит сердце, будто что-то трогает, смущает. Он схоронил мать, отца, стал отцом трёх сыновей и двух дочерей, единственным владельцем села Зацепина и других волостей, оставшихся в его роде от их сильного некогда княжества, стал старшим представителем их рода и теперь ещё, несмотря на все невзгоды, славного и богатого. Старшему сыну его, Андрею, вот уже семнадцать лет, а старшей дочери Аграфене восемнадцать, и, говорят, красавица. Младшей дочери пятнадцать лет, и тоже, говорят, хороша. Ну Дмитрий и Юрий ещё дети одиннадцати и девяти лет, но и они князя Зацепины, и о них он думает, очень думает, и должен думать.

Оправдал ли он надежду отца? Возвысил ли род свой?

Нет! Тысячу раз нет! Он не стал ни богаче, ни сильнее, ни выше. Напротив, дети беднее его будут. Но он всю жизнь свою посвящал своему роду, делал всё, что мог, делал то же,

что делали его отец и дед, стараясь поддерживать своё имя и значение в том виде, в каком желали видеть Зацепиных все предки его: независимыми, богатыми, не верстающими ни с кем и не уступающими никому.

Все обычаи рода, все предания старины, весь порядок жизни, даже до мелочей, Василий Дмитриевич сохранял и соблюдал свято. По мере того как рождался каждый из сыновей, Василий Дмитриевич, по прежнему неизменному закону Рюриковичей — закону, перенесённому ещё из воинственных обычаев древних скандинавов, назначать новорождённому часть добычи, — наделял их назначением особого участка из своих имений. Старшему, Андрею, назначил он две деревни с небольшой усадьбой близ Зацепина, — те самые деревни, которые при жизни отца были отданы ему самому. Второму сыну, Дмитрию, он назначил прекрасную каменную усадьбу на реке Воче с Шугарановской волостью, дающей дохода более чем втрое против того, что он назначил старшему сыну. Третьему сыну, Юрию, он назначил почти такую же волость, как и Дмитрию, только подальше.

Таким образом, старший сын, Андрей, казался как бы обделённым против братьев, но зато, после смерти отца, ему предполагалось отдать село Зацепино со всеми прилегающими к нему землями, деревнями, имениями и волостями, доходность от которых более чем вчетверо превышала доходность имений, данных обоим братьям. Правда, это усиление его средств возлагало на него обязанность после смерти отца быть для братьев и сестёр вторым отцом. В завещании, заготовленном Василием Дмитриевичем, было сказано, что он должен указывать, направлять и помогать им; сказано, что словом и делом он должен быть их головой, опорой и помощью. Но взамен того он должен пользоваться их уважением; видеть их повиновение и почтительную любовь к себе. Дочерей своих князь полагал наградить из имений матери, данных князем Кубенским за Аграфеной Павловной. От них завещание требовало только послушания: сперва отцу и матери, после — старшему брату, а когда выйдут замуж — мужу. Вопрос рода заключался в сыновьях. От них завещание требовало сохранения родовых начал,

верность им и самим себе и самоотвержения к их укреплению и возвышению; поэтому сыновей Василий Дмитриевич старался всеми мерами и наделить, и научить, чем мог и как умел.

Во всех этих наделах и указаниях было явное подражание Ярославу Мудрому и Владимиру Мономаху, также наделявших своих сыновей городами и уделами по их старейшеству, стольные же города свои оставлявших старшим сыновьям по их праву первородства и обязанности быть отцами братьям своим.

Этот родовой обычай, охватывавший собой высший слой населения и вызвавший себе подражание в лучших представителях других родов, ввёл в ошибку Петра Великого, думавшего установлением майората выполнить требование народной жизни в поддержании прав первородства. Ошибка эта отразилась весьма тяжкими последствиями на экономической жизни высшего сословия, положив начало розни между им и другими слоями общества, вводя в него понятия, совершенно несродные народной жизни. Русский народ, не подвергаясь никогда феодаль-

ному гнету и состоя из одного тесно связанного между собой племени, а не из победителей и побеждённых, слияние которых образовало общественную жизнь Запада, не мог смотреть на детей своих иначе как на естественных и равноправных представителей своего отца, долженствующих поэтому в равной степени пользоваться всем, что им отцом предоставляется, без различия в их старшинстве. Понятие о значении первородства было достоянием и сохранялось только в некоторых старинных родах, поставленных в исключительное положение, и то в соединении с понятием о патриархальной власти отца, могущей распределять оставляемое им наследство между детьми по своему усмотрению. Поэтому установление майората не могло не вызвать весьма важных недоумений и затруднений в русской жизни. Но в то время, когда практическое законодательство сохраняло ещё свою патриархальность, весьма трудно было отделять то, что составляло общее требование жизни, от того, что исходило из исключительности положения. Установление майората особенно тяжко отражалось на дво-

рянстве, хотя собственно для поддержания дворянства и было введено. За несколько лет до начала нашего рассказа оно было отменено, и этой отмене наиболее радовались те, которые должны были бы преимущественно его желать.

Василий Дмитриевич, распределяя своё состояние между своими детьми, разумеется, не думал ни о майорате, ни о требованиях русской жизни. Он думал только об обычаях и порядках своего рода, думал только о том, как бы избежать этих новшеств, которые, благодаря почину великого преобразователя, со всех сторон врывались в русскую жизнь, подрывая собою значение родового начала как естественного представителя старины. Правда, он видит, что жизнь идёт в другую сторону, получает иной смысл. В этом новом направлении значение рода теряется с каждым днём. Возникают новые основания общест-венности — богатство и личный труд. На эти основания опираются и из них исходят — знание, предприимчивость, деятельность и другие условия возвышения и успеха. Он видит, что эти и только эти начала новой жиз-

ни поднимают человека в глазах нового общества. Он знает и видит, чем ещё при московских царях стали именитые люди Строгановы; видит, в какой степени в царствование Петра возвысились Демидовы, Сердюковы, Крюковы, Баженовы — лица, не имевшие родового значения, поднимавшиеся из толпы благодаря именно знанию, предприимчивости и деятельности, приведших их от труда к богатству. А Меншиков, Ягужинский, а иностранцы — Девьер, Остерман, Миних? Он видел, что сам гигант-царь не задумывался жать руку простому кузнецу, когда тот останавливал на себе его внимание своею работой; видел также, что царь этот не считал для себя унижением вступать в соглашение с последним торгашом, когда того требовала польза России.

«На то его воля была! — думал про себя Василий Дмитриевич. — Да, воля; но воля, основанная на практической разумности, воля, поддерживаемая необыкновенной силой духа!.. Кто что ни говори, а царь, как я его вспоминаю, как я о нём думаю, был великий царь! — рассуждал про себя Василий Дмитри-

евич. — Правда, насилие его было чрезвычайное, ломка страшная, но насилие это было не только произвол, но и разумность! Самые новшества, которые он вводил и которые мы так ненавидели и ненавидим, были не только прихоть самовластия, а какое-то особое, непонятное для меня стремление всё сплотить, соединить, всему дать один обличованный им образ, в который он хотел отлить всю жизнь Древней Руси. И доказательством тому, что всякое новшество, вводимое им, он испытывал прежде на себе, выполнял сам. Какая тут прихоть, когда прежде чем, например, велеть снести бревно, он сам взваливает бревно на плечо и несёт, чтобы знать, не тяжело ли? Когда собственно себе он отказывает во всём, даже в новых башмаках, но не жалеет ничего на то, что ведёт к поставленной им цели? Когда всюду и во всём себя первым кладёт под обух? Помню, как служил ещё я, рассказывали, что когда решили они напасть на вошедшие в Неву шнявы и пошли на галерах и шлюпках их брать, то под огнём шведских пушек впереди всех шли шлюпки царя и Меншикова. Обе шлюпки подошли к борту шня-

вы вместе; Меншиков, однако же, секундой прежде царя успел схватиться за борт судна и начал было лезть на шведов, встречаемый штыками, интрепелями и направленными прямо на лезущих пистолетными выстрелами. Царь, увидев это, окликнул:

— Сашка, куда лезешь, дурак, убьют ни за грош!

Меншиков по этому слову царя-друга обернулся. Секундой этой царь воспользовался, заступил место Меншикова, заслонил его собою и полез вверх вперёд, под первый удар, проговорив только Меншикову:

— Прежде отца в петлю не суйся!

Он вошёл первым на борт шнявы, тогда как Меншикову удалось войти только вторым, под прикрытием царя, которого, разумеется, он сам хотел прикрывать.

Да! Он был именно, как после говорили, гигант-царь, богатырь-царь! И вот теперь, когда его не стало, не должны ли были бы все эти введённые им новшества обратиться вспять, пасть сами собой, отступить на второй план? Не должны ли были бы они немедленно дать дорогу старому? А между тем —

нет! Они с каждым днём растут, развиваются, врываются в жизнь со всех сторон! Теперь для меня естественный неотложный вопрос: при таком положении что мне делать с Андреем?

По прежним вековым обычаям нашего рода я выучил его не только тому, что сам знал, но многому тому, чего и сам не знал. Пускай не говорят, что мы — враги новшеств, враги всякого знания. Знать — всё хорошо, против этого никто и ничего не говорит, да в нашем роде никогда и не бывало безграмотных. Грамоте он обучен, цифирь знает, читал и святых отцов, и сказания о землях чужеземных. К тому же он отлично ездит верхом, дерётся по-немецки на шпагах, плавает мастерски, стреляет тоже метко, чего же ещё? А вот брат пишет: нужно образование! Какое это образование? Из чего оно состоит, как получается и к чему приводит? И зачем это образование может понадобиться князю Зацепину? Вот в позапрошлом году наезжал сюда Волконский и у меня был; спрашиваю у него, а он говорит: по-французски и по-немецки учить нужно! Я было руками и ногами, но, рассудив, подумал:

точно, знание всегда знание! И опять, делать нечего, решил и взял учителя из пленных шведов, что тут остался за разменой, должно быть, русский хлеб вкуснее, чем печёное кнакebre; пятьдесят рублёвиков на всём готовом жалованья положил и держу; но чему он обучил Андрея, чему учит Дмитрия и Юрия, не знаю! И если обучит, — хорошо, когда на пользу, а если на вред? Как подумаешь — с ума сойдёшь! А тут ещё, будто нарочно, два старых столбца рукописей, доставленных с разных сторон и писанных разными людьми, и обе рукописи говорят прямо, что падение рода нашего — наш грех и искупить его можно только трудом и молитвой.

Отец Ферапонт — человек умный и строгой жизни человек, наш молельщик и монах, нам преданный! Да как и не быть им нам преданными: весь монастырь-то усердием князей Зацепиных сооружён и поддерживается! Вот он мне и говорит, когда я стал ему рассказывать, какие колебания и сомнения меня одолевают:

— Не знаю, князь! По моему малому разуму и по обету отрицания от суеты мирской не

умею отвечать на слова, в коих видна гордость и славолюбие. Смиряющийся возвышается, а гордым Бог противится. По моему глупому рассудку, светлый род Рюриковичей был призван новгородцами и принят всею Русью по воле Божией княжить, а не царствовать. Пока он княжил, его, видимо, охраняла милость Божия. Но вот в своей великой гордости он захотел царствовать, и Бог оставил его, иже земному величию предел положен. Для царствования над Русскою землёю Бог избрал других людей, другой род. Эти избранники Божии возвысят и укрепят православное государство наше и в своей великой благости, любви и смирении перед волей Всевышнего, может быть, сами захотят в грядущем княжить, а не царствовать и тем возвысят и вознесут славу имени своего превыше всех владык земных. Пути Господни неисповедимы, и будущее в руке Божией! А вот что я тебе скажу: разбирали как-то на днях у нас монастырские рукописи и нашли много столбцов и рукописей, в которых говорится о славном роде вашем. Между прочим, попался столбец сказаний князя Данилы, не того князя Данилы

Васильевича, что сдал Зацепинск, а его правнука, Данилы Даниловича, внука его сына, Григория Даниловича, что Удалой Головой прозвали. Этот Данило Данилович от юных дней своих не возлюбил суету мира сего и посвятил себя Богу. Бог и просветил разум его великою мудростию. Святой жизни человек был и кончил жизнь свою в нашей обители, в схиме. Свиток сказания его зело испорчен крысами, облили чем, должно быть, что ли, только целые главы в свитке крысы уничтожили, а всё есть кое-что. К нему прибавлю ещё свитки: один писанный новгородским паломником, а другой — заозерским монахом. Прочитай-ка, князь, эти свитки. Монастырь тебе кланяется ими, как памятью о твоих предках. Не просветит ли Господь разум твой словами отшельников? Не разрешит ли колебания и сомнения твои? Скажу тебе, по моему малому уму, это пророческие хартии и великое указание сделано в них славе рода твоего.

С этими словами монах велел подать мне связку разных свитков и бумаг.

Вот столбец предка нашего, князя Данилы,

о роде нашем. А вот рукопись паломника под заглавием: «Повесть о том, как Господь милость Своему народу оказывает и как лютую злобу преследует». Третья рукопись без заглавия, обозначено только, что писана лета 7156, стало быть, в 1648 году, полиелейным монахом Амвросием.

Чуть не в сотый раз я читаю и перечитываю эти рукописи и думаю:

«Боже мой, а что, если и в самом деле это так? Если ошибались князья сильные и могучие, а правы вот эти монахи и паломники, которые говорят, что сила и величие — труд и любовь, а не отрицание и гордость. Если точно пролитое полным не бывает, и что было, то ушло, и ушло оно по воле Божией, стало быть, воротиться не может и не должно.

Но опять думаю, что скажут они, дети и внуки мои, если я отменю то, что сохранялось, как завет рода, переходя от отца к сыну, целые века, целые сотни лет?.. Что будут думать потомки наши, когда спросят, зачем я изменил преданиям рода своего? Нужно позвать Андрея, поговорить с ним. Он молод, но Бог, в своей великой благодати, умудряет и

младенцев. Отец в тяжкие годы наши, когда брата к басурманам в науку брали, а потом, когда нас на службу требовали и мы были в нетчиках, — всегда говорил со мною, хотя я и был тогда не старше Андрея... Вопрос ведь прямо до него относится! Я уже отжил, мне не начинать!»

В этих мыслях он ударил небольшой железной палочкой в колоколец, висевший тут же на столе, на деревянной подставке.

В дверях в ту же секунду столкнулись казачок, истопник и комнатный.

— Позвать князя Андрея! — сказал князь Василий Дмитриевич.

Все трое бросились как угорелые.

IV

Князя Зацепины

Князь Василий Дмитриевич всё ещё сидел перед своими столбцами рукописей, взглядывая то на ту, то на другую и отыскивая в них те места, которые особо останавливали на себе его внимание, когда вошёл его сын, молодой княжич Андрей Васильевич.

Он остановился при входе в горницу, видимо желая угадать, что угодно отцу: чтобы он подошёл к нему или на месте выслушал бы его приказания.

— А, Андрюха! — сказал отец, вздрогнув как-то особо своими густыми, нависшими бровями. — Поди-ка сюда, садись, поговорим!

Сын скромно подошёл к отцу, поцеловал его руку и безмолвно сел на скамье подле стола.

— Ты знаешь ли, куда я думаю отправлять тебя?

— Нет, батюшка, не знаю!

— В Питер!

— В Питер?

И на лице сына выразилось полнейшее недоумение.

— Да, в Питер, и надолго!

— А что, разве опять требовать стали?

— Нет, не требуют, Андрей. Я сам думаю отправлять!

— Твоя воля, батюшка. Коли велишь в Питер ехать, я и в Питер поеду, только, кажись, зачем бы?

— Зачем? На службу царскую!

— На службу?

И у сына задрожали уголки губ.

— Да, на службу. Приходится, видно, и нам себя закабалить!

Сказав это, Василий Дмитриевич задумался.

— Что же, батюшка, ты меня в служилые князья обратить хочешь? — сдержанно, но с нервным раздражением спросил Андрей Васильевич.

— Выходит, что в служилые. Что ж делать-то, когда время такое?

— Прости, батюшка, ты знаешь, я твой послушник, но что же с тобой случилось? Обни-

щал ты, что ли? Али новая невзгода какая над нами стряслась? Али, может, на меня за что гневаться изволишь?

— Нет, Андрей, не обнищал я, слава богу! Невзгоды никакой особой также не вижу, и сердиться мне на тебя не за что. Ты сын мой возлюбленный, мой первенец, и о тебе первая забота моя. Но вот думаю я, ночей не сплю, всё думаю: видно, того время требует, видно, воля Божия!

Отец опустил локти на стол и положил на руки свою голову, перебирая и трепля пальцами свои седые волосы.

Сын безмолвно смотрел на отца, но видно было, как щёки и губы его белели, глаза покрывались туманом, кровь отливала от лица.

— Слушай, — сказал отец, поднимая голову, — ты молод, но уже можешь понять дело нашего рода, дело князей Зацепиных! А для рода своего, для нашего славного имени мы себя жалеть не должны. Ты помнишь деда, помнишь последние слова его? Теперь спрашиваю: чем и как мы можем возвысить свой род? Смотри кругом, что видишь? Всё бьётся, мечется, идёт вперёд. Одни мы стоим и, ясно,

отстаём. Всё стремится к сближению, к объединению. Все понимают, что в единстве — сила. Мы только стоим за раздельность, за особенность, стоим за прошлое. Есть ли возможность, чтобы мы поборолли всех, а главное, победили время, которое, видимо, не за нас? По-моему, нет. Ты как думаешь?

— Я, батюшка, об этом никогда не думал, — отвечал скромно князь Андрей, — но когда ты спрашиваешь, само собою думается, одному всех не побороть.

— А теперь мы именно почти одни. Правда, есть ещё несколько отраслей нашего же дома... но всё это капля в волнах нашей Волги. Да и тут, смотря на эти отрасли, право, подумаешь, что и монах, и паломник правы. Они оба, будто согласившись, говорят: началом такой особенности рода Рюриковичей была гордость, а продолжение её ад нашего времени — дикость и лень.

Сказав это, Василий Дмитриевич легонько ударил по лежавшим перед ним столбцам рукописей.

Сын молчал.

— А поднимается ли, возвышается ли имя,

расцветает ли род от лености и дикости? Разумеется, нет! Поэтому поневоле подумаешь, не прав ли был князь Ромодановский, когда говорил он твоему деду, моему отцу: «Эх, князь, пролитое полным не бывает, выше лба уши не растут! Прошлое ушло, надо начинать сызнова!»

Сын молчал, стараясь угадать, что разумеет под всем этим отец.

— А если Ромодановский прав, — продолжал Василий Дмитриевич, — то как же не сказать, что, видно, не летать кулику ясным соколом, не сиять княжеству Зацепинскому своим собственным, родовым светом! Время не то. Будут или нет князя Зацепины великими людьми, но уже не в прежнем своём величии, а в новом порядке дел.

— Что же делать, батюшка?

— Что делать, по-моему — ясно. Склониться перед временем, или время нас сокрушит.

Он опёрся на стол и замолчал. Потом стал говорить тихо, медленно, как бы с трудом разжёвывая свои слова:

— Около трёхсот лет стоим мы особняком на Русской земле. Мы держались твёрдо: ни-

какие невзгоды не сломили нас, никакие несчастья не унизили. Ни в чём не положили мы проруху роду своему, ни перед кем не склонились, ни в чём не уступили. До того мы грудью служили Русской земле, устраивая и защищая её от врагов внешних и внутренних. Младшая отрасль колена Мономахова, мы стали в главу своего дома и руководили им, обороняя родную землю с востока, тогда как князья других отраслей нашего же дома, наши родичи и кровные, по нашему указанию и с нашею помощью отстаивали запад. Тогда был страшен восток. Оттуда шли враги наши орда за ордой, как волна за волной. Нужно было мощно разить их, чтобы прикрыть землю русскую. Так и разили их предки наших пращуров, князья Юрий Владимирович Долгорукий и Андрей Юрьевич Боголюбский. Но, возвышая так себя и род свой и получив преобладание над всею Русью как великие князья, ветвь дома нашего, наши предки не смирили страстей своих. Не победили они себя, как побеждали врагов земли Русской. Они забыли завет Ярослава быть для князей братьями, а для народа отцами. И Бог за то наказал

их, как наказал Бог до того другие ветви рода нашего, лишая их власти и наследия, подводя их под руку нашу или, ещё хуже, подчиняя пришельцам чуждым, желавшим искоренить даже самое имя русское. Мы не хотели внимать внушению Божию; мы грешили сугубо, чувствуя силу свою; грешила с нами и вся Русь. Бог прогневался и наслал на Россию татарский погром, погром страшный, неожиданный. Князья встретили врага грудью, легли целыми поколениями, защищая свободу и целостность земли Русской, но воли Божией не преступишь и не перейдёшь предела, положенного гневом Его. Началось иго татарское. Русская земля стонала стоном, жертвуя трудом и кровью сынов своих, красотой дочерей и гордостью князей своих. Смирилась Русь перед волей Господа. С коленопреклонением и слезами припала она к престолу Божию, моля о грехах своих. Не смирился только гордый род наш. Опираясь на татар, он начал теснить народ свой и поедать сам себя скорее и сильнее, чем он это мог бы, опираясь только на свои дружины. Татарин был всегда татарин. Он говорил: «Какое мне дело до твоего наро-

да? Собирай и заставляй, а мне подавай готовое! Ты князь, ты и княжи. Голов людских жалеть нечего. Коли сила не берёт, я помогу; а коли ума да доброй воли нет, — другого князя посажу». Вот по этим-то словам татарским мы и мутили. На народные же деньги покупали татарскую силу, чтобы давить и князей, и народ, всё подводить под свою высокую руку. А тут на западе явился новый враг, проходимец литовский — Гедимин. Погибала земля Русская. Замирала её доблесть и сила, гибли плоды труда её и разума. Стонала и плакала Русь, и молился народ русский, слёзно молился: «Да помилует Господь и простит его согрешения!» И помиловал Господь, простил Русскую землю. Не помиловал и не простил. Он только гордый, славолубивый и корыстный род наш. Мы поедом ели друг друга, тесня и крутя народ свой. Опять младшее колено нашей ветви, от последнего сына святого князя Александра Ярославича Невского, московский дом Ивана Даниловича Калиты взял верх. Московские князья, наши родичи и близкие, стали врагами нашими кровными, врагами хуже злой татарвы. Они поели нас всех и стубили

тем и волю русскую, и силу славного рода нашего. Зацепины держались долго. Но вот и наш час настал. Сила московская стала кругом... От посёлков новгородских и от родичей ярославских, от Галича и Белозерска до Хвалынского и Казани — кругом обошли Зацепинск московские полки. Кажись, нужно было бы дружно стать, но и тут распри и ссоры, как бы наследие Всеволода Большого Гнезда, не покинули нас. Наши младшие братья, удельные князья княжества Зацепинского, все покинули нас и приняли сторону Ивана Московского, который начал уже себя царём величать. Что было делать? Пришлось уступить!

Молодой человек, который до того молчал и слушал, вдруг вспыхнул и вскочил. Глаза его сверкнули; правая рука судорожно сжалась в кулак.

— Как уступить, батюшка? Разве нельзя было обороняться? Разве нельзя было шаг за шагом отстаивать родную землю и наше родовое право? Разве нельзя, наконец, было умереть, как рязанские князья умерли, когда татары пришли, и как после легли Зацепины

на Куликовском поле, отстаивая землю свою? Как ты мне сам же рассказывал. Не считай меня хвастуном, отец, но я ни за что бы, кажется.

— Ты стал бы драться? Хорошо! Но к чему бы это повело? У нас, если бы собрали старого и малого, не набралось бы и двадцати тысяч ратников, а Москва выставила рать во сто тысяч, да наши же удельные князья к ней тысяч десять привели. Потом — у нас и тысячи самопалов не было, а московская рать вся шла с огненным боем. Пушек у нас было две, а у Москвы больше сотни. Куда же бы мы ушли с своею защитою? К чему бы привели своё княжество? Только к одному разгрому, одному разорению и своей собственной гибели! Москва не только сожгла бы наши сёла и посёлки, не только развеяла бы по ветру города и посыпала бы пеплом луга и пажити наши, но она вырвала бы с корнем, уничтожила бы всё, что только могло напоминать имя князей Зацепиных. Она уничтожила бы всё лучшее, всё дорогое нам, всё, что мы любили! Нет, Андрей, это было бы не дело разума! Там, где сделать ничего нельзя, пустая отвага не помо-

гает, а губит. Монах прав, говоря: тут нужен был разум!.. Вот видишь, до нас ещё был сильный и могучий князь Дмитрий Юрьевич Шемяка. Зацепины хоть по роду были и старше, но считались его удельными. К московскому дому он был ближе нас и сильнее нас. Он вздумал идти против Москвы. И чем же кончилось? Он умер одиноким и отравленным в Великом Новгороде; внуки его где-то шлялись между ляхами, а потом в конце концов должны были ударить челом тому же князю московскому. Где они теперь, бог их ведает! Ни слуху ни духу! Да кто и думает теперь о Шемячичах. Предок наш, князь Данило Васильевич, поистине был умный человек. Он понял дело как есть и видел, что никакая отвага не поможет против силы, потому и решил мириться, уступить. Он думал: «Ну что ж, носи в груди своё право, сохраняй его, думай, помни всегда, что ты есть, но склоняйся, уступай, когда силы нет. Ищи себе этой силы, ищи везде! Когда найдёшь, — другое дело; бери что своё!» С такими-то мыслями князь Данило Васильевич и сдал город Зацепинск и своё княжество на договор князю московскому; при

этом было выговорено, что мы сдаём княжество под высокую руку князя московского, отдаём на его волю суд и расправу, передаём все мыты и пошлины, выезжаем сами из стольного своего города, но, подчиняясь его высокой воле, как младшие братья, сохраняем полную свою свободу и независимость, считаемся князьями и его братьями, имеем право отъезда, в Зацепинске между лучшими людьми считаемся первыми, собираем и предводим зацепинскую ратью в случае, если московский князь её потребует. Именья наши остаются за нами, а взамен уступаемых сборов князь награждает нас особыми вотчинами. При приезде в Москву мы приглашаемся к его великокняжескому столу и в думу для обсуждения нужд Зацепинского княжества и имеем по нём неотъемлемое право представительства. В случае приезда нашего в стольный город свои жители его обязаны отдавать нам наши княжеские почести. Владыко должен встретить нас с причтом и крестом при колокольном звоне, а горожане — поднести хлеб-соль, по обычаю. Помещение нам отводит город, как бы и самому князю московско-

му, а воевода великокняжеский во время приезда состоит в нашем распорядке, с тем что мы не отменяем ничем повелений князя московского. Одним словом, было оговорено всё, что клонилось к чести и славе нашего рода, к сохранению памяти о правах его на зацепинское княжение и о его родовом достоинстве из века в век.

— И сдали княжество? — задумчиво спросил князь Андрей Васильевич.

— И сдали! Да подумай; спустя мало времени против Москвы ни Великий Новгород, ни Тверь не устояли, где же было устоять тут Зацепинску? Нет, про Данилу Васильевича, нашего пращура, можно было только сказать что Бог просветил очи его и он сделал то, что мог сделать, желая сохранить значение и славу рода нашего знаменитого. Мир праху его и вечная ему память! Благодаря ему мы до сих пор были независимы, могли бороться и силу искать, а то бы, опять скажу: вспомни Шемячичей! А Шемяка, князь галицкий, звенигородский и дмитровский, по силе своей и богатству был далеко не то, что мы, да и Москва тогда была послабее. Но он пал от того, что не

сообразил. Мы сообразили, склонились и вот держались независимо до сих пор.

По этому договору князь Данило выехал из Зацепинска и основал это наше село Зацепино. Здесь он жил, здесь и умер, не верстаясь ни с кем и не служа никому. После него остались три сына: князь Григорий Удалая Голова, князь Фёдор и князь Дмитрий. Князь Дмитрий умер бездетным, князь Григорий, по требованию Москвы, водил по договору зацепинскую рать к Казани, основал Свияжск и при этом сложил свою голову. Сын его, князь Данило, княжил на Вохтоме, оставил сына, тоже Данилу, но тот с детства рос постником и молчальником и сызмала клонился к отшельнической жизни. По смерти отца он пошёл в монастырь. Остался из князей Зацепинских один Фёдор. По смерти отца он тоже жил в Зацепине, в служилые князья не поступал, ни с кем не верстался и никому ни в чём не уступал. Также особняком жил и сын его, Юрий Фёдорович, князь суровый и гордый. Когда раз, по какому-то делу, он приехал в Москву и царь Василий Иванович, исполняя точно договор отца, позвал его к своему сто-

лу, то, по указанию самого царя, он занял первое место подле него самого. А когда хотел было восстать против того князь Василий Семёнович Одоевский — бывший уже в служилых, доказывая, что колено Святослава Ярославича, третьего сына Ярослава, по месту должно быть поставлено выше колена Всеволода Ярославича, его четвёртого сына, то государь указал быть без мест. Одоевский забыл или хотел забыть, что уже правнуки Святослава Ярославича были в ряду изгойных князей, владели Черниговом лишь на правах удельных и в версту не шли. Колено же Владимира Мономаха искони сидело на великокняжеском столе. Царь московский был нашим родичем и того же колена.

— Ты этак выше меня сесть захочешь, — сказал царь князю Одоевскому и выдал его князю Юрию Фёдоровичу головою.

Но суровый предок наш даже и не вышел к нему, дескать, на слугу сердиться нельзя!.. Дети Юрия Фёдоровича остались после отца малолетними, старшие умерли при жизни отца. Мать их, из рода князей Белозерских, была нашего же рода — мы больше всё женились

на своих — и также принадлежала к роду неслужилых князей, воспитывала детей своих в тех же мыслях. Вырастая, они знали, что им принадлежит Зацепинск, а двоюродным братьям их — Белозерск и что эти родовые стольные города их отняты московскими князьями силою, а не правом. Выросли они и в версту не встали, на службу не пошли. Они так же думали, как прадед их князь Данило, дед князь Фёдор и отец князь Юрий, как потом думали потомки их, мой пращур, прапрадед, прадед, дед, наконец, отец мой и все Зацепины, да и не одни Зацепины, но и другие ветви славного нашего дома Рюриковичей. Так же думал и я до сих пор: дескать, ну, Москва одолела, хорошо! Будем молчать и терпеть, а в версту не пойдём, служить не станем. Бог даст случай, и наша возьмёт! Возьмём тогда себе то, что наше, и будем княжить по Божьему промыслу. Велика была сила татарская, думали мы, и ту Бог смирил, по своей великой благости; так что ж тут говорить о гордыне дома московского! Не хотим разути рабынича, мы братья, а не слуги ему. Так думали не только мы, князя Зацепины, стар-

шая ветвь дома Юрия Владимировича от старшего внука его Константина Всеволодовича, не только другие ветви нашего же дома, но чуть не все Рюриковичи, у кого Москва отняла их княжества, после того уже, как нам не страшна стала сила татарская. Князья Мосальские, Елецкие, Горчаковы, Звенигородские, Шистовы, Звенцовы, Ромодановские, потомки разных колен и ветвей, точно так же, как и наша линия московских князей: Ростовские, Щепины, Белозерские, Шелешпанские, Вадбольские, Кубенские, Ухтомские, Сугорские и другие, прямые потомки Всеволода Юрьевича Большого Гнезда, родичи и наследники Андрея Юрьевича и Александра Ярославича, — все думали одинаково, стояли особняком, в служилые не шли, в версту не становились, ни в чём новшеств московских не поддерживали и от старины не отходили. Все они думали: «Посмотрим, что будет! Не нами свет начался, не нами он и кончится, а не становясь в версту, помня только род, ясно, что верстаться с собой мы никого и не допустим!»

Они все, как и мы, не прочь были служить Русской земле и признавали великокняже-

ский стяг московский как стяг старшего брата, которому все, по завету Ярослава, обязаны послушанием; но они хотели видеть в нём старшего между равными, хотели видеть родового представителя самих себя, а не их судию, распорядителя, царя, перед властью которого должны склоняться одинаково и князь, и смерд и который каждому указывает место по своему разуму. Таким татарским ханом никто из нас не хотел его признавать. Между тем Москва именно требовала, чтобы глава её был царь, самодержавный и великий, чтобы ни род, ни достоинство не смели уже поднимать перед ним своего голоса, чтобы место каждого определялось исключительно службой ему.

Ясно, что сойтись с этим взглядом мы не могли. Поэтому стояли особняком; жили в своих вотчинах; водили иногда по договору свои земские полки, когда собиралась рать; по особому наказу принимали под свой надзор и защиту те или другие города, но в московскую службу не шли, ярмо на себя не надевали...

Между тем нашлись наши же родичи,

светлого же дома Рюриковичей родовые князья, особенно из тех, которые потеряли свои княжества во время самого погрома татарского или были вытеснены с своих столов литовскими князьями Гедимином и Ольгердом, также дети удельных князей самого Московского княжества, которые думали по-другому. Видя, что Москва всё ширится и растёт и что самые княжества их слились уже с её силою и объединились с нею душевно, они отказались от своих родовых прав и стали под стяг московских князей. Московские князья приняли их милостиво и зачислили в число своих приспешников — служилых князей. Князья Одоевские, Воротынские, Бельские, Вяземские, Мстиславские, Оболенские, Шуйские вместе с Гедиминовичами, обиженными при разделе своими братьями: Патрикеевыми, Голицыными, Куракиными, Хованскими, наконец, и Трубецкими (последние удельные князья были), — приняли московский порядок, взялись нести рядовую службу с московскими боярами, окольными и другими служилыми людьми, становясь, разумеется, тем с ними в версту. Они верстались с Годуновыми,

Собакиными, Юрьевыми, Морозовыми, Татевыми, Образцовыми, Ряполовскими, Мамоновыми, Бутурлиными, Шереметевыми и другими, не только искони слугами нашего предка князя Юрия Владимировича Долгорукого и потомков его, но даже с слугами их слуг. Нельзя не сказать, чтобы из наших ветвей не было уже никого, кто бы не соблазнился корыстью московской, особенно из младших, обедневших ветвей. Но такие исключения были столь редки и происходили столь случайно, что о них нечего и говорить. Ты от юных ногтей твоих знаешь, что ты князь Зацепин, независимый родовой княжич славного дома Рюрика, дома, княжившего на Руси семьсот пятьдесят лет и неверставшегося ни с кем в мире. Ты знаешь, что твой отец, дед и прадед и все Зацепины всегда высоко держали стяг свой и ни перед кем не склоняли чела, ни с кем не становились в версту. Они признавали и признают московского князя старшим, хотя он и младшей ветви. Но старшим, как избранника рода, получившим старшинство по договору, как получил его Андрей Боголюбский, — старшим между равными бра-

тъями своими; и они признавали его своим отцом-покровителем, а не судьёю и царём.

При московских царях нас и не тревожили, оставляли думать, как мы хотим, и стоять от всего особо. Но вот, когда Бог наказал московский дом за гордость и обиду братьев его, когда царь Иван собственноручно убил своего сына-царевича и наследника, другой умер бездетным, а третий младенцем сгиб от злодейской руки и стали править Москвой иные люди, тогда началась смута, которая кончилась общим избранием в цари Романа-Юрьева, то привязались и к нам. Наш пращур, правнук князя Юрия Феодоровича, внука Данилы Васильевича, сослался на договор, но ему отвечали, что теперь нет князя московского, а есть венчанник Божий, народом избранный и волею Божиюю благословенный, самодержавный государь и царь, всей Русской земли верховный повелитель, которому повиноваться, не только за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает! Несмотря, однако ж, на то, при первых царях из дома Захарьиных-Юрьевых-Романовых нам удалось отстоять себя. Мы тоже в версту не встали. Но при

Петре Великом ты знаешь, что твоему деду, а моему отцу пришлось прежде всего пожертвовать своим сыном, твоим родным дядею, князем Андреем, а потом вынести тяжкую борьбу за себя и меня, за весь род свой. Ты знаешь, сколько перенесли мы, сколько пришлось нам бороться! Ну что ж, бороться так бороться! Мы от борьбы не прочь. Я и тебя благословил бы, мой сын, на борьбу за славный род наш, за его величие и славу. Но вот в чём вопрос: на пользу ли борьба-то? На благо ли и величие нашего рода, на прославление ли нашего имени? Ну что, если на гибель? Эта мысль мучит, томит меня, не даёт покоя ни днём ни ночью, и уже не первый год! Что, если я, вместо возвеличения и возвышения, уничтожаю его, заставляю его склоняться и падать, как на это мне указывает самый ход жизни, самые события прошлого? Я думаю: мне указали этот путь предки наши; но они определили его сообразно с ходом былой жизни, сообразно с тем, что шло перед ними; я же хочу делать то, что делали они, в то время когда вижу, что между нынешним ходом дела и прошлым нет сближения. Ясно, что одно из

двух: или предки наши ошибались, думая, что немое упорство и сторонность сохранят их родовые права, или теперь, по случаю изменения хода дел, следует принять другой путь возвышения и возвеличения. Ведь если можно было думать, что, при старой Руси, мог восстать старый Зацепинск и призвать своих князей Зацепиных с прежними порядками и обычаями Древней Руси, то думать это теперь, когда всё стремится к общению и объединению, всё равно что желать, чтобы Волга побежала назад и чтобы мы, вместо того чтобы стареть, молодеть начали. Московское царство с своими старыми князьями, боярством, прежними обычаями, порядками и обрядностью, перенесённую к нам частью из Византии, частью заимствованную от татар, пожалуй, и с своими стремлениями городов, хоть бы и Зацепинска, занять своё независимое место среди святой Руси было далеко не то, что нынешняя империя с её рекрутчиной, солдатчеством, неметчиной и всем, что так далеко отводит нас от Древней Руси, отводит от прошлого. Что лучше, бог знает! Но оно — не то, оно другое. Стало быть, и делать нужно

другое, чтобы достигнуть чего-либо, что предположено. Прежнее Московское царство было для нас неволя, было иго, такое же иго, как и полонение татарское. Был царь, татарский хан Узбек, давивший Русскую землю и мучивший её князей; потом стал царь московский Иван Васильевич Грозный, также угнетавший землю и уничтожавший роды князей русских с корнем, с чадами и домочадцами. Правда, последний был христианин, но неволя от братней руки тяжелей, чем от чужой... Сущность была та же, были гнев и неволя. Распадись тогда Московское царство, как распалась татарская орда, и явилась бы прежняя мономаховская Русь, и возродилось бы княжество Зацепинское. Теперь не то. Империя хотя бы и распалась, останется порядок, останется единение, и княжеству Зацепинскому всё равно не быть. Что ж тут делать, на чём остановиться? В этом колебании думы моей я не признавал возможным взять решение вопроса на одного себя; я написал брату Андрею. Я от него ничего не хотел, кроме совета. Напротив, готов был ему от сердца помочь, по завету отца нашего, зная, что он после отца

не получил и пятой доли того, чем отец благословил меня. Я хотел только, чтобы он высказал: что должно делать теперь с вами, на что направить и чему научить.

Я винил себя перед братом, что не писал к нему прежде, но объяснял, что это произошло не от того, чтобы я не помнил о нём, но от того, что, по родовому обычаю нашему, полагал, что он вспомнит о своём старшем брате, который должен заступать своему роду место отца. Писал, что не кичусь старейшинством, но желаю выполнять свои обязанности в рассуждении всех и желаю от всех, и от него особенно, братской любви и доброго совета. Просил его написать о нынешнем ходе дел и о том, что делать мне с детьми, будущими представителями рода князей Зацепиных. Наконец, спрашивал, не нуждается ли он и не могу ли я помочь ему по силам. Вот что он мне отвечал:

«Сиятельный князь и мой многолюбезный и дорогой брат!

Благодарю Вас, многолюбезный сиятельный мой брат, за Ваше любезное письмо, которое я получил и усвоил. Я не писал к Вам,

потому что не знал, как Вы изволите смотреть на нас, новых людей, с бритыми подбородками и в французских кафтанах. Очень рад, видя из письма Вашего, что Вы тоже полагаете, что нельзя целый век медведями жить. Без всякого сомнения, перво-наперво любезным племянникам моим нужно образование. Без образования нонче человек, хотя бы он был даже князь Зацепин, не имеет никакого аванса для успеха в свете и перед прекрасным полом, около которого весь свет вертится и который всем располагает. При образовании же, нет сомнения, князья Зацепины не ударят лицом в грязь и займут надлежащее место при нынешнем роскошном дворе, который дорожит умными и приятными людьми почти столько же, сколько и всемилостивейший покойный французский король, отыскивавший везде всё, что могло усилить блеск его двора. За предложение помощи благодарю, и хотя, точно, я получил от покойного отца нашего несравненно менее, чем он наградил Вас, но, благодаря милости ко мне обеих императриц, я ни в чём не нуждаюсь. Правда, что в настоящее время в Петер-

бурге жизнь так дорога, что денег выходит страшно много, но всё же; при своей умеренности и как человек не семейный, я свожу концы с концами и не позволю себе лишать Вас, сиятельнейший брат мой, тех средств, которые Вам необходимы, чтобы дать детям своим, моим милым племянникам, надлежащее воспитание. Что же касается Зацепинска и тех объяснений и намёков, которые Вы изволите делать о прошлом нашей фамилии, то скажу, что и при других дворах есть тоже знатные фамилии, которые, однако ж, не думают, чтобы можно было опять стать тем, чем были. Как бы, я думаю, смеялся Креси или Монморанси, если бы при Людовике XIV им сказали, что они должны думать о восстановлении своих княжеств. Предлагая, с своей стороны, свой дом и всего себя к Вашим услугам, если надумаете приехать сами или прислать в Петербург моих племянников, с полным почтением к Вам, сиятельнейший и многолюбезный брат мой, остаюсь всегда Вашим

Кн. А. Зацепин».

Вот это письмо. Брат учит меня, что есть и

в других землях князя, не думающие о своих княжествах. Я это знал и без него, есть такие и у нас, как уже я говорил. Но там они были князьями силою, захватом, завоеваниями, а мы по роду, призванному народом и утвердившемуся милостью Божиею. В этом колебании поехал я помолиться в нашу Зацепинскую пустынь и зашёл к отцу Ферапонту. Помолвившись с ним, я и говорю:

— Отец, разреши мои мысли, мои колебания, мою борьбу.

Отец Ферапонт, несомненно, разумный и праведный человек. Он и сказал в ответ мне:

— Князь, не дано нам, грешным смертным, силы изменять кровные желания свои иначе как по воле Божией, — и передал свиток предка нашего Данилы, что умер схимником в здешней обители, и свиток новгородского паломника. — Прочитай, подумай, помолись, — сказал он, — и Бог вразумит тебя!

И много раз читаю я, и всё ещё колеблюсь, всё боюсь. Вот я и позвал тебя, Андрей, нужно вместе обсудить. Вот эти свитки. Прочти и скажи, что Бог на душу положит. Нас пока не тревожат, тем не менее не следует ли нам са-

мим сказать: «Да! Выше лба уши не растут! Что было — прошло, а нужно думать о будущем!» Это тем важнее, что в неслужилых остаёмся чуть ли не мы одни. Ромодановские, Белозерские, Вадбольские, Ухтомские, Прозоровские и другие давно служат, давно стали в версту и оставили всякое поползновение на старое. Остаёмся именно только мы.

И отец подал сыну рукописи.

Андрей Васильевич начал читать.

V

Рукопись монаха

— «Да благословит Господь Бог мне, мною грешному, неизвестному монаху сея мужские Зацепинские пустыни, начал правдивое сказание о славном и великом роде нашем князей Зацепиных, их доблести и славе, их великом служении земле Русской и о грехах их, — иже бе человецы!

Именем всеславного, великого предка нашего, святого равноапостольного князя Владимира, просветившего Русь светом евангель-

ской истины, молю: да помогут мне и помогутся со мной первые страсотерпцы земли Русской Борис и Глеб, предки и родичи наши; Ярослав Мудрый, Георгий и Василий, сложившие свои головы за землю Русскую; Михайлы Черниговский и Тверской и Дмитрий Грозные Очи, замученные злобою татарскою! И ты, великий воитель земли Русской, Александр Ярославич Невский, и другие князья великого рода Рюрика, родичи и предки наши, угодники Божии, их же подвиги празднует и славословит наша Православная Церковь! Да вразумит и умудрит меня Господь правдивым словом истины передать славные дела их в назидание и поучение; да просветит Бог разум детей и внуков наших, и научатся они в величии минувшего видеть славу будущего».

Так начиналась рукопись монаха, которую подал князь Василий Дмитриевич сыну. Князь Андрей читал, останавливаясь, по временам вдумываясь и выслушивая замечания отца.

— «Нет, не было и не будет на свете толико славного и великого рода, как светлый род великого князя Рюрика, племени Оденева, коле-

на Руссова. Призванный княжить среди смут Великого Новгорода, перед тем только сбросившего с себя иго его единоплеменников, он успокоил народные страсти одним своим именем, соединил и сблизил племена единоплеменные и не коснулся ни прав, ни обычаев, не тронул новгородской вольности, князя и оберегая её по своему слову князьему.

Велик и славен был тогда Новгород; море близко подходило к нему. Корабли его свободно неслись по широкому и глубокому Волхову прямо в море Хвалынское, и шли они к родным славянам: в Винету и Любечь вендские, Кролевец и Гданск ляхские, обменивали там труды Востока и Севера на богатства Юга и Запада. Амбары ломились в Новгороде от накопленных богатств, и слава далеко разносила молву об отваге и досужестве его жителей.

Кликнул клич по новгородской вольнице вещей Олег: «Кто хочет идти со мной добыть каменную искру?» Сбежались по слову его удалыцы новгородские, стали под стяг великокняжеский и много весей и градов покорили его мощной длани. Прибил Олег победный щит

свой к вратам Царьграда, взял в окуп много серебра и золота.

Гремел славой Святослав великий, очищая землю от варваров. Хазары, печенег и касоги склонились перед ним. Разметал он по ветру их полчища грозные, да не тревожат Русской земли, и пошёл в земли дунайские новой славы себе добывать. И всё склонилось, всё пало перед русским князем, кроме греческой хитрости, которая в теми и пыли точила своё жало, яко змий лукавый, улещая князя речью хитрой и усыпляя лаской нежной. От этой-то хитрости и сложил он свою победную голову, лёг костями за верную дружину свою, не посрамив земли Русской.

Просветил Бог очи князя Владимира, осенил его словом истины, и пролил он на русскую землю свет евангельский, исхитив души русские из когтей дьявольских, возвысив и укрепив своё княжение.

Но власть — дело опасное. Только Господь Бог, в своей великой благости, не искусился властью и сказал врагу рода человеческого: «Отойди от меня, сатана!» Не таков был князь Ярослав. Соблазнился он великой силой своей

и учал в Новгороде свои порядки вводить.

Новгородцы до того не нахвалились своими князьями; глядя на них, не нарадовались. Прославляли они и отвагу Святослава, и мудрость Владимира, готовы за них свои головы положить. Но тут они смутились. Зачем, дескать, князь своё слово княжье не держит и народных вольностей касается?

И предстал перед ним великий новгородский боярин Вадим Гостомыслович, сын Гостомысла Вадимыча, внук Гостомысла Гостомысловича, а великий Гостомысл приходился ему пращуром, и сказал ему:

— Княже, почто ты наших вольностей касаешься, почто народ мутишь? Аще не ведаешь: глас Божий, глас народови; аще мнишь стать выше промысла Божьего?

Вскипел князь гневом, услышав речь боярина.

— Как смел ты, раб мой, предстать перед мои княжьи очи с дерзким словом твоим? Как мог ты думать, что стану я слушать смердящий язык твой? Ты стоишь лютой казни и все твои содруженники и единомышленники!

Не смутился Вадим Гостомыслович от такой княжьей речи и отвечал тихо, с подобающей князю честью:

— Княже, не раб я твой, а горожанин Великого Новгорода, великий боярин, потомок того боярина, что твоего прапрадеда на стол новгородский посадил. Казни я не боюсь и за свою голову от правды не отойду. Вели меня взять твоим приспешникам, вели казнить меня. Но и среди лютой казни я взгляну ясно в твои княжьи очи и скажу то, что Бог положит на душу. Скажу, что не попустит Господь Бог нарушить тебе клятву отцовскую и твоё слово княжее, коли не ради Новгорода Великого, то ради души твоей. А нарушишь ты клятву, князь, — отступится от тебя милость Божия!

Мудрому недаром Бог мудрость посылает. Остановился князь в своей ярости, не велел казнить Гостомысловича, выслушал его речь разумную и стал мирно править Новгородом. А до того много новгородских голов погубил и семейств осиротил.

В это время не стало Владимира Красного Солнышка, отца Ярославова. В Киеве начал окаянствовать Святополк Окаянный. Задумал

он всех братьев передошнить, чтобы и судей его окаянству не было.

И пали первыми от злодейской братней руки Борис Ростовский да Глеб Муромский. Задымилась кровь неповинная христианская, яко фимиам перед Господом. Очередь за Ярославом была.

Тогда воззвал Ярослав к великому вечу новгородскому.

— Люди совета и разума, мужи новгородские! — сказал он. — Хотите ли вы, чтобы среди вас князь ваш пал от злодейской руки изверга?

— Княже! — отвечал тогда Вадим Гостомыслович. — Мы, люди новгородские, твои люди служилые. Коли нужно, возьми нас и животы наши, с радостью положим за тебя наши головы. Но и ты, князь, помирволь нам. Дай нам твоё письменное княжье заверение, за себя и род свой, что не коснёшься наших прав и вольностей. Мы будем твои слуги верные и печальники. Кормы и пошлины собирать будем в казну княжескую бездоимочно. Но пусть княжит над нами из твоего рода тот, кто нам по сердцу.

Задумался князь Ярослав. И жаль ему расстаться с властью на всей своей полной княжьей воле, да и нужда не за горами стоит. Взглянул он на храм Святой Софии, что строить начал, на церковь Николы Гостунского и решил дать такое заверение. И стали новгородцы как один человек, за Ярослава Мудрого, и смирил он и изгнал из Киева Святополка Окаянного, сгинувшего потом, яко злак степной, между Чехи и Ляхи.

Сел на киевский стол князь Ярослав и правил Русской землёю тридцать три года; порядок установил, законы дал и от врагов и внешних и внутренних святую Русь защитил. Своё слово Новгороду он выполнил свято, и почило тогда над всеми начинаниями его благословение Божие. Народ назвал его мудрым, ибо нет мудрости выше и победы славнее, как победа над страстями своими.

Пришёл и его черёд отдать отчёт в земных делах своих перед престолом Всевышнего, — предел его же не избегнеша. Он созвал детей своих, наделил их каждого городами и волостями и сказал:

— Дети и други мои! Чувствую я, час

смертный приближается, молитесь за меня. Оставляю вам землю Русскую. Вам она и роду вашему, доколе солнце не помутится, звёзды на небе не померкнут, а вы, дети, наблюдайте завет мой. А завет этот в том, что прежде всего помните Бога и закон отца вашего: храните веру православную. Потом: любите друг друга и народ свой. Не касайтесь народных прав и вольностей Великого Новгорода — клялся я в том за вас душой своей! Пусть старший между вами будет отец вам. Его слушайте и ему служите, яко бы мне служили и слушали. А он да любит вас, равных между собою молодых братьев, аки детей своих, аки я вас любил. И будет тогда мир между вами, Божье и моё родительское благословение. Аще же кто не послушает или в чём нарушит сей завет мой, не будет тому счастья на земле. Нет ему и моего благословения. Сгинет и пресечётся род его, аки плевел негодный. Да растут и укрепляются другие ветви моего дома, и да прославляют они землю Русскую.

И долго ещё потом Ярослав учил детей своих; говорил им о народе, о заботах о нём и о любви его, когда правда и милость будет в су-

дах, а сила и удаль в его защите. Говорил о взаимной любви и единении, говорил о послушании одному старшему. Потом ещё благословил — и скончался праведно.

Вот кто были предки и родоначальники наши: Святослав — удаль и отвага великая, Владимир — святость равноапостольная и слава бесконечная и Ярослав — мудрость праведная! Где цари земные, которые в прямом, несомненном порядке укажут на такое же величие и благодать предков своих?

Дядья зазвали к себе на переговоры племянника и, завидуя его силе и разуму, вместо приветов сердечного велели схватить его и изменнически отвести за город. Наутро просыпается князь связанный и видит, что тюремщик нож точит.

— Что ты, злодей, меня убить хочешь?

— Нет, князь, — отвечал тот. — Не хотим мы тебя убить, ни я, ни дядья твои, а выколем тебе только очи твои ясные, чтобы не зазорно в них смотреть было дядьям твоим.

И повалили несчастного князя, тюремщики и сторожа покрыли его доской, сами сели на доску и вырезали ему очи его, чтобы не ви-

дели света Божьего и не видели стыда дядей его.

Наказал Бог злодеев...»

Тут рукопись перерывалась; видны были неровности в бумаге, склеенной потом с другой бумагой, написанной той же рукой и составляющей продолжение, прерванное уничтоженной частью свитка. Князь Андрей остановился.

— Мыши, видимо, выели несколько кружков столбца, потом склеенного, — сказал Василий Дмитриевич. — Тут, по всей вероятности, были указания разных проступков рода нашего, проступков, вызвавших гнев Божий. Это я говорю, судя по тому, что сохранилось в этих отрывочных сказаниях. Продолжай. Может, мы далее найдём то указание, которое отыскиваем.

Князь Андрей продолжал:

— «Между князьями рода Ярослава явился один общим примирителем. Он смирил гордость строптивых, защитил обиженных и оградил землю Русскую от внутренних и внешних невзгод. Когда князья, благодарные за его подвиги, хотели предоставить ему ста-

рейшество, он отказался и указал на родовой закон. Он принял это старейшество только тогда, когда пришло оно к нему по роду, и первый установил и укрепил между русскими князьями обычай сидеть в советах на одном ковре, как признак единства рода их, их взаимного равенства и единства земли Русской. И такова была слава мудрости и отваги его, что императоры греческие, во славу дел его, прислали ему знаки царского величия. Это был в прямой линии предок предков наших — Владимир Всеволодович Мономах.

Внуку этого славного князя, Андрею, сама Пресвятая Богородица указала, где воздвигнуть храм во славу её. Такова была милость Божия к дому нашему, таково покровительство Всевышнего, по молитве предков наших, святых угодников Божиих.

Между тем усобицы росли и множились в доме Рюриковом, но Русь не стонала.

Не стонала потому, что среди усобиц своих князья Рюриковичи помнили завет мудрого своего прадеда Ярослава великого — любили народ свой. Они не касались ни прав народных, ни его вольностей и не зорили своего об-

щего княжения земли Русской. Борьба между ними была ссорой семейной. Хотел кто из горожан или сельчан пристать к дружинникам, шёл за дружиной и пользовался вместе со всеми плодами победы, на счёт побеждённого; не хотел — мирно заседал свои пажити, или занимался ремеслом, или вёл торговлю, не боясь расхищения. Кто брал верх — княжил по-старому, по обычаю, брал мыты и пошлины, но берег землю Русскую, не злобил народ, оберегая и охраняя его сообща, как положил великий предок их Ярослав Мудрый заветом княжения и силы их.

И не отвращал Бог от нашего рода лица своего, и хранил Он нас по своему великому милосердию.

Но грехи людские росли и множились по мере того, как плодился и распространялся род наш...»

Опять перерыв и склейка столбца. Князь Андрей поневоле опять остановился.

— Ты опусти здесь эти очерки ссор, споров и взаимных пререканий, оканчивающихся часто злодействами. Мы, к сожалению, их знаем, — сказал Василий Дмитриевич. — При-

том же столбец тут так испорчен, что перерывы беспрестанны, ничего нельзя понять. Переходи к татарскому погрому, где у меня синий крест поставлен.

Князь Андрей пропустил несколько оборотов свёртка до синего креста и продолжал:

— «Княжили тогда на великокняжеском столе во Владимире два князя, братья родные, Константин и Юрий.

Напрежь сего они вели один с другим уособицу. Отец их, Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, завещал старейшество и стол свой великокняжеский своему второму сыну Юрию, в обиду старшего, Константина, так как Юрий зело смышлён был и в ратном деле отважен, а Константин смолоду был хвор и телом слаб. Но правому Бог помощь; в уособице Константин верх взял.

Тут братья помирились и решили княжить сообща. Правили и княжили дружно, великую силу своему княжеству предоставили. Константин скоро умер, оставив детей на попечении брата, и Юрий, нечего сказать, берег их пуще своих детей, точно что отцом был. Старший из них, Василий, подрос уже и

в разум вошёл. Великий князь хотел, чтобы новгородцы его своим князем выбрали.

Новгородцы сгрубили: дескать, воля великого князя нам не указ. Мы князей по душе своей выбираем и ничьих советов знать не хотим.

Великий князь Юрий Всеволодович разгневался, захотел смирить Новгород.

— Вы сгрубили мне, — говорил он новгородским послам, — плачьтесь же на самих себя. — И стал готовить рать.

Тверь рассудила, что коли великий князь Новгород возьмёт на всю свою великокняжескую волю, то она промеж двух огней будет, и решилась помогать Великому Новгороду. За Новгород же стали князья полоцкие и смоленские.

Великий князь тоже потребовал себе помощи от князей удельных, но те рассудили, что стоять за Владимир — значит на себя верёвку вить, и идти на помощь ему не захотели.

Великому князю обидно стало. Он писал, просил, грозил — ничто не помогало.

— Своя крыша валится, — отвечали ему князья, — где ж тут думать о чужой?

Делать нечего, пришлось великому князю идти с одной только своей ратью. А рать была сильная, обученная и держалась в порядке. Великий князь поистине удалой был, умел и в мире жить, и войну вести.

Первым-наперво он на Тверь бросился, тверскую дружину разгромил и город занял.

Новгородцы видят — дело худо, с такою ратью не совладать; замиренья просить стали. Великий князь и слушать не захотел.

— Напоил коней в Тверце, напою и в Волхове! — отвечал он.

Приехал тогда к великому князю князь Михаил Черниговский, племянником ему в шестом колене приходился, а с ним и архiereй Черниговский Киприан, молят за Новгород.

— Не ради супротивства его и строптивости, но ради завета великого предка нашего Ярослава Мудрого просим, государь, отец и старший брат наш, смени гнев на милость, пощади великий град сей, не касайся его вольностей.

Долго не внимал великий князь словам племянника, наконец смилостивился, послу-

шал, взял с Новгорода богатый откуп и отдал ему вины его.

А князья меж тем всё вели споры и усобицы, шли все на зло и пагубу, так что и разобрать нельзя стало, кто за правду стоял, кто за грабёж бился. За князьями и народ в хищность и разбой вдался. Князь придёт, город или село разорит, а после него горожане или сельчане в разбой идут и на несожжённых и не вконец разорённых справляются. Отец шёл на сына, сын на отца.

И прогневался Господь на Русскую землю, простёр Он над нею гневную длань свою. И словно саранча налетела на неё несметная сила татарская.

Шла эта сила с юга на пределы рязанские. Словно туча чёрная небо заволокла; валит видимо-невидимо, ломит стеной и развеивает прахом всё, что встретит на пути. Всполошились рязанские князья, ссоры свои забыли и Бога вспомнили. Бросились во все концы искать помощи, прибыли и во Владимир.

Зашли в собор, помолились перед иконой Владимирской Божией Матери, пошли на двор великого князя.

Идут это они промеж себя, город смотрят и думают: «Хорош стал Владимир, Киеву в версту; силён и богат стал наш отец — старший брат, великий князь, поможет ли нам?»

Взглянули князья и на великокняжеский двор; Андреем Юрьевичем Боголюбским ещё устроен был. Подивились князья искусной работе. Зело был украшен художниками греческими. Крыша была червлёная, каменная, над теремами серебром выложена по аспиду, а на углу купол церкви Божией. Кресты и главы на ней от золота как жар горят. Окна во дворце косячатые и не слюдой, а настоящим венецианским стеклом затянуты; двери все створчатые, из разных дерев искусно выделаны и резьбой разукрашены: навесы на подпорках витых, лазоревых, а по верху-то коньки, петухи и птицы разные насажены, цветы и звери невиданные поставлены, а по лестницам ковры кызылбашские разостланы. Всё сияет, всё горит. Большое богатство видят.

— Да, коли поможет, отстоим мы и святую Русь, и свои княжения. Богатство и сила великие есть! Но где же князь-отец — старший брат?

— С утра он прохладиться охотой поехал да в село своё Боголюбское заехать хотел.

— Как же... — И остановились князя с разинутыми ртами перед княжеским приспешником, который перед ними в сенях стоял, и понурили головы. — Как же теперь ему знать-то дать, что вот ведь татарва лезет, всё как солону гнёт?

— Спокойны будьте, светлые князя, — говорит приспешник. — Он скоро будет. К вечеру непременно воротится. — А сам улыбается, зло так улыбается приспешник в своём греческом хитоне каком-то, золотым шнуром обложенным, будто в кармане кукиш кажет.

Пошли князя на постоялый двор. Тяжело было на душе их. Не к брату, значит, и отцу приехали, а к своему князю-властителю, перед которым склонись прежде, чем твою мольбу он слушать станет.

— Ну что ж делать-то? Ведь беда на вороту висит, поневоле поклонисься.

Однако ж суток не прошло, как приехал к ним от великого князя боярин, да такой ласковый, с таким лицом радостным. Он говорил, что великий князь очень жалеет, что его

молодшие братья, рязанские князья, должны были на постоялом стать, будто для дорогих гостей у него и избы нет. Потому, как воротился с охоты, велел к себе звать.

Ввели князей в палаты великокняжеские; богатые палаты, что и говорить! На что ни взглянешь, везде золото, да камни самоцветные; везде богатство рассыпано. Привели в палату побогаче, просят подождать — дескать, великий князь сейчас выйдет. А ласковый боярин так вьюном и вьётся, сладкие речи говорит:

— Великий князь с охоты-то в мыльню пошёл, измаялся за ночь, на кабана попал. А уж никак он утерпеть не мог, чтобы за вами не послать. Как, мои молодые братья, семья старшего сына предка нашего Ярослава Мудрого, Святослава Ярославича, что прапрадеду моему Всеволоду Ярославичу родным братом был, — и на постоялом дворе. А я ничего не знаю. Беги, говорит, Роман, проси! Скажи — нетерпеливо жду, обнять хочу!

Не больно, однако ж, нетерпеливо. С час прошло, а его всё не было. Делать нечего — ждут.

Старший великий князь рязанский Юрий Игоревич, уж седой старик, в руках хлеб-соль на серебряном блюде держит; у второго — рыба большая, тоже на блюде лежит и жабрами шевелит, значит, дышит ещё; у третьего князя барашек на золотом шнурке блеет, а на плече его княжеском шкура медвежья висит. На дворе стоит буйвол рязанских лесов, пара коней диких, кабан скованный, меха разные. Всё это достатки земли рязанской, приносимые князьями в дар своему старшему брату и отцу, великому князю всея Руси, князю владимирскому, суздальскому, ростовскому, киевскому и нижегородскому.

Стоят князья и ждут. От скуки палату оглядывают. Горница большая; окна на обе стороны. Между окнами ковры, а по коврам оружие развешано. И какого оружия тут нет! И стрелы, и копья, и бердыши, и мечи булатные. Висит тут меч и богатыря русского Добрыни Никитича. А вот копьё Мстислава Удалого. Копья, бердыши, топоры и секиры касожские, половецкие и печенежские, что прадед великого князя, Владимир Всеволодович Мономах, с бою отнял. А тут мечи, самопалы,

шлемы и кольчуги болгарские и византийские, также и немецкой земли, из Пскова, верно, привезены; есть и венгерские, и норманнские. Великий князь галицкий в Червонной Руси и Бан Мачвы в подарок прислал. А между оружием-то на полках стоят кубки заздравные из серебра, золота, из разных камней самоцветных и из хрусталя высверленные; стоит между ними и череп их общего предка Святослава великого, храброго, оправленный в золото и осыпанный дорогими камнями. Этот кубок воевода Путята у князя печенежского, напавшего на великого князя изменою греческою, вместе с жизнью отнял, а потом сын или внук его князю Юрию Владимировичу Долгорукому продал.

Оглядели всё кругом, а великого князя всё нет. Ласковый боярин тоже куда-то сгинул. Соскучились и думают:

«А что там у нас-то делается? Хорошо, если не подошли; а как подошли уже? Целы ли города и веси наши? Не сгинули ли наши княгини с малыми детушками? Не сожжены ли храмы Божии и не развеяны ли по ветру дома и дворы наши? А великого князя всё нет!

Что ж делать, нужно ждать».

Но вот выходит великий князь Георгий (Юрий) Всеволодович, обходит всех, таково ласково благодарит и целует каждого, как братьев своих.

— Простите меня, младшие братья и други мои, — говорит, — что заставил ждать вас, но дело такое приключилось, а ведь я ваш душою и телом!

А за великим князем идут три его сына и два племянника. Племянники уже постарше, а дети совсем молодые ещё, младшему-то и шестнадцати не было, да какой же красивый и добрый был: душа так в глазах и светится.

— Вот, полюбите детей моих, — говорит великий князь, — вот племянники, мои старшие дети, а это мои младшие. Я так люблю их, что не отличаю; всё одинаково дети мои.

И дети и племянники стали обниматься и целоваться со всеми истинно по-родственному.

Вот рязанский-то великий князь Игорь и говорит:

— Пришли мы, брат и отец, к тебе с поклоном; на нас гроза нашла...

Великий князь больше и говорить не дал:

— Знаю, знаю я, младшие братья мои, вашу студию и нужду. Знаю грозу земле Русской. Но такое дело вокруг пальца не вертится, подумать и подумать нужно. Мы и подумаем. А пока что, мои младшие братья, прошу со мною хлеб-соль разделить и, чем Бог послал, закусить. А завтра, кстати, я велел дружине своей на смотр собраться. Вы посмотрите и скажете, может ли она постоять за землю Русскую, в силах ли будет нас от напасти оградить. А коли в силах, то после мы дело разом совершим.

Не до закусок и смотров было рязанским князьям. У них на сердце камень лежал. Но что ж делать-то? Волю брата-отца исполнять надо, а за привет и ласку благодарить.

Ну, позавтракали и пообедали у великого князя. И нечего сказать, угостил он своих младших братьев на славу. Мёда были киевский и польский, такие мёда, что, кажись, мёртвому в рот влить, так оживёт: ещё из погребов Владимира Красного Солнышка и Болеслава Храброго. Столетние мёда! Потом соснули, сходили в церковь Божию, а наутро ве-

ликий князь обещал ответ дать.

На другой день, чуть только забрезжилось, им сказали, что великий князь ждёт их дружину смотреть. Пошли, вышли на поле — дружина стоит отрядами разными, по городкам, и нечего сказать, добрая дружина была, залюбоваться можно. Народ всё молодой, здоровый, один к одному подобраны. Копья, бердыши, мечи и кольчуги на солнышке так и светятся. Все смотрят весело и поле всё собой заняли. Да это только дружина великокняжеская, а что, если и удельные собрать, тогда на поле-то и места бы не было.

Только это великий князь с князьями-то вышел, трубачи, сурминщики и литаврщики своему князю славу заиграли. Пошли по рядам, видят — один ряд другого бравее, один другого отважнее, — красота просто! И одеты они все особенно: в передних рядах шишаки, кольчуги и нарамники, в руках копья, а к боку мечи привешены. Второй ряд без кольчуги, в одних нарамниках, зато секиры и бердыши в руках; а в задние ряды силачи все подобраны, вместо шишака медвежья шапка на голове и также нарамники, а в руках палица

с железным обухом и железным наконечником, да ещё большой нож на обе стороны; посмотришь — страшно становится! Особый отряд стрелков и арбалетчиков был, с луками, арбалетами и пищалями, из которых стрелы и камни бросали, да ещё человек с десятков было с какими-то греческими самопалами.

Когда великий князь обошёл с гостями своими по рядам, его дружина великокняжеская ему «ура» и «славу» прокричала. Юрий Всеволодович велел ей проходить перед ним отрядами, по городам и волостям. И пошли они стройно, бойко, весело; с шагу не сбивались, один другому не мешали. Когда все прошли, князь велел из луков, пищалей и арбалетов стрелять; попадали метко. Не очень толстую дощечку стрелой навывлет пробивали.

— Ну что? — спросил тогда великий князь, отпустив дружину. — Что вы думаете, князья и молодшие братья, о дружине моей?

— Что, отец-князь, — отвечали князья, — с такой дружиной можно только Бога бояться; не то себя отстоять, но и весь мир завоевать.

— Ну, мира, положим, не завоюешь, — сказал, смеясь, великий князь, — а думаю, что

точно за себя постоим.

Он засмеялся и повёл гостей к себе полдничать.

Только вот за полдником старший великий князь рязанский Юрий Игоревич, собравшись с силами, опять начал:

— Многочтимый и многомилостивый наш отец и старший брат, великий князь всея земли Русской! Мы, твои младшие братья и слуги, князья Рязанской земли, прибегли к тебе в нашей крайней стуже: помоги нам и земле православной в доле нашей горькой и безрадостной! Лезет на нас татарва лютая. Возьмёт нас, разметет по ветру. Никого в живых не оставит. Города и веси в пепел обратит, храмы Божии разрушит, землю упитает нашею кровью! Бесславно погибнем мы, а наши жёны и дети в тяжкой, нехристианской неволе жизнь измаячат. А сгинем мы — татарва на тебя пойдёт и всю землю Русскую полонит. Отец и великий князь, подумай! В прошлый приход мы видели лютость врагов наших. Они всё мечом порубят, всё огнём спалят. Не откажи же нам в твоей помощи, слёзно молим! Не ради нас, твоих младших братьев, а

ради себя самого, твоего рода благословенно-го, ради всей земли православной!

Великий князь выслушал речь старика, великого князя рязанского, и ничего не сказал; выслушал всё, что и другие князья рязанские говорили, прося помощи.

Когда окончил последний князь рязанский просьбу свою, он сказал так, как бы в сторону:

— Помочь, отчего бы не помочь! И сила есть, и казна есть! Только вот что, князь Юрий Игоревич! — обратился он к великому князю рязанскому. — Я что-то не помню... В прошлом году, когда мне сгрубил новгородцы, а князь тверской их сторону принял и меня, старшего брата и великого князя, не только слушать, а и поклониться мне не хотел. Я, разумеется, должен был смирить непокорных, послал к князьям, чтобы свои полки и дружины прислали смирить строптивые уделы, как дети отцу помогли бы! Вот я и не помню... когда Бог нас победой благословил и мы Тверь взяли, на котором крыле рязанские дружины были и кто из князей их вёл? С кем тогда мы вместе тверские стены осиливали? Кто тогда вместе со мной грудью отстаивал

моё отцовское право: судить и миловать, карать и награждать?

Эти слова великого князя заставили всех рязанских князей разом вздрогнуть.

— Отец и князь великий! — отвечал рязанский князь Юрий. — Если рязанская рать не шла тогда с тобой на Тверь и Новгород, то потому, что время тогда такое тугое было. Всю Рязанскую землю голод тогда одолел, и нам собрать рать сил никаких не было.

— Правда, правда! — отвечал великий князь. — До великокняжеской ли крыши, когда дома своя течёт? Оно так! Только вот что, мои дорогие младшие братья: коли у рязанцев сил нет помогать, когда мне нужно, то и у меня нет охоты помогать им, когда на них гроза идёт. Тогда уже пусть сами управляются с врагом, как умеют. Вы видели, князья и братья, дружину мою? За что я разобью и положу её за вас, когда после, как дружина мне самому потребуется, вы скажете: у нас сил нет рать собирать. Да и за что я поведу дружину эту в землю дальнюю, содержать её стану, изъясниться, может, и головой своей заплачу, когда вы...

— Да ведь мы не за себя только просим, наш милостивец, мы за всю Русь говорим! Сломит татарин Рязанскую землю, он на Суздаль и Владимир пойдёт.

Великий князь улыбнулся:

— Вы мои полки видели; это только владимирские, суздальские, нижегородские и московские. Тут нет ни одного человека из удельных дружин, даже из Ростова только от одной волости отряд был; а если бы вы видели полки галицкие, ярославские, заозерские, кубенские, костромские, белозерские, — я уже не говорю о звенигородских и переяславских, если бы вы видели мою рать земскую, потому что против татарвы у меня все встанут, — так вы не стали бы так говорить. Вы бы увидели, что великого князя всея Руси и князя суздальского, владимирского, ростовского, галицкого и прочая, и прочая, и прочая не так легко сломить, как князя рязанского. Себя, бог даст, как-нибудь отстоим! Ну да и то... коли не отстоим, так ляжем костью по крайности на родной земле. Так вот что, братья, я вам скажу: не хотели вы мне помогать в моей нужде, не ждите и от меня помощи. Не хочу дружину

мою губить на защиту тех, кои, когда нужда — просят, а чуть что до самих — так сил нет! Своя крыша ближе! Уж простите: дружину свою, полки свои и рать земскую поберегу для себя.

Этими словами великий князь и отпустил рязанских князей ни с чем, не сдаваясь ни на какие просьбы, ни на какие мольбы.

— Вините себя, братья! — говорил великий князь. — Вы пришли бы ко мне, и я пошёл бы с вами. А теперь выходит: всякий за себя, а Бог за всех!

И пришлось князьям рязанским вместе с князьями муромскими грозу на свои плечи принять.

— Заплатите десятую часть из всего, что имеете, обещайте десятую часть платить из прибытков ваших — и поступите под мощь моей высокой руки, — прислал сказать им тарин. — Тогда я вас помилую! Поклонитесь!

— Приди и всё возьми, — отвечали рязанские князья, — голову снимешь — поневоле поклонимся!

И налетела татарва разом со всех сторон, смяла, сломала и как вихрь потоптала слабые

силы рязанские и муромские, покрыла она трупами и пеплом Рязанскую и Муромскую земли, сожгла города и села, разрушила храмы Божии, а князей сгубила всех: пусть не поднимают высоко свою голову. Наказал так Бог род Глеба Рязанского, что братьев своих злодейски погубил и родичей своих на пиру отравил.

За Рязанью и Муромом красовались Владимир и Суздаль. Пошла на них сила татарская.

Юрий Всеволодович был воин добрый. Видит он, что с храброй дружиной своей ничего не поделает: сила вражья больно велика. Со звал он на совет своих бояр, дружинников и приспешников, — что делать? Нужно княжество защитить, храмы Божьи оградить, княгиню прикрыть и себя оборонить. И решили: от удельных князей потребовать помощи, от земства рать собрать, послать к тверским князьям и в Великий Новгород, чтобы все от мала до велика шли спасать Русь православную, веру святую. Да пойдут все, соберутся от мала до велика. Ни отцы детей, ни дети отцов не пожалеют за родину костью лечь. Да скоро ли они все соберутся? Скоро ли рать из

Новгорода к Оке подойдёт, из Твери и Полоцка к Владимиру? Скоро ли бедные заозерские князья соберут и приведут полки на помощь суздальским дружинам? А враг не дремлет. Перевалил он уже Свиягу, подходит к Оке. В Муроме губит и жжёт и со всех сторон на великое княжение валит. В пермских лесах, в закамских равнинах он нашёл себе родичей; крепнет и силится, растёт и дерзает всё больше и больше. И не ждёт ни минуты.

— Не поспеть собрать всех, — говорит князь Юрий. — А с готовой дружиной не выстоять! Потому встретить их в поле нам нельзя, сил мало. Запереться во Владимире тоже нельзя: сами себе от тесноты мешать будем и сами себя съедим. Всё дотла разорит злая татарва. А сборные рати по очереди бить станут. А вот что мы сделаем. Отберу я лучшую дружину. Ей поручу мой стол, княгиню и детей моих беречь, а сам с остальной дружиной встану в крепком месте, буду рать собирать, а по силе и Владимир сбоку защищать. Тогда враг на Владимир идти опасаться станет, чтобы от нашей рати ему лиха не было; а на нас идти тоже побоится, Владимир и Суздаль по-

зади не решится оставить.

Похвалили бояре и дружинники разум своего великого князя и сделали так. Двух сыновей с отборной дружиной князь Георгий Всеволодович назначил свой стольный город Владимир и мать-княгиню защищать; третьему сыну дозорный полк вести велел, а сам с племянниками, с остальной дружиной и со всеми, кого только собрать мог, раскинулся в крепком месте на берегах реки Сити, разослав гонцов во все концы, чтобы спешили выручать великое княжение и всю землю Русскую. Туда и стали удельные князья свои дружины приводить, а земцы и добровольцы сами сходить.

Великий князь думал: «Владимир крепок. Я буду оттягивать их натиск, а между тем усиливаться помощью. Русские люди понемногу все соберутся на защиту родной земли; тогда мы посмотрим и за себя постоим. Дружина у меня надёжная, и мы хоть какой силе отпор дадим».

Расположился великий князь крепко и ждал вестей.

Пришли дурные вести. Дозорный полк

среднего сына его был окружён разом бесчисленной ордой врагов, смят и полонён вместе с молодым князем. Враг перешёл Оку и бросился прямо на Суздаль и Владимир.

Отборная дружина Владимир отстаивает; молодые Юрьевичи, дети великокняжеские сами на стенах стоят, впереди всех с врагом бьются.

Татары вывели первым под городские стрелы и каменя полонённого брата их.

— Стреляйте, — говорят, — в сына вашего князя и брата вашего!

Не смутились от того владимирцы, за своё дело ещё твёрже стали. Погибнет сын князя, что делать — Божья воля! Мы других детей его и княгиню отстоим.

Не так указал перст Божий.

Долго билась татарва, не могла стен одолеть; наконец одолела, ворвалась в город и разлилась огненным морем. Дружина шаг за шагом отстаивалась, до самого собора дрались, но сила одолела. Всё перед ней в лоск легло! Не стало перед ней ни дружины, ни молодых князей Юрьевичей, ни города, ни жителей. Стоял ещё собор Пресвятой Богороди-

цы, в котором запёрлась княгиня с священниками, архимандритом и оставшимися в живых дружинниками и арбалетчиками. Татарва забросала собор смолой, соломой и брёвнами, подожгла и всех живыми сожгла. Никого не осталось! Молодые, защищаясь, легли, стариков перерезали, женщин передушили, младенцев головой о каменья разбили, а девиц и молодок на потеху и позор по своим кибиткам и юртам разобрали. И был вопль и плач на Руси великий, а во Владимире плакать было некому!

Пришла эта весть к великому князю; сказали ему, что не стало у него ни княгини благочестивой, ни детей отважных, ни княжества славного.

— Бог дал, Бог и взял! — проговорил великий князь, поднимая очи свои, полные слёз, к небу. — Бог наказал меня за гордость мою, что оставил я моих рязанских братьев без помощи! Его святая воля! Умрём и мы за землю Русскую!

И стал он крепко впереди рати своей.

— Не пройдёт, — молвил он, — ни один враг мимо меня, доколе голова на плечах; а

сложу свою голову — ваше дело, друзья и братья мои, за Русь стоять!

Разорив Владимир, татарва пошла на князя. Кругом словно туча какая обошла, словно саранча облепила.

Бегут татары пешие с гиком и визгом, мечами махают, копья наотмашь несут. Впереди них богатыри идут.

Русская рать позади князя своего стоит твёрдо, не дрогнет, готовится встретить врага. Князь Юрий даже улыбается и молитву твердит; думает: «Встретим грудью силу вражью».

Не то судил Господь! Татарва пустила тучу стрел и будто сгнула с глаз, а из промежутков откуда ни взялась татарская конница, вихрем на русскую рать налетела, и всё прахом пошло. За конницей опять лезла пехота, за пехотой Батыевы мирзы и князья татарские лезли, неслись со всех сторон, давили, грабили, били.

Великий князь ссадил копьём первого всадника. На него целая туча налетела. Пятерых татар он своей рукой уложил; наконец упал, ошеломлённый ударом. Татарский наездник ударом меча отрубил ему голову.

Никто не бежал, все остались и все легли.

Старший племянник великого князя, сын старшего брата его Константина Всеволодовича, Василий Константинович, попал в плен. Привели его перед очи самого Батыя. У князя одна рука рассечена была, нога стрелой задета.

— Будешь другом мне? — спросил Батый, радостный от победы. — Мы залечим раны твои, облегчим скорби твои.

— Ты изверг, злодей, враг земли моей, враг веры православной, могу ли тебе другом быть? А мои раны мне честь и украшение!

— Ты не хочешь, ты отказываешься от протянутой руки моей? — заревел Батый. — Так поклонись же мне, как раб, как пленник мой! Поклонись вере моей, или ты почувствуешь на себе силу мою!

— Волей не поклонюсь я кумиру твоему и не склонюсь пред тобой, а сила — твоя, силой что хочешь делай!

И ни угрозы, ни соблазн не отвели князя от слов его.

Князь не склонился и не принял ни руки, ни милости Батыевой, как ни тиранили его.

Среди самых тяжких мук он твердил только молитву о спасении земли Русской.

Не смутился он, когда татарва его сыновей отыскала и в полон взяла.

— А, — сказал Батый, — ты за себя поклониться не хотел, ну за детей молись!

И велел их перед ним мучить. Соименники первых мучеников русских, князя Борис и Глеб, так же твёрдо, как и отец их, приняли мучения. Борис женат уже был, у него у самого дети были. Глеб только собирался жениться, выбрав себе по сердцу княжну Кубенскую. Они твёрдо перенесли муки на глазах отца. Василий Константинович только сказал им: «Дети, не забудьте, что вы христиане и Рюриковичи, князя земли Русской!»

Татары замучили детей и принялись опять за отца; но, видя, что ничего с ним не поделают, так как он стоит на одном, перед Батыем не склоняется, пощады не просит, только молитву о земле Русской твердит, — взяли, изрубили его и бросили в лес.

От этого-то славного князя, мученика, празднуемого и прославляемого нашей Православной Церковью, в прямой линии идёт

знаменитый род наш, князей Зацепиных.

У внука его, Константина Борисовича, оставшегося после отца, Бориса Васильевича, ещё у сосца матери, было два сына: Михаил — большак и Василий Зацепа. Михаил, как старший, получил в удел Ростов, а Василью дядя выстроил новый город и назвал его Зацепинском. А колено то от Рюрика, как Василий Константинович второй перешёл в тот город на княжение, было по роду тринадцатое.

За гибелью великого князя Георгия Всеволодовича со всеми его детьми и племянниками, детьми старшего брата, и за разгромом всей земли Русской на стол великокняжеский сел третий сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, Ярослав Всеволодович, княживший до того в Переяславле. От него и пошли князья суздальские и московские».

— Видишь ты, какой славный был родоначальник наш! — сказал Василий Дмитриевич, перебивая опять сына. — Нет на Руси, да и в целом мире, имени, которое могло бы равняться с ним. Но пропусти ещё часть свитка, тут опять будет испорченное и пропущенное место, и переходи к новому кресту, где описа-

но падение Зацепинска.

Андрей Васильевич исполнил приказание отца и продолжал:

— «Призвал князь Данило своего большака князя Григорья. Удалой был князь, недаром Удалой Головой звали, и спросил:

— Ну, Григорий, что ты думаешь? Вот наш старший брат, московский князь Иван Васильевич, грамоту прислал; говорит, мы на этом свете лишние, так чтобы Зацепинск ему отдали.

— Да что тут думать, батько! Пусть придёт и возьмёт! А мы за себя постоим!

— Постоим ли, Григорий? Ты рассуди. Вот великий князь от Ростова и Галича посылает свою рать, под началом своего большого боярина Ноздреватого, больше сорока тысяч; чем мы встретим их?

— Не только встретим, а, Бог даст, и проводим. У меня теперь дружина, нужно сказать правду, отец, хоть куда! Двенадцать тысяч отборных молодцов. Копьями, мечами, пищалями, всем снабжена и обучена как следует, к ней прибавим земскую рать да удельные князья.

— Нет, мой друг; удельные князья — плохая надежда! Вон Вадбольский пишет, что дал себе слово против Москвы не идти. Белозерский — что он вошёл с великим князем московским в договор и дружину свою в его распоряжение отдал. Щенятев — что после смерти своей княгини и дочери о Боге думает, так ему о войне думать грех; Шелешпанский — что его изба с краю; а Ярославский — тот к рати великого князя и свою дружину привёл, против нас же идёт.

— А Сугорские, Кемские?

— От тех ещё ответа нет, да надежды мало. Почитай, тоже скажут: «До нас не дошли, так что нам!»

— Ну что ж, отец, не свои, так чужие помогут. Ведь гроза-то от нас и к ним придёт. Заозёрские, Кубенские, Щепины?..

— Нет, друг и сын! Двинская рать ещё в том месяце вперёд на Заозерье зашла с Ряполовским. Заозёрские не выдержали и покорились. Теперь на нас же идут. У них тоже, надо думать, тысяч с двадцать наберётся.

— Я с дружиной стану против Ноздреватого, отец. Буду отстаиваться! Каждый шаг кро-

вью купят. А боярина своего Шелепу пошли с земской ратью против Двинской и Заозерья. Там рать-то помягче, и будут держаться. А чтобы поваднее им было, брата Фёдора с ними пошли: хоть молод, а всё, знаешь, как князь с ними, драться будут охотнее.

— Так! Да воевода-то у Москвы лихой. Ряполовского кто не знает. Ну, положим, отстаиваться будут. А с хвалынской стороны великий князь тоже новую рать приготовил. Та из-за Камы прямо на Зацепинск пойдёт. Ту кем встретим? Да и какая рать-то! Из татар, казаков, новгородской вольницы, мордвы и всякого сброда, князь Щербатый ведёт! Одним словом, разорит, смутит всю землю, камня на камне не оставит; что и не возьмёт, так сожжёт!

Князь Григорий понурил голову.

— Кроме того, великий князь в Костроме ещё силу готовит в запас; тысяч, пожалуй, тридцать наберётся. Да и посуды!

У нас вот всего двенадцать тысяч, да и вооружены кое-как, а у великого князя все сорок тысяч с огненным боем идут. Куда ж мы тут, с копьями, бердышами и палицами! Пу-

шек-то у нас и всего две ледащие, а у него чуть не сотня!

— Ну что ж, батька, умирать так умирать! Московский князь нашёл рать за Камой; сбегаю я — и тоже найду. Вот у меня тельник на шее и тот отдам. Соберём, что есть, серебра, посуды там, что ли; кликнем клич охотникам, татар принаймём, мордва, остяцкие князьки, вогуличи также к нам на помощь придут. Ведь они понимают, что не будет нас, так Москва и их раздавит.

— И ты с этой сволочью станешь против московской рати с пушками и пиццалиями! Нет, Григорий, они скорей твою дружину смешают, чем помощь ей дадут. А затем что? Разгром, разорение, гибель всей родной земли нашей. Я — слепой старик, Григорий, мне жить недолго! Я о вас думаю. Куда же вы-то денетесь после? В тюрьму, в неволю?..

— Меня живым не возьмут. лягу костью! Да, верно, и Фёдор... Хоть и молод...

— А Дмитрий? Тот совсем ещё отрок! А милый внук мой, твой сын Данило? Да и мне, старику, умереть не страшно, а неволя тяжка будет. А затем, где будет род наш, князья За-

цепины? Изгоями будут слоняться по Божьему миру, пока самое имя их не исчезнет с лица земли? Нет, Григорий, не то! Не дело умного человека лбом об стену бить. А тут, видишь, московская рать стеной обошла, поедом ест нас. И стать нам против — значит и себя, и родную землю стубить.

— Что ж тут делать, коли не драться, не умирать? Неужели бежать, не испробовав силы? Кажется, легче бы в могилу лечь! — сказал князь Григорий Удалая Голова.

— А куда убежишь? Тоже изгоем слоняться станешь! Нет! Вот читай грамоту, что московский князь прислал, и суди.

Князь Григорий Данилыч прочёл:

— «Московский царь, великий князь всея Руси Иван Васильевич своему младшему брату, удельному князю зацепинскому Даниле Зацепину поклон и милость шлёт!

Известно всему православному люду и тебе, младший брат мой, колико Русская земля терпела от злой татарской неволи; а неволя эта постигла Русскую землю в наказанье за грехи наши, за смуты и споры княжеские, за их рознь и вражду. Только великому прадеду

нашему, Дмитрию Ивановичу Донскому, на малое время удалось соединить русских князей в единомыслии, сейчас же татарва на себе испытала русскую силу, которая ослабела тотчас, как, по совершении великой битвы, она опять разъединилась и разрознилась и тем дала мочь злему Тохтамышу вновь разграбить и разорить наши дедины и отчины, нашу землю православную! В этих деяниях и возгоревшихся затем в роде нашем усобицах, от коих пострадал вечной памяти достойный родитель наш, видим мы указание свыше, что в единении сила и слава, а в розни — разгром и бедствие.

Внимая сему, мы определили, подобно славному предку нашему, по воле Всевышнего возложить на себя венец царский и о том возвещаем любезным младшим братьям своим. А как в благоустроенном царстве должна быть признаваема единолично власть царская, от коей единственно должны разливаться кара и милость, то входящие в землю мою удельные княжества должны присоединяться к Москве или по договору, доброю волею — для покорных, или силой ору-

жия — для строптивых. Твоему благо разумию, младший брат Данило, царь Иоанн, Божиею милостию, государь московский, великий князь всея Руси, отдаёт дело сие. Если принимаешь договор, то переговоры обо всём с моим ближним боярином Ноздреватым и будешь не оставлен нашей царской милостью, сохранишь всю честь свою и достоинство; если же хочешь усобицы, — плачься на себя потом. Полкам моим мною повелено занять Зацепинск, утвердить в нём царскую власть, а тебя самого с чадами и домочадцами полонить и на суд перед мои царские очи представить».

По титуле было подписано:

«Иоанн, Божиею милостию царь и самодержец».

— Вот грамота московского князя; нужно ответ дать, а какой ответ? — спросил князь Данило Васильевич.

Князь Григорий Удалая Голова молчал, склонив голову.

— Само собой разумеется, что если мы и на договор пойдём, то договор этот будет не по доброй воле. Грамота прямо силой грозит, а у

нас теперь силы нет. Нужно уступить; ведь не своей волей уступаем, — уступаем силе. А коли силой обижены, то сами тоже будем силу искать. Добудем эту силу и возьмём своё.

Написали договор, сдали стол, город и всё княжение князю Ивану Московскому, а сами уехали село строить и жить на покое. И не стало светлой звезды зацепинской, потускла она в общем сумраке, не сияет своим блеском. Мрачно и туманно смотрят на Божий мир светлые князья Зацепины и ждут милости Божией: да пошлёт он силу им загореться вновь славой прошлою. А колено от Рюрика было тогда дванадесять второе.

— Так, видно, Бог судил! Но не судил Бог, чтобы погибал светлый род наш в чванстве и гордости. Не судил, чтобы дикость и отшельничество одолели нас. Ищи силы, — сказал Данило Васильевич. — Но где найдём мы силу, не выходя из ветлужских дебрей и от гордости скрываясь от самих себя? Чего мы хотим? Чтобы пришло прошлое! Но ведь это всё равно что желать, чтобы Волга снизу вверх потекла! Да и для прошлого нужен разгром, нужно худое. А не желай худого, затем что то-

му, кто желает худого, самому худо будет. Сказано — ищи силы; а искал ли ты, когда от себя прятался? Говоришь, не стану в версту, не стану верстаться с слугами слуг отца и деда моего. Не верстайся; но смотри, чтобы не оставаться за полем. Не в том верста, чтобы чванству столы ставить, а в том, что само вверх к небу идёт. Кирдяпины внуки не в версту Шемяке; а кто не знает Шуйских и где теперь Шемячичи? Не служба и не дело роняет род, а пустота и безделье. От безделья люди гибнут, от труда поднимаются! Служилый князь не царю служит, а делу; служит земле Русской. А воеводой ли он или подначальным идёт, какое дело? Земля благодарит за то, что он даёт ей...»

Далее рукопись монаха была настолько истлевшая, что нельзя было ничего разобрать, и Андрей Васильевич остановился.

— Ну, что ты думаешь, Андрей? — спросил у сына князь Василий Дмитриевич.

— Что ж, отец? Монах, может быть, и прав, указывая, что у нас дела настоящего нет. Служилый князь стоит на деле. Делом он занят, делом и поднимается. А мы что делаем? Кня-

жить мы не княжим, потому что власти нет; а другое дело делать не хотим. Не служим, не торгуем, никаким заводским делом не занимаемся, даже не хозяйничаем для прибытка; а от разделов да выделов чем дальше, тем всё больше мельчать будем... Поневоле подниматься нам и не на чем!

— Ты, Андрей, пришёл к тому же, что и я думаю. Стало быть, нужно ехать, нужно служить!..

VI

Дядя и племянник

На третий день приезда князя Андрея Васильевича в Петербург, после того как он вдоволь насмотрелся на множество непонятных для него вещей, — диковинок, как он называл их, давая себе слово при дяде ни за что ничему не удивляться и ни на что не засматриваться, — отлично выспался и даже от скуки по русскому обычаю сходил в баню, по предложению Фёдора, что тут не далеко, за Красным мостом на Мее устроены отличные

бани, и берут недорого, — и в то время как он раздумывал, что бы это значило, что его кормят, поят, холят и нежат, а дяди он ещё не видал, явился к нему напудренный официант в домашней ливрее, то есть в тёмном кафтане с гербовыми пуговицами князей Зацепиных, красном, обшитом узеньким галуном камзоле, тёмном же нижнем платье и гороховых штиблетах. После обычного поклона официант, с важностью чрезвычайного посла великой державы и с особо выдрессированной улыбкой, проговорил:

— Ваше сиятельство! Сиятельнейший князь Андрей Дмитриевич изволил приказать вашему сиятельству кланяться! — И он повторил поклон. — Они покорнейше просят вас сделать им честь пожаловать на фриштик и кофе с ними кушать.

Эти слова официанта очень покоробили Андрея Васильевича. Первое: он не понял, что такое фриштик. Правда, пленный швед учил его по-немецки; но мысли его в ту минуту были так далеки от немецкого языка, что ему и в голову не пришло, что официант употребляет немецкое слово. Потом, он слышал о чае,

кофе и даже шоколаде, но никогда не пил ни кофе, ни шоколада. Чай он пил случайно у соседей и находил, что это чёрт знает что такое, бурда какая-то! И здесь, у дяди, ему каждое утро и вечер чай подавали, так по привычке. А кофе? Правда, спрашивали его, не прикажет ли он принести и кофе, но он отказался, боясь сделать какой-нибудь промах. У отца же его, Василия Дмитриевича, употребление подобных новшеств не допускалось вовсе. Там утром подавались пряженцы или подовые пирожки, кусок телятины и яйца; запивалось всё это сбитнем или взваром из вишен, черемхи и слив, за которым следовали мёд и брага...

Теперь приходится ему начинать пить кофе, и прямо перед дядей; страшно, не осрамиться бы!

Несмотря, однако ж, на это сомнение в себе, он был очень доволен приглашением.

«Наконец-то вспомнил!» — подумал он, тотчас же встал и сказал официанту:

— Благодарю. Где же теперь дядя и куда нужно идти?

— Они ожидают ваше сиятельство в малой

столовой, у себя. Если изволите приказать, я провожу.

Молодой человек пошёл за официантом.

«Неужели и дядя таким же петухом наряжается? — подумал он, опять глядя на официанта. — Как бы не расхохотаться дал Бог! Может ли быть что-нибудь хуже? То ли дело однорядка или ферязь? А главное, зачем они на голову муку или мел сыплют, и эти косы, или, как их там, парики, что ли, будто бараньи курдюки на себя напяливают? Ну, ей-богу, смешно».

Они вошли по лестнице на второй этаж и пошли парадной половиной.

«Вот палаты, — думал молодой князь, оглядывая великолепное убранство комнат бельэтажа. — Глаза разбегаются! Истинно княжеские! А говорят ещё об отце, что он богат. Где же богат? Вот богатство! А это что за каменный мальчишка с крылышками тут стоит и стрелу держит? Батюшки, сколько здесь этих каменных болванов разных, — подумал он, проходя приёмный зал. — Да что дядя-то не язычник ли какой, что везде идола разные ставит? А вот голый мужик с бородой и пали-

ца в руках! Его-то зачем тут поставили? И пол-то какой скользкий, того и гляди, растянешься! То ли дело в Зацепине. Рогожа или сукно подостланы, так что и упадёшь, не больно ушибёшься. Как это хорошо! — невольно, однако же, подумал он, проходя гостиную, обитую голубым штофом с серебряными орнаментами и украшениями и увешанную медальонами во вкусе Ватто, в золотых рамах. — И богато, нечего сказать! Одного серебра тут, думаю, пудов с тридцать будет! На наше паникадило в гостиной палате дивуются, а вот паникадило так паникадило, хоть в монастырь такое! И среди такого-то богатства вдруг покажется мой куцый, облизанный и обрызганный дядюшка, в своём парике, что из головы копну какую-то делает, и с журавлиными ногами в чулочках! Чёрт знает что такое! Право, не выдержу — расхохочусь! Воображаю, батьку бы таким шутком нарядили».

В это время шедший впереди официант приподнял портьеру и проговорил громко:

— Его сиятельство князь Андрей Васильевич!

Князь Андрей Дмитриевич сидел перед изящно сервированным для завтрака столиком, в небольшой комнате, называемой малой столовой, отделанной палевым мрамором с белыми капителями в коринфском стиле. Между колоннами стены украшены рисунками альфреско, изображающими виды загородных дворцов Людовика XIV, принца-регента и их любимиц. Живопись была высокой художественной работы. На доклад официанта Андрей Дмитриевич молча мотнул головой.

По этому знаку официант, раздвинув портьеры, проговорил, опять с поклоном, Андрею Васильевичу:

— Его сиятельство просит пожаловать!

Андрей Васильевич вошёл. Увидав племянника, князь Андрей Дмитриевич сделал вид, что приподнимается, и протянул ему руку.

— Мой милый, дорогой племянник, — сказал весьма мягко и приветливо Андрей Дмитриевич, когда племянник бросился к нему. Он поцеловал племянника в голову, отнимая руку, которую тот хотел поцеловать. — Ну пол-

но, кто нынче у дядей руку целует? Это не в моде, мой милый! Чересчур тривиально! Ну дай-ка на тебя посмотреть! Да ты молодец! Вот поотшлифуем, так будешь такой сердце-ед, что барыни наши кругом все растают. Тем лучше, тем лучше! А пока садись, будем завтракать и поговорим по душе. — С этими словами он усадил племянника к столу.

Андрей Дмитриевич был одет так, чтобы прямо после завтрака можно было ехать во дворец. На нём был бланжевый атласный, шитый золотом кафтан, украшенный большими пуговицами, составленными из мелких сапфиров; бланжевое нижнее платье; белый атласный с золотым шитьём и маленькими сапфировыми пуговками камзол, на котором лежала голубая лента Андрея Первозванного; в белых шёлковых чулках и лакированных башмаках, стянутых бриллиантовыми пряжками. Вокруг шеи и кругом нежных и полных рук его обвивались в два ряда тонкие брюссельские кружева. Из-за верхних расстёгнутых пуговиц камзола показывались брыжи из тонкого батиста, обшитого также кружевами.

На голове у него был небольшой низенький парик, слегка напудренный и завитый; на груди кафтана сияли две бриллиантовые звезды. В общем, всё это было так изящно, так богато, хорошо и, несмотря на богатство, так просто, всё сидело так ловко, что не было повода не только рассмеяться, но даже заметить что-нибудь такое, что не соответствовало бы изящной обстановке всего окружающего.

Андрей Васильевич с изумлением взглянул на дядю. Он воображал его вроде своего отца, только наряженного по-новому и с головой, подобной копне или бараньему курдюку, как он говорил. Это предположение его подтверждалось неоднократно слышанными рассказами о том, как они, то есть его отец и дядя, смолоду были похожи друг на друга. Между тем перед ним был — правда, одетый в нерусское платье, но чрезвычайно изящный и красивый — господин, ровно ничем не напоминающий старика отца. Он знал, что дядя был моложе отца лет на пять, на шесть, но какое же сравнение? Отец его был уже седой, сторбленный и хмурый старик; а господин, который был перед ним, ещё чрезвычайно

стройный, с весьма приятной улыбкой и относительно ещё молодой человек. На вид дядя казался ему человеком лет тридцати, разве с небольшим.

Улыбнуться над чем-нибудь, при взгляде на своего дядю, Андрею Васильевичу не пришло даже в голову. Напротив, он не мог не признать его весьма приятным, изящным и красивым.

Стол, перед которым его посадил дядя, был великолепно обставлен серебром и саксонским фарфором, на котором помещались предметы, ему совершенно неизвестные. Особенно его смущали какие-то раскрытые раковины, положенные на салфетку на серебряном блюде. Серебряный кофейник на конфорке, под которым горел спирт, и французские печенья в серебряной вазе также останавливали на себе его внимание. Два-три сыра на фарфоровых тарелках, страсбургский пирог в жестянке, яйца в особых рюмочках из хрусталя с цветными отводами, цветные рюмки и графины и какие-то особые поставцы с разными снадобьями, так же как чашечки для кофе и вазы для цветов и для каких-то зелё-

ных — яблоч не яблоч, а бог их знает что такое, надобно полагать, каких-то плодов, всё это были такого рода вещи, о которых Андрей Васильевич не имел понятия. Но он выдержал себя и не показал вида, что он чего-нибудь не знает из того, что видит; что он чему-нибудь удивляется...

— Прежде всего, дорогой мой племянник, я должен просить извинения за то, что так долго заставил тебя скучать одного.

Но ты, как поосмотришься здесь, сам увидишь, что наше время, особенно тех, кто вертится в заколдованном кругу придворной жизни, решительно не принадлежит нам. Ты, как нарочно, приехал в самый день карусели, и у меня секунды свободной не было. Поэтому, как ни рвалось моё сердце обнять моего милого племянника, я должен был поневоле отложить это удовольствие. Ну да, я думаю, и тебе не мешало с дороги оправиться, отдохнуть...

Молодой человек до сих пор всё молчал, уставив пристальный взгляд на дядю, но при этом замечании счёл обязанным вступить за свою выносливость.

— Я ничуть не устал, дядя, — сказал Андрей Васильевич. — На каждой кормёжке мы такую выхрапку задавали, что на-поди! Я ведь на своих ехал.

Андрей Дмитриевич слегка улыбнулся такому ответу племянника. Потом, с улыбкой поглядывая на него и грациозно играя своей золотой, осыпанной бриллиантами табакеркой, он проговорил:

— Да, у нас на матушке православной Руси всё ещё так неустроено, так грубо и дико, что поневоле приходится ездить на своих, с этими остановками да кормёжками, как ты называешь. Не то что во Франции! Там, например, из Парижа в Мец я за полтора суток доехал. Сидишь в дормезе, уснёшь и не видишь, как сотню вёрст прокатил... Да! Многому ещё поучиться и много устроить нам нужно!

Андрей Васильевич не сказал ничего, но думал: «Да, славны бубны за горами! Все вы, господа, из-за гор или из-за моря приезжаете и рассказываете, что люди там чуть не на головах ходят. А посмотришь, живут не лучше нас, грешных... Однако же какой он молодой,

красивый. Может ли быть, чтобы он только на шесть лет моложе отца был? Правда, волосы у него также белые, но это от муки или чем там они их обсыпают. Ну и выбрит, так моложе кажется. А красиво — кавалерия голубая и звёзды так и сияют...»

— Что хочешь, мой друг: прежде чашку кофе выпить или позавтракать? Вот страсбургский пирог, устрицы, соль — рыба такая французская. Признаюсь, люблю Францию! Впрочем, и неудивительно: я там без малого двадцать лет прожил, и ещё как прожил! При дворе лучезарнейшего короля Людовика Четырнадцатого! При принце-регенте! Впрочем, там и теперь, при молодом короле, очень хорошо!

Племянник стал есть вместе с дядей, но очень осторожно, посматривая, как и что ест дядя. От совершенно неизвестных же вещей, вроде устриц, он отказался вовсе.

После превосходного сальми и французских фруктов дядя налил кофе, а затем, видя, что племянник смотрит молодым дикарём и молчит, налил ему рейнвейну и, подвигая кофе, сказал любезно:

— Итак, дорогой племянник, мы хотим явиться в свет, поступить на службу, заслужить милость царскую, пленять собою петербургских красавиц... так ли?

— Отец велел мне спросить у тебя, дядя, что делать? Неужели в самом деле нам, Зацепиным, нужно в служилые князья идти?

— В служилые князья?.. — Князь Андрей Дмитриевич тонко улыбнулся. — Что ты хочешь сказать этим, мой друг? Я думаю, что первая обязанность всякого благородно рождённого, — не только князя, а всякого простого дворянина, — служить своему государю и отечеству. Даже такие фамилии, как Конде, Люксембург, Рогань, — и те служат! Не служить может только толпа, только народ, наши рабы, и среднее сословие, предназначенные пресмыкаться в пыли, чтобы мы, благородные люди, могли им благодетельствовать. Князья Зацепины, род которых идёт в глубь истории, за крестовые походы смешиваться с народом не могут ни в каком случае. Какое же различие будет тогда между нами и этою толпою разного чёрного люда, если мы сложим с себя первый долг — служить своему го-

сударю?

Андрей Васильевич совершенно растерялся перед этим вопросом дяди.

— Дядя, — несколько оправившись, сказал он, — отец мне приказал, что если ты найдёшь, что я служилое иго на себя принять должен, то...

— Э, мой друг, что за выражение? Служилое иго! Разве можно называть игом свою обязанность, и притом такую обязанность, которая каждому дворянину должна составлять удовольствие? За службу мы получаем чины, отличия... Службою устраиваем своё положение, увеличиваем состояние, поднимаем весь род свой, всю свою фамилию. Служба — наша честь, наша гордость! И называть её игом, милый племянник, грешно и стыдно!

— Виноват, дядя, может, я и не так сказал, но ведь тогда нам верстаться придётся, а теперь мы не в версту...

— Что ж? Благородное соревнование, я думаю, повредить никогда не может! Оно, думаю, скорее пользу принесёт нашей фамилии. Оно всегда возвышает, облагораживает... Но вот что, дорогой племянник, я уже тебе за-

метил о несоответствии некоторых твоих выражений. «Служилое иго, верстаться, кормёжка, выхрапка» — всё это слова, не употребляемые в обществе. Наконец, скажу тебе ещё, что ни в рассуждении высших себя, ни в рассуждении равных не употребляется слово «ты». Из вежливости каждому говорят, как бы не одному, а нескольким персонам или господам — вы! Я это говорю не для того, чтобы тебя огорчить, и не потому, чтобы мне было неприятно, что ты относишься ко мне не так, как принято в нашем обществе, но потому, что так следует говорить в свете, — что многие, может быть, отнесутся к тебе весьма несочувственно, если ты скажешь им *ты*. «Ты» говорят только близким и младшим себя родным и ещё чёрному люду, рабочим, то есть людям, которые стоят во всех отношениях далеко ниже нас.

— Стало быть, дядя, я тебе должен говорить как бы нескольким господам — вы; а когда других-то господ нет?

— Подразумеваются, мой друг, подразумеваются. Но ты меня спрашиваешь, а сам говоришь «тебе». — И дядя вновь приятно улыба-

нулся и прибавил: — Следует сказать «вам... вам, дядюшка»! «Дядя» — это очень грубо!

Племянник не отвечал и только смотрел на дядю, уставив глаза.

— Тебе это кажется странным, но так принято, мой друг, а нам с тобой света не переделывать! Недаром, когда на одном из маленьких вечеров, играя в вопросы и ответы, у блаженной памяти великого короля спросили, что всего сильнее на свете, то он, не задумываясь, отвечал: «Мода!..» Она покоряет одинаково и власть, и красоту. А говорить всем старшим и равным «вы» та же мода, то есть обычай, которому не подчиняться нельзя... Но обратимся к твоему вопросу. Служить, мой друг, необходимо. Этого требуют одинаково и обязанность, и польза, и, наконец, самая мода. Смешно и дико князю Зацепину, с его именем, положением, богатством, забраться в какое-то захолустье и прятаться там от людей, как медведь в берлоге. Вот хотя бы твой отец, а мой сиятельнейший брат, — ну скажи, что он там делает у себя в Зацепине? Ну, утром встаёт, ест, спит, а ещё что?

— Отец? Да у него минуты свободной нет.

Встаёт он в шесть часов и прямо идёт в брусяную избу, а там уж его ждут зацепинские выборные, приказчики, управляющие, из Шугароновки, Даниловки, Починка; все приходят, все спрашивают, нужно распорядок дать... Потом поутренничает и идёт разбирать разных просящих, просьбы принимает, иногда тут же разбирает и суд чинит.

— То есть ест, спит и целый день возится с мужиками, да? Ну княжеское ли это дело? Княжеская ли жизнь?

— Прости, дядя... виноват, простите, дядюшка! Но ведь кто же бы этим занялся? Я ещё был молод и только с прошлого года начал помогать отцу, а братья, те и теперь совсем ещё дети. Между тем ведь у нас больше десяти тысяч душ!..

— У меня теперь полные пятнадцать, — с улыбкой отвечал Андрей Дмитриевич, — хотя после батюшки, твоего деда, я не получил больше двух. Тем не менее я не только с мужиками, но даже с прислугой своей никогда не говорю. Они должны довольствоваться моими знаками. Ты спросишь, кто же устанавливает распорядок, кто ведёт дела, согласно

моим желанием? Боже мой! На это и есть среднее сословие: управители, секретари, контора, наши метрдотели, шталмейстеры, конюшие, различные анвуа и вообще все те, которые могут получать приказания уже прямо от меня. Наше, княжье, дело: государь, государство, армия, флот, администрация, а главное — двор, общество. Путь ко всему этому даёт служба. Наконец, самое препровождение времени, самые удовольствия наши должны быть выше, благороднее. Они должны касаться только разумного, нежного, деликатного. Покровительство наукам, искусству, поклонение красоте, грации — это я понимаю. Но мужичья жизнь? Согласись, что это профанация княжеского имени!

Племянник опустил глаза и не отвечал. Но ему было больно согласиться с тем, что вся жизнь его отца была только, как называл дядя, профанация; что всё, о чём он до сих пор думал, было только унижение. Поэтому ему очень захотелось защитить себя.

— Как же, дядюшка, — начал он, — отец говорил, что если Бог судил опять роду нашему иметь своё значение и сидеть по-прежнему

на своём столе, то нужно, чтобы всякий видел, что князя Зацепины будут делать дело. А для того, говорил он, нам нужно быть ближе к народу; нужно, чтобы всякий видел, что в том немногом, что у нас есть, царствует справедливость, порядок, разум, ибо, говорил отец, тот, кто не умеет распорядиться малым, не заслуживает и большого.

— В том-то и вопрос! Распорядиться, а не путаться самому, не якшаться! — немного горячо отвечал Андрей Дмитриевич. — Я не говорю, чтобы я не распорядился. Напротив, ничто не делается иначе как по моему распоряжению; но, как я уже сказал, между мною и чёрным людом существует естественный, Богом назначенный посредник — среднее сословие. Мир так создан, так устроен Богом! Посмотри на небо, что ты там видишь? Солнце, месяц, звёзды разных величин. То же самое и на земле: государь, его первый министр, князя, дворянство, среднее сословие, наконец, наши подданные, крепостные крестьяне, на обязанность которых возложено трудиться на нас, чтобы мы могли посвящать время и мысли свои высшим интересам человечества. Но

ясно, что вопрос был бы разрешён не вполне, если бы, освобождая нас от тяжёлой работы земледельца, плотника или столяра, он обязывал нас принять на себя другой, не менее тяжкий труд: разбор мелких притязаний низшего класса, его ничтожных страстишек и принижённых требований. Для того-то и создано среднее сословие: сословие судей, адвокатов, секретарей, купцов и всего этого люда, назначение которого — иметь непосредственное отношение к рабочим, к трудовому классу рабов. Их, этого среднего сословия, прямая обязанность быть посредниками между ими и нами, как мы, в свою очередь, должны быть посредниками между ими и государем. В таком устройстве общество получает свою полноту, свою естественность, явный признак премудрости Божией. Мы живём и даём жить, стремясь к лучшему, к благороднейшему. А то, согласись, если мы сами станем своими приказчиками, управителями, секретарями, то что же будет делать этот народ? Наконец, кто же будет управлять государством? Притом какая же будет жизнь наша? Ничего возвышенного, ничего благородного! Кто бу-

дет поощрять прекрасное? Кто будет проводником добра, блага, истины? Кто будет покровительствовать науке, возвышать искусство, помогать несчастиям, улучшать самую природу человека?

Дядя говорил с увлечением, говорил красноречиво, и неопытный в подобных спорах племянник не находил слов ему возражать, почему поневоле опять опустил глаза долу.

— Ну вот твой отец выражает какие-то фамильные притязания на Зацепинское княжество. В твоих словах тоже звучала какая-то надежда на возврат к прошлому. Подумай, есть ли в твоих несообразных намёках какое-либо дело, есть ли разум? Не говорю о том, что такое притязание в государственном отношении есть чистая нелепость. Всё стремится к объединению, к округлению, к общности. Человечество настолько ушло вперёд, что поняло, что сила в единстве. Это уяснил и выполнил во Франции великий Ришелье и тем поставил Францию на высоту могущества. Немцы тем и слабы, что у них всякая гора имеет своего государя. Но я не говорю об этом. Отношу вопрос лично к себе или к тебе,

как к старшему сыну старшего брата, будущему представителю фамилии: лучше ли было бы нам, если бы мы из нашего настоящего положения обратились вдруг в феодальных князьков какого-то мизерного Зацепинского княжества? Отвечаю, не обинуясь: ни в каком случае! Правда, твоему отцу пришлось бы тогда возиться не с одними мужиками, но и с зацепинскими горожанами; у него было бы не десять тысяч душ крестьян, а полмиллиона подданных. Но дело от того нисколько не изменилось бы. Наша жизнь владетельных феодалов никому не известного княжества поневоле должна была бы совпасть с жизнью наших помещиков средней руки в каком-нибудь захолустье нашего обширного государства, пожалуй, с жизнью моего сиятельного брата, твоего отца. Ни наук, ни искусства, ничего художественного, ничего вызывающего; ни общества, ни развлечений, а главное — ни женщин, потому что нельзя же признавать для нас женщинами, даже в смысле самок, русских деревенских девок и баб, так они грубы и грязны! Какая это жизнь? И что мне будет пользы в том, что я буду писаться: Божи-

ею милостью владетельный князь зацепинский и прочая, и прочая. Теперь другое дело; теперь мы можем жить с людьми, занимать принадлежащее нам по роду место в обществе. Можем, наконец, жить в своё удовольствие, а не возиться с чёрным народом, прячась по углам, как ночные птицы, в ожидании допотопных времён, чуть ли не с Ноева ковчега. Милый мой, поговорка «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе» была выдумана тогда, когда города были хуже деревень. По нынешнему же положению нужно говорить: «Лучше быть последним в городе, чем первым в деревне». Это понял твой отец и прислал тебя сюда. Слава богу, что он это сделал! Он, верно, помнит, как собирали и оплакивали меня. Всё равно что на тот свет провожали! Между тем ты видишь — я, слава богу, не погиб. И поставлен порядочно. Надеюсь, что и ты встанешь не худо, но для того нужно иметь официальное положение, стало быть, нужно служить. Чтобы служить успешно, чтобы тебя не обходили, не забывали, не относили к разряду чернорабочих, нужно иметь значение в свете. Значение в

свете в настоящее время достигается только через женщин; стало быть, нужно уметь нравиться женщинам. А для этого нужно иметь известный лоск, известное образование, манеры и ту гордость джентльмена, который не мешается с чёрным народом, не пачкается от прикосновения к грязи, а держит себя с тем достоинством, которое даёт только высокое происхождение.

— Таким образом, дядюшка, вы полагаете, что мне следует поступить на службу?

— Следует сказать вежливее, мой друг: не «вы полагаете», а «вы изволите полагать». Не только полагаю, но это уже решено. Вчера я говорил с принцем Гомбургским; он согласился, и я думаю, что сегодня ты уже числишься в Преображенском полку; кажется, по росту ты можешь быть в гренадерской роте. Сегодня же поговорю с герцогом, а завтра свезу тебя к Левенвольду; буду просить, нельзя ли, чтобы к Троицыну дню или хотя к именинам государыни зачислить тебя в камер-юнкеры.

— Ах, дядюшка, у меня с Левенвольдом вышла ссора.

— У тебя? С Левенвольдом? Это каким об-

разом?

Племянник рассказал происшедшее столкновение.

Андрей Дмитриевич нахмурился.

— Нелепо, просто нелепо, милый племянник! — сказал он, помолчав. — Левенвольд, по своим прежним отношениям и нынешним связям, по своему брату и родству с фаворитом, Остерманом, Минихом и всеми этими фонами и баронами — ведь все немцы между собою родня — теперь в большой силе и может много навредить тебе. И к чему было хоть самому-то мешаться? О, зацепинская кровь! Ведь вот Волынский за такого рода речи, пожалуй, головой поплатится. А Волынский — кабинет-министр и родня Салтыковым, что весьма важно, так как мать государыни была Салтыкова. Поэтому нужно было подумать, очень подумать...

— Что же мне было делать, дядюшка?

— Как что делать? Ту же минуту подбежать к нему, просить извинения за своих людей, наговорить почтительных любезностей, принимая меры, чтобы немедленно распутали лошадей, и такие меры, чтобы он видел,

что ты себя для него не жалеешь.

Он сказал бы: почтительный молодой человек, и по первому моему слову карьера твоя была бы упрочена. Не забывай правила: чем выше, тем вежливее. Ты молодой человек, поэтому должен стараться быть вежливым со всеми, а тем более с обергофмаршалом, представляющим силу. Я, право, не знаю, как мне придётся вас помирить. Левенвольд очень мстителен. Но пока всё это в сторону. Скажи мне вот что: я писал к брату о необходимости дать вам образование. Учил ли он вас чему-нибудь, и, прежде всего, говоришь ли ты по-французски?

— Да, дядюшка. По вашему письму, отец нанял учить нас пленного шведа, который не поехал к себе, когда был заключён мир.

— И чему учил вас этот швед? — спросил дядя по-французски. — Отвечай по-французски.

Племянник начал было перебирать по-французски, что вот учил его швед немецкому, французскому и шведскому языкам; истории римской и всеобщей, географии по Пуфендорфу и прочему. Но только что он загово-

рил, как дядя заткнул уши.

— Что ты! Что ты! Это ужасно! Подобным образом коверкать язык! А произношение! Ужас! Ужас! Да ваш швед просто сумасшедший! Французский язык — это гармония, музыка, а ты?.. Нет, ты уж по-французски лучше пока не говори. Завтра же прикажу являться к тебе каждое утро *monsieur Vonnet*, пусть он с тобою позаймётся... А ты старайся. Без французского языка в настоящее время никуда показаться нельзя, хотя государыня по-французски и не говорит или не любит говорить. Она любит говорить по-немецки, потому и немецкий язык весьма нужен. Но это ещё не всё. Нужны манеры. А я не могу не сказать, что у тебя манеры, извини, молодого медвежонка. Пройдись-ка по комнате, дай на себя ещё раз взглянуть.

Племянник выполнил желание дяди.

— Ну взгляни, как ты ходишь! Разве можно так ходить? Зачем ты выворачиваешь носки внутрь и руками зачем так махаешь, будто у тебя вместо рук крылья ветряной мельницы? Нет, друг, прежде чем куда-нибудь являться, нужно поотшлифоваться. Завтра у те-

бя будет monsieur Ферро... Ну, я всем этим займусь, только и ты, с своей стороны, приложи усердие.

— Постараюсь, дядюшка!

— Так вот мы как с тобою уговоримся, дру мой; сделаем так, чтобы нам обоим было покойно и приятно. Помещение, которое теперь занимаешь, — твоё; располагайся в нём как знаешь. Твоё содержание, содержание твоих людей, лошадей — всё это будет производить мой метрдотель совершенно наравне со мною, моими людьми и лошадьми. Ты можешь звать к себе приятелей, угощать их как знаешь, тебе всё это будет готовое; вина, десерт и всё, что нужно, будет отпускаться из моего погреба и моих кладовых. Но лошадей покупай сам. Все твои карманные издержки, твоё платье и расходы вне дома ты должен производить уже из своих денег. Это уже дело твоего отца. Ты без крайней нужды меня относительно денег не беспокой. Во-первых, потому, что я хоть и много получаю, но расходы здесь так велики, что у меня и у самого часто денег нет; а во-вторых, потому, что нужно привыкать к расчёту и не выходить из своих

средств. Потом, когда ты немного поотшлифуешься, я везде представляю тебя как своего племянника и наследника. Это придаст тебе вес. Но прежде всего, ты на наследство после меня не рассчитывай. Я могу всё промотать, могу жениться, ведь мне не сто лет, могу, наконец, отдать кому хочу то, что мною нажито. Одним словом, мало ли что может быть в будущем. Я не говорю, что я лишаю тебя наследства; может быть, напротив, тебе всё и отдам... но я не хочу связывать себя каким бы то ни было обещанием. Потом, постарайся настолько себя образовать, чтобы мне можно было не краснеть за моего будущего protégé. Наконец, ты свободен и можешь делать что хочешь... Не мешай и мне быть свободным и делать, что я хочу. Если захочешь меня видеть, пошли вперед упредить. Я тоже постараюсь ни в чём не беспокоить тебя. Ты согласен?

— Дядя, ты...

Князь Андрей Дмитриевич с улыбкою погрозил племяннику пальцем. Молодой человек сейчас же оправился:

— Дядюшка, вы слишком милостивы. Мне

очень совестно...

— Совестьется не от чего, мы свои! Нужно только, чтобы мы и помогали друг другу как свои. Ты молод, красив, и твоя карьера впереди. Будем же друзьями, как нам следует быть. Не будем брать примера с князей Долгоруких, которые когда при покойном императоре в силу вошли, то начали друг другу завидовать, друг под друга подкапываться и кончили тем, что все погибли. Не забудь: арена при дворе — арена скользкая. Держаться на ней надо уметь; особенно если высоко держаться. Но князей Зацепиных Бог головой, кажется, не обидел. Нужно только не горячиться; нужно сдерживать себя и взаимно друг друга поддерживать и помогать. Тогда всё и будет хорошо. Так, что ли?

— Я в вашем распоряжении, дядюшка, и всё, что прикажете...

— Я ничего не приказываю, а хочу только, чтобы обоим хорошо было. И вот для начала твоего знакомства с петербургскою жизнью, именно чтобы учиться манерам, светской болтовне, уменью держать себя, наконец, практиковаться в французском языке, я пред-

лагаю тебе сегодня вечером, в девять часов, ехать со мною к Леклер.

— Кто это Леклер?

— Кто Леклер? Как тебе сказать... французская актриса, комедиантка.

— Комедиантка! Что же это такое?

— Комедиантка — это... которая на театре играет.

— А откуда она?

— Право, больше о ней ничего не знаю. Ну, девка там, что ли, дочь какого-нибудь французского проходимца. Одним словом, бог её знает, что она такое! Да кто же спрашивает о происхождении актрис? Довольно того, что я могу сказать тебе, что она очень милая, очень ловкая женщина! Вчера она пела в Зимнем дворце и привела всех в восторг. Притом она великая мастерица и любит просвещать вашу братью молодёжь. Ну, у неё всегда много собирается. Густав и Карл Бироны и Степан Лопухин, почитай, ни одного вечера не пропускают. Бывает и твой приятель Левенвольд, и его брат Карл. Так вот у неё ты и начнёшь свой светский дебют. Может быть, мне удастся и с Левенвольдом тебя свести, авось пере-

менит гнев на милость. Ну, а пока распростимся. Мне пора во дворец. Сегодня назначено поздравлять шута Педрилла с новорождённой свинкой с Ладожского озера; там интересуются, как это он её будет выводить и какие шуточки говорить.

И дядя с племянником расстались вполне довольные друг другом.

«Ничего, молод, красив; поотшлифуетя, хоть куда будет! И мало ли что впереди может случиться!» — думал дядя, провожая глазами уходившего племянника.

А племянник, с своей стороны, думал: «Да у меня дядя лихой и какой красивый! Право, кажется, не любить такого нельзя».

VII

Русский петиметр

Нам необходимо познакомиться поближе с князем Андреем Дмитриевичем, чтобы объяснить взаимное противоречие взглядов, которое обозначилось в его разговоре с племянником. Тот и другой, видимо, смотрели на жизнь с одной точки зрения. Они одинаково признавали справедливость преобладания исключительно одного элемента в жизни общества и государства, одинаково выводили его из Божественного предназначения каждому в его происхождении. Один подчинял мысль о таковом происхождении родовому началу; другой, наоборот, ставил его на пьедестал феодальной зависимости и абсолютизма. Но тот и другой — в нём, и только в нём, видели человеческое достоинство, хотя, видимо, расходились в своих понятиях. С племянником, насколько было можно, мы познакомились из очерка его воспитания, а также из жизни и взглядов его отца; взглянем теперь

на жизнь дяди.

После того как с похоронными причитаниями и общими рыданиями проводили Андрея Дмитриевича из родового села Зацепина, прошло более тридцати пяти лет; но у него и теперь ещё отзывался в ушах тот общий вой всего женского населения, которым ознаменовались его проводы. Он помнит, что несколько женщин, пользовавшихся известностью в своём искусстве голосить, шли за его повозкой до самого моста, речки Зацепинки, впадающей в реку Ветлугу, и своим вытьём и причитаниями до того расстроили нервы его, одиннадцатилетнего мальчика, что он уткнул голову в подушку и без умолку плакал навзрыд до первого привала. Но детство — всегда детство. Наплакавшись досыта, он потом невольно начал смотреть по сторонам. Дорога была скучная, шла преимущественно по берегу реки, но и она представила не выезжавшему никуда мальчику нескончаемое количество развлечений. Его занимала и ёлка, разбитая громом и засыпанная снегом, и вывороченный ветром корень большого дерева, и скривившийся набок домишко

лесника. Потом заняло его внимание соседнее село с новым домом отца Ермила, выкрашенным светло-зелёной краской с голубыми отводами; мелочная лавка с орехами, пряниками и другими бакалеями; наконец, пряничный петух, с раззолоченным гребнем и ногами, и коврижка, преподнесённые ему ехавшим с ним его дядькой Архипом Савельевым, которому было поручено довести княжича до Москвы. Затем новые виды, новые люди, множество предметов, совершенно неизвестных молодому дикарю, не выезжавшему до тех пор никуда, совершенно отвлекли его внимание от прошлого. Через несколько станций он уже думал только о будущем. Он знал, что его везут учиться, и с ужасом думал о том, как будут его учить, соединяя в понятии своём слово учить с словом мучить.

К великому его удивлению, оказалось, что учиться не так трудно, как он себе воображал. В Москву его привезли ночью. На другой день его повезли к временно управлявшему тогда Москвою, за болезнью князя Ромодановского, Якову Вилимовичу Брюсу. Там собралось уже много молодых людей, вытребованных также

по указу царя, чтобы отправить их в чужие края для образования. Царя тогда в Москве не было. Он был в своём «парадизе». Тем не менее он очень заботился о сборе молодых людей и приказал о приезде их доносить себе. Знаменитый учёный, суровый с виду, но мягкий и добрый по душе, временный начальник Москвы обошёл их всех, расспросил каждого, кто он, откуда, чему и у кого учился, затем предлагал на разрешение мелкие задачи и вообще занялся представляемыми ему молодыми людьми вполне сочувственно. Андрею Дмитриевичу он предложил вопрос: что вот если в Петербург послать к государю курьера, то, ехав с возможною скоростью, он доедет до Петербурга не ранее как в пять дней; а во сколько времени доедут, если для спешности послать разом двух курьеров?

Бойкий мальчик не сбился от такого вопроса, сообразив, и отвечал смело:

— Если рядом будут ехать, вместе и приедут!

Брюс улыбнулся, похвалил и назначил его в математический отдел. А как, по случаю зимы, отправить молодых людей из Кронштад-

та морем было нельзя, то в ожидании приезда государя и назначения им самим кого куда отправлять, Брюс, не теряя времени, распорядился, чтобы с привезёнными молодыми людьми начались сейчас же занятия. Математический отдел был поручен учителю математики и русского языка Ивану Алексеевичу Зейкину, тогда только начинавшему свою педагогическую деятельность. Скромная и тёплая личность молодого учителя, ясность и простота его изложения сейчас же привлекли к нему всех учеников; все стали охотно учиться, и математика пошла хорошо. Андрей Дмитриевич был в числе первых и был представлен с четырьмя лучшими товарищами государю, когда он в начале весны приехал в Москву.

— Как зовут? — спросил его государь.

— Андреем.

— По прозвищу, дурак! — заметил сурово Пётр.

— Князь Зацепин.

— Зацепин, — повторил государь, раздумывая. — Это откуда? Из татар, что ли?

— Нет, великий государь, — не задумыва-

сь, отвечал мальчик, знавший твёрдо свою родословную, так как отец твердил её ему раза по три в день. — Князья Зацепины происходят по прямой линии от светлого дома Рюрикова, от Василия Константиновича, сына Константина Всеволодовича, внука Всеволода Юрьевича Большое Гнездо и правнука Юрия Владимировича Долгорукого, младшего сына Владимира...

— Полно молоть, мельница, — сурово перебил его государь. — Только тронь их за струнку, они начнут такую притчу, что уши заткнёшь, — продолжал государь, обращаясь к Апраксину, который стоял за ним. — Поди, «Отче наш» прочитывать не умеешь, — сказал он, обращаясь вновь к Андрею Дмитриевичу, — по цифири счёт за сотню перевести не знаешь, а выучил уж всех Всеволодовичей да Константиновичей. Только как же я-то о вас, Зацепиных, никогда не слыхал? Неужто до сих пор вы все у себя в берлоге лежали да лапу сосали? Ведь это только у нас на Руси и встретить можно, — продолжал он опять, обращаясь к Апраксину. — Где встретишь ты, чтобы родовой и богатый князь прятался от

света божьего в каком-нибудь медвежьем углу и ни Богу, ни людям не служил? Ну, посмотрим, чему тебя Зейкин обучил. Пифагоровы штаны знаешь?

— Как же, государь, знаю. Иван Алексеевич показывал. И по чертежу, и буквами вывести умею.

По приказанию государя он написал известную теорему Пифагора, приводя все доказательства её несомненности.

— Гм! Недурно! — сказал государь. — А учиться хочешь?

— Хочу, государь!

Влияние Зейкина уже отразилось на всех его учениках желанием учиться.

— Языкам чужим не учился?

— Здесь начал по-французски.

— Во флот, — сказал государь. — Только куда? — прибавил он, опять обращаясь к Апраксину. — У англичан дело хорошее на практике, а теория хромает хуже шведов.

— Уж если, государь, хочешь учёного моряка сделать, пошли во Францию, в тамошнюю коллегию морскую.

— Сердит я на Францию... ну, да опять, что

ж делать? Написать брату Людовику, что я его особо прошу. У них точно науки эти проходят настояще, не то что в Лондоне и Амстердаме, а мне нужно не только храбрых, но учёных моряков. Смотри, Зацепин, не ударь лицом в грязь!

С этими словами государь отошёл к другому ученику.

По этому слову великого царя Андрей Дмитриевич через месяц был в Петербурге, а ещё через два был в Париже, в тамошнем морском коллегиуме, или навигаторской школе, одном из лучших учебных заведений того времени для изучения точных наук.

Длинный ряд полутёмных зал, идущих параллельно с дортуарами, в которых кровати были расположены фронтом, одна подле другой, с поставленными между ними шкафчиками, с надписанными именами над каждой кроватью и другие порядки форменной, казарменной жизни тогдашнего учебного заведения Франции сперва, разумеется, не могли не отразиться на Андрее Дмитриевиче подавляющим впечатлением. Военный порядок, общая сухость официальных отношений как

между товарищами-учениками, так и их надзирателями и начальством, наконец, отсутствие всякой самостоятельности и общая напряжённость не могли не ложиться весьма тяжело на молодом дикаре костромских лесов. Он даже захворал от тоски, от чувства гнёта, от какой-то отчуждённости, какого-то насилия воли. Но природная весёлость французов, их общительность, любезность с детства и всегдашняя внимательность к чужестранцу скоро победили в нём это ощущение одиночества, это чувство отчуждения и пустоты, и он стал своим между чужими. Это понятно. Он был ещё ребёнком, и ребёнком весёлым, предприимчивым. Все были к нему хороши. Директор, инспекторы, надзиратели, учителя были особенно внимательны к нему, во-первых, по внушению сверху, а во-вторых, зная, что царь, отправляя свою молодёжь учиться, не оставляет её на произвол судьбы. Он следил за каждым её шагом. А его внимание, понятно, вызывало внимание и ближайших к ним лиц. Ведь никто из них был не прочь получить из этой варварской Московии, в виде милости царя, за успешную подготовку его

учеников что-нибудь, хоть какую-нибудь там шубу из этих соболей, которые, говорят, в Москве бегают по улицам. В этих-то своекорыстных расчётах, прикрытых французской любезностью, при том обаянии, которое до сих пор производит на француза титул принца, к княжичу действительно относились как к чему-то особенному, к чему-то, что нужно было щадить, поощрять, выставлять и что, разумеется, не могло не льстить, не поднимать самолюбивого юношу, и до того признававшего себя чем-то выше обыкновенного смертного, в десять лет от роду хорошо помнившего длинный ряд великих князей, от которых он происходит, и умевшего указать, что вот одна из княжон этой длинной вереницы его предков, именно дочь Ярослава Мудрого, была французской королевой.

К языку Андрей Дмитриевич тоже скоро привык. Скоро выучился он всему, что составляло тогда необходимую принадлежность французского воспитания. Природная ловкость и свободная до десяти лет жизнь в деревне не могли ему в том не содействовать. Трудно ли было ему выучиться ездить вер-

хом, когда он без всякой науки умел без седла скакать у себя в деревне во весь дух на всякой лошади, какая только ему попадётся. Трудно ли было ему научиться метко стрелять из ружья и пистолета, когда в Зацепине он чуть не без промаха попадал в воробьёв из самостре-ла, верно сто раз ходил на болото с зацепинскими охотниками на тетеревов и рябчиков и даже в прошлом году с братом Василием и подобранными молодец к молодцу удальцами ходил на медведя? Трудно ли было ему выучиться игре в мяч, когда он до того отлично играл в лапту? И вот не прошло года, как он уже весело болтал с своими новыми товарищами, детьми первых фамилий Франции, усваивая их образ мыслей, подражая их манерам и стараясь уловить всю тонкость и особенность произношения истинного парижанина.

Между тем наука шла вперёд своим чередом. В морском коллегиуме, или навигаторской школе, того времени преподавали все звёзды тогдашнего учёного мира в Париже. Меркатор, Декарт, Делиль, Монтескье, Боссюэ, Фенелон считали себе за честь читать в этом

рассадики будущих моряков Франции. Андрей Дмитриевич был толков, понятлив и не ленив, а главное, не был забит с детства ни к чему не нужными и ни к чему не ведущими заучиваниями только напрасно обременяющих память предметов, — потому и успевал. По школе он числился вторым учеником и получал за то неоднократно милостивые слова и незначительные подарки от имени самого государя, передаваемые ему через посольство при письмах от Антона Эммануиловича Девьера. От отца он не получал никаких известий и сам к нему не писал.

Князь Дмитрий Андреевич, отправя по приказу царя сына в басурманские земли, считал его как бы мёртвым. В свою очередь Андрей Дмитриевич начинал думать, что воспоминания об отце, матери, брате, о его жизни в их родовом селе Зацепине и о зеленеющих берегах реки Ветлуги только сон и что ничего этого не было и нет; что он родился прямо здесь, на дворе коллегиума, под ветвями его тенистых каштанов и что здесь поэтому сосредоточивается всё, что он должен любить и уважать.

Между товарищами он особенно сошёлся с двумя молодыми людьми из первых фамилий французской аристократии. Это были, маркиз де Куаньи и граф де Шуазель, которые часто приглашались в Лувр, Люксембург, в отель д'Орлеан и другие дворцы для препровождения времени с молодыми принцами и для участия в забавах королевских принцесс. Рассказы их о дворе, свете, театре, выездах очень занимали Андрея Дмитриевича, тем более что он совершенно не имел понятия о том, что такое общество, свет, общественные удовольствия, и даже до тех пор не видал ни одной светской дамы. Ясно, что он представлял себе всё это в каком-то волшебном виде. Из разговоров товарищей он начинал понимать значение этикета, связей, отношений, влияния женщин. Он слышал много раз, что через женщин устраиваются карьеры, положения, что успех у женщин создаёт иногда богатство. С восторгом слушал он рассказы о дуэлях, волокитстве, игре, шалостях молодёжи, похождениях парижских донжуанов, интригах театрального мира, наконец, о маленьких вечерах короля, о Версале и обо всём, что делал то-

гда французский двор, признаваемый целым миром самым блестящим и заставлявший поэтому все дворы Европы ему подражать. Недостаток средств, ему предоставляемых, а также неимение знакомства лишали его возможности не только испытать это, но даже видеть. Но он знал, что добьётся этих средств, увидит всё это, испытает во что бы то ни стало. Он знал, что будет жить так же, как полагают жить его приятели де Куаньи и де Шуазель. Недаром же он князь Зацепин. Его идеалом, целью его стремлений был знаменитый кавалер Сен-Жорж. Этот креол приехал в Париж также без средств, но ведь жил же он, и как ещё жил! Почему же и он не может достигнуть того же? Эти мысли заставляли его с особым вниманием вслушиваться во всякий разговор, усваивать всякое замечание, из которых он мог бы ознакомиться с какой-либо стороной светской жизни. Он скоро принял и усвоил те мнения старинного французского дворянства, которые заставили его думать, что они избранные существа, созданные Богом иначе, чем другие смертные; что высокое происхождение налагает на них и высокие

обязанности; что они рождены быть покровителями, тогда как другие рождены, чтобы быть только покровительствуемыми. Он усвоил эти убеждения и проникся ими настолько, что после, уже в Петербурге, когда он принял на себя труд отшлифовывать и образовывать своего медвежонка-племянника и когда этот племянник, Андрей Васильевич, сказал ему про что-то, что он купил или нанял очень выгодно, то он ответил: «*Fi, mon cher!* Разве мы можем говорить о выгодах? Ты князь Зацепин! Мы можем наживать *en gros*. Меркантильные же расчёты оставь Толстопятовым, Белопузовым или как там их зовут, которых, если ты хочешь, можешь презирать, но ни в каком случае не обижать в денежном отношении!» Одним словом, он вполне усвоил то, что составляло рознь и язву прежнего французского общества, которые отразились потом столь страшными последствиями.

Таким образом прошло года четыре, и Андрей Дмитриевич из ребёнка стал уже стройным и красивым юношей.

В это время старый маркиз Куаньи, отец его близкого приятеля, вдовевший уже лет де-

сять, вздумал жениться. Он выбрал себе в невесты m-lle де Жервез, питомицу монастыря кармелиток, жившую там с четырёх до шестнадцати лет и взятую оттуда только по случаю её близкого замужества. Маркизу было уже за шестьдесят, хотя под напудренным париком, подбелённый и нарумяненный, он не казался таким старым, и весь Париж находил, что девица де Жервез делает прекрасную партию.

Молодой Куаньи от имени своего отца пригласил своего приятеля, русского принца de-Sacerine, участвовать в свадебной церемонии. Андрей Дмитриевич был в восторге от приглашения. Наконец он увидит этот высший свет, о котором столько думал, увидит двор, короля, составлявшего центр, к которому стремились тогда все мысли французской аристократии. Несмотря, однако ж, на своё пламенное желание, он не решился принять приглашение. У него не было денег. Царь, заботившийся о своих питомцах, давал им всё нужное, даже не забыл необходимых для них карманных расходов, но он, разумеется, не мог, да и не захотел бы снабжать их средства-

ми на выезды, на мотовство, на поддержание блеска. Между тем как ни неопытен был Андрей Дмитриевич в светской жизни, всё же он понимал, что не может он на великосветскую, блестящую свадьбу явиться в казённом мундире французского гардемарина; да и, кроме мундира, участие в церемонии требовало довольно значительных расходов. Чрезвычайно досадуя на своё положение, он хотел было отказаться. Но, узнав о его затруднении, его выручили оба приятеля. «Э, mon ami, — сказали ему Куаньи и Шуазель. — Кто между нами думает о деньгах?» И оба они предоставили в его распоряжение свои полные, туго набитые кошельки.

На свадьбе Андрей Дмитриевич увидел подкрашенного и подмазанного старика, в шитом золотом кафтане, бриллиантах и кружевах, через плечо его была надета лента Святого Духа, на груди сверкало несколько звёзд. Этот господин тихо двигался на своих подагрённых ногах, одетых в шёлковые чулки и башмаки с бриллиантовыми пряжками, и вёл под руку ещё очень молодую, высокого роста, стройную девицу, немножко смуглова-

тую, с чёрными как смоль волосами и чёрными же выразительными глазами. Одета в белое кружевное платье, с миртовыми и поморанцевыми цветами и тоже вся в бриллиантах, она шла, ведомая своим женихом, спокойно, самоуверенно. Её тонкие губки как бы насмешливо сжимались при взгляде на этого старчески худощавого и приземистого господина, взявшегося быть её опорой. Она твёрдо стала на колени перед жертвенником подле своего будущего супруга, поддерживая его, в то время как он становился на колени, и потом помогла ему подняться. Всё это она делала с таким невозмутимым спокойствием, будто не признавала, что происходившая церемония должна иметь на её жизнь какое-либо влияние. Начало обряда пришлось обождать, так как хотел быть король.

Андрей Дмитриевич видел, что все глаза были устремлены к одной закрытой двери, сам жених, казалось, более обращал внимание на эту дверь, чем на свою прекрасную невесту; все застыли в каком-то немом ожидании; в церкви царствовала мёртвая тишина. Только одна невеста, казалось, не разделя-

ла общего ожидания; ровным и хладнокровным взглядом она окинула церковь и остановила свой взгляд на распятии.

Вдруг раздался гул, по обществу будто пробежала электрическая искра, обе половинки дверей раскрылись.

Вошёл «он», окружённый туманом кружев, блеском светящихся бриллиантов и гроссмейстерской цепи орденских регалий и с милой улыбкой приветствия склонённой перед ним толпе. За ним, как лучи, тянулись блеск звёзд, сиянье шитых золотом мундиров и светлых, тоже сверкающих своими бриллиантами и своими глазами красавиц французского королевского двора.

Этот блеск, эта роскошь, это величие и самый этикет первого в мире по великолепию двора совершенно увлекли собою молодого уроженца ветлужских лесов. С минуту он ничего не видел. Но когда туман рассеялся, когда король встал на приготовленное для него место под балдахином и Андрей Дмитриевич взглянул на него пристальнее, то увидел, что это был тоже намалёванный и распудренный старик, ещё более дряхлый, чем сам жених.

Он заметил, что красота в нём была подделана, величие приноровлено, эффект подготовлен. Тем не менее он дал себе слово занять надлежащее место среди этой плеяды планет, окружавших солнце. Он сказал себе: «Я должен быть между ними по своему происхождению». Он смотрел на происхождение уже с точки зрения французского маркиза; он думал, что родился затем, чтобы быть в числе «этих», а не «тех», которые родились с назначением быть адвокатами, докторами, учителями, метрдотелями, кучерами и всем, чем могут быть живущие их милостью, живущие лишь для того, чтобы им, дворянам, жить было весело и покойно.

Обряд продолжался. Он видел, как жениху было тяжело стоять коленапреклонённым перед патером, читавшим своё благословение, и, напротив, видел, как спокойно и гордо слушала эти благословения невеста; как она опять помогла мужу своему подняться с колен; как потом оба они, уже в качестве новобрачных, подошли поклониться королю и почтительно принимали его приветствия; как потом она спокойно и холодно стала прини-

мать поздравления родных и знакомых, в то время как муж её, видимо утомлённый обрядом, опять более думал о короле, чем о своей молоденькой супруге.

Андрей Дмитриевич смотрел на неё пристально. Он видел, что и она взглянула на него, и ему показалось, что в эту минуту глаза её сверкнули необыкновенным блеском; но она в ту же секунду отвернулась, и он более этого блеска не видал.

Новобрачные провожали короля и его двор, осыпаемые любезностями; всё стремилось к ним, в том числе и его приятель, спешивший приветствовать мачеху, к которой так любезно отнёсся король. Андрей Дмитриевич тоже, в числе других, поднёс ей цветы и услышал слово благодарности, хотя молодая на него в это время и не смотрела. И он опять подтвердил себе: «Да, это моё общество! Я буду, я должен быть между ними свой!»

Случай утвердил его в этих мыслях ещё более. Окидывая взглядом общество ещё до совершения обряда, Андрей Дмитриевич невольно остановил свой взгляд на одном вельможе, ничем по внешности не отличав-

шемся от других, но вместе с тем представлявшем нечто особое, нечто другое противу всех. Пусть представят себе изумление Андрея Дмитриевича, когда этот вельможа, поздравив новобрачных, вдруг неожиданно подошёл к нему и сказал по-русски:

— Вы здесь, молодой человек, — сказал он, — очень рад, что наши начинают показываться в обществе, в здешнем высшем свете. Я напишу государю. Он будет доволен и потребует от вас описания свадьбы, которую удостоил своим присутствием здешний христианнейший король.

Это был посол России при французском дворе, блестящий и недоступный князь Борис Александрович Куракин.

Скоро, впрочем, случай доставил ему возможность видеть лучезарного короля при более благоприятных для него условиях. В это время шла война с Нидерландами. Старших воспитанников морской коллегии расписали по судам. В течение лета они должны были участвовать в кампании как для практики в морском деле, так и для приучения себя к военным действиям. Князь Андрей Дмитриевич

вместе с приятелем своим Куаньи были назначены на фрегат «Венус».

Не успели они выйти в море, как увидели у себя под ветром голландский фрегат «Артемизу» — фрегат размеров больших, чем был «Венус». Несмотря на это, командир и офицеры фрегата «Венус» решились атаковать. После обыкновенных приготовлений, произведённых с тем порядком и спокойствием, которыми отличался тогда французский флот, они полетели на неприятеля на всех парусах. Голландский фрегат встретил их залпом орудий наветренного борта.

Началось морское сражение — сражение более ужасное, чем какое-либо сражение на суше. Свист снарядов, треск подбитого и падающего рангоута, разрыв снастей, стон раненых, скученных на тесном пространстве, летание во все стороны щепы от разбиваемого борта — щепы, ранящей опаснее и хуже, чем самые снаряды, — всё это в совокупности представляло маленький ад. Море пенилось и ревело, угрожая поглотить обоих противников; то в том, то в другом месте начинались пожары. Голландский фрегат, сознавая свою

силу в численности команды и исправности её вооружения и видя, что действие его артиллерии уступает действию артиллерии французов, хотя число орудий у него было более, решил, хотя и был под ветром, взять французский фрегат на abordаж. Для этого он поворотил и хотел ударить французский фрегат в корму. Противники были уже на весьма близком расстоянии между собой.

Французский капитан угадал его мысль и, желая не допустить выполнения предположенного манёвра, быстро спустился сам и, подойдя к фрегату под корму, начал поражать продольными выстрелами, сбивая орудия, уничтожая снасти и нанося вред команде.

Андрей Дмитриевич был назначен состоять во время сражения при старшем офицере, для передачи его приказаний и повторения команды. Посланный им за чем-то на бак и побежавший туда с рупором в руках, он вдруг увидел, что перед ним шипит и вертится небольшая ручная граната. Не думая ни сколько, он вспомнил, как в Зацепине игрывал в лапту и городки, ударил рупором по шипевшей гранате, и та полетела за борт.

Старший офицер, как ни был занят и отвлечён, не мог не заметить ловкого и отважного приёма удальца гардемарина и ударил несколько раз в ладоши в виде аплодисмента отваге, который поддержали и другие офицеры, чего, впрочем, в пылу битвы Андрей Дмитриевич не заметил и не слышал.

В это время на голландском фрегате упала бизань-мачта. «Венус» воспользовался этим и осыпал команду голландца картечью.

Заметив произведённое на голландском корабле опустошение и понесённую им от продольных и картечных выстрелов громадную потерю в команде, французский командир решился изменить тактику: теперь он сам захотел абординовать неприятеля. Были вызваны абордажные партии, в одной из которых числился и Андрей Дмитриевич. После одного весьма ловкого манёвра французский фрегат врезался неприятелю в борт.

Увлечённый битвой и невольно заботясь о самозащите, думая также и о том, что ему, князю Зацепину, стыдно было бы ударить лицом в грязь, Андрей Дмитриевич вовсе позабыл свой эпизод с гранатой. Он вместе с дру-

гими полез по абордажным сеткам на неприятельский фрегат, где голландцы встретили их штыками. Увидев штык против своей груди, он, тоже машинально, выстрелил прямо перед собой из пистолета. Затем он уже не знал, что случилось с тем, кто думал проткнуть его насквозь. Началась свалка, среди которой в толпе, подаваясь совершенно механически то вперед, то назад, он очутился вместе с другими на неприятельских шканцах. Наконец голландцы отступили к своему баку; стало несколько свободнее. Андрей Дмитриевич подумал: «Они должны похвалить меня; я не только не отстал, но нахожусь впереди многих и в первой партии». Думая это, он увидел на полуюте неприятельский фалконет, совсем готовый и с засыпанной затравкой, а подле него убитого артиллериста-голландца и дымящийся фитиль. Тоже не сознавая того, что делает, а совершенно машинально, он вбежал на ют, оборотил фалконет и приложил фитиль. Раздался выстрел, осыпавший мелкой картечью партию голландцев, готовившуюся на баке поддержать отступающих. Этот выстрел решил дело, формировавшаяся

партия рассыпалась, и голландский фрегат был взят.

Началось распределение команд, забор пленных; часть французских abordажных партий с торжеством возвращалась на свой фрегат. С ними лез и Андрей Дмитриевич, думая: «Ну, слава Богу, Бог сохранил; кажется, я нигде не ранен; локоть только ушиб, да ухо расцарапано! Ну это ничего! А всё-таки они не могут сказать, чтобы я хуже других был, чтобы я трусил... Да я и не трусил, то есть оно было-таки немножко, но я всё же шёл, всё же не отставал». Влезая с такими мыслями на борт своего фрегата, он весьма изумился, что его приняли общим аплодисментом и выражением особого сочувствия, но изумился ещё более, когда узнал, что причина этого уважения не фалконет, не его abordажные подвиги, о которых он столько думал, а граната, о которой он и забыл.

Фрегат, взяв приз несравненно сильнейший, чем был сам, получил тоже серьёзные повреждения и должен был вместе с взятым призом воротиться в свой порт. Капитан, некоторым образом в награду подвигов Ан-

дворянина Дмитриевича, выбрал его быть вестником победы, и он был отправлен в Париж к королю.

Ему было внушено ехать не останавливаясь, ни с кем ни слова о сражении не говорить, а приехав, не переодеваясь, отправиться в Лувр.

Андрей Дмитриевич так и сделал.

Король принял его весьма милостиво в ту же минуту, как о нём доложили. Он перед тем лежал на кушетке в небольшой комнате, которую он называл комнатой отдохновения и где вообще не принимал никого. Какая-то дама в тёмном платье сидела у окна за пальцами.

Когда Зацепин входил, камердинер, стоявший у двери, сунул ему в руки золотой поднос. Андрей Дмитриевич взял его опять так же, как и выстрелил во время абордажа, то есть совершенно бессознательно.

Король приподнялся с кушетки, опустив ноги и опершись обеими руками на столик.

— А, маленький русский, — сказал он, хотя Андрей Дмитриевич, несмотря на то что ему было не более шестнадцати лет, ростом был

два аршина семь вершков, стало быть, был выше, чем Людовик XIV. — Какие вести вы нам привезли? Было сражение?

— Командир фрегата вашего королевского величества «Венус», капитан де Виньи, поручил мне поздравить ваше величество с победой и повергнуть к стопам вашим, государь, флаг взятого им голландского фрегата «Артемиза». Реляцию о бывшем деле имею счастье представить.

С этими словами Андрей Дмитриевич протянул было королю донесение и небольшую коробочку, в которой помещался искусно сложенный голландский флаг.

Но король, смотря ему прямо в глаза, не взял ни конверта, ни коробочки и только проговорил:

— А что, скажите, ведь «Артемиза» — это фрегат, кажется, больше и сильнее, чем «Венус»?

— Точно так, ваше величество! «Венус» сорокачетырёхпушечный фрегат, а «Артемиза» имела пятьдесят два орудия и, кроме того, была вооружена на юте фалконетами, — отвечал Андрей Дмитриевич, подавая королю

своё донесение правой рукой, тогда как в левой держал золотой подносик.

Дама, сидевшая у окна, видя эту сцену и понимая, что она происходит от незнания молодым человеком французского придворного этикета, встала, взяла поднос и донесение из рук молодого человека, положила донесение на поднос и подала поднести ему, а коробочку раскрыла, вынула оттуда флаг и раскинула его перед ногами Людовика XIV.

Король взял тогда донесение и стал читать. Поднос Андрей Дмитриевич поставил на стол.

— Посмотри, *ma chere*, — сказал он даме. — Этот молодой человек спас наш фрегат, выкинув за борт горевшую гранату, упавшую между картузными ящиками.

Дама подняла на него свои тёмно-синие, выразительные глаза и посмотрела пристально. Тогда он заметил ту особенность, ту необыкновенную мягкость и силу, которыми отличалось выражение взгляда госпожи Мен-тенон.

— Похвально, молодой человек, очень похвально! Я напишу вашему государю, что он

может рассчитывать видеть в вас достойного подданного. А пока примите выражение моей благодарности... (дама в это время подала Людовику что-то на другой стороне столика)... выражение моей благодарности, которая на первый раз пусть обозначится вот этим вещественным украшением, означающим причисление ваше к ордену Святого Людовика, служащего всегда поощрением храбрых. Подойдите ближе ко мне, молодой человек, я вас украшу этим знаком, который много лет я носил на своей груди.

Андрей Дмитриевич подошёл к королю как в тумане. Дама положила руку на его плечо и нажала так сильно, и он понял, что требуют, чтобы он склонился на колени.

Андрей Дмитриевич выполнил требование, и Людовик XIV проговорил торжественно:

— Во имя Отца, Сына и Святаго Духа, посвящаю тебя в сонм избранных, да будешь защитою правды и невинности!

С этими словами он ударил его по плечу три раза перчаткой, наклонился и надел в петлицу его кафтана белый эмалевый, с голу-

быми отводами крест.

— Ну, вы устали сегодня; а завтра я вас приглашаю к себе обедать. Вы расскажете мне подробности сражения, которые не могли вместиться в донесении.

Этими словами король его отпустил.

Но не успел он выйти за дверь, как за ним вышла дама, в присутствии короля не сказавшая ни слова.

— Король поручил просить вас, — сказала она, — принять этот поднос в память счастливого донесения, привезённого вами, и вашей храбрости также.

Андрей Дмитриевич поклонился.

— А вот и моя карточка, если вы вздумаете сделать мне честь навестить меня.

Андрей Дмитриевич склонился невольно, взглянув на её имя. Это имя было тогда в Париже у всех на языке. Говорили, что Людовик XIV на ней женился.

Выйдя из дворца и захав на минуту в отель, чтобы переодеться, он отправился к Куаньи. Его друг и сотоварищ, бывший с ним на фрегате «Венус» и также отличившийся в сражении, дал ему письма к отцу и мачехе. Мар-

киз страдал подагрическим припадком и не мог его принять; его приняла только маркиза; разумеется, Андрей Дмитриевич не находил себя от того в потере. Весёлый, счастливый, явился он к ней с письмами друга и был принят с самой очаровательной любезностью молоденькой французской аристократки. Она протянула ему свою маленькую ручку, которую он догадался поцеловать, получив в свою очередь обычный поцелуй в щёку. Разговор, разумеется, начался с описания сражения, с действий его друга, молодого Куаньи, потом перешёл на неистощимый сюжет в семействах французского дворянства, на короля, на его милостивый приём, на данную Андрею Дмитриевичу награду и сделанное ему приглашение. Но среди этой светской болтовни глаза молоденькой маркизы останавливались на нём с таким блеском, что неопытный юноша невольно опускал перед ними свои очи долу. Вскоре приехала m-me de Mony, потом m-me д'Егриньон, а через некоторое время m-me de Жервез и графиня Шуазель, кузина его друга. Все эти дамы наперерыв старались очаровать и смутить юношу, сильного

ещё своею скромностью, и все разобрали дни, которые Андрей Дмитриевич должен был проводить у них. Несмотря на то что все дамы, с которыми Андрей Дмитриевич сошёлся у маркизы, были молоды, любезны и хороши, преимущественное впечатление оставили в нём, может быть по воспоминанию о своих друзьях, хозяйка дома — маркиза и графиня де Шуазель. От их взгляда наш юноша просто таял и млеял, как настоящий юноша. Что-нибудь более смелое ему и в голову не приходило. Смотря на них, даже думать о чём-нибудь таком ему казалось святотатством. Под таким-то руководством и покровительством вступил он в большой свет парижской аристократии. Возвратясь от Куаньи, он нашёл в отеле секретаря посольства, молодого Голицына, который пригласил его к послу.

Князь Куракин тоже расспрашивал его о сражении, об аудиенции у Людовика, о награде, хвалил его, но сказал, что на принятие награды от иностранного государя следует испросить соизволение своего императора.

— Я не считаю себя вправе воспретить вам носить данный орден здесь, — это могло бы

быть принято королём неблагоприятно; но непременно нужно испросить разрешения нашего государя. Я это сделаю, удостоверю, что вы без награды не останетесь!

Андрей Дмитриевич полагал, что эта награда ограничится, как бывало всегда, когда ему писал Девьер, — десятью или пятнадцатью луидорами, но и за них он был бы очень благодарен. От отца Андрей Дмитриевич не получал никакого известия, поэтому крайне нуждался в деньгах. У приятелей своих, Куаньи и Шуазеля, он перебрал уже до тысячи экю и не знал, как и чем он может их заплатить. Но теперь приятелей этих в Париже не было. Ему предоставили воспользоваться отпуском, пока чинят его фрегат; а жить было не на что. Его поддержал несколько поднос, вынесенный от короля г-жою Ментенон, за который ему дали восемьсот экю; но что значат восемьсот экю в парижской жизни? Андрей Дмитриевич не знал, что делать, и думал было уже отправиться обратно на фрегат, как в это время наткнулся на похождение, столь обыкновенное тогда в Париже. В него влюбилась одна из старых дам, бывшая

ещё придворной покойной Анны Австрийской, — герцогиня де Муши. Она без всякой церемонии, прося его, чтобы он проводил её с какого-то вечера, увезла его к себе в свой загородный дом и там держала в плену целых трое суток. Зато в эти три дня она осыпала его и деньгами, и бриллиантами, и всем, чем только могла быть богата любовь старой женщины. Притом, говоря о разных похождениях светских дам, она научила его поматериальнее смотреть на свои отношения к женщинам и не глядеть на них, как на недоступные божества. С лёгкой руки этой старухи Андрей Дмитриевич пошёл в ход, получив в свете едва ли не официальное звание любовника молоденькой маркизы Куаньи, у которой m-me де Шуазель дала себе слово его отбить.

Между тем пришли письма из России, и посол, который везде встречался с молодым князем Зацепиным, счёл нужным сам заехать к нему. Он привёз письмо Петра.

«Благодарю тебя, Зацепин, что ты показал себя молодцом. Надеюсь, что и впредь будешь держать себя с таким же достоинством, а па-

че пригодишься с отличием служить своему отечеству. Награды, данные тебе братом Людовиком, утверждаю, а от себя назначаю, не в счёт жалованья, на твои депансы, 200 ливров французской чеканки, которые получишь от посла.

Благорасположенный к тебе Пётр».

Одна добрая весть другую несёт. В то же время Андрей Дмитриевич получил письмо и от своего отца.

«Любезный сын мой, князь Андрей! — писал отец. — Посылаю я тебе прежде всего своё отцовское благословение, вовеки нерушимое. Не писал я к тебе потому, что не знал, как и писать; только вот сегодня, в совете, Меншиков мне сказал, что не токмо писать, но и посылать тебе всё можно, и, спасибо, научил, как сделать, чтобы не пропало. Потому пишу и прошу тебя прежде всего, любезный сын мой, помни нашу православную веру и ни ради корысти, ни ради чести, ни даже спасения живота своего от неё не отступай. Ещё скажу: берегись ты и не принимай всех этих новшеств, что из человека обезьяну делают, а

помни одно, что ты князь Зацепин, потомок светлого дома Рюрика и святого Владимира, и что тебе не в скоморохи идти. Я здесь один, мать в Зацепине, а брата под турок угнали. Вот видишь, какое мы иго несём! Посылаю тебе, чтобы тебе жить было чем и не нуждаться, а жить, как следует настоящему Зацепину, три полтысячи наших рублёвиков. Ещё столько же ты можешь получить от нашего жида Постельса; тут на него есть записка от здешнего голландца Бранта. Шереметев мне говорил, что лучше всего так пересылать; но, признаться, я побоялся. В жидов-то я не больно верю. А если ты получишь исправно, то уведомь; я с Брантом сговорился, чтобы каждые полгода тебе по столько же доставлять. Деньги береги, напрасно не мотай! Помни, что копейка рубль бережёт; но и не скупись, не жадничай, будь как есть Зацепин. Коли будет мало, напиши, я и ещё пришлю; только веди себя так, чтобы ни мне, ни брату за тебя краснеть не пришлось, да и нас здесь не забывай. А там да будет над тобой милость Божия, которая доселе нас не оставляла и пребудет над тобою ныне, присно и во веки веков.

Твой отец князь Дмитрий Зацепин».

Таким образом начал Андрей Дмитриевич своё поприще в парижском свете. Через год он сдал морской офицерский экзамен и с разрешения Петра поступил на службу лейтенантом в французский флот. Вскоре он, благодаря покровительству госпожи Ментенон, был назначен морским адъютантом при особе короля.

К сожалению, ему недолго пришлось занимать эту должность. Людовик XIV, как ни молодился он до последней минуты, вскоре умер, и русскому князю досталась честь нести за его гробом вместе с ассистентами его королевский штандарт.

После смерти короля у князя не осталось другой обязанности, кроме жизни в свете, в обществе. Он сумел воспользоваться своим положением вполне. Блеск двора, к которому он имел полное право причислять себя и от которого пользовался различными акциденциями, не отнимал у него времени от удовольствий, любви и волокитства. Его известная смелость и храбрость заставляли всякого

беречься вступать с ним в соперничество; а его любезность, истинно французская, и притом французская времён принца-регента, давала ему право успевать даже там, где это нельзя было и ожидать. Маркиза Куаньи должна была в это время с своим полуразвалиной мужем ехать в Пьерофон на юг Франции. Но у князя Андрея Дмитриевича была наготове другая покровительница, графиня де Шуазель.

Эта рыжеватенькая, живая и очаровательная француженка дала себе слово закружить русского дикаря так, чтобы он не только себя, но и целый мир забыл. А чего не сделает хорошенькая француженка, если захочет? Она, и точно, перевернула все понятия Андрея Дмитриевича, сделала его истинным французом во всём, не тронув только религии; но надо полагать, что молоденькая герцогиня о религии не думала. Она торжествовала, видя, с какою завистью смотрели все на её красавца любовника. Ничего не требуя и ничем не стесняя его, правда и сама не отличаясь особою верностью, она украшала жизнь его всем, что только есть приятного в жизни, и хлопотала

доставить ему всё, что он мог только пожелать.

У неё встретился он и с тогдашней военной знаменитостью Морицем Саксонским, который был назначен командующим войсками в Нидерландах. Для разнообразия Андрей Дмитриевич принял на себя обязанность состоять при его корпусе в качестве моряка.

Несколько стычек, которыми он командовал, несколько советов, которые он успел предложить, разумеется, не давали ему права на особую благодарность французской армии; но, служив при корпусе, он сошёлся очень близко с главнокомандующим, который с ним, как с русским, охотно говорил о своей заветной мечте — герцогстве Курляндском и о вдовствующей герцогине, бывшей русской великой княжне. Близость их обозначилась взаимными одолжениями. Благодаря представлениям маршала-графа Андрей Дмитриевич получил золотую саблю; а благодаря представительству Андрея Дмитриевича роскошному и блестящему графу-маршалу, вечно запутывавшемуся в политических интригах и долгах, открыла обширный кредит ста-

рая и страстная герцогиня Муши.

Но служить в армии Андрею Дмитриевичу удалось не долго. Парижские покровительницы живо вытребовали его к себе. Да и сам он подумал: стоит ли для каких бы то ни было отличий зябнуть по ночам в палатках, не иметь иногда не только шампанского, но даже кислого пикардийского вина, недоспать и недоесть, когда можно беззаботно наслаждаться жизнью в Париже.

Маркиза Куаньи возвратилась с вод, графиня Шуазель была прекраснее и потому могущественнее, чем когда-либо, и Андрей Дмитриевич явился опять делить своё время между двумя прекраснейшими женщинами Франции, будучи другом их мужей, их родных и друзей, и одерживая лёгкие победы между другими красавицами самого блестящего и развратного общества, окружившего принца-регента по кончине Людовика XIV.

Но тут вдруг случился скандал, перевернувший всю прелесть этого счастливого для князя Андрея Дмитриевича времени. Князь Голицын, один из состоявших при посольстве молодых секретарей, с сестрою своею, быв-

шею замужем за Долгоруким, вдруг вздумали перейти из православия в католицизм. Это взволновало всех, и Пётр, опасаясь, чтобы пример этот не нашёл подражателей, разом и в самой строгой форме потребовал, чтобы все находившиеся за границей русские возвратились в отечество. Нужно было повиноваться, и князь Андрей Дмитриевич явился в Россию.

Он застал Петра уже на смертном одре; тем не менее он увидел его живым, получил его благодарность и одобрение и был представлен им самим императрице. Пётр приказал ему явиться к генерал-адмиралу Фёдору Матвеевичу Апраксину, как прямому его начальнику, и к своему любимцу — князю Меншикову. Граф был человек ещё не старый, но уже обрюзглый и обленившийся. Gourmand по природе, с скопческим выражением лица и неопределённым, немножко растерянным взглядом своих голубых, добрых глаз, он всего более заинтересовался рассказом князя об откармливании гусей в Страсбурге и пулярд в Нормандии, да ещё о приготовлении персиков с французскою водкою, и был очень доволен, получив полдюжины банок этих перси-

ков в подарок. Он пригласил его к себе обедать по четвергам и в первый четверг старался угостить так, чтобы заставить Андрея Дмитриевича забыть, что он не в Париже. Меншиков принял его серьезнее. Он очень много расспрашивал его о Морице и, главное, интересовался его любовницами; говорил, хотя и вскользь, о Курляндии и о надеждах Морица надеть герцогскую корону; вообще, тоже был весьма приветлив. Меншиков рассчитал, что, несмотря на древность рода, по недавнем возвращении своему из-за границы и той изолированности, которой держались Зацепины, они не могут иметь прочных связей со старинными родами московских бояр, и решил этим воспользоваться. Поэтому князь был принят на службу прямо капитан-командором, и под его команду был назначен строившийся в Адмиралтействе стопушечный корабль. В день смерти императора, при избрании императрицы Екатерины I, Меншиков приказал ему со всеми офицерами его команды явиться во дворец. Само собой разумеется, что такая, как бы назвали нынче, демонстрация не могла не иметь хотя косвенного влия-

ния на самое избрание. Зато Андрей Дмитриевич при воцарении Екатерины I получил патент на контрадмиральский флаг и был жалован деревнями. Начало блестящее для только что поступившего на службу, тем более что в то же время он был назначен тайным советником и действительным камергером при особе её величества, а ему не было ещё и тридцати лет.

Но он не увлёкся этими милостями, хотя и начали было говорить, что Меншиков усиленно старается выдвинуть его вперёд, чтобы ослабить влияние на императрицу Рейнгольда Левенвольда. Правда, что императрица хотя и сохранила ещё остатки своей необыкновенной красоты, но, разумеется, ни по своей свежести, ни по способности увлекать и очаровывать не могла уже становиться в уровень ни с молоденькой и игривой де Шуазель, ни с поэтически-прекрасною маркизою де Куаньи; но всё-таки при той обстановке, в которой находилась императрица, она могла останавливать на себе горячие симпатии, особенно такого человека, который целомудрие не признавал добродетелью. Но он хотел,

прежде чем на что-либо решиться, поосмотреться, пообдумать и не подвергать себя опасности из-за интересов, для него совершенно чуждых. А главное, он хотел продолжать в Петербурге свою парижскую жизнь, которая, как он находил, всего более соответствовала его вкусу и наклонностям.

В это время преобразовательные требования Петра уже обозначились в петербургской жизни. В Петербурге начало уже образовываться новое общество. Наплыв иностранцев, из которых многие уже обрусели и были женаты на русских, более и более усиливал это общество. Положим, что это была ещё только карикатура парижского света, тем не менее в нём уже сияло несколько красавиц неподдельным блеском. В этом обществе ловкий, любезный, образованный и красивый князь Андрей Дмитриевич буквально царил. Но даже и в этом своём абсолютном светском царствовании он умел держать себя весьма осторожно и сдержанно. Относясь в душе своей с полным презрением ко всем этим выскочкам, ко всем этим проходимцам, стало быть, ставя совершенно на одну доску Меншикова и Ягу-

жинского, Остермана с его Левенвольдами и Головкина, Девьера и Макарова, он не хотел сближаться и с их противниками: Черкасским, Апраксиным, Голицыными, Долгорукими. Но, не сближаясь ни с кем, он был настолько со всеми вежлив, настолько предупредителен, что все партии признавали его своим, отводили ему место в своём кружке и высказывали свои предположения настолько, насколько князь Андрей Дмитриевич желал, чтобы они высказывались. Он выдумал для себя при дворе особую должность и этой должностью поддерживал своё значение. Эта должность была завтраки, или утренники, как он называл их. Эти завтраки — бледное подражание ужинам герцога Орлеанского, но подражание умно и с толком применённое — очень понравились невзыскательному тогдашнему обществу. Они были новостью, и новостью для всех приятной, тем более что в искусстве угощать и распорядиться угощением князь Андрей Дмитриевич и в Париже немного встречал себе соперников. Притом он подметил склонность императрицы, заимствованную, может быть, от своего великого

супруга, довольно благосклонно снисходить на верноподданнические тосты, и у него всегда находился или какой-нибудь необыкновенный ликёр, доставленный ему приятелем, приором бенедиктинского монастыря Монтандром, или столетнее венгерское, присланное от двора короля Августа, или дивный рейнвейн из погреба самого римского императора, от которых граф Фёдор Матвеевич, его прямой начальник, был просто в восторге.

Таким способом князь Андрей Дмитриевич удержался на своей высоте при всех переворотах, получая при каждом из них знаки особой милости. Когда вступила на престол Анна Иоанновна, то, независимо от того, что Бирон с удовольствием желал видеть его у себя в гостиной, как действительно русского князя, настоящего барина среди этих немецких прощелыг, и притом барина, которого ловкость, разум и уменье держать себя могли служить им, воспитанным в казармах и конюшнях, образцом хорошего тона, существовавшего при, несомненно, самом утончённом дворе Людовика XIV и его преемника, — независимо от того князь Андрей Дмитриевич

воспользовался ещё воспоминаниями самой императрицы о своём бывшем женихе и своими отношениями к Морицу Саксонскому, когда он состоял при нём. Женщина всегда женщина, и как ни беззаветно расположена была императрица к любезно-верному Бирону, которого «полезная и усердная служба не иначе как к совершенной, всемилостивейшей благоугодности нашей касаться могла», но всё же ей было отрадно слышать, что был человек, на которого будто бы, как заверял её Андрей Дмитриевич, она произвела неотрашимое впечатление и который столько лет хранил образ её в своём сердце.

Вот этот-то господин, названный нами по всей справедливости русским петиметром, принёсший в Петербург к молодым дворам преемников Петра весь лоск, всё изящество, всю внешнюю сдержанность и искусство дворов Людовика XIV и принца-регента, их взгляды, понятия, образ мыслей, даже выражения, — этот господин и принял на себя труд отграничить, отшлифовать своего племянника во всём, что ему казалось несоответственным и неизящным. Отсюда понятно и то противо-

речие их взглядов и понятий, обозначившиеся при их первом свидании. Тот и другой в мыслях своих, нет сомнения, были аристократы, аристократы до мозга костей. Но один был аристократ русский, с своей идеей служения народу и родовым началам; а другой — аристократ француз, думающий, что весь вопрос в том, чтобы только родиться князем Зацепиным, а далее естественно уже необходимо сиять своим блеском и освещать трудящийся в поте лица тёмный люд для своего собственного удовольствия, и даже отчасти благодетельствовать ему, но, благодетельствуя, в сущности, всё-таки презирать. Вот два противоположных мнения, исходивших из одного начала. Одно из них обладало всем лоском светскости, всею силою образования и изящества; другое — остановилось на своей родословной и думало только, как бы не стать с кем в версту, хотя бы для того приходилось умереть с голоду, или быть в нетчках. Может ли быть сомнение, которое из этих двух начал должно было победить?

Часть вторая

I

Леклер

Прошло несколько месяцев. Было лето, но Петербург не пустел, как пустеет он нынче летом. Дачная жизнь в то время была весьма мало развита в Петербурге. Правда, императрица в жаркое время переезжала недели на две в Петергоф; но этим, кажется, и ограничивалось стремление петербургских жителей к летним переселениям. Да и самый переезд императрицы был, можно сказать, почти номинальный. Большую часть времени, назначенного для Петергофа, императрица проводила в своём Летнем дворце, в семействе Бирона, который жил там зимой и летом. Что же касается до вельмож и богачей того времени, то они, если имели свободное время, стремились скорей съездить в свои деревни или в Москву, а никак не довольствовались жиденькой зеленью ещё не обсохших болот, со-

ставляющих петербургские окрестности, тем более что, нужно сказать правду, окрестности эти в то время были куда непривлекательны. Правда, несколько дач было уже выстроено около Екатерингофа и по Петергофской дороге, также на Аптекарском острове и по берегу Невы, большею же частью иностранцами, переносившими к нам исподволь свои обычаи, стало быть, и выезд летом из города на дачу, но такая постройка производилась отчасти теми, которые желали угодить Петру Великому, любившему летние и временные помещения, в которые потом, по смерти великого государя, они и не заглядывали. Что же касается коренных жителей Петербурга, то есть того рабочего люда, который теперь скорее отказывается от хлеба, чем от удовольствия поглотать летнюю пыль где-нибудь на даче, то такое стремление в нашем обществе началось только в нынешнем столетии и развилось преимущественно в последнее пятидесятилетие.

Оно и понятно. Дачная жизнь не могла развиваться в только что возникшем тогда Петербурге. Первая причина тому была, как

мы указали, неприглядность болотистых окрестностей и необходимость чрезвычайных усилий, чтобы сделать их сколько-нибудь обитаемыми; вторая — почти совершенное отсутствие дорог; дороги тогда и в самом Петербурге, а не только в его окрестностях были до того дурны, что нельзя было быть уверенным, что по ним всегда можно проехать, а это, разумеется, не могло не представлять для трудового и служащего люда чрезвычайного затруднения, как потому, что нельзя же было отказаться на лето от всякой деятельности, так и потому, что снабжать себя всем нужным, даже в незначительном от Петербурга расстоянии, было весьма трудно. Наконец, третья причина, заставлявшая петербургских жителей того времени равнодушно относиться к переселению на дачи, это — отсутствие тех условий, которые в настоящее время летом гонят из Петербурга старого и малого, богатого и бедного. Петербург не представлял тогда сплошной, скученной массы большого города; в нём не было этих сплошных стен каменных домов, плодящих уличную пыль и наполняющих воздух миаз-

мами своих подвалов и задних дворов. Петербург тогда был собрание разбросанных на обширном пространстве слобод, разделяемых большими пустырями и даже рощами, и состоял из низеньких домиков, большей частью окружённых садами и отстоящих один от другого на довольно значительном расстоянии. Воздух Петербурга был не только не хуже, но легче воздуха его болотных окрестностей. Петербург, можно сказать, состоял тогда весь из дач, больших и малых, прилегающих одна к другой и освежающих своими возникающими садами одну другую. Общим центром этих дач был Летний сад, с обширным лугом, выходящим на Неву, и раскинувшийся на обширном пространстве, которое в настоящее время занято множеством зданий от угла Фонтанки и Большой Итальянской до самого Мраморного дворца, где находился дворец цесаревны Елизаветы с расположенным среди этой массы зелени Летним дворцом государыни. Понятно, что жизнь концентрировалась около этого пространства, которое привлекало к себе и удобством, и устройством, и назначаемыми нередко в саду праздниками.

Зимой 1739/40 года особенно привлекали к себе мужское население высшего петербургского света вечера и приёмы, устроенные приехавшей в начале 1739 года французской актрисой Леклер. У неё постоянно собирались все любящие пожить, поиграть, повеселиться, стало быть, все, имеющие деньги в высшем петербургском обществе, иностранные негоцианты, путешественники, вообще вся золотая молодёжь, как сказали бы теперь, что можно было, впрочем, сказать и тогда, с тем только, чтобы включить в число молодёжи всех богатых людей от шестнадцати до семидесяти лет. На эти вечера, несмотря на летнее время, съезжались даже более чем зимою, так как открытый сад и общая непринуждённость делали приёмы Леклер весьма приятными.

За Коричневым, или Аничковым, мостом, по Фонтанке, после Троицкого подворья и дома Обольянинова, среди зелени, стояла красивенькая дачка, с бельведером, балконами и террасой, занимаемая Леклер. К окнам дачи были приделаны — новость для тогдашнего Петербурга — «маркизы», — выдумка марки-

зы Помпадур, любившей защищать себя от парижского солнца прежде даже, чем действительное парижское солнце или французский король осветил её своим сиянием. Только тогда они не назывались ещё маркизами, а носили скромное наименование опускных штор. Кроме того, окна закрывались наглухо шторами обыкновенными и двойными занавесями, так что с улицы нельзя было видеть никого и ничего; тем не менее непрерывный приезд, весёлый говор, иногда музыка или пропетая ария привлекали всегда к забору этой дачи множество любопытных. Сад был густой, полный зелени и множества цветов. На небольшой зелёной площадке были устроены разные затеи и игры, вроде гигантских шагов, игры в кольцо и бильбоке, прыганья через доску, силомера, попаданья в щит, карусели. Одна из аллей этого сада по вечерам, когда были гости, освещалась большими китайскими фонарями. Внутреннее убранство дачи было далеко не великолепно. Оно не могло даже сколько-нибудь походить на убранство помещений нынешних героинь, приезжающих привлекать к себе общество; но оно рас-

положено было так уютно, так хорошо, в нём в такой степени был виден изящный вкус француженки, умеющей самым простым вещам придать художественный оттенок, что нельзя было не согласиться в том, что при любезности и ловкости хозяйки оно не могло не стать любимым местом собрания мужчин, желающих сбросить с себя на время чопорность и натянутость отношений тогдашнего петербургского большого света.

Леклер приехала в Петербург недели на две. Она думала только воспользоваться гостролями и дать несколько представлений, рассчитывая преимущественно на своих переселившихся в Петербург земляков. Она думала, что в этой стране дикарей, как величала она русских, никто не будет в состоянии ни понять её, ни оценить. Но, взглянув на этих дикарей поближе, она заметила, что их рубли имеют такую же притягательную силу, как и экую её христианнейшего короля, и что среди них деньги наживать даже легче, чем в обожаемой Франции. Поэтому она решилась остаться, конечно, не с тем, чтобы служить примером нравственности и недоступности.

Она говорила, что чувствует в себе призвание продолжать дело Петра Великого, то есть образовывать этих варваров, обращая их в настоящих европейцев, разумеется, с тем, чтобы при таком обращении они не забывали деньги, выжимаемые ими из крепостного труда, передавать в хорошенькие и нежные ручки приезжей артистки и её подруг, которые за то принимали на себя заботу не допускать к ним скуку, обыкновенную спутницу полубразования.

И нужно отдать справедливость Леклер. Она соединила у себя всё, чтобы между её собеседниками не могло быть такой неприятной гостьи, как скука. Милые и хорошенькие женщины, под предводительством самой хозяйки и далеко не с особенно строгим взглядом на жизнь; музыка, танцы, вкусный ужин, запиваемый лёгким французским вином, всегда весёлая, игривая французская болтовня, наконец, огромная карточная игра могли бы прогнать сплин даже у ипохондрика и, разумеется, не могли не притягивать тогдашнего общества, которое у себя дома находило именно только одну скуку, а в гостях друг у

друга натянутость и претензии.

В доме у Леклер образовалось нечто вроде клуба. Всякий входящий вносил свою лепту на угощение и устройство. Но так как угощение было роскошное, то никто и не думал об этой лепте, приводя к ней своих знакомых. Потом всякий обязывался подчиняться правилам, которые были установлены из-за опасения изгнания и недопущения впредь посещения Леклер, а это было бы для весьма многих существенным лишением, так как проводить время непринуждённо, с удовольствием и в обществе было решительно негде. Не было ни постоянных театров, ни клубов, ни каких-либо общественных учреждений, даже трактира хорошего не было; австории Петра Великого давно уже обратились в простые харчевни и кабаки. Первым правилом у Леклер было поставлено — точный расчёт по игре; вторым — воспрещение всяких насильственных требований и рыцарская вежливость к женщинам, кто бы они ни были. Далее, относительное равенство всех гостей, отсутствие чинов и рангов. Наконец, взаимное ручательство одного перед другим за тех, кто

представляется хозяйке вновь, и совершенное недопущение в общество тех, кто среди знакомых хозяйки не может представить за себя ручателя в том, что он ничем существующего в доме порядка не нарушит.

Разумеется, соблюдение этих правил могло состояться только при особой ловкости и любезности хозяйки и интимности её отношений ко многим и многим. Но дело в том, что благодаря этим отношениям, ловкости и любезности Леклер и всё уравнивающей и примиряющей силе золота в общей игре в гостиной Леклер общество сплачивалось, сближалось и начинало образовывать действительно нечто похожее на то, что мы называем в настоящее время обществом, а не представляло собрания марионеток, в котором каждая кукла если и думает что-нибудь, то непременно только о себе.

Само собою разумеется, что отношение Леклер к гостям не отличалось пуризмом; весьма вероятно, что многие из них имели полное право вспоминать очаровательную хозяйку в положении, нисколько не напоминающем целомудренную Лукрецию. Но до

сих пор все эти отношения покрывались столь непроницаемым флёром, что всякий мог вспоминать о них только про себя, даже до того, что каждый намёк на какую-либо короткость с Леклер вызывал общее сомнение, как хвастливая клевета. Известны были в Петербурге три-четыре лица, с которыми она будто бы была интимнее; но далеко ли доходила эта интимность — никто определить не мог. Каждый из её посетителей имел так мало преимущества перед другими и настолько мало распространялось влияние на неё каждого, что можно было уверять положительно, что она хороша с каждым только как с добрым знакомым, но только как с знакомым, и более ничего. Всё это было, однако же, до тех пор, когда внезапно, вдруг, будто выросло перед глазами всех преобладание молодого князя Зацепина. Потому ли, что двадцатисемилетней красавице надоело быть бесцельною мишенью всех и она решилась выбрать себе официального покровителя, столь соответствующего желаниям всех такого рода женщин, то есть молодого, красивого, с титулом, богатого и неревнивого, или просто потому,

что она влюбилась в красивого юношу, хотя этот юноша сперва был почти медвежонок и только начинал под руководством дяди и при её помощи отшлифовываться. Но как бы там ни было, дело было в том, что с некоторого времени она возилась почти исключительно с ним; она учила его, читала с ним, танцевала и почти не спускала с него глаз, на общую зависть получающих от неё весьма много любезностей, но ни малейшего знака внимания.

Но вот она сама перед читателями, в своей синей с малиновыми разводами гостиной, на диване, обитом синим атласом, перед рабочим столиком из тёмного красного дерева с бронзою. Она одета в чёрный корсаж с бриллиантовыми пуговками; бриллиантовая нитка охватывает её шею; платье на ней из индийской кисеи, с затканными серебряными цветами. Напудренная головка её чрезвычайно оттеняет чёрные тонкие брови, чёрные же длинные ресницы и строгие линии её нежного профиля. Живые чёрные глаза дают выражение, сообщают осмысленность её милостивому личику. В руках у неё китайский кастет, модная игрушка того времени. Сегодня чет-

верг, приёмный день Жозефины Леклер, и она ждёт гостей. И точно, не прошло получаса, гости начали съезжаться.

Прежде всех приехали две её подруги, тоже француженки, долженствовавшие помогать ей развлекать посетителей; одна из них молоденькая и хорошенькая блондинка, дочь содержателя модного магазина, другая — брюнетка, лет тридцати, живая, весёлая и мастерски играющая на фортепиано. Обе они желают поступить на содержание, но не менее как на двенадцать тысяч в год, и обе заявили, что не брезгают и стариками. Вслед за ними приехал богатый москвич Мятлев, а за ним Карл Густав Левенвольд, который сообщил, что брат его Рейнгольд не будет, так как государыня взяла его сегодня с собой в Петергоф; там на завтра назначена медвежья трава, приглашены, разумеется, все Бироны, Румянцев, Новосильский и Менгден; говорят, государыня сама хочет застрелить медведя. В это время вошли Лесток и Лопухин, за ними какой-то приезжий богатый англичанин, потом какая-то соперница Леклер по театру. Между тем Леклер всё с беспокойством погля-

дывала на входную дверь: она, видимо, кого-то ждала. Француженка села за фортепиано и сыграла каватину, которую приписывали сочинению герцога Ришелье. Приехал Генриков и князя Зацепины, дядя и племянник. Леклер расцвела. Пожимая руку дяде, она сказала племяннику:

— Я заждалась вас!

— Вы очень добры! — отвечал князь Андрей Васильевич. — Я боялся приехать слишком рано.

— Жданный гость никогда не приезжает рано, — отвечала она, останавливая на нём свой пристальный взгляд. — Но вы здесь, и я забываю своё нетерпение.

— Мадемуазель Жозефина! — сказал Лесток, разговаривавший до того с Мятлевым. — Что же вы не устраиваете партии; видите, сколько нас без дела сидит!

— Да и зачем золотое время даром терять! — прибавил Генриков. — Князь, не прикажете ль в ломбер?

— Пожалуй, — отвечал князь Андрей Дмитриевич, к которому Генриков обратился. — Мы с вами игроки ровные, друг друга не

разорим!

— А я надеюсь, что граф даст мне сегодня реванш, — сказал англичанин по-немецки, обращаясь к Левенвольду.

— С удовольствием! — отвечал тот. — Только не ручаюсь, будет ли он в вашу пользу.

— Как быть! — сказал англичанин. — Сядь играть, разумеется, нельзя рассчитывать на выигрыш. Может быть, я буду наказан за вызов, но, по крайней мере, знаю, что буду играть!

Партии, таким образом, начали составляться, располагаясь большею частью в зале и кабинете хозяйки, так как гостиная предназначалась для музыки и болтовни, а в столовой готовился чай с ужином *a la fourchette*.

Приезжая актриса занялась с молодым Салтыковым. Фортепианистка и магазинщица атаковали Мятлева. Они затормошили его расспросами о Москве, думая в то же время, хорошо, если бы он захотел привезти с собой в Москву подругу из Петербурга. О богатстве его им было уже известно. Лесток с Лопухиным, Генриковым и каким-то немцем сели в

крупный вист. Леклер стала свободна и могла заняться князем Андреем Васильевичем.

— Если приедете завтра утром, — говорила она, — я научу вас танцевать менуэт.

— Чему же я-то вас буду учить? — спросил молодой Зацепин.

— Вы знаете, что ваша ученица готова быть вам послушною во всём.

В это время вошёл секретарь французского посольства Маньян. Леклер поморщилась, но любезно протянула ему руку.

— Он здесь? — спросил Маньян.

Леклер сделала утвердительный знак, показывая глазами на кабинет и вместе с тем давая взглядом своим понять, что он её выдаёт, делая вопросы при Зацепине. При этом, как любезная хозяйка, она сочла обязанностью представить их друг другу.

— Один из моих русских молодых друзей, князь Зацепин. А это — секретарь нашего посланника, *monsieur de Manyan*.

— Очень рад с вами познакомиться, — сказал Маньян Зацепину, — тем более что имею поручение маркизы де Шетарди просить вашего дядюшку, которого все мы так любим и

уважаем, передать вам её приглашение в субботу на вечер.

Зацепин поблагодарил. Маньян пошёл в залу, потом в кабинет и вышел с видом недомумения.

Леклер, несмотря на то что была очень занята объяснением с Андреем Васильевичем, должно быть опасаясь, чтобы Маньян не повторил при нём своего вопроса в более ясной форме, пошла к нему навстречу.

— Где же он? — спросил Маньян.

— Играет в вист с Лопухиным и Генриковым. Послушайте, *monsieur* Маньян, будьте осторожнее, ведь здесь не Франция, каждое слово заметят. Неужели вы хотите, чтобы я попала в руки Ушакова?

— Не бойтесь, вы французская подданная, вас не посмеют тронуть.

— На это нельзя надеяться. Здесь не очень церемонятся в таких случаях, а всемилостивейший король наш не захочет вести войны из-за такого ничтожного существа, как я. Убедительно прошу вас, *monsieur* Маньян.

— Хорошо! А он не передавал вам каких-нибудь приказаний от неё?

— Нет, да и нельзя было, он приехал не один.

— Нельзя ли как-нибудь его вызвать, хоть в сад, по крайне нужному делу.

— Хорошо, я постараюсь. Только прошу — осторожнее. Вы не знаете, как здесь все подозрительны. Поверьте, заметили даже то, что я подошла к вам.

С этими словами Леклер ушла.

Маньян вышел на балкон.

Через несколько минут вошёл в гостиную Лесток. Поболтав немного с Салтыковым и француженками, он незаметно вышел в сад. Зацепин пошёл в залу, отыскивая глазами Леклер.

Там, среди множества столов, занятых играющими, он увидел, что Леклер стояла у стола, за которым играл Левенвольд с англичанином. Играли в экарте. Левенвольд был бледен. Он проигрывал одиннадцатую партию сряду. Англичанин всё увеличивал куш игры. Зацепин подошёл к столу и стал подле Леклер.

Через минуту он почувствовал, что нежная ручка Леклер легонько сжала его палец,

потом Леклер отошла к окну.

Андрей Васильевич понял, что она хотела ему что-то сказать, и подошёл.

— Послушай, мой милый принц, — сказала Леклер, — у тебя есть с собою деньги?

— Как не быть, а что?

— Ты помоги Левенвольду. Он, видимо, запутался, не знает, что делает, и сам не помнит себя. Он тебе заплатит непременно и будет очень благодарен. А брат его может быть тебе очень и очень полезен.

— Чтобы я Левенвольду! Никогда! Брат его — враг мне!

— Великодушие, mon prince, великодушие заставляет прощать врагов! Я тебя прошу, для меня!

В это время началась двенадцатая партия. Англичанин поставил на неё огромный куш, Левенвольд принял игру и проиграл.

— Ну, на сегодня и довольно, — сказал англичанин. — Я почти отыграл весь свой проигрыш прошлой недели.

Левенвольд вне себя опустил руки.

Влиятельные типы прошлого века

Несколько дней спустя князя Зацепины, дядя Андрей Дмитриевич и племянник Андрей Васильевич, сошлись поговорить по душам. Они сидели в кабинете Андрея Дмитриевича, друг против друга, подле письменного стола с богатой инкрустацией, выписанного из Парижа и уставленного множеством дорогих заморских безделушек и различного рода редкостей, от великолепной чернильницы, музыкального ящика и часов с боем до большой, превосходной работы фарфоровой статуи великого короля, каковым именем французы того времени обозначали обыкновенно Людовика XIV; одним словом, они сидели подле такого письменного стола, за которым обыкновенно никто никогда ничего не пишет. Кабинетом была большая, прекрасная комната, с большим венецианским, прямо против стола, окном. Стены его были расписаны альфреско в стиле рококо и украшены

небольшими, в разнообразных рамах акварелями, несколько скромное содержание которых напоминало памфлеты Фронды и историю медичисов при французском дворе. Вдоль стен стояли причудливые, тоже во вкусе рококо, инкрустированные книжные шкафы и этажерки работы знаменитого Буля, блистающие одинаково как своей инкрустацией из бронзы, черепахи и перламутра, так и великолепной белой кожей переплётов дорогих эльзевировских изданий классиков, среди которых современный читатель с изумлением увидел бы, в дорогом переплёте из красного сафьяна с золотом, и пресловутую «Телемахиду». На каждом из шкафов стоял мраморный бюст писателя, который, по мнению Андрея Дмитриевича, был главой того направления, в духе которого сочинения в этом шкафу заключались. Двери и венецианское окно комнаты были драпированы французским лиловым штофом с широкой, вышитой белым шёлком каймой; такой же материей была обита вся мебель: кушетка, кресла и особого рода диванчик, заменявший нынешние оттоманки. Плафон потолка представлял

мифологическое изображение собрания девяти муз, слушающих Аполлона.

Дядя и племянник сидели оба в высоких креслах, через стол, один против другого. Они говорили между собою, видимо, с таким интересом, которого далеко не могло иметь их первое свидание. Это был уже интерес обоюдности, интерес сближения. И боже мой, какая перемена последовала после того в нашем юноше, в князе Андрее Васильевиче. Это был уже не пентюх костромских лесов, в казинетовой однорядке, сидящий на кончике тоненького стула и боящийся ежеминутно, что он под ним подломится; не новозеландский дикарь, оглядывающий стены и расставленную на столе посуду и кушанья с мыслью: что это такое и как его едят? Это был уже не господин, не знающий, куда девать, видимо, мешающие ему руки и куда спрятать глаза, чтобы в них не светилось изумление от каждой безделицы, изумление, признаваемое им самим неприличным. Это был уже молодой человек общества, член европейской семьи, видимо готовящийся занять определённое общественное положение. Теперь можно быть

уверенным, что он не пройдёт, выворачивая носки ног один к другому, как медведь, не сторбится по-стариковски от тяжести своей собственной головы и не станет переваливаться с ноги на ногу, как плохой иноходец. Нет, это был уже в некотором роде представитель преданий европейской утончённости, правда только нынешней, подражательной, но всё же с некоторыми притязаниями на европеизм и, несмотря на подражательность, с сохранением своей самобытности и характерности.

С внешней стороны князь Андрей Васильевич казался весьма близкой копией с действительно изящного и утончённого Андрея Дмитриевича, но, разумеется, ни образование, ни понятия Андрея Дмитриевича далеко не могли быть усвоены Андреем Васильевичем. Но первый вопрос того времени был вопрос внешности и приличий, поэтому удивительно ли, что подражание такой внешности не могло не увлечь молодого человека.

Он сидел просто и легко, опираясь одной рукой на ручку кресла, а другой грациозно играя привесками и печатками цепочки своего

брегета.

Одеты они были почти одинаково, в светло-голубых кафтанах французского покроя, с блестящими пуговицами из сибирского тяжеловеса и вышитыми золотом петлицами; в белых, атласных, шитых золотом, с жемчужными пуговицами, камзолах, светло-голубых же французских штанах, подхваченных ниже колен застёжками, подходящими к пуговицам кафтана; в шёлковых чулках и башмаках, затянутых золотыми пряжками, осыпанными мелкими бриллиантами. На обоих были небольшие, слегка напудренные парики, манжеты, воротники и брыжи из тонкого д'алансона. На дяде, кроме того, были ещё надеты знаки орденов Андрея Первозванного и Святого Духа и осыпанный бриллиантами портрет императрицы Екатерины I на шее. Несмотря на разность их лет и ту самобытность в племяннике, о которой мы упомянули, в их разговоре, их движениях, их способе держать себя отражался столь одинаковый и столь общий всем тогдашним петиметрам тип, что, взглянув на них, по крайней мере на внешнее положение того и другого, взглянув,

как они сидят и разговаривают между собою через уставленный фарфоровыми куклами из саксонского фарфора стол, невольно хотелось спросить: да уж они-то сами не куклы ли? Превосходные, вполне изящные и красивые, но всё же куклы, которым с помощью особого таинственного механизма приданы условные, автоматические движения, в виде изящного поворота головы, игры в руках печатками или табакеркой, художественного изгиба корпуса.

Разумеется, вопрос этот особенно вызывался взглядом на племянника, каждое движение которого, несмотря на его изящность, отличалось деланостью, искусственностью, той искусственностью, которую всегда сопровождает заученность и подражательность.

Говорили они между собою по-французски, что избавляет нас от обязанности передавать характер русского жаргона тогдашнего общества, нескончаемо уродовавшего русский язык иностранными словами и оборотами. При этом дядя нередко поправлял племянника, стараясь сообщить ему тот парижский акцент и то действительно французское

построение речи, которыми он овладел в совершенстве, прожив в Париже более двадцати лет в том обществе, в котором умение говорить признавалось первым достоинством человека.

— Ну вот и одолели медведя! — сказал дядя, тонко улыбаясь. — Именно медведя! Так я обыкновенно называю каждый визит свой герцогу, особенно с тех пор, как он герцог. Не правда ли, что герцогская корона пристала к нему, как, по русской поговорке, к корове седло? Между тем он ломается, просто паясничает, желая представить из себя владетельную, царственную особу. Изволь тут не смеяться да ещё поддакивать, когда этот, по справедливости, шут хочет передразнивать этикет и обычаи Версаля и выводит свою рябую, неуклюжую, болезненную кухарку, чтобы устроить французский *baisemain*. Вот бы их показать Мольеру! Это уж именно дворянин во мещанстве. Право, Куракин прав, когда говорит, что на него вместо герцогского венца следовало бы надеть хомут, вместо скипетра дать в руки плеть, а вместо державы — кастрюлю. Была бы картина, достойная его герцогского вели-

чия! И настоящие-то немецкие курфюрсты и принцы, нужно сказать правду, бывают тяжеловаты на взгляд, когда захотят представлять из себя королей. А этому, право, всякий раз, как я его вижу, хочется сказать: «Полно, Иоганка, ломать комедию, садись лучше на козлы, это будет тебе гораздо сподручнее».

— Однако ж он был очень приветлив, а она... Скажите, дядюшка, неужели ни он, ни она даже по-французски не говорят?

— При мне не говорят никогда, хотя и сказывают, будто она болтает кое-как через пень-колоду, с акцентом немазаной телеги. А он, он совсем не образован и, кроме как на своём курляндском жаргоне, ни на каком другом языке не говорит. Он ничему не учился, ничего не знает; говорят, он даже и писать-то по-немецки выучился, став уже курляндским камергером.

— А герцогиня? Ведь она из дворянской фамилии; фон Трейден рыцари были. Она-то зачем так жеманится и ломается? Неужели она всегда так?

— Нет, далеко не так! — смеясь, ответил Андрей Дмитриевич. — Сегодня она была про-

ста и любезна, насколько может быть проста и любезна курляндская баронесса. И нужно отдать ей справедливость, со мной она всегда старается ломаться как можно меньше. Но вообще, особливо когда она принимает своих курляндцев, это — смех смотреть! Сегодня она вышла без своих фрейлин — таких фрейлин, которых твой сиятельный отец, а мой дорогой брат мог бы поставить целую сотню из своих горничных, девок в Зацепине; села она сегодня просто на диван, а не подали ей герцогское кресло; сегодня даже не стояло за нею пажа, взятого тоже прямо от навоза, а то обыкновенно она выступает такой павой, что невольно вспомнишь Буало и басню Лафонтена о вороне! Ну, да ничего! Как бы там ни было, а мы своё дело сделали: и визит, и представление сбыли с рук. Ты им, видимо, понравился; даже дочь свою — девочку вытащили; несколько раз она выражала сожаление, что принца Петра не было, а это много значит! Принц Пётр почти тебе ровесник, годом или двумя помоложе, ты можешь сойтись с ним! Теперь, по крайней мере, не так легко будет твоему приятелю Левенвольду на всяком ша-

гу делать мне препятствия и подставлять ножку устройству твоей карьеры. Теперь, я надеюсь, что если не к Новому году, так к рождению императрицы я непременно тебя в камер-юнкеры выведу. Разумеется, жаль, что не поспеем к тезоименитству; четыре-пять месяцев много значат, но что же делать-то? Видишь сам, какая сила! Благодаря приязни всех высших военных командиров, от Андрея Ивановича Ушакова и принца гессен-гамбургского и до фельдмаршала Миниха, я мог тебя записать на службу; потом, без всякой службы, в капралы, а после и в сержанты гвардии произвести; но не мог добиться того, чтобы тебя внесли хоть в список ожидающих очереди в камер-юнкеры. Насилу добился дозволения герцогу и герцогине представить, будто ты не князь Зацепин, а какой-нибудь проходимец из ихней чухляндии, да и того, пожалуй, скорей бы приняли! А всё отчего? Оттого, что Левенвольд не хочет тебе открыть дорогу. Он готов был задавить, уничтожить тебя; не удалось, так в мелочах, но везде мешает! Видишь сам, что ссориться с этими людьми — шутка плохая!

— А милая девочка эта, как её, Гедвига Лизетта Бирон, как это она хорошо сказала: я хочу говорить по-русски! — заметил Андрей Васильевич.

— Ещё слишком молода, чтобы о ней можно было сказать что-нибудь положительное. Что ей теперь — двенадцать-тринадцать лет, не больше. Притом, мне кажется, здоровье её как-то шатко. Заметил, что она как бы сквозной кажется. Да и гнётся как-то неестественно. Правда, возраст-то теперь самый критический. Одно, чем она может вызвать твоё сочувствие, — это тем, что она терпеть не может немцев. Какая-то врождённая антипатия.

— А заметили вы, дядюшка, вчера у Леклер, брат этого, что вы изволите шутить, моего приятеля, генерал-поручик Карл Иванович как заигрался?..

— Ну как не заметить, хоть я и был занят своей игрой. Видел, как он краснел и пыхтел, не зная, что делать и что сказать. Видел, как он переминал в своих руках какие-то несчастные голландские ассигнации и, высыпав дочиста из своего кошелька какие-то десятка три ефимков, машинально перебирал их, буд-

то у него в руках они могли вырасти или удвоиться так, чтобы он покрыл ими свой счёт, тогда как у него не хватало денег на уплату и половины. Вот тебе и урок, видимое указание необходимости быть сдержанным, владеть собой, думать о том, что делаешь. Разве порядочный человек может ставить себя в подобное положение, особенно играя с незнакомым? Не далее как на прошлой неделе он с этого же англичанина выиграл почти такую же сумму и, разумеется, получил до копейки, а тут... Ты очень умно и ловко сделал, предложив ему помощь, и предложив так, что он мог не краснеть за себя, расплачиваясь твоими деньгами. Знаешь, ничем в жизни нельзя обязать так, как помощью в подобную минуту.

— Признаюсь, мысль не моя, — отвечал племянник, — Леклер мне подсказала. Я вспомнил ваши слова: «Noblesse oblige» — и решился быть великодушным. Я подумал: если не лично своему врагу, то всё же его родному брату я окажу серьёзную услугу, как бы в отместку за неприятности, которыми злоба его брата меня преследует. Наконец, хоть и

крупная сумма, да ведь не бог же знает какая. Отец не разорится, хотя бы она и пропала.

— Об этом и мысли не может быть! Он отдаст непременно и не позже как через неделю. Если у самого и у брата не будет — у Остермана возьмут. Дело в том, что кстати и умно. У него уж и лицо перекосилось при взгляде на англичанина, который, видимо, вовсе не думал относиться к нему снисходительно и готовился прочитать ему весьма вескую нотацию об игре без денег. Он просто дрожал, понимая, что должен будет проглотить всякую дерзость. Я, признаюсь, в это время раздумывал: не помочь ли? Но опять, из-за чего мне жалеть этих проклятых Левенвольдов? Пусть себе купаются в своей собственной грязи! Вдруг слышу, ты так скромно обращаешься к нему: «Не прикажете ли, граф, подать вам бумажник, который вы оставили там на столе?» Он даже растаял от такой неожиданности; его даже передёрнуло. Умно, очень умно! Мне не было нужды; тебе — другое дело!

— Он после подошёл меня благодарить, сказал, что век не забудет, и тоже прибавил, что если у него не будет, то возьмёт у Остер-

мана, но мне непременно на днях привезёт. Странное дело: какая такая связь между Левенвольдами и Остерманом? Остерман, что бы кто ни говорил, а человек умный, деловой; а Левенвольды, несмотря на их нынешнюю знатность, согласитесь, дядюшка, пустейшие люди! Между тем они до того дружны, что один за другого даже карточные долги готовы уплачивать, хотя все говорят, что Остерман очень скуп.

— Какая связь, спрашиваешь ты; самая естественная и самая деловая. Они служат дополнением друг другу, стало быть, дают один другому то, чего у него недостаёт. По этому вопросу, впрочем, мне с тобой, мой дорогой племянник и союзник, нужно много говорить. Так как ты теперь волей-неволей, но уже должен выезжать в свет, стало быть, по-нашему, должен начать жить, начать свою карьеру, то ясно, нужно же тебе определить, чего именно ты хочешь добиться, чего именно ты должен от света требовать! Для того, разумеется, нужно ознакомиться и с лицами, составляющими общество, и с теми отношениями, которые их между собой сближают. Наконец, следует уло-

вить и то общее направление жизни, которое действительно может к чему-нибудь привести, если будешь уметь этим направлением пользоваться. По ловкости твоей вчерашней операции, по сегодняшнему нашему визиту, где ты так смело и вместе с замечательным тактом сумел обратить на себя внимание Биронов, представляющих в настоящем главнейшую силу, и ещё более по той практической выдержанности и искусству, с которыми ты сошёлся с Леклер, — я вижу, что ты уже достаточно подготовил себя, достаточно созрел, чтобы действовать — и действовать с успехом. Признаюсь, в твои годы я не был так практичен. Та же Леклер, может быть, долго бы водила меня за нос и кружила голову. Я бы всё сентиментальничал, идеализировал, хотя бы мне и говорили, что тут сентиментальничать нечего. Ты поступил ловко, умно, хоть и был тогда ещё почти медвежонок, и в этом нельзя не отдать тебе справедливости.

— Что ж, дядюшка, ведь она милая женщина и так предана мне. Она, видимо, желает, чтобы я занял своё место, как один из представителей знаменитой фамилии.

— Друг мой, о преданности мы не будем говорить. Если до тебя у неё был не один десяток представителей знатных фамилий, о которых она также заботилась, чтобы они заняли принадлежащие им места, и после тебя тоже, вероятно, будет не один, то, во всяком случае, её преданность очень и очень должна разделяться между многими. Но не в том дело. Ты поступил практически умно, и за это я не могу тебя не хвалить. Не нужно ли тебе денег? Я хоть и уговаривался с тобой, чтобы меня деньгами не тревожить, но не при особых случаях. А вчерашнее твоё великодушие должно поистощить зацепинские запасы, да и Леклер, думаю, стала тебе в копейку. Если нужно, возьми.

— Благодарю, дядюшка, но мне не нужно. Поосмотревшись здесь и видя, что без денег нельзя ступить шагу, я писал к отцу, и он мне выслал несколько векселей на Липмана, вместе, разумеется, с родительским увещеванием — денежки беречь. Что же касается до Леклер, то, разумеется, нельзя же, чтобы она не стоила ничего. Но вы, дядюшка, столь милостивы и платите за меня стольким учителям,

что не грех и мне одной своей учительнице платить самому. А ведь она действительно моя учительница, начиная с языка до мэню-эта и кадрили. Тем не менее родительского увещевания я не забываю и денег даром не бросаю, ни ради даже прекрасных глаз Леклер.

— Твоё практическое благоразумие я уже оценил и тебе вполне верю. Потому-то и считаю необходимым ознакомить тебя с тем кругом, в котором тебе придётся действовать. Оно, может быть, немножко скучно, но полезно. Тогда ты не поедешь, например, к Куракину сожалеть о Волынском и не начнёшь в гостинной Миниха находить, что Волынский заслужил смертную казнь.

— Э, дядюшка, такой неловкости я не сделал бы, думаю, при самом приезде; теперь же, когда под вашим руководством я начинаю походить на человека...

— Ты не станешь говорить о том, о чём не знаешь, как оно будет принято. Это прекрасно! Осторожность никогда не мешает. Но не мешает также знать и то, что на эту осторожность прямо наводит. Мы заговорили об

Остермане и Левенвольдах, их взаимной связи и значении... вот, слушай.

Отец нынешних графов Левенвольдов был майор шведской службы в рижском гарнизоне, из старинных лифляндских дворянчиков. По реквизиции лифляндских имений и встреченного шведским правительством сопротивления этой мере со стороны лифляндского дворянства он был присуждён Карлом XII чуть ли не к смертной казни, бежал вместе с Паткулем и поступил в саксонскую службу. Когда Шереметев взял Ригу, то Левенвольд, разумеется, не мог не желать, чтобы она уж никак не возвратилась к шведам, поэтому первый присягнул Петру и перешёл в русскую армию. Это обратило на него внимание государя. Он назначил его состоять при невесте царевича Алексея Петровича принцессе Софии Шарлотте, а потом, когда свадьба состоялась, назначил его при их дворе обер-гофмейстером.

Перед тем ещё прибыл в Россию, в качестве учителя, Остерман, сын бедного пастора в маленьком городке Вестфалии, брат нынешнего канцлера. Случай помог ему попасть к

царице Парасковье Фёдоровне, так называемой Салтычихе, для обучения царевны Екатерины Ивановны, которую, разумеется, он не обучил ничему, так что, когда она вышла замуж за герцога мекленбургского и приехала в Мекленбург, то её прозвали там дикою герцогиней. Тем не менее герцог мекленбургский, женившись, произвёл учителя жены в свои тайные советники. К тому же Остерман, живя у царицы, кое-что успел скопить. Можешь себе представить эффект, который произвёл в маленьком городке ушедший бедный бакалавр, возвратясь тайным советником и с деньгами.

Ему захотел последовать и младший брат, наш Андрей Иванович. Но как денег у него не было даже столько, чтобы добраться до России, то он и нанялся к вице-адмиралу Крюйсу в камердинеры и домашние секретари, и с ним, выполняя эти две обязанности, то есть чистя адмиральские сапоги и заготовляя ему письма, он изволил пожаловать к нам.

Первое, разумеется, как человек умный и трудолюбивый, он позаботился об изучении русского языка. Остерман не только порядоч-

но говорит по-русски, но и пишет так, как немногие из русских. А как и теперь мы не можем похвастать, чтобы у нас было много таких, которые могут писать на иностранных языках, то при помощи Крюйса ему скоро удалось пристроиться к посольскому приказу на самое маленькое местечко переводчика. Низкопоклонный и ловкий, он понравился Шафирову, который и начал его возвышать и награждать. И отблагодарил же за то его Остерман, как немножко поперился, да так усердно, что тот чуть не поплатился своей головой и с места вице-канцлера был сослан, кажется, в Архангельск.

Такого усердия враги Шафирова не оставили без награды. Остерман получил повышение, но — увы! — далеко не то, на которое он надеялся и ожидал. Из маленьких человечков и переводчиков он был сделан советником. Это далеко не удовлетворяло его честолюбивых замыслов, но что же было делать, нужно было довольствоваться и тем, что получил.

Нельзя при этом не сказать, что немцы у нас тем и сильны, что непременно стоят друг за друга. Какая бы, кажись, могла быть связь

между сыном бедного пастора из Вестфалии и лифляндским дворянчиком, убежавшим от палача и управляющим двором великого князя. А связь нашлась. Иван Христофорович Левенвольд, как его называли по-русски, тогдашний обер-гофмейстер царевича, был человек добрый, довольно честный по-своему и мягкий; русский язык он понимал с трудом; писать же по-русски — о такой премудрости, разумеется, не смел даже и думать. Ну, а мало ли в чём по управлению двором приходилось обращаться к русскому языку. Тут явился естественным прибежищем маленький чиновничек Посольского приказа, которому за то гофмейстер и помогал, в чём можно по силам, разумеется, с точки зрения немецкого фона, посылающего подачки своему кнехту. Но вот кнехт стал советник, стал сам фон. Ну, тут можно было немножко и поступиться своим чванством ради общей пользы; к тому же Андрей Иванович так скромненько, так угождает всем.

Кстати, говорят, при этом завёлся и роман. У Левенвольда, кроме сыновей, была дочь Шарлотта Ивановна, девушка лет семнадца-

ти. Белобрысая немочка, говорят, тронула сердце будущего пронырливого дипломата; говорят, будто и она была не прочь переглянуться с скромным и угождающим всему дому немчиком. Но тут явился фон Шлиппенбах, лифляндский же дворянин и капитан, племянник того самого Шлиппенбаха, который в Лифляндии войсками шведскими против Шереметева так предводительствовал, что, можно сказать, подготовил полтавское поражение. Но всё же он был главнокомандующий, и какой ещё — шведский главнокомандующий! Быть замужем за его племянником, какая честь! Можно ли было говорить тут о каком-то хотя бы советнике? Дело с Остерманом и ограничилось только взглядами и вздохами, да ещё, говорят, она подарила ему ленточку с своего корсажа, и эту ленточку нынешний вице-канцлер бережёт до сих пор.

Между тем забракованный жених, помогая графу Брюсу в заключении Ништадтского мира, обратил на себя внимание Петра Великого и, ясно, должен был пойти в гору. Пётр видел в нём ум, знание, способности, а глав-

ное, необыкновенное трудолюбие и усидчивость. Такого рода достоинства Пётр умел ценить. К тому же и Меншиков, смотря на Остермана как на вьючную лошадь, мог его свободно поддерживать. По отсутствию всяких связей в России он не мог быть ему опасен. Напротив, его способности помогали ему отстранять от участия в делах тех, которые при таких же способностях, но по своим связям и отношениям могли получить нежелательное влияние, каковы были, например, Ягужинский, Волынский, Василий Лукич Долгорукий, Бестужев-отец да и дети, начинавшие проявлять себя в политических делах молодыми орлами. Эти люди могли быть опасны, могли лишиться влияния самого Меншикова. А что мог сделать Остерман? Он мог только работать, направляя дела так, как будет угодно всесильному временщику. Поэтому Меншиков старался его поднять и поднял до степени его бывшего благодетеля Шафирова, то есть сделал его бароном и вице-канцлером. И отблагодарил же за то его после Остерман, можно сказать, подготовив первую запряжку для ссылки его в Березов. Но дело не в том!

Пётр, видя способности Остермана, желал его удержать в России и для того сблизил со старыми домами московского боярства. С этой целью он устроил его свадьбу со Стрешневой, племянницей Тихона Никитича Стрешнева, бывшего одним из членов пентархии, управлявшей государством во время первой поездки Петра. Но за смертью Тихона Никитича между Стрешневыми не было лиц, на которых Остерману можно было бы опереться. Пока, однако ж, был жив царь, у него была опора в самом царе. Пётр был, можно сказать, сам весь труд, поэтому не мог не ценить труда. Не мог не ценить он также и пользы, приносимой разумностью и способностями. Хотя и при Петре главную роль играл фавор, но фавор, опирающийся на заслуги, на достоинство.

Но вот Петра не стало, а фавор остался.

Какой же фавор? Пустой, бесцельный, самодурный, бессмысленный! Ни заслуг, ни ума, ни знания, ни труда — ничего не нужно для такого фавора, нужны только ловкость да внешний лоск! Одним словом, начался женский фавор, который не только безмозгло,

но красивого немецкого барончика может предпочесть всем канцлерам и генералиссимусам в мире, но даже статного и плечистого конюха поставить в ряд царственных особ и который будет слушать этого конюха больше, чем всех гениев, всех философов на свете. Будет слушать даже вопреки всем доводам собственного разума и сердца. Остерман, как умный человек, такое естественное направление нашей общественности понял и вполне усвоил. Сознывая, что для внешнего блеска он уже не годится, Остерман решил вместо себя поставить трёх братьев Левенвольдов, которые должны были ему служить тем, на что именно сам он был не способен.

Проговорив эту тираду, Андрей Дмитриевич остановился и посмотрел на племянника с многозначительной и вызывающей улыбкой. Видно было, что он говорил это не без цели и желал знать, что об этом думает его племянник.

И действительно, слова дяди покоробили молодого князя.

— Какие средства, дядюшка? И неужели вы называете это умом, делом?

— Что ж, милый друг, средства верные и самые подходящие. Политика и нравственность — вещи несовместимые, лучше сказать, настолько совместимые, насколько могут одна другую покрывать. Остерман политик великий. Он это доказал на деле. Доказал, что он и умён, и трудолюбив. Притом он и честен относительно; другие на его месте бог знает как бы нажились. Но чтобы даже свой ум, трудолюбие и честность применять к делу, чтобы быть самостоятельным, ему нужно было быть сколько-нибудь обеспеченным. Обеспеченным против колеса и пытки! Хорошо нам, сидя в покойных креслах, после сытного завтрака, вне всяких столкновений и после визита герцогу, где нас так приветствовали и ласкали, сидеть и рассуждать о том, в какой степени та или другая мера совпадает с требованиями нравственного чувства. А Остерману приходилось чуть не ежедневно, в воздаяние своих трудов и заслуг, выбирать одно из двух: или бежать к себе в Вестфалию на голодную смерть, или раболепствовать беспредельно перед могучим временщиком, захватившим власть без прав и оснований, но могущим од-

ним росчерком пера отдать его палачу. Понятно, ему было не до отвлечённых рассуждений о нравственности. Положение было слишком некрасиво, чтобы не желать из него выйти, особенно когда вспомнишь, что этот временщик не задумался подвести под кнут родного зятя, мужа своей родной сестры, Девьера, когда тот ему не угодил. Обеспечение против такого тяжкого положения могли предоставить ему Левенвольды. Понятно, они ими и воспользовались.

Былые отношения Меншикова к Екатерине, до того ещё как Пётр взял её к себе, были ни для кого не тайна. Но не было никакого сомнения в том, что после того между ними не было никакого особого сближения. Тем не менее он постоянно сохранял на неё чрезвычайное влияние. Благодарность, нежные воспоминания, взаимность обоюдных услуг, признание его действительно недюжинных способностей и, наконец, привычка в течение многих лет во всех затруднительных случаях жизни обращаться к Меншикову и от него получать всегда разумный совет и возможную помощь до того расположили к нему Екатери-

ну, что она, кажется, без него не могла и думать. Сообразив всё это, Остерман пришёл к заключению, что никаким трудом, никакой заслугой он не может в глазах Екатерины подняться настолько, чтобы стать в уровень с Меншиковым. Стало быть, нужна была другая сила. Какая же? Остерман знал Монса, видел его внезапно выросшую силу ещё при жизни Петра — силу, перед которой принуждены были склоняться даже такие тузы, как Головкин, Нарышкин, Лопухин и сам Меншиков. Немного нужно было соображения, чтобы осознать, что такая женщина, как Екатерина, став независимой и самодержавной, не остановится на одних воспоминаниях; стало быть, Монс должен воплотиться, и, уж разумеется, не в Меншикове, который как ровесник Петру и поставленный на вершину власти был уж слишком тяжёл для подобных похождений. Вот и явился воплощением Монса твой приятель, красавчик Левенвольд, второй брат, Рейнгольд. Он и попал в обер-камергеры и андреевские кавалеры, будучи девятнадцати лет от роду. Ему-то и взялся Остерман быть головой, с тем что он будет ему ру-

кой и защитником против всякой напасти. Остерман рассчитывал, что влияние Левенвольда будет сильное. И точно, под руководством Остермана, остающегося в тени, он чуть самому Меншикову голову не свернул, когда тот ездил хлопотать, чтобы его в курляндские герцоги выбрали. Во всяком случае, Остерман достиг того, что никакая сила Меншикова не в силах была его смлоть в порошок. За него бы вступились, его бы отстояли.

— Но тогда, дорогой дядюшка, по смерти императрицы Левенвольды должны были бы пасть и сам Остерман потерять всякое значение. А они, видите, все в гору лезут. Хоть бы тот, которого вы в шутку изволите называть моим приятелем и который третий месяц стоит мне поперёк дороги, несмотря на могучее покровительство моего дорогого дядюшки. Да и мог ли бы он так решительно угрожать мне, особенно после этих строгих указов императрицы против скорой езды, если бы не чувствовал себя настолько в силе, что знал, что против его значения никакие указы не действительны.

— Само собой разумеется, что он более в

силе, чем когда-нибудь. А что ты говоришь, что со смертью императрицы Левенвольды должны были бы пасть, то такое предположение очень условно. Во-первых, их было не один, а три; во-вторых, над всеми ими парил гений Остермана. Но весьма вероятно, что значение их далеко понизилось бы, если бы не было у нас в то время царевен, у которых, по их матерям, были большая родня и свойство между членами старинной московской знати. Салтыковы, Милославские, Лопухины, Нарышкины были им родня, пользовались покровительством и добивались фавора. К ним примыкали Голицыны и Долгорукие, Белосельские и Головкины, как их свойственники и друзья. У каждого из них, разумеется, были свои фавориты, склоняющиеся перед главным, но старающиеся в свою очередь добиться значения. К этой партии, по Стрешневым и ввиду опасности, исходящей от самовластного временщика, пристал и Остерман, поддерживающий Левенвольдов, но пристал тайком, незаметно, в такой степени, что Меншиков, стоявший слишком высоко и смотревший слишком заносчиво, Остермана не толь-

ко ни в чём подобном не подозревал, но даже решился выбрать его противовесом старым родам, назначив воспитателем молодого императора.

А в то время, ещё особняком, несколько затёртые, но именно тем, что они были затёрты, и обращали на себя особое внимание дочери Петра, принцесса гольштейнская Анна и цесаревна Елизавета, девица редкой красоты и прелести. Остерман, придерживаясь старой боярской партии, старался подладиться и к ним. Вызвав чрезвычайное расположение к себе своей ученицы, царевны Натальи Алексеевны, которая, несмотря на свою молодость, имела на брата сильное влияние, он составляет проект женить малолетнего императора на его красавице тётке и тем, разумеется, угождает и льстит и тому, и другой. Одному потому, что тётка ему очень нравится, другой потому, что проект этот давал ей надежду царствовать.

— Неужели Меншиков не знал о расположении Екатерины к Левенвольду?

— Как не знать! Но он не знал о том, что за Левенвольдом стоит его всенижайший, по-

корнейший и преданнейший раб Андрей Иванович. Видя личное ничтожество Левенвольда, Меншиков, разумеется, не придавал ему ни малейшего значения. Он был даже рад этому. Он думал: чем дитя ни тешится, лишь бы не плакало. И когда он встретил вдруг неудовольствие Екатерины, то отнёс это к интригам Толстого, Девьера, на них и обрушился; а Остерман был в стороне, даже до той самой поры или почти до той поры, когда Салтыков приехал объявить ему арест, хотя Екатерины в то время уже не было.

Между тем в это время появилась на горизонте петербургского света звезда первой величины — красавица Лопухина, племянница известной фаворитки Петра, Анны Монс, дочь Балка. Она в то время кружила голову всему двору, молодым и старым; она, можно сказать, своей красотой весь Петербург с ума свела, чем, разумеется, возбуждала сильное неудовольствие цесаревны Елизаветы, которая до того по красоте не встречала соперницы. Муж Лопухиной, почтенный и хороший человек, мой добрый приятель и единственный человек, не сходящий с ума от красоты

жены, давно дал ей карт-бланш, чтобы она делала что хотела. После смерти Екатерины она и сошлась с Левенвольдом, твоим приятелем. И вот новое звено связи, соединяющей Остермана с старыми партиями; с лопухинцами, кикинцами, Трубецкими и царицей-бабкой, первую женою Петра, Авдотьей Фёдоровной, урождённой Лопухиной, с которой Остерман вошёл в переписку.

Всё это, разумеется, поддерживало и скрепляло связь, образовавшуюся между Левенвольдами и Остерманом, — обоюдностью пользы. Когда же другой старший брат Левенвольдов, Фридрих Казимир, или, по-нашему, Фёдор Иванович, проезжая Митаву, остановил на себе внимание тамошней герцогини, нынешней нашей императрицы, и вступил в соперничество с Бироном, то, понятно, что Остерман не мог уже не дорожить Левенвольдами. Эти отношения давали Остерману полную возможность при вступлении Анны на престол получить независимое от фаворита положение. Остерман, разумеется, не замедлил этим воспользоваться.

— Куда же исчез этот Фридрих Казимир,

или Фёдор Иванович, когда он успел подняться так быстро и высоко?

— Должен был принять пост посла, сперва в Варшаве, потом в Вене, где потом, с разрешения императрицы, перешёл в австрийскую службу. Дело понятное: два медведя в одной берлоге не живут. Приходилось отъехать или Бирону, или ему. Бирон имел преимущество испытанной преданности и неизменного постоянства, Левенвольд — прелесть новизны. Весьма может быть, что Левенвольд взял бы верх, особливо при помощи Остермана и других его друзей, но прежде чем это могло обозначиться в решимости императрицы, говорят, они вошли между собою в любовное соглашение. Злые языки рассказывали даже, что Левенвольд своё положение при дворе проиграл Бирону в карты. Судя по характеру того и другого, это очень вероятно. Ты видел, как играет третий Левенвольд. Старший играл точно так же. Бывало, проиграется в прах, а на другой день бегает по Петербургу высунув язык, чтобы достать денег и расплатиться. Бирон игрок такой же и чуть ли не более их горячий. Удивительно ли, что они заигра-

лись до того, что и сами не помнили, на что играют. Впрочем, известно, что Бирон до сих пор выплачивает Левенвольду значительную сумму и поддерживает всей силой своего фавора его братьев при дворе.

— И Левенвольд держит своё слово?

— Да! Может быть, он и не поцеремонился бы пустить приятеля в трубу, но, говорят, Бирон сумел твёрдо себя обеспечить: взял там какое-то письмо. Вместе с тем, может быть, и Бирон не прочь был бы надуть приятеля и соперника, но императрица, говорят, до сих пор его вспоминает и всегда бывает довольна, когда получит от него известие. Это заставляет Бирона быть очень осторожным, держать свои обещания к Левенвольдам твёрдо и с Остерманом быть ласковым, хотя давно уже видно, что он ему тайный враг; едва ли ошибается в этом и сам Остерман. Вот каковы дела нашего фавора, милый племянник; нечего сказать, некрасивы, очень некрасивы! Кстати нужно сказать, что, как ты знаешь, у герцога трое детей, два сына и дочь. Дети эти, ты, верно, слышал, не от жены. Тем не менее герцогиня очень любит своих сыновей. Дочь же не

любят ни отец, ни мать. Эту нелюбовь объясняют тем, что она не только не дочь герцогини, но и не дочь Бирона.

— Эта самая Лиза, что сегодня вертелась перед нами?

— Она самая!

— Вы слишком снисходительны, дорогой дядюшка, говоря — некрасивы; по-моему, такие дела гадки, низки, отвратительны! Но может ли только это быть, чтобы человек, обязанный всем женщине, выведенный ею из ничтожества и возведённый на степень государственного значения, был настолько низок, что позволил бы себе и её милости, и свои отношения к ней поставить на карту... Просто невероятно!.. Тут даже и не низость, а просто проходимость, непонимание самых простых, естественных обязанностей чести. Скользкий и грязный путь! Неужели иначе было нельзя? — задумавшись, проговорил Андрей Васильевич.

— Да, мой милый, с волками жить — по-волчьи выть! И если ты хочешь чего-нибудь добиться, то...

— То, дядюшка, по-вашему, я должен вы-

теснить Бирона и занять его место?

— Оно, мой милый, разумеется, было бы недурно, если бы это было возможно. И разумеется, не я бы стал тебя отсоветовать, если бы выпал на твою долю подобный случай. Во-первых, к твоей восемнадцатилетней рожнице очень шёл бы обер-камергерский или хотя бы обер-шталмейстерский мундир и Андреевская лента; во-вторых, уж тут действительно могло бы последовать возвышение нашего рода не только в отвлечённом, мечтательном смысле, но и в положительном: в смысле силы и денег. Но я этого не думал и не говорил; не говорил потому, что не полагаю это возможным. Ни Бирон, ни князь Куракин не захотят вдруг так, ни с того ни с сего, уступить тебе свои места и скорей самого тебя отправят хоть на Камчатку соболей ловить, чем допустят, чтобы императрица бросила на тебя один взгляд милостивее, чем бы они желали. И тут не помогли бы тебе ни род, ни состояние, ни труды и старания любящего тебя дяди. Дела, мой друг, так скоро не делаются, и печёные яблоки, говорят, сами в рот не падают!

— Почему же, любезный дядюшка, вы считаете меня неспособным обратить на себя внимание, а потом заслужить и милость? — самолюбиво, хотя и сдержанно спросил племянник.

— Напротив, я считаю тебя очень способным, потому и говорю. Но... но... применение твоих способностей в этом... высказанном тобою направлении я считаю невозможным. Да и к чему такие крутые меры? О молодость, молодость! Ведь это то же почти, что всю жизнь свою поставить на одну карту: дескать, или пропаду в снегах Сибири, или возьму всё! Ну, скажи, разумно ли это? Я рассказываю тебе разные дразги, чтобы ознакомить тебя с обществом и взаимоотношениями и этим уберечь от промахов; а то, что ты сказал, представляет такой промах, который подвергает даже опасности. По-моему, тебе подходит более вопрос далеко не столь сложный. Тут ни Бирон, ни Остерман мешать тебе не станут: займись-ка изгнанием из сердца у племянницы и, вероятно, наследницы императрицы, принцессы Анны Леопольдовны, красавчика Линара.

— А кто такой Линар?

— Был посол от саксонского и польского короля Августа Третьего. Красавец, ловкий, нежный, мадригалист и ещё молодой человек. Он с первого же дня смутил принцессу. Та, девица ещё, чуть не дитя, влюбилась в него без памяти, до самозабвения. А при принцессе состояла некто Адеркас, барыня ловкая. Она не прочь была помочь влюблённым. Ну, Адеркас прогнали, Линара заставили отозвать, принцессу выдали замуж — и дело с концом! Но вышло, что её муж, племянник германской императрицы, принц Антон Брауншвейгский; хотя и недавно женат, но умеет только глазами хлопать. На жену он не имеет ни малейшего влияния. Против неё он не смеет слова сказать. Правда, что она вышла за него только для того, чтобы избежать опасности быть женой принца Бирона, сына герцога, негодного, капризного мальчишки, с которым, думаю, никакая женщина не уживётся. Но императрице, разумеется, не могли понравиться ни такое желание избежать сближения с её Петрушей, как она называет молодого Бирона, ни особое расположение её

племянницы к иностранцу, которого государыня ненавидела. Когда Линара отозвали, принцесса, говорят, три дня плакала, не выходя из комнаты, и до сих пор живёт только воспоминаниями. Вот тебе случай испытать свои способности.

— Что ж, милый дядюшка, я готов пробовать свои силы под вашим руководством. Принцесса же недурненькая; жаль только, что причёсывается всегда как-то странно.

— Вообще, нужно сказать правду, она очень неряшлива; но в политике об этом не говорят. Что же касается руководства, то тут, друг, руководство не нужно, тут нужны инстинкт, ловкость и счастье. Ну, разумеется, немножко разума, немножко самообладания... А вот и другой случай. Цесаревна Елизавета, красавица, какие редко встречаются. Про неё много говорили, но, надо полагать, говорили вздор. Она слишком умна и осторожна, чтобы бросаться в крайности. Инстинктивно, согласно своему настоящему положению, она держит себя так, что вызывает к себе общее расположение и пользуется особой любовью гвардии, которая хорошо пом-

нит и видит в ней дочь Петра. В этой любви и расположении — её безопасность и её спокойствие. Тут тоже... Во всяком случае, скажу: вглядывайся, не напирай, не горячись! Лови случай, но не думай при первом ласковом слове, что ты уже в случае. Повертись прежде между светскими барынями того и другого кружка. Испытай свою ловкость на них, но не увлекайся никоторой. Думай, что ведь это не Леклер, у которой такой, как ты, юноша, с твоим именем и деньгами, не иметь успеха не может. Тогда, я надеюсь, ты пойдёшь далеко!

— И вы меня напутствуете?

— Да, и не далее как завтра везу тебя к президенту Коммерц-коллегии барону Менгдену. Его кузина самая близкая и неразрывная приятельница принцессы Анны.

— А с цесаревной-красавицей?

— Э, вот молодость! Кто хочет делать дело, не должен думать о красоте! Впрочем, на всякий случай я свезу тебя и к Лестоку.

— А кто это Лесток?

— Доктор и доверенный цесаревны. Ты его видел у Леклер. Помнишь, красивый, черно-

волосый ганноверец, который играл в экарте с Карлом Бироном; ещё Бисмарк предложил тебе придержать за него?

— Тот, что потчевал всех какими-то сладкими лепёшечками, уверяя, что они низводят сладость Магометова рая на землю?

— Ну да, он! Он познакомит тебя с Шепелевой, самой близкой фрейлиной цесаревны. Сумей понравиться им обеим.

— Постараемся, дядюшка, — сказал, улыбнувшись, племянник, а сам подумал: «К этим двум можно присоединить и третью, Лизоньку Бирон; правда, она ещё дитя, но через два с половиною года ей будет шестнадцать, а мне двадцать два. А если, как утверждают, она не дочь герцогини, то...» Но об этой мысли своей он не сказал дяде ни слова.

Двор цесаревны Елизаветы

В то же время как дядюшка приведённым разговором направлял образ мыслей своего племянника, стараясь доказать, что за потерей общественного значения родового начала получил преобладание фавор и что тот, кто хочет добиться общественного положения, хочет возвысить себя, стать политическим человеком, должен непременно искать случая тем или другим способом попасть в фавор, — бедная, затёртая и полузабытая цесаревна Елизавета Петровна сидела одна в своём будуаре и горько-горько плакала.

Будуар цесаревны был небольшой комнатой в голландском вкусе, с двумя большими окнами, из которых вид был на Неву. Стены и мебель комнаты были обиты новой голландской материей, вроде нынешнего баркана, сделанной из голландских ниток и бумажной пряжи. Подоконники, карнизы, плинтусы и панели, на которые натягивались стенные

обои, были выкрашены коричневой краской под лак, отполированы и украшены узеньким, врезанным в них золотым багетом. Кругом были развешаны небольшие картины в золотых рамах, между которыми на иных виднелись знаменитые имена Ван Дейка, Тенъера и ван де Велде.

Цесаревна сидела в креслах, опираясь своей полной, кругленькой, роскошной ручкой на голландский столик, в который довольно искусно была врезана мозаиковая картина из дерева, представляющая ловлю сельдей.

Будуар этот находился в Зимнем дворце цесаревны, стоявшем на месте нынешних Павловских казарм. Между ним и Невой лежала небольшая площадка, которую с одной стороны ограничивали выходящие на неё дворцовые оранжереи, а с другой — стоящий на набережной дом дворцовой конторы и рогатка Летнего сада с огромным лугом, через который из-за деревьев виднелись каменный летний домик Петра Великого и деревянный Летний дворец, почти на месте нынешнего Инженерного замка. Дворец этот в то время занимал герцог Бирон, но в нём останавлива-

лась и государыня, когда приезжала из Петергофа.

Дворец цесаревны был небольшой, двухэтажный, с пристроенными к нему галереями. Позади него раскинулся довольно большой, но неправильной фигуры, очерчиваемой течением реки Меи, сад с густою зеленью, правильными лужайками, площадками и густыми клумбами цветов. Сад цесаревны прилегал к самому зацепинскому двору и отделялся от него высокой каменной стеной. Главный фасад дворца (на площадку к Неве он выходил боковой стороной) был обращён к нынешнему Царицыну лугу, составлявшему тогда вместе с Михайловским садом, скверами Инженерного замка и двором Михайловского дворца обширный Летний сад, от которого, впрочем, дворцовый двор отделялся улицей и канавой, с особо насыпанным за ней высоким валом, обсаженным кратегусом. Дворцовый двор отделялся от улицы решёткой, у ворот которой находилась будка и стоял часовой. Посредине двора была устроена кордегардия, где стоял другой часовой у привешенного на столбе колокола, которым вы-

зывался караул, расположенный в одной из комнат нижнего этажа. Это, впрочем, было зимнее помещение цесаревны; летнее же было несравненно обширнее и находилось там, где теперь Смольный монастырь.

Она плакала навзрыд; потом встала, взяла с письменного стола лист бумаги и собственноручно написала:

«За упокой несправедливо замученных и казнённых рабов Божиих:

Артемия

Андрея

Петра».

Написав это, она немножко задумалась, потом вдруг старательно стала зачёркивать слова «несправедливо замученных и казнённых», перечёркивая их в ту и другую сторону, и хотя она зачеркнула их так, что прочитать не было возможности, но этим не удовольствовалась и переписала записку без этих слов, обозначив: «За упокой рабов Божиих: Артемия, Андрея, Петра»; затем она позвонила, приказала снести записку в церковь, а прежнюю записку изорвала на самые мелкие кусочки, перемешала их и разбросала по раз-

ным углом комнаты. Потом, опершись ручкой на столик, принялась опять горько и неутешно плакать. Вошёл Лесток.

В шитом придворном мундире, в кружевах, слегка напудренный, сухощавый ганноверец казался ещё молодым человеком, хотя ему давно уже было за сорок. Он держал себя свободно, останавливая на всём свой пронизательный и немножко лукавый взгляд.

— Ну что? — спросил он с лёгким оттенком иронии, подходя к цесаревне. — Так и не спим мы, так и мучит нас что-то непонятное? И опять мы плакали, горько плакали? Что ж делать-то, и сами мы не знаем, отчего так сердечко бьётся и слёзы невольно бегут.

— Нет, доктор, сегодня плакать у меня есть причина. Мне жаль усердного и способного слугу моего отца, который, бывало, и меня маленькую баловал и забавлял, привозя из Астрахани разные шитые башмачки да кораблики и разные татарские лакомства. Я была ещё дитятей, но и тут всегда, бывало, радовалась, когда узнаю, что приехал Артемий Петрович Волынский. И теперь он всегда и во всём выказывал мне свою преданность, выказывал,

что он верен памяти моего отца и более всего на свете любит свою родину. И боже мой, в чём он виноват? Виноват в том, что мерзавцев назвал мерзавцами, воров — ворами! Правда, как вздумали судить, так нашли и ему вину. Там стихарь какой-то взял, и дерево срубил, и какого-то шута прибил. Ну на что ему стихарь? Если он взял его, то из упорства, по характеру. Но ведь, может быть, из его упорства-то исходила и сила его к нам преданности и усердной службы. А дерево? Нужно было срубить — и срубил! Что тут особого? Что же касается взяток... Э, боже мой, скажите, кто их не берёт? Мой покойный отец, как ни старался искоренить, что ни делал против этого общего зла — всё ничего не мог сделать! Но Волынский, видимо, был не взяточник: после него почти нечего конфисковать. А уж точно можно сказать, что на службе нам себя не жалел.

— Говорить нечего, прекрасная царевна, Волынский был крутой и дерзкий человек.

— Да. Но за это разве рубят головы? Разве нарушил он чем-нибудь уважение к императрице или коснулся чем её священных прав?

«Благодарю, что вразумлять меня вздумали»,— сказала она человеку, который правдиво указал на то, что есть, в чём действительно она кругом обманута. Но положим, он ошибся. Ну, и следует сказать, что это вздор. Наконец, прогнать от себя. А то казнить! Притом его не только казнили, его истиранили. Когда его везли, то ноги и левая рука были зашиты в мешки, потому что были на пытке раздроблены и не держались. Не тронута была только вывороченная на дыбе правая рука, чтобы палачу можно было её рубить. Когда же в терзаниях пытки среди мучений, от одних рассказов о которых стынет кровь, он, может быть не помня себя, сказал, что и на Лобном месте, перед казнью, во всеуслышание объявит, что умирает от клеветы и злобы Бирона, тогда что же? Везя на казнь, в отягчение уже утверждённого и объявленного приговора, его завезли в новые Преображенские казармы и там раскрыли силой рот, щипцами захватили и вытянули язык и вырезали его под самый корень, заявляя обезумевшему и окровавленному: «Теперь говори что хочешь». Ужасно! Ужасно! И это христиане! Боже мой,

кажется, себя бы отдала на растерзание, чтобы избавиться, облегчить. И это не тиранство? Не ужас? — И она снова заплакала, зарыдала лихорадочно.

— Не говорите об этом, царевна; успокойтесь! Вы себя раздражаете такими картинками, — уговаривал доктор. — Вы этим только расстроите себя.

— А другие чем виноваты? Ну, положим, этот дерзкий человек воров называет ворами, тогда как и сам не святой. Ну, а те: Хрущов, Еропкин? Те ничего не писали, ничего не подавали и даже ничего не говорили. Их-то за что убили, за что семейства их осиротили? Они только слышали записку Волынского, но о вассальстве польскому королю и об уступке немцам за деньги русской крови даже и не слышали! Их-то за что? Приятели, видите, Волынскому, жить и красть мешают.

Елизавета хлебнула воды из стакана и оперлась обеими руками на столик. Слезы капали у неё из глаз.

— Полноте, полноте, прекрасная царевна, разве можно так говорить? Не приведи бог, ещё себя подвергнете опасности. Вы знаете,

что у вас ведь и стены слышат.

— Да, и это моя жизнь! Я могу говорить только с вами и думаю, что со мною давно бы кончили, если бы не боялись за себя. Зато купили всё и всех. Одни вы не соблазнились.

— И соблазниться нечем было. Разве я мог бы столь прекрасную царевну променять на золото Бирона? Нет, вы знаете, это невозможно! С моей стороны тут нет никакой заслуги, тут только преданность. Но успокойте же себя, не плачьте! Нам, преданным памяти вашего папá, преданным вам, больно видеть, что наша прекрасная, любезная и весёлая царевна всё скучает, всё плачет, нездорова. Успокойтесь же! Вот я вам дам успокоительных капель, примите.

И доктор стал ухаживать за плачущей цесаревной, как за ребёнком. Он дал ей капель, потом воды, дал понюхать спирту, помочил виски кельнской водой, пересадил на диван, положил подушку за спину, взял за руку и сел подле на стул, наблюдая и считая её пульс.

Цесаревна несколько успокоилась.

— Ну а наши дела как? — спросил Лесток, когда заметил, что она поправилась, нервное

расстройство прошло и на розовых губах её сверкнула уже улыбка. — Все мы ещё не спим по ночам? Всё ещё бьётся сердечко от чего-то непонятного, что будто подталкивает, будто томит и так тяжело ложится на душу, что жизнь кажется не в жизнь?

— Всё то же, доктор, — отвечала она. — И может ли последовать облегчение при этих огорчениях и расстройстве? Я, право, не знаю, как я жива ещё? Иногда голова кружится так, что себя не помню, глаза туманом застилает. А если засну, то во сне вижу, будто падаю, будто лечу. И сердце сжимается от страха. Думаю: вот сейчас грохнусь, сейчас расшибусь. Проснусь — вся в поту, а тоска так и начинает одолевать. А иногда вдруг будто разольётся по мне что-то тёплое, что-то отрадное, я даже задрожу. Кажется, весь мир полюбила бы, весь мир обняла бы. Потом опять какая-то тяжесть, какой-то гнёт. Иногда мне кажется, будто я заключена в какую-то башню, и эта башня будто плывёт со мной по воздуху во что-то безбрежное, во что-то безотрадное, и я томлюсь, тоскую, или опять падаю, опять тоню. Или вдруг мне покажется, будто кругом

меня всё кровь, всюду кровь, море крови. И я должна жить, дышать тут, видеть... О, боже, какая тоска, какая страшная, невыносимая тоска!

— Да, да! И опять кружится голова? Дайте-ка ещё вашу ручку; вот и пульс. Позвольте сердечко ваше послушать. О, какая тут работа идёт. Ну, что ж, цесаревна, я говорю вам серьёзно: вам нужно замуж. Непременно нужно, и нельзя откладывать, как можно скорее. Природа требует своего. Нельзя же идти против того, что назначено самой природой.

— Ах, боже мой, это я уж слышала; да за кого же я пойду? Я слова не говорила, когда мне предложили князя голштинского, епископа любского. Жених неблестящий, да что делать-то?

Даже когда стали говорить о Морице Саксонском, я и тогда не возражала. А то выписывают, прости Господи, каких-то уродов, чуть не с того света, или сочиняют такие комбинации, что не знаешь, что и думать, да и говорят потом, зачем замуж не иду? Хоть бы Андрей Иванович? Ну, выдумал же, чтобы мне выйти замуж за родного племянника! Поло-

жим, что в немецких землях это делается; да мало ли что где делается! Зачем же мне всё это на себе примерять? Кроме того, он не подумал, что племянник-то был ещё совсем мальчик. А похожа ли я на такую, для которой довольно в мужья выбрать мальчика, хоть бы силача, хоть бы и развитого не по летам? Ну, пускай так! Пускай я должна была довольствоваться мальчиком; так делали бы что-нибудь. А то поговорили, да и сели. Меншикову, видите, этот мальчик потребовался для его дочери, меня и в сторону. Между тем племянник ласкается, болтает пустяки и только дразнит. Я ведь живой человек, не каменная какая! Говорили — молода! Боже мой, да когда я стара буду, разумеется, не пожелаю замуж выходить. Не забудьте, что здесь часто между простым людом выходят замуж в четырнадцать, даже в тринадцать лет; в четырнадцать уж детей имеют! А мне было тогда восемнадцать. Извольте-ка отыгрываться тут от пятнадцатилетнего мальчика, и мальчика самовольного, балованного, сильного и развитого не по летам. Притом, обратите на это внимание, простой народ не может разви-

ваться так быстро, как развиваемся мы. Он не читает ни Петрарку, ни Боккаччо. А я — должна признаться... Знаете, я иногда зачитываюсь до самозабвения, до того, что мне мерещиться начинает, и я забываюсь, обнимаю подушку, целую её, грызу, пока не разрыдаюсь истерически. Ей-богу, доктор, сил нет! Придумайте какой-нибудь исход. Посмотрите на меня. Неужели я не стою ничего более, как томиться ради их каких-то политических интриг и ради глупого обычая царевен или в монастырь идти, или в теремах стариться. Да мы благодаря моему отцу и не живём уже по теремам. А это ещё тяжелее: видеть, желать — и не достигать. Ведь это мучение, как его, Тантала, что ли?

Доктор безмолвно слушал, не выпуская из своих рук её руку и следя за пульсом. Он смотрел ей прямо в глаза и наблюдал, как вся она, под влиянием своего собственного рассказа, оживлялась и то нервно вздрагивала, то краснела.

— Скажите, цесаревна, — по прошествии нескольких минут серьёзно спросил он, — когда с вами бывает такого рода нервный при-

падок и головокружение, не чувствуете ли вы особого стеснения в груди?

— Я ничего не чувствую в это время. Лучше сказать, не помню, что я чувствую. Меня будто давит что, будто сжимает. В горле будто слёзы стоят, а сердце из груди выскочить хочет. Да, доктор, нужен исход, во что бы то ни стало какой-нибудь исход.

— И я твержу, что нужен, цесаревна; непременно нужен. Я указывал вам на этот исход девять лет назад. Вам тогда стоило только сказать одно слово. Вы не захотели. Что же делать?

— Э, доктор, вы указывали на исход, чтобы царствовать, а я хочу жить. Бог с ним и с царством! Мне нужен не престол, а счастье, то счастье, в котором Бог не отказывает простой поселянке.

— Но, царствуя, вы бы и жили. Разве ваша матушка, блаженной памяти императрица Екатерина, не жила? А что вы поделаете теперь, когда со всех сторон к вам насылают шпионов, которые, можно сказать, снуют кругом вас, опутывают тенётами, так что вам нельзя сказать слова, чтобы сейчас же слово

это не было разнесено чуть не по всему городу. Вот и теперь, пока я с вами, готов пари держать, что из-за каждого угла стремятся нас подслушать. Во всяком случае, считают минуты, которые сижу я у вас, чтобы сейчас же дать знать кому следует, что вот доктор Лесток просидел у цесаревны полчаса. Один с этим известием бежит к брауншвейгцам, другой к голштинцам, третий к Бирону, четвёртый к Остерману, пятый к Левенвольду, шестой к Финчу, к маркизу Ботте, а там ещё десяток бог знает к кому. Но всё же нужно решиться. Смотреть на них нечего; нужно сказать: «Да, я хочу!» Признаюсь, я не понимаю, отчего вы не воспользовались тогда хотя бы нежностями вашего племянника. Он же так беззаветно вами увлекался!

— Э, доктор, прежде всего оттого, что он мне не нравился. А я была тогда в самом деле ещё молода и думала: «Неужто не будет лучше?» Да если бы это тогда случилось, они теперь меня бы съели. Не на то они дело вели, чтобы уступить его мне.

— Разумеется, но... Вы не рождены для монашеской жизни, цесаревна, и ваше воздер-

жание вас убьёт, или, что ещё хуже, вы сойдёте с ума. Это я говорю вам как доктор и как человек, преданный вам до бесконечности. Если бы я смел вам советовать, я бы сказал: отбросьте всякие предрассудки, всякие колебания. Жизнь дороже всего. Думаете ли вы, что молодые принцессы у нас в Европе живут такими монахинями, какою живете вы? Полноте! Они пользуются жизнью. Вон принцесса... да что о том говорить! Я пропишу вам успокоительные капли, что давал вам сейчас, они немножко облегчат вас, успокоят; но не могу же я не сказать, что это меры паллиативные, временные, которые бывают хороши только тогда, когда главная причина болезни устранена. Потому и вам, цесаревна, нужно устранить эту главную причину. Для этого вам нужен, позвольте говорить попросту, без намёков и экивоков, позвольте мне, как доктору, обязанному думать о вашем здоровье, сказать вам откровенно: вам нужен мужчина, муж, друг, фаворит, как вы там его ни называйте, это всё равно, это дело не доктора. Моё дело сказать то, что есть; моё дело предупредить. В противном случае вы захвораете

опасно или в самом деле, чего не дай бог слышать, сойдёте с ума. Опять повторю: против природы идти нельзя. Видите, вы ведь какая.

Цесаревна была красавица редкая. Стройная, высокого роста, несмотря на то что ей уже было около тридцати лет, она обладала такую округлостью и упругостью форм, что стан её казался выточенным античным резцом. Тёмно-каштановые её волосы и брови, при необыкновенной нежности и белизне лица, делали из неё что-то чрезвычайно лёгкое, чрезвычайно отрадное, особенно при её всегдашней весёлости, игривости и доброте. Необыкновенно приятная улыбка розовых губ и ясные голубые глаза, опушённые длинными тёмными ресницами, довершали очарование, которое охватывало всякого, кто только к ней приближался. При взгляде на неё становилось понятно, что царственный племянник её, Пётр II, мальчик тогда ещё лет тринадцати-четырнадцати, но мальчик сильно и рано развившийся, глаз не мог отвести от своей прекрасной тётушки — и очень холодно смотрел на обеих невест, навязываемых ему интригами его двора, хотя одна из

них, княжна Долгорукая, была тоже красавица.

— А мои шпионы что скажут? — отвечала цесаревна на слова доктора, опуская глаза и понижая голос до шёпота. — Вы сами говорите, что я окружена ими. Я очень хорошо понимаю, что мне действительно необходимо; и понимаю, что вы не напрасно касаетесь этого предмета каждый раз, как я остаюсь с вами. Но что я могу сделать? Я знаю, что я не урод, но всякий думает: мне ведь жизнь не надоела, как-то и сказал мне однажды... Но перестанем об этом говорить. И теперь вы хорошо знаете, что я живу до сих пор уж именно монахиней; но только потому, что изредка позволяю иногда посмеяться или пошутить с кем-нибудь, и тут про меня бог знает чего выдумывают, бог знает чего говорят! Знаете, раз выдумали, будто я осчастливила своею благосклонностию берейтора! И ведь смешно даже: приезжаю я к племяннику в день именин покойной царевны Натальи Алексеевны, а он и не смотрит, и не говорит. Пробовала было сама заговорить. Просто отворачивается, до невежливости. Даже проститься не захотел,

как я уезжать стала, видимо, ревнует. Смешно, мальчик почитай, на четырнадцатом году — и ревнует! Однако, думаю, что бы такое? А дело было в том, что у меня во время верховой езды порвалась ленточка у башмака, и я приказала поправить её берейтору. Из этого сочинили бог знает какую историю. Да чего? Некоторые говорили, будто я очень благосклонно смотрела на старика Меншикова! Некоторые даже не задумывались уверять, что проект Остермана сочинён был им из благодарности за мою доступность. А уж о Минихе и говорить нечего, особенно с тех пор, как он женился на моей воспитательнице. И всё отчего? Оттого, что я спокойно слушаю его старческие и ветреные любезности, которые, впрочем, он говорит всякой недурной собой женщине, и что смеюсь над его уверениями, что, роя каналы и штурмуя крепости, он думает только обо мне! Не хотят того понять, что я не могу не считать себя до некоторой степени обязанной оказывать внимание к старым слугам моего отца и что потому не могла и не могу не быть любезной с Меншиковым, Остерманом, Минихом и другими. Во-

образите же себе, что было бы, если бы я в самом деле вздумала... Я, слава богу, не дурой родилась и понимаю, что ведь не из земли же мне жениха выкопать по моему вкусу. Но тогда дайте же мне волю. Оставьте меня в покое от ваших наблюдений и преследований. Между тем мне теперь двадцать семь лет (ей в то время было тридцать без нескольких месяцев), и я слишком хорошо понимаю, что, как вы говорите, природы не переломишь. Да и что им за дело до моих чувств, до моего поведения? Ведь я для них вопрос политики, а не нравственности! С политической стороны я доказала, что я не честолюбива, что же им нужно?

— Я думаю, главное — боятся, что тот, кто удостоится вашей благосклонности, пожалуй, будет честолюбив. По крайней мере, думают они, он не будет так спокойно смотреть, что не только у вас отнимаются ваши права, ваши средства, но вас жмут, теснят, стараются унижить и, пожалуй, действительно решились бы на злодейство, если бы не боялись за себя, зная, как вас любит гвардия, которая знает, чья вы дочь... Вот и задача, которая их

мучит и щемит, тем более что они все понимают, что права их вымышленные, сочинённые, опирающиеся на пыльные хартии брачных союзов... лучше сказать, у них нет прав! А права ваши в наследстве после вашего отца заключаются в любви к вам народа и войска и в народной памяти о великом государе. Поэтому я и говорю: решайтесь, если не хотите себя погубить!

— Ах, боже мой, доктор, как вы странно говорите! Будто возможно решиться так скоро на то, что ведёт самое меньшее к вечной тюрьме? Да если бы я и решилась, то что бы я могла сделать? У меня нет средств: ни людей, ни денег! Правда, гвардия меня любит, но не может же она не слушать своих командующих, своих генералов! Да и теперь...

— Теперь точно нельзя, упущено время! Но надо быть готовой; ведь, может быть, опять будет случай... Я даже думаю, что он будет скоро. Что же касается средств, денег, людей, то об этом нечего говорить. Может быть, что и средства, и деньги, и люди найдутся. Подумайте-ка, цесаревна! А то, право, вы себя сгубите ни за что! Наконец, если не для себя, то

ради памяти вашего отца, великого государя, решиться нужно, непременно нужно: и на то, и на другое. Одно — здоровье, другое — жизнь! А я ваш, неизменно ваш! Приказывайте, распоряжайтесь! Для вас я готов на все пытки...

С этими словами доктор встал. Цесаревна протянула ему руку. Он почтительно поцеловал её, потом прибавил спокойным голосом:

— Примите же эти капли на ночь, ложась в постель. Может, даст Бог, сон ваш и не будет нарушаться бесплодными волнениями. Завтра я буду у вас и поговорим. Будьте здоровы, цесаревна, да хранит вас Бог!

— Благодарю! Благодарю! — И она снова протянула ему руку, которую Лесток снова с чувством поцеловал и вышел. Выйдя от неё, он отправился по залам дворца на камер-юнкерскую половину.

В довольно большой комнате нижнего этажа, выходящей окнами в сад, находились трое молодых людей. Воронцов, Шувалов и Балк. Это были камер-юнкеры цесаревны Елизаветы. Когда Лесток вошёл, Воронцов рисовал какую-то виньетку, Шувалов большими

шагами расхаживал по комнате, а Балк уселся с ногами на подоконник и смотрел в окно.

— Здравствуйте, милейшие птенцы! — сказал Лесток, входя. — Что вы опять засели в свою клетку, так что можно всех разом сеткой накрыть! А отец командир где?

— А, доктор! — радостно приветствовали вошедшего молодые люди. — Вот обрадовали нежданно! А про командира, тс! Не велено сказывать! Поехал на могилу Волынского панихиду отслужить. — Речь шла о гофмейстере цесаревны Семёне Кирилловиче Нарышкине, доводившемся покойной жене Волынского недалёкой роднёй и, разумеется, знавшем сожаление о нём цесаревны.

— Мне нужно поговорить с вами, доктор, — сказал Балк.

— И я хотел с вами посоветоваться кое о чём, — проговорил Шувалов.

Только Воронцов к своему приветствию не прибавил ничего, занятый работой.

— Очень, очень обрадовали!

Лесток подошёл к Воронцову, взглянул на рисунок и спросил:

— Что ж это будет?

— Фронтиспис, виньетка к моим стихам.

— А вы и в стихотворстве упражняетесь? Похвально, очень похвально, молодой человек! — сказал Лесток. — Какие же это стихи?

— Стихи-то, признаться, написал не я, а Третьяковский. Я ему за то два червонца заплатил, а я только перепишу и поднесу.

— А, Третьяковский! Ну это великий пиит, нельзя ли прочитать? Кому же готовится такой драгоценный подарок вашей собственной благородной рукой?

— Ах!

— Что «ах»?

— К несчастью, благородная рука эта очень неискусна и очень неловка, чтобы остановить на себе внимание прелестной Цирцеи.

— Унижение паче гордости! Ну скажите, мой друг, я надеюсь, вы не думаете, что ваш старый приятель может в чём-нибудь вам изменить? Скажите. Впрочем, я думаю, что я и сам угадал, подразумевая под именем Цирцеи нашу общую очаровательницу и покровительницу?

— Не ломайте головы, доктор, не в ту сто-

рону гнёте! — сказал Балк. — Очаровательная Цирцея Михайлы Ларионовича не кто другой, как Анюточка Скавронская.

— Анята Скавронская, — повторил доктор. — А может быть, её очаровательная тётка?

— Не смейтесь, доктор! — ответил Воронцов. — Разве я смею бросить дерзкий взгляд свой на дочь Петра Великого? Нет! Я понимаю, что она божество, и смотрю на неё как на божество! А тут цветочек, который так и хочется сорвать. А как вы думаете? Ведь Скавронской не будет обидно, если я буду её любить?

— Женщине никогда не обидно, если её любят! Даже знаменитая царица древности Семирамида любила, чтобы за ней ухаживали, а не смотрели на неё как на божество.

— Ну а скажите, доктор, цесаревна не рассердится, если я стану ухаживать за её племянницей?

— Ну, этого я не знаю! Я бы так страшно рассердился, если бы пришли свататься к моей племяннице, когда я сама, её тётка и уж действительно красавица, ещё в девстве обре-

Таюсь.

Шувалов, вслушиваясь в последние слова доктора, взял стул и сел у столика, за которым рисовал Воронцов.

— Тётушка! — сказал с окна Балк, болтая ногами. — Тётушка, разумеется, хороша, очень хороша, да кусочек-то не по нас! А ведь голова-то у всякого одна, и жизнь нам надо-сть ещё не успела. Михаил Ларионович это как есть рассудил и любит то, что не представляет никакой опасности да и скорее к делу ведёт. Он не хочет витать в эмпиреях, а хочет весёлым пирком да за свадебку; так ли, дружище?

— Бог вас знает, что вы за народ, — сказал Лесток шутливо. — То будто и не трусы, то ро-беете сами не знаете перед чем. Один уверяет, что божество, на которое только молиться нужно; другой за свою голову дрожит. Нет, у нас не так водилось. За один взгляд такой красавицы всякий бы жизнь охотно отдал. А что божество-то, так оно точно, только надо спросить, каково будет этому божеству, если ему ни пить, ни есть не дадут, а одними мо-литвами да восторгами угощать станут? А

ведь вы кое-что похожее на это говорите! Ну да дело не в том. Я пришёл к вам завтракать и голоден страшно. Надеюсь, вы угостите меня завтраком?

— Прекрасно, прекрасно, доктор! — вскричал Балк и соскочил с окна. — Я и сам голоден как зверь и очень боялся, что нам придётся завтракать в одинокой тройственности, так как Шувалов будет молчать, — это его любимое препровождение времени, — а Воронцов вздыхать. Какой тут аппетит?

— Что же ты ничего не прибавил о своём любимом препровождении времени — болтать? — заметил Воронцов.

— В том-то и дело, что с вами и болтать-то скоро разучишься. А будет завтракать доктор, так мы и выпьем, и поболтаем, пожалуй, и твою Анюточку тут прихватим. Знаем, что тебе будет как маслом по сердцу! — проговорил Балк и убежал.

«Нет! — думал в это время Лесток. — Не таких ей нужно. Они для неё слишком ещё молоды, а она для них не довольно стара. Такие юноши обыкновенно влюбляются или в девочонок, или в старух».

Столик был быстро сервирован, и молодые люди вместе с доктором принялись уничтожать холодный паштет, котлеты и яичницу по-французски, с зеленью и спаржей, запивая всё это тонким белым и красным бордоским вином.

— Сегодня, господа, не праздник, — сказал Балк, — и нам шампанского не полагается, поэтому предлагаю наполнить ваши рюмки простым столовым вином, с тем, что пусть каждый из вас задумает какой-нибудь цветок и скажет доктору, а я угадаю, кто какой задумал, на основании того, кто в кого истинно влюблён. Потому что говорят, будто каждый цветок выражает собой характер какой-нибудь женщины.

— А я кому же скажу свой цветок? — спросил Лесток.

— Вы? Да разве вы тоже влюблены?

— Как знать! Ведь я хоть и постарше вас, но не отказался ещё от всего человеческого.

— Ну, вы скажите Шувалову. Он мастер секреты держать. В эту минуту в комнату вошёл артиллерийский офицер Пётр Иванович Шувалов.

— Наливайте же и мне, обходить никого не следует, хоть я уж и завтракал! — сказал он.

— Говори доктору название цветка, изображающего даму твоего сердца, и бери стул! — ответил Балк, разыгрывавший роль хозяина.

Пётр Иванович уселся и тоже шепнул на ухо Лестоку имя цветка.

— Ну, я начинаю, — сказал Балк. — Пьём здоровье цветка Михаила Ларионовича — анютиных глазок! Угадал ли?

Воронцов опустил глаза в тарелку.

— Bravo, bravo! — сказал Лесток. — Увидим, так ли велика будет ваша находчивость дальше. О пассии Михаила Ларионовича мы только что сейчас говорили, так не трудно было угадать.

— Ну, выпьемте здоровье тюльпана! — продолжал Балк.

— А вот и не тюльпана, а лилии; это он метил на меня, — сказал Пётр Иванович. — Хоть лилия и не далеко от тюльпана, а всё же не то!

— Вот выдумал, разве бывают лилии смуг-

ляночки?

— Ну, наливай снова! Угадаешь ли мой цветок? — сказал Александр Иванович.

— Угадаю, брат, угадаю! Я дальновиднее, чем ты думаешь, только скажу: береги свою голову! Здоровье махровой розы!

Доктор пристально взглянул на Шувалова. Тот потупился.

— Ну, теперь задача не в том, чтобы я не угадал предмет, в который влюблён доктор, нет, я его знаю; но я не знаю, каким он цветком обозначается! — продолжал Балк.

— В кого же я влюблён? — спросил Лесток.

— Известно — в деньги! — отвечал Балк. — Только каким же цветком можно обозначить деньги?

Лесток поморщился.

— Чертополохом! — отвечал Александр Иванович Шувалов.

— Так за здоровье чертополоха!

В это время вошёл камер-лакей и спросил:

— Её превосходительство Мавра Егоровна приказала спросить, можно ли ей войти?

— Просим, просим, очень рады! — сказал Воронцов и оба Шуваловы, в то время как

Балк успел проговорить на ухо Лестоку:

— Я так и знал, что явится!

— А что?

— Да стоит Петру Шувалову показаться, она тут как тут! Я, право, не понимаю, как это ей не надоест; а он хоть и называет её лилией, но, кажется, и не думает...

— Э! Так это она-то лилия; ну, уж этого я никак не думал! Впрочем, отчего же? Пётр Иванович не из тех, которые с ума сходят от глазок; он смотрит и ждёт случая...

— То есть вы хотите сказать, другими словами, что и он не меньше вас любит чертополох!

— Что не меньше, это верно! — отвечал, засмеявшись, Лесток и встал, чтобы приветствовать вошедшую даму.

Мавра Егоровна Шепелева, любимая камер-фрейлина цесаревны, была девица лет двадцати семи, высокого роста, стройная, с прекрасными тёмно-карими глазами, немножко смугловатая, сухощавая и с маленьким родимым пятнышком на левой щеке.

Она вошла, выразительно взглянула на

Петра Ивановича, который с улыбкой ей поклонился, грациозно подошла к столу и проговорила не без любезности:

— Я слышу, у вас тут веселье, кутёж; а мы наверху. Слоняемся из угла в угол, не зная, куда деваться от скуки! Вот я и решилась! Не прервал ли мой приход вашу приятную беседу?

— Напротив! Вы нам доставляете большое удовольствие, Мавра Егоровна! — сказал Воронцов, подавая ей стул и устанавливая его подле Петра Шувалова. — Скажите, как здоровье Анны Карловны?

— Она здорова, — отвечала Мавра Егоровна, садясь. — Я звала было её и Сонечку Миних спуститься со мною к вам, но они всё ещё монастырками числиться хотят...

В это время Александр Шувалов пожал локоть Лестока и сказал:

— Доктор, на два слова.

Лесток встал и незаметно вышел с Шуваловым в другую комнату, в то время как все занялись рассказами Шепелевой о новостях дня, о том, как цесаревна плакала, смотря на казнь Волынского, и что для этой цели, соб-

ственно, они и переехали из Смольного дворца, хотя наступает такая жара, что в городе становится решительно душно.

— Доктор, — сказал Шувалов, когда они оба уединились в проёме окна другой комнаты, — скажите, мне непременно отрубят голову, если я в самом деле влюблюсь в махровую розу?

— Ну, уж этого, право, не знаю! Смотря по тому, что и как!..

— Вы знаете, что удержать секрета будет нельзя! Шпионы кругом! Особенно этот проклятый Альбрехт! Чуть что, чуть я войду только к ней, а он сейчас уж и бежит к своему принцу Антону.

— Ну да эти-то ещё ничего; а вот фаворит что скажет?

— Знаете, я не так боюсь фаворита, как Остермана! Этот стелет ласково, пожалуй, сам намекает, а, глядишь, потом прихлопнет, да так, что и не очнёшься! И фаворита-то науськнет! Это просто опасный человек!

— Н-да! Человек тонкий! Знает, где раки зимуют.

— Ну, а вы поможете? — спросил Шувалов

Лестока в упор.

— Я... да что же я могу тут сделать?

— Как что! И совет, и доброе слово... Послушайте, ведь Шуваловы никогда неблагодарными не бывали!

— Да я-то тут при чём? Нужно самой поправиться!

— Это разумеется! Но всё же... совет и доброе слово...

— Что касается доброго слова, то, вы знаете, оно всегда за вас! Да что это вам вдруг вздумалось?

— Мне-то уж давно вздумалось, да я всё боялся. Знаете, по-моему, лучше на братнину гаубицу идти! А ведь хороша-то как! Ну разве можно кого-нибудь с ней сравнить? А ведь я... что я? Да если с ней только неделю быть счастливым, так и умереть не жаль! Я хоть сейчас готов! А вот брат говорил, что я трус!

— А... брат... так вот оно что! И вы пошли бы за ней всюду, куда бы она вас ни повела?

— В огонь и в воду!

— Хорошо! Я поговорю с ней; смотрите же, потом не раскайтесь и не пеняйте на меня.

— Что вы! Вы моим первым благодетелем

будете... да я...

— Тсс! Перестанем об этом говорить; а заезжайте завтра вечером ко мне, я вам кое-что скажу... Итак, до свидания!

«Бедная цесаревна, — подумал Лесток, — за что из этих трёх тот, который глупее?.. Впрочем... Лиха беда начало...»

Лесток вместе с Шуваловым вошли в общую комнату. Пётр Иванович Шувалов уединился и тихо разговаривал с Маврой Егоровной в проёме окна; Балк куда-то пропал; Воронцов опять углубился в своё рисование. Александр Иванович начал опять ходить по комнате, потирая лоб и, видимо, с самодовольствием вспоминая каждое слово своего разговора с доктором. Лесток взглянул на эту картину, взял шляпу и тоже незаметно исчез, раздумывая: «А всё же несчастлива... Но решиться нужно...» И он поехал к французскому посланнику маркизу Шетарди.

Маркиз Шетарди

— Здравствуйте, m-r Armand, — сказала маркиза, сидя за вышиваньем какой-то подушки и встречая Лестока приветливо протянутой ручкой, которую Лесток поцеловал, получив ответный поцелуй в свои чёрные, с лёгкой проседью ганноверские бакенбарды. — Что с вами? Куда это вы запропали, что забыли друзей своих? Ведь мы не видали вас целых три дня! Маркиз уж и так говорил, что нужно ехать отыскивать вас по белу свету, как некоего спартанца, которого Агизелай посылал для каких-то военных изысканий и исследований и который, увлёкшись учёным трудом, доставил ему эти исследования ровно через десять лет, уже тогда, когда тот наслаждался спокойствием в цветущих долинах своей Спарты!

— Виноват, маркиза! Благодарю вас, глубоко благодарю за память, да видите, у нас все дни-то какие? Этот Волынский наделал нам

хлопот! Целую неделю мы сплошь о нём плачем. Перебрались в свой зимний дом и до сих пор всё служим по нему панихиды, то сами, то через своего гофмейстера. А где маркиз?

— Он уехал на печальную церемонию к Густаву Бирону. Сегодня память его жены, знаете — урождённой Меншиковой. Никак не думала, чтобы он был таким нежным супругом. Который год, а всё, как вспомнит, бедный, слёзы на глазах. Вот чего никак не ожидала от Густава Бирона. Впрочем, говорят, она была прекрасная женщина и мужа своего старалась образовать и возвысить. Умерла она в чахотке, у него на руках. После ссылки всё не могла поправиться, таяла как свеча. Вот сегодня по ней, как это у русских говорится, справляют годовую тризну, или панихиду, что ли? И какую-то кутью привозят. В Невском монастыре будет служба. Говорят, весь двор будет, сам митрополит служит. Бирон звал маркиза. Он счёл нужным поехать и кутью тоже повезть. Кстати, хотел взглянуть и на эту русскую религиозную церемонию. Что вы задумались? Вы никогда не возили кутью?

— Нет, мне не до Меншиковой и не до ку-

тъи по ней. Признаюсь, меня очень беспокоит прекрасная цесаревна, — отвечал Лесток, сядясь против маркизы. — Подумайте, при её комплекции жить в таком уединении и постничестве. Сегодня она признавалась мне... поверите ли, у неё уже начинаются галлюцинации. Это ведь очень опасно! Приливы крови, истерика, боли сердца — естественное следствие девической, монашеской жизни, особенно без монашеского поста, самобичевания, лишения пищи, умерщвления плоти и прочее. Тут, подумайте, плоть питается чем только можно, тело нежится всем доступным, воображение разжигается и чтением, и картинами светской жизни, и непрерывным соприкосновением со всем, что только может его воспламенять... И вдруг на такое расплётное, утончённое и разнеженное воображение пост, самый тяжкий, самый убийственный и самый невыносимый пост из всех постов в мире! Я, право, удивляюсь, как она до сих пор ещё с ума не сошла. Ведь подумайте, маркиза, ей двадцать восемь или двадцать девять лет, а она чиста, как дева Орлеанская!

— Пожалуй, и все тридцать. Но в её поло-

жении этому горю легко помочь, — смеясь, проговорила маркиза. — Нужно только самой быть не чересчур причудливой.

— Как помочь? Чем и кем? При тех шпионах, которые её окружают, при той нетерпимости, которую встречает здесь всякое чувство, особенно в высоких особах? Ведь судьба Монса или тем более Глебова не очень к себе привлекает; а всякий знает: покажи она сегодня кому-нибудь своё расположение, завтра же его имя будет у Бирона на столе, и от него будет зависеть, отправить его на лёгонькую беседу к Андрею Ивановичу Ушакову в застенок. Знаете, тут всякая страсть застынет, всякая решимость пропадёт.

— Кто же виноват? Сама не захотела рискнуть! Вы, говорите, уговаривали её. Теперь бы царствовала спокойно на престоле отца и всё бы благоговели у её ног.

— Да! Она не честолюбива. Десять лет указываю я на эту её ошибку и, кажется, только сегодня первый раз заставил её пожалеть о своей нерешительности; первый раз поколебал её убеждения, и оттого только, что эти беспрерывные казни ей опротивели, а стро-

гость надзора за каждым её шагом её возмущает, выводит из терпения. Наконец, и природа начинает брать своё. Но не ручаюсь, что, представься опять случай, пожалуй, она и опять откажется. Между тем случай этот весьма легко может представиться. Вчера я видел императрицу. По-моему, она очень и очень ненадёжна. Что с ней, этого без исследования, разумеется, нельзя сказать; но что-то есть внутреннее, решающее, и это что-то может покончить её разом!

— Это вы сами скажите моему мужу. Мне он не верит. По-моему, она тоже очень нехороша; а он говорит: «Помилуй, посмотри, какая она полная, здоровая! А если бы ты видела, как она скачет верхом, как она стреляет. Можешь быть уверена, что она обоих нас переживёт».

— Да, но это экспрессивное состояние натуры подвергает её ещё большей опасности в случае кризиса. Заметили вы, что, когда она идёт, у неё во всём теле какое-то дрожание и в походке какая-то перевалка. Это дурной, очень дурной знак.

— Заметили вы также, доктор, что на ходу

она будто удерживает дыхание и, видимо, тяготится, если в это время у ней кто-нибудь что спросит.

— Нехороша, очень нехороша! Но мне — бог с ней! Мне жаль мою цесаревну. При настоящих обстоятельствах она, пожалуй, ещё опаснее больна, чем императрица.

— Так что ж вы, доктор? Вы бы взяли на себя труд дать лекарство от такой опасной болезни. Ей хоть и под тридцать, но она, надобно правду сказать, всё же хороша, очень хороша. И признаюсь, будь я мужчина, не задумалась бы ни перед каким Ушаковым. А вы тоже, я думаю, не потеряли ещё способности восторгаться прекрасным.

— Доказательство, что восторгаюсь постоянно вами, маркиза, — с улыбкою проговорил Лесток. — И если бы то, что вы говорите, было возможно, я считал бы себя счастливейшим человеком на свете. Я не побоялся бы ни секиры палача, ни пыток, ни Сибири. К несчастью, это невозможно, этого не должно быть! Как девица, как женщина, она мне очень нравится, я бы жизни за неё не пожалел. Но как цесаревна, она имеет исключительное поло-

жение. Мы с маркизом решили, что она должна царствовать. А чтобы заставить её царствовать и во время её царствования иметь какое-нибудь влияние, нужно быть доверенным, другом, но никак не фаворитом. Фаворитов меняют, а доверенных, друзей — никогда! Стоило ли же мне трудиться столько лет, биться изо всех сил, под опасностью пытки и ссылки, чтобы, добившись наконец видеть её в полном величии, быть счастливым несколько недель, а потом быть прогнанным в пользу счастливого соперника. Нет, благодарю! Это не входит в мою программу. Я хочу иметь значение во всё время её царствования и буду иметь это значение во что бы то ни стало; потому что буду владеть не только её волей, но и волей всех тех, кого она полюбит. Не забудьте, маркиза: у доктора, да ещё домашнего доктора, под руками такие могучие средства влиять на состояние духа, даже на восторженность чувств, что против такого влияния бороться кому бы то ни было будет невозможно.

— И у вас нет никого, на ком бы вы остановились, в видах захватить влияние в свои ру-

ки, и кто бы решился не бояться страшного Ушакова.

— Вот сегодня объявился один, хотя, нужно сказать, неважный, по моему мнению.

— Кто же?

— Александр Шувалов!

— Шувалов! Какой это? Тот молоденький камер-юнкер, который всегда умильно поглядывает на всех, будто хочет всем сказать что-нибудь по секрету. Подойдёт, приготовишься слушать, а он только улыбнётся и решительно ничего не скажет.

— Тот самый! Только не знаю, почему он показался вам таким молодым? Он не моложе, во всяком случае, немного моложе её.

— Так чего же лучше? По самой службе своей, как камер-юнкер её двора, он должен быть к ней близок, стало быть, находится вне наблюдений и толкований состоящих при ней шпионов! Опасен нам он быть не может. Мне показалось, не правда ли, что он недалёк?

— Да, нельзя сказать, что с неба звёзды хватает. Зато брат его очень умён и хитёр! Он, пожалуй, может быть нам и опасен. И знаете,

я думаю, что эта любовь и даже страсть возникла и выросла у Александра Шувалова под влиянием его брата... Но всё равно! Теперь Шувалов, видимо, страшно в неё влюблён. Брат его главнейше любит деньги, так любит, что, кажется, готов и брата и себя продать. Он его и настроил!..

— Вот, кажется, и муж подъехал, — сказала маркиза, вставая и подходя к окну. — Да, это точно он. Вы скажите ему о здоровье императрицы. Это его очень интересует. Он видит, что при нынешнем расположении двора ничего не поделаешь; другое дело будет, если последует перемена.

В это время вошёл маркиз и ласково приветствовал Лестока.

— Давно не были... жена уж беспокоиться начала. А я устал страшно: ездил в ваш монастырь на поминование генеральши Бирон, урождённой Меншиковой. Был почти весь двор, только государыни не было. Она не любит печальных церемоний. И представь себе, какую я было сделал глупость, — продолжал Шетарди, обращаясь к жене. — Мне сказали, что по русскому обычаю на поминование ез-

дят с кутьёй, я и распорядился. Достал нарочно настоящую этрусскую вазу, приказал русскому повару приготовить кутью и повёз. Держу в руках и думаю, что так и следует идти с вазой вместо букета. Только, по счастью, подъезжает Миних, подходит ко мне и спрашивает, что это такое. Я говорю, что вот мне сказали... Он расхохотался и объяснил значение русской кутьи. А я-то с вазой в руках. Между тем начинают подъезжать, а мы стоим на лестнице церкви. Куда девать? Спасибо молоденькие монашки выручили. Они вызвались кутью съесть, а вазу отнести кучеру, за что я и подарил им золотой рубль, который они тут же при мне на церковной лестнице и разыграли между собой в орлянку. Как это допускают таких молодых в монастыри поступать! А Миних стоял подле меня всю службу и решительно смешил. Да какой он любезный, какой анекдотист. Весёлый старик! Он обещал заехать к тебе и уверял, что ты не соскучишься, если его примешь.

— А вот мы с m-г Армандом рассуждали все о цесаревне Елизавете. Теперь, говорят, она всё плачет о Волынском. В самом деле, её

положение тяжкое. Слышать каждый день то об опале, то о казни всех любимцев своего отца...

— Но, может быть, она имеет особые причины сожалеть о Волынском? — спросил посол. — Волынский, как я его видел, мне показался выходящей из ряда, замечательной личностью.

— Ни малейших, маркиз, ни малейших! Она его почти и не знала. Он не более года как воротился из Польши, а перед тем был на Украине, потом жил в Москве, а прежде в Казани и Астрахани. Кроме того, по отношениям, родству и связям он принадлежит скорее к линии императрицы, чем дочерей Петра Великого. Правда, он был женат на Нарышкиной, двоюродной племяннице матери Петра Великого; но, во-первых, жена его давно умерла; а во-вторых, Нарышкины всегда держали сторону лопухинцев и к дочерям Екатерины не выказывали никогда особой преданности. Да он с ними и не в ладах. Двоюродная тётка Волынского, Фёкла Яковлевна, замужем за Салтыковым Семёном Андреевичем, обер-гофмейстером, который, правда, в четвёртом или

пятом колене, но всё же приходился племянником царице Парасковье Фёдоровне и всегда был принят у неё как родной; кроме того, он оказал императрице важные услуги при восшествии её на престол. Салтыков постоянно покровительствовал Волынскому и считал его за своего. Цесаревна же знала Волынского только потому, что слышала много раз, как отец её, великий Пётр, его хвалил, называл его способным и усердным; видала, может быть, его несколько раз, когда он приезжал из Астрахани для каких-нибудь объяснений; наконец, говорила с ним уже тогда, когда он был сделан кабинет-министром и устраивал знаменитый праздник ледяного дома. Волынский, разумеется, при этих разговорах старался угождать цесаревне, показывал, что можно, разъяснял... Но это слишком далеко от каких-либо особых причин. Нет! Но цесаревне довольно, что она его знала, чтобы положительно страдать за перенесённые им мучения, тем более что она знает, что эти мучения обрушились на него совершенно несправедливо, единственно по ненависти к нему Остермана и Бирона. А всякое страдание, вся-

кое даже сочувствие страданию, при том нервном состоянии, в котором она находится, чувствуется ею весьма сильно и отражается на всём её существе. Она сама страдает — и так страдает, что я боюсь если не за её жизнь, то за рассудок. Вы только взгляните: в тридцать почти лет, с сложением чисто чувственным, с воображением, раскалённым донельзя и чтением, и жизнью, — и вести монастырскую жизнь. Да это хоть кого с ума сведёт!

— Что ж, мы, с своей стороны, предлагаем всё возможное, чтобы она могла изменить своё положение, — флегматически отвечал маркиз.

— И знаешь, друг, на ком остановился monsieur Armand? — сказала мужу маркиза.

— Нет, не слыхал, — отвечал маркиз, вопросительно взглянув на Лестока.

— На её камер-юнкере Шувалове.

— Александр? Ну, что ж, это дело! Только другой брат его, артиллерист, мне кажется очень опасным человеком. Он, бесспорно, умён и честолюбив! Я боюсь, что нам придётся выдерживать с ним...

— Э, маркиз, — перебил Лесток. — Прежде

всего он большой интересан; а с умным интересаном всегда можно вести дело. Притом дальнейшее уже предоставьте мне. При известной мне страстности натуры цесаревны я вполне уверен, что буду именно доктор и тела её, и души; тем более что со мною, и только с одним мною, она может говорить обо всём совершенно откровенно... И глуп же я буду, очень глуп, если этим не воспользуюсь.

По уходе Лестока цесаревна Елизавета Петровна невольно задумалась о его словах и о своём положении.

«В самом деле, — думала она, — я родилась под несчастной звездой. Только что кто-нибудь начнёт мне нравиться, — сейчас удар. Хотя бы смерть этого голштинца... Ну разве не судьба? Понравился человек более других, человек здоровый, молодой, и вдруг — смерть. Потом хотя бы Мориц? Мне сказали, я не отнекивалась, но Курляндия понадобилась Бирону, и я в сторону. За что же именно я? Матушка моя, императрица Екатерина, не отступила от справедливости, передала Россию внуку нашего отца, обходя своих дочерей, с

тем, чтобы в случае его смерти бездетным наследство переходило, как следует по порядку, к нам. Что же? Явилась Анна Ивановна... Отчего и почему? — никто и не знает, а мы в стороне. И будто нарочно, все именно против меня. Сестра умерла, ей ничего не нужно. Согласно завещанию, теперь должен бы царствовать племянник, а я — быть правительницейю. Не тут-то было! Ни ему царства, ни мне правительства не видать как своих ушей. У двоюродной тётки, Катерины, будто нарочно, родилась дочь, хотя с мужем она жила как кошка с собакой; эту дочь выдали замуж за какого-то уродца, которого она терпеть не может, а у них всё-таки родился сын. И вот этот-то сынок должен отвести меня от всего, чем владел и что устраивал мой отец. И оттого, что он всё у меня отнимает, меня же ненавидят и преследуют. За что же? Только за то, что я моложе и, пожалуй, покрасивее их. Ну, да пусть, царствуйте. Я не заявляю своих прав, не отнимаю у вас ничего своего, царствуйте на здоровье! Я прошу только об одном: оставьте меня в покое. Так нет, слова не дадут сказать, шагу сделать. Всё им нужно знать, за

всем смотреть. Миних определяет ко мне какого-то Щегловитого смотреть за моим домом, собственно же наблюдать за мной и доносить три раза в день о том, что я делаю, кого вижу, с кем говорю. Брауншвейгцы присылают своего Альбрехта с помощниками и доносчиками; Бирон окружает меня чуть ли не целой командой дозорщиков. И смешно! Если я куда еду, непременно мохнатая шапка впереди и позади, а иногда и сбоку. Рожи их так мне примелькались, что, кажется, я могу вперёд сказать, какие из них будут меня сопровождать сегодня, какие завтра, по дежурствам. И неужели они думают, что я так глупа, что ничего этого не вижу? От кого же этот Обручев? Разве от Остермана! Впрочем, я могу быть уверена, что есть кто-нибудь и от английского посла, и от прусского, и ещё бог знает от кого. По крайней мере, Финч и Мардефельд часто мне рассказывают о том, что у меня делается в доме, чего я сама не знаю; и они, разумеется, знают всё, что касается собственно меня. Но они иностранцы, они присланы своими государями, чтобы всё вынюхивать, всё узнавать, и собственно ко мне не

имеют никакого отношения.

А Миних, Остерман, Бестужев, Головкин — слуги моего отца, им вызванные, поднятые, благодетельствованные, что им нужно? Зачем они не хотят понять, что если я подчинилась им в политике добровольно, то всякое наблюдение за моими частными, домашними делами, лично за мной мне крайне обидно. Оно меня стесняет, сердит, выводит из себя... Неблагодарные! И всё это в память моего отца. Между тем Лесток прав. Я не живу, а мучаюсь. Я мученица своих мыслей, своего воображения. И если будет продолжаться так, я действительно сойду с ума. Зная, что сближением с кем-нибудь я подвергаю его, моего избранного, всем ужасам пытки, всем терзаниям лютости своих злодеев, и зная, что тайны сохранить невозможно, я, разумеется, должна беречься сближения с кем бы то ни было. Не для себя, нет! Обо мне и так бог знает чего не говорили, но ради того, с кем бы я сблизилась! Уже одна мысль, что моя любовь может вести к самым тяжким истязаниям того, кого я люблю, заставляет стынуть кровь в жилах, заставляет отказаться от всего... Но, отка-

зываясь, я принимаю на себя такой крест, который выше сил моих, который меня гнетёт, давит, отнимает всякую энергию, всякую волю, а иногда доводит до бешенства. Бывает время, что я не помню себя, что готова бываю идти на нож, на скандал и бог знает на что! О Боже, помоги мне! Дай мне силы, Господи, переносить с терпением весь этот гнёт! А тут ещё кровавые сцены: Волынский, Еропкин, Хрущов, Долгорукие, особенно Василий Лукич. Я его знала и уважала. Он был умный и верный слуга моему отцу и матери. Его посольство в Швецию было — заслуга. И вдруг в благодарность — смертная казнь. Когда я читала описание его смерти, я упала без памяти; пусть он был виноват передо мной, не поддержал моих прав, но передо мной, а не перед ними! Я верно не казнила бы его, а они — уж именно в благодарность!.. И оттого теперь я страдаю, невыносимо страдаю. Всякая крестьянка, всякая нищая находит хоть кого-нибудь, только я, одна я... Как жарко! Мне кажется, что дом этот — моя тюрьма, в которой нет света, нет выхода. Пойти освежиться, пройтись по саду, а то мне всё мерещится Во-

лынский. Боже, как это ужасно!»

Цесаревна накинула на голову небольшой платочек по-русски, спустилась по одной из боковых лестниц и вышла во двор. Часовой, стоявший у кордегардии, заметил цесаревну и ударил в караульный колокол; караул выбежал, отдал честь. Цесаревна отмахнулась рукой и прошла в сад.

Но едва она вышла на площадку перед цветником, как увидела вдали, в клумбе зелени, ещё двух солдат в полном вооружении. Не успела она дать себе отчёта, что это за солдаты и зачем они здесь, как тот, который стоял впереди, сказал: «Марш!» — и стройным, ровным шагом подошёл к ней. Она невольно остановила на нём своё внимание. Не доходя до неё полутора шагов, он остановился, на мгновение замер, потом отчётливо, чисто выполнил три темпа на караул, раздавшиеся в воздухе среди мёртвой тишины. Ружьё в его руках обернулось для отдания чести. Взяв на караул, солдат на секунду замер опять, потом отчеканил звонко, весело, будто ударил в серебряный колоколец, проговорив:

— К вашему императорскому высочеству

от караула Преображенского полка на ординарцы наряжен.

Елизавета невольно взглянула на него. Солдат был красавец писанный. Елизавета сама была довольно высока ростом, но заметила, что её рост не достигает его подбородка. Стройный, тонкий, мускулистый, но с лицом полным и нежным, как у девушки, с карими глазами, весело и ясно смотревшими на цесаревну, с тонкими губами, образовавшими невыразимо приятную и скромную улыбку, выразившую вместе с тем беззаветную преданность и отвагу, он останавливал на себе внимание всякого, как остановил невольное внимание цесаревны.

— Как тебя зовут? — спросила цесаревна совершенно механически, не зная, что спросить.

— Алексей Шубин, ваше императорское высочество, — отвечал солдат, не шевелясь ни одним нервом и с замершим, взятым на караул ружьём в руках.

— Кто вы? Откуда? — продолжала спрашивать цесаревна.

— Из костромских дворян, ваше импера-

торское высочество.

— Давно в службе?

— Другой год, ваше императорское высочество.

— Что же, у вас есть отец, мать, братья?

— Отец жив, есть брат и сестра, ваше императорское высочество.

— Хорошо, очень хорошо... Я скажу вашему майору, поблагодарю его.

Премьер-майором Преображенского полка был тогда принц гамбургский, но его не было в Петербурге; полком заведовал секунд-майор Альбрехт.

— Рад стараться, ваше императорское высочество!

С этими словами солдат отчётливым темпом взял на плечо, повернулся налево кругом и тем же скорым шагом с совершенно спокойным корпусом отошёл опять к клумбе сирени и жимолости.

К цесаревне подошёл другой солдат, повторил то же самое, заявив, что он на посылки прислан!

Цесаревна из приличия повторила те же вопросы и также похвалила. Другой солдат

был тоже молодец, отвечал смело. Но цесаревна его не видала и не слыхала. Она тихо, не поворачивая головы, прошла площадку перед цветником, миновала клумбу, где стояли солдаты, держа ружья у ноги, вытянувшись во фронт, и по другой боковой лестнице вошла во дворец.

— Позовите ко мне Мавру Егоровну, — сказала она камер-медхен, которая подбежала принять от неё платочек. — И никого не принимать, я нездорова.

Через секунду вошла Мавра Егоровна Шепелева, которую мы уже видели за завтраком у камер-юнкеров цесаревны. Цесаревна, как только увидела её, встала с дивана, заперла за ней двери на ключ, потом живо бросилась к ней и обняла, сажая с собою на диван.

— Мавруша, друг мой, Мавруша, спаси меня от самой себя!.. — проговорила цесаревна и горько заплакала, припав к её груди.

— Что с вами, цесаревна? Ангел! Милостивая цесаревна, что случилось? Боже мой, да я жизни не пожалею для вас, скажите!..

Вечером сержант Шубин был приглашён к старшей фрейлине цесаревны пить чай. Цеса-

ревна была нездорова и приказала себя не беспокоить.

Через неделю, рано утром, ещё в постели, Лесток получил записку от цесаревны. Она писала:

«Приезжайте, мой друг, завтра пораньше. Мне крайне нужно с вами поговорить.

Всегда доброжелательная вам, Елизавета».

Лесток бросился во дворец цесаревны как сумасшедший.

Там цесаревна встретила его весёлой, приветливой улыбкой.

— Как вы сияете сегодня здоровьем и счастьем, цесаревна, — проговорил Лесток, любуясь невольно оживлённой красотой Елизаветы.

— Видите, я послушное дитя, — сказала она, весело подавая ему руку, которую тот почтительно поцеловал. — Но я к вам, как к другу, обращаюсь с просьбой: поезжайте к фельд-маршалу, уговаривайте его, стращайте, настаивайте, подкупайте, одним словом, делайте что хотите, от себя и от меня, только убедите

его произвести...

— Кого, во что?

— Вот записка. Скажите фельдмаршалу, что он много обижал меня, но я всё прощаю, если он исполнит мою просьбу... всё забываю, скажите, что если он сколько-нибудь помнит благодеяния моего отца, сколько-нибудь ценит моё расположение, то непременно сделает для меня, но скажите, что производства я желаю сейчас, если можно, сию минуту! Пусть с вами пришлёт и патент. Скажите, что тогда мы друзья... Я навсегда буду считать себя ему благодарной и обязанной! Скажите, что я прошу. Я никогда ни о чём его не просила, теперь умоляю...

Лесток поехал к Миниху и через час действительно привёз патент на чин прапорщика Преображенского полка[8] сержанту Алексею Никифоровичу Шубину за его отлично-усердную и ревностную службу. Миних беспрекословно дал этот патент, но затем, выпроводив от себя с ним Лестока, он сию же минуту поехал к Бирону.

Елизавета об этом не думала. Она спешила только обрадовать того, о ком хлопотала, по-

сылая ему патент, поздравление и тысячу рублей на экипировку.

Признание цесаревны очень смутило Лестока. Он не обратил внимание на сцену, которую подготовила ему его жившая с ним подруга из взятых в плен при разгроме Лифляндии немок, хотя тут же решил непременно, при первой же удаче, картёжной или политической, с ней разойтись и жениться; не принял своего дворецкого с докладом по дому, хотя о приличии в своём доме всегда очень заботился; рассердился очень на кредитора, явившегося не вовремя, хотя он сам приказал кредитору в это время явиться. Он всё забыл и думал только о цесаревне.

«Эх, барыни, барыни! — думал он. — Изволь тут с ними дело вести. Терпела тридцать лет, а тут тридцати минут подождать не захотела. Ну, чтобы поосмотреться, посоветоваться... Она добрая, прекрасная, милая, но хоть и цесаревна, а всё же женщина. Теперь она счастлива и забыла, разумеется, и о престоле, и об обидах. Всё забыла, не сознает даже опасности. Помнит она теперь только одно или, лучше сказать, одного и этому одному посвя-

цает всю себя... А Шувалов пока в трубе! Что ж делать? Сам виноват, зачем долго глазами хлопал!..

Теперь, разумеется, они ещё ничего не знают. Но любопытно, когда узнают — что скажут? А что они узнают, и узнают не сегодня завтра, в этом не может быть сомнения, особенно при той откровенности, с которой цесаревна за него хлопочет. Она хочет, чтобы его назначили при ней бессменным ординарцем, потом сделали бы камер-юнкером, и уже сегодня приготовила ему вакансию, согласясь на увольнение Балка для поступления адъютантом к фельдмаршалу Ласси. Удивительно, как эти барыни всякое дело хотят вокруг пальца разом обернуть. Не вышло бы только для моей цесаревны что-нибудь худо. Ведь все они давно на неё зубы точат. И когда ничего-то не было, чуть её на клочки не рвали; а теперь, когда действительно кое-что есть... Нужно, однако, ехать к Шетарди, ему рассказать. Послезавтра у него бал по поводу именин короля; думаю, большая игра будет. Чёрт возьми, а у меня денег нет! Может быть, будет и императрица, а герцог непременно. У Шетарди

взять, разумеется, можно, но неловко и бессовестно. Я и без того ему много должен, а на возможность расплаты пока нечего и рассчитывать... Моя цесаревна, видимо, на мои планы не поддаётся... А из пенсий моих — этих пенсий едва хватает, чтобы жить».

В этих мыслях Лесток приказал заложить карету и стал собираться к Шетарди. Но уехать ему не удалось. К его подъезду подъехала маленькая коляска в английской упряжи с жокеем верхом. Раздался звонок швейцара, и камердинер-француз доложил:

— Князя Зацепины, дядя и племянник.

Лесток торопливо оправился.

— Проси, проси! — сказал он и вышел в гостиную.

Князя Андрей Дмитриевич и Андрей Васильевич шли к нему навстречу, и дядя отрекомендовал ему своего племянника.

Бал в посольстве

Вечером у маркиза Шетарди были гости. Праздновалось тезоименитство Людовика XV. Дом, занимаемый им тогда неподалёку от дома покойного государственного канцлера графа Головкина на реке Мее, был великолепно иллюминирован новым французским способом, только что введённым при версальском дворе, посредством маленьких шкаликов вместо употреблявшихся до того плашек и свечей. На дворе горели великолепные транспаранты: один, представлявший вензелевое изображение императрицы, — букву А, разукрашенное эмблемами русского герба; другой, с таким же вензелевым изображением французского короля Людовика XV, украшенным атрибутами французского королевского штандарта и лилиями, родовой эмблемой Бурбонов.

Танцевальная зала была освещена блестящим образом: горели тысячи восковых све-

чей. В гостиной — тоже новость французского двора — горели кенкеты. Штофная драпировка в соединении с инкрустацией мебели и овальными рисунками пасторальных сцен в золотых рамах, вместе с лёгким и изящным рисунком плафона и красивыми жардиньерками, уставленными редкими растениями, делали эту небольшую гостиную посла столь уютной и столь изящной, что глаз, казалось, отдыхал на художественном соединении цветов, и беседа, французская любезная беседа, невольно сама собой вызывалась её уютностью и спокойствием. За этой гостиной следовала другая, украшенная портретами Людовика XV и Марии Лещинской. Далее находилась ещё прекрасная комната, назначенная специально для игры, с маленькими столиками для ломбера, столами для виста и экарте и с большим овальным столом посредине для игры в гальбцвельф. Из второй гостиной был выход в столовую, где готовился ужин.

В первой гостиной уже собралось несколько гостей, с которыми любезно беседовала хозяйка, прелестная и изящная маркиза Шетарди. Подле неё сидела графиня Миних, урож-

дённая Мальцон, бывшая в первом замужестве за Салтыковым и потом воспитывавшая цесаревну Елизавету; рядом с ней графиня Марфа Ивановна Остерман, напротив обеих — супруга английского посланника m-me Финч. Все они говорили по-французски, поэтому беседа шла довольно оживлённо. Мужья всех этих дам ещё не приезжали. Жёны должны были приехать ранее, так как по тогдашнему этикету, нося придворное звание, они должны были встретить императрицу, которая обещала удостоить праздник французского посольства своим посещением. В гостиной в различных группах сидело ещё несколько дам, преимущественно из крупных придворных. Там были — старуха Трубецкая, жена фельдмаршала; Настасья Фёдоровна Лопухина, о которой князь Зацепин говорил, что красотой своей она свела с ума весь Петербург, и молодая Бестужева-Рюмина, бывшая Ягужинская, урождённая Головкина. Несколько девиц ходили по зале. Гости начинали прибывать. Почти одновременно раскланялись с хозяйкой несколько молодых людей, служивших в гвардейских полках, при

дворе и в коллегиях, а также несколько секретарей и советников разных посольств. Хозяйна не было видно. Он ещё не выходил, хотя маркиза уже неоднократно посылала за ним, приказывая под сурдинку сообщить, что приехала такая-то или такой-то. Гостям заявляли, что он отправляет важные депеши. В действительности он не был занят ничем и сидел в кабинете с Лестоком. Но, видимо, новость, переданная ему Лестоком, была настолько интересна, что увлекла обоих. Маркиз Шетарди забыл о своих гостях, как забыл под влиянием только что переданной новости все на свете; и Лесток, передавая эту новость, видимо, был тоже настолько взволнован, что забыл положить в свой бумажник и кошелёк предложенные ему маркизом деньги, пятьсот червонных, в форме пяти векселей на Лимпана, и триста червонцев в звонкой золотой монете для игры с герцогом, так как герцог страстно любил играть и по большой, а Лесток на просьбу маркиза составить ему партию заявил, что у него нет денег.

— Кто же этот Шубин? — спросил маркиз, видимо затронутый новостью за живое. —

Нужно его отыскать, познакомиться.

— Теперь преображенский или семёновский офицер, право, не знаю. Я всегда полки смешиваю. Из мелких дворянчиков безземельной шляхты, как называют таких господчиков поляки.

— Знаете что, друг Арман, — сказал маркиз, посматривая на часы. — Время ещё есть. Я сию минуту напишу приглашение и попрошу Маньяна съездить разыскать и привезти его сюда. Думаю, цесаревне будет это приятно.

— Думаю и я. Притом нужно же нам его узнать поближе. Если кто может ей сообщить энергию для действия, то, разумеется, только он. Первые фавориты всегда пользуются влиянием.

Маркиз написал приглашение и приказал попросить к себе Маньяна. В коротких словах передал он ему поручение и предоставил в его распоряжение свою карету. Маньян уехал.

— Нужно узнать, танцует ли он или играет. Если играет, то я, друг, на вас надеюсь; вы поддержите его в игре.

В это время камер-юнгфера маркизы вбе-

жала торопливо и сказала, что приехала герцогиня Бирон.

Но маркиз и тут не пошёл, приказав сказать, когда приедет герцог.

О приезде князей Зацепиных, дяде и племяннике, доложили почти вместе с приездом братьев Левенвольд.

В то время как князь Андрей Дмитриевич рекомендовал маркизе племянника, к ней подошёл Рейнгольд Левенвольд. Он сразу узнал молодого человека и, видимо, взглянул на него с чувством злобы, хотя в то же время дружески протянул руку его дяде. Андрей Дмитриевич счёл приличнейшим сделать вид, будто он вовсе не слышал о столкновении его с племянником и о разных неприятностях, которые он старался ему делать, поэтому решил представить ему Андрея Васильевича, как бы ничего до того между ними не было.

— Позвольте вас просить, граф, не оставить милостивым расположением и покровительством моего племянника и наследника: князь Андрей Васильевич Зацепин!

Левенвольд взглянул было на него высоко-

мерно. Но в это время его брат, Карл, окончив официальные любезности с маркизой Шетарди и раскланявшись с князем Андреем Дмитриевичем, дружески обратился к молодому человеку.

— Князь, — сказал он, — очень рад вас здесь встретить! Я привёз вам половину денег, которыми вы меня так любезно одолжили. Пожалуй, я и всё привёз, но мне хочется играть, и я обращаюсь к вашей доброй снисходительности: прошу взять только половину! Брат, рекомендую: молодой человек, который спас твоего брата от большой неприятности и срама!..

Рейнгольд Левенвольд остановился в полнейшем недоумении.

В это время обе половины дверей гостиной отворились, и официант громко провозгласил:

— Его высококняжеская светлость герцог курляндский и семигальский Иоганн Эрнест фон Бирон.

Маркиза пошла к нему навстречу, сделав знак своей камер-юнгфере.

Через минуту в гостиной показался и мар-

киз, чтобы встретить могучего фаворита.

Танцы ещё не начинались в ожидании приезда высоких особ, но в игорной комнате почти все столы были уже заняты. Лесток сидел за большим овальным столом и держал гальбцвельф. Вокруг него толпилось много лиц с совершенно различным общественным положением, от гвардейского солдата до фельдмаршала и министра, хотя все были одеты почти одинаково во французский костюм версальского двора. Военные вне службы могли тогда носить этот общий гражданский костюм, хотя некоторые являлись и в мундирах. Различие положений можно было заметить только по орденам: голубая лента, разумеется, имела преимущество перед красной; звезда с бриллиантами и андреевская цепь, разумеется, давали преимущество против тех, кто не имел этих отличий. Но игра уравнивала всех. Здесь были многие из тех, кого встречал молодой Зацепин у Леклер. Густав Бирон сел с Рейнгольдом Левенвольдом в экарте. Ставка была значительная; составилось пари за обе стороны; игра началась.

В это время в комнату вошёл, в сопровож-

дении секретаря французского посольства Маньяна, замечательно высокий и замечательно стройный преображенский офицер, которого никто не знал.

— Кто это? — спросил Карл Левенвольд у принца гессен-гамбургского, приехавшего в тот день из Москвы и поспевшего на бал.

Принц гессен-гамбургский был премьер-майор Преображенского полка, стало быть, непосредственный помощник Миниха, управлявшего полком в звании подполковника, и, разумеется, должен был всех знать.

Карл Левенвольд садился с принцем в ломбер.

Принц, взглянув на Шубина, должен был сказать, что он его не знает.

— Однако на нём преображенский мундир! — заметил Левенвольд.

— Да, я вижу, но решительно не могу вспомнить, хотя, кажется, у себя я знаю всех. Верно, без меня поступил.

— Кто это? — спросил Левенвольд у преображенца, молодого Салтыкова.

Тот тоже не умел ответить.

— Однако ж это странно! — заметил Левен-

вольд. — Преображенский офицер, которого никто из преображенцев не знает. Уж не мистификация ли какая!

Воспользовавшись случаем разговора принца гессен-гамбургского с кем-то, Левенвольд отыскал ещё двух преображенцев, но и те не сумели ему ответить. В это время подошёл к нему один из известных старых служаек Преображенского полка поручик Шипов.

— Кто это? — спросил у него Левенвольд.

— Это... это... Боже мой, да это наш сержант Шубин.

— Сержант! Но он в офицерском мундире!

— Точно, в офицерском; да он с ума сошёл, что ли? Я сам дня два назад видел его сержантом, а производства не было.

Между тем в игорную комнату вошёл герцог. Лесток предложил ему занять его место держать гальбцвельф.

— Нет, господа, гальбцвельф — детская игра. По-моему, играть так играть! Сядемте в ландскнехт.

Разумеется, все согласились, сели вокруг стола, набросали денег в пульку, и ландскнехт начался.

Досталось метать Бирону.

— Ставка десять червонных, кому угодно? — спросил Бирон.

— Идёт, — отвечал князь Андрей Дмитриевич, занявший место подле Бирона, и проиграл.

— Ставка двадцать червонных, господа.

— Идёт! — отвечал Трубецкой Никита Юрьевич, сидевший подле Зацепина, и тоже проиграл.

— Ставка сорок червонных, господа.

Придержал Генриков и проиграл опять.

Глаза Бирона загорелись.

— Ставка восемьдесят червонных, господа! Кто держит? Несколько секунд длилось молчание, — придержал Лесток.

Бирон выиграл опять.

— Ставка сто шестьдесят червонных! — самодовольно и весело заявлял Бирон.

Подле Лестока стоял Шубин. Он вынул из кармана тысячу рублей, присланных ему на экипировку, из которых он почему-то не издержал ни рубля.

— Держу, ваша светлость, — сказал он герцогу.

Бирон метнул и остановился. Шубин выиграл.

— Ваше счастье! — сказал Бирон, придвигая деньги.

Когда Бирону досталось вторично метать, ему было опять повезло, но опять он оборвался на Шубине.

То же случилось и в третий раз. Бирон нахмурился.

Метать досталось Шубину.

Ставка дошла до трёхсот червонных; держал Трубецкой и проиграл.

— Шестьсот червонных, — сказал Шубин.

Бирон заявил, что держит, и проиграл.

— Передаю игру, — сказал Шубин, придвигая к себе тысячу двести золотых.

Бирон принял. Шубин поставил весь выигрыш против своей игры и выиграл опять. Бирон с досады бросил карты под стол, заплатил проигрыш и встал.

— Кто это? — спросил он у Шипова, который стоял тут.

— Шубин, ваша светлость! — отвечал Шипов.

— Шубин! А это — Шубин! — И герцог оста-

новил на Шубине свой пристальный взгляд.

— Только, ваша светлость, он у нас числится сержантом! Я два дня сам наряд на посты делал и рассчитал его в сержантах, а теперь он в офицерском мундире. Не изволите ли приказать допросить...

— Нет, он произведён.

— Но когда же, ваша светлость? В приказах по полку не было, я доподлинно знаю! Сегодня только.

— Воля государыни! — лаконично отвечал Бирон и отошёл.

— Вы много выиграли? — спросил у Шубина Лесток.

— Около четырёх тысяч червонных! — скромно отвечал Шубин.

— Вам везёт, редкое счастье, — шутливо продолжал Лесток, — и в картах, и в любви! Вы под счастливой звездой родились! Только одно скажу: берегитесь Бирона!

— А что?

— Да так! Герцог любит играть, любит выигрывать, но страшно не любит проигрывать. Сегодняшнего проигрыша он, разумеется, не забудет.

В это время заявили о приезде императрицы. Все бросились её встречать. Вслед за императрицей вошли принц и принцесса Брауншвейгские, а за ними цесаревна Елизавета.

Бал начался длинным польским. В первой паре шёл хозяин-маркиз с государыней, за ними принц Антон с маркизой, за ними герцог с принцессой, а за ними цесаревна с фельдмаршалом Минихом. Обойдя круг, Шетарди передал государыню принцу Антону, а сам повёл принцессу Анну Леопольдовну, тогда как маркиза шла под руку с герцогом. Затем новая перемена, и Шетарди пошёл под руку с цесаревной.

— Я передам вас, ваше высочество, не по чину, а по сердцу, — сказал ей Шетарди.

Цесаревна тогда не поняла, но зато с благодарностью вспомнила его слова, когда совершенно неожиданно она очутилась под руку с Шубиным.

— Мавра Егоровна вас ждёт к себе после бала, — сказала она, пожимая ему руку.

Шубин был вне себя от восторга. В самом деле, редкое, невероятное счастье было ему и в картах, и в любви.

Князь Андрей Васильевич не успел взять дамы к польскому и, идя в танцевальную залу из игорной комнаты, заметил в гостиной молоденькую, очень молоденькую девочку с портретом императрицы, осыпанным бриллиантами, на груди и с фрейлинским шифром на плече, которая, уединившись, сидела у жардиньерки и, казалось, не знала, что ей делать. Он узнал её и сейчас же подошёл! Эта девочка была Гедвига Лизавета Бирон. Она приехала с государыней и была забыта в суе-те представлений, общего движения и начавшегося танца. Такая забывчивость была тем понятнее, что при малейшем расстройстве Бирона императрица обыкновенно забывала себя, а тут он вошёл хмурый, недовольный и, видимо, сильно расстроенный.

Проходя польский с маркизом, потом с принцем Антоном, потом с гессен-гамбургским, она никак не хотела окончить польский, прежде чем ей достанется идти с Бирон.

Наконец ей пришлось идти с ним, и она спросила о причине его пасмурности и расстройства.

— Какой вздор! — резко отвечал Бирон. — Я не только не расстроен, но очень весел. Мне только кажется, и это точно меня волнует несколько, что поведение цесаревны Елизаветы становится до того уже неприличным, что может возбудить европейский скандал. Влюбилась и связалась с каким-то солдатом. Знаете, на днях я должен был согласиться, чтобы Миних, вопреки всем правилам, от вашего имени выдал ему офицерский патент, потому что ведь смешно же: фаворит цесаревны — солдат.

— Что же, это что-нибудь новое? — спросила императрица, видимо не верившая в чистоту жизни цесаревны.

— Да, и взгляните, в какой степени дерзко она ведёт себя с этим новым. Вот она, в присутствии вашем, решилась идти с ним в польском, и как идёт, взгляните, как опирается на его руку, шепчет что-то на ухо и смотрите, даже не передала его по окончании тура.

— Да, это неловко.

— Не довольно сказать: неловко; это гадко, неприлично! Я удивляюсь его дерзости; как он смел, при вас и всем обществе. Да, это дол-

жен быть человек в высшей степени дерзкий и нахальный.

— Ну, что ж, ты убери его! — сказала императрица и села с Бироном в гостиной. В это время она увидела молодого Зацепина, разговаривавшего с молоденькой Бирон.

— Кто это, — спросила императрица, — с твоею дочерью?

— Это молодой князь Зацепин, племянник князя Андрея Дмитриевича.

— Он, кажется, недурен; представь его после мне.

Государыня села, и польский кончился. Явилась характерная кадрили в шестнадцать пар из действующих лиц романов — рыцарей Круглого стола.

Маркиз пригласил императрицу взглянуть на замаскированных. Бирон подошёл к дочери.

Молодой Зацепин, подойдя к молоденькой девушке, сперва не знал, что ей сказать, хотя поговорить с ней ему очень хотелось. И вот неожиданно ему пришёл в голову банальный вопрос, он и предложил его:

— Отчего вы не танцуете?

Маленькая, смугленькая, но с нежной сквозистой кожицей девушка, с живыми, выразительными, чёрненькими глазками и милой улыбкой тоненьких губок своего маленького, очень маленького ротика сперва сконфузилась, но потом наивно отвечала:

— Меня никто не взял, не заметили; я и прошла сюда.

— А вы любите танцевать?

— Польский — нет. Какой это танец! А вот экосез или гросфатер — очень люблю.

— А кадриль?

— Французскую — да! А русскую или английскую — нет. Это очень скучно и запутанно. Я всегда забываю фигуры.

— А менуэт?

— Да, если кавалер приятный и хорошо танцует.

— Могу ли я просить вас доставить мне удовольствие протанцевать со мною менуэт?

— А вы хорошо танцуете?

— Ну, этого нельзя сказать, однако ж умею. Танцуя с вами, я постараюсь танцевать хорошо.

— Отчего же именно со мною?

— Чтобы угодить вам.

— Ах, как я вам благодарна! А то мне никто не угождает, даже Карлуша, мой младший брат, и тот меня только дразнит. Он, видите, хочет, чтобы я ему угождала.

— А я буду вам угождать! Вы скажите мне, что вы любите, и я постараюсь делать то, что вы скажете.

В это время к ним подошёл герцог.

— Князь, вас желает видеть императрица. Пойдёмте, я вас представлю.

Андрей Васильевич встал.

— Папа, ничего, что я обещала князю танцевать с ним менуэт? Вы мне позволите?

— С удовольствием, мой друг! Танцуй, если это тебе приятно. А князь, я надеюсь, будет тебе приятным кавалером! — сказал он, любезно улыбнувшись.

И они вместе пошли к императрице, которая говорила в это время с его дядей. Она удостоила племянника весьма милостивого приветом, пригласив обоих, и дядю, и племянника, к себе завтра утром на стрельбу.

Вечер, впрочем, не окончился без приключения. Когда на Мее был зажжён фейерверк и

бураки с швермерами начали лопаться в воздухе, то принц гессен-гамбургский, вспомнив канонаду под Хотином, вообразил, что и теперь он находится под выстрелами крепости, и до того струсил, что бросился бежать и уткнулся прямо в жену Миниха, стоявшую в дверях. Но так как плотная, высокого роста и здоровая жена фельдмаршала не подалась от его толчка, то по отражении он попал прямо на худенькую, болезненную и хилую герцогиню Бирон, наступив ей на ногу. Та завопила благим матом, и в дело должен был вмешаться фельдмаршал Миних, принося герцогине извинения за своего храброго генерала-принца, который, находясь у него под командой, постоянно находил, что тот побеждает не так.

— И даже ставучанскую битву мою, — говорил Миних, — где мы такими орлами налетели на турок и разгромили их так, что они и до сих пор в себя прийти не могут, а их было десять против каждого нашего одного, — так даже эту битву он назвал трусливой. Уж извините этого храброго принца. Он, верно, не побежит от бураков!

Миних продолжал ещё острить, говоря лю-

безности герцогине. А принц гамбургский, поджав хвост, давно пропал.

После фейерверка открылись двери столовой, и там был сервирован на маленьких столиках с разноцветным хрусталём и освещением роскошный ужин. За столиком императрицы, кроме хозяина, расположились: принц и принцесса Брауншвейгские, герцог и герцогиня Бирон, Рейнгольд Левенвольд, князь Черкасский и князь Зацепин. Остермана на бале не было: он сослался на обычное нездоровье. Маркиза Шетарди сидела за столиком цесаревны Елизаветы, где сидели также графиня Остерман, Лесток, Бестужев-Рюмин, Воронцов, Шувалов, Шепелев и между ними как-то нечаянно попал Шубин. Молодой Зацепин, тоже, должно быть, случайно, сидел подле Лизоньки Бирон, с её братом — принцем Петром, принцем гессен-гамбургским, Густавом Бироном и Карлом Левенвольдом. Ужин был очень оживлён; вина превосходные, и в заключение всем дамам были поднесены бонбоньерки, украшенные живыми цветами, с сюрпризом для каждой, и мадригалами от хозяина, которыми воспевалась

их красота. Все смеялись, все были веселы и разъехались по домам в два часа. Молодой князь Зацепин тоже уехал вместе с дядей. Петлица его шитого золотом кафтана украшалась гелиотропом и розой, которые, конечно, подарила ему чья-нибудь женская рука.

VI

Другой мир — другие люди

Фёкла не забыла своего обещания Елпидифору, пришла за ним и отвела его в свою каморку, которую она занимала за церковью Рождества у самых почти торговых рядов, нанимая уголок у дворника. Там она усадила своего бывшего любовника, поставила перед ним пирог с кашей, а другой — с ягодами; достала ендову и налила из неё чего-то в бутылку.

— Что это? — спросил Елпидифор.

— А вот попробуй! Меня научил это готовить один хохол, тоже из наших, запеканкой называют. Берёшь ты, сударь мой, солоду, кладёшь в куб вместе с оржаной мукой... — И

Фёкла начала рассказывать домашнее приготовление сперва вонючей раки, потом чистой-пречистой, как слеза, водки. — Эту водку сливают после в горшок на сливу или грушу, замазывают и ставят запекаться что ни на есть в жаркой печи, потом пропускают сквозь полотно.

— Скус-от такой особый, своеобразный бывает, вот попробуй! — прибавила Фёкла.

Елпидифор попробовал и нашёл, что хорошо, очень хорошо! Выпил с удовольствием, закусил пирогом и выпил опять.

В глазах у него заискрилось. Фёкла показалась ему опять молодой красавицей, которую он поджидал, бывало, когда она уйдёт от своего пьяного мужа, усыпив его.

Он посадил её подле себя, обнял, поцеловал...

Фёкла не отнекивалась, но сказала:

— Слушай, Елпидифор, сегодня твой день; я потом отмаливаться стану; но знай, что теперь я не твоя, а Божья!

— Как Божья?

— Так, вот пойдём порадеть со мной, так увидишь! Хорошо таково, отрадно! Себя не

помнишь, будто на седьмом небе находишься, а тут тебя благодать Божия и осенит.

— Посто́й, да как же?..

— Да так! Я уж говорила о тебе Ермилу Карпычу. Он такой набожный и хорошо таково учение читает. Он у нас набольший, патриархом зовётся. Я сказала, что ты был нашей двухперстной веры и только неволей в злобу никонианцев впал и образа человеческого лишился! Теперь же благодати ищешь. Он сказал: «Приводи!» Вот на той неделе первое осеннее раденье будет, тогда и пойдём.

— Где же вы радееете?

— А вот увидишь. Сказать нельзя, язык отыметсЯ. Зарок такой. А придёшь, увидишь — и знай про себя, другим не говори. Коли не достоин благодати Божией, так Бог память отнимет и не найдёшь; а коли найдёшь опять сам, стало, Богу угоден ты, стало быть, наш...

— Какое же такое раденье бывает?

— А вот увидишь! Тайнство Божие, о нём зря говорить нельзя. Просветит Бог очи, увидишь и поймёшь; а не просветит Бог, так и перед глазами будет — не узришь, и перед

ушами — не услышишь и не поймёшь. Во всём власть Божия бывает, и без неё не сгинет ни один волос человеческий.

Задели за живое Елпидифора слова Фёклы.

Ну что бы это такое? Обряды и толкованья прежние, он знает, сам при молельне служил; а тут не то, видимо, не то! Что же такое тут? Какая там новая благодать открылась?

— Нишкни, нишкни! Говорю: о таинстве Божиим зря говорить станешь, язык отнимется! Ты вот лучше скажи, что княжич-то, начал службу?

— А кто их знает, какая у них служба? Всякий вечер к ахтерке французской ездит, да к нему учителя разные ходят, наукам каким-то обучают; а ещё вот солдат приходит да какой-то немчура: наденут на себя личины железные да друг в друга тоненькими шпажонками пыряют; на шпаги-то, впрочем, пуговицы насажены.

— А в Филипповки княжич-то постное ел?

— Куда те постное! И нашему-то брату постное не больно на руку даётся. Кроме того, что этот, как его — дворецкий не дворецкий, а как-то мудрёно зовётся, методель, так этот

методель говорит: «Пустое, ешь что дают! Еда у нас не худая». Да и своя-то братья смеётся и надуть всё, оскоромить желает! Однако мне Бог помог соблюсти, я-то не оскоромился!

— То-то, великий грех! Иные Филипповки больше поста Великого почитают. Выпей ещё запеканки-то, да вот пирог сладкий, с ягодами; а напередки я тебе с здешней рыбой пирог приготовлю, хорошая рыба, сладкая такая, у нас на Волге нет, сиг и лососина зовётся!

Елпидифор не отказался.

— Ну, спасибо, Фёкла Яковлевна, на привете и ласке, благодарю за угощенье! Мне пора!

— Куда? Посиди!

— Нет, боюсь! Завтра княжич на мошкару али бал там какой едет, так, пожалуй, утром лошадей смотреть захочет, приготовить нужно.

— Ну прощай! А на той неделе отпросишься?

— Я уж отпросился. Парамону Михайлычу очень там какие-то немецкие рукавицы понравились, просили рубль, показалось дорого, не дал. Я взял да и купил; прихожу с поклоном да и говорю: «На старый-то Новый год

«Дозволь к своим сходить?»

— Что же он?

— А он рассмеялся да и говорит: «Ах ты, бритая рожа, туда же, к своим! Рази хочешь, чтобы помелом вымазали? Выбрился — так отделился, сам знаешь; свои не под стать». — «Да рази я волей, Парамон Михайлыч», — говорю я. А он на это: «А ты думаешь, и я волей? Нет, такая уж тут линия подошла, ничего не поделаешь. Сходи, сходи, впрочем, и мне расскажи, что увидишь!»

Первого сентября вечером Фёкла и Елпидифор, несмотря на ветер и слякоть, завернувшись, насколько было можно, шли Невской першпективой в Гончарную слободу. Вечер был тёмный, небо заволокло тучами, не было видно ни зги. У ворот некоторых домов висели фонари, давая тусклый свет сквозь закопчённые стёкла от поставленных в них сальных свечей и жирников. Но этих фонарей, несмотря на строгое распоряжение полиции, чтобы они горели у каждого дома, было очень мало, так что, можно сказать, что света не было вовсе. В Аничковой слободе ещё попадалось кое-где более яркое освещение в ок-

нах кабаков, харчевен и заезжих домов, но за Вшивую биржею таких домов стало меньше, а в Гончарной слободе не было уже освещено ни одного дома и не горело ни одного фонаря. Фёкла и Елпидифор шли, как говорится, ощупью.

Посреди слободы стоял длинный двухэтажный дом с высоким дощатым забором и крепкими дубовыми воротами, к веревкам которых была прикована большая и злая цепная собака; дом уже почерневший и облупившийся от времени. В доме не было видно ни малейшего огня и никакого признака живого существа. Однако ж собака была подвязана у своей конуры, так что она могла храпеть и рваться на месте, не хватая калитки, к которой нет-нет да и подходили разные тёмные личности. Эти личности постукивали условным образом в замок, калитка отворялась, и приходивший исчезал в глубине двора. Так вошли и наши пешеходы. Фёкла подошла к Елпидифору и сказала:

— Ты заприметь, как я стучу, и не забудь, чтобы войти, когда один придёшь! — С этими словами она постучала, и калитка отвори-

лась. Затем на дворе они подошли к низкому зданию без окон и только с одной дверью. Пройдя в эту дверь, они вошли в тёмные сени, и Фёкла проговорила:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

За стеной раздалось: «Аминь!» — и двери перед ними растворились.

Елпидифор увидел довольно обширную низкую храмину без окон, с нарами по стенам в два ряда, один вдоль самых стен, другой — несколько отступя. Ещё несколько нар было устроено там и сям в беспорядке. Посреди комнаты стоял стол с осьмиконечным крестом на нём, а за столом находился несколько в стороне аналой, на котором лежал старинный образ Спасителя. Подле стола тоже устроены были нары и особое возвышение в виде амвона, на котором стоял табурет. Храмина по стенам была увешана старинными образами и ярко освещена сотней лампад и несколькими сотнями восковых свечей разной величины в высоких светцах. На столе перед распятием стоял подсвечник о семи свечах. На нары садились приходящие, один подле дру-

гого, без всякого порядка. Фёкла и Елпидифор сели рядом на одни нары, на которых, впрочем, сидел кто-то ещё из пришедших до них.

В храмине царствовало мёртвое молчание, изредка прерываемое размещением вновь входящих.

Почти все нары, расположенные вдоль стен, были заняты сидящими, потеснившись сколько было возможно; несколько пришельцев расположилось на нарах второго ряда, кое-кто стоял у стен между нарами.

Раздался звон колокольчика, к столу подошла девушка и стала читать молитву, окончившуюся словами: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» Неизвестно откуда раздался ответ: «Аминь!» Девушка стала читать другую молитву, окончила её теми же словами и получила тот же ответ.

Девушка была молоденькая и хорошенькая. Нежное личико, тонкие брови и общая девственность и нежность резко оттенялись на фоне грубого платья, и она невольно представлялась как бы не тем, что есть. Когда она окончила, из толпы выделился старик. Густые седые волосы и небольшая седая круглая

бородка при совершенно чёрных, широких бровях придавали его лицу особую выразительность. Взгляд его тёмно-карих глаз и тонко сложенные губы довольно широкого рта обозначали не только ум, но и какое-то добродушное лукавство, искренность себе на уме. Видно было, что это старик серьёзный, но и мягкий; что он мастер убеждать, но готов и уступить, когда это нужно. Вместе с тем по морщине, проходящей по его лбу и складочкам, обозначившимся на его висках, можно было заключить о жёстком характере его даже в том случае, когда он уступал, когда он склонялся. Одет он был просто, по-русски, в длиннополой сибирке, застёгнутой на три серебряные пуговицы, в русской красной рубашке с косым воротом и высоких сапогах. На плечи его, однако ж, было наброшено широкое тонкое полотенце с узорочным шитьём и шёлковыми кистями на концах.

— Ермил Карпыч, — сказала на ухо Елпидифору Фёкла и встала.

Она подошла к амвону, набросила на него ковёр и встала на колени перед стариком, проговорив молитву. Тот перекрестил её дву-

перстным знаменем и тоже что-то проговорил. Фёкла встала, а он, опираясь на неё, вошёл на амвон. Она сняла с него сапоги, подавала белые туфли при благословении и выполнении какой-то обрядности. Затем, встав подле молодой девушки, начала читать псалмы по книгам отеческим, то есть изданным до Никона.

Прочитав «Помилуй мя, Боже, Живый в помощи Вышнего» и ещё один-два псалма, Фёкла заключила: «Помоги, Господи, послушати поучений Твоих и благослови радение наше».

Когда Фёкла проговорила эти слова, Ермил Карпыч, стоя на амвоне, начал говорить.

— Братие, — сказал он, — не мои нечистые скверные уста несут вам поучения сии, не мой слабый разум и блазное помышление будете слушать вы, а указание свыше, указание Святого Духа, иже да снидет ныне на ны.

Ермил Карпыч склонил голову, как бы повторяя про себя слова молитвы. Все присутствовавшие тоже склонили свои головы.

— Братие! — подняв голову, начал тихо говорить Ермил Карпыч. — Бог создал свет, создал человека, дал ему разум и слово, отлича-

ющие его от других, бессловесных, и сказал: «Плодитесь и множитесь, да будет над вами Моё благословение!» И подобает нам по велению Всевышнего, иже Сына Своего послал нам на искупление, радети и молитися, без хитрости и лукавства, без упорства и сомнения, а с тёплым чувством и верой отдавать себя промыслу Божию. Перед Богом все равны! Нет перед Его премудростию ни сильных, ни слабых, ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни простых, ни красивых, ни безобразных! Все братья и должны быть братьями! Правда, и в семье есть старший и младший брат, есть отец и покровитель. Бог создал так, что старший должен учить младшего, разумный — глупого, сильный помогать немощному! Так и между людьми Бог создал князей и бояр, создал богатых и бедных, больных и здоровых и сказал: «Пусть богатый помогает бедному, здоровый — больному, князья и бояре оберегают простых и неразумных!» Что же люди сделали? Богатый бедного грабит, здоровый слабого давит, а князья и бояре, те совсем душу свою Ваалу отдали. Даже по постам скоромное едят! Вот, братие, и собрались мы ис-

тинную веру держать и Христово имя прославлять и избрали из среди себя, согласно древним уставам и преданиям, агницу Божию, девицу непорочную, да ниспошлёт на неё Всевышний благодать Свою, и да последует в нём вновь воплощение духа Божия.

С этими словами Ермил Карпыч взял за руки читавшую перед тем девицу и ввёл её на амвон. Фёкла сняла с неё коты и чулки, подостлала коврик и босыми ногами поставила её перед табуретом. Ермил Карпыч взял со стола распятие и поднёс к ней.

— Он страдал на кресте за нас, и ты молись, да пошлёт Он тебе силу страдания!

Девушка приложилась к кресту. Потом он взял с аналоя образ, тоже поднёс к ней и сказал:

— Он благословлял всё живущее, — и ты молись о благословении.

Она приложилась и к образу. Ермил Карпыч осенил её крестным знамением и посадил на табурет. Елпидифор заметил в это время, что за аналоем стоял кто-то, весь в белом, высокого роста и с закрытым лицом. На белой, нежной левой руке его, несколько высу-

нувшейся из широкого рукава белой рясы, на мизинце сверкал крупный бриллиант.

«Кто бы это?» — подумал он, когда Ермил Карпыч повторял ещё над девицей свои благословения.

Между тем кругом присутствующих обходили с блюдом на поддержание святых храмин и на бедных братьев наших.

За ними несли хлеб и вино.

— Во здравие и спасение! — подавая квасную просфору, говорила Фёкла.

— На веселие и радость! — говорила другая женщина, поднося чарку крепкого, настоящего на чём-то вина.

К девице подошла Фёкла и другая женщина, дали ей выпить вина, съесть просфоры, распустили на ней сарафан, сняли проймы, расстегнули рубашку и обнажили упругую, ещё девственную грудь.

— Порадемте же, братья и сёстры, и помолимся, да примет Господь жертву нашу.

По этим словам все присутствующие встали с своих мест, женщины подошли к амвону, мужчины остались на месте. Ермил Карпыч и Фёкла сошли с амвона. Первый сел на нары у

стола, а Фёкла вошла в круг женщин и затащила их беспоповскую молитву:

*Помилуй нас, Господи!
Помилуй, Исус Христос!
Помоги радеги нам...*

Все женщины одна за другой за ней повторили; после начали вторить и мужчины, стоя на месте и раскачиваясь под однообразный, монотонный такт напева. Фёкла под тот же напев тихо пошла вокруг амвона, женщины шли за ней. Обойдя амвон, они пошли вокруг всей храмины, проходя мимо всех стоявших мужчин. Потом они пошли опять вокруг амвона. Девица, с распущенными волосами, с обнажённой грудью, сидела на табурете. Напев учащался, женщины шли за Фёклой, ускоряя шаг; наконец Фёкла, проходя мимо Ермила Карпыча, дрогнула как-то особо ногой и приподняла сарафан до колена. За ней и все женщины начали приподнимать сарафаны и подёргивать ногами и плечами. Песня шла живей, темп учащался, ускорялось и движение. Скоро к кругу стали приставать и мужчи-

ны. Песня ускорилась более и более, движение шло живей, темп учащался; мужчины и женщины подпрыгивали, поднимали руки и скакали как исступлённые, песня полилась ещё скорей, все начали вертеться. Вдруг по колокольцу Ермила Карпыча всё смолкло и остановилось.

— Начинайте, дети, славословие и радость, — сказал он. Полилась весёлая, ухарская песня, всё закричало, заскакало в совершенном бешенстве, раздались звуки сопелки и рожка; всё кружилось, бесновалось, скакало под мотив сопелки и рожков, ускоряясь с каждым тактом. Между тем постепенно свечи тушились, лампы гасли, в храмине становилось темнее, горел на столике только подсвечник о семи свечах. Пляска становилась живее, безумнее; местами среди песни раздавались взвизги и вскрики, иногда слышались собачий лай, мяуканье кошки, ржание лошади или мычанье быка; скаканье, прыганье, верченье в общем крике и гаме казались чем-то невероятным... Потом вдруг разом погас и последний огонь в подсвечнике. Сопелка, рожок и песня ещё продолжались. В это время

Елпидифор почувствовал, что его кто-то обхватил.

— Овца или баран? — спросил охвативший у него на ухо.

— Баран! — машинально отвечал Елпидифор. Охвативший исчез, но через минуту он был охвачен вновь и опять тот же вопрос.

— Баран! — отвечал опять Елпидифор.

Тут кто-то нежно прижался к нему, шепча на ухо: «Овца». И он очутился со своей овцой на нарах. Темнота покрыла общий разврат.

— Ты видел теперь? — спросила Фёкла, когда они возвращались с Елпидифором из Гончарной слободы уже под утро.

— Как не видать, хоть и не знаю, кого мне Бог дал. Будто и молодая, а бог её весть какая!

— Оттого-то я и сказала, что я уже не твоя, а Божья. Кому Бог приведёт, тому и достаюсь.

— Сказывай сказки! Будто нельзя сговориться да держать друг друга на примете.

— Великий грех! Людей обманешь, а Бога нет. Накажет Бог! Сказано: «Без хитрости, лукавства, а с тёплым чувством и верою...» На меня за тебя и так епитимью наложили. Ты не должен знать, кто к тебе; она не должна

знать к кому... Бог знает, кому что нужно. А дети все общие.

— Ну, признаться, пошалить так хорошо, отчего и нет, потом попу покаяться можно. А чтобы жить таким средством... Нет, не хотел бы! Подумай, вот у меня теперь только одна и радость — это мой Пахомка... Уж как отмолил-то я нонче, чтобы его в Москву не послали, так, кажись, сам родился вновь... Да и живу, — вот с тобой тогда расстался, оженился, — с женой живём ладно; оно особой какой любви, как вот хоть бы тебя, например, любил, у нас нет; а жизнь-то вся вот в них, в детках-то, каковы есть. Помню, как Пахомка первый раз пошёл мне лошадь запрягать, измаялся я за него, думаю: «Вдруг лошадь-то ударит или лягнёт как», не выдержал; пошёл сам. А как подал-то он мне молодцом таким, так будто царством подарил; даже слёзы из глаз посыпались. А тут как же, главной-то радости — видеть и любить детей своих и не будет. Нет, Фёкла Яковлевна, как хочешь, а не так Бог велел.

— Ты, може, и прав! — сказала Фёкла Яковлевна. — Да мы старую веру храним и себя

от соблазна сберегаем; а то как бы того, где бы тела и крови, то есть христосика добыли!

— А что, ту девицу-то, что на амвоне-то раздетую посадили, ту для себя Ермил Карпыч приготовил, что ли?

— Нишкни! Что ты? Нет, Ермил Карпыч тоже, как и мы, сами не знаем, кому достанемся и кто нам достанется. А в этой девице и сила вся! Выбирают чистую, непорочную и красивую. Коли найдёт на неё благодать и она принесёт ребёнка, он-то и есть агнец, готовимый на заклание во спасение грехов мира!

— Ну благодать-то через Ермила Карпыча и приходит!

— Может, и через него, да не от него! Перво-наперво, он стар! От него, пожалуй, и не забеременела бы; а второе, человек он хотя и жёсткий, но пожалел бы своих детей. Он же такой чадолюбивый, у него есть два сына от жены, родились ещё прежде, чем он в нашу общину поступил, так он весь в них живёт.

— Так от кого же?..

— Да коли уж говорить откровенно, так, признаюсь, я думаю, что он подготавливает. Недаром богатство у него не по дням, а по ча-

сам растёт! Ведь здесь богачей много, не прочь в тайности пошалить, особливо когда девушка хорошая да чистая, и дорого заплатить готовы! Вот и думаю я: сговорится он с кем и подведёт. Тот не знает, что коли сын будет, так непременно жертва. А она, ты слышал, без упорства и хитрости, а с смирением, послушанием, с чистым сердцем и доброй волей должна отдаться; нары-то у стола, где Ермил Карпыч сидел, для того и приготовлены. Он только светильник потушит, отходит в сторону и там отдаётся той, на кого попадёт. А девушка хоть и знает, что коли у неё сын будет, так его возьмут, но не знает, что с ним сделают, да и молода ещё, не много о том думает! Зато потом целый век счастлива, покойна и в уважении живёт; община её содержит и богородицей зовёт!

— И всё обман, обман! Где же правды-то искать?

— Правда на небе, а тут все мы люди, все человецы и все жить хотим! Ермил Карпыч человек начётистый, умный и старую веру до тонкости произошёл! И знаешь, что я подозреваю, для кого сегодняшняя-то дивчина бы-

ла приготовлена?

— Нет, почему же мне знать?

— Да для вашего старого князя!

— Для кого?

— Для старого князя, для дядюшки-то, князя Андрея Дмитриевича.

— Что ты?

— Да, думаю, что для него! Перво-наперво, он такие игрушки любит и на то денег не жалеет; а второе, недаром Ермил Карпыч уж раз пять к нему ходил и всё с ним самим говорил; а князь не любит с нашей братией разговаривать; да и ещё кое-что я заприметила.

— И часто бывает у вас такое раденье?

— Да на каждый новый месяц, стало быть, тринадцать раз в год.

— И всегда новая девица?

— Ну нет, случается и старая, когда благодати не было! Ведь Ермил Карпыч это лучше самой девицы знает. Ну прощай, нам здесь расходиться! Ты домой, а я к себе! Смотри же, никому ни слова! Обещаешь?

Елпидифор поклялся, и они разошлись.

VII

Что съедено и выпито, то наше

Недели через три после посольского бала князь Андрей Васильевич сидел у себя, в так называемых орлеанских комнатах дома его дяди. Комнаты эти назывались орлеанскими, во-первых, потому, что в них помещался во весь рост портрет герцога Орлеанского, бывшего регента Франции; а во-вторых, потому, что убранство их было скопировано с отделки одного из загородных домов, прославившегося знаменитыми вакхическими ужинами, которые давал в них принц-регент и на которых не раз случалось быть приглашённым князю Андрею Дмитриевичу, так как обе его патентованные фаворитки, де Куаньи и де Шуазель, пользовались всегда особой благосклонностью принца. В этих комнатах, увешанных головками Грёза и рисунками Леонарда да Винчи, в своём пудреманте, накинутом вместо шлафрока, в шёлковых чулочках и туфлях, шитых золотом, князь Андрей Васи-

льевич выглядел уже совершенно французским франтом-маркизом или петиметром парижских салонов. Обращение шло довольно успешно. Несколько французских книг было разбросано на разных столиках и этажерках; некоторые из них были раскрыты, но Андрей Васильевич ничего не читал; он думал: «Что бы там дядя ни говорил, а он не прав, оставляя без внимания такой прекрасный задаток будущего, как Лизонька Бирон. Правда, она ещё очень молода, тринадцать лет, не больше, но она уже фрейлина государыни, и притом через два с половиной года ей будет шестнадцать, и она такая миленькая, такая симпатичная. Дяде, по его летам, разумеется, два года кажутся чуть не веком; но я молод. Для меня два и три года не бог знает что! Через три года мне будет двадцать три, стало быть, по летам я буду ей как раз пара. А она хорошенькая; смугловата немного, но это ничего, это к ней идёт; дядя говорит, что она нездорова. Бог даст, выздоровеет. Ведь это всё именно критический возраст. Глазёнки у неё прелесть, так и бегают; а губки, а маленький ротик — просто очарование. И государыня,

видимо, очень её любит; ну что, если в самом деле она её дочь? Да, тогда уж не камер-юнкером сделают!»

И честолюбивые мечты разом пронеслись в голове юноши, с их блеском, общим поклонением и роскошью жизни.

«Государыня не стара, — думал он, — ей далеко нет ещё пятидесяти. С её здоровьем, мужественной корпуленциею и крепким сложением она может процарствовать ещё двадцать лет, а в двадцать лет уж точно можно поднять свой род, и поднять на такую высоту, что... Положим, что хоть и не будешь владетельной особою... впрочем, почему же и не быть? Ведь стал же владетельным князем ижорским князь Меншиков; или Бирон, теперь ведь владетельный же герцог курляндский и семигальский! От императрицы зависит восстановить, пожалуй, самое княжество Зацепинское и отдать его мне на феодалных правах. Это тем более возможно, что с годами государыня не будет в таком послушании у Бирона, как теперь, и, зная, что он не жалуется её дочь, хотя и признает её своей, примет всякое возражение от него за видимое нежела-

ние сделать что-нибудь для её дочери! Эту мысль можно будет в ней развить, поддержать... Я надеюсь на себя, я сумел бы и к императрице стать поближе! А чего ближе — муж её дочери, родной зять! Наконец, и герцог будет мне номинальный тесть; из одного приличия уж он должен будет помогать мне, а не мешать!

Да, точно! Это дело ответственное, подходящее... И дядя, я уверен, если бы сообразил, если бы не пугали его эти два с половиной года, то первый бы стал советовать... Впрочем, может быть, он не хочет этого по другим причинам, например не желает сближения с Бироном, которого он ненавидит... Признаться, и точно, это отталкивающий и неприятный человек! Притом эти жестокости, казни, пытки. Наконец, и жадность-то его несообразная!.. Вон на балу наш новый офицер у него выиграл и, пожалуй, за этот выигрыш не избежит неприятностей! Ведь это подло, гадко! Офицер играл без обмана! Он мог последний свой грош проиграть. А герцог даже намёк какой-то подлый сделал... скверно! Не играй, коли не хочешь проиграть! Ведь

я же не играю, а помоложе его! А право — странно: отчего я не играю, когда играют все? Да я думаю, просто оттого, что не люблю рисковать! Люблю идти по рассчитанному пути. По-моему, лучше потерять согласно своей мысли, чем выиграть на ура! Помню раз, Леклер уговаривала меня: «Рискни, — говорит, — на моё счастье! Ну на сотню золотых рискни, тебе ничего не значит». — «Зачем, — говорю, — я лучше тебе подарю сто золотых, а ты и кидай их куда знаешь». И подарил ей сто золотых!.. А милая женщина эта Леклер. Она мне поможет терпеливо ожидать два с половиной года, пока подрастёт Лизочка Бирон, хотя дядя и прав, замечая, что входит же она мне в копейку!

Однако ж дядюшка мой — задача, право, задача. Что он делает? Чего добивается? Вот когда Волынского казнили, я ему и говорю: «Что ж, дядюшка, может быть, вас на его место министром?» — «Э, нет, мой друг! — отвечал он. — Я не пойду! Стар уж я за государственные дела приниматься, и арена скользкая, да и не то, — я хочу жить, а не работать!» Другой раз он развил свою мысль с практиче-

ской стороны. «Зачем? — говорил он. — Для влияния? Да у меня больше влияния теперь, когда я в стороне. Теперь для меня каждый кабинет-министр старается сделать всё, что может, даже больше, чем и сам бы я для себя сделал. Для наград? Да наградами меня никогда против кабинет-министров не обходят, даже будто дают какое-то предпочтение. Для того чтобы чаще с императрицей видеться, чаще иметь случай говорить с нею? Да мне и теперь дверь к ней всегда открыта. Без доклада всегда принимают и всегда провожают с благодарностью, как человека, который доставил удовольствие... А ведь кабинет-министр, какой бы он ни был, не всегда приносит сладкое, иногда и горькое; положим, за первое благодарят, а за второе — куда не рады! Ну так зачем же? Взятки брать, воровать — не умею; учиться поздно, да и не хочу! Князьям Зацепиным куда во что, а в воры идти не приходится». Так-то оно так, да что же он делает и за что награды получает?

А живёт он роскошно, нужно сказать правду: завтраки, ужины, обстановка дома, всё это такое — чуть ли не первое в Петербурге; но на

это ему не нужно много времени. Призовёт это он к себе своего Жозефа и скажет: дескать, завтрак или ужин завтра на шесть или на двадцать персон, — и как этот римский богач, Лукулл, что ли, всегда имена забываю, — прикажет: дескать, в маленькой столовой или в розовой, не то в большой, не то в павильоне, и уж тот понимает, что это значит и какой завтрак или ужин ему готовить. И действительно, угощает на зависть! Меня раза два три приглашал, и хоть у нас стол всякий день хорош, но тут просто, как говорят по-русски, пальчики оближешь! И всё редкостное, всё невиданное, — в феврале земляника, в мае виноград! Будто птицы на крыльях приносят. Рыба невиданная — из Средиземного моря или из Астрахани, не то вон из Сибири какую-то нельму привезли; фрукты из Испании; вина такие, что и сказать нельзя! Вон прошлый раз из Китая ему птичьих гнёзд прислали! Одним словом, чёрт знает чего не бывает! Он говорит: обед — дело важное; много дел можно сделать благодаря обеду; ведь только то, что съедено да выпито, то и наше... Тем не менее он сам всё знает, хотя и мало

входит; всё этот Жозеф.

Кстати, о Жозефе, смешной анекдот. Все говорят, что хоть дядя платит ему жалованье большое, больше полковника, но он ворует, где только можно. Дяде говорят об этом воровстве со всех сторон и чуть ли не каждый день. Он долго пропускал мимо ушей; по его правилу: сам живи и людям давай жить; но наконец и ему надоело. Он позвал Жозефа к себе и говорит: «Слушай, Жозеф, я тебе назначил жалованье, сколько ты просил, и, кажется, ни в чём тебя не обижал, а мне со всех сторон говорят, что ты воруеть страшно. Я-то бы и ничего; но знаешь, скучно чуть не каждый день слышать, что, дескать, Жозеф украл, Жозеф обманул. Так вот что: скажи, сколько ты воруеть всего в год, и уговоримся: я назначу тебе именно это жалованье, но с тем, чтобы уж ты дал мне честное слово не красть ни копейки». Жозеф расчувствовался, сказал, что милости его сиятельства беспримерны, что он такому господину-князю рад всей душой служить... Однако высказал довольно круглую цифру, какую он в год наживал от воровства, чуть ли не в десять раз против своего

жалованья. Дядя назначил ему эту сумму, но обязал уже ни копейки не красть и ни в чём ни обманывать, чтобы дело как есть шло на чистоту. И что же? Не прошло двух месяцев, как является к нему Жозеф и говорит: «Ваше сиятельство, вы были так добры, назначили мне большое жалованье с тем, чтобы я не обманул и не украл у вас ни копейки. Я честный человек, ваше сиятельство, крепился, сколько мог, но вижу, что никак нельзя; потому не хочу ваши деньги даром брать, прошу оставить меня на прежнем положении и жалованье прежнее, маленькое давать». Вот какой мой дядя. Меня он упрекает чуть не ежедневно, зачем я его в расходы не ввожу, завтраки и обеды редко делаю, гостей к себе мало зову. А на свои завтраки зовёт редко, разве какая высокая особа будет, с которою хочет меня познакомить. «Ты, — говорит, — живи сам по себе, а я сам собою, с тем чтобы друг другу не мешать. Я своё дело делаю, а ты своё делай». Да дело-то какое же?»

В это время официант подал ему на серебряном подносе записку.

— От его сиятельства князя Андрея Дмит-

риевича, — сказал официант.

С приходом племянника в доме был принят такой этикет: дяде подавать на золоте — сервизы, подносы, шандалы, кубки, чарки, ложки, вилки и ножи наверху всё было золотое, а внизу, у племянника, всё подавалось на серебре и всё было серебряное. Князь Андрей Дмитриевич сам озаботился всем этим распорядиться, всё устроить и всё приобрести. Андрей Васильевич взял записку и прочитал:

«Первое, мой друг, поздравляю тебя офицером гвардии, — писал дядя, — с переводом в Семёновский полк. Приказ будет завтра, а послезавтра ты, вероятно, получишь и патент. Тебе придётся завтра явиться к своему новому начальнику А. И. Ушакову; отвези ему, кстати, и моё приглашение на обед в воскресенье. Ты на балу у маркиза очень понравился, и этим нужно пользоваться. Ты теперь уже майор армии; ещё производство — и можешь получить полк. Вот и случай наживаться, если ты хочешь; но, думаю, что ты не захочешь. Лучше подождать чего-нибудь лучшего. Сегодня прошу тебя обедать со мною. У меня будут обедать: президент Коммерц-колле-

гии барон Менгден с женой баронессой и с кузиной Юлькой, знаешь, неразрывная приятельница принцессы. Мы к барону, помнишь, заезжали, но никого не застали дома. Сегодня, верно, он захочет и тебе сделать честь, оставив свою карточку. Всего лучше, если тебя тоже не будет. Ты познакомишься со всеми с ними за обедом. Это будет и проще, и естественнее. А в понедельник тебя просит обедать герцогиня, и просит одного. Смотри, не ударь лицом в грязь! У герцога чуть не каждый день обедает государыня, и, разумеется, ты приглашён не иначе как с её соизволения. Так как приказ о тебе выйдет только завтра, то тебе к обеду мундира не нужно. К Ушакову же ехать нужно непременно в мундире. Поэтому я послал к Шевалье и велел ему сейчас к тебе явиться, снять мерку и к послезавтраму приготовить; а всё, что к тому ещё нужно, как-то: шарф, плюмаж, шпага, кивер, знак и прочее — тебе сегодня же принесут.

Этим вместе с своим поздравлением кланяется тебе любящий тебя дядя. К. А. З.».

Эта записка заставила нашего юношу вспыхнуть от радости. Во-первых, ему давно

уже страшно хотелось офицерского шарфа; а во-вторых, через три-четыре дня он увидит свою Лизоньку и, может быть, будет обедать с самой государыней. И всё это не более как через семь месяцев по приезде. Нечего и говорить о каком-то полке, возьмёт ли он какой бы то ни было полк! Ему нужен Петербург, двор, нужны люди! Дядя прав, когда говорил, что лучше быть последним при дворе, чем первым в Зацепине.

В этих мыслях он приказал заложить карету и поехал в Петропавловский собор поблагодарить Бога; затем подумал он: «Заеду к Леклер, чтобы и дома не быть, и её обрадовать, а обедаю у дяди!»

Фёдор, в блестящей ливрее князей Зацепинских, одетый, как и все в доме, в напудренном парике, хотя, видимо, ещё с медвежьими зацепинскими привычками и ухватками, над которыми княжеская дворня обыкновенно потешалась, стал подавать ему одеваться.

У Леклер Андрей Васильевич встретил Лестока. Лесток начал свои приветствия с поздравления. Он уже знал о его производстве.

— Одно меня беспокоит, досадует и тревожит при каждом взгляде на вас, — сказал ему Лесток, — одно, чего я себе не прощу во всю мою жизнь и буду раскаиваться умирая...

— Чем это я могу вызывать раскаяние в вашем превосходительстве? — спросил его Андрей Васильевич.

— Тем, что я познакомился с вами месяцем позже, чем это было необходимо! И я простить себе этого не могу, узнав, что далеко более чем за месяц до нашего официального знакомства вы уже были в Петербурге и что даже мы встречались здесь, у прелестной мадам Леклер. Я помню даже, что я как-то спросил у ней вашу фамилию, но не обратил особого внимания, так как в ту минуту был занят большой игрой, а мне сказали, что вы не играете.

— Что же, ваше превосходительство, в этот месяц разве ушло что-нибудь?

— Всё ушло! Теперь мы заняты, и заняты самым неподходящим, заняты тем, что не представляет в действительности ни энергии, ни тонкости, то есть заняты тем, что, в сущности, ровно ничего и может даже кончиться

весьма плачевно. Вот вы, собственно, такой молодой человек, который был нам нужен. Чем более смотрю я на вас, чем более узнаю вас, тем более в том убеждаюсь. В вас есть характер, есть энергия; вы не побоялись бы за себя, чтобы достигнуть того, чего мы все добиваемся; притом в вас есть гибкость, ловкость, ум. Вы бы сумели ждать случая, выдерживать... Правда, зато после вы, может быть, всех бы нас, как говорят, по шапке; но по крайней мере вы сделали бы дело. А то теперь — при чём мы? Возмись с простотой, которая не понимает даже того, что выигрывает, а проигрывает; а простота — русская поговорка справедлива — бывает иногда хуже воровства!

— Ваше превосходительство приписываете мне такие достоинства...

— Да полноте вы с вашим превосходительством, ваше сиятельство! Я доктор, поэтому никаких титулов не признаю, хоть и буду очень рад быть произведённым в самые действительные и самые тайные не только советники, но даже сердечники. У доктора страсть иметь всё, а пользоваться только ра-

зумным и деловым. Вот со стороны разумности-то я и досажую на себя, что месяцем прежде не имел чести ближе вас узнать. Могу заверить, что уж теперь-то вас не забуду; при первом случае — вы моя надежда и убежище.

С этими словами, сказанными полушутливо-полусерьёзно, Лесток раскланялся.

У дяди уже все гости почти собрались. Обедали: президент Коммерц-коллегии тайный советник и камергер Карл Альбертович барон фон Менгден, его жена Христина Карловна, их кузина Юлия Густавовна — фрейлина принцессы Брауншвейгской, её сестра Анна Густавовна, графиня фон Миних с мужем, гофмейстером принцессы, графом Иваном Христофоровичем, сыном фельдмаршала; был ещё молодой человек, считающийся в свойстве и с Минихом, и с Менгденом, некто фон Сиверс. Он служил вахмистром в конном полку и тоже со дня на день ждал, что его произведут.

Князь Андрей Дмитриевич ждал фельдмаршала графа Христофора Антоновича Миниха, знаменитого победителя при Ставуча-

нах, но он ещё не приехал, когда вошёл Андрей Васильевич. Дядя представил его Менгденам, познакомил с фон Сиверсом. С Минихами он был знаком прежде. Молоденькая графиня Анна Густавовна очень приветливо протянула ему свою маленькую ручку и подвела к сестре. Её муж гофмейстер встретил его шутливым желанием.

— Дождаться бы скорее, чтобы поздравить вас фельдмаршалом, соперником моего отца! — сказал он, тоже пожимая руку молодому, вновь испечённому офицеру, и, видимо, сказал просто, без задних мыслей и от всей души. Другое дело были Менгдены.

Барон Карл Альбертович был немец от подошвы башмаков до верхушки парика, разделявший людей на две категории: на просто людей и на немцев, которые, разумеется, в этом смысле признавались людьми по преимуществу; а немцев разделявший также на две половины: на разных народов, как-то: пруссаков, вестфальцев, баварцев, австрияков, и немцев собственно, то есть лифляндцев, которым, разумеется, перед всеми немцами отдавалось предпочтение. Это была сухо-

цавая, белобрысая, надутая фигура, умевшая только с пренебрежением смотреть на окружающую его богатую обстановку, так как такой у него не было, и уважающая только одного человека в мире, которого эта фигура находила образцом ума, искусства, храбрости и всех добродетелей, — это Бурхарда, Христофа фон Миниха, графа и фельдмаршала глупой Российской империи, которую он возвышает, украшает и укрепляет.

Жена его, длинная, вытянутая, рыжеватая, чопорная немка, неспособная даже на то, чтобы квасить капусту, и вместе рассуждающая о том, что здесь, в этой глупой Russland, невозможно жить сколько-нибудь порядочной женщине, ибо всякая русская дрянь считает себя чуть ли не равной с ней, урождённой фон Вильдеман, и представьте себе невежество этих людей, что они о Вильдемане никогда не слыхали, тогда как и отец и дядя её были ландратами Нейгаузена, для взятия которого фельдмаршалу Шереметеву нужно было посылать целый взвод казаков.

Когда к этой парочке князь подвёл своего племянника, то, окинув его взглядом полного

пренебрежения, оба подумали: «Ну что — русский молодой ослят»; но когда тот прибавил: «И мой единственный наследник», то оба разом встали и поклонились. Менгден подумал: «Можно к себе на вечер звать: с Бироном в карты сажать можно, а при случае и самому занять; процентов, верно, брат не станет!» А жена его подумала: «Вот бы хорошая партия для нашей Шарлотты, хорошо бы устроить! А то бедная сестра не знает, что и делать!» Шарлотта, извольте видеть, была её племянница, внучка того самого великого ландрата Нейгаузена, от которого произошла и сама баронесса Христина Карловна, дочь той сестры, которая вместо того, чтобы выйти замуж за барона Менгдена или другого такого же, который был бы теперь в глупой русской империи Коммерц-коллегии президентом, вышла за шведского офицера Энгофа, который умер, оставив жену с двумя дочерьми без всяких средств. Шарлотта эта, теперь девица лет двадцати девяти, весьма похожая с фигуры на тётку, только золотушная и с покрытым веснушками лицом, жила у тётушки в надежде, не найдётся ли какой-нибудь русский дурак

из богатеньких, который соблазнился славой быть племянником Менгдена и внуком Вильдемана.

Поэтому когда князь Андрей Дмитриевич прибавил о своём племяннике, что ему, впрочем, о наследстве от него много думать нечего, так как его отец, а его сиятельный брат, князь Василий Дмитриевич, живущий в своём княжеском замке, будучи старшим и главным представителем славного рода князей Зацепиных, в десять раз богаче его, то муж и жена совершенно растаяли от удовольствия, рассчитывая, сколько же он должен будет получать со временем дохода. «Состояние князя Андрея Дмитриевича они знают. Он получает в год тысяч двести, если не больше. А если тот в десять раз...» И баронесса не выдержала и спросила: «А у вашего фатерхен вы один сын?» — и потупилась невольно перед насмешливым ответом князя Андрея Дмитриевича, который, понимая, что она уже подсчитывает доходы, с улыбкой прибавил:

— Нет, у него есть ещё два брата, но те должны довольствоваться громадным состоянием их матери, урождённой княжны Кубен-

ской. Состояние же моё и его отца должно всё перейти к нему полностью, как старшему после нас представителю нашего рода.

Этим представлением князя Андрея Васильевича знаменитой чете окончилось. Баронесса просила его бывать у них по четвергам; а барон сказал, что как только его сделают камер-юнкером, он запишет его в свою Коммерц-коллегию советником, так как хотя мундир Преображенского и Семёновского полка и не представляет никакого ручательства в его знаниях и полезных советах по коммерции, но владелец таких обширных поместий не может не желать коммерции всякого успеха, и потому он полагает, что вправе для народной пользы и выгод казны... Очередь дошла до Юлианы Менгден. Для того чтобы обратить на своего племянника особое внимание этой молодой девицы, князь Андрей Дмитриевич, рекомендуя его Менгденам, прибавил к могущему быть будущему богатству Андрея Васильевича цифру такого размера, что она даже не могла уместиться в их немецкой голове.

Юлиана Густавовна Менгден, немочка среднего роста, с жиденькими каштановыми

волосами, недурной фигурой, кругловатым лицом и маленькими карими глазками, отличалась полным отсутствием всякого выражения. Нос у неё был приплюснутый, рот будто с замершей полуулыбкой. Ей было не более двадцати лет, но по смугловатости и какой-то одеревенелости своей она казалась далеко старше своей старшей сестры графини Миних. Она не говорила ни о чём, кроме как о своей принцессе, употребляя при этом постоянно местоимение «мы», будто бы действительно принцесса составляла часть её самой.

— Мы нынче кушали чай в восемь часов утра, — говорила Юлиана. — Принц Антон стучался, но мы его не пустили. Потом мы поехали новое платье покупать; на той неделе, говорят, карусель устроить хотят, мы будем в новом платье из белого городе-муслин, с золотым шитьём и красным бархатным спензером. Не правда ли, будет очень мило? Жаль только, что мы не умеем верхом ездить и боимся лошадей.

— Как, сестра? — спросил Миних. — Да ведь ты порядочно ездила? Помнишь, в Риге, когда моя Анюточка ещё невестой была?

— Я не о себе, а о принцессе говорю! Нам тоже проехать нужно будет, государыня это любит; и птиц стрелять придётся, а мы страх как боимся!

К этой-то тупоумной полуидиотке князь Андрей Дмитриевич и подвёл своего племянника, рекомендуя его.

Юлиана не поняла размера цифры, которую бросил Андрей Дмитриевич вскользь Менгденам для оценки значения своего племянника, но она слышала, что он его наследник, стало быть, и дом, и всё это его будет, стало быть, он будет очень богат. «Одной золотой посуды у нас далеко столько нет, хотя мы и принцы», — и она взглянула невольно на молодого человека.

— Ах боже мой! — вдруг вскрикнула она. — Ну совершенный граф! Боже мой, ну точно граф! Только тот постарше будет! Не была ли когда-нибудь ваша матушка в Саксонии?

Князь Андрей Дмитриевич улыбнулся, понимая, что лучшей похвалы наружности его племянника она не могла даже выдумать, и спешил только заверить, что матушка его в

Саксонии не была, а граф Линар — отец тоже мимо Зацепина не проезжал. Но Андрею Васильевичу, как истинному петиметру, желающему не терять своей характерности, восклицание это очень не понравилось.

— Если я так напоминаю знакомого вам графа, — сказал он, — то не будете ли вы столь добры, баронесса, сказать мне, чем я могу так же, как и он, удержаться в вашем воспоминании.

— Ах боже мой, этот граф Линар красавчик, душа! Мы его очень любили! Мы желали бы с ним целый век время проводить, как тётушка проводит своё время с герцогом! Вот он придёт, бывало, тайком, будто к Адеркас, мы и садимся играть! Он нам рассказывает и ручки целует, и время так приятно идёт, что мы и не видим. Думали, когда будем царствовать, так его обер-камергером своим сделаем. Чего бы, кажется, лучше? Так нет, — герцогу завидно стало. Он и выжил! Делать нечего, приходится почтой довольствоваться. Но всё равно! Я выйду за него замуж, тогда он хоть и не посланник будет, а всё может сюда приехать и к нам приходить! Но вот постойте:

приходите к нам в понедельник или вторник вечером, я вас проведу к принцессе и скажу, что приехал граф.

— Однако наш аккуратный герой сегодня опоздал, — сказал князь Андрей Дмитриевич, поглядывая на часы. — Уже пять минут шестого, а назначено было съехаться в пять. Хотя правило хорошего обеда заставляет никого не ждать более пяти минут, но из уважения к герою-победителю мы отложим свой обед ещё на пять минут, с опасением, что пирожки пережарятся и перепела засохнут.

Но князю Андрею Дмитриевичу не пришлось опасаться за своих перепелов. Через минуту официант доложил:

— Его сиятельство граф-фельдмаршал.

— Прошу великодушного прощения, что заставил себя ждать; понимаю всю силу вины своей против такого великого гастронома, каким считаю нашего почтенного, многоуважаемого хозяина; кладу голову на плаху, в надежде, что повинную голову меч не сечёт! Виноват; знаю, что виноват! Но что ж делать? В коллегии задержали, а тут старику принарядиться захотелось, — сказал Миних, входя и

пожимая обе руки князю Андрею Дмитриевичу. — Ведь я знал, что я у вас встречу и прелестную баронессу Христину, в которую я был влюблён, когда она ещё была только мадемуазель Вильдеман, и непременно бы отбил её у барона и женился сам, если бы не было до того, к несчастью, уже женат; знал, что встречу здесь и нашу общую очаровательницу мадемуазель Жюли, для которой сейчас же бросил бы мою фельдмаршалшу. — И Миних перещеловал руки у обеих дам, поцеловал в лоб жену своего сына, похвалив цвет её лица, протянул руку сыну и Сиверсу. Князь Андрей Дмитриевич представил ему племянника.

— А, юный любимец Марса, мой будущий соперник, — сказал Миних. — Я сейчас только подписал ваш патент. Поздравляю. Жалею только, что вы нас, преображенцев, оставляете! Ну всё равно, вы поступаете в хорошую школу. Андрей Иванович и граф Апраксин, ваши подполковник и премьер-майор, это такие люди, что им даже Миних дорогу даёт; отличные, почтенные люди!

В эту минуту толстый метрдотель вошёл в гостиную, как бы окинул своим взглядом го-

стей, остановив глаза на князе Андрее Дмитриевиче, потом как-то особо моргнул бровью, отставил правую ногу назад и поклонился в полпояса, важно проговорив: «Кушанье подано». Двери в розовую столовую отворились. Метрдотель стал около дверей.

Андрей Дмитриевич подал руку графине Миних, прося фельдмаршала вести баронессу, а барона — Юлиану. Гофмейстер, Андрей Васильевич и фон Сиверс были без дам и вошли позади всех. Но Андрей Дмитриевич распорядился местами за столом так, что подле Юлии Менгден досталось сидеть его племяннику.

Обед был вполне гастрономический, по карте Вателя, знаменитого повара Людовика XIV; обедало девять человек; вина были подобраны к каждому блюду, и подобраны так, что можно было только благодарить. Фельдмаршал повеселел, стал подшучивать и рассказывать анекдоты. Его сын, гофмейстер, больше молчал, зато много шутила и смеялась с тестем его супруга. Баронесса смотрела на всё будто проглотила аршин и всё рассчитывала, много ли же дохода будет иметь молодой Зацепин. Её муж, президент, старался

как можно больше есть и пить, что и выполнял со всей своей немецкой грубостью, не стесняясь иногда спрашивать у хозяина: «Что это подают?» Раз даже он не поцеремонился спросить: «Как это готовят?» — на что, разумеется, получил ответ князя: «Не знаю». Фон Сиверс молчал, думая: «Честь-то какая, обедаю с самим фельдмаршалом!» — или начал проверять себя, вроде вопроса: «Неужели точно всё это золото? И ложки, и блюда, и соусники, и крышки, и солонки? Не может быть! Тут было бы пуда четыре или больше!» Или «А что, неужели в самом деле соус-то из настоящей черепахи сделан или это только так, для вида говорится?» А наш юноша, князь Андрей Васильевич, настолько заинтересовал Юлиану, что она иначе и не называла его, как граф, и смеялась до упаду, пробуя вина, которые он ей подливал. После обеда она шепнула ему на ухо: «Приходите непременно; я вас к принцессе проведу, а принца Антона мы выгоним!»

Пока все пили кофе и ликёр, барон убежал к monsieur Жозефу расспрашивать, как готовится какой-то особенно понравившийся

ему соус. Баронесса повторила князю Андрею Васильевичу своё приглашение и спрятала поданный ей ананас в свой ридикюль. Молодые Минихи просили его чаще их навещать. Старик фельдмаршал обещал покровительство, а Юлиана знаменательно пожала руку. Обед имел успех полный, и князь Андрей Дмитриевич, видимо, был этим доволен.

— Ну вот тебе, друг, дороги открыты на всех путях. Ищи теперь случая. От тебя зависит! Видишь сам, что обед — дело, и дело нешуточное! Не всякий это сознает, да дело ведь и не в сознании, а в самом деле; только то, что нами съедено да выпито, то действительно наше!

Племянник и дядя успели ещё обменяться мыслями о будущих предположениях. Потом племянник распрощался и ушёл к себе, а дядя отдал приказание никого, кроме графа Андрея Ивановича, не принимать.

И точно, не прошло и часу, как князю Андрею Дмитриевичу доложили:

— Его сиятельство граф Андрей Иванович Остерман!

— Просить в кабинет! — сказал князь Ан-

дрей Дмитриевич и отправился к нему на встречу.

VIII

Старики шалуны

— **Н**асилу вырвался под покровительство
вашего сиятельства! — начал Остерман, оправляя на себе свой неряшливо наде-
тый, коричневый шёлковый, без всяких пет-
лиц и вышивок, французский кафтан и широ-
кий, с высоким тупеем, и густо напудренный
парик. — Эти господа думают, что канцлер —
это вьючная скотина, которой не должно и
отдыха давать! С самого утра, я с шести часов
за работу принимаюсь да вот до сих пор! Ни
пообедать порядочно не дадут, ни отдохнуть.
Просил себе только полчаса, — думаю перед
нашими подвигами нужно; так нет! Чёрт
принёс французского посла, этого проклятого
маркиза, узнать, дескать, о здоровье вашего
сиятельства, так как вы не удостоили своим
присутствием моего празднования тезоимен-
нитства нашего великого короля, то я, де-

скасть, счёл обязанным просить, не изволите ли, по крайней мере, удостоить посещением предстоящего празднования двадцатипятилетия его благополучного царствования. Я, разумеется, захохотал, застонал, жалуюсь на ноги, и сказал, что он сам видит моё здоровье; что как ни желал бы я принимать участие во всех празднествах, но постоянно должен отказываться от приглашений даже своей всемилоостивейшей государыни; что до сих пор никуда не выхожу, а в день праздника тезоименитства и я, и мои думали, что я умру, но и тут из уважения к его великому королю я отправил графиню, а сам, если буду сколько-нибудь в силах, непременно за долг поставлю принести в день праздника своё почтительнейшее поздравление, но обещать вперёд не могу. Едва выпроводил — и прямо к вам.

— Ваше сиятельство изволите всегда на работу жаловаться, а согласитесь, что ведь без работы не захотели бы жить! Не любят работы только такие лентяи-фланёры, как, например, я, который вот числится по флоту в звании вице-адмирала, а с тех пор как вернулся в Россию, ни разу даже на корабле не бывал.

— А всё отдохнуть нужно иногда, вздохнуть; а и вздохнуть не хотят дать! Лесток будет?

— Он прислал записку, что проедет прямо в нортплезир, но что его потребовала цесаревна, поэтому он должен прежде заехать к ней.

— Кто же ещё будет? Эх, старика Гаврилы Ивановича нет, а то он всегда первый.

— Да, любил покойный поразвратничать, не хуже нас, грешных.

— Нас-то далеко перещеголял! Ваше сиятельство были в то время в Париже и его не знали, а я вам могу доложить, что и в голову нам с вами не придёт, что они тут выкидывали! Вот сынок, тот не в батюшку! Такой филистер, что упаси Господи! Мы в Киле и в Гёттингене всегда таких скромничков да благонаправных филистерами называли.

— Н-да! — отвечал князь Андрей Дмитриевич. — Зато в другом смысле... Впрочем, вольному воля! А сегодня будет у нас Степан Фёдорович Лопухин да ещё новенький, Александр Борисович Бутурлин, а может быть, и Куракин.

— Вот как! Компания хоть куда: канцлер и граф, вице-адмирал-сенатор и князь; обер-церемониймейстер, обер-гофмедик и камергер; да другой камергер и полковник, залучили ещё генерал-поручика, а может, ещё и обер-штаблмейстера, настоящие бурши и со звёздочкой... — смеясь, сказал Остерман. — А что, ведь, право, нас бы всех посечь следовало, как рассудить! Ха-ха-ха! Вот шалуны-то!

Остерман весело смеялся.

— Уж и посечь, за что же? Кому мы мешаем, у кого что отнимаем?

— Напротив, поощряем и помогаем. Так? А всё не мешало бы посечь таких солидных и высокопоставленных людей за апробацию такого рода шалостей! Уж что таить, надо согласиться, я это сам себе всякий раз говорю, как еду...

— Ни-ни! Не соглашаюсь ни в каком случае! Солидным людям ещё более развлекаться нужно! Положим, я лентяй, ничего особого не делаю; а вот хоть бы вашему сиятельству, при ваших государственных трудах, да хоть на несколько минут не забыться, — по-моему, лучше не жить! Мне, как вдовому, не приняв-

шему никаких обетов, уж ради нервного успокоения необходимо! Правда, товарищи у меня все люди женатые, но это их дело. Положим, готов согласиться, что вашему сиятельству и другим нашим женатым не худо бы от своих жён экзекуцию вынести! — смеясь, проговорил Зацепин. — Оно же, говорят, и жизни придаёт!

— От моей Марфы Ивановны я давно разрешение получил. Она говорит: «Дури сколько хочешь, только здоровье своё побереги и меня не забывай».

— Немного таких прекрасных женщин и добрых жён, как графиня Марфа Ивановна. Впрочем, и Лестоку от его подруги дана свобода на всё! Говорит: знаю, что мой дружок беспутный, да что ж делать-то? Ничего не поделаешь! Лопухин, тот сам жену освободил; разумеется, и ей с него нечего требовать! Бутурлину тоже с горя, — кое-откуда прогнали, а женился, так жена умерла, поневоле брошишься в омут, то есть к нам! Да и то сказать, — муж да жена, говорят, одна сатана, где уж тут их разбирать. Ну что же, ваше сиятельство, прикажете ехать, — ведь время!

— Я свою карету домой отпускаю? — сказал Остерман.

— Разумеется, ваше сиятельство! Вам, человеку официальному, нельзя афишировать себя, разъезжая по загородным местам! Мы — другое дело! Будьте покойны, мы вас, как всегда, доставим так, что даже тень ваша не будет знать, где вы были, а Лопухин заедет за Бутурлиным.

И они скоро уселись в карету Андрея Дмитриевича и двинулись на Аптекарский остров, где князь Андрей Дмитриевич устроил себе приют, как он называл — «наше удовольствие», в подражание загородным приютам принца-регента Орлеанского и там с некоторыми любителями распущенной чувственности, повторял на старости лет то, чем увлекался так страстно в молодости.

В этом домике круглая комната без окон, обставленная зеркалами и широкими диванами, драпированная цветами и ярко освещенная, была ареною их эротических подвигов. Посредине комнаты стоял круглый стол, уставленный яствами и лакомствами и также убранный цветами. В этой комнате их уже

ожидали шесть или семь богинь под предводительством Леклер, одетой в костюм Авроры.

Остерман в этой кутящей, разгульной компании, естественно, был первым лицом. Он всегда увенчивал себя венком из плюща, принимая на себя роль Вакха. Это весьма смешило всю собиравшуюся компанию, так как его широкая, толстая фигура, с подагристыми ногами и красным лицом, очень напоминала собой бога пьянства, хотя пил он вообще очень мало, а иногда даже и вовсе не пил. Князь Андрей Дмитриевич изображал Аполлона; Лопухин — бога Пана, услаждавшего себя виноградным соком и за себя, и за Вакха; Лесток любил разыгрывать роль Сатира. Для Бутурлина была предложена роль Марса. Богини могли одеваться как которой угодно, с тем только условием, что на свой костюм они могли употребить не более двух аршин газа и гирлянды цветов. Над потолком играл хор и музыки в пустой комнате, не зная ни для кого, ни для чего он играет; из комнаты несколько дверей вели в отдельные кабинеты, устроенные в виде палаток, нишей, ма-

леньких будуаров и разного рода убежищ. Кругом дома было темно; всё было закрыто и замаскировано, так что и в голову никому не могло прийти, что тут, в этом небольшом уединённом домике, где-то близ Карповки, идёт полный разгул русских вельмож, под председательством самого канцлера, того больного, слабого старика, который всё охает и по болезни в кабинет не может ездить и которого даже к государыне иногда носят в креслах.

— Ну что ж? Старички шалят! — говорила Леклер. — Почему же им и не пошалить, когда есть деньги; а нам угодить им нужно, чтобы им весело было!

И богини тянулись изо всех сил, чтобы угодить.

Лопухин с Бутурлиным и Куракин приехали почти одновременно, а Лестока ещё не было. Он поехал к цесаревне Елизавете.

Цесаревна в слезах ждала его с лихорадочным нетерпением. Увидев, что он подъехал, она не выдержала и побежала к нему навстречу.

— Они его взяли у меня, они его отняли! —

лихорадочно сказала она, заливаясь слезами. — Доктор, вы правы! Я была глупа, что не воспользовалась! Но разве я могла знать, могла думать? И чего они хотят от меня?

Лесток не отвечал. Он только поднёс её руку к своим губам и увёл в кабинет, указывая знаками на необходимость осторожности.

— Что случилось? Скажите! Кто у вас что отнял? Цесаревна, да полноте же!

— Его, его, отняли! Убили его, моего Алексея, моего друга! Может быть, теперь ломают его, пытаются, жгут, мучат за меня, за меня!..

— Успокойтесь, цесаревна, что такое случилось, расскажите! Боже мой, разве можно так плакать?

— Они украли его, увезли... Поймите, доктор, я ничего не хотела, ничего не просила у них. Я всё уступала им. Они могли рассчитывать, что я женщина, которая сама очень рада избавиться себя от всяких хлопот и с удовольствием предоставляет им право думать даже о ней самой. Во мне нет честолюбия.

Я хотела только спокойствия. Вы знаете — я весёлого характера; может быть, немножко легкомысленна. Я осталась после матери так

молода. Удивительно ли, что мне хотелось иногда повеселиться, хотелось даже иногда помотать. Ведь для молодой девушки в шестнадцать-семнадцать лет это так естественно. А я нуждалась, стеснялась даже в необходимом! Бывало, нужно ехать к племяннику на куртаг или на выход, и я накануне должна была перенизывать свой жемчуг, чтобы было незаметно, что надеваю тот же, который был на мне дня два назад; другого у меня не было. Но я ограничивала себя, стеснялась, уступала место всем: и Меншиковой, и Долгорукой, и Левенвольду, и Бирону... одним словом, всем, кому они хотели, чтобы я уступала! Я не обращала внимания ни на их выходы, ни на клевету, переносила даже оскорбления... Я требовала себе только одного: чтобы меня оставили в покое... Первый раз я приблизила к себе человека; первый раз попросила не за себя, а за него, и что же? Правда, они исполнили мою просьбу, с тем чтобы через несколько недель убить, задушить единственного человека, который мне дорог... Ведь я человек, доктор, поймите это! Я женщина! Не могу же я заглушить в себе всякое чувство, всякое со-

знание, не могу же быть, наконец, вне желаний, естественных во всякой женщине!

— Так, так, прекрасная цесаревна! Но что же делать? Они боятся.

— Чего? Кого? Меня и гвардейского прапорщика! Ведь это даже и не смешно. Я могла бы и должна их бояться, потому что действительно могу всего от них ожидать... Меня упрекают, зачем я так доступна гвардии, зачем так фамильярно отношусь к каждому солдату, который вздумает ко мне обратиться; но упрёк этот совершенно неоснователен. В любви гвардии, в сохраняемой ею памяти моему великому отцу моё спасение! Я сама не знаю как, — при своей молодости, когда скончалась матушка, — надо полагать инстинктивно, но в первый же день, как я осталась сиротой, я почувствовала, что пока меня любит гвардия, они не посмеют со мной ничего сделать, не посмеют даже отравить! Тогда это было инстинктивное движение самосохранения, теперь же это сознательное чувство необходимости опоры. Я знаю, что, пока гвардия меня любит, они могут мучить меня мелкими уколами, но предпринять собственно

против меня ничего не смеют... Другое дело в рассуждении человека, который — гвардия не знает этого — для меня всё! На нём они могут выместить всю злобу свою, всю свою ненависть ко мне! И мне некому даже сказать, некому довериться... Один вы, доктор, один вы, который отказался меня продать им! Правда, мои камер-юнкеры, моя Мавруша... я в них уверена; но они так ещё молоды и так, не в обиду им будь сказано, так незначительны, обставлены так слабо и мизерно, что для дочери Петра Великого опираться на них — вещь невозможная, немыслимая! Мой гофмейстер тоже человек честный, но он слишком придворный человек. Он старается не понимать всей неловкости моего положения. Один вы можете пожелать помочь мне, тем более что вы знаете, что я решилась на известный вам поступок отчасти по вашему же настоянию! Помогите мне, доктор, умоляю вас, — спасите от отчаяния, вырвите его из их рук.

— Но что же с ним сделалось? Куда его девали?

— Ничего не знаю. Сегодня утром я ждала

его, но его не было; послала узнать — говорят, вчера вечером явился к нему ординарец с командой и увёл в Тайную канцелярию, а там этот страшный Ушаков. Я вас умоляю, доктор, съездите к Андрею Ивановичу от моего имени, скажите ему, что я прошу его... век ему благодарна буду... скажите, что тут нет ничего политического, что тут только слабость женщины, даже и того нет, а просто увлечение девушки, дожившей до двадцати девяти лет. За что же тут ломать, мучить? Пусть отпустят его. Наконец, съездите к герцогу, скажите, что я сама готова ему во всём повиноваться, но пусть мне отдадут его, пусть только не мучат его за меня. Вы скажите, что у самой императрицы была сестра Парасковья Ивановна, которая была обвенчана тайно с своим же подданным, почему же я не могу? Скажите, что я на всё готова... что я прошу, умоляю! О, боже мой, и это унижение должна переносить дочь Петра Великого!

— О ком же просить и о чём просить? Ведь всё это было так скоро, что, признаюсь, цесаревна, я ещё не успел даже ознакомиться с действительным положением дела, хотя и

сам привёз тогда патент.

— Только о его свободе! Только о том, чтобы его не трогали и предоставили нас самим себе. Вот записка о нём, она написана моею рукою. По ней они могут видеть, что вы просите не от себя и не за себя. Неужели они хотят, чтобы я сама бросилась перед императрицей и открыто, перед целым светом, заявила, что он мне дороже самой себя.

И она заплакала опять, заплакала истерически.

На записке было написано:

«О помиловании и отпущении на свободу прапорщика Преображенского полка Алексея Никифоровича Шубина слёзно умоляю».

С этою запискою Лесток поехал к Ушакову.

Андрей Иванович принял его приветливо, но, выслушав его просьбу, поморщился.

— Ну, просьба великой княжны опоздала. Нечего и говорить, мы сегодня его порядочно-таки поломали. Одно, что могу обещать, — это что, исполняя желание дочери моего благодетеля, больше его ломать не буду; освободить же его зависит не от меня. Это уже прямо дело герцога, на это нужно высочайшее

повеление. Могу сказать, что он ничем великую княжну не оговорил, ничем не смутил и ровно ничего не высказал; сказал только, что он предан ей беспредельно.

— Теперь, простите, генерал, что беспокою вас вопросом, — сказал Лесток, — что же я должен делать? Как доктор, я должен сказать, что такое полное изолирование великой княжны не может не отозваться весьма неблагоприятно на её здоровье, что, наконец, неестественно, чтобы женщина в эти годы, с её темпераментом оставалась... Вы понимаете меня, ваше высокопревосходительство, и не мне раскрывать перед вами последствия, какие могут происходить от неправильности и неестественности жизни.

Ушаков задумался, потом проговорил тихо, сдержанно, обдумывая каждое слово:

— Дорогой мой доктор, вы знаете, в политике нет чувства, нет благодарности. Люди политики не хотят знать, как отзывается то или другое их желание на человеке, который попал в их затянутую наглухо политическую сеть, и думают только о том, как бы эта сеть не расползлась, как бы не открылся выход.

Что ж делать, что цесаревна, несмотря на всю свою осторожность, несмотря на всю свою сдержанность, до сих пор возбуждает в них опасение. Они хорошо знают, что она не захочет рисковать собою, да и не в её характере добиваться верховенства, что, наконец, у них под руками есть всегда средства её удовлетворить; но знают также, что если не она, то другие легко могут воспользоваться её положением; тем более что есть прямой мужской потомок... Ещё сегодня только императрица выразилась: «Чёртушко-то жив ещё!..» Этот потомок, этот чёртушко, понятно, им как бельмо на глазу. Теперь вы сами знаете, как цесаревну любит гвардия и особенно Преображенский полк. Если бы она сблизилась с кем-нибудь из посторонних, из чужих... А то она выбрала преображенца. Не наводит ли это на мысль, что, может быть, этот избранный будет проводником, будет руководителем и выразителем тех желаний, которые давно если не высказываются, то подразумеваются и не опасаться которых, разумеется, им нельзя. Я это говорю потому, что так думаю. Будучи вне политики и представляя собою только молот,

только грозу политическим страстям, я делаю своё дело именно как молот, давлю то, что мне бросают, не думая о том, зачем и какие будут из того последствия, как не думает о том молот. Я закалил себя на этой работе, отрицаясь от самого себя. Я не вижу в том, кого мне бросают, человека; я вижу только политическую жертву; а политическая жертва для меня безразлична, кто он, отчего и за что. Мне пришлось одинаково слушать стенания Долгорукого, брань Волынского, безыскусственное показание Шубина, и я слушал их так же, как ещё в молодости, состоя подручником Фёдора Юрьевича Ромодановского, я смотрел на изуверское молчание стрельцов. Те и другие попали в политическую сеть, попали под молот; а молот бьёт, а не рассуждает. Поэтому мой совет: поезжайте к герцогу, попробуйте убедить, хотя, признаюсь, я в этом сильно сомневаюсь. Того, кто запутался, не освобождают. А всего лучше убедить великую княжну, — к которой преданность моя безмерна, — побороть своё чувство, забыть отсутствующего и выбрать в свои приближённые человека, которого бы они менее опа-

сались. Вот всё, что я могу посоветовать. Скажите это цесаревне и передайте ей, что я, с своей стороны, употреблю все меры, чтобы облегчить его положение.

После этих слов Ушакова Лестоку не оставалось ничего более, как ехать к Бирону. Но Бирон не был так мягок и приветлив, как Ушаков.

Он принял его не в кабинете, а в одной из проходных комнат своей внутренней половины. За дверью был слышен разговор нескольких дам, и Лестоку показалось, будто между ними он слышит густой и резкий голос государыни. Бирон даже не предложил ему сесть, хотя сам как вошёл, так и сел на одно из кресел, стоявших у стола. Он не дал высказать Лестоку ни слова, а начал с горячих упрёков, как приближённому двора цесаревны. Он говорил по-немецки, говорил скоро, так что Лестоку приходилось только слушать и молчать, будто не он прибыл к Бирону со своим делом, а Бирон его вытребовал.

— Это глупо, это нелепо! — говорил Бирон. — Великой княжне, цесаревне такой великой империи, дочери столь славного отца

сойтись, сблизиться с каким-то преображением, с каким-то сержантом! Что такое Шубин? Слышал ли кто о Шубине?

Лесток подумал: «А о тебе-то кто когда слышал, приятель?»

— Это всё затеи её двора, всё выдумки ваши, нарышкинские, воронцовские и всей этой челяди, которая успела задушить царевну Софию и запереть в монастырь царицу Авдотью. Я вырву с корнем эти затеи, уничтожу их в зародыше. Скажите цесаревне, что императрица весьма огорчена её поведением, — поведением, неприличным для её сана, её звания, её титула; что она не может перенести, чтобы её двоюродная сестра до того себя унизила, что снизошла до какого-то преображенного солдата...

— Он родовой дворянин, — успел вставить своё слово Лесток.

— Дворянин! Дворянин! Ха, ха, ха! Разве есть русские дворяне? Это быдло, рогатый скот, который надо душить, когда он не нужен. Это, это... Впрочем, что мне вам о том говорить. Передайте великой княжне мои слова и скажите, что если до государыни дойдёт,

что это не только увлечение, но и интрига, то пусть не жалуется, пусть пеняет на себя. Вот всё, что я могу вам сказать. Прощайте, да советую держать себя поосторожнее, я уже давно вглядываюсь в вас.

Разумеется, Лесток должен был ехать к цесаревне передать о неуспехе своего ходатайства, уговаривать и успокаивать её нервное расстройство. Она долго плакала, плакала нервно, истерически, наконец, под влиянием данного ей морфия, заснула. Поэтому Лесток мог приехать в компанию кутящих государственных людей только в полночь. Там он успел передать о том, что с ним было, князю Андрею Дмитриевичу и прибавить от себя:

— Бог всё делает к лучшему. Разумеется, время успокоит цесаревну, и она будет свободна. Вот случай вашему племяннику; по моему, это далеко целесообразнее, чем Шубин, который, несмотря на явную опасность своего положения, успел ещё рассердить Бирона своим выигрышем с него, и, разумеется, далеко соответственнее, чем Александр Шувалов, находящийся в такой зависимости от своего брата Петра Ивановича, что, надо по-

лагать, самое увлечение его есть дело братца; а ума этого братца, признаюсь, я очень и очень начинаю бояться.

Этот разговор происходил в то время, как Остерман, под руководством Леклер, с какою-то молоденькой нимфой разыгрывали сцену похищения Европы и когда бог Пан предлагал Марсу разыграть между собой в лотерею тех двух харит, которые свели с ума Нарцисса.

— Так, неоцененный дядюшка, — заключил свой разговор через несколько дней племянник, приглашённый к нему утром пить кофе, — у меня, выходит, оба случая на ладони: у принцессы я сегодня вечером, а у цесаревны — через неделю. А притом сегодня, в дополнение всему, обедаю у герцога, где, может быть, встречу и нашу всемилостивейшую государыню.

— Да, только тут надо уметь воспользоваться, уметь выбрать и, главное, не увлечься самомнением и не поддаваться на то, что нравится самому.

Этим разговор их и закончился, потому что племянник только подумал, а не сказал:

«Да я уж выбрал; это — Лизонька Бирон».

IX

Капитал

Некоторое время спустя, после того как прошли все дни, в которые обыкновенно рассыпались милости императрицы, князь Андрей Васильевич совершенно неожиданно был обрадован сообщением о пожаловании ему звания камер-юнкера и о производстве в поручики; теперь, пожалуй, и полк дали бы, ведь он полковник армии. Но он не возьмёт никакого полка. Да и к чему ему? В настоящее время он здесь может ожидать всего. Он обедал у герцога вместе с государыней. О герцоге и герцогине нечего и говорить, но и государыня отнеслась к нему весьма милостиво: много говорила с ним, интересовалась происхождением князей Зацепиных, их настоящим положением и состоянием, высказала своё расположение к его дяде, которого называла развлечением в минуты грусти, говорила о нём самом. После обеда, говоря с ним, она два раза

подзывала свою Лизоньку, говоря, что она крестница и любимица; говорила, что об её приданом она не даст заботиться герцогу, а позаботится сама; сказала даже, что она очень ещё молода, но что в России в обычае выдавать весьма молодых замуж и что её лично дядя выдал также, когда ей не было ещё пятнадцати лет от роду. Одним словом, видно было, что государыня несколько не прочь от партии, которую Андрей Васильевич находил для себя и лестною, и соответственною. Лизонька Бирон ему нравилась. После обеда, когда уселись играть в карты, он нашёл время поболтать с нею.

«И какой задушевный она ребёнок, — думал он, — как мило поднимала она на меня свои каренькие глазки и расспрашивала о княжестве Зацепинском, об Андрее Боголюбском и о всём, что из моего рассказа её интересовывало. А государыня здорова, она процарствует много лет, и я после Бирона буду первым человеком. А может быть, Бирон в конце концов потеряет своё влияние, тогда, разумеется, я не дам вертеть делами какому-нибудь Остерману...»

Мечтая о том, как бы он всё забрал в свои руки, он наговорил много весьма тонких и остроумных любезностей девочке, которая его заслушивалась; рассказал ей несколько анекдотов, несколько смешных сцен, которые заставили её от души смеяться. Затем, прощаясь, он получил опять от неё цветок, перевязанный ленточкою, на которой её собственными ручками было вышито: «Souvenir». Она сама ему сказала, что вышивала нарочно для него. От герцога и герцогини он получил приглашение бывать запросто. Государыня тоже милостиво протянула ему руку, которую тот почтительно поцеловал, и сказала, что она надеется нередко с ним встречаться. Одним словом, всё шло так хорошо, так хорошо, что лучше решительно не могло идти, и доказательство — его пожалование и производство, о котором дядя даже говорить считал рановременным.

Не менее удачно было посещение и принцессы, которая тоже нашла в нём большое сходство с графом Линаром. Хотя она недавно только оправилась от родов, но его приняла и весьма весело и милостиво с ним разговари-

вала. Принца Антона не было, а Юлиана, видимо, была на его стороне. Молодой Миних также, кажется, был не прочь, чтобы между ним и принцессой последовало сближение, долженствовавшее, разумеется, изгладить её воспоминания о графе Линаре, может быть, и потому, что это сблизило бы принцессу с политическими видами его отца, стоящего за союз с Пруссией, которому граф Линар, будучи посланником саксонского двора, был естественный противник. Принесли маленького великого князя, и принцесса находила, что он очень походит на Андрея Васильевича. Одним словом, всё шло так, что молодой человек считал себя вправе не торопиться решением, но выжидать.

Цесаревна Елизавета была ещё слишком потрясена постигшим её огорчением, слишком грустна для того, чтобы искренно отдаваться новым впечатлениям, но и она приняла его весьма приветливо. Вспоминая несколько рассказов своего отца о его деде, которого Великий Пётр прозвал непоборимым старьёвщиком, она сказала, что очень рада, что внук в этом отношении не похож на

деда, а, вняв разуму её отца, хочет знакомиться с науками, следить за просвещением... А тут Лесток рассыпался мелким бесом и добился того, что цесаревна пригласила его на вечерний чай. За чаем он видел и Воронцова, и Шувалова и заметил, что он вызывает к себе от цесаревны более внимания, чем они. После чая, когда, пользуясь тёплым весенним вечером, они сидели на балконе и говорили об итальянских поэтах, с которыми едва успел познакомиться Андрей Васильевич, и то только по французским переводам, хотя он и начал уже учиться итальянскому языку, он подметил даже у цесаревны несколько задушевных тёплых слов, относившихся лично к нему, так что он мог надеяться, что будет в силах заслужить себе впоследствии, когда её горе несколько успокоится, некоторую симпатию.

Эти успехи ясно увлекали и кружили голову молодому человеку и помогали ему заноситься мечтами бог знает куда. Тем не менее он совершенно практически рассуждал: «Всё это прекрасно, но всё это далеко. Принцесса — наследница государыни, но это наслед-

ство бог знает когда придёт, тем более что государыня не ценит её и может перенести наследство на малолетнего внука. До тех пор, пока это не выяснится, сближение с принцессой ведёт к пустой трате времени и даже к опасности. Будущность цесаревны ещё отдалённее. Чтобы что-нибудь сделать, опираясь на её положение, нужно рисковать всем, а такой риск вовсе не соответствует родовым преданиям князей Зацепиных, принявшим в основание правило — в московские раздоры не мешаться, а ими только при случае пользоваться! Лизонька Бирон совсем другое дело. Тут можно получить всё, чуть не сейчас».

«Да, — думал он, — через год объявят женихом, а в этот год могут вывести в люди, поставить на приличную ступень; ещё через год свадьба, а до того могут засыпать милостями, и этим, разумеется, я сумею воспользоваться!»

Думая это, он позвонил.

— Попросите позволения у дядюшки прийти к нему на несколько минут, — сказал он официанту.

Но дядя сошёл к нему сам. Он получил из-

вестию о пожаловании его камер-юнкером и о его производстве и пришёл поздравить.

После обычных фраз Андрей Васильевич сказал дяде:

— Не знаю, дядюшка, будете ли вы меня бранить, но вчера я у Генриковых сделал то же или ещё хуже, чем, помните, у Леклер с Левенвольдом. Я дал Густаву Бирону пятнадцать тысяч, то есть всё, что у меня было. Он играл и проигрался. Потом его вызвал играть Велию. Он и обратился ко мне, прося ссудить его, чем могу, на несколько дней. Я, по вашему правилу — не жалеть денег, имел слабость не отказать и остался только с несколькими десятками золотых.

— А он проиграл?

— Не знаю. Я уехал прежде, чем окончилась игра. Знаете, счёл не деликатным сидеть, будто ожидая расчёта.

— Ну, разумеется, мой друг, ты сделал прекрасно. Нет ничего мещанистее ожидать денег, будто боишься за то, что их выпустил. За это я опять могу тебя только хвалить. В тебе есть это прирождённое чувство деликатности, этот истинный аристократизм...

— Да, только вот беда: через неделю карусель, а потом бал. Императрица пожелала, чтобы я участвовал и в карусели, и в бальной кадрили с Лизонькой Бирон. Нужны костюмы, нужна лошадь, а у меня, как я сказал, всего несколько золотых.

— К сожалению, в настоящую минуту я не могу тебе ничего дать; тоже, будто нарочно, кое на что поистратился. Но это ничего. Мы тебе поможем. Только смотри, не увлекись! Ты что-то нынче очень часто о Лизоньке Бирон вспоминаешь. Ты где обедаешь сегодня?

— У Трубецких.

— Прекрасно, недалеко. Так после обеда заезжай домой, мы твою беду исправим.

Он позвонил.

— Послать курьера к Ермилу Карпычу, — сказал он явившемуся секретарю, — потребовать, чтобы к половине седьмого он был здесь.

Когда племянник воротился с обеда и прошёл в комнаты дяди, который, как он узнал, пил кофе один в розовой столовой, потому что обедал с гостями и гости уже разъехались, то первое, что его поразило, это сидев-

ший при самом входе у швейцарской, на ясе-
невой скамье, чистенький, седенький стари-
чок, мужичок не мужичок, мещанин не ме-
щанин, а так что-то среднее между дьячком и
мещанином. Старичок был окружён Елпиди-
фором, Фёдором, швейцаром и целой стаей
официантов, которые его слушали разинув
рот.

Но, пройдя к дяде, он изумился ещё более,
когда при ударе часов половины седьмого
официант доложил о том, что Ермил Карпыч
приехал по приказанию его сиятельства, то
дядя велел проводить его в венецианскую го-
стиную. Венецианская гостиная — это была
одна из тех комнат, в которой дядя принимал
только тех, кого он хотел поразить своею осо-
бой роскошью и вкусом; неужели туда он ве-
лел просить и виденного им, беседовавшего с
лакеями, приземистого седенького старичка.

Это, однако ж, оказалось так. Когда они
пришли в гостиную, то старичок, беседовав-
ший до того с лакеями, стоял посредине го-
стиной и рассматривал великолепную вене-
цианскую вазу из цветного хрусталя, с зали-
тыми в неё мозаиковыми медальонами, про-

изводившими через грань хрусталя действительно изумительный эффект. Старичок при входе поклонился почтительно, по-русски, но без особого унижения.

— К тебе дело, Ермил Карпыч, — сказал князь Андрей Дмитриевич, садясь на диван подле античного столика, в то время как князь Андрей Васильевич сел подле него на стул. — Садись-ка, поговорим.

Ермил Карпыч спокойно уселся против них на канапе, не обращая ни малейшего внимания на то, что канапе, как и вся мебель и стены, была обита великолепной пунцовой с золотом парчой.

— Вот что, Ермил Карпыч, — начал князь Андрей Дмитриевич. — Племянника камер-юнкером пожаловали; ему нужны деньги, недели на полторы или на две, тысяч семь-восемь; а я тут ныне с вами поистратился, да и в деревне велел дом переделывать, так до того месяца ссудить его не могу. Вот для первого раза услуги-ка ему в этом деле, как услуживал ты мне в других разных; много одолжишь! А я за него порука и ответчик. Ему это крайне нужно, и если можно, сегодня

же. Понимаешь, очень нужно!

— Так-с, ваше сиятельство, так-с! — отвечал Ермил Карпыч, приняв при этом сразу какую-то особую, свободную позу. — Нынче молодым господам всегда деньги нужны-с!

— Ну этого нельзя сказать. И я смолоду терпеть не мог займов, а он занимает первый раз, да и то потому, что свои деньги ссудил знакомцу; расчёт такой подошёл. Признаться, ни я, ни он не думали, чтобы раньше Нового года нам нежданно такую милость оказали. Знаешь, Ермил Карпыч, это дело выходящее из ряда! Чтобы так, ни с того ни с сего... без представления даже. Это дело небывалое; особая милость!

— Точно-с, ваше сиятельство, — без особой милости не вспомнили бы. Как же, ваше сиятельство, вы там запись написать изволите, или заёмное письмо, или ручательство какое, что ли?

— Что хочешь, то и напишу. Он заёмное письмо напишет, а я поручкой по нему буду. Хотя, я думаю, ты меня знаешь. Я от слова не откажусь.

— Так оно так, ваше сиятельство. Мы вас

знаем; и знаем, что не такую сумму вашему сиятельству на слово верить можно; но всё же, знаете, в животе и смерти Бог волен!..

— Хорошо, напишу, что хочешь. Сам придумай, чтобы твёрдо было; что придумаешь, то я и сделаю!

— И на месяц, ваше сиятельство?

— Нет, недели на полторы, на две всего.

— Уж что тут, ваше сиятельство, недели; месяц круглый срок, и ваше сиятельство покойнее будете.

— Хорошо, на месяц.

— Десять тысяч?

— Нет, тысяч семь-восемь.

— Уж что, ваше сиятельство, круглый счёт...

— Ну ладно, всё равно! Так послужи же, Ермил Карпыч, сегодня.

— А что, ваше сиятельство, какой рост изволите положить?

— Да какой же тут рост! Он продержит их всего две недели. Я за себя не скуп и, знаешь, сам всякую услугу оплачиваю, но его мне жаль. Он молодой человек аккуратный. Какой же тут рост?

— Нельзя, ваше сиятельство, дерево ли, трава ли и одного часа в земле не лежит, чтобы не расти, так и денежки; сами изволите знать, наживаются они с большим трудом; а коли наживутся да сберегутся, так нарастать должны, что волосы на голове. Зерно, мол, в землю положил, расти должно.

— Ну какой же тебе рост?

— Да рубликов пятьсот в месяц положите, а там и держите сколько хотите. За первый месяц вперёд, а там помесечно.

— Пятьсот в месяц? Да что ты, Ермил Карпыч, христианин ли ты?

— Как же, ваше сиятельство, сами изволите знать, христианин, да ещё самой настоящей, старинной, апостольской веры — в Никона вашего не верую, а Троицу святую и единую наблюдаю.

— Пятьсот в месяц! Коли десять месяцев продержат, значит, заплатить пять тысяч, то есть половину всего того, что у тебя взяли!

— Что ж, ваше сиятельство, самое сходственное дело! Теперича, если деньги эти на ярмарку послать, — и тысячи не пожалеют; пожалуй, они ещё скорей воротятся, чем от

вашего сиятельства, хоть мы и знаем, что вы большой барин и не любите никого обижать. Теперича, ваше сиятельство, денежки-то днём с огнём поискать, да и то с большим то есть старанием!

— Ну, так как он больше месяца не продержит, — не то я внесу, пусть будет пятьсот. Так решено, сегодня?

— Так-с, ваше сиятельство, только вот-с что. Денег-то у меня нет.

Андрей Дмитриевич рассердился.

— Так о чём же мы говорим? Да ведь и вздор ты говоришь, Ермил Карпыч; на прошлой неделе я тебе больше трёх тысяч передал, а ты не из таковских, чтобы промотал.. Но это всё равно, и говорить, стало быть, нечего было!..

Несмотря на всю сдержанность Андрея Дмитриевича, можно было заметить, как на лбу его сверкнула зацепинская жилка, и он хотел встать.

— Эх, ваше сиятельство, — сказал Ермил Карпыч, — напрасно гневаться изволите! Деньги не такой товар, чтобы их торопиться из рук выпускать нужно было. Правда, я с вас

на той неделе не то три, а около четырёх тысяч с хвостиком получил; но перво-наперво: четыре — не десять, да и, сами изволите знать, получил их я за услугу. Я своё слово выполнил как следует, честно; вы изволили, как следует — княжески наградить, на чём мы благодарим и нижайше кланяемся. Но что получил, то куда следует и поставил, — и на том никому отчёта не даю. А денежки счёт любят, и о них нужно думать, очень думать. Вашему сиятельству хорошо; вам по роду и без денег честь. Вот сами изволите говорить, княжич-то, племянник-от ваш, приехал без году неделю, а уж и офицерство получил, и ко двору назначен; пожалуй, жалованье получает, а послужит — и награждать станут. А мы другое дело! Нас никто награждать не будет; наша честь и слава — деньги! Есть деньги, нам и почёт, нам и уважение; а нет — так куда же мы годимся? Вот вы, ваше сиятельство, меня в гостиную просили и на золото посадили, а отчего? Оттого, что у меня мошна толста, что запасы, и большие запасы, есть. Вот Липману вчера двести тысяч понадобилось, — батюшка Ермил Карпыч, распояшья! Делать нечего,

дал! На прошлой неделе в штатс-контору сто тысяч потребовалось. Призывает этот кабинет-министр новый, что вместо Волынского, Бестужев, что ли, — русский человек. Ну и туда снёс. За то вот я и Ермил Карпыч, и почтенный, именитый человек. А не будь у меня денег, так не то что у вашего сиятельства в золотой гостиной, я и у вашего швейцара и то бы в конуре у притолки настоялся. Так, ваше сиятельство, сами изволите признать, что мы должны беречь денежки, должны держать их твёрдо. Распустить их легко, а собирать — ух как тяжко! Вон с Павла Ивановича Ягужинского который год уж получить не могу, а барин был то есть первый сорт! Потому, ваше сиятельство, сердиться тут вам не за что. Десять тысяч деньги большие, одних тысяч в них — десять. Как их нет, у-у как спину ломаешь, чтобы их добыть. Да я и не сказал, что я вашему племяннику отказываю; напротив, мы к вашему сиятельству всегда с нашим удовольствием, всякую то есть услугу оказать готовы. Я только сказал, что у меня нет. Ну а это ничего не значит. У меня на примете есть приятель; он согласится. Только мне, ваше си-

ательство, за мою услугу и хлопоты, от вашей щедрости хоть сотенку-другую, верно, пожаловать не откажете. Князь Андрей Дмитриевич засмеялся:

— В том только и дело? Пожалую, пожалуй! Знаешь, я не скуп. Только чтобы сейчас всё было. А то, знаешь, я люблю: или делать, или не делать...

— Так зачем же откладывать, ваше сиятельство; вот у меня и запись готова; поставим сумму, племянничек ваш подпишет, а вы поручитесь — и дело в шляпе. Деньги у меня с собой, и не десяток тысяч есть, — сейчас отсчитаем!

— Хорошо! Ты отсчитай в конторе Кондратьичу девять тысяч пятьсот рублей для племянника; вели ему от меня за прошлые и будущие услуги выдать тебе двести пятьдесят рублей и пусть принесёт подписать запись, если она составлена верно. Очень, очень благодарен. Через две недели заходи, получить обратно можешь.

— Благодарны вашей княжеской светлости. А в том месяце у нас опять новинка. И ещё какая! У-у какая!

— Ну-ну! После поговорим, после...

Ермил Карпыч исчез.

Князь Андрей Васильевич провожал его глазами. Когда видно было, что он прошёл уже три или четыре комнаты и что слова не могут быть ему слышны, он обратился к дяде и, кивая головой вслед ушедшему, с улыбкой сказал:

— Кулак же, однако, отчаянный кулак!

— Разумеется, кулак! Да чем же ты хочешь, чтобы он и был? И если подумаешь, то, пожалуй, скажешь, что он совершенно прав. В самом деле: разорись он, не будь у него денег, кто его знать захочет? Никто и не вспомнит о каком-то Ермиле Карпыче! Первый подьячий его за шиворот возьмёт — и в будку. А теперь он человек почтенный, уважаемый. Сам генерал-прокурор ему руку жмёт, а Бироны, — разумеется, кроме герцога, — Левенвольды, Менгдены, — да он у них, после жида Липмана, первый человек. Ему не только кланяются и уважают, но даже мирволят во всём. Например, знают, что он раскольник, сектатор, и ещё какой сектатор — изувер, беспоповец, даже более, — знают, что его секта одна из са-

мых вредных, однако никто его не трогает, никто не привязывается. А отчего? Оттого, что у него есть деньги, есть капитал, и большой капитал. Все знают, что с помощью этого капитала он может всё купить и всё продать. Для многих это весьма важно. Кроме того, знают, что при случае могут у него перехватить, а иногда и просто пожить. А это, ты сам знаешь, очень любит наш приказный люд, да и не только приказные, а все, которые любят пожить, а жить-то не из чего! Из наших светил власти и управления, гражданских, военных и придворных, я знаю только двоих, которых нельзя соблазнить даже хорошей взяткой, это себя и Остермана, да и то потому, что мы богаты!

— А Остерман богат?

— Да, ему ещё Пётр подарил хорошее имение, а при управлении Меншикова он получил другое. Главное же, по жене своей, Стрешневой, он очень богат. Но Черкасский богаче нас обоих вместе, а пусть ему предложат хорошую взятку, ручаюсь, что возьмёт; да ещё как возьмёт-то — горячую!

— Что это значит?

— Значит то, что наши приказные, наше крапивное семя, как их называют, делят взятки на два рода: одни спокойные, а другие горячие, которые жгутся, то есть за которые можно отвечать. Я уверен, что Черкасский не откажется даже от горячей взятки, хоть он и трус. Ну а понятно, что тот, кто хочет взять, должен льнуть к тому, у кого есть что взять. Вот все и льнут к Ермилу Карпычу, все и тербят его на все лады. А наш Карпыч не дурак. Он себе и своему капиталу цену знает. Он знает, во-первых, что капитал следует держать твёрдо, а то расплывётся и не увидишь; а во-вторых, что капитал должен расти. Он знает, что с ростом капитала растёт и его сила, увеличивается его значение; стало быть, он должен стараться, чтобы капитал этот рос больше и скорее. Всё дело в том, что с капиталом и только с капиталом связана вся его жизнь. Поневоле он должен держать этот капитал именно в кулаке и драть с живого и мёртвого, что только может содрать. Недаром ими, такими Ермилами Карпычами, придумана поговорка: «Деньги не Бог, а полбога есть». Предание о золотом тельце становится ясным до

осязательности в народе, у которого было только одно преемственное наследство — капитал.

— Так, дядюшка, но всё же подумайте. Во всё́м должна быть мера, должен быть предел. Неужели тот, кто во время общего голода получил бы откуда-нибудь хлеб, должен был бы всех ограбить?

— Само собой разумеется, друг, что тот, кто во время общего голода один обладал бы источниками питания и этих источников у него нельзя было бы никакими способами отнять, тот стал бы царём всего мира, да ещё каким царём, самым самовластным, самым деспотичным. Но твой пример не идёт к делу. Ермил Карпыч не один, у которого есть деньги. Если бы нам было удобно вызвать желающих дать нам деньги на более льготных условиях, нашлось бы много охотников. Но дело в том, что мы предпочитаем взять их у него. Его скромность, предоставление полной свободы оборачиваться как мы хотим, только платили бы ему рост, удобство расчёта не одними деньгами, но и всем, что только может дать нам наше хозяйство, наконец, возможность

получения других услуг заставляют нас предпочитать его другим. Он это знает и, разумеется, этим пользуется. Пользоваться нуждой — это свойство капитала, его качество. Не заключая в себе ничего, на что сила его могла бы опираться, кроме количественного значения, капитал должен стремиться расти во что бы то ни стало. Отсюда ясно, что он должен быть абсолютным эгоизмом, абсолютным бессердечием. Это именно и есть характер капитала, его основное свойство, отличающее его от других элементов общественности рода и труда!

— Я вас не совсем понимаю, дядюшка. Хотите ли вы сказать, что капиталист всегда бессердечнее, жёстче человека родового или живущего своим трудом? Против этого можно указать на многие жертвования. Наконец, ведь и родовые люди тоже часто обладают большими капиталами.

— Я хочу сказать, что общественное положение человека обуславливает его действия, которыми определяются потом и его свойства. Человек, положение которого и его значение в обществе определяются исключи-

тельно количеством принадлежащего ему капитала, не может не стремиться наживать капитал всеми способами, хотя бы эти способы шли прямо вразрез его человечности. Надобно тебе сказать, что в молодости я много читал Локка и увлекался им. Вот человек истинно гениальный! Человек, который, по моему мнению, первый подвинул вперёд научные исследования древних, то есть восстановил науку в её истинном значении; вызвал её на свет из того схоластического мрака, в котором она находилась в течение средних веков. Одним словом, первый и пока, к сожалению, единственный учёный, который, в противоречие царствующей доселе схоластической болтовне, принял в основание каждого из своих рассуждений математическую точность. Высоко стоит его имя в области науки и знания, но, могу сказать, что доселе он не понят и не оценён. Бэкон, которого возносят английские критики, по-моему, далеко ниже его, ниже настолько, насколько отвлечённые рассуждения ниже действительного раскрытия практической истины. Вдумываясь в труды Локка, как философа и экономиста, труды,

в которых он касается всех жизненных вопросов общественного устройства и, можно сказать, раскрывает тайны самой их сущности в накоплениях труда, образующих капитал, и в выражении этого капитала в денежном обращении, вдумываясь в его мысли по этим столь существенным вопросам жизни и потом сравнивая его выводы с общественным устройством европейских государств, нельзя не прийти к такому заключению, что общественное устройство в сущности своего учреждения представляет три основные элемента своего практического осуществления: род, капитал и труд. Основание всему, разумеется, составляет труд. Но в вознаграждении за труд являются два взаимно противоположные свойства, обуславливаемые отчасти сущностью самого труда, отчасти тем отношением к обществу, в котором исполнение его происходило. Одно — вознаграждение чисто материальное, исходящее из взаимного обмена, как услуга за услугу; другое — основанное на той силе общественного уважения и благодарности, которые определяются принесением самопожертвования на пользу общую. Если

часть этого общего уважения, заслуженной почести и общественного значения может переноситься человеком на своих наследников, то в обществе образуется начало рода и является родовое значение, имевшее столь громадное влияние на средневековую жизнь; если ничего из заслуженного он передать не может, то становится преобладающим капитал. Это исходит из того естественного чувства, пожалуй, слабости человеческой, по которой люди своего глупого, беспутного сына любят более, чем величайших гениев чужих. Ты мне не сын, а только племянник, сын моего брата, которого я не видал около сорока лет, тем не менее я желаю, чтобы всё принадлежащее мне досталось скорее тебе, чем, например, Остерману, или Монтескье, или хотя тому же Локку. А ведь ты не можешь обидеться, если до тех пор, пока ты себя ничем не заявил, целый мир признает их умнее, деятельнее и полезнее тебя. Так как права, исходящие из нравственного уважения и общественного значения, бывают всегда выше исключительно материальных, тем более что они непременно совпадают с материальным

вознаграждением, то общее стремление направляется преимущественно к приобретению этих родовых прав; когда же таких прав нет, то, разумеется, к материальному вознаграждению...

— И в том и в другом случае подавляют труд; так ли, дядюшка? — улыбнувшись, сказал племянник.

— Да! Подавляют труд потому, что принимают на себя обязанность определять размер его вознаграждения. Но дело в том, что подавляют совершенно противоположным образом. Родовое начало — из права вознаграждать труд создаёт фавор, о котором я с тобой как-то рассуждал; а капитал заставляет просто всех умирать с голоду. Правильность общественного устройства заключается в том равновесии, которое требованиями одного элемента общности уничтожало бы недостатки другого, то есть чтобы род не допускал капитала давить труд; капитал, с своей стороны, помогал бы труду стоять в соответственном значении против рода, не допуская ни его презрения, ни его благодеяний, а только единственно правильное вознаграж-

дение; а труд чтобы ограничивал их обоих и устранял возможность фавора. Но это задача, равносильная знаменитой задаче сфинкса; над нею сотни веков бьются все законодатели, экономисты и философы всех стран в мире!

— Вот что, дядюшка, — сказал с улыбкой племянник. — Простите за нескромный вопрос! Слушая вас и стараясь, по мере моего малого разума и недостатка образования, усвоить ваши наставления и советы, запомнить ваши мнения и соображения, — я всегда изумляюсь, почему вы не стоите во главе нашего управления? Все ценят вас, начиная с государыни; все отдают справедливость вашему уму, знанию, опытности, дают вам полный почёт и, как вы мне говорили, не обходят наградами, а между тем во главе дел стоят два иностранца: один хоть деловой, а другой — просто сын случая. Я думаю, они сами, иностранцы эти, с удовольствием захотели бы прикрыться вашим именем...

— Э, мой друг! За кого же ты меня считаешь, что я захочу их разные шахер-махеры прикрывать своим именем? Но всё это не то!

Прежде всего: дела — это не моя стихия! Я не хочу никаких дел. Ты скажешь, что это злоупотребление своим положением. Да, злоупотребление в пользу эгоизма; злоупотребление, к которому всего чаще приводит родовое начало, к которому пришёл и я, потому что, нужно сказать правду, я эгоист до кончика моих ногтей и думаю, что прежде всего — всякий для себя. Чтобы ты меня знал, а таиться от тебя мне нет надобности, я тебе скажу, что я то, что французы называют вивёр, эпикуреец в превосходной степени, и думаю, что жить стоит только для наслаждения. Фланёр и парижский петимер смолоду, я остался фланёром целую мою жизнь. Моя специальность — удовольствия. Я живу, готов и других учить жить собственно для того, чтобы наслаждаться. Я не отвергаю стремлений других людей к делу, к добру, к пользе, не отвергаю ни честолюбия, ни стремлений к власти, ни даже желаний наживы. Не отвергаю, например, твоего стремления возвысить и доставить политическое значение нашему роду. Буду счастлив видеть князей Зацепиных действительно первенствующими и, насколько

могу, буду всеми мерами тебе содействовать. Но сам я... да за один день заботы и работ Остермана я не возьму трёх Зацепинских княжеств! Я фланёр и не хочу ничем более быть, как только фланёром. Впрочем, не стану говорить о том, в какой степени я мог бы иметь влияние на дела в качестве ветреного и временного поклонника всего изящного; но знаешь ли ты, что я был женат?

— Вы, дядюшка?

— Да, я! Что ж тут удивительного? Я был женат на княжне, такой же поклоннице фланёрства и удовольствий, как и я сам, к сожалению, только слабенькой и хворенькой. Она была не красавица, но милая, весёлая, общительная. Вместе с ней мы хотели составить общий культ поклонения комусу, богу смеха и удовольствий; к сожалению, она недолго прожила. Через полтора года после свадьбы её не стало. Разумеется, брак наш был тайный, потому что, с начала царствования дома Романовых, царевны явно никогда не сближали царствующий дом с его подданными. Тем не менее мы очень любили друг друга, и главная часть моего состояния, начиная с это-

го дома, принадлежит мне, благодаря её любви и её заботам обо мне!

— А моя почтенная тётушка была из дома Романовых?

— Она была родная сестра царствующей императрицы, пятая дочь царя Иоанна Алексеевича, Парасковья Ивановна[9]. После её смерти мне пришлось делиться по земле именно этого дома с Екатериной Ивановной, герцогиней Мекленбургской, другой сестрой государыни, матерью нынешней принцессы: Пётр Великий всё это место, от самого Летнего сада, отдал своим дочерям и племянницам. Половина его поэтому и принадлежала царевнам Екатерине и Парасковье Ивановнам, а другая — царевнам Елизавете и Анне Петровнам. Последняя, уезжая в Голштинию, уступила своё место сестре, и та выстроила здесь свой Зимний дворец, в котором живёт и теперь. Дворец Екатерины Ивановны после смерти императрица отдала графу Апраксину, наследнику графа Фёдора Матвеевича, генерал-адмирала при Петре Великом, который, умирая бездетным, свой дом на Неве завещал Петру Второму, так как видел необхо-

димось расширить здания Зимнего дворца, а места для такого расширения не было. Императрица, решившись воспользоваться этим завещанием, не захотела остаться у наследников Апраксина как бы в долгу, тем более что смерть Петра Второго скорей уничтожила силу завещания, чем передавала ей права на завещанное имущество. А часть земли, принадлежавшая Парасковье Ивановне, за исключением участка, проданного ею ещё прежде своего замужества, вместе с московским её домом, её волостями и вотчинами, всего более семи тысяч душ, согласно её посмертной воле была отдана мне. Дело в том, что совокупность условий моего воспитания и жизни сделали меня лентяем не лентяем, а человеком неделовым; я и не берусь за то, к чему не го-жусь. Но постой, ты ещё молод; а вот будешь постарше, мы и тебя введём в наш кружок анахоретов, которые наслаждение предпочитают всему. Впрочем, ты не думай, чтобы этот кружок состоял только из таких лентяев, как я, — далеко нет! Между нами есть люди, известные своею неутомимостью в деле. Между ними и мною та разница, что они посвящают

себя удовольствиям между делом, а я посвящаю себя делу между удовольствиями.

— Как же вы посоветуете, дядюшка, мне посвящать себя этим удовольствиям? — смеясь, спросил племянник.

— Э, друг мой, как тебе будет угодно! Мы враги всякого насилия и никак не доктринёры. Говорим своё мнение, выясняем взгляд, а никак не полагаем, что фанатизм и изуверство могут совпадать с разумом, образованием и свободой. Одним словом, правило аристократизма и благородства соблюдается нами вполне: живи и давай жить!.. Но перейдём же к делу; теперь у тебя деньги есть... Какой же костюм тебе назначен для кадрили?

— Султана Саладина!

— А принцессе Бирон?

— Попавшейся к нему в плен грузинской княжны!

— Недурно! Тебе — белая чалма, украшенная бриллиантами и страусовым пером; зелёная бархатная, шитая золотом куртка, красные широкие шаровары и осыпанное драгоценными камнями оружие. Ей — фиолетовый вышитый жемчугом спензерь, или как там

называется эта грузинская одежда; белая с золотом по газу чадра и синие шаровары. Императрица сама назначила вам роли?

— Сама. А главное, что визави мне будет английский король рыцарь Ричард Львиное Сердце с швейцарской пастушкой. Императрица выбрала для этих ролей сына герцога, принца Петра, и Анюту Скавронскую. С нами же в кадрили будут: молодой Лопухин, Иван Степанович; молодой Остерман, Фёдор; Куракин и Стрешнев; а из девиц: Сонечка Миних, Оленька Белосельская и ещё, право, не помню кто. Все в своих характерных костюмах, по назначению самой государыни. Съезжаться для репетиций велено каждый день в Летнем дворце.

— А карусель?

— Я, в костюме Монгомери, побеждая всех, должен упасть с лошади перед взмахом креста Петра-пустынника, которого будет представлять Карлуша Бирон, в серой рясе, подпоясанный верёвкой и с нашитым на плече красным крестом.

— А ты выучился падать с лошади?

— Ещё как! Поднимая её на дыбы! Надеюсь

выполнить роль к общему удовольствию.

Но выполнять роль ему не пришлось. В минуту самого рассуждения о предстоящей кадрили и карусели торопливо вбежал камердинер князя Андрея Дмитриевича и, видимо сдерживая себя от неприличной одышки, стоя в почтительной позе, доложил ему, что его светлость герцог и его сиятельство граф Левенвольд разом прислали нарочных просить его пожаловать сию минуту в Зимний дворец; государыне очень дурно.

— Они оба убедительно просят, ваше сиятельство, поспешить.

— Что такое? Что случилось? Карету скорей!

И оба князя встали.

— Знаешь, друг, я бы тебе советовал подождать дома моего возвращения. Бог знает, может быть, что-нибудь и нужно будет!

Андрей Дмитриевич торопливо оправил свой костюм и уехал, а Андрей Васильевич ушёл к себе и написал к кому-то записку, чтобы его не ждали.

Х Шуты

Утром пятого октября тысяча семьсот сорокового года государыня императрица Анна Иоанновна ступила с постели на ковёр левой ногой. Новокшенова, её сказочница и попрошайка, с утра забравшаяся в спальню императрицы и лежавшая до пробуждения государыни на ковре как сурок, держа в руках её туфли, подала было ей туфлю с правой ноги, но, заметив, что туфля не та, переменила и начала нескончаемый рассказ о том, как она смолоду тоже раз как-то стала с левой ноги, и мать её начала бранить: дескать, верно, неудаче быть, верно, кофе сбежит или молоко скиснет, не то кошка жаркое унесёт.

— А я себе сижу да и думаю, — говорила Новокшенова, — мне-то какая же беда? За кофеем-то уж как-нибудь посмотрю, а коли молоко скиснет или кошка жаркое унесёт, так это не моя беда, а мамкина! Разве вот сарафан свой новенький запачкаю, — а сарафанчик

у меня был такой хорошенький, розовый, с жёлтыми и зелёненькими цветочками, таково красиво выходило, — так разве его... Так как же запачкать? Я и надевать-то его вовсе не думала, да и незачем, ни праздник, ни что... к тому же мы с соседками за грибами идти собирались, так зачем же тут новый сарафан? А собирались за грибами мы, Палашка Гусева да Анютка Дылева...

— Перестань болтать, надоела! — сказала государыня, снимая ночную кофту и при помощи камер-юнгферы надевая батистовый, с английскими прошивками пеньюар, обшитый брюссельскими кружевами, в то время как другая камер-юнгфера приготавливала в серебряном умывальнике воду для умыванья и расставляла на умывальном столике, по заведённому порядку: мыло, зубные порошки, одеколон, померанцевую воду и другие принадлежности умывания.

— Кто ждёт в приёмной? — спросила государыня.

— Его высокопревосходительство кабинет-министр Алексей Петрович Бестужев, его высочорodie бригадир Пётр Васильевич Из-

майлов и его превосходительство Иван Иванович Неплюев да ещё два генерала, — отвечала камер-юнгфера.

А Новокшенова всё это время болтала:

— Ну какая беда случиться может, как грибы буду собирать? Медведей в нашей стороне нет; лихих людей тоже не слышно, да и от села близко; опять же я не одна, нас десять девиц собралось! Ну сами, милостивая государыня, посудите, какая же беда выйти может? Дома ещё все, знаете, не то, так другое случиться может, а в лесу? Рази дождь пойдёт? Так и тут у меня большая хустка (платок) была, да такая плотная, что твоя кожа! Прикроюсь, бывало, и грибы ли, ягоды ли прикрою да и иду себе, и горюшка мало! Ну, думаю, какая же беда будет? А в это время к соседу-то Новокшенову сын приехал, офицер из какого-то казылбашского или, как его, не по-нашему зовут, какого-то мурманского... или вот дай бог память... так и вертится... как-то... да, астраханского полка... Нам, девкам, очень хотелось на офицера посмотреть, мы и собрались зайти к священнику, будто отдохнуть, а из окон-то отца Василия...

— Перестань болтать, — повторила государыня Новокшеновой, — надоела! Скажи, что, кроме Бестужева, я никого не приму! — прибавила она, обращаясь к камер-юнгфере.

Камер-юнгфера вышла передать приказание; другая камер-юнгфера стала подавать государыне умываться, а Новокшенова, несмотря на двукратное приказание государыни, всё болтала:

— Вот только как вошли мы в березняк-то, — под самый Курск подходил, — грибов такое множество, что страх! Я иду да собираю. Думаю, какая же беда-то будет: вот и часу не ходим, а уж корзинка-то, почитай, полная; ну и девицы разошлись по роще-то, собирают, изредка аукнемся. Только вот это вышла я на прогалинку, тут камень ещё такой большой лежит, а около камня малинник, так перед самым малинником масленики, целое гнездо, да такое большое... Я обрадовалась, нишкну, и давай собирать, думаю, другие-то придут с берёзовиками, а я принесу маслеников, хоть бы и всегда такая беда приходила. Я к тому говорю, всемилостивейшая моя государыня, что вот приметы-то как врут!

Ну какая беда?..

— А такая тебе беда будет, что я до обеда заставлю тебя в ступе воду толочь; говорят — надоела, так убирайся!

— Власть ваша, всемилостивейшая государыня, мне хоть голову снять прикажите, словечка не скажу, коли вашей милости нежелательно; а без беды всё же не обошлось... Собираю я это масленики, думаю, на зависть всем, да ещё как на зависть-то! Думаю я всё это, да сама не заметила, в малиннике-то прикурнула да там и заснула. Во сне вижу, будто кругом меня не то масленики, все белые грибы растут, только собираюсь будто я поднять один гриб, а он будто выскочил и прямо в губы уколол; я проснулась, а прямо надо мной, нагнувшись, стоит мужчина и меня целует. Это и был Новокшенов, приезжий из полка офицер, ставший скоро моим женихом, а потом и мужем. Вот беда какая вышла, что я и не думала. А всё от того, что с левой ноги с постели встала...

Императрица приказала её вытолкать; а она всё ещё рассказывала.

— И ведь как это вышло, — говорила

она. — Собрался он купаться. Пошёл на реку да и заблудился, и вдруг видит... — Но она была уже за дверью.

«Как сумасшедшая, — сказала государыня про себя, — болтает без умолку! Иногда это очень забавно».

Вошли ещё две камер-юнгферы с различными принадлежностями туалета. Дежурная фрейлина подала ей проект обеденного меню.

— От гофмаршала, ваше величество, — сказала фрейлина, приседая по форме.

— Здравствуйте, — сказала государыня фрейлине и взглянула на меню.

— Ну что это, всё дичь да дичь, надоело! — сказала она. — Напишите гофмаршалу, что на жаркое я желаю молодых домашних уток. Теперь утки должны быть хороши и дешёвы! — заметила императрица, будто цена уток могла иметь какое-нибудь значение в её бюджете. — Приготовить по-курляндски, с каштанами!

— Фрейлина поклонилась.

— Да постойте! Кто же у меня будет обедать? Скажите, что, кроме всегдашних, я прошу пригласить старика Ивана Юрьевича Тру-

бецкого. Он нонче по старости редко из Москвы приезжает, а я люблю его видеть. Он всегда меня ужасно смешит, когда рассердится. Сегодня я напущу на него Новокшенову разговаривать и от души посмеюсь, когда он сердиться и заикаться начнёт.

Фрейлина присела опять и вышла, а государыня прошла в уборную, где её ждал парикмахер, и велела чесать косу.

Уходя, парикмахер заметил, что государыня сегодня, должно быть, не в духе: «Изволили быть очень нетерпеливы, когда я ей голову убирал».

— Левою ножкой с постели ступить изволила, — начала было рассказывать Новокшенова, услышав сделанное парикмахером замечание. — Примета несомненная! Вот и я тоже раз, мне тогда только что подарили новенький, хорошенький сарафанчик, и так это он мне нравился, только вот...

Но парикмахер её не слушал и ушёл.

Государыня вышла в кабинет и приказала позвать Бестужева.

Бестужев вошёл, раскланялся как истинный придворный и принёс государыне по-

здравление с добрым утром и светлым осенним днём.

— Благодарю, Алексей! — сказала государыня. — Так ты говоришь — погода хороша. Я очень рада! Проедусь после обеда. А то вот дня три, как я никуда не выезжала, всё от этих дождей. Ну что ты мне принёс?

— С шведским делом, ваше величество! Брат извещает о получении десяти тысяч ефимков и надеется, что он употребит их с пользой. Швеция просто дурит, государыня! Партия шляп, которая всё время бредила войной, пока войска вашего величества были в Турции, теперь для поддержания идеи о войне в народе вздумала распространять слухи, что Россия от этой победоносной войны так ослабела, что едва ли в силах защищать даже Петербург.

— Что же Андрей Иванович об этом думает?

— Андрей Иванович полагает в ответ на их слухи усилить отряд под Выборгом тремя или четырьмя полками.

— Да! Но не вызовем ли мы этим в шведах озлобление? Ты знаешь, Алексей, я не люблю

войны! Я думаю, что решаться на войну можно только в совершенной крайности. Но я также не боюсь войны, и где честь России требует... Оставьте мне это дело, я его просмотрю. Потом, скажи, есть у вас донесение о Татищеве? Что сделано для раскрытия всех производимых им беспорядков?

— Как же, ваше величество, объяснение его препровождено в особую комиссию для расследования.

— Хорошо! Когда комиссия рассмотрит, представить мне. Я не держу тебя больше. Признаюсь, сегодня я что-то сама не своя. И не знаю, право, что со мною делается. Прощай!

Бестужев откланялся.

К обеду собрались в Летнем дворце свои, как говорила государыня. Герцог и герцогиня Бирон, дети их: Пётр, Карл и Гедвига, или Елизавета, как звали дочь Бирона по-русски; дежурные: фрейлина и камергер, приглашаемые всегда, когда обед происходил в комнатах императрицы, а не герцога. В этот день дежурными были фрейлина Шишкина и камергер курляндский барон Симолин. К этим

своим особо был приглашён старый фельд-маршал князь Иван Юрьевич Трубецкой, последний русский боярин, высокий и седой старик.

За креслом императрицы стояла её любимая дурка Ксюшка; в углу столовой, на скамеечках, подле маленького столика лепились два шута: один — старик Балакирев, другой с знаменитым именем, сделанный шутком по настоянию Бирона для унижения русских знатных родов. Под тем предлогом, что он будто бы, служа при французском посольстве, изменил православию и за такой поступок подлежал пытке и страшной казни сожжения живым, Бирон предложил ему на выбор или подвергнуться тому и другому, или принять вакантное место шута императрицы с обеспеченным содержанием, наградами и всеми последствиями занятия этого места.

— Между русскими дураками так трудно найти сколько-нибудь образованных, которые могли бы иногда и тонкие шутки говорить, и на иностранных языках, что я готов просить императрицу о снисхождении к вашему преступлению, если вы примете пред-

лагаемую вам должность, — сказал ему Бирон по-немецки.

Бедняк не решился отвечать и просил два дня сроку подумать.

Бирон дал ему эти два дня, но велел его водить каждый день в застенки Тайной канцелярии посмотреть, как пытали там казака, пойманного в распространении слухов, что император Пётр II жив.

Взглянув на то, как ломают кости, вывёртывают руки, поджаривают ноги на жаровне, он не выдержал и двух часов и объявил Бирону, что он просит высокой милости его светлости и принимает предложенную должность. Это был князь Михаил Алексеевич Голицын, родной внук знаменитого, некогда могучего и славного князя, оберегателя польских дел и государственных печатей, руководителя политики России и фаворита царевны-правительницы Софьи Василья Васильевича Голицына, прозванного иностранцами великим Голицыным.

Дорого обошлось спасение своей жизни князю Михаилу Алексеевичу. Он выкупил её не только полным нравственным унижени-

ем, но и обязанностью переносить телесные истязания.

В тот же день, в который он изъявил согласие на принятие должности шута, он был одет в шутовской наряд: куртку, правая половина которой была из красного бархата, а левая из жёлтой крашенины; панталоны из небольших разноцветных шёлковых треугольников ярких и контрастных цветов, сапоги: один красный, другой жёлтый, с колокольчиками, и высокий полосатый дурацкий колпак с погремушками; и в тот же день за произнесение какой-то непонравившейся шутки или за то, что он на вызов шутки не отвечал тем же, он, по приказанию Бирона, был жестоко высечен.

— Взятся за гуж, не говори, что не дюж! — сказал Балакирев, когда князя вели на расправу, и точно — согласился быть шутом, так и будь шут. В тот же или на другой день два других шута императрицы, Лакоста и Педрилло, привязались к нему за что-то и больно-таки, при самой государыне, избили. Государыня очень смеялась, что дурак сердится. Ведь они шутят!

Тяжко отозвалась пятидесятилетнему князю и устроенная зимой в том году для увеселения государыни его свадьба в ледяном доме, сооружённом Волынским. Шутовской маскарад, составлявший свадебный поезд князя, которого насильно обвенчали на смешной, сердитой и страстной тридцатилетней девице из проходимок, не мог не усиливать его нравственных страданий. Но эти нравственные страдания усугубились физическими, когда, мучимый холодом, замерзая в своём ледяном приюте, он невольно для спасения своей жизни должен был прижимать крепко к своей груди свою шутовскую подругу, которая, со страстностью перезрелой девы, хотела пользоваться правами его жены. Рождение сына от этого брака было новым мучением его княжеской гордости. Он боялся повторения сцен, бывших перед тем с шутком Педриллой, когда он представлял будто бы новорождённую свинку.

Впрочем, теперь он уже привык ко всему. Никакое оскорбление его не выводило из себя. Шутки, которые не нравятся, не говорит; когда хотят, чтобы он болтал, — не молчит;

перед товарищами гордость свою княжескую смирил и съёжился. Сидят они с Балакиревым вдвоём на скамеечках и, как собачонки, ждут подачек.

В стороне от шутов, в углу, стояли две говорильни государыни. Одна — известная уже читателю Новокшенова; другая — выписанная ей на смену, на случай её смерти, княжна Вяземская. Они обе разом что-то рассказывали друг другу вполголоса.

Императрица вошла под руку с своим любимцем маленьким Карлушей Бироном. За нею шёл герцог с семейством и дежурная фрейлина. Камергер и Трубецкой уже дожидались в столовой.

— А, князь, — сказала императрица, увидав Трубецкого, который ей почтительно поклонился.

— Я-я-я счастлив м-м-милостию вашего в-в-величества!

Трубецкой заикался, и сильно заикался, особенно когда бывал чем рассержен или сконфужен.

— Поди-ка сюда, моя красавица, — сказала государыня Новокшеновой, садясь за

стол, — стань за стулом у его сиятельства фельдмаршала, расскажи ему твою войну с маслениками да порасспроси, в чём тут была твоя вина, в чём твоя ошибка!

Новокшенова начала свой рассказ скороговоркой, что вот она с матушкой жила в деревне, только раз утром она и ступила с кровати с левой ноги. Мать и говорит ей: «Марфушка, нехорошо, беда какая-нибудь будет...»

В это время Трубецкой хотел её о чём-то спросить, заикнулся и начал: «Д-д-д...»

Новокшенова, боясь, чтобы её не перебили, начала чаще и громче: «Или молоко скиснет, а не то, не приведи бог...»

Трубецкой заторопился тоже высказать свой вопрос, и заиканье усилилось, так что одно время только и слышны были болтовня тараторки, а со стороны фельдмаршала «д-д-д». Государыня рассмеялась. Шуты, заметив, что это доставляет ей удовольствие, стали передразнивать: Балакирев — Новокшенову, а Голицын — Трубецкого. «Та-та-та-та», — кричал Балакирев голосом Новокшеновой. «Д-д-д-д», — передразнивал князя Голицын. А дурка затянула какую-то песню, что-то вроде:

*Красота твоя Анна,
Что от Бога тебе данна...*

Вяземской стало скучно стоять в углу одной и ни с кем не говорить. Она подошла к Новокшеновой и начала, тоже не прерывая речи и не слушая, что говорят.

— Со мной тоже было, — говорила Вяземская и тоже без перерыва и скороговоркой. — Матушка у меня строгая, любила порядок. Только вот раз и говорит: «К нам твой дедушка, мой отец, едет». Я обрадовалась.

И речь у неё полилась ещё скорее, ещё неутомимее, чем у Новокшеновой.

Отуманенный этим потоком чужих речей, Трубецкой не мог выговорить ни слова. Он бросил еду и как-то судорожно задвигался. Заиканье его перешло в какое-то хрипенье.

Императрица расхохоталась чуть не до истерики. Даже Бирон улыбнулся, а Карлуша, сидя подле государыни, начал поддразнивать, подражая заиканью Трубецкого и тоже повторяя «д-д-д»...

Вдруг императрица схватила себя за бок с правой стороны и визгливо вскрикнула.

— Что с вами, государыня? — хотел спросить Бирон, но, увидев, что она валится со стула, поспешил её подхватить.

Императрица застонала. Подбежала прислуга и помогла герцогу донести её до спальни.

В это время дежурный метрдотель, верный указаниям этикета, шёл впереди блюда с молодыми жареными утками, приготовленными согласно указанию государыни.

Но императрице было уже не до уток.

— Докторов! Докторов! — кричал Бирон. — Послать за обер-гофмейстером!

Герцогиня ушла к государыне. Камергер и фрейлина тоже встали, Трубецкой, который любил покушать, посмотрел голодным взглядом на вкусно приготовленное блюдо с утками. Но, видя, что оставаться за столом неудобно, он скрепя сердце тоже встал. А Вяземская с Новокшеновой всё ещё переговаривались:

— Нет, позвольте, я расскажу: вот со мной что было.

— Нет, вот я скажу.

— Нет, вот послушайте: я ступила.

— Нет, вот со мной: встала я...

— Перестаньте болтать, сороки проклятые! — сказал им Балакирев. — Всё от вас!..

Голицын не сказал ни слова. Он с презрением оглядел расстроенный обед, посмотрел с неувимой улыбкой на Трубецкого и вышел, но в это время до его слуха дошло сказанное вполголоса слово старика Трубецкого: «Ш-ш-ш-шут!»

Он воротился и сказал:

— Не знаю, ваше сиятельство, кто из нас сегодня шутком был.

Трубецкой опять стал заикаться, но Голицын, не ожидая его ответа, ушёл.

XI

Не бойся!

Внезапная болезнь государыни застала герцога Бирона совершенно врасплох. Он не знал, что делать, и растерялся даже до того, что об опасном положении государыни не послал уведомить ни Сенат, ни Синод, ни коллегии. Он до того потерял голову, что решился послать просить совета Остермана, забывая, что уже давно не может признавать Остермана в числе своих союзников. Но как он считал совершенно невозможным ехать к Остерману сам, а знал наперёд, что даже на самые настоятельные требования Остерман не приедет, а пришлёт только заявление о своей болезни, то он и решил послать к нему Левенвольда, чтобы спросить, что следует сделать. Потому что русские, разумеется, хоть и быдло, но если настойчиво захотят всех давящих их немцев перевешать, то с ними, пожалуй, и не справиться! Он забыл даже, что Остерман и Левенвольд живут между собою в такой

дружбе, что про них говорили: где Левенвольд, там непременно и Остерман, а где Остерман, то он, без всякого сомнения, покрывает собой где-нибудь и Левенвольда. Ввиду могущей быть опасности куда девалось и высокомерие герцога, куда исчезла и его заносчивость. Он обратился к Левенвольду, как истинный немец, с подходцем и увёрткой.

— Послушайте, друг Рейнгольд, — сказал он ему дружески. — Вы знаете, что я для вас всегда готов был на всё. Вы не можете сказать, чтобы после отъезда вашего брата я не поддерживал и не охранял ваши интересы более, чем бы он сам мог их охранить. Его желания я считал для себя законом. Наконец, по его просьбе я назначил кабинет-министром Волынского. Вы знаете, как он нас за это отблагодарил! Теперь у меня к вам просьба.

Левенвольд, которого известие о болезни императрицы подняло с постели, так как он перед тем всю ночь проиграл в карты и лёг только в час дня, невольно изумился от этой речи, совершенно не похожей на обыкновенный тон герцога.

— Что изволите приказать, ваша свет-

лость? Всегда благодарен за вашу милость и поставлю за счастье заслужить!

— Она опасна, Рейнгольд, — сказал герцог, — очень опасна! Теперь боится умереть и мучится ужасно! Она не встаёт, а без неё мы пропадём! Вот что: поезжайте к Остерману и спросите, что делать. Он был сердит на меня последнее время, ну да мы свои, немцы, сочтёмся!

Левенвольд поехал и привёз ответ Остермана, что нужно прежде всего подумать о том, кого назначить наследником.

— Если принца Иоанна, то, естественно, Анна Леопольдовна должна быть правительницей, а при ней может быть совет под председательством, если это будет угодно вашей светлости.

Бирон поморщился.

«Гм! С такой правительницей да совет... Нет, это вздор! Это Остерман себе на руку тянет! — подумал герцог. — В совете всякий своё начнёт».

Он позвал кабинет-министров.

Приехали князь Черкасский и Бестужев-Рюмин.

— А Остерман?

— Он уже недели две никуда не выезжает! — отвечал Рюмин.

— Съездите, господа, к нему, поговорите, что делать. Совет, по-моему, неудобно!

— Решительно неудобно, ваша светлость, — напомнит только верховников, — поддакнул Бестужев-Рюмин.

— Регентство! — проговорил князь Черкасский, едва ли думая, что говорит.

— Да! — заметил Бирон. — Это было бы хорошо! Только кто же будет регентом? — И он как-то неопределённо поглядел на Черкасского, потом на окно, потом на свой собственный портрет, который висел тут, изображая его в герцогской мантии и курляндском, кетлеровском венце.

— Поезжайте, господа, поговорите и всего лучше убедите его приехать самого. Понимаю, что он нездоров, да ведь бывают случаи, когда и нездоровье перемочь можно.

Но Остерман был не такой человек, который бы без видимой для себя пользы стал перемогать своё нездоровье.

Когда Бестужев и Черкасский приехали к

Остерману, он вместе с своими только что перешёл после обеда из столовой в гостиную.

Он сидел на диване и весело разговаривал с Стрешневым, вспоминая падение Меншикова и свои бюллетени к нему, в которых он никогда не забывал упомянуть о чувствах уважения своего питомца к его опекуну и преданности к его невесте.

Правда, ноги его были увязаны и лежали на табуретке, но это было скорее по привычке, чем вследствие тяжкой боли, или просто для формы, так как он сказывался больным. Рассказывая, как он перефразировал слова своего царственного воспитанника, например, слова: «пусть убирался бы к чёрту» заменял словами: «чтобы вы неизменно следовали к вашему благополучию», Остерман смеялся.

Но как только официант доложил о приезде кабинет-министров, вся фигура и поза Остермана изменили своё положение. Он как-то опустился, лицо его приняло выражение болезненного страдания, весь он сторбился.

Бестужев, войдя, начал говорить о приклю-

чившемся несчастью, сказал, что императрице очень дурно и что они, как высшее правительство, должны принять заблаговременно меры, чтобы, в случае несчастья, не произошло какого-либо недоумения и беспорядка, могущего отразиться смутами и беспокойством на всём государстве.

В ответ на эту речь Остерман застонал, прикладывая руку к правой стороне груди, будто чувствовал в ней невыразимые страдания. Потом он начал высказывать свою всегдашнюю вечную жалобу, что он больной, хилый старик, не в силах шевелиться и, пожалуй, находится сам в положении более опасном, чем государыня; что подагра его уже поднялась к груди и его душит; что, наконец, он, как иностранец по происхождению, не считает себя вправе подавать советы в таком важном деле, касающемся благополучия всей империи. Однако в заключение прибавил, что, по его мнению, главнейше следует озаботиться назначением наследника и что если императрица желает назначить наследником своего внука, принца Иоанна, так как сукцесоры мужского пола, по завещанию импера-

трицы Екатерины, должны иметь предпочтение перед сукцессорами женскими, то он постарается заготовить о том манифест.

— Да кто же управлять-то станет? — спросил Бестужев. — Не шестимесячный же ребёнок? Нужно что-нибудь установить! Герцог находит, что назначение совета неудобно. В малом числе персон совет напомнит верховников, а в большом обернёт нас в польскую кожу, где всякий своё кричит, а дела никто не делает.

Но только Бестужев начал это говорить, как Остерман так застонал и завопил и так начал поводить глазами, что Бестужев и Черкасский подумали: «Да и в самом деле уж не кончается ли он?» Графиня Марфа Ивановна забегала, засуежилась, стала прикладывать какие-то примочки, давать лекарство; Стрешнев поехал за доктором. Однако ж между стоном и возгласами Остерман успел проговорить:

— Это дело не к спеху! Будет назначен наследник, правительство всегда успеют установить. Если бы, не приведи бог, и случилось несчастье, всё найдётся время подумать!

Потом он стал просить извинения и велел отнести себя в спальню и там велел даже закрыть окна, говоря, что дневной свет его раздражает. Только, прощаясь, он опять прибавил, что манифест о наследнике, если государыня избирает внука, у него готов, стоит только подписать. Более ничего у него кабинет-министры выжать не могли. Но когда они уже садились в карету, он вдруг выслал им готовый проект манифеста о наследстве, чисто переписанный и совсем готовый к подписи.

Около государыни ухаживала в это время герцогиня Бирон, состоявшая при ней фрейлиной ещё в бытность её герцогиней курляндской и не разлучавшаяся с ней никогда, поэтому знакомая со всеми её привычками, и старшая камер-фрау Юшкова. Они видели, что фрейлины и камер-юнгферы только суеются и мешают, поэтому распорядились позвать ещё комнатную девушку Авдотью Андреевну и выгнали всех остальных. Вместе они раздели государыню и уложили в постель. Прибыли доктора: Блюментрост, Листениус и Фишер. Они приняли решительные меры. К больному боку приложили мушку,

ноги приказали растирать особой мазью. Дали каких-то порошков. Императрица начала приходить в себя. Вместе с тем доктора не могли ещё уловить значение припадка той странной болезни, которая поразила государыню, и послали пригласить бывшего тогда в Петербурге знаменитого португальца Рибейру Санхеца. Блюментрост просил герцогиню, чтобы она передала своему мужу-герцогу, что не худо бы послать нарочного в Москву за престарелым Быдлау, в диагностической опытности которого он имел случай убедиться.

Между тем в залах дворца собрались все, приглашённые Бироном по случаю внезапной болезни императрицы. Между ними царствовало молчание. Никто не решался высказывать своих мыслей. Всесильный временщик был тут, а участь Волынского была у всех в памяти. Бестужев стал говорить о необходимости назначить наследника; решили просить Бирона представить императрице общую мольбу о таком назначении и разъехались с тем, чтобы собраться на другой день, в случае если облегчения в болезни государы-

ни не последует.

На другой день в Летнем дворце в комнатах Бирона собрались опять особо приглашённые лица из высших гражданских, военных и придворных сановников для обсуждения положения государства в случае несчастья с императрицей.

Приехали оба кабинет-министра, князь Черкасский и Бестужев-Рюмин; Остерман по-прежнему лежал у себя в тёмной спальне и на осведомления о его здоровье отвечал, что ему хуже; приехал обер-шталмейстер государыни князь Александр Борисович Куракин, сын бывшего посла в Париже, там и воспитавшийся, вельможа разумный и деликатный, только весьма заносчивый. Он был большой приятель с князем Андреем Дмитриевичем Зацепиным и известен тем, что, несмотря на то что любил болтать, тоже никогда не разговаривал ни с какой прислугой. Он был кровный и непримиримый враг Волынского. Приехали также: начальник Тайной канцелярии генерал-аншеф Андрей Иванович Ушаков, генерал-аншеф Александр Иванович Румянцев, обер-гофмейстер Рейн-

гольд Иванович Левенвольд, председатель Коммерц-коллегии Карл Иванович Менгден, фельдмаршал Иван Юрьевич Трубецкой, тайный советник Иван Иванович Неплюев и вице-адмирал, обер-егермейстер и сенатор Андрей Дмитриевич Зацепин.

— Посмотрю, чем эта комедия кончится, — сказал он племяннику, садясь в карету и назначив ему видеться с ним вечером на игре у Леклер.

Только что всё вышеназванные особы собрались в Летнем дворце, как к ним ещё, по особому приглашению герцога, присоединились: генерал-поручик командир Измайловского полка Густав Карлович Бирон — брат герцога и сенатор Григорий Петрович Чернышев.

Герцога Бирона не было, он был у императрицы.

Разумеется, интересом минуты было здоровье государыни, и общий разговор обращался около новостей, сообщаемых докторами.

Иван Юрьевич Трубецкой рассказывал князю Андрею Дмитриевичу, как вчера, бу-

дучи приглашённым императрицей к обеду, он остался голодный; как государыня сперва была весела и смеялась над его заиканьем и как потом вдруг...

Но все, говоря об императрице, старались всеми мерами избегать подводного камня, ради которого собрались тут, то есть случая её смерти. Ни один из них даже намёка не сделал на вопрос: «А что будет, если императрица скончается?»

Вошли Миних и генерал-прокурор Никита Юрьевич Трубецкой, племянник фельдмаршала. Миних окидывал всех своим приветливым взглядом и улыбался своей обыкновенной, добродушной улыбкой.

— Ну что наша покровительница, наша матушка царица? Да пошлёт ей Бог исцеление! Что доктора? Где герцог? — спрашивал Миних, обращаясь к Левенвольду, протягивая руку и здороваясь по очереди со всеми, кроме Густава Бирона и Бестужева, с которыми был в ссоре.

Те тоже старались сделать вид, будто не заметили прихода Миниха.

С Густавом Бироном Миних был во вражде

ещё с осады Хотина за то, что тот отказался исполнить его какое-то весьма дерзкое предложение. Бестужева же он не любил как явно-го сторонника Бирона, а в последнее время имел, кроме того, с ним в кабинете крупный разговор по вопросу об отпуске денег на артиллерию.

Бестужев знал, что поступившие в штатс-контору деньги Бирон полагал выпросить у государыни, чтобы приличным образом обставить дом своего сына, наследного принца курляндского и семигальского Петра, командира полка конной гвардии, за которого, впрочем, по его молодости, управлял полком премьер-майор Ливен. Принцу в будущем феврале должно было минусть семнадцать лет, и он должен был вступить сам в исправление своих должностей; а Миних ни с того ни с сего, узнав, что в штатс-конторе есть остатки, вздумал просить их на артиллерию. Бестужев говорил, что, по случаю окончания победоносной войны под предводительством самого Миниха России неоткуда ждать неприятелей; что с Швециею, если бы та вздумала воевать, можно управиться и с той ар-

тиллериею, какая есть, а что есть другие, более настоятельные государственные нужды и прочее. Миних же говорил: воюй на мир, а мирись на войну; оружие и в мире, и в войне одинаково должно быть в исправности, и это есть первейшая государственная необходимость; наконец, что, сидя дома за бумагами, легко управляться не только с Швецией, а с целым миром, но когда дойдёт до дела, так бумажные-то борзописцы обыкновенно по углам прячутся; а он знает, легко ли в поле управляться.

Бестужев не уступал. Миних горячился и тем более считал себя вправе требовать, что просил на дело действительно необходимое и что не знал тех мотивов, по коим кабинет так упорно ему отказывает.

Вошёл герцог. Высокомерно окинув взглядом присутствующих, приветствовавших его низкими поклонами, он объявил, что состояние здоровья императрицы опасно.

— Теперь она заснула, — прибавил он, — и доктора надеются, что этот сон подкрепит её силы и будет содействовать благоприятному исходу болезни.

«То-то ты такой опять гордый стал», — подумал Левенвольд.

— Вместе с тем, по своей материнской заботливости о спокойствии своих подданных, — продолжал Бирон, — она приказала заблаговременно обсудить и принять надлежащие меры к сохранению спокойствия государства на случай несчастья...

Проговорив это по-немецки, Бирон вновь гордо окинул взглядом присутствующих.

Все безмолвствовали.

— Долгом считаю присовокупить, — продолжал герцог, — что государыня ни в каком случае не желает, чтобы ей наследовала её племянница. На моё предложение утвердить её наследницей престола она соизволила ответить: «Разве ты её не знаешь? Она слишком беспечна, чтобы управлять». При том же и закон, определяемый завещанием императрицы Екатерины, по коему мужские сукцессоры должны быть предпочитаемы женским, заставил её назначить наследником престола своего внука, принца Иоанна. Манифест об этом приготовлен, но она желает подписать его при всех вас. Теперь вам предстоит обсу-

дить вопрос, как устроить правление во время малолетства императора.

Миних с Ушаковым сидели в стороне и тихо разговаривали между собой. Густав Бирон стоял у дверей и подозрительно всех оглядывал, постукивая шпорами и сообщая что-то Левенвольду. Остальные все молчали.

— Нужно подумать, господа, как это сделать, — начал опять Бирон. — Может быть, вы найдёте нужным учредить при особе малолетнего императора чрезвычайный совет.

Против совета начал говорить Бестужев, приводя те же доводы, что говорил и раньше.

Многие стали поддерживать мнение Бестужева и высказывались против назначения совета. Все знали, что Бирон совета не желает.

С особым рвением стал доказывать вред совета тайный советник Иван Иванович Неплюев.

— Задал бы ему жару Остерман, если бы слышал, — сказал князь Андрей Дмитриевич генерал-прокурору Трубецкому. — Я думаю, что и прислал-то он его с тем, чтобы совет отстаивать — ведь это мысль Остермана, — а он... Вот уж именно своя своих не познаша.

— Пусть их делают что хотят, — отвечал генерал-прокурор Никита Юрьевич Трубецкой. — После, захотим, по-своему переделаем.

— Тс! — сказал князь Зацепин, улыбаясь и шутливо грозя генерал-прокурору, который ту же минуту замолчал и потушил глаза.

— Граф, — сказал Бирон, обращаясь к Миниху, — слышите, что говорят и что особо объясняет господин Неплюев? Скажите ваше слово?

— Виноват, не слыхал, — отвечал Миних, добродушно улыбаясь.

— Я предложил им учредить при малолетнем императоре совет. Они не соглашаются.

— Что ж, и я скажу: в совете будет сколько голов, столько умов, а уж куда неладно дело делать, коли один тянет в одну сторону, а другой — в другую.

— Так что же делать? Государыня не находит возможным поручить управление племяннице.

— С назначением правительницей принцессы приедет сюда её отец, герцог мекленбургский, а мы знаем, что это за человек! — сказал Миних.

— Прежде всего он поссорит нас с римским двором. У него кровная вражда с Веной, и за интересы, совершенно чуждые России, — прибавил Неплюев.

— И нам всем головы порубит. Нечего сказать, характер! Нет, уж от такого правителя избави Бог! — сказал Черкасский.

— Так кого же? Разве принца Антона? — спросил опять Бирон.

Миних поморщился.

— Граф Андрей Иванович, полагаю, был бы очень рад, если бы императрица назначила правителем принца Антона, — улыбнувшись, сказал Миних. — Большие нонче приятели стали. Но я скажу про него: он был со мною в двух кампаниях, но я не знаю, что он такое; кажется, не трус, а так: ни рыба ни мясо. Да и русских дел совсем не знает. России не видал, даже в Москве не был.

— Что ж? Регентство! — сказал опять князь Черкасский, заметив, что накануне слово это произвело благоприятное впечатление на Бирона.

— Что же это будет? — спросил Зацепин у фельдмаршала Трубецкого.

— Н-н-немцев с-спр-спросить, нужно, н-н-наше д-д-дело с-ст-ст-сторона, — отвечал Трубецкой.

И оба они незаметно исчезли.

— Да что тут говорить? Регентство, если оно будет утверждено, следует принять вашей светлости. Больше никому, — начал было говорить Бестужев-Рюмин. — Вы один можете...

На этих словах он замялся, оглядывая всех кругом. Бирон мгновенно весь покраснел.

— Что же, ваша светлость, — сказал Миних, — Россию вы знаете; давно находитесь у дел; поблизости вашего герцогства вы можете управлять и империею и герцогством, к благополучию обеих; наконец, чего же лучше; по вашей преданности к государыне никто, кроме вас, не может больше заботиться о её внуке.

Слова Миниха отрадно отозвались в душе Бирона, но он молчал, оглядывая присутствующих.

— Разумеется, в иностранных землях начнутся толкования о том, что мы обошли отца и мать; но когда ни тот ни другая не могут, —

начал Бестужев, — когда вы одни можете успокоить государство в его сиротстве, в случае, чего не дай бог слышать, кончины государыни, то...

— Да, в иностранных государствах без ненависти не обойтись, — пробурчал Бирон.

Все окружили Бирона и стали просить его потрудиться для России. Тот начал отнекиваться, но отнекиваться так, как голодный кот отнекивается от сырого мяса.

В это время доложили, что государыня проснулась.

— Об этом после, господа, — сказал Бирон, — теперь вопрос о наследнике. Нам нужно отправиться к императрице и просить её, чтобы она подписала манифест.

Все пошли.

— Беда, если герцог не примет регентства, — сказал Менгден, идя вместе с Бестужевым, — мы, немцы, пропадём!

Государыня лежала на кровати, которая, стоя на возвышении, драпированная шёлковой материей и украшенная императорской короной и другими орнаментами императорской власти, всего более напоминала ката-

фалк. Драпировка была откинута. На лице государыни присутствующие видели следы чрезвычайного страдания. Подле кровати, на креслах, сидела её неизменная Бенигна Бирон. На ступенях кровати сидели и перебирали что-то две говорильни императрицы, Новокшенова и Вяземская, и дурка Ксюша, а в углу шут Педрилло устраивал люльку для козлёнка. Императрица и в болезни не могла остаться без шутов и сказочниц.

Бирон от имени всех пришедших с ним сказал, что вот они пришли просить подписать манифест о назначении наследником престола её внука, принца Иоанна.

Государыня не сказала ни слова и начала пробегать глазами манифест. Потом приподнялась и дрожащей рукой подписала его.

Затем Бирон предложил присутствующим подписать на этом манифесте удостоверение в действительности подписи государыни. Все подписывали.

— Да, Анна не может, — проговорила государыня как бы про себя и отвернулась в сторону.

Присутствующие постояли, помялись, но

никто из них не решился начать говорить. Государыня закрыла глаза; нужно было уходить, и все начали уходить, кроме Бирона. Миних уходил последним. Остановившись в дверях и держась за ручку, он сказал:

— Всемиловитивейшая государыня! Мы решили всеподданнейше просить о назначении на время малолетства императора регентом герцога Бирона. Не оставьте, всемиловитивейшая государыня!.. — Он поклонился и вышел.

Государыня не вслушалась и спросила у Бирона:

— Что он сказал?

У Бирона не хватило духу повторить. Он отвечал, что тоже не вслушался.

На следующий день опять зашёл разговор о регентстве и опять все убеждали Бирона. Наконец определение о его регентстве было написано и отнесено в спальню больной при общем прощении лиц, которым нельзя было отказаться от подписи.

— Да ты разве хочешь? — спросила государыня, когда Бирон успел ей доложить об этом.

Бирон начал было говорить о благодарности, о готовности служить России и сам запу-

тался в своих словах.

— Бедный, мне жаль тебя! — сказала государыня и подписала определение, поданное ей Остерманом, который на это время счёл нужным выздороветь.

Бирон поцеловал её руку и вышел с определением в руках к государственным чинам, которые ежедневно собирались во дворец утром, чтобы узнать о состоянии здоровья императрицы.

— Государыня ваше прошение всемилостивейше соизволила утвердить, — сказал Бирон подписавшим прошение. — Вот это определение! Ну, господа, — прибавил он затем, — вы поступили как римляне!

Что хотел выразить герцог Бирон этим сравнением, так и осталось неразъяснённым.

На другой день императрице стало хуже. Она страдала невыносимо. Бирон находился подле её постели. В стороне стояли: племянница Анна Леопольдовна, принц Антон и цесаревна Елизавета; в глубине — приближённые, государственные чины и генералитет. Молчание было мёртвое; можно, казалось, было слышать каждое биение сердца боль-

ной. Она тяжело дышала. Вдруг она как бы хотела приподняться, потом как бы вздрогнула и чисто, ясно, своим резким и громким голосом сказала Бирону: «Не бойся!» — потом повернулась на бок, вытянулась и умерла...

XII

Баритон

Катафалк императрицы был устроен величественно. Зала была обита чёрным сукном с серебряными орлами, означаящими русский государственный герб, и серебряными же слезами, долженствующими изображать слёзы её подданных. Балдахин был сделан из золотого и серебряного глазета и украшен коронами владеемых императрицею государств и атрибутами императорской самодержавной власти. Статуи, эмблемы и надписи, согласно общему аллегорическому направлению того времени, хотя до некоторой степени противоречили строгости христианского учения, но увеличивали собой торжественность.

Как любила жить покойница, так и хоро-

нилась великолепно.

Но не видно было ни истинных слёз, ни горя, ни грусти, которыми сопровождается всегда смерть великих мира, даже более жестоких и более самовластных, чем была императрица Анна.

Ни во дворце, ни в городе, ни в России никто не поминал её добрым словом, никто не сожалел о ней, не подходил к её раскрытому гробу с молитвой. Все будто боялись, будто стыдились чего-то; все ходили униженными, убитыми. Никто не решался хотя бы между собой проронить одно слово. Все молчали. Все знали, что хотя императрицы не стало, но остался её страшный фаворит, и этот фаворит теперь всесилен. Казни и пытки, которыми ознаменовывались особенно последние годы царствования Анны, были перед глазами каждого; у всех мелькали перед глазами вымогательство недоимок, экзекуция, насилие, ссылки. Все знали, что эти казни, эти насилия исходили не непосредственно от императрицы, что главной причиной, началом их был именно этот фаворит, а у него теперь самодержавная власть! И страшно, и стыдно было

каждому.

Тем не менее обстановка дворца и архиерейское служение панихид поражали редкой роскошью и блестящей торжественностью.

Вельможи по три раза в день съезжались на панихиды в своих траурных экипажах, сопровождаемые траурной свитой и прислугой. Были в глубоком трауре и их жёны, но вообще без слёз, без сожаления, как бы по форме выполняя обряд, в который никто не верит, но отказаться от выполнения которого признается неудобным; будто обряд этот тоже составлял часть выполнения условных аллегорий, будто все представляли живую картину. Не плакала о тётке даже её родная племянница Анна Леопольдовна. Она признавала себя обиженной и униженной.

Молодой Зацепин, в звании офицера гвардии, по очереди занимал с своими гренадерами караул у гроба. Семёновцы чередовались с преображенцами в отдании этой последней почести покойной государыне.

Рано утром, когда молодой Зацепин стоял у гроба, в зал вошла молоденькая Гедвига —

Елизавета Бирон. Помолившись перед гробом, она вдруг заплакала горько-горько и припала к ступеням катафалка. Молодой Зацепин подошёл к ней.

— Полноте, принцесса! — сказал он. — Воля Божия! Мы все умрём, и плакать так грешно.

— Вы ничего не знаете, князь! — отвечала сквозь слёзы девушка. — Она была единственная особа в мире, которая меня любила. Теперь я сирота, круглая сирота.

— Ваш отец...

— Он отец моих братьев, но не мой. Я его приёмная дочь... Я ничего не говорю. Пока он не обижает меня, но сердцу нельзя указать... я не люблю, я боюсь его. Я вижу, что для меня он и жена его чужие... Они меня не любят! Боже мой! Я всех хочу любить, люблю целый мир! А меня никто не любит. Любила вот она одна, да и её Бог взял.

— Отчего вы думаете, что вас никто не любит, принцесса? — спросил князь. — Правда, теперь ваш батюшка будет регент империи. Мы все его подданные, обязаны будем ему повиноваться, поэтому будем ли сметь любить?

— Разве это утешает? Разве не всё равно, отчего я буду страшна людям, от того ли, что я сама по себе не хороша, или от того, что будут бояться моего отца? Тяжело быть одинокой, всегда одинокой и видеть, что те, которых должна признавать своими близкими, слишком далеки, даже далее, чем чужие. Тяжести этого уединения вам, как мужчине, имеющему свой круг деятельности вне семейства, даже не понять.

Когда она это говорила, глазки её сверкали. Слезинка, висевшая на её реснице, как бы замерла, и щёчки покрылись румянцем. В ней не было ничего детского, ничего легкомысленного. Она, видимо, смотрела на жизнь далеко серьёзнее своих лет. Вдруг она неожиданно прибавила:

— Я хотела бы быть не страшной, а привлекательной.

— Вы будете очаровательны, прекрасная принцесса, — сказал Зацепин, невольно любуясь её милым личиком и едва начинавшими ещё обрисовываться формами. — Чувство, которое вы не находите дома, будет всюду сопровождать вас.

— Благодарю за доброе слово, — сказала девушка, — я так редко его слышу.

Начали съезжаться к панихиде. Приехала цесаревна Елизавета Петровна, Анна Леопольдовна не пришла. Она редко показывалась на панихидах: ей лень было одеваться.

Зацепин стоял позади принцессы Бирон, и та неоднократно обращалась к нему, прося его разных мелких услуг. Князь выполнял их с чувством истинного удовольствия.

Он думал: «Теперь не то. Положение изменилось. Матери нет. Но всё же её названный отец — регент империи и будет управлять всем в течение почти семнадцати лет. Из приличия, из собственной гордости он должен будет поставить её в высокое положение, а она такая милая, такая задушевная».

— Зачем вы, принцесса, с такой аккуратностью выполняете все обряды нашей религии? — спросил у неё князь Андрей Васильевич, зажигая по её просьбе свечу, которая погасла как-то при её земном поклоне. — Ведь вы немка.

— Нет! Я не знаю почему, но, мне кажется, я вовсе не немка. Я русская в душе и не знаю,

зачем меня захотели сделать лютеранкой. Правда, я родилась в Митаве, а там и церкви русской не было. Но всё равно, ведь Бог один.

Такого рода разговоры происходили между молодым князем и принцессой каждую панихиду, то есть три раза в день. Они, видимо, сближались. Ребёнок-девушка начинала уже понимать, что жизнь ведёт к живому. Дорогой прах, который она оплакивала, самой безмолвностью своей как бы указывал ей будущую радость.

Цесаревна Елизавета тоже не пропускала ни одной панихиды. Стройная, величественная, в глубоком трауре, она была как бы воплощением идеи о суде совести. Сколько перенесла она обид, огорчений, сколько неприятностей, самых тяжких, наиболее огорчающих. Она перетерпела всё. А вот теперь эта, обижавшая её, лежит бездыханна, и она молится, чтобы Господь простил её.

«Чего они от меня хотели? — думала она. — Разве они не видели, как я далека от всех притязаний, от всякого насилия.

Они не могли не видеть, что я хочу только спокойствия, только жизни. Наконец, за что

уничтожили они, за что разбили моё сердце последним страшным делом, при одной мысли о котором стынет кровь и я вся дрожу? Делом, которое смутило бы, кажется, и перевернуло душу даже ангела. Положим, что я увлеклась. Но ведь это так естественно. Ведь мне двадцать... — Последней цифры цесаревна не договорила даже в своей мысли. — Ну что ж? Разве это было им опасно? Разве это нарушало их порядок, их собственные увлечения и удовольствия?.. Нет! Так что же им было нужно?.. Они не подумали, каково мне, когда я знаю, что человека жгут, давят, ломают у него кости, и за что? За то только, что он полюбил меня, что дал мне узнать хоть на одну минуту счастье. Боже мой, боже мой! Чем я искуплю себя, чем я искуплю мой грех, что моя любовь обрекла на гибель человека? И где-то теперь он, мой Алексей? Что он обо мне думает? И думает ли он ещё обо мне? Не представляюсь ли я ему жалкой интриганкой, исчадием ада, погубившим его молодую жизнь?.. А всё она, она! Прости ей, Господи!»

Цесаревна опустилась на колени и тепло, с чувством молилась. Но глаза её были сухи,

слёзы не шли.

Певчие пели, грустно, заупокойно, в перебивах и тонах их слышались слёзы, горькие слёзы о потере.

Баритон, чудный, нежный, бархатный, с теноровыми нотами, трогаящими прямо за сердце, выделявал соло:

*Вознесём молитвы ко Господу,
И Он успокоит ны!*

Цесаревна чувствовала, что её действительно схватили за сердце эти слова, и она с растерзанным сердцем, не помня себя, припала головой к паркету и искренне отрешилась от всего живущего в молитве.

А баритон продолжал своим задушевым, серебристым голосом песнь о благодати и радости, о светлом будущем в небесных, загробных странах и разливал отраду, утешение, надежду. Цесаревна заслушивалась этого голоса и с тёплой верой твердила: «Боже, прости меня! Помяни мя, егда приедеши во царствие Твоё!»

Панихида кончилась, певчие ушли. Зацепин проводил принцессу Гедвигу до комнаты её отца, а цесаревна всё ещё стояла на коленях, молясь и вспоминая нежный, бархатный звук: «И Он успокоит ны!»

Другая панихида — и опять то же ощущение; следующая — и опять то же.

После одной из панихид цесаревна не выдержала; она захотела узнать, кто это поёт соло, и, подойдя к Левенвольду, спросила:

— У вас в капелле новый баритон, граф?

— Да, это, как его... Разуминский... Размихинский... или как его?.. А не правда ли, ваше высочество, хороший голос? Главное — чистый, молодой, без всяких этих выкрутас итальянских с горловыми украшениями! Просто сильный, грудной и симпатичный голос! Не правда ли?

— Я бы хотела его просить пропеть мне что-нибудь... Признаюсь, в настоящие, грустные минуты музыка и пение для меня одна отрада... Могу я просить...

— Помилуйте, ваше высочество. Он поставит себе за счастье. Сегодня же, после вечерней панихиды, он к вам явится.

Вечером цесаревна сидела в том же своём голландском кабинете, в котором мы видели её разговаривающей с Лестоком. Ей доложили: певчий из придворной капеллы. От графа Левенвольда, Разумовский. Цесаревна велела его позвать.

Вошёл молодой хохол, высокого роста, с бледным лицом, небольшими чёрными глазами и мягкими чёрными же и вьющимися волосами. Он был одет в старинный костюм певчих византийских императоров, с откинутыми назад рукавами, обшитый позументами и весьма прикрашенный какими-то узорочными, искусственными украшениями, вроде шнурков, кистей и тому подобного — костюм, сохранившийся для певчих до сих пор.

— Как вас зовут? — спросила цесаревна.

— Алексей Разумовский! — отвечал певчий.

«Алексей... прекрасное, дорогое для меня имя», — заметила про себя цесаревна, вспоминая Алексея Никифоровича Шубина.

— Вы давно в капелле?

— Четыре месяца.

— Можете мне что-нибудь спеть?

— Что изволите приказать, ваше высочество?

— Что-нибудь... что хотите!

Разумовский откашлялся, ударил камертоном и начал своим чистым, бархатным, серебристым голосом:

Свете тихий, святые славы...

Цесаревна слушала и задумалась. Чем больше она слушала, тем более этот чистый, симпатичный звук доходил до её сердца, тем большая отрада разливалась в ней самой. Она чувствовала, что под влиянием этого голоса она забывает и своё одиночество, и наносимые ей беспрерывно обиды; она чувствовала, что, слушая его, она прощает своих врагов.

Так на другой день, так и на третий. Раз во время его пения подали чай. Певчий перед тем пел долго. Цесаревна приказала и ему подать чаю. Но как же ему пить? Стоя — неловко! А как посадить певчего в его costume?

Да зачем он в этом costume ходит? Оказалось, что ходить ему более не в чем! Есть хох-

лацкая свитка, да в той и на улицу стыдно показать, не то что во дворец идти. Цесаревна приказала сшить ему гражданский костюм и напудрить волосы. Тогда она могла, по крайней мере, его посадить.

— Спой, голубчик Алексей, «Да исправится молитва моя!», — приказывала цесаревна уже сидящему против неё в гражданском костюме Разумовскому. — Так грустно, такая тоска на сердце! Всё же ведь двоюродная тётка была.

И пел Алексей: «Да исправится молитва моя! Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи!»

Цесаревна заслушивалась. Иногда она тоненьким голоском своим пробовала вторить. И голоса их сливались в восторженной молитве.

Раз цесаревна спросила:

— А что, Алексей, ты не знаешь какого-нибудь романса, песенки или чего-нибудь из простого, нецерковного?

Разумовский задумался на минуту и запел известную малороссийскую песню:

Віют вітры, віют буйны...

Нежный задумчивый мотив и искренность гармонического малороссийского языка глубоко тронули цесаревну. Перед ней пронеслось всё её детство: с её великим, вечно занятым и вечно озабоченным отцом, с доброй, но слабой и не владеющей собою матерью; потом интриги и злоба двора, где не было искреннего слова, где всё было ложь и притворство, где самое чувство едва только прикрывало порок. И она невольно стала думать о своём серденьке, растерзанном и размётанном бурями жизни прежде, чем оно получило истинный отзыв, прежде чем отразилось оно в чужом чувстве. Разумовский кончил и сидел задумчиво. Она просила повторить, взяла арфу, подобрала тон и запела вместе с ним. Разумовский её поправлял. Они спелись. И нежная, задушевная, грустная малороссийская песня неслась тихо и стройно по залам дворца.

После они стали часто петь вместе под аккомпанемент арфы. Цесаревна знакомила Разумовского с новыми произведениями ита-

льянской музыки. Тогда в ходу был Спонтини, и Чимароза начинал уже свою славную музыкальную карьеру. Полные мелодии и чувства арии Чимарозы вполне совпадали с их голосами и с их внутренним чувством.

Однажды Левенвольд встретился с цесаревной во дворце и спросил её: «Угодил ли ей певчий?»

— О да! — отвечала цесаревна, не подозревая в вопросе иронии. — Я очень благодарна вам, граф. Только, к сожалению, у меня часто отнимают его то на службу, то на спевку; ну а в другое время бывает, что и мне некогда!

— Хотите, ваше высочество, я его подарю вам совсем?

— Как это?

— Очень просто! Прикажу исключить из капеллы и зачислить в ваш штат. Нам же из Киева нового баритона прислали, тоже хороший баритон!

— Вы меня обяжете! — отвечала Елизавета Петровна. — Мне очень нравится его голос.

Бывая ежедневно у цесаревны, и уже не как певчий, прикованный к своей капелле хуже чем крепостным правом, а как артист,

доставляющий цесаревне удовольствие, наш хохол понемногу начал отшлифовываться и становиться похожим на людей. Им занимались уже и Нарышкин, и Шуваловы, и Лесток, и Воронцов. Особенно же заботилась о нём Мавра Егоровна Шепелева, проводившая целые часы в том, чтобы удовлетворять его любознательность.

— Отчего ты всегда такой грустный, Алексей? — спросила у него однажды цесаревна.

— Як же міні не быть грустным, милостывая цесаревна моя, — отвечал он. — Чи моя жизнь гарно біжит? Бачу, люди живут, як люди, яж едын як бис, прости Господи, в колпаке!

— Чего же недостаёт тебе? Ты нуждаешься в чём?

— Ні-ні, милостывая моя государыня! Я не тронул ще йтого, що вы мини на прошлой неділи прислалы! Куды мені и на що? А вот у людей отец есть, маты, братья... А я тут один як перст! Вона слышу: батько умер, а маты и грамоти брата обучить не може.

— Ну, бог даст, обучим! Не скучай! Спой что-нибудь!

Разумовский, под влиянием грустных мыслей, запел:

*У сусіда хата біла,
У сусіда жінка мила,
А у мене, сиротинки,
Нема́ хаты, нема́ жінки!*

Елизавета взглянула на него: у хлопца на глазах были слёзы.

— Ну, не грусти же; о чём такая грусть?

— Як же не грустыть, прекрасная цесаревна! Сиротинкой жив, сиротинкой и умру!

— А как знать, может, бог даст, найдёшь кого себе по сердцу, тебя тоже дивчина полюбит, вот и жинка будет; а «хату билу» я тебе выстрою!

— Ни, цесаревна, хто полюбит мене бесталанного? Да йне хочу я ничьей любви!

— А что бы ты сказал, если бы я тебя любила? Хохол задрожал.

— Ні, ні! Як же то можно, щоб звіздочка з неба сама упала! Не гарно дразнить удальца! Не быть чистому золоту в деревенской грязи, не горить мисюцю ясным солнышком.

Он это говорил, а сам безумно целовал протянутую руку цесаревны и обливал её слезами...

В то же время молодой Зацепин рассчитывал так: «Гедвига, прекрасное имя! Звучит чем-то средневековым, чем-то романтическим! Гедвига — Елизавета! Разумеется, по-русски нужно звать Елизаветой, но и Гедвига хорошо. Ей скоро будет четырнадцать лет, стало быть, всего ожидать два года, и видимо, что до своего регентства ни герцог, ни герцогиня были не прочь... Теперь дело другое. Зато теперь-то игра и стоит свеч; теперь-то и нужно добиться, чтобы сближение пришло само собой, а с ним и политическое значение рода князей Зацепиных, которых я должен быть представителем». И он задумался. Но через минуту мысли его приняли другое направление. «А то вот ещё, — вспоминал он про себя, — вчера провёл я вечер у Анны Леопольдовны. Она, положим, мать императора, но в такой мере без значения, что, пожалуй, не смеет переменить своего камердинера без воли герцога. А о цесаревне и говорить нечего: та сама должна зависеть от милостей гер-

цога. Думаю, ей очень обидно зависеть от проходимца! Что ж делать, когда вся сила в этом проходимце, когда всё соединилось, слилось в его руках?.. Однако ж все вообще им недовольны. Везде глухой ропот! Я, разумеется, держу себя в стороне, но не слышать не могу. Лизетта говорила, что она боится, что её названный отец бросится в жестокости. От его характера легко можно ожидать этого. Тогда он погубит себя наверное. Ни Остерман, ни Миних не прозевают. Они следят зорко... Давно я дяди не видал; нужно бы с ним поговорить и посоветоваться, да всё с своей Лизонькой вожусь. Этот ребёнок, кажется, привязался ко мне искренно. Признаться, и я очень люблю её, особенно когда вспоминаю, что всё же она законная, признанная и единственная дочь владетельного герцога Курляндии и Семигалии и самодержавного регента русской империи. Что тут ни говори, а это стоит того, чтобы подумать, очень подумать и, пожалуй, — прибавил он, засмеявшись, — бросить свою Леклер...»

XIII

Бирон в политике

Политическая жизнь России текла своим чередом. Бирон принял в свои руки самодержавную власть и опеку над империей и императором. Из получаемых со всех сторон донесений он не мог не видеть, что сделанным покойной императрицей распоряжением недовольны, что его правление признают недостойным величия России, оскорбляющим её народное чувство. Как истинный курляндец, он не признавал за русскими способности к народному чувству, к народной гордости, поэтому относил это неудовольствие и чувствуемый всюду глухой, но общий ропот к причинам внешним.

В виду его не было знатных фамилий, которые могли бы восстать против его правления в силу своего авторитета в народе; между русскими не было уже людей, которые могли бы отстаивать народные права и народное достоинство. Давно уже все части управления

были в руках немцев. Откуда же ропот, откуда неудовольствие? Подозрительность указала ему на мать и отца императора, принцессу Анну Леопольдовну и принца Антона Брауншвейгского.

Но он знал, что принцесса слишком апатична, слишком ленива, чтобы самой начать действовать. Он знал, что для неё высшим наслаждением было сидеть повязанной белым платком и неодетой с своей неизменной подругой Юлианой Менгден, перебирать какие-нибудь бирюльки, вроде старых бус или браслетов, читать романы, а по вечерам играть в карты с близкими людьми, среди которых, для разнообразия, могли быть один или двое молодых людей, которых можно было бы задевать в виде шутки, с которыми можно было бы бесцельно пококетничать, вспоминая графа Линара. Дайте ей всё это, и она будет счастлива. Так неужели это всё маленький, хворенький, тихонький принц Антон?

«О, если так, я уничтожу его! — говорил себе Бирон. — Я окружу его шпионами, выведу из себя неприятностями, выгоню из России. Притом разве нельзя ему сделать противовес,

разве нельзя найти другого? А цесаревна Елизавета Петровна?

Если они не хотят понять, если не умеют ценить, что самый манифест о наследовании был подписан покойной императрицей по моему настоянию, что если бы я захотел, то не было бы никаких Антоновичей, — то я сумею принять меры: во-первых, может быть, револют; во-вторых, самое естественное — ребёнок может умереть... Ведь в политике над такими вещами не задумываются. А тогда прямой наследник — принц голштинский и цесаревна Елизавета. Об этом можно поговорить, можно приготовить! Я могу остаться регентом. Голштинский принц может жениться на Гедвиге. Можно придумать, впрочем, и другую комбинацию. Мой сын Пётр может жениться на цесаревне. Правда, по летам он ей не пара, ему семнадцать, а ей тридцать, но опять-таки в политике на это не обращают внимания. Она же так хороша, увлекательно хороша! Пожалуй, я сам могу жениться на ней. Я не стар, мне нет пятидесяти. Бенигна мне сослужила службу, и довольно! Она останется герцогиней курляндской. Я предостав-

лю ей весь свой герцогский доход. Елизавета будет императрицей, а я регентом и её первым министром или просто в качестве супруга буду управлять от её имени».

В это время дежурный камер-юнкер доложил ему о приезде генерал-аншефа Андрея Ивановича Ушакова. Бирон велел позвать.

Вошёл седой старик, в полной форме и александровской ленте.

Помощник сурового князя-кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского, принявший от него Преображенский приказ, обращённый потом в Тайную канцелярию, коей Ушаков был неизменным начальником, он на своём веку переломал столько человеческих костей, сколько не найдёшь, перекопав большое кладбище. Он был человек сдержанный, спокойный, пожалуй, доброжелательный, но неотступающий ни на одну йоту от того, что он считал долгом повиновения, как бы долг этот ни казался всякому другому жестоким. Вне служебных отношений он всякому готов был помочь, услужить, ко всякому был приветлив, ласков и доступен, — что читатели и видели из разговора его с Лестоком о Шубине.

Но чуть дело касалось обязанности, то ни мольбы, ни слёзы, ни подкуп, ни влияние — ничто уже не могло ни остановить его вечно карающей руки, ни даже изменить его взгляд, всегда спокойный и снисходительный, но смотрящий на всевозможные страдания совершенно бесчувственно. Это был тот страшный Ушаков, при одном имени которого, надо полагать, вздрагивает прах уже истлевших костей наших прапрадедов.

— К вашему высочеству по приказу имею честь явиться! — сказал Ушаков, отойдя от двери три шага и сохраняя позицию офицера в форме, являющегося к своему начальнику, хотя не далее как недели с полторы назад он, начальник Тайной канцелярии, генерал-аншеф Ушаков, разговаривал с обер-камергером Бироном как с равным и, пожалуй, мог ещё смотреть на него как на зависимого, так как обер-камергер мог попасть в руки начальнику Тайной канцелярии, а начальник Тайной канцелярии никогда не мог попасть в руки обер-камергера.

— Здравствуйте, Андрей Иванович, — сказал Бирон несколько слащеватым, но высоко-

мерным голосом. — Ну что у вас там, как?

— Согласно приказу вашего высочества экзаменовал крепко. Ханыкова полчаса на дыбе держал, дал четырнадцать ударов. Руки, почитай, совсем вывернулись, так что пришлось вправлять, и до укрепления новую встряску давать нельзя.

— Огнём не пытали?

— Никак нет, ваше высочество; к огню полагается на втором пристрастии прибегать, а в колодку и тиски ставил; рукито испорчены были, так, думаю, в ногах ещё есть сила. Больше четверти часа держал, семь оборотов сделал!

— Ну что ж выяснилось?

— Двух новых участников открыли; велел взять. Завтра допрашивать буду. Ещё, по доносу вашему высочеству князя Черкасского, подполковника Пустошкина велел арестовать; тоже экзаменовать завтра стану. Но чтобы было видно прямое, непосредственное участие принца Брауншвейгского, этого не могу ещё сказать.

В продолжение всего времени Ушаков стоял навтыжку, тогда как Бирон сидел в своих

высоких герцогских креслах, хотя Ушакову в то время было лет около семидесяти. Но старый петровский служака вида не подал, что это для него тяжело или обидно. Он стоял перед ним так, как не позволил бы себе требовать такой стоянки даже от своего крепостного лакея.

Бирону наконец самому стало совестно. Несмотря на всё нахальство, на всю низость обычаев и понятий этой польско-немецкой полушляхты, этих княжеских дворецких и маршалов в домах и дворах польских магнатов и немецких баронов, из среды которой вышел Бирон, он понял, что неподобающе отнёсся к старому, заслуженному генералу, тем более что этот генерал нужен. От него зависят допросы, стало быть, и раскрытие тех подпольных интриг, которых Бирон всего более боялся. «Для этих допросов, — думал про себя Бирон, — он незаменим по своему хладнокровию и навыку».

— Садись, Андрей Иванович, побеседуем! — сказал Бирон, стараясь держать себя на высоте владетельной особы.

Но Ушаков сделал вид, что не слышал по-

следних слов, и остался в прежней позе.

Тогда Бирон почувствовал сам неловкость своего положения. Повторить своих слов ему не хотелось, а между тем не хотелось и отпустить старика в таком виде, что он может считать себя обиженным. Он решился вывернуться из этого положения лакейской фамильярностью. Подойдя к Ушакову, он взял его шляпу и проговорил:

— Идём завтракать, Ушаков; успокой герцогиню, скажи, что ничего особого нет, и всё спокойно.

Но спокойно не было.

— До чего мы дожили? — говорил Аргамаков, поручик Преображенского полка. — Позор! Всё русское царство на позор отдали! Лучше бы сам заколол себя, а не допустил бы до такого стыда нашего. И хоть бы жилы из меня тянуть стали, я говорить это не перестану.

На другой день Ушаков и тянул у него жилы, спрашивая у него, когда тот висел уже на дыбе, кто его подучал да с кем говорил. Аргамаков молчал.

С спокойной, даже как бы с соболезнующей

щей улыбкой Ушаков приказал дать ему встряску и три удара. И когда в страшных болях в вывернутых руках, в нервных судорогах Аргамаков застонал, то Ушаков спросил опять:

— Говори, любезный Аргамаков, не мучь ни себя, ни нас; зачем ты говорил, когда тебя никто не подучал и ты ни для кого не старался?

— Сердце наболело, потому и говорил; родную землю жалко стало... вот что!

Его спустили с дыбы без чувств и не добились более ни слова.

Но подозрению Бирона была дана новая пища. Он имел уже основание подозревать родительницу императора и её супруга в кознях против себя. Секретарь принцессы, Михайло Семёнов, распространял слух, что указ покойной императрицы Анны о назначении регентства — подложный, и в этом деле оказались замешанными кабинет-секретарь Яковлев и адъютант принца Антона Пётр Граматин.

Бирон поехал сам в Зимний дворец, где помещался император и жили его родители,

принц и принцесса Брауншвейгские.

Это было рано утром. Герцог вошёл во дворец в сопровождении генерала Бисмарка и двух адъютантов. Не говоря никому ни слова, он прямо прошёл во внутренние покои принцессы. Разумеется, всё преклонилось перед грозным и всемогущим регентом. Пройдя приёмные комнаты, в последней из них, перед самой спальней принцессы, он нашёл принца Антона, в халате, переговаривающимся через щёлку запертых дверей с любимицей принцессы Юлианой Густавовной Менгден.

Принц просил отворить, Юлиана не соглашалась.

— Нельзя к нам, никак нельзя! Мы только что заснули!

— Полноте, мадемуазель Жюли, отворите; вы вчера ещё обещали; сказали, что сегодня будет можно!

— Никак нельзя, никак нельзя! Ведь я не знала, что принцесса сегодня всю ночь напролёт не заснёт.

— Да полноте же, ведь я на одну минуту...

— Ни на секунду нельзя! Вы только разбу-

дите!

Дело в том, что принц спал у себя в кабинете и ему дозволялось приходить к принцессе только по утрам. Но часто, отправляясь утром, он находил двери спальни запертыми и должен был переговариваться с Менгден, которая всегда спала с принцессой на одной кровати.

В такую-то критическую минуту, когда Менгден решительно отказалась отворить двери, принц Антон встретил Бирона с генералом Бисмарком и двумя адъютантами.

— Ваше высочество! — сконфуженно проговорил принц Антон, завёртываясь крепче в свой бархатный халат и теряя с одной ноги туфлю.

— Да! Ваше высочество! Моё высочество пришло с тем, чтобы объявить вам, что если ещё так продолжаться станет, то кончится худо, очень худо! Что вы затеваете? Что вы думаете? На что вы надеетесь? Вы думаете, что вас ваш полк поддержит? Я не боюсь никаких полков! Я вам покажу! Я прикажу пытаться Граматина! Прикажу пытаться Семёнова! Прикажу с них с живых кожу содрать! И если окажется,

что вы... то берегитесь!

Принц, пришедший в эту комнату совершенно с иными целями и надеждами и ничего не слыхавший об аресте своего адъютанта и секретаря его жены, совершенно растерялся.

— Что вы думаете? — кричал уже Бирон, расходясь более и более. — Что вы отец императора? Что вы неприкосновенны? Вы ошибаетесь, очень ошибаетесь! Да, вы отец императора, но с тем вместе вы его первый подданный. И если окажется, что вы виноваты хотя только в подыскивании, в подзадоривании, то я велю сейчас же вас арестовать! Император Пётр дал пример. Он не пожалел отдать на пытку бунтовщика-сына! Мне нет повода жалеть бунтовщика-отца! Если вы надеетесь на цесарцев, на венский двор, то тоже ошибаетесь, очень ошибаетесь. Вам здесь отрубят голову прежде, чем венский двор надумается о вас писать!

Принц Антон слушал эту жестокую, с угрозами и криком речь расвирепевшего герцога, хлопая глазами. Он не находил слов для ответа и не понимал, в чём дело.

В это время двери из спальни отворились и показалась принцесса Анна Леопольдовна. В ночном пеньюаре, как она встала с постели, с головой, повязанной по-русски платком и с накинутой на плечи душегрейкой, она походила скорее на явление с того света, походила на что-то вышедшее из прошлой жизни. Тем не менее стройная фигурка и свеженькое личико принцессы с заспанными глазками заставили принца Антона облизнуться.

— Ну, полно, дядя-герцог, — сказала принцесса по-немецки. — Не брани его! Не делай напрасно шума!.. Помнишь, покойная тётушка любила, когда я звала тебя дядюшкой, так ты не сердись очень на племянника. Он ведь сам не знает, что иногда болтает! Я даю тебе слово смотреть за ним! Прошу... — и принцесса положила свою руку на плечо Бирона. — Не сердись же!

— Ваше высочество, — отвечал Бирон, понижая голос. — Вы знаете, как я был предан покойной моей благодетельнице, вашей тётушке, и, ради её памяти, готов всё сделать! С тем вместе я должен сказать, что не только он, но если бы даже сами вы решились поку-

ситься на спокойствие государства, то и вас бы я не пожалел! Потому вперёд прошу вас подчиниться вполне воле и распоряжению покойной вашей тётушки. Что оно действительное, а не подложное, как сателитам принца угодно утверждать, — это я ему докажу. Но опять повторяю: если ещё будут продолжаться движения в этом смысле, — может кончиться худо, очень худо, и прежде всего я буду вынужден выпроводить вас с вашим супругом из России.

Бирон с спутниками уехал; принцесса с Менгден опять запёрлась в своей спальне, даже не взглянув на своего сконфуженного супруга, а принц Антон, подобрав халат и повесив нос, поневоле должен был отправиться в свой кабинет. Там ждало его приглашение явиться в чрезвычайное заседание кабинет-министров, Сената и генералитета, для объяснения по важному государственному делу.

В собрании он нашёл Бирона и не менее двадцати человек — министров, сенаторов, председателей коллегий, фельдмаршалов, генерал-аншефов и адмиралов. Бирон председа-

тельствовав, против Бирона сидел Остерман.

Для принца не приготовлено было даже стула. Он должен был стоять, как подсудимый. Только что он вошёл, двери за ним закрылись. Принц слышал, как щёлкнул замок. Невольно сконфуженный, он подошёл к столу против Бирона, поклонился, но Бирон будто его не заметил, оставив его поклон без ответа. Он излагал перед присутствующими сущность дела на основании показаний, данных на допросах с пристрастием лицами, оказавшимися приверженцами Брауншвейгской фамилии. Он объяснял, что хотя ни Ханьков, ни Аргамаков, ни Пустошкин и другие не указали на непосредственное сношение с принцем, но что их действия основывались на слухах, распускаемых умышленно его секретарём и адъютантом о подложности будто бы сделанного покойной императрицей распоряжения, — слухов, распускаемых, видимо, с целью произвести смуту, волнение и привести, может быть, к кровопролитию. Затем, выяснив о сношениях принца, через Семёнова, с кабинет-секретарём Яковлевым, который поддерживал мысль о подложности всех со-

ставленных бумаг, Бирон вынул из портфеля подлинное распоряжение императрицы о регентстве и спросил у Остермана, та ли это бумага, которую он носил к подписи, и при нём ли государыня её подписала. На утвердительный ответ Остермана он обратился к Левенвольду и спросил, та ли это бумага, которую при нём государыня приказала своей камер-фрау Юшковой положить в шкатулку с драгоценностями. Получив тоже утвердительный ответ, он обратился к фельдмаршалу князю Трубецкому с тем же вопросом.

— Д-д-да! Э-эт-а с-с-самая! — отвечал Трубецкой.

— При ком подписала государыня определение, ей вами поданное? — спросил он у Остермана опять.

— При вашем высочестве, князе Куракине, тайных советниках Неплюеве и Нарышкине, — отвечал Остерман.

— Господа! Подтвердите принцу, что это так было!

Поименованные лица встали и подтвердили, что они были свидетелями в действительности подписи императрицы.

— Стало быть, вопрос о подложности не имеет места? — продолжал Бирон.

— Теперь я прошу вас сказать собранию, чего вы хотели? Какая ваша цель? — продолжал Бирон, обращаясь к принцу. — Говорите искренне, во избежание более тяжких последствий.

И он остановил на принце свой жёсткий, пристальный взгляд.

Принц, запуганный, сконфуженный, сквозь слёзы стал просить снисхождения; винился, что хотел изменить распоряжение о регентстве, хотел взять на себя управление империею во время малолетства сына.

— Вы хотели произвести бунт? — спросил его генерал-прокурор Трубецкой.

— Я, нет... я... — начал было принц, но Трубецкой перебил его:

— Как же нет, когда вы хотели поднять войска, арестовать министров... Извольте говорить искренне!

Принц со слезами на глазах признался, что он хотел достигнуть этого, хотя бы при помощи бунта, и опять просил снисхождения.

Тогда к нему обратился Андрей Иванович

Ушаков.

— Ваше высочество! — начал говорить Ушаков. — Ваше высокое положение определяет вам ваши обязанности! По своей молодости и неопытности вы могли быть обмануты, вовлечены в противность тому, что составляет народное благополучие. Но подумайте! Если вы будете держать себя как следует, то мы будем почитать вас как отца нашего императора и все сатисфакции вам отдавать с почтением. Если же вы, вопреки всякого чаяния, будете оказывать противность, то будем признавать вас подданным нашего государя, и тогда с крайним моим прискорбием я принуждён буду отнестись к вам с тою же строгостью, как и к последнему из подданных его величества.

Эта грозная речь управляющего Тайной канцелярией, страшного Ушакова, в соединении с мыслью, что ведь он может сейчас же взять, арестовать и, пожалуй, подвергнуть пытке, так как между присутствующими, он видел, не было никого, кто бы решился сказать за него хоть слово, — заставили принца нервно вздрогнуть, а тут раздалась ещё высо-

комерная речь Бирона.

— Впрочем, господа, может быть, кто-нибудь из вас находит, что его высочество с бóльшим достоинством и пользой может управлять столь обширным государством, какова Российская империя, то прошу высказаться! По распоряжению покойной императрицы я имею право отказаться от регентства, и если это будет согласно с общим желанием, то я сейчас же и моё место, и управление передам в руки его высочества.

Но кто же смел бы ответить на такой вызов всесильного регента, и ещё в присутствии начальника Тайной канцелярии, когда все присутствующие знали, что караул на дворе занят с заряженными ружьями от полка его брата Густава Бирона и что шесть армейских полков под начальством Бреверна и Бисмарка идут, а частью уже пришли для охраны спокойствия столицы. Миниха на заседании не было. Разумеется, не отвечал никто. Напротив, поднялось несколько голосов, которые выразили своё всепреданнейшее желание, чтобы герцог ради общего блага посвятил свои труды России. Между этими голоса-

ми особо ярко выставлялись всепреданнейшие прощения кабинет-министров Остермана, Черкасского и Бестужева.

Когда это было высказано, герцог гордо обратился к принцу:

— Вы слышали, ваше высочество, общее мнение высших членов управления и убедились, что назначение моё есть действительно воля покойной государыни; теперь скажу: берегитесь! Малейшее движение ваше — и вы не надейтесь на мою снисходительность! Я покажу вам... — продолжал он, возвышая голос, — что в России строго карают бунтовщиков, кто бы они ни были!

— Да я... — начал было говорить принц, машинально трогая эфес своей шпаги.

Бирон опять строго перебил его и, ударяя по эфесу своей шпаги, проговорил желчно:

— И на этом я готов разделаться с вами, если вам угодно! А пока извольте молчать! Вы слышали решение; извольте же держать себя соответственно тому, что вы слышали. На днях вы получите извещение о вашем содержании, которое возвышено до двухсот тысяч рублей. Постарайтесь своим скромным пове-

дением заслужить эту милость! Можете теперь идти и помните же...

Герцог позвонил, и обе половинки дверей отворились.

Принц вышел из залы собрания как отуманенный.

Возвратясь к себе, Бирон послал просить к нему цесаревну Елизавету.

Цесаревне показалось очень обидным такое требование, но, подчиняясь обстоятельствам, она сейчас же поехала к регенту.

Бирон встретил её с особым приветом.

— Простите меня, ваше высочество, что я нарушил ваше спокойствие, прося к себе. Но у вас там много любопытных ушей, а мне хотелось поговорить с вами о многих весьма серьёзных предметах, и прежде всего добавлю, что уж никак нельзя сказать, чтобы я не думал об обеспечении и удовольствии тех, к кому моё всегдашнее уважение и преданность не имеют пределов. Во внимание к тому, что такая прекрасная принцесса, как наша цесаревна, дочь великого отца, не должна нуждаться в средствах жизни, вам назначено содержание, не касаясь доходов с ваших име-

ний, прямо из казны пятьдесят тысяч рублей.

Это сообщение в такой степени было приятно цесаревне, крайне нуждавшейся в деньгах, так как она получала всего-навсего вместе с доходами от имений только сорок тысяч, в счёте которых имения давали двадцать пять тысяч, казна же только пятнадцать тысяч, что улыбка удовольствия невольно оживила её приятное и красивое лицо. Она посмотрела на Бирона с благодарностью, тем более что очень мучилась, не зная, чем покрыть некоторые счета, которые её весьма беспокоили.

Усадив цесаревну в гостиной с любезностью уже привыкшего ко двору кавалера, Бирон начал:

— Разумеется, ваше высочество, для меня чрезвычайно неловко говорить с вами о таких щекотливых предметах, как мои отношения к покойной вашей тётушке, ваше замужество и другие тому подобные предметы, требующие в большей или меньшей степени интимности и взаимной доверенности. Я никогда не был так счастлив, чтобы пользоваться вашим милостивым расположением и мог

рассчитывать на ту или другую. Но что делать, иногда интимность вызывается обстоятельствами. Я нахожусь именно в таких обстоятельствах и прошу милостиво простить, если в объяснении моём коснусь таких предметов, которые не всегда допускаются в общем разговоре.

— Что такое, герцог? Я вас слушаю!

— Вы разрешите мне говорить всё?

— Я прошу вас!

— Не стану говорить об отношениях моих к вашей тётушке. Вы их знаете. Полагаю, что вы знаете также, что мои дети — Пётр, Гедвига и Карл — дети не моей жены!

— Я думаю, ваше высочество, что ведь вы не хотите сделать меня судьёй вашей совести? — сказала цесаревна с любезной улыбкой.

— Нет! Я говорю это потому, чтобы выяснить вам желание вашей покойной тётушки сделать для моих детей всё, что может только желать любящая и попечительная мать. Естественно, что она желала наградить их всем, что было в её власти, не исключая даже своих прав царствующей государыни!

Цесаревна строго взглянула на Бирона, однако ж промолчала.

— Я говорю только о её желании. На этом основании и составлено было предположение, чтобы когда её племянница подрастёт, то императрица объявит её наследницей с тем, чтобы она вышла замуж за моего старшего сына, принца Петра. Правда, сын мой годом или двумя её моложе, но вы сами знаете, что в политике о таких вещах не рассуждают!

— Да, граф Андрей Иванович хотел же меня выдать замуж за племянника! — припомнила цесаревна.

— Тогда ясно, что престол оставался бы в её потомстве и законная, прямая наследница не была бы отстранена. Вопрос разрешался просто и к общему удовольствию.

«Забыли только обо мне; какое мне-то было бы удовольствие?» — подумала цесаревна, но тоже не сказала ни слова.

— К сожалению, её племянница, а ваша кузина оказалась совершенно невозможной женщиной. С ней нельзя говорить, не только что-нибудь делать! Она не слушает ни убеждений, ни просьб, не принимает никаких со-

ветов, а живёт в каком-то своём мире, вопреки всем доводам разума.

Чтобы сделать наперекор мне, она вышла за принца Антона, который, к сожалению, оказывается таким же невозможным, невероятным человеком, как и она. Императрица, увидев это и не желая внести смуту и разгром в своё государство, где она столь достопамятно царствовала, по материнской заботливости своей о благе подданных и по чувству справедливости назначила своим наследником малолетнего внука, ныне императора, с тем, чтобы до его совершеннолетия империей управлял я. Но вы вашим светлым разумом, цесаревна, понимаете, что, поступая по совершенной справедливости, её симпатии, её желания оставались на стороне моего сына и что она назначила наследником принца Иоанна только потому, что не видела возможности, каким образом желания свои прилично соединить с справедливостью и разумом. Я принял управление и, признаюсь, убедился совершенно, что принц и принцесса оба люди именно невозможные. Сегодня я должен был отнестись строго к принцу Антону, но вижу,

что моя строгость подействует едва на несколько дней; в нём ещё столько ребяческого, мальчишеского, что ввериться ему и вверить столь важный государственный интерес, как воспитание будущего императора, немыслимо.

В этом моём крайнем, можно сказать, безвыходном положении я решился обратиться к вам, цесаревна: не поможете ли вы мне из него выйти? Не пожелаете ли спасти Россию от многих несчастий, которые неминуемо ждут её, если дело останется в том виде, в каком оно теперь? И в то же время не пожелаете ли вы осуществить желание вашей тётушки видеть её потомство на престоле... не согласитесь ли вы выйти замуж за моего сына Петра? Тогда мы сделаем револьт, и царствовать будете вы!

— Вы знаете, герцог, я не честолюбива и принимать на себя заботу управления государством... это не в моём характере. Не почитаю, что, когда умер мой царственный племянник Пётр Второй и покойная государыня была ещё в Курляндии, многие говорили, чтобы я чем-нибудь заявила о себе, и тогда избра-

ние могло бы состояться в мою пользу, но я отказалась прямо! Моё желание: жить покойно и счастливо в скромной доле частных лиц. Я желаю только избежать тех преследований и наблюдений, которыми меня со всех сторон окружают. Тем более что ваше высочество изволили мне благосклонно сообщить, что теперь мне предоставляются средства, которые все мои умеренные требования вполне удовлетворяют.

— Но и тогда вы будете совершенно спокойны. Управление вы поручите мне; сын мой будет не только ваш супруг, но и первый ваш подданный.

— Но, герцог, мне кажется, вы смеётесь. Принц Пётр ещё мальчик, я против него старуха! Разве я могу идти замуж за мальчика, который через несколько лет будет мной пренебрегать? Проект о замужестве моём с племянником с моей стороны встречал возражение в том, что я была старше его. Но тогда разность лет была незначительна, ему было четырнадцать-пятнадцать, а мне семнадцать-восемнадцать лет; стало быть, на два, на три года всего; а теперь мне тридцать, а

принцу Петру нет и семнадцать. Ведь такое моё замужество, ваше высочество, будет, простите, курам на смех! Вы говорите: в политике на это не смотрят. Да, не смотрят те, которые честолюбивы, которые в словах царствовать, повелевать видят все! А для меня скромная жизнь, тихие удовольствия, приятная беседа далеко предпочтительнее всех видов на блестящее царствование.

— Если вы находите принца Петра столь молодым и несоответственным... то есть другая комбинация: что вы скажете обо мне? Я буду поклонником и рабом вашим.

— О вас? Как о вас, герцог?

— Выйти замуж за меня.

— Герцог, вы решительно смеётесь! Ведь вы женаты?

— Бенигна никогда не была моей женой. Притом мы лютеране, у нас развод не так труден, как у православных. Я могу принять греческую веру, и тогда... Подумайте, цесаревна! Я не стар, мне нет ещё и пятидесяти, Гедвигу мы выдадим за вашего племянника, принца гольштейнского. И если у нас не будет потомства, то вы назначите его своим наследни-

ком... Впрочем, в этом отношении я совершенно полагаюсь на вас. Что вы об этом думаете?

— Герцог, ваше предложение так неожиданно и, позволю себе сказать, так странно, что, право, я не умею на него отвечать. Позвольте мне подумать, и очень подумать.

— Подумайте. Притом обратите внимание, что всякое замужество с другим поставит вас непременно в фальшивое положение к этому другому. Дело Шубина не может не отозваться более или менее на вашу будущую семейную жизнь. Я же обязуюсь предоставить вам полную свободу. Вы будете царствовать и над Россией, и надо мной. Подумайте, цесаревна.

Цесаревна покраснела. В душе у неё была целая буря. Ей хотелось сказать: «Разве я виновата, что я не рыба»; хотелось спросить: «Думаете ли вы, что поступали со мной по-человечески?» И теперь после всего, что они — и преимущественно он — с нею делали, он решается предлагать... О! Это ужасно!

Но цесаревна ни словом не высказала своих мыслей и рассталась с герцогом на том, что слова его она обсудит.

Провожая цесаревну и идя назад по дворцу, Бирон заметил в зеркало, что из комнат герцогини вышла на парадную лестницу провожать молодого князя Зацепина его дочь Гедвига. Бирон остановился перед зеркалом. Он видел, что они тоже остановились за большим померанцевым деревом, что она подала ему обе свои руки и тот страстно несколько раз их поцеловал. Потом ему показалось, будто Гедвига приподнялась, а Зацепин наклонился и будто он своими губами коснулся её щеки, потом её шейки, а она поцеловала его голову и потом охватила её обеими ручками. Наконец после нескольких нежностей Зацепин ушёл.

«Скажите на милость, — подумал Бирон, — ещё дети, а уж тоже... Однако этот Зацепин смел... Дерзость непростительная! Впрочем, государыня сама была не прочь... Но теперь другое дело. Нужно отправить его подальше». И он пошёл навстречу дочери.

— Гедвига, — сказал он, когда та подошла близко, — я тебе приискал жениха. Один немецкий принц, молодой, красивый... Ты должна знать это, чтобы, говоря с молодыми

людьми, помнить, что ты уже предназначена.

Дочь не отвечала ничего, только щёки её покрылись нежданно ярким румянцем. Но в тот же день князь Андрей Васильевич получил от неё залитую слезами записку.

«Папа мне сказал, что он мне сыскал жениха, какого-то немецкого принца; но будь покоен, кроме тебя, я не пойду ни за кого, хотя бы это стоило мне жизни.

Твоя вечно Лиз. Б».

А в это время принц Антон и его супруга Анна Леопольдовна жаловались Миниху на регента и объясняли, какие оскорбления они терпят.

— Придумайте, помогите, граф; сделайте, что можно! А то я просто боюсь его. Вот спросите у неё, — говорила Анна Леопольдовна, указывая на Юлию Менгден. — Он довёл меня до того, что я дрожу, когда он приходит. Становлюсь сама не своя. Даже дядюшкой называть согласилась... Но вижу, что с ним ничего не помогает. Он просто бранится. Грозит бог знает чем. Хочет выслать в Германию. Пожалуй, и сына отнимет.

— Тогда в собрании, признаюсь, я струсил, да так, что и не думал никогда! — сказал принц. — Я уж полагал, что из собрания да прямо на пытку. Даже двумстам тысячам не обрадовался. Бог с ними!

— Будьте благодетелем, милый граф! — говорила принцесса. — Окажите услугу вашему императору, спасая его отца и мать. Помогите! Я никогда вас не забуду!

— Хорошо, прекраснейшая принцесса и добрейший принц, — отвечал Миних. — Положитесь на меня. Он не будет вам страшен. Вот вам рука, рука старого фельдмаршала, который привык держать своё слово. Только и вы не отступайте, помните...

Часть третья

I

Медвежья охота

Утро 8 ноября 1740 года было сквернейшее даже для петербургского климата. То моросило, то падал снег. Было холодно и сыро. По Неве шёл лёд почти сплошными массами; сообщение города с заречными окраинами прекратилось.

Батальон Преображенского полка, вступавший в караул, разделённый на отряды по постам, без обычной церемонии вышел из новых казарм. Он шёл на церковь Симеона и Анны, чтобы там разделитья и одному дивизиону занять караул в Летнем дворце, где жил регент империи, герцог Бирон; другому — караул в Адмиралтействе; а двум последним, при знамени, расположиться караулом в Зимнем дворце, где помещался император, шестимесячный ребёнок Иоанн III, и его родители, принц Антон и принцесса Анна

Брауншвейгские.

Батальон должен был проходить мимо дома Нарышкина, где временно помещался тогда фельдмаршал Миних, подполковник Преображенского полка.

Солдатики шли, неся ружья вольно и ругая, разумеется про себя, петербургскую погоду. Вдруг они увидели, что, несмотря на эту погоду и на раннее утро, фельдмаршал идёт с своим адъютантом Манштейном пешком им навстречу.

— Под приклад, караул, стой, отдать честь! — скомандовал ведущий батальон секунд-майор полка Пушкин, согласно действовавшему тогда уставу о полевой и гарнизонной службе. Батальон остановился.

— Во фронт, слушай, на краул! — продолжал командовать Пушкин.

Солдаты исполняли команду, думая про себя: «Куда это чёрт его спозаранку несёт?»

— А нечего сказать, хоть и немец, а молодцом идёт. Смотрите, братцы: идёт, словно в рожу-то ему ни снег, ни дождь не хлещут! Внимания он не обращает на эту погоду! Сокол, нечего сказать! Хоть бы нашему брату —

русскому...

Фельдмаршал подошёл к караулу и поздоровался. Он прошёл по фронту, останавливаясь и задавая некоторым из солдатиков поллушутливые, ласковые вопросы. На снег и дождь он не обращал ни малейшего внимания, будто в самом деле они его не касались. Солдаты даже повеселели, смотря на бодрое, весёлое и добродушное лицо фельдмаршала, говорившего и смеявшегося под снегом и дождём так же спокойно, как бы в манеже или у себя в кабинете.

— Хорошо, хорошо, — говорил фельдмаршал, — молодцы! Видно, что службу любите, и служба вас за то любит! Вот теперь вам будет полегче. Герцог приказал шесть полевых батальонов привести, чтобы в его дворце они караул держали.

— Что ж, ваше сиятельство, разве его высококняжеская честь не верит, что мы службу свою справим? А на тяжесть мы ещё николи не жаловались! — буркнул один из стоящих при знамени сержантов.

— Ну нет, думать так не следует! — сказал особым тоном фельдмаршал. — Гвардия

должна охранять императора, а он только регент и хочет облегчить... А холодно? — вдруг неожиданно сказал он, пожимая плечами.

— Холодно, ваше сиятельство! — отвечали солдаты.

— Не то что в казарме, что я для вас строил; там хорошо, тепло!

— Точно так, ваше сиятельство, покорнейше благодарствуем!

— Да, да! Старался для вас, ребята! А точно холодно, — прибавил он, морщась. — Распорядись, батенька, — сказал он секунд-майору, командовавшему батальоном, — когда будешь мимо меня идти, вели остановиться! А ты распорядись, — продолжал он, обращаясь к адъютанту, — чтобы солдатикам хоть по чарке водки дали поотогреться. Сегодня погода-то такая же, как, помните, ребята, когда мы с вами за Дунаем мёрзли! Выпейте-ка за здоровье молодого императора!

— Ради стараться, ваше сиятельство, покорнейше благодарим, — весело отвечали солдаты.

Фельдмаршал улыбнулся своей открытой улыбкой, отмахнулся и пошёл далее. Коман-

дующий батальоном повёл людей к дому Миниха, где солдатам дали по чарке водки и по калачу. Солдаты на походе, разумеется, поминали угощение добрым словом.

— А ведь регент-то, братцы, значит, и впрямь нам не верит, когда полевые полки зовёт! — сказал сержант, набивая рот калачом.

— Ну его к чёрту, эту чухонскую крысу! — отозвался молодой солдатик, обдувая свободную руку. — Он думает — полевые полки против нас пойдут! Шалит! Не таковской народ, чтобы чухляндию стал отстаивать! Скажет матушка цесаревна — скорее нас пришибут!

— Болтай вздор-то! Смотри, чтобы самого на пристрастии секуцией не пришибли!

Солдатик замолчал, озираясь испуганно:

— Я, дядюшка, ничего, я так...

— То-то ничего; думай про себя, а болтать нечего!..

Караулы разошлись, пришли на места, произошла смена, развели часовых, распустили караул. В Летнем дворце караульная комната оказалась нетоплёной и холодной; солдаты, понятно, опять стали ругать Бирона, до-

едаю свои калачи.

— Ишь, русские дрова бережёт и караул-ку-то натопить жаль!

Миних между тем воротился к себе и сидел с премьер-майором Семёновского полка генерал-майором графом Степаном Фёдоровичем Апраксиным.

— Я хоть и сам немец, — говорил Миних, — но, признаюсь, на такое немецкое царство не согласен! Что это такое? Остерман, Остерман и Остерман! Отдаю справедливость его способностям, но несогласен отдать ему всё в руки. Притом где же заслуги Бирона? Что такое он сделал государству?

— За Бирона, ваше сиятельство, из гвардии не станет ни один человек. Командир нашего полка, за малолетством государя императора, наш подполковник, его высокопревосходительство генерал-аншеф Андрей Иванович Ушаков хотя и с большим уважением относится к регенту, но, я уверен, пальцем о палец не ударит, чтобы его поддержать.

— Вы думаете, граф? Я, признаюсь, боялся, что ваш старик очень предан Бирону.

— Э, нет, ваше сиятельство! Я не далее как

вчера говорил с его адъютантом Власьевым. Вы изволите знать, что любимец Андрея Ивановича? Из его слов прямо было видно, что, впрочем, я знал и до него, — что наш страшный генерал говорит:

«Всякая власть от Бога; Бирон — Божье наказание!»

— Бог наказует, Бог и милует, так ли? — спросил Миних.

— Я полагаю, что Андрей Иванович так и смотрит. Скажет: «Воля Божья» — и станет так же усердно оберегать новую власть, как теперь оберегает Бирона. Он скажет: «Рассуждать не наше дело, наше дело — повиновение!»

— Стало быть, по русской поговорке: кто ни поп, тот батька? — с усмешкою проговорил Миних. — И так как немецкий акцент в нём всё же слышался, несмотря на то что Миних жил в России уже шестнадцать лет и, в противоположность Бирону, прилагал все усилия к изучению русского языка и с русскими почти всегда говорил по-русски, то поговорка эта на языке Миниха вышла очень смешно; вышло очень похоже на то: кто ни

поп, тот патока!

Апраксин улыбнулся, Миних это заметил.

— Что, батенька, — сказал он добродушно. — Выходит, что немец и в могиле сказывается! Ну что ж делать? Мои молдаванцы мне прощали, что нет-нет да и насмешу их каким-нибудь словечком. Они знали, что их фельдмаршал хоть не всегда по-русски говорит, да всегда по-русски делает. Не прячется за шанцами да за их русскими спинами, а сам готов прикрывать их своей немецкой грудью. Ну а здешние-то ещё не знают! Ох, не знают! Потому-то я и рассуждаю... Но вы, граф, говорите, что это верно?

— Будьте покойны, ваше сиятельство; у нас ни один человек не пошевелится.

— А измайловцы, — вы как думаете?

— Ну там другое дело! Хоть оно и точно, что солдатики и там не очень за немцев, но всё же командиры все, начиная с прапорщика, с самого начала из курляндцев набраны были. Потом, всё же ими командует родной брат герцога, и, сказать нечего, полк им доволен!

— Так что я хорошо распорядился, что

большую часть полка отправил за реку. Ну, граф, итак — решено! Выберите вы мне из своих молодцов сотни две на случай... Знаете, из таких, что не задумываются; а из моих преобразенцев я уже отобрал; да Манштейн и Кенигфельс с караулами, думаю, распорядились, так что он немного найдёт себе защитников...

Вошёл адъютант фельдмаршала подполковник Манштейн.

— Ну вот, за семёновцев ручается! — сказал Миних своему адъютанту, указывая на Апраксина. — У тебя всё ли готово?

— Всё, как изволили приказать, ваше сиятельство!

— Ну, так будь же готов и сам, когда я припру; только виду не показывай! А в случае неудачи, господа, — хоть, кажется, неудачи не должно быть, но всё же следует сказать, — в случае неудачи вы друг друга и не видали; всё на меня вали, дескать, фельдмаршал приказания давал, а нам никакого рассуждения иметь не полагалось!

Этимися словами Миних их отпустил и поехал к Бирону.

Но до него ещё приехал к Бирону обер-гофмейстер граф Левенвольд. О его приезде доложил дежурный адъютант. Бирон поморщился.

— Верно, опять просьба, — высказал он вслух. — После смерти государыни две награды получил, всё мало. Не могу же я всю штатс-контору на одних братьев Левенвольдов отдать! Пусть подождёт!

С этим ответом, хотя в весьма вежливой форме, адъютант вышел к Левенвольду.

Левенвольду ответ был не по душе. Он вспомнил, как дружески обратился к нему Бирон во время болезни императрицы, как товарищески и сердечно говорил тогда с ним. «Не прошло и трёх недель, а теперь не то, — подумал он. — Совсем не то. Даже не то, что при государыне было! Тогда всё же была узда, а теперь, — теперь... Напрасно, напрасно, — не годится в воду плевать, пить захочешь!» — подумал Левенвольд. Но, поморщившись, он только прибавил:

— Доложите его высочеству, что я по весьма важному делу от графа Андрея Ивановича Остермана!

Адъютант доложил. Бирон нахмурился.
— Что бы такое? Ну зови! — сказал он.
Левенвольд вошёл.

— Что такого важного? — спросил Бирон, откидываясь на своих герцогских креслах, как властелин перед своим кнехтом.

Левенвольд был далеко не так сдержан, как генерал-аншеф Андрей Иванович Ушаков, и высокомерный приём герцога его очень озадачил. Он покраснел даже — но что же делать? Пока он регент... Притом что там будет, а теперь от него зависит помочь Левенвольду в его тесных делах! Этим рассуждением Левенвольд старался себя успокоить.

— Граф Андрей Иванович, будучи нездоров, поручил мне обратиться к вашему высочеству...

— Граф Андрей Иванович вечно нездоров! Признаюсь, это становится скучно... Я просил графа Андрея Ивановича приготовить мне декларацию для французского посланника. И вот уже третий день жду! — недовольным тоном сказал Бирон.

— Может быть, потому-то граф и поручил мне обратиться к вашему высочеству, прося

вашего внимания. Он говорит, что замечает с некоторого времени ваше неудовольствие к нему и какую-то холодность, тогда как он с искреннейшей и низжайшей преданностью готов служить вашему высочеству, как и служил всегда по мере своего умения и разума. А теперь, кроме всех внешних отношений, он был весьма озабочен вопросом о внутреннем укреплении и возвышении самодержавной власти вашего высочества, как регента империи.

От этих слов герцога передёрнуло. «Что-нибудь да есть, когда с этим присылает Остерман», — подумал он.

— Что же такое? — спуская тон ступенью ниже, спросил герцог.

— Граф Андрей Иванович, рассматривая практическое положение дел, поручил мне доложить вашему высочеству, что в утверждении и укреплении положения вашего высочества он встречает важный противовес и что от удаления такого противовеса зависит...

— То есть кто же это? Принц Антон?

— Никак нет, ваше высочество, есть некто более опасный человек... Докладить об этом

граф Андрей Иванович счёл своею обязанностью: этот опасный человек — фельдмаршал граф Миних.

При первых словах о внутреннем укреплении и возвышении лицо Бирона вытянулось, и он уже завертелся в креслах. Когда же Левенвольд окончил, то перед ним сидел уже совсем другой человек. Вместо высокомерного и неприступного герцога перед ним сидел искательный, ласковый и пронырливый курляндец, готовый служить и нашим и вашим.

— Э, граф! — сказал в ответ Бирон. — Неужели вы и граф Андрей Иванович думаете, что я это не вижу? Да садитесь же, что вы стоите? Мне давно хотелось поговорить с вами и с Андреем Ивановичем по душам! Мы, немцы, здесь, на чужой стороне, должны держаться дружно; должны друг за друга стоять! А граф Миних точно что гнёт как-то на сторону... Да что я с ним сделаю? Изобличить его не в чем; а ведь не могу же я ни с того ни с сего вдруг велеть арестовать фельдмаршала. Садитесь же! Ведь вы обедаете у нас? Герцогиня и так уже мне замечала: что это граф Рейнгольд с самой кончины императрицы у нас

только один раз обедал.

— Я всегда в распоряжении вашего высочества, — отвечал Левенвольд, — но полагаю, что вы, выслушав различные соображения, которые граф Андрей Иванович просил меня представить на ваше усмотрение, изволите дать приказание отправиться к нему, тем более что, на его взгляд, дело это крайне нужное и спешное, так как от него зависит спокойствие империи и вашего высочества.

— Так, так, благодарю графа Андрея Ивановича и вас! Разумеется, дело прежде всего! Что же Андрей Иванович говорил вам о Минихе?

— Граф просил вас передать, что почётное назначение, как вашему высочеству небезызвестно, бывает иногда то же, что ссылка. Граф Ягужинский, когда его послали в Берлин...

— Да! Но граф Ягужинский был не фельд-маршал...

— Можно составить предположение о торжественном посольстве к французскому королю...

— Миних не примет звание посла.

— Тогда генерал-губернаторство. Он желал

быть генерал-губернатором Малороссии. Если этого будет для него недостаточно, то граф Андрей Иванович находит, что для него можно восстановить гетманство. Этим он, наверное, удовольствуется, особенно если оно будет утверждено наследственным...

— Да! Ему хотелось чего-то в этом роде! Но что скажут русские? Ведь это значит потерять Малороссию!

— Андрей Иванович говорит, что лучше потерять часть, чем рисковать всем! А русские будут довольны, что им на шею не станут сажать хохлов. Духовенство в этом отношении полностью всё будет на вашей стороне.

— Будто уже он так опасен?

— Всенепременно, ваше высочество! Хоть в войске его и не любят, но ценят и привыкли слушать. А вот уже сколько дней, как он приглашает к себе отдельных начальников то тех, то других частей. Цесаревна...

— Ну в рассуждении цесаревны я спокоен. Вот принц Антон и принцесса? Вообще безмерное честолюбие Миниха точно опасно! Но, я полагаю, что между преображенцами

майор Альбрехт...

— Альбрехта обходят, ваше высочество! Граф фельдмаршал приглашал к себе из преобразенцев Салтыкова, Шипова, Готовцева, из семёновцев — Апраксина, Девьера; из конного полка тоже... Разговоров особых он не ведёт, придраться не к чему, но, видимо, выспрашивает, наблюдает. А тут два дня сряду он имел горячий разговор с принцессой. Граф Андрей Иванович полагает, что для безопасности вашего высочества удаление его существенно необходимо.

— Да! Поезжайте к графу Андрею Ивановичу, скажите, что я искренне его благодарю и прошу приготовить все бумаги по его предположению о гетманстве. Быть гетманом он не откажется! Жаль делить так русское царство, да что делать-то, своя рубашка, говорят, к телу ближе!

В это время вошёл дежурный адъютант и доложил: его сиятельство фельдмаршал граф Миних!

Бирон и Левенвольд переглянулись.

— Проси! — сказал Бирон.

— Я не к вам! Не хочу отнимать у вашего

высочества ваше драгоценное для всех нас время, хотя, разумеется, как и всякий верно-подданный, счастлив видеть своего всемило-стивейшего регента... но всё же не к вам, а к моей прекрасной покровительнице герцогине Бенигне! — говорил весело и с улыбкой Миних, принимая протянутую к нему руку Бирона. — Очень рад встретить вас, граф, у распорядителя судеб наших! — прибавил он, обращаясь к графу Левенвольду и тоже пожимая ему руку. — А я, признаюсь, уже думал, что вы совсем изменили нам и передались на сторону принца Антона. Ну что наш достопо-чтенный оракул, ваш неизменный друг граф Андрей Иванович, хворает?

— Да, он нездоров! — отвечал Левенвольд, смутившись несколько от напоминания о принце Антоне. Однако ж он сейчас же ободрился, заметив, что Бирон не обратил на замечание Миниха никакого внимания, а, напротив, с полной благодарностью обратился к нему, проговорив — Очень, очень, благодарен вам, мой друг! Поезжайте же и просите графа Андрея Ивановича распорядиться, чтобы не дальше как завтра можно было приступить к

делу Завтра же, надеюсь, я и вам докажу мою признательность. — При этих словах герцога Левенвольд откланялся.

— Жена моя будет рада видеть нашего победоносного фельдмаршала, — продолжал Бирон, обращаясь к Миниху, — нашего героя, от которого, говорят, молодой прусский король до того без ума, что план нашей ставучанской победы приказал нарисовать и повесить у себя над письменным столом. Садитесь, граф, позвольте вашу шляпу и шпагу! И у меня, и у жены моей вы всегда дорогой гость!

— Да и я, ваше высочество, как изволите сами знать, всегда ваш всепокорнейший и всеусерднейший слуга! Я думаю, за то солон прихожусь я вот этим остермановским господчикам, которым ваше регентство стало поперёк горла. Им всем так хотелось принца Антона да совета, в котором Остерман бы царил, а принц Антон бы подписывал. Ну да мы с вами давно поняли остермановскую музыку и на их дудке играть не хотим! Но — можно видеть её высочество, очаровательную герцогиню? Ведь, простите, я сегодня гость надолго! Герцогиня при всякой встрече упрекает

меня, что я не приезжаю обедать. Я дал слово исправиться. И вот сегодня мои все обедают у брата, тайного советника барона Христиана Антоновича, а я, по известной всем немецкой экономии, чтобы, как говорят, не разводиться огня, отправился к своей милостивой герцогине, чтобы сдержать слово.

— Благодарю, благодарю, и за себя и за жену благодарю, — сказал Бирон и позвонил.

— Доложите герцогине, что его сиятельство господин фельдмаршал желает её видеть!

— Засвидетельствовать своё высокое уважение и поцеловать её добрую ручку! — прибавил от себя Миних.

Герцогиня прислала просить. Миних обедал у них и болтал особенно весело, любезничая и ухаживая как за сорокапятилетней рыбой герцогиней Бенигной, так и за молоденькой Гедвигой, говоря обеим комплименты, выпрашивая беспрерывно у обеих позволения поцеловать ручку и в то же время любезно подразнивая молодых принцев.

Обедал ещё Новосильцев, один из самых близких клеветов Бирона. Слушая болтовню

и шутки Миниха и видя особую любезность к нему как герцога, так и его жены, он подумал: «Вот тебе на! Я думал, что они враги, и хотел было сегодня кое о чём предупредить герцога, а они такие друзья, что их, кажется, и водой не разольёшь!»

Левенвольд между тем прибыл к Остерману и нашёл у него принца Антона, отца императора, который приехал к Остерману в наёмной карете и задним ходом прошёл в кабинет, так что в доме этого никто не знал, и потому на вопрос графа Левенвольда «Никого нет у графа Андрея Ивановича?» — отвечали: «Никого!»

— Ну что? — спросил Остерман, когда Левенвольд вошёл. — Вас-то мы и ждём. Удалось ли вам убедить зверя, что для него опасен другой зверь?

— Да! Он просил приготовить! И представьте, в это самое время вдруг этот зверь и приехал.

— Кто? Миних? — в один голос спросили Левенвольда как Остерман, так и принц Антон, с той разницей, что в восклицании первого слышалось как бы удовольствие, — де-

скасть, зверь сам на приманку лезет; а принц Антон при своём восклицании побледнел, думая: не приехал ли он рассказывать Бирону всё, что он и его жена, принцесса Анна Леопольдовна, говорили Миниху.

— Да! Он обедает у них! И, кажется, не подозревает, что ему готовится или почётная ссылка, или арест. Однако ж мне показалось, что он на нас будто косится, и даже упрекнул было меня моею преданностью к вашему высочеству, — прибавил Левенвольд, обращаясь к принцу Антону.

— Пусть только примет назначение и уедет, — сказал Остерман. — Без него, ваше высочество, можете надеяться составить себе партию, пока же он тут, мы поневоле должны смотреть ему в руку!

— Герцог просил предположение о гетманстве, если возможно, сегодня же ему приготовить.

— Оно готово! — отвечал Остерман. — После обеда свезите к нему! Я обыкновенно не начинаю говорить о деле прежде, чем всё по нему не будет приготовлено.

— Боже мой, только бы он не вздумал рас-

сказывать герцогу о том, что мы говорили, — проговорил принц, с ужасом вспоминая сцену, которую он должен был выдержать в совете.

— Не беспокойтесь, ваше высочество, не расскажет! Он знает, что герцог будет подозревать и его самого, — ответил Левенвольд.

Доложили о прибытии вольфенбютельского посла графа Кейзерлинга.

Остерман велел просить его в кабинет, и началось серьёзное совещание о том, как свалить Бирона, если Миних уедет, чтобы принцу Антону получить регентство, Остерману быть первым министром, а Левенвольду устроиться, получив в управление штатс-контору и быть кабинет-министром.

Между тем и Бирон за обедом закинул Миниху вопрос: «Хотел ли бы он быть малороссийским гетманом?»

— Как это гетманом? — спросил Миних. — Ведь гетмана нет! А на место Шаховского...

Говоря это, он подумал: «Эге, мне готовят ссылку, хорошо! Послушаем, какую песенку петь станут».

— Ну, кто же предложит вашему сиятельству

ству идти на место Шаховского? Нет! Гетманом настоящим, каким был Мазепа, только ещё с наследственными правами.

«Вот что!» — подумал Миних, но отвечал не задумываясь:

— Таким гетманом почему и не быть? Только, по-моему, это гетманство очень вредное для России дело! Оно ведёт к раздельности, обособленности, розни! А русскому государству нужно объединение, сплочённость! Положим, что пока буду гетманом я, то по моей преданности царствующему дому и нашему всемилостивейшему регенту я не захочу отделиться от России, но из будущих гетманов нет-нет да и найдутся второй Мазепа или второй Дорошенко. Начнут сноситься с турками и с поляками, а для России это будет большой вред!

— Ну что, ваше сиятельство, нам толковать о будущем? Казаки просят; отчего и не сделать то, о чём они просят? — ответил герцог. — Вопрос теперь в том, кого выбрать гетманом? И если ваше сиятельство изволите признать удобным принять для себя это звание, то я завтра же распоряжусь...

«Вот как, — подумал Миних, — а дело-то у них уж наготове! Хорошо, мой милый, что завтра тебе не придётся делать распоряжений!.. Наследственный гетман... оно было бы точно нечто новое, да только прежде всего как хохлы эту новость примут; а во-вторых, лучше в своих руках всю Россию держать, чем Малороссию». Но, думая это, он сказал:

— Наследственный гетман, это будет то же, что владетельный князь! Милость вашего высочества к моему дому всегда была беспримерна, и если... Да я у герцогини расцелую ручки! Мне не для себя, но для сына, который столь же предан России и вашему высочеству, как и ваш нижайший слуга!

Обед кончился. Миних стал прощаться. Герцогиня стала уговаривать его провести у них вечер.

— Старикуну отдохнуть немного нужно, ваше высочество, моя милостивая покровительница. Признаюсь, полюбил я эту русскую привычку после обеда немножко дань Морфею отдать. А уж если доброта ваша ко мне желает превзойти все пределы, то позвольте съездить уснуть часочек, а вечерком и стать как

лист перед травюю. А то кто тут что ни говори, а шестьдесят лет сказываются!..

Нужно было согласиться. Но герцог и герцогиня просили, если только он будет в силах, доставить им удовольствие приехать вечером.

Миних уехал, но не лёг спать. Он позвал своего старшего адъютанта подполковника Манштейна.

— Что, Манштейн, вы были в Зимнем дворце, говорили с офицерами?

— Был, ваше сиятельство, говорил!

— Ну что ж?

— Все с радостью готовы, ваше сиятельство!

— Так всё готово?

— Готово, ваше сиятельство!

— Приезжайте же ко мне в два часа ночи.

Манштейн раскланялся, а Миних стал писать.

Вскоре после отъезда Миниха к герцогу приехал Левенвольд и привёз проект положения о малороссийском гетманстве, манифест о дозволении приступить к его избранию и, наконец, конфиденциальное сообщение всем

влиятельным лицам, что правительство желает, чтобы избрание пало на фельдмаршала Миниха и чтобы малороссийский народ, будто бы ради своего особого уважения к Миниху, ходатайствовал о предоставлении ему в гетманстве наследственных прав.

Герцог пошёл к себе рассматривать привезённые бумаги, потребовать переводчика, так как по-русски он понимал плохо, а читать вообще не умел. Вечером приехали ещё генерал-прокурор Никита Юрьевич Трубецкой, барон Палён и банкир Липман, Палён был с женой и дочерью. В ожидании герцога сели играть. Через час приехал и Миних.

— Вот и я! — сказал он. — Свеж и бодр, будто двадцать лет с костей сбросил. А герцог за работой? Тем лучше! Я имею случай без него объясниться в любви перед вами, очаровательная герцогиня, а потом... потом перейти к баронессе!

Началась весёлая болтовня. Гедвига спела немецкую балладу из Уфланда под аккомпанемент арфы. Скоро пришёл и герцог. Болтовня продолжалась, но герцог мало принимал в ней участия. Он был как-то особенно задум-

чив, будто его что тяготило. «Если он откажется, я его арестую, — думал он. — Прямой повод, и...»

Мало принимал участия в общей болтовне и Левенвольд. Он тоже сидел задумавшись. «Что бы это было такое? — думал он. — Миних сегодня приехал второй раз, и все так веселы!»

Он слышал, что Бирон говорил Миниху о гетманстве, говорил, что завтра же он подпишет все бумаги и отправит; самое же положение пришлёт ему на предварительный просмотр.

Он видел, что Миних не отказывался и благодарил. Стало быть, принимает, едет, и завтра всё будет кончено. Ему, конечно, нужно будет уехать сейчас, чтобы наблюдать за ходом выборов; стало быть, он мешкать не будет. И всё должно решиться завтра, а до завтра одна ночь.

— А что, ваше сиятельство, — спросил он у Миниха, — случилось ли вам проводить когда решительные атаки на неприятеля ночью?

Вопрос этот как бы кольнул Миниха. Но фельдмаршал был не из тех, которые смуща-

ются.

— Право, не помню, чтобы я предпринимал против неприятеля ночью что-нибудь особенно важное, — отвечал Миних. — Но у меня правило: пользоваться всяким благоприятным обстоятельством, не упускать случая ни днём ни ночью.

Левенвольду на это сказать было нечего, он замолчал. В одиннадцать часов ночи все гости разъехались по домам.

Возвратясь домой, Миних начал приводить к осуществлению задуманное предприятие. Он пригласил нескольких лиц, в мыслях и убеждениях которых был уверен, и раздал этим лицам различные поручения в предположении, что дело непременно должно удался. Нужно было приготовить манифест о принятии на себя правления принцессой Анной Леопольдовной, сделать распоряжение о Бироне, о принятии присяги новой правительнице... К двум часам ночи всё было готово.

В два часа ночи приехал Манштейн. Миних сел с ним в карету и поехал в Зимний дворец.

— Вы сами, Манштейн, проверяли караул

по списку, который я вам дал?

— Сам проверял, ваше сиятельство; будьте покойны, ни один человек не изменит!

— А караул в Летнем дворце?

— Тоже все люди надёжные, и выбраны большею частью те, которые были оскорблены герцогом. Стоять за него не будет никто.

— Кенигфельс нас ждёт?

— Как же, ваше сиятельство, у Зелёного моста; при нём отряд в тридцать человек.

В это время карета въезжала на Зелёный мост. Близ самого моста стояла стройная фигура Кенигфельса, а на откосе берега (тогда набережные ещё не были в граните) внизу, у самой речки, в темноте ночи, чуть виднелись чёрные силуэты притаившихся людей.

Проезжая мимо Кенигфельса, Миних сказал: «Будьте готовы!» — Кенигфельс отвечал поклоном головы.

Подъехав ко дворцу, Миних и Манштейн вышли из кареты и прошли на заднюю лестницу к квартире Юлианы Менгден. Войдя чёрным ходом на кухню фрейлины, они насилу добудились кухонного мужика, которому велели вызвать камер-юнгферу. Мужик раз-

будил её скоро, но та не шла. Они слышали, что она допытывается, кто такие?

— А чёрт их знает кто! Один такой высокий, старый, будто его когда видал, а другой пониже и поплотнее будет!

— Ты бы спросил кто.

— Станешь тут много разговаривать — и так что потолще-то и помоложе шпагой плашмя так меня огрел за то, что я долго не вставал, ажно искры из глаз посыпались.

— Ах, боже мой, да уж не разбойники ли?

— Ну вот, какие разбойники; офицеры, должно быть!

— Офицеры. Час от часу не легче! Ну как они меня или фрейлину увезти хотят? Ведь между ними разные озорники бывают!

— Ещё что выдумала. Кто на тебя, на крадю эдакую, соблазнится. Вороне сродни, а тоже, увезут!.. Вишь ты!

Миних не выдержал и сам вошёл в комнату камер-юнгферы.

— Беги сейчас, скажи Юлиане Густавовне, что фельдмаршал Миних её дожидает!

Та струсила, но вдруг в ней явилось жеманство.

— Позвольте-с, сейчас доложу-с, позвольте одеться! Извольте выйти!

— Ну, милая, я не смотрю, одевайся, — начал было Миних с всегдашной добродушной улыбкой, но Манштейн не был так терпелив.

— Пошла! — крикнул он. — Иначе я тебе таких шелепов надаю, что ты у меня до второго пришествия одеваться забудешь!

А тут, как нарочно, на гвоздике висел хлыст для верховой езды Юлианы. Манштейн снял этот хлыст и хотел на деле показать, как это заставляют забывать об одеванье. Горничная, увидев в руках офицера хлыст, вскочила живо и в одной рубашке, босиком убежала.

Юлиана Менгден выскочила к ним тоже только в юбке и кофте.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего, прелестная наперсница! Нужно только разбудить принцессу. Проводите нас к ней, — сказал Миних.

Юлиана провела их через свою спальню в уборную Анны Леопольдовны.

— Скажите принцессе, чтобы она выходила скорей; пускай и принца разбудит! Она должна принять офицеров, которых я ей

представлю. Мы сейчас же арестуем герцога.

Юлиана сперва разинула было рот от удивления, но, не сказав ни слова, убежала.

Разбудив принцессу и рассказав, в чём дело, Юлиана выразила своё мнение, чтобы принца не будить, а то он, пожалуй, как муж и отец императора, заявит претензию быть правителем самому, даст знать Остерману, а тот выдумает в его пользу какой-нибудь крючок, и всё старание их пропадёт даром.

Принцесса согласилась и приняла Миниха одна. На выраженное им желание представить офицеров она изъявила согласие. Миних приказал Манштейну позвать командующих караулом и тех, кто заранее был подготовлен.

Через несколько минут офицеры были введены, и нечего сказать, молодец к молодцу, испытанной храбрости, полные отваги и силы. Их было вместе с Кенигфельсом шесть человек, седьмой Манштейн. В карауле находилось сто двадцать рядовых. Решили — сорок человек из них оставить при знамени во дворце, а восемьдесят человек взять с собой, оцепить дворец Бирона и арестовать его. У Миниха подготовлено было ещё два отряда в

тридцать и двадцать человек. С этими-то силами Миних решил арестовать главу государства и сделать переворот в правительстве. Правда, у него были подготовлены единомышленники среди преображенцев и семёновцев, но они о предприятии этой ночи ничего не знали.

Миних посоветовал принцессе что-нибудь сказать офицерам, пожаловаться на герцога и просить их защитить её и императора от насилия.

— Господа, — произнесла она, — я призвала вас сюда, чтобы попросить вас защитить меня и вашего императора от насилия, которым ежечасно грозит нам герцог Бирон. Вы присягали охранять императора; защитите же его под начальством вашего славного фельдмаршала. Более, спасите его и мою жизнь, которой герцог угрожает.

Нужно сказать, что принцесса, не изуродованная костюмом, которого она никогда не умела выбрать к лицу, в белом с розовым капоте и с распущенными волосами была так хороша, как никогда не была хороша в своих великолепных нарядах.

Офицеры перебили её речь выражением общего восторга и готовности умереть за неё.

— Мне стыдно, как матери вашего императора мне нельзя сносить все эти обиды! Поэтому прошу вас, господа, во имя вашей чести, во имя преданности вашей государю и отечеству избавьте нас от этого общего врага; пора прекратить эти пытки и казни, остановить льющуюся кровь... вспомните о ваших товарищах: Ханькове, Аргамакове... Мой секретарь, адъютант принца, одним словом, все... — Принцесса запуталась в своих словах и, стараясь поправиться, протянула руку... — Я поручила фельдмаршалу арестовать нашего врага, помогите ему, господа!

Караулом командовал старый служака и рубака секунд-майор Пушкин.

Крутя свои рыжеватые усы, которые он носил вопреки уставу, и посматривая на принцессу как на ребёнка, которого тиранят злодеи, он не выдержал, схватил её протянутую руку, горячо поцеловал и сказал:

— Матушка государыня, принцесса, великая княгиня, мы уже сказали, что готовы умереть за тебя! Нам и самим тяжело смотреть

на этого проклятого немецкого ферфлюхта, что пьёт русскую кровь! Вели вести нас, мы в огонь пойдём!

Вслед за Пушкиным подошёл другой офицер к её руке, за ним третий, последним подошёл Манштейн.

— Идите же с Богом! Фельдмаршал вас поведёт и укажет! Слушайте его приказания, они идут от вашего императора, и передаёт их вам его мать. С Богом! Дайте я перецелую вас на прощанье.

И она подарила Манштейну свой первый поцелуй, а потом по очереди перецеловала всех остальных.

Затем все вышли во двор и сделали расчёт караула, восемьдесят человек под командой самого Миниха отправились в Летний дворец. Пушкин с отрядом в сорок человек должен был оцепить дворец; Манштейн с отрядом в двадцать человек и субалтерн-офицером проникнут во внутренние покои и произведут арест; двадцать человек при Минихе должны были оставаться в резерве. Два отдельных отряда должны были арестовать братьев Бирона, Карла и Густава, его зятя —

генерала Бисмарка и кабинет-министра Бестужева.

Миних не сел в карету, а пошёл с людьми. Карета следовала за ним.

Около дворцовых оранжерей отряд остановился. Миних послал Манштейна вперёд переговорить с караульными офицерами. Утром караул этот он видел сам, назначение его было обдуманно вперёд, поэтому он знал, что противодействия с его стороны не должно быть; но во избежание всякой случайности, как осторожный главнокомандующий, он хотел всё же вперёд произвести рекогносцировку. Пушкину с его отрядом Миних велел обойти дворец кругом, к каждому выходу приставить двух часовых с примкнутыми штыками и не выпускать никого.

— Чтобы птица пролететь не могла, так окружи, Пушкин! Знаешь, по-моему, по-военному: кто покажется — забирай, не даётся — коли! Я отвечаю за всё!

Манштейн вошёл в комнату к караульным офицерам и нашёл, что двое из них спят, один в кресле, другой на диване, а третий при сальном огарке пишет кому-то письмо.

— Господа! — сказал Манштейн, хотя из этих господ мог слушать его только один. — Скажу вам радость! Я прислан арестовать Бирона!

— Что-о? — вскрикнул пишущий с изумлением и выронил из рук перо.

— Да, арестовать! Принцесса сама выходила и приказывала, и фельдмаршал с нами. Вы нам не помешаете?

— Мы! Да если вы пришли его повесить, так мы верёвку приготовим!

— А господа?

— Само собой, обрадуются! Слушай, вставай! — начал офицер расталкивать своих товарищей. — Радость: герцога повесить хотят!

— Что? А? Эх, братец, разбудил! Ты смеёшься, а я такой сон хороший видел, — видел, будто его в самом деле повесили!

Оба офицера, однако, проснулись и, выслушав Манштейна, заявили предложению об аресте регента своё полное сочувствие. Все в одно слово говорили, что такой радости и не ждали; что не только за себя, но и за солдат своих ручаются; что когда герцога арестуют, то для всех для них будет праздник.

С этим ответом Манштейн отправился к Миниху. Тогда Миних приказал ему идти с отрядом в двадцать человек и взять Бирона.

— Манштейн, — сказал он, — живого или мёртвого, но ты должен его представить! Помни, что ты играешь на свою и на наши головы!

— Будьте покойны, ваше сиятельство, живого не выпущу! — С этими словами Манштейн вернулся во дворец.

Войдя в караульную комнату, он стал совещаться с офицерами о том, как бы дать знать часовым, чтобы те его не окликали и не задерживали. Сперва думали было произвести смену часовых, а новым сделать внушение, но на это требовалось много времени, да и могло возникнуть подозрение, зачем не вовремя смена? Наконец решили, что Манштейн пойдёт один с их ефрейтором. Часовые, видя старшего адъютанта фельдмаршала с их ефрейтором, разумеется, будут думать, что он идёт с донесением, и беспрепятственно пропустят их. Отряд же будет следовать за ним шагах в двадцати; о пропуске его уже будет заботиться ефрейтор.

Так и сделали. Манштейн прошёл все караульные посты без всякого затруднения и вошёл во внутренние покои.

Но, войдя туда, он невольно остановился.

«Где же спальня герцога? — подумал он. — Как бы не запутаться?»

В комнате было три двери. Манштейн остановился. Ему невольно пришёл на мысль эпизод из индийской сказки, облетевшей в народных преданиях целый мир, где рыцарь, отыскивающий своё счастье, должен был остановиться на перекрёстке трёх дорог и прочесть надпись: «Пойдёшь направо — с голоду помрёшь; пойдёшь налево — коня уморишь; пойдёшь прямо — оба будете сыты и оба биты».

«Здесь, положим, с голоду не умрёшь; коня со мной нет, так и морить некого; зато ошибёшься, так не только прибьют, а в застенке у Андрея Ивановича все кости переломают, всю душу измают, и в конце концов голову на колесе сложить придётся!»

При этой мысли Манштейн вздрогнул. Он заколебался было. Но всего лишь одно мгновение. Он сейчас же ободрил себя: «Из дворца

не уйдёт! Фельдмаршал не оставит, коли пошёл! — С этою мыслью он приоткрыл первую дверь — она вела в коридор. — Не может быть, чтобы они по коридору в спальню ходили, — подумал он; приоткрыл вторую: видимо — тафельдекерская, в ней на кушетке спал дежурный лакей. — Разбудить и спросить? А если он поднимет шум? Если с умыслом укажет не туда, а сам побежит предупредить? Герцог, разумеется, спрячется, и хлопот будет много. Нет! Иду на счастье, была не была!»

Третья дверь вела в великолепную гостиную. «Надобно думать — сюда, — рассуждал про себя Манштейн и махнул рукой ефрейтору, заставив его стоять перед входом во внутренние комнаты, чтобы указать отряду, куда идти, когда он позовёт. — Верно, спальня идёт по линии фасада», — думал Манштейн и шёл дальше, не затворяя за собою дверей.

Пройдя комнаты две или три, он вошёл в небольшую комнату, из которой вела только одна дверь. Он хотел войти в эту дверь, но оказалось, что она заперта изнутри. Манштейн опять поневоле остановился.

Опираясь на эту дверь и шевеля тихонько

ручкой, он стал раздумывать, что делать: «Идти кругом, поставив здесь часовых, или попробовать из сада влезть в окно — всё это трудно и рискованно! А что спальня здесь, в этом нет сомнения». Но он вдруг почувствовал, что от его давления дверь подаётся. Он надавил сильнее — и дверь отворилась. Ни верхняя, ни нижняя задвижки не были задвинуты. Манштейн вошёл.

Перед ним действительно была спальня герцога. К одной из стен примыкал альков, драпированный дорогим штофом и украшенный гербами Курляндии и Семигалии, золотыми шнурами, кистями и бахромой. Занавесы алькова были опущены. Приподнимая осторожно одну из этих занавесей, Манштейн увидел стоявшую на возвышении низенькую, но широкую, двухспальную кровать. Герцог и герцогиня оба крепко спали. Случайно он подошёл с той стороны кровати, на которой спала герцогиня.

Герцог спал крепко. Он только недавно заснул. После того как от него уехал Миних, он долго говорил с Левенвольдом, который дока-

зывал ему, до какой степени Миних опасный человек для его регентства, повторяя, разумеется, те доводы, которые успел внушить ему Остерман. Он говорил, какое сильное влияние может иметь на войско фельдмаршал, особенно фельдмаршал победоносный, напоминающий войску времена и славу Петра Великого. Он указывал на его умение говорить с солдатами, на его мастерство показать, что он о них заботится, разделяет их труды и опасности, которые действительно, по своей беззаветной храбрости, он всегда разделял, будучи всегда впереди и всегда на виду.

— Говорили, — продолжал Левенвольд, — что он не жалеет солдат в битве и покупает свои победы их кровью. Но войско никогда не жалеет об убитых в сражении и любит славу победы. Оно знает, что госпитали, дурная стоянка и бездействие уносят больше жертв, чем самые кровопролитные битвы. А никто не может сказать, чтобы Миних, согласно существовавшим тогда понятиям, не заботился о госпиталях, о провиантах или чтобы оставлял войско в бездействии. Довольно сказать, что солдаты забыли видеть в нём иностранца,

они смотрят на него как на русского! — говорил граф Левенвольд. — У них теперь граф Христофор Антонович Минихов такой же отец командир, как до того был князь Михайло Михайлович Голицын, с которым они охотно лезли на стену! А, разумеется, общая любовь войска для вашего высочества, как человека невоенного, не может не быть опасной...

Герцог слушал внимательно.

— Но кроме войска, — говорил Левенвольд, настроенный Остерманом, — Миних популярен и в народе. Народ чувствует пользу, которую ему принёс Ладожский канал: хлеб подешевел, без дров не сидят, мясо и живность стали дешевле. «А всё это Минихов сделал, дай бог ему здоровья!» — говорит народ. Каждое сооружение, которое он производит, вызывает его благодарность к нему, тем более что он очень доступен, каждому объясняет, с каждым говорит. Народ любит его за эту простоту, как войско — за беспримерную отвагу. Что же, ваше высочество, вы хотите сделать против такого человека, который притом так лукав, что умел сойтись и с здеш-

ними старинными гордыми домами. Голицыны, Головкины, Куракины, Зацепины, Ростовские, Нарышкины, Лопухины, Долгорукие — все приятели с Минихом, все признают приносимую им государству пользу.

— Точно опасный человек, и его нужно убрать во что бы то ни стало! — сказал герцог как бы про себя. — Он же нынче и с молодым двором начал заигрывать! Да! А это при положении его сына, как гофмейстера, и его брата, как постоянного партнёра, делает его сильным и весьма опасным. С Менгденами же они свои! Делать нечего, решаюсь! Пусть принимает гетманство. Завтра же вручу ему все бумаги. Если же он не захочет, о — тогда я знаю, что я сделаю!.. — и Бирон судорожно и злобно перекошил губы.

— Он говорил, что принимает и будет очень доволен, — сказал Левенвольд. — Ведь ещё при жизни покойной государыни он хотел, чтобы его сделали украинским герцогом.

— Да, и государыня отвечала: «Миних очень скромн, просит сделать себя герцогом украинским; не хочет ли он, чтобы я его сделала великим князем московским?» Она отве-

чала это потому, что знала, что Малороссия тогда будет потеряна для России! — проговорил мрачно Бирон.

— Это ещё бог знает, ваше высочество! Прежде всего как ещё он управится с ней и долго ли проживёт? Потом, согласитесь, что сын его не смотрит таким орлом-главнокомандующим, как его отец. А главное, чтобы теперь-то он уехал и чтобы ваше высочество могли быть покойны и в вашем высоком положении могли себя укрепить. Кроме Миниха, здесь некому поднять голос против вашего высочества. Говорят о принце Антоне... Да разве он может что-нибудь один? Нет ни одного генерала, пользующегося сочувствием войска; а ведь военные — это сила.

— Прочтём бумаги, которые заготовил Андрей Иванович; читай ты! — сказал герцог Левенвольду. — Хотя нужно сказать правду, мы оба с тобой по части русского языка — швах! Но это ничего, мы поймём главное, а завтра придет Бестужев и отделаает подробности.

Левенвольд стал читать.

— «Понеже малороссийский народ, отличаясь всегда верностию нашему царскому и

императорскому дому, на службе своей нам оказывал неоднократно многие примеры своего усердия и преданности, какими надеемся и впредь отличаем быть имеет, и как отсутствие гетмана и управление посредством особливо учреждённой комиссии многие неисправности и упущения производит и наивящше на войсковую казну тягчайшим обременением ложится, и таких непорядков по назначению гетмана ни исправить, ни наблюдать невозможно, то мы заблагорассудили...» — далее говорилось о предоставлении малороссийскому народу права избрать себе гетмана «из известных своею преданностию и честью из находящихся при нашем дворе знатных особ».

И долго ещё сидели Бирон с Левенвольдом за этим сочинением, пока наконец окончили и распростились. Герцог пошёл спать, а Левенвольд поехал к Остерману сообщить о результатах своей беседы. Там он нашёл принца Антона, который тоже ждал его возвращения.

— Ну что? — спросил принц Антон, будучи не в силах скрыть своё нетерпение, в то вре-

мя как Остерман сделал Левенвольду тот же вопрос, только одним взглядом.

— Всё готово! Миних сказал, что будет рад быть наследственным гетманом; определение о том и манифест завтра же будут внесены в кабинет.

— Виват! Браво! — вскрикнул принц.

— Да, виват, браво, — прибавил Остерман спокойно. — Обещаю вам, что через неделю после того, как Миних уедет, ваше высочество, как отец императора, будете нашим регентом и повелителем. Дайте-ка рейнвейну выпить за здоровье принца.

Рейнвейн явился, и общие пожелания выразились в общем тосте выпитого дружно старого, букетного немецкого вина.

Взглянув на спящих герцога и герцогиню, Манштейн живо воротился к дверям, чтобы знаком ускорить движение отряда. Когда он подошёл вновь, то герцог, утомлённый работой, спал так же крепко; герцогиня же начала просыпаться и тихо, сквозь сон, спросила:

— Кто тут?

Манштейн промолчал. Он думал, может

быть, она снова уснёт. Но матовый свет фарфорового ночника ударил ей в лицо; она услышала дыхание постороннего: ей стало страшно. Она приподнялась и спросила уже громко:

— Кто тут?

— Не беспокойтесь, герцогиня, — сказал Манштейн, желая протянуть время. — Нужно видеть герцога.

Но герцогиня была не в силах вслушаться.

— Что такое? Кто? Караул! Караул! — завизжала она в совершенном беспомоществе.

— Я много караульных привёл, не извольте беспокоиться! — отвечал Манштейн.

Манштейн стоял у кровати со стороны герцогини. Он хотел было через кровать схватить герцога за руку или за ногу, чтобы удержать его на постели до прибытия солдат, но герцог проснулся и вскочил. При взгляде на Манштейна первою мыслью его было спрятаться под кровать, но Манштейн успел оббежать вокруг кровати и схватил его поперёк. Герцог попробовал было отпихнуть его, наконец ударил его в бок, думая, что Манштейн выпустит его. В то же время он громко во весь

голос крикнул:

— Люди! Караул!

Герцогиня визжала страшно, стоя на постели на коленях и вцепившись в Манштейна. Манштейн держал Бирона крепко и тоже закричал.

— Скорее, скорей, уйдёт!

Солдаты, услышав общий крик, бросились бегом в спальню. Двое из них, вбежав первыми, схватили герцога и ударом кулака освободили Манштейна от ногтей герцогини.

Началась свалка. Герцог хотел отбиться кулаком. Солдаты в свою очередь не жалели его и начали дуть кулаками и прикладами. Подбежало ещё трое солдат.

— Вот тебе за Волынского! — проговорил молодой солдатик, нанося ему удар прямо в глаз, так что тот отёк и закрылся. Другой солдат ударил Бирона под бок; кто-то ударил его прикладом в спину. Бирон чувствовал, что силы его слабеют. А тут подбежали ещё двое. Один ударил его в лицо, так что удар раздвоил нижнюю губу и вышиб зуб. Из рта и носа у него полилась кровь, руки его держали как в тисках. Вошло ещё десять человек с ружья-

ми и стали у дверей. Манштейн расставил из них часовых.

С Бироном возилось шесть человек. Он всё ещё не сдавался; ему удалось бросить свои карманные часы в зеркало, и оно разбилось вдребезги. От нового удара в лицо Бирон упал. Тут он пробовал было опять залезть под кровать, но почувствовал, что его кусает неизвестно каким образом пробравшаяся туда собака. А солдаты тащили его за ноги и били прикладами ружей. Вне себя он закричал изо всех сил. Придворные, как крепко ни спали, утомлённые дневной службой, начали показываться у других дверей спальни, ведущих в гардеробную. Их встретили часовые с примкнутыми штыками, и Манштейн распорядился их прогнать, хотя ни в одном из них не было заметно даже желаниа защищать герцога.

Наконец солдаты забили его рот платком, взяли офицерский шарф и начали крутить лежавшему герцогу руки, упираясь в грудь и бока коленями и сапогами, чтобы не дать ему подняться. Манштейн отдал им ещё свой шарф; этим шарфом они связали ему ноги. То-

гда они подняли распухшего, избитого герцога и поставили его на ноги. В это время молодой солдатик нанёс ему ещё удар в другой глаз, поставив громадный фонарь и проговорив:

— Вот тебе за Ханькова!

Манштейн распорядился, чтобы его больше не трогали, так как он связан; но не обошлось без того, чтобы озлобленные солдаты исподтишка не дали ему ещё нескольких горячих тычков. Бирон только стонал, насколько допускал забитый платком рот.

— Ну вали его и тащи! — приказал Манштейн, и солдаты, накинув на него сверх рубашки солдатскую шинель, схватили за плечи и за ноги и понесли.

Когда они уже подошли к лестнице, на встречу им бросилась девушка в кофточке с распущенными волосами.

— Изверги, злодеи, что вы делаете? — вскрикнула девушка, бросившись прямо на двух шедших впереди и несущих ноги герцога солдат.

Но один из них с словом: «Прочь!» — ударил её кулаком в грудь изо всей силы, и она

покатилась кубарем по лестнице вниз.

Это была Гедвига Бирон. Принцы Пётр и Карл сидели в своих комнатах запершись. К ним Манштейн поставил часовых.

— Пойдите, пойдите! — кричала герцогиня. — И меня и меня! — Но на её крики никто не обращал внимания. Медведя свалили, медведица и медвежата были не опасны.

Герцога, как есть связанного, посадили в карету Миниха, с ним сел офицер; на козлы и запятки посадили конвой и повезли так в Зимний дворец.

Бисмарк и Бестужев также были арестованы. Когда Бестужева брали, он спросил у Кенигфельса, который пришёл его арестовать:

— За что же его высочество регент-герцог на меня гневаться изволит? Я служил ему, кажется, всеми силами.

— То-то и есть, что всеми силами, — но это не моё дело! Там разберётесь, — отвечал Кенигфельс.

В шесть часов утра Миних, торжествующий, прибыл в Зимний дворец. Всё было кончено и не пролито ни капли крови, если не считать той, которая вылилась из герцогского

носа, угощённого солдатским кулаком.

— Тако да погибнут нечестивии, — говорила Новокшенова в своём кругу, сердитая на Бирона за то, что он велел всех шутов и шутих императрицы Анны выгнать из дворца помелом. Она не сообразила, что этот, и только этот поступок Бирона и занесёт на свои страницы русская история, как действительно доброе и полезное в общем развитии человечества дело. Более его добром помянуть не за что.

II

Гедвига

Принц Антон и граф Левенвольд вышли от Остермана с самыми радужными надеждами. Принцу казалось, что он уже регент обширной империи, генералиссимус славных русских войск и в дружбе с родственным царским двором, в согласии с ним, предписывает законы Европе. Ему представлялось уже, будто перед ним, маленьким германским князьком, склоняются все могущественные

государя, ищут его дружбы и стараются заслужить его расположение. Посредством своих послов они удостоверяют в своей готовности признать его главенство, содействовать его намерениям.

«Короли, французский и испанский, — думает он, — пришлют послов поздравить с вступлением в управление. Польский и шведский короли будут искать моего патрона. Прусский король, опираясь на родство, будет тоже стараться мне угождать. Дания, нет сомнения, особенно будет стараться расположить меня к себе, чтобы я не принял стороны голштинского принца по вопросу о Шлезвиге. А мне какое дело до Шлезвига? Правда, цесаревна Елизавета будет настаивать помочь её племяннику, но дурак я буду, если вздумаю поддерживать соперничающую линию; помогать тем, кто может быть противником моего сына! Нет, настолько глуп я не буду! — рассуждал принц Антон. — Я знаю, что в политике нет родства и что помогать сопернику — значит идти против себя. Первым министром у меня будет Остерман, человек действительно умный, выходящий из ряда политических

человек. Он научит и выпутает меня из всех сложных комбинаций, предотвратит все возможные встречи затруднения... А если не предотвратит? — вдруг спросил он себя. — Ну что ж? Тогда я стану во главе своего войска и поведу эту славную русскую армию, которая возвысит славу моего имени во все концы земного шара!»

Мечтая о своём величии и славе, принц, сопровождаемый Левенвольдом, шёл, чтобы сесть в свою карету. В воображении его мелькала битва, уничтожающая в прах его врагов; битва кончается, начинается преследование бегущего неприятеля. Он преследует своей кавалерией, летит впереди сам, и все склоняются, все падают ниц. Он мечтал уже о том великодушии, которое, как победитель, он окажет, и о том, как Миних, пристав к его врагам, подобно Мазепе, вынужден будет прибегнуть к его монаршему милосердию.

Не менее радужные мечты одолевали голову и Левенвольда. Он должен быть третьим человеком в империи. Регент, Остерман и он. Ему отдадут силезские имения Бирона, уплатят долги, обеспечат особым капиталом. Это

ему необходимо. Потом его сделают обер-камергером, кабинет-министром и президентом штатс-конторы. Он будет жить роскошнее, чем теперь живёт герцог Бирон. Кредит его поднимется. Положение и значение его опять станут на ту высоту, на которую, некогда думали, они станут, когда двадцатилетним юношей он вдруг явился при дворе андреевским кавалером, с той только разницей, что тогда это положение давало ему надежды на будущее, а тут будет осуществление этих надежд в настоящем.

Такого рода радужные мечты Левенвольда поддерживались ещё весьма увесистым ощущением. Он чувствовал в кармане присутствие двадцати свёртков золота, по пятьдесят золотых в каждом, присутствие тысячи золотых, данных ему Остерманом, несмотря на его скупость, за услугу в переговорах с Бироном о высылке из Петербурга Миниха во что бы то ни стало, хотя бы России для этого пришлось пожертвовать Малороссией. Эта тяжесть в кармане была для него тем приятнее, что, проигравшись ещё ранней осенью, он давно чувствовал в своём кармане отсутствие

всякого присутствия.

Усадив принца в карету и сядя в свою, Левенвольд подумал: «А что, ведь теперь не поздно!» Он нажал пружину репетиции своих часов; пробило половина второго.

«У Леклер, — подумал он, — пожалуй, теперь большая игра. Заехать разве?»

И несмотря на то что Левенвольд много раз давал себе слово не портить своего положения проигрышами, он не выдержал себя и приказал ехать к Леклер.

Понятно, игрок всегда игрок. Он также ставит ребром последний рубль от безнадежности, как ставит его в чадую радужных надежд, и если зарекается не играть, то до первых денег, точь-в-точь так же, как и пьяница, который пьёт с горя и радости, и если зарекается не пить, то — до первого поднесения. Левенвольд был игрок в душе, так же как и Бирон. Он любил самый процесс игры, независимо от выигрыша. Игра его опьяняла. Он чувствовал, что живёт только в то время, когда играет. Получив тысячу золотых после долгого поста, происходившего от безденежья, он не в силах был преодолеть своей страсти, не в си-

лах был отложить до завтра. И зачем откладывать? Сегодня из этой тысячи можно сделать десять, а с десятью тысячами золотых в кармане всякое дело успешнее, всякое предположение вернее.

Но у Леклер Левенвольд не нашёл той большой компании, какую ожидал. Из знакомых, играющих по большой, он нашёл только Лестока, да и тот был занят игрой в тинтере с каким-то гамбургским негоциантом. Были ещё Генриков, Лопухин, молодой Зацепин, Салтыков и ещё несколько старых и молодых любителей тогдашнего французского бонвиваната и поклонников очаровательных глаз и любезностей хорошенькой француженки. Но настоящих игроков, действительных партнёров, противников, стоящих с Левенвольдом на одной ступени, кроме Лестока, не было ни одного. Впрочем, Леклер сказала, что она надеется, что будет Густав Бирон и банкир Липман, стало быть, Левенвольду стоило подождать.

В ожидании появления этих достойных партнёров, а также пока Лесток кончит своё тинтере, Левенвольд сел в экарте с Генрико-

вым. Игра была для него слишком ничтожная: два золотых партия. А Левенвольду хотелось большой игры, хотелось ощущений, чтобы отвлечь свои мысли от политики; хотелось рассеяться перед надеждами на то, что завтра же может быть осуществлено, именно что Миних будет спущен в Малороссию и что затем, содействуя Остерману и принцу Антону в их намерениях, он получит государственное значение. «Ведь тогда, пожалуй, и поиграть не удастся, — подумал он, — хоть какое-нибудь, да дело, верно, будет, поэтому, пока на свободе...» Думая об этом, он предложил присутствующим, не угодно ли кому держать против него. Но никто не отвечал. Оно и понятно: все знали, что Генриков в экарте играет несравненно слабее Левенвольда.

Молодой Зацепин в это время играл с Лопухиным в шахматы. Игра была безо всякого интереса. Князь Андрей Васильевич на интерес ни во что не играл; тем не менее игра эта задевала самолюбие игроков, особенно потому, что в обществе того времени существовало мнение, что быть хорошим шахматным игроком может только очень умный человек.

Когда Левенвольд вызывал посторонних держать против него, то Зацепин подумал: «Хорошо бы наказать этого проклятого ферфлюхтера за его прошлую дерзость и доставленные мне неприятности и препятствия».

Мысль эта могла явиться в голове князя Андрея Васильевича тем естественнее, что хотя Левенвольд, ввиду милости к нему покойной государыни особого внимания, оказываемого всем герцогским семейством и вообще успеха в свете, наконец, ввиду того, что он должен был хотя наружно показывать, что он благодарен за брата, — был с ним весьма вежлив, но было видно, что сцены приезда его в Петербург он вовсе не забыл. Он постоянно держал себя в рассуждении его весьма серьезно и сдержанно. Мстительный характер и заносчивость Левенвольда не давали ему покоя, напоминая, что он должен был выслушать дерзкий ответ этого негодного русского мальчишки. Он злился, выходил из себя, вспоминая, что этот дикий русский молокосос смел угрожать ему, «немецкому барону и графу», смел так с ним разговаривать, и за такой разговор он, немецкий барон и граф, не

мог его не только как следует проучить, но ещё должен теперь благодарить; видите, он с ним в великодушие играть вздумал, брату помочь.

«Неважное дело бросить сотни две-три золотых, — подумал молодой Зацепин. — Попробую, а уж если мне повезёт, задену же я его, да так, что он не будет знать, как со мной и разделаться!»

Думая так, князь Андрей Васильевич сказал:

— Если вашему сиятельству угодно, я держу против вас сто золотых!

Левенвольд, взглянув на него, подумал:

«Вот бы хорошо обыграть его хорошенько. Перво-наперво, наказать бы дерзкого мальчишку, а потом — начнёт играть, кружок играющих увеличится, в обороте игры приливу больше будет! У него же, говорят, денег не занимать».

Но, думая это, Левенвольд сказал:

— Не много ли будет на одну партию сто золотых?

— Как угодно вашему сиятельству, а менее я держать не стану! — отвечал Зацепин.

— Играть так играть! — проговорил Лопухин.

— Хорошо, идёт сто золотых! — с внутренней досадой отвечал Левенвольд. Он подумал: «Нельзя упускать случая, нужно воспользоваться! Нет никакого сомнения, что Генриков далеко ниже меня по игре в экарте».

— Что, князь, не выдержали, начали? — обратились было многие к Зацепину. Он не смутился этим, а шутливо отвечал:

— Совсем нет! Я держу собственно для того, чтобы доставить удовольствие его сиятельству, который, я знаю, не любит маленькой игры!

Лопухин спросил, не бросить ли им их партию.

— Это зачем? — возразил Зацепин. — Мы можем продолжать! — И, обратясь к Генрикову, он просил его сказать, когда он проиграет, а сам углубился в свою шахматную игру.

Левенвольд первую игру взял все пять взяток и отметил два очка.

— Плачут ваши сто золотых! — сказал Генриков Андрею Васильевичу.

— Пусть их себе плачут! — проговорил Ан-

дрей Васильевич, стараясь не обращать на игру Генрикова ни малейшего внимания и углубиться вполне в шахматные соображения.

«Ведь дядя говорил, что нет ничего мещаннее, как дрожать за свои деньги», — подумал он, подвигая королевскую пешку.

Вторую игру Генриков поравнялся. Он открыл короля и взял три взятки. Следующая игра была тоже Генрикова. У него стало четыре очка, тогда как Левенвольд оставался при двух. Четвёртую игру сдавал Левенвольд и дал Генрикову короля на руку. Партия была выиграна Генриковым.

— Вы выиграли, князь! — сказал Генриков Зацепину.

— Прекрасно! Прикажете, ваше сиятельство, пароль? — спросил Зацепин у Левенвольда, делая конём шаг даме.

Левенвольда задело за живое.

— Хорошо, — сказал он, — идёт ваш пароль!

Партия опять была выиграна Генриковым.

— Вы выиграли, князь, — сказал Левенвольд. — Сколько вам угодно теперь?

— Всё!

Левенвольд опять согласился и опять проиграл.

— Угодно опять на всё? — спросил князь Андрей Васильевич, когда ему сказали о выигрыше.

— Не ограничиться ли, князь, четырьмястами? — спросил Левенвольд.

— Нет. Или всё, или ничего! — отвечал князь Зацепин. — Иван Степанович прав, говоря: играть так играть! Как прикажете?

Левенвольду стало жаль проигранных шестисот золотых. Он подумал: «Проиграл три партии сряду с Генриковым, неужели проиграю и четвёртую? Это даже невероятно! Но как же? У меня всего тысяча золотых... Ну что ж? Приедет Бирон или Липман, возьму у них, не то у Лестока, когда он кончит своё тинтере! Да невероятно, чтобы четыре партии сряду...» И он согласился играть опять на всё.

Но Левенвольду не везло, и он проиграл опять. В это время и Лопухину Зацепин сделал мат.

— Вы выиграли тысячу двести золотых! — сказал Генриков Зацепину.

— И прекрасно! — весело отвечал Андрей

Васильевич. — Для первого дебюта и довольно.

У графа Левенвольда выступил холодный пот. Для уплаты ему не хватало двухсот золотых. Ни Бирон, ни Липман не приезжали, а Лесток был так занят своею игрою, что спросить у него было нельзя. Продолжать игру с Генриковым не было смысла. На этой игре он не мог отыграться. Однако ж он продолжал, чтобы протянуть время до расчёта и думая, у кого бы перехватить двести золотых.

Андрей Васильевич, заметив колебание Левенвольда, угадал, что у него, должно быть, недостаёт денег для расплаты, и торжествовал. Он отошёл от игорного стола в сторону и начал с кем-то длинный разговор об охоте, будто совсем и забыл о своём выигрыше.

После долгих колебаний Левенвольд скрепя сердце вынужден был к нему подойти. Подавая двадцать свёртков золота, он извинился за недостающие двести золотых, которые обещал доставить на другой день.

— Помилуйте, граф, стоит ли об этом говорить? Прошу убедительно не беспокоиться! Когда вам будет угодно! — отвечал князь Ан-

дрей Васильевич. — Не нужно ли вам? Оставьте у себя и эти...

Левенвольд поблагодарил и отказался.

А тут будто нарочно: только он отошёл от Зацепина, подошёл Лесток и вызвал на игру.

Левенвольду страшно хотелось играть. Во-первых, хотелось отыграться. Страсть игры от проигрыша усиливается. Во-вторых, хотелось играть для игры. Он проиграл, почти не играя.

Сесть играть без денег нельзя, ввиду того общего условия в доме Леклер, чтобы по игре рассчитываться сейчас же. Игроки, в том числе и Левенвольд, в своих интересах строго наблюдали за исполнением этого правила; каким же образом он сам его нарушит, да ещё против Лестока? А от денег он сейчас отказался. Но это ещё можно поправить. И страсть игрока победила гордость немца. Он подошёл вновь к князю Андрею Васильевичу, в то время как тот опять садился за шахматы.

— Простите, князь, — сказал Левенвольд, — я сию минуту отказался от вашего любезного предложения.. но если бы вы его повторили мне, то очень, очень бы обязали...

— С удовольствием, с большим удовольствием, граф! — отвечал Андрей Васильевич. — Вот ваша тысяча золотых! У меня с собой есть ещё тысячи полторы в векселях Липмана и Велио.

Если будет нужно, я весь к услугам вашего сиятельства. А приедет дядюшка, и у него можем взять.

Ясно, что такая любезная обязательность не могла не вызвать в Левенвольде чувства благодарности и приязни хотя на эту минуту. Это чувство усилилось ещё тем обстоятельством, что благодаря обязательности Зацепина Левенвольд не только отыгрался на Лестоке и Липмане, который хоть и поздно, но приехал, но ещё, расплатившись с Андреем Васильевичем, уезжал с крупным кушем выигрыша. Ни один из Биронов и Зацепин-дядя не приезжали.

Игра кончилась часу в четвёртом в исходе. Левенвольд и Зацепин вышли вместе совершенными приятелями. Левенвольд соображал: «У этого юноши и вперёд можно будет перехватывать; видимо, у него денег куры не клюют! Притом Миних уедет, придётся со-

ставлять партию в пользу принца Антона; молодой, богатый русский князь, древнего рода, гвардейский офицер и уже получивший значение в обществе будет для нашей партии завидным приобретением. Нужно с ним сойтись, непременно нужно сойтись!»

Андрей Васильевич не велел приезжать за собой экипажу. Он пожалел лошадей и кучера, заставив ждать их себя неизвестно до которого часу. Он думал, что можно ведь и пройтись изредка. Но на дворе было скверно. Левенвольд, ездивший в придворной карете и могущий, по управлению своему двором, менять экипажи хоть по пяти в день, не имел никакой надобности экономить в этом отношении; поэтому карета всегда была к его услугам. Он уговорил Зацепина ехать с ним.

— Ведь мне это почти по пути, — говорил Левенвольд. — Мы проедем по Фонтанке, повернём в Итальянскую и, проехав мимо Летнего дворца на театральный мост, поедем по Мее к старому дворцу, где я живу и где весьма рад буду видеть вас, князь! При этом мы будем проезжать мимо самого дома вашего почтенного дядюшки, поэтому вы ни в каком

случае не можете меня затруднить!

Андрей Васильевич принял предложение и сел в карету Левенвольда.

В карете Левенвольд начал разговор тем, что высказал своё неудовольствие регентом. Заметив, что этим он не вызвал в молодом Зацепине противоречия, он стал продолжать.

— Недовольство регентом общее, — говорил Левенвольд, — всего двора. Немцы решительно все против него, поэтому мы решились его низложить. Все видят, что он терзает Россию бесполезно, что русские против него уже озлобились, и это озлобление может быть для всех нас опасно. Восстанет, пожалуй, народ, и мы все должны будем поплатиться своими головами за то, что делает Бирон! Мы бы давно его низложили, в первый же день, да мешает фельдмаршал Миних! Этот ненасытный честолюбец, пожалуй, всё в свои руки возьмёт; ненасытность его ничем удовлетворить невозможно! Поэтому мы сперва решились постараться, чтобы прежде всего во что бы то ни стало удалить из Петербурга Миниха, а потом...

Ведя этот разговор с целью привлечь на

свою сторону молодого князька, Левенвольд был не настолько умён, чтобы скрыть свои дальнейшие предположения. Он высказался, что Миниху дадут Малороссию, Бирона прогонят в Курляндию, регентом будет принц Антон, он же будет генералиссимусом. Остермана сделают первым министром и подчинят ему всё управление, а его, Левенвольда, сделают кабинет-министром вместо Бестужева, которого сошлют жить в своих деревнях за его преданность Бирону. Князя Черкасского оставят на месте. Если князь Андрей Дмитриевич Зацепин, дядюшка Андрея Васильевича, присоединится к ним, то его могут сделать генерал-адмиралом; ему же, Андрею Васильевичу, Левенвольд предлагает производство в капитаны гвардии и место обер-шталмейстера князя Куракина, которого думают послать послом в Париж.

Слушая это выгодное для себя предложение со стороны влиятельного немца, Андрей Васильевич почувствовал будто укол в сердце. Его охватила какая-то невольная тоска. Он подумал: «За что иноземцы так делают, так треплют мою бедную родину? Победили ли

они её в честном бою или осчастливили своей разумной деятельностью? Нет, они ничего не сделали, ничего не принесли! Они умели только сплочённо и стеной идти к фавору, умели только выпрашивать друг другу милости, только расхищать и терзать... А теперь они делят и треплют Русскую землю как победители!»

И чувство гражданской скорби невольно охватило его. Он ощутил обиду в ущемлении своей народной гордости. Его колола эта бесцеремонность, с которой смотрели на него самого как на быдло, могущее думать только о своих личных интересах и больше ни о чём. Такая мысль, такое сознание невольно возмущали его, хотя предложение в его годы быть произведённым в капитаны и получить место обер-шталмейстера, разумеется, не могло не представляться ему весьма лестным. Вместе с тем он не мог не подумать также и о том, что будет с Гедвигой? Она уедет в Курляндию и там, пожалуй, потеряет всё! Бироны её не любят. Между тем через неё он мог бы то же, и даже ещё больше, получить! Притом, пожалуй, может возникнуть междоусобие.

Герцог так скоро не сдастся. Найдутся, пожалуй, многие, которые примут его сторону... Бедная, бедная Россия!..

Думая это, он молчал, предоставляя Левенвольду высказываться и развивать свои планы. Он думал: «Поговорю завтра с дядей, что он скажет. Он хоть и не терпит Бирона, но не думаю, чтобы согласился на такой переворот, отдающий всю Россию в руки Остермана». В это время они ехали мимо Летнего дворца. Был пятый час перед рассветом. Андрей Васильевич выглянул в окно.

«Что это такое? — подумал он. — Что-то особое у герцога. Ворота на дворе растворены; в сад тоже; одна половинка последних даже сбита с петель и висит только на одном крючке; часовых нигде нет! Два окна в комнатах принца Петра выбиты, к одному приставлена лестница; один из фонарей у подъезда разбит».

— Что это значит, граф? Посмотрите! Здесь что-то случилось! — сказал князь Андрей Васильевич, перебивая расходившегося в своих предположениях Левенвольда и говорившего в это время о близком союзе с цесарским дво-

ром.

Левенвольд взглянул и тоже изумился.

— Да! — сказал он. — Это тем удивительнее, что я уехал от герцога после полуночи и ничего подобного себе нельзя было даже представить.

— Не признаете ли, ваше сиятельство, целесообразным разузнуть? — спросил Андрей Васильевич.

— Действительно, я думаю, нужно! Что это такое в самом деле?

Карета остановилась, и они вышли. Левенвольд приказал верховому спешиться и вместе с лакеем идти за ними. Они вошли в растворенные двери главного подъезда. Не было видно ни зги. Левенвольд приказал человеку взять из кареты фонарь и принести. Между тем Зацепин, пробираясь ощупью к лестнице, поскользнулся и наткнулся на что-то мягкое, живое... Он наклонился, ощупал руками и понял, что у него в ногах лежит женщина.

Принесли фонарь. Андрей Васильевич взглянул и вскрикнул.

Перед ним, вся облитая кровью, без чувств и почти раздетая, лежала принцесса Гедвига.

— Что вы там такое нашли, князь? — спросил Левенвольд.

— Убийство! Здесь убийство! — вскрикнул Андрей Васильевич. — Смотрите, убита принцесса Гедвига! Взгляните, разбита вся! Ужасно!.. Боже мой, что это? Однако ж она тепла, может быть, жива! Боже мой, боже мой! Помогите, граф, что же это такое?

Левенвольд молчал. Он видел, что случилось действительно что-то ужасное; случилось что-то, что шло прямо вразрез тому, что он предполагал. Вокруг не было видно ни одного служителя; караул ушёл; всё раскрыто и брошено, будто после землетрясения... Ясно, что случилось что-то особое, но что?

Совместными усилиями они подняли Гедвигу на руки, донесли до гостиной и положили на диван. Андрей Васильевич с дозволения Левенвольда послал его вершника за доктором Листениусом и велел заехать в дом его дяди приказать как можно скорее приехать людям и экипажу.

— Где же герцог, герцогиня, люди?

Предшествоваемые лакеем с фонарём в руке и зажигая попадающие на пути их шанда-

лы и свечи, они шли по дворцу. Везде было заметно, что происходила борьба. Ковры были перепачканы и помяты; то в том, то в другом месте встречались опрокинутые кресла, сдвинутый с места стол, сдернутая салфетка, разбитая ваза или что-нибудь, что явно указывало, что случилось нечто ужасное, нечто такое, чего никто не ожидал...

Левенвольд шёл вперёд, судорожно дрожа. Он видел, что произошла катастрофа, неожиданная и прямо противоположная той, на которую он рассчитывал, которой желал; он видел, что произошло что-то, что опровергало все его надежды; что затем, может быть, и сам он стоит под ударом молота, и этот молот обрушится, может быть, сегодня же, сию минуту... Мысли его были смутны; Левенвольд озирался и молчал. Андрей Васильевич бессознательно следовал за ним. Вдруг ему пришло на мысль: «А что Гедвига? Она там одна; может опомниться, испугаться. Притом не нужно ли ей хоть водою голову смочить, хоть обмыть раны. А какое мне дело до герцога и всей этой возни и суеты?» Он живо повернулся, схватил один из шандалов и побежал к Ге-

двиге. Ему удалось где-то найти воду. Он помочил ею свой носовой платок и приложил к головке Гедвиги.

Заметив большое синее пятно в верхней части груди, прошибленный затылок, потом сильный ушиб у виска, из которого ещё сочилась кровь, он догадался, что, вероятно, она получила сильный удар в грудь, от которого упала навзничь и полетела с лестницы, ударяясь о ступени.

Не имея под руками ничего, кроме воды, он хотел облегчить её страдания, прикладывая к ней это единственное находившееся в его распоряжении средство.

Но и для этого у него не было ничего, кроме платка и кружев на манжетах и воротнике. Платок лежал уже на головке Гедвиги. Оборвав и намочив кружева, он положил их на проломленный висок. Нужно было ещё что-нибудь. Оглянувшись, он увидел опущенные шторы. Он сейчас же сорвал одну из штор, разорвал её и стал прикладывать воду к ушибам Гедвиги, примачивать и обмывать их, стоя на коленях и целуя её омертвелые руки.

— Лизетта, Лизонька, — говорил он, — опомнись, пробудись! Тебя зовёт твой Андрей, любящий тебя Андрей. Милое, доброе дитя! Какой изверг поднял на тебя руку? За что он мог желать тебя обидеть, когда ты никого в жизни не обижала и целому миру желала только добра? За отца? Но ведь он не отец тебе. Так за что же, за что? — И он опять целовал её руки, её головку, вглядывался в её нежное, смугленькое и словно сквозное личико, покрытое мертвенною бледностью, тем не менее отражающее бесконечную доброту и нежность. — Проснись, родная моя! Голубушка моя! — говорил он, смачивая её губки водою и покрывая их поцелуями. — Обрадуй, взгляни! Дай мне посмотреть в твои милые, добрые глазёнки.

Но Гедвига лежала без чувств. Взглянув в комнату позади гостиной, Андрей Васильевич увидел лавандовую воду для курения. Он схватил её, намочив ею кусок шторы, и поднёс этот кусок к носику Гедвиги; другим куском он стал натирать её виски.

А Левенвольд, предшествуемый лакеем с каретным фонарём в руках, всё шёл вперёд.

Вот он перед бывшей запертой, что видно по замку, но раскрытой настежь дверью, перед разбитым зеркалом и оборванными занавесами алькова. Вот кровать, избитая, измятая... Видно, что на ней спали и что потом здесь происходила борьба — борьба не на жизнь, а на смерть. Вот на простыне кровь.

«Неужели они убили его? Наконец, куда же они девали его труп? Мёртвый он был не опасен, зачем же они его унесли?..

Где герцогиня?.. И кто велел, по чьему приказу?.. Принц Антон не велел, я это знаю. Кто же?.. Что это не народное волнение, не взрыв страстей черни — это очевидно. Повреждения во дворце слишком ничтожны, чтобы можно было видеть в них ярость толпы; да и в городе, когда они ехали, всё было спокойно, а народные волнения не успокаиваются так скоро. Нет, это нападение нечаянное, нападение врасплох, но нападение дисциплинированное, совершенное твёрдой и искусной рукой. Это правительственное распоряжение... Но от кого и в пользу кого? И кто мог так решительно и дерзко его выполнить?.. Принцесса? Но она сама не могла бы ни придумать, ни орга-

низировать. Разве Миних? — И Левенвольду вдруг стало ясно: и двойной визит Миниха, и его особая любезность, и скорое согласие на принятие гетманства, и намёки на принца Антона. — Да, только он мог это сделать. Он с Юлианой Менгден, родной сестрой жены его сына, убедили принцессу приказать, — и она приказала то, что они ей продиктовали».

Едва это пришло Левенвольду на мысль, как ему представилась сейчас же Анна Леопольдовна, торжествующая, царствующая. Он вздрогнул и сказал себе:

— К ней, в Зимний дворец! Она теперь восходящее светило. Он мгновенно повернулся и скорым шагом пошёл назад. Но не успел он сделать несколько шагов, как из-за какого-то угла вышла и стала перед ним женщина в одной рубашке и в туфлях на босу ногу.

— Граф, спасите нас! Не давайте убивать его! Вы знаете, вам он всегда был друг. Заступитесь! Прикажите?

Левенвольд взглянул на неё. Это была герцогиня Бенигна Бирон.

— Что с вами, герцогиня? Где герцог? Что случилось? — спрашивал Левенвольд, изум-

лённый появлением герцогини.

— Они пришли, прибили, схватили! Они связали его; меня избили, смотрите... а его унесли, куда — я ничего не знаю. Я бежала было за ним, но меня схватил солдат и привёл к Манштейну; тот велел увести назад во дворец, а солдат вместо того ударил меня в лицо и бросил в снег. Я сама не знаю как, при помощи какого-то офицера добралась сюда. Помогите, граф! Вспомните нашу хлеб-соль, наши одолжения! Припомните: проиграетесь вы, кто вам помогал? Нужно что, кто вас поддерживал? Мой муж! Он везде за вас был.

Всё это Бенигна говорила в позе просительницы, убеждая Левенвольда и стараясь вызвать в нём воспоминания и чувство благодарности. Но у таких людей, как Левенвольд, благодарность является обыкновенно только тогда, когда она выгодна. Он взглянул на неё с видом, вовсе не выказывающим сочувствия.

Старая, рябая, с всклокоченными волосами, в одной рубашке, не скрывающей чёрной, сухой, морщинистой груди и какой-то заскорузлой шеи, она показалась Левенвольду от-

вратительною.

«Экую красавицу навязала ему государыня в жёны!» — подумал он и постарался поскорее пройти мимо, бормоча что-то себе под нос, вроде того: «Я готов... что от меня зависит». Но потом вдруг он подумал: «Ведь она, может быть, и нужна им будет. Она, может быть, для них опасна. Ведь они оставили её, не подумав; оставили так, стгоряча. С моей стороны будет заслуга перед ними, если я её удержу».

В этих мыслях, проходя мимо двери, он запер её на ключ и приказал человеку, нёсшему фонарь, обойти и запереть двери со стороны уборной. Герцогиня, не ожидавшая такой выходки от Левенвольда, очутилась под замком. Она стала стучать и кричать; но Левенвольд, не обращая на это внимания, забыв и о Гедвиге, и о своём новом приятеле, молодом князе Зацепине, поспешил скорее в Зимний дворец поклониться восходящему светилу.

Между тем Гедвига, освежённая стараниями Андрея Васильевича, начала понемногу приходить в себя.

— Где я? — тихо спросила девушка, обводя

глазками комнату и останавливая их на Андрее Васильевиче. — Разве я не умерла? Разве я не убилась, когда этот жестокий человек ударил меня за то, что я хотела видеть своего воспитателя, хотела видеть того, кого столько лет называла своим отцом и кто называл меня дочерью?.. Это ты, Андрей? Ты, мой милый! Ты мне воротил жизнь, ты опять призывал ко мне душу мою... Для тебя я хочу жить. И жизнь моя, и душа моя будут твоими! Возьми их, они и теперь твои. Без тебя они мне не нужны. Ты один радовал меня, один утешал бедную девушку-сироту, один заставлял её забывать потерю своей матери, заставлял её улыбаться в то время, когда она ещё лежала на столе. Поэтому знай, что я живу и дышу для тебя. Подойди ко мне, мой милый, милый! Дай мне руку твою, она возбуждает во мне теплоту, даёт жизнь; поцелуй меня! С этим поцелуем я вся и навсегда твоя!

Но головка её опять склонилась на сторону, глазки закрылись, и она опять впала в беспамятство.

Приехал доктор Листениус, прибыли и люди Андрея Васильевича, Фёдор и Гвозделом;

доложили о приезде кареты, верховых. Доктор начал исследовать больную, стал трогать, слушать, изорвал её рубашку и кофту, чтобы осмотреть ушибы. Она иногда стонала, но не приходила в чувство.

Андрей Васильевич отошёл к окну и ждал ни жив ни мёртв.

Наконец доктор кончил, уложил её и покрыл ковровой скатертью, снятой тут же со столика. Устроив всё это, доктор задумался.

— Ну что, доктор? — спросил Андрей Васильевич с трепетом, подходя к больной и смотря на неё с невыразимым сочувствием и сожалением.

— Что? Как вам сказать? Ушибы чрезвычайны, но дело не в них. С ними, Бог даст, справимся. Но чего я боюсь и чего пока в этом положении исследовать невозможно... между тем, по некоторым данным... чего я очень опасуюсь... не переломлен ли у неё спинной хребет.

— А тогда, доктор, а тогда? — со слезами на глазах спросил Андрей Васильевич.

Доктор пожал плечами.

— Во всём воля Божия! — сказал он. — Уви-

дим! Вперёд ничего нельзя сказать. Вот я пропишу, прикажите давать и прикладывать по указанию. Да что же случилось? Где герцог? Герцогиня? Что всё это значит?

Андрей Васильевич не слушал этих вопросов. Он думал о своём.

— Боже мой, в её лета!..

— Не приходите в отчаяние, ведь мы ещё ничего не знаем. Где герцог?

— Я ровно ничего не знаю и не понимаю. Я нашёл принцессу внизу лестницы, как видите, совершенно разбитую.

Вошёл адъютант Миниха, капитан Кенигфельс. Он объявил, что ему приказано герцогиню Бенигну и принцессу Гедвигу отвезти в Невский монастырь, куда отправили герцога до распоряжения.

Напрасно доктор восставал против такой отправки, заявляя, что принцессе Гедвиге такой переезд может стоить жизни; напрасно убеждал Кенигфельса и Андрей Васильевич, вызываясь ехать к фельдмаршалу и принцессе Анне, — Кенигфельс был неумолим.

— Приказано сию минуту отправить, я сделать тут ничего не могу! — говорил он.

Одно, на что наконец уломал его Андрей Васильевич, это чтобы он позволил отвезти её в карете Андрея Васильевича, но с тем, чтобы его карету конвоировали два, назначенные Кенигфельсом, унтер-офицера. Андрей Васильевич вынужден был на всё согласиться. Он, по крайней мере, мог принять меры, чтобы перевозка дорогой и милой ему девушки была для неё возможно менее беспокойна и вредна. Андрей Васильевич, уложив её в карету, провожал до монастыря сам, верхом на лошади, которую взял у одного из своих верховых. Отправляясь в монастырь с Гвозделом, который поднимал принцессу, будто восьмимесячного ребёнка, Андрей Васильевич приказал Фёдору сыскать женщину, способную ходить за больной. К этому приказанию он прибавил магические слова, что он за всё платит, и велел везти эту женщину как можно скорее в монастырь. Так как карета ехала шагом, то Фёдор встретил их в монастыре уже с женщиной. Эта женщина была известная читателю подруга Елпидифора Фёкла Яковлевна.

— Где же герцогиня? — спросил у Кениг-

фельса Листениус, когда Гедвигу унесли.

— Здесь! — отвечал Кенигфельс, играя ключом, который дал ему Левенвольд.

— А герцог?

— Арестован фельдмаршалом.

Листениус только раскрыл рот от удивления и не сказал ни слова. Он помнил, что тогда было небезопасно говорить.

Возвратясь домой и идя к себе, Андрей Васильевич встретился с дядей, который выходил из его комнаты.

— Помилуй, где ты пропадаешь? — сказал князь Андрей Дмитриевич. — И в каком ты виде: весь оборван, перепачкан; скажи, что с тобою?

— Ничего. Провожал в Невский монастырь принцессу Гедвигу.

— Ты, друг, с ума сошёл. Сочувствие к падшим считается преступлением. Скорее во дворец, поклониться восходящему светилу, а потом к Миниху! Теперь это сила.

— Но, дядюшка, неужели же мне можно было оставить её на лестнице, разбитую до беспамятства, как я её нашёл?

— Понимаю, что тяжело, и тебе, как Зацепину, это было невозможно, хотя бы пришлось потом вынести за это пытку.

Но... но, во всяком случае, неполитично. Теперь герцог и все, кто к нему близок, опаснее чумы. Впрочем, нужно сказать правду, близких-то к нему нет никого. Нет человека, который бы его пожалел. Недаром своя своих не познаша и немцы на немцев пошли!

— А вы знаете, дядюшка, что то, что сделал нежданно Миних, — затевал Остерман. Мне сейчас только Левенвольд рассказывал...

— Об этом после поговорим, а теперь снаряжайся скорее во дворец, дело спешное, очень спешное!

И дядя оставил племянника одеваться.

Зимний дворец, несмотря на раннее утро, был ярко освещён. Принцесса Анна Леопольдовна принимала поздравления. Она на этот раз не поленилась надеть своё платье с выпуклыми цветами по золотому полю, с пурпуровой бахромой, Андреевскую ленту с бриллиантовой звездой и бриллиантовую диадему. Разбудили принца. Принц пришёл тогда,

когда дворец был уже полон поздравляющими. Послали за Остерманом, но тот, ничего не зная, отозвался было болезнью. Тогда Миних позвал генерала Стрешнева.

— Поезжай, батенька, к своему шурину, — сказал он, — скажи ему, что бывают обстоятельства, когда всякую болезнь прогнать нужно. А тут обстоятельство важное. Скажи: медведя свалили, нужно шкуру делить; а на медведя, если хочешь, посмотри внизу, вот он тебе покажет. — Говоря это, Миних указал на Манштейна.

И Остерман приехал. Стрешнев передал ему, что он видел герцога, связанного, в солдатской шинели, лежащего на полу в нижнем этаже Зимнего дворца, в комнате за караульной. Войдя в залу, где принимала принцесса, Остерман переглянулся с принцем Антоном, как бы говоря: «Видите, я предугадывал, что этот Миних опасный, очень опасный человек. Смотрите, берегитесь его!»

Но ещё прежде Остермана, на своих коротеньких ножках и склоняя свою несоразмерно большую голову, подбежал к принцессе князь Алексей Михайлович Черкасский.

— Матушка, законная и всемилостивейшая наша повелительница, поздравляем, от всего сердца поздравляем! Таковую радость дозволь отпраздновать? Удостои праздник наш твоим присутствием.

За Черкасским шёл следом граф Михаил Гаврилович Головкин. Он больше года не выходил из кабинета по случаю болезненности и чувства неудовольствия, что его не назначили в кабинет-министры, на место его умершего отца. Он выпросил у Бирона дозволение отправиться за границу для излечения своей болезни, потому что боялся, по нерасположению к нему Бирона, отправки в свои деревни, а может быть, и ещё чего-нибудь худшего. Бирон выказывал ему видимое неудовольствие, и Головкин мог от него ежеминутно ожидать себе всего дурного. Теперь другое дело. Правительницей стала Анна Леопольдовна, близкая ему по матери; поэтому он, разумеется, теперь не захочет оставлять России и выздоровел почти моментально. За Головкиным шёл Остерман. В то время как Остерман начал свою приветственную речь, Миних исчез. Он поехал составлять список наград и новых

назначений. Он хотел подготовить этот список без влияния Остермана. В это время приехали князя Зацепины, дядя и племянник.

— А, дядюшка! — весело приветствовала князя Андрея Дмитриевича новая правительница, протягивая ему свою руку, которую тот поцеловал. — Я счастлива, что могу приветствовать именем дяди вас, а не того зверя, которого я так боялась. Притом же ведь вы мне в самом деле дядя, а тот... Ну, скажите по правде, какое он имел право, какие оказал услуги? Не правда ли, я хорошо сделала, что приказала его арестовать?

— Восходящее солнце всегда делает хорошо, когда поднимается из тумана вод, ваше высочество! — метафорически отвечал князь Андрей Дмитриевич с улыбкой тонкого придворного. — Душа вашей тётушки, царевны Прасковьи Ивановны, моей благодетельницы, теперь молится о вашем счастье!

— Да! Но скажите, у неё и у вас, князь, говорят, была дочь; скажите, где она? Жива ли?

— Воспитывается в Париже, ваше высочество, обеспеченная вполне милостью вашей тётушки, покойной государыни! Она ни в ка-

ком случае не желала, чтобы ребёнок оставался в России, и я должен был уступить её настоянию.

— Это всё было дело зверя! Но мы это переделаем, не правда ли? Ведь мы переделаем?

— Это будет зависеть от воли и милости вашего высочества! — И Зацепин откланялся. За дядею шёл с приветствием племянник.

Правительница улыбнулась ему своею особой, партикулярной улыбкой, сберегаемой ею только для тех, кого она хорошо знала, кого причисляла к своим и к кому выходила иногда в платке и душегрейке.

— А, граф! Ну, право, я бы вас сделала графом, если бы вы не были князь! Вы ведь рады, что меня не будет сторожить этот зверь и что я не буду дрожать от того, что подумаю: «А вдруг он приедет!»

— Все радуются принятию правления вашим высочеством, в надежде, что прекратится та тирания, которой все, преданные вашему высочеству, должны были ежечасно бояться!

— Ах да! Пошлите же к Ушакову, чтобы он не мучил Семёнова и Граматина и всех тех,

кого терзали по приказанию того зверя за меня, и чтобы всех их привели ко мне! А вы, граф, ведь придёте вечером к Юлиане поиграть с нами в карты?

Молодой Зацепин откланялся. В это время входил сам страшный Ушаков; за ним шёл Альбрех; а позади, в другой зале, виднелись измученные лица Ханыкова, Аргамакова, Алфимова, Пустощкина, Семёнова и Граматина, мучимых на пытке, по приказанию Бирона, за преданность Анне Леопольдовне.

Было уже совсем утро, когда во дворец приехала цесаревна Елизавета Петровна. Несмотря на то что принцесса как-то чопорно и натянуто взглянула на неё, цесаревна бросилась к ней на шею.

— Моя милостивая государыня, всемилостивейшая моя покровительница, поздравляю, поздравляю! Ведь он всем нам враг был! Всем делал только зло! Пусть же зло это на нём и отзовется! Пусть на себе он испытает... А я надеюсь на милость вашего высочества, на ваше покровительство...

Цесаревна плакала на груди правительницы. Этими слезами, этой покорностью и без-

заветной искренностью она успела рассеять всякое предубеждение, всякое сомнение принцессы Анны Леопольдовны. Глаза её тоже увлажнились, натянутость исчезла, и она с искренностью взглянула на цесаревну.

— Не правда ли, тётя, ведь мы будем любить друг друга, будем сёстрами, будем помогать одна другой? — спросила она.

И они замерли обе во взаимном сердечном поцелуе.

Приехал сын Миниха, обер-гофмейстер принцессы, и привёз манифест о принятии на себя регентства принцессой и список наград и назначений. Принцесса, не задумываясь, всё утвердила.

— Антон! Я тебя назначаю генералиссимусом! — сказала она.

А принц, переглянувшись с Остерманом, не нашёл для себя лучшего занятия, как усесться в амбразуре окна и перебирать палочки китайского кастета; благо, тогда эта пустая забава была в моде.

Скоро прибыл и герой дня, фельдмаршал Миних. Действия нового правительства начались прежде всего смягчением положения

арестованного за безусловную преданность Бирону кабинет-министра Алексея Петровича Бестужева, к которому Миних послал Манштейна, чтобы его успокоить.

Остерман всё это время молчал, принеся поздравление и благодарность за пожалование его генерал-адмиралом флота, хотя из всего морского словаря он помнил только одно слово «шканцы», и то потому, что когда он для получения средств прибыл в Россию, нанялся к вице-адмиралу Крюйсу быть его камердинером и секретарём и, раздевая вице-адмирала, вынес на шканцы его вице-адмиральские сапоги, то был крепко выруган за то вахтенным офицером, с строгим внушением об уважении к шканцам. Но, разумеется, это нисколько не мешало ему думать, что он принесёт пользу русскому флоту, вероятно, прежде всего тем, что будет получать генерал-адмиральское жалованье. Когда принц Антон, позабавясь вдоволь своим кастетом, подошёл к Остерману и спросил: «Что же мы будем теперь делать?» — то Остерман с лаконической краткостью ответил ему: «Ждать!»

Левенвольду не приходилось ждать; за

услугу, которую он оказал, наложив свою руку на герцогиню Бенигну, он не остался без награды. Велено было заплатить его долги, и он сохранил своё положение, хотя и не стал политическим человеком. Кабинет-министром вместо Бестужева назначили не его, а Головкина.

Миних добился своего. Он был первый министр и, по видимой неопытности и неспособности к правлению принцессы Анны Леопольдовны, мог считать себя главой империи. Но не один он это думал. Когда молодой Зацепин, обласканный принцессой и приглашённый в её интимный кружок, счёл за обязанность осыпать любезностями и её ближайшую и неразрывную наперсницу Юлиану, или Юлию Густавовну Менгден, то та между разговором вдруг вздумала его спросить: «А довольны ли вы, что мы теперь правительство?»

И всё это делалось и говорилось именем императора Иоанна III, который мирно спал, убаюкиваемый своею кормилкой, молодой и здоровой новгородской крестьянкой, сидевшей подле него, качавшей люльку и напевав-

шей ему колыбельную песенку:

*Приди, котик, ночевать,
Приди Ванечку качать!
Я за то тебе, коту,
За работу заплачу!
Дам кувшинчик молока
И кусочек пирога!
Приди, котик, не стучи
И Ванюшу не буди!
Ваня станет подрастать,
Будет царством управлять.*

В тот же день вечером слышалась другая колыбельная песня. За оградой Невского монастыря, в тесной и душной келье из двух комнат, со сводами и с железными решётками в окнах, — келье, замкнутой наглухо и окружённой строгим караулом, больная, разбитая, с повреждённым позвоночником, вся в пластырях и перевязках, сидела в креслах принцесса Гедвига перед своими названными отцом и матерью и старалась их утешить.

Подле кресла Гедвиги стояла арфа, пяльцы и столик с рабочим несессером, книгами, но-

тами и некоторыми мелкими вещами, присланными ей, с дозволения правительницы, цесаревной Елизаветою Петровной. Одна из книг была раскрыта. Гедвига перед тем только что читала её, чтобы чем-нибудь рассеять, чем-нибудь развлечь поражённого и расстроенного её воспитателя.

Выбор чтения был как нельзя удачнее. Это была легенда, хроника, сказание об одном благородном рыцаре, бывшем графе и владельце имения, которое герцог недавно купил в Силезии, Конраде Вартенбергском и его славных подвигах на защиту христианства и распространение слова Божия.

Действие происходило во времена саксонского герцога Генриха Льва и его борьбы с вендскими и славянскими городами.

Гедвига читала эту хронику своим задушевным голоском в надежде обратить печальные мысли своего воспитателя в другую сторону, возбудить в нём надежду на лучшее будущее и охранить от того ожесточённого отчаяния, в котором он находился. Побеждая чувствуемую ею боль и свои личные материальные и нравственные страдания, она стара-

лась вызвать в нём чувство снисходительности, терпения и покорности судьбе, с какими Конрад Вартенбергский переносил свои страдания. Бирон молчал. Он слушал, прерывая иногда чтение малодушным стоном, чувствуя боль от ушибов и ссадин, полученных им в драке с арестовавшими его солдатами. Эти ушибы и ссадины он примачивал, натирал разными мазями и прикладывал к ним компрессы. Вдруг, в ту самую минуту, когда Гедвига читала описание великодушных чувств Конрада, прощающего своих врагов, Бирон изо всей силы ударил кулаком по столу, так что в келье всё задрожало.

— Точно, точно, я виноват! — вскричал он. — Я был слишком мягок, слишком снисходителен! Всех бы их колесовать нужно было, начиная с Ушакова и Остермана; всех следовало бы на виселицу!.. Тогда бы они боялись, тогда бы не смели!.. Пусть теперь попадут в руки, я им покажу! Я сделаю...

Потом он стал говорить о своих заслугах, о пользе, которую он принёс. Послушать его, так Россия не умерла с голоду только благодаря ему; наконец, не сгубла от беспорядков и

неурядицы только потому, что он принимал против того надлежащие меры... И вот, несмотря на эти заслуги, вследствие его снисходительности, он схвачен, он арестован. О Миних! Мало было его колесовать, его нужно было живым сжечь, на мелкие куски изрубить, а он... Теперь я в их власти. Что они со мною сделают? Что сделают? И он плакал от страха при мысли, что будет с ним завтра.

В то же время его бесцветная супруга, его Бенигна, всегда хвалившаяся перед мужем своей бескорыстной преданностью, теперь рассыпалась в жалобах и стенаниях. Она теперь валила все вины на него, во всём был виноват он! И она тоже стонала и плакала.

— Всю жизнь мою я пожертвовала тебе! — говорила она. — Разве я не могла выйти замуж действительно? Разве я не могла кого-нибудь полюбить и быть счастливой? Нет, я от всего отказалась, всю себя отдала тебе, оберегала тебя. И вот за то в награду тюрьма, ссылка, а может быть, ещё пытка, мучения, казнь! За что? За что?

И она уже упрекала его, и угадает ли читатель, за что? За излишнюю снисходитель-

ность и слишком нежное сердце.

А в глубине картины, в углу, стояла, повязанная платочком и до некоторой степени прифранченная, известная нам Фёкла Яковлевна, бывшая подруга Елпидифора, начётчица и сектантка, допущенная находиться при больной принцессе по настоянию доктора Листениуса и по ходатайству князя Андрея Дмитриевича, та самая Фёкла Яковлевна, которая говорила про себя, что она ничья, а Божья!

III

Граф Линар

Время шло. Бирона со всем семейством перевели из монастыря в Шлиссельбургскую крепость. Над ним назначили суд, и он понимал, что вопросы, которые ему предлагают, представляют не более как только одну обрядность, он понимал, что судьба его предрешена без всякого суда. Но не радовался и Миних, не на пользу себе он устроил это дело. Правда, его сделали первым министром, всем

управлять дали; но управление-то его было зависимое, подчинённое. Всякое предположение должна была утвердить правительница; а не любившая заниматься и не входившая ни во что правительница любила делать по-своему, а главное — любила слушать его врагов, которые, разумеется, во всём поперёк шли. Это бы ничего, да в числе врагов его был всепреданнейший, покорнейший и всенижайший граф Андрей Иванович Остерман, который тонко, хитро и без шума умел подводить мины, да в таких местах, где никто и ожидать не мог! Поневоле нужно было держать ухо востро, быть всегда наготове ко всему. Какое же тут царство, когда всё время дамоклов меч висит? Великая княгиня — так правительница велела величать себя — своего мужа не любила и не уважала, но она носила его имя; всё же он был её муж, и всякая обида, ему сделанная, неминуемо относилась к ней. А принц Антон беспрерывно жаловался на обиды, получаемые от первого министра, то по званию генералиссимуса, то по положению отца государя и мужа правительницы. Потом, кто же не знает, что у страха глаза

велики; а враги Миниха успели представить правительнице дело таким образом, что он возбуждал страх. Если он, находясь почти вне управления, когда от него почти ничего не зависело, мог в несколько часов свергнуть Бирона, так что тот из самодержца стал арестантом, то кто помешает ему повторить ту же историю в то время, когда он первый министр, когда от него зависит всё и он располагает силами целой империи. Это человек опасный, не бояться его нельзя. Неизмеримое честолюбие его заставляет всего ожидать от него... Вот он захворал.

«Хорошо, если умрёт, — думает правительница, — а если выздоровеет? Быть под опекой такого человека, да это хуже, чем Бирон! Тот, правда, бранился, а этот молчит. Но зато он умнее, решительнее! С ним, пожалуй, и не увидишь, как попадёшься в положение Бирона. А тут и чёртушка жив, и цесаревна Елизавета в своём чёрном платье и гордой красоте является укором всему прошлому».

Миних выздоровел, но чувствовал, что почва уходит из-под его ног, что чувство благодарности, на которое он имел право рассчи-

тывать от принцессы, слишком слабая опора для человека, против которого все.

«Нужно, чтобы кто-нибудь и мою сторону держал! — думал Миних. — Только кто же? Сын! Он гофмейстер правительницы, пользуется её доверием и расположением, наконец, женат на родной сестре её ближайшей подруги и наперсницы Юлианы Менгден; но сын... Он добрый, милый, послушный, честный, но он такой тюфяк, такой цирлих-манирлих, что решительно не может и сам себя держать на твёрдой ноге, не то что кого-нибудь поддерживать. У него, кажется, можно кофе из-под носа унести, и он не увидит; можно очки с носа снять, а он всё будет философствовать. Вот недавно он меня уверял в беспредельной ко мне любви Остермана и благосклонности принца Антона. Не понимает он того, что Остерман от беспредельной своей любви меня бы в ложке утопил, если бы мог; а принц Антон, правда, с чужого голоса, но думает, что я у него свет из глаз отнял. Да! Непрактический человек мой сын, слишком немец, чтобы на что-нибудь годился!.. Вот разве брат, — продолжал рассуждать Миних. — Постоян-

ный партнёр правительницы, её интимный собеседник... Но он, кажется, весь ушёл в ломбер и мушку и даже думать о чём-нибудь забыл, кроме тех пяточков, которые он проигрывает или выигрывает в пустой домашней игре. Я как-то стал ему говорить о выгодах прусского союза и предложениях прусского короля, а он меня перебил тем, что вот раз ему пришёл на руки король, дама, сам-третей... Нет, не рука!.. Разве Юлиана?.. Но и она нынче на меня что-то косо смотрит, будто кошка между нами пробежала. И почему? Разве принцесса сказала ей, что когда она хотела подарить ей пятьдесят тысяч на устройство подаренной ей мызы Обер-Пален, то я убедил её ограничиться десятью... Вот разве молодой Зацепин, если ему удастся заставить забыть Линара, — этот ловок!

Он сумеет поставить себя, сумеет всякую махинацию разбить. И пожалуй, ему пока выгоднее держаться меня, зато потом... Ну, да что будет потом, мы увидим, а теперь нельзя не обратить на него внимания, очень, очень сближаться начал... И как это они не подумают, что ведь я их единственная опора, — рас-

суждал Миних, — что я всё прикрою, всё предотвращу. Уйду я, и они, пожалуй, года не продержатся. Тот же Бирон, если они не успеют ему голову снять, из-под земли явится и им шею свернёт... Но что же делать? Насильно мил не будешь. Надоело их беречь да от них же и неприятности получать. Поеду к себе в Гостилицы сажать репу. Это лучше будет! Пусть себе сами повозятся, тогда увидят и, пожалуй, ко мне же кланяться придут!.. А на Зацепина нужно обратить внимание... большое внимание делать следует...» — заключил Миних, собираясь ехать к принцессе Анне Леопольдовне с докладом о своей отставке.

И точно, князь Андрей Васильевич, руководствуемый и напутствуемый советами дяди, которого Анна Леопольдовна без всякой церемонии величала своим дядюшкой, заставлял говорить, что «внимание делать следует». Он сблизился с принцессой заметно. Она уже не называла его графом, которого, видимо, начинала забывать. Он был ежедневным гостем или у неё, или у Юлианы, и, видимо, гостем приятным. Когда он опаздывал, принцесса беспокоилась; когда он был на

службе, она скучала. Семейство Миниха, окружавшее принцессу и Юлиану Менгден, видимо, его поддерживало. Приезд Линара не мог быть для них желателен, так как Линар, естественно, был бы горячим противником прусского союза, за который стоял фельдмаршал; стало быть, Линар неминуемо должен бы стать их врагом. Зацепин другое дело. Он пока не имел значения в политике, стало быть, отнесётся к предположению о таком союзе совершенно безучастно. Косо смотрел на сближение с правительницей молодого князя Зацепина граф Андрей Иванович Остерман. Даже на праздник князя Андрея Дмитриевича не поехал, хотя Андрей Дмитриевич давал праздник в своём загородном доме на Аптекарском острове, по секрету от племянника, под таинственным наименованием «купанье нимф». Андрей Иванович куда как любил такого рода праздники Андрея Дмитриевича и никогда не манкировал ими. Бывало, полумёртвым себя везти велит. Но теперь какой тут праздник, когда фавора добиваются, в Бироны лезут, с Минихами одну игру ведут! Положим — не дядя; да ведь чёрта в ступе не

разберёшь: дядя ли учит племянника или племянник мутит дядю? Чёрт всё остаётся чёртом, как его ни малюй. Войдёт в фавор этот мальчишка, русские вперёд полезут. Пойдут Белозерские да Вадбольские, как при блаженной памяти Петра II, когда Долгорукие силу взяли, пошли Голицыны да Головкины, а это нашим немцам не рука.

И точно, князь Андрей Васильевич становился к правительнице весьма близко. Заявляя, что он не любит карточной игры и садится играть исключительно, чтобы доставить удовольствие правительнице, когда недостаёт партнёра, он имел неоспоримую выгоду передавать свою игру, как только являлся кто-нибудь, или, наконец, усаживать за себя Юлиану Менгден, как только принцесса не играла. На выигрыш или проигрыш он имел полную возможность не обращать внимания, так как игра была ничтожная. А освободясь от игры, он занимал Анну Леопольдовну, которая любила слушать его рассказы и всякий день всё более и более увлекалась ими. Удивительно ли, что молодая женщина, которая до того не любила своего мужа, что запирала от него

дверь своей спальни, увлеклась юношей, который настолько ловок, что даже французскую авантюристку умел заставить свернуть с намеченного ею пути?

Таким образом, успех сближения правительницы с молодым Зацепиным волновал и заботил все партии. Левенвольд, который жил и думал Остерманом, с ужасом вспоминал, что он имел неосторожность раскрыть этому мальчику все свои предположения и надежды.

Куракин готовился уже ехать в Париж, понимая, что для нового любимца будет необходимо придворное место. А как его давно уже, по наследству от отца, бывшего долгое время послом в Париже, предназначали туда, и он сам был не прочь туда ехать, то и нужно было каждый час ждать этого назначения. Вообще, все готовились к новому положению придворных партий. Да нельзя было и не готовиться. Вот сегодня Зацепина нет в Зимнем дворце, и, смотрите, правительница даже играть не села; видимо, беспокоится; раза два выходила из внутренних комнат в приёмные залы; посылала даже узнать, не в карауле ли

он. И прибавила, что она хочет князя Зацепина отчислить от полка и назначить адъютантом к генералиссимусу.

Начала было сомневаться: «Здоров ли он» — и успокоилась в этом отношении только тогда, когда Миних-сын сказал, что он сегодня утром видел его в манеже. «А если здоров, отчего же его нет? Уже девять часов!.. — Задавая себе этот вопрос, принцесса подумала — Неужели он к этой француженке поехал? — До её сведения уже довели о связи, существовавшей между молодым Зацепиным и Леклер. — Не может быть! Он мне сказал, что всегда бросают мякинный хлеб, когда Бог пошлёт счастье и судьба благословляет белым! Где же он? Юлиана послала узнать: сказали, что его дома нет!»

Между тем Андрей Васильевич был дома. Он сидел в своих орлеанских комнатах в доме дяди, запёршись от всех и приказав объявлять тем, кто его спросит, что его нет, что он уехал, исчез, умер. «Говорите, что хотите, только бы меня не беспокоили!» — сказал он Фёдору и не велел никого пускать.

Такое стремление к уединению было есте-

ственно. Он был слишком взволнован и слишком занят. Из Шлиссельбурга приехала Фёкла и принесла ему вести о Гедвиге и письмо от неё. Двадцать раз по крайней мере перечитывал он это письмо, покрывая его поцелуями, и ему всё казалось, что он его ещё не прочитал, не понял, не усвоил, — и он начал читать снова.

Он забыл все свои дела, забыл, что его ждут. Он всё забыл! Он помнил только Гедвигу. Она мерещилась в его глазах... Разбитая, больная, лежит она в Летнем дворце на диване и говорит тихо, останавливая на нём свои добрые помутившиеся глазки: «Жизнь моя, душа моя... они твои, Андрей, они принадлежат тебе! Возьми их!»

Эти слова отзывались в его ушах, он вновь слышал их и снова перечитывал её письмо.

В промежутках между чтением он или ходил по комнате большими шагами, или садился к столу и, опираясь на него локтями, о чём-то думал, опустив голову на руки. Потом вставал и начинал ходить снова.

Наконец, как ни старался он подражать дяде, как ни усваивал его понятия и взгляды,

между прочим и ту недоступность к простым смертным, которой отличался князь Андрей Дмитриевич, до того даже, что не допускал себя никогда до разговора с прислугой, он не выдержал, велел позвать к себе Фёклу и стал её спрашивать подробно о том, что делала и как жила Гедвига.

Фёкла, успевшая полюбить добрую больную, за которой ей пришлось ухаживать, охотно рассказала ему, как она, сама чуть живая, ходит за отцом и матерью, угождает им, развлекает, хоть те и мало обращают на это внимания, а всё больше бранятся; говорила, как она услуживает им, читает, иногда поёт. Вот для отца-то она по ночам сшила подушку из своего салопы, ему спать низко было; а матери связала кофту своими ручками; чтобы отцу не скучно было, выучилась в шашки играть, и как ещё другая-то игра, что вместо шашек какие-то личины ставят. Потом Фёкла поведала о её доброте, терпении, говорила, что не жалуется она никогда ни на что, никогда не стонет, хоть и больно очень бывает, особенно когда на спину лубок накладывают. Но всё с весёлой улыбкой и ласковым словом пе-

реносит. «Ангел — не барышня, хоть кому скажу, — заключила Фёкла, — да и ангелы такие на земле не бывают!»

А что в это время было с Бироном?

Услышав, что Миних теряет свой кредит при правительнице, он начинал понемногу успокаиваться. «Главного моего врага нет. Остерман, — думал он, — ну этот, разумеется, власти не уступит, но и не станет обременять себя бесполезным злодейством. Для него выгоднее меня постоянно в виде грозы держать! А что, если в самом деле именно в этих видах он решит меня в Курляндию отправить?»

И у него явилась надежда, слабая, конечно, но всё же надежда. И он уже начинал создавать планы, как он будет управлять Курляндией, в случае если надежда его оправдается.

Раз вечером сидели они все вместе. Гедвига что-то вышивала, Бенигна роптала на судьбу, а Бирон высказывал свои предположения. Вдруг дверь отворилась, вошёл Власьев.

— Вы должны приготовиться выслушать постановление суда! — сказал он. Все невольно побледнели.

Через несколько минут в их каземат во-

шёл секретарь великой княгини-правительницы Семёнов, с ним два ассистента и секретарь. Они заставили всех встать, а Бирона склонить свою голову и стали читать приговор.

— «По указу его императорского величества государя императора самодержца всероссийского Иоанна III комиссия верховного уголовного суда над бывшим герцогом курляндским и семигальским, регентом Российской империи Иоганном фон Бироном слушали...» — читал Семёнов медленно и вялым голосом, останавливаясь на некоторых словах по недостаточной для его глаз разборчивости рукописи. В приговоре были прописаны все ответы Бирона, все возражения на эти ответы, показания посторонних лиц, объяснения и толкования, пока наконец дошло до заключительного «приказали», после коего началось то же изложение, только в сокращении.

Бироны стояли все ни живы ни мертвы. У герцога кровь то прилиwała к голове, то отлиwała к сердцу; он бледнел и краснел попеременно и весь дрожал. Семёнов тем же монотонным голосом читал:

— «За таковые его продерзностнейшие и мерзкие поступки, небрежение к нашей особе, непристойную дерзкую похвальбу противу наших родителей и жестокие казни преданных нам людей приговаривается он...» — Семёнов закашлял и остановился.

Все впали как бы в онемение; ждали лихорадочно последнего слова! У Бирона, казалось, остановилось биение сердца, в лице не было ни кровинки, руки дрожали... Но он стоял и ждал...

— «Приговаривается он, — откашлявшись, продолжал Семёнов, — к смертной казни через четвертование!»

Гедвига и Бенигна вскрикнули. Бирон упал на месте без чувств.

Ни Семёнов, ни Власьев, ни ассистенты не обратили на это ни малейшего внимания. Они ушли составлять свой протокол об объявлении приговора. Бенигна и Гедвига с герцогом остались одни.

Бенигна начала свой бесконечный ропот на своё злополучие, что, будучи ни женою, ни сестрою, ни другом, она должна теперь разделять несчастье чужого ей человека, воспиты-

вать его детей, нести на себе всю тяжесть его участи. Она начала плакать, стонать, метаться и даже не подошла к своему омертвелому супругу.

Гедвиге пришлось возиться с отцом одной. Освежив его голову водой, она хотела было приподнять его, но не могла. Она расстегнула ворот его рубашки, сняла галстух, натёрла спиртом виски. Пришла Фёкла и позвала тюремного сторожа. Вместе они уложили его в постель.

Когда он опомнился и вспомнил приговор, с ним сделалась дрожь; его начала мучить лихорадка, зубы стучали один о другой, и, вне себя, он представлял себе подробности казни, которую будут над ним исполнять.

— Боже мой, — говорил он, — да как это мучительно, да как страшно!.. Я видел казнь Волынского, нарочно инкогнито ездил смотреть... ему рубили только одну руку и голову, а мне, боже мой! отрубят сперва левую руку, поднимут, покажут народу; потом отрубят ногу, опять поднимут, покажут; тогда станут рубить другую руку и только потом уже голову... Господи, и всё это нужно перенести, нуж-

но пережить!.. Ужасно, ужасно! Отрубленные члены будут биться, будут страдать, а народ... народ, пожалуй, радоваться будет... Меня свяжут, и я буду ждать... Нет, я не могу, — вдруг закричал он, — я не в силах! Помогите мне! Бенигна, Гедвига, помогите! Да сделайте же что-нибудь! Убейте меня!

Бенигна давно уже прекратила свой ропот и со страхом глядела на мужа, Гедвига упала на колени и молилась. Ни та ни другая не находили слов для ответа и утешения и молчали.

Пароксизм лихорадки проходил, Бирон начинал успокаиваться, засыпать. Но и во сне его мучили мрачные, кровавые сновидения, от которых он стонал, кричал, плакал, вскакивая иногда в ужасе, облитый холодным потом. Чаще всего ему виделась отрубленная голова Хрущева, как она, уже поднятая палачом, повела на него своими глазами. Вот и у него!.. Может быть, сегодня, может быть, сейчас!.. И он ждал, каждую минуту ждал. «Вот они идут, идут сейчас! Идут, чтобы вести на мучительную смерть!.. Я не хочу умирать! — вдруг вскрикивал он, падая головой на стол и

заливаясь слезами. — Я ещё не стар, здоров! Я хочу, я должен жить! Я поеду в Курляндию. Я там герцог! Кто смеет убить герцога?» Но через минуту он опять стонал, опять плакал. Потом вдруг приподнимался, начинал прислушиваться... «Идут, идут, — говорил он полшёпотом. — Не отдавайте меня, ради бога, не отдавайте!» И он прятался в угол, будто в самом деле можно было куда-нибудь спрятаться... И опять ждал, каждую минуту ждал с ужасом.

Положение Бенигны и особенно Гедвиги во всё это время было просто невыносимо. Они вытерпели в это время сотню смертей, по мере того как каждая из этих смертей представлялась в голове осуждённого; а представлялись ему эти смерти ежеминутно и с осязательной ясностью представлений воображения маньяка. Он беспрерывно видел, как его ведут; как народ на него смотрит; как палач поднимает топор, рубит руку, ногу, опять руку и наконец голову. Он видел эту свою отрубленную голову, как она поводит глазами, смотрит на народ, который смеётся, радуется, рукоплещет. Чему? Чему? «Моей смерти! Я не

хочу умирать, не хочу! А они убьют меня!» И он опять плакал.

И так прошла целая неделя. Гедвига, вспоминая после эту неделю, с ужасом говорила, что она не понимает, как не сошла с ума.

Один вечер Бирон был несколько спокойнее. Ему пришло в голову, что, может быть, Курляндия станет ходатайствовать за своего герцога, и у него опять явилась надежда. Вошёл Семёнов, но без Власьева и ассистентов и объявил, что великая княгиня-правительница, несмотря на все вины и предерзости бывшего регента, заслужившего лютую смерть, по своему неизречённому милосердию облегчила казнь и приказала только «завтра отрубить ему голову».

Выслушав это объявление, Бирон безмолвно, вне себя, опустился на скамью. Бенигна зарыдала. Гедвига осталась без движения, не помня себя. Семёнов улыбался ядовито, зло, видимо радуясь постигающей их каре.

Посмотрев на всех и полюбовавшись произведённым на всех ужасом, он вдруг засмеялся.

— Что, испугались? — сказал он. — Испуга-

лись! А не пугались, когда сами подписывали, сами на казнь отдавали? Ну, успокойтесь, пошутил, испугал нарочно. — Он позвал Власьева и ассистентов и прочитал другой приговор, которым Бирону со всем семейством назначалась ссылка и вечное заточение.

Всё это было так неожиданно, шло так скоро один за другим, что сперва никто и не сообразил, что это такое. Но через минуту Гедвига опомнилась и начала горячо выговаривать Семёнову за его неуместное пуганье, за жестокую шутку. Но Семёнов не смутился от этих упрёков. Он обратился к Гедвиге с своим тусклым взглядом и проговорил как-то медленно:

— Дорогая, милая моя барышня, вот вы упрекаете меня за жестокость, упрекаете, что я радуюсь вашему несчастью. Нет, хорошая барышня, вас-то мы все сожалеем, да делать-то нечего! А вашего батюшку и пожалеть грешно. Вот вы говорите: я жесток, шучу. А чем я жесток? Ведь вся и шутка-то только одни слова! А спросили бы вы, каково было мне, как он, тоже для шутки, велел мне кости ломать? Вон рука-то вывихнутая и теперь

плетью висит! Это вот уже не слова были! Так, знаете, добрая барышня: какой мерой сам мерил, такой и отмеривается. Мы все обижены, что такому злодею милость оказали. Он не жалел наших голов, так и его головы жалеть было нечего. А вам, барышня, меня упрекать не в чем и не за что! У меня тоже есть дочь, и не одна, — живут моим трудом. Спросите, каково им было?.. Ну да дело не в том! Готовьтесь завтра к выезду. А тебе, красавица, больше здесь не место, — прибавил он, обращаясь к Фёкле, которая стояла тут же. — Убирайся, пока цела!

С этими словами Семёнов ушёл, уведя с собой ассистентов и Власьева.

Бирон облокотился на стол и молчал. Слезы текли по его щекам. Он не замечал их. Местом ссылки его был назначен Пелым. Где это? Он знает, что где-то в Сибири, в Перми, на севере, в горах. Там он должен будет жить до смерти под надзором строгих тюремщиков. Миних своей рукой начертил план дома, назначенного ему вечной тюрьмой. Но всё же он останется жив. Может быть, потом выпустят, может быть — убежит!..

Гедвига подошла к Фёкле.

— Нас увозят, добрая Фёкла, — сказала она тихо. — Ты уходишь от нас. Мне нечем тебя наградить. Но можешь ли ты взять от меня записку к князю? Он поблагодарит тебя, я в этом уверена.

— Пожалуйте, матушка, добрая княжна наша, да чтобы угодить вам, чего я не сделаю!

— Только как ему в руки доставить? Я не хочу, чтобы это письмо досталось нашим тюремщикам. А пожалуй, будут осматривать, найдут...

— Э, будьте покойны, матушка, спрячу туда, что и в жизнь им не добраться. Да и унтер-от тут из наших, так он и добираться-то очень не станет!

— Как из наших?

— Так! Уж это моё дело, матушка княжна, а вы уж будьте покойны, в действительности как есть князю Андрею Васильевичу представим!

— Так я приготовлю, а ты приди.

— Приду, приду! Чтобы угодить тебе, себя, кажись бы, не пожалела, а это что — наплевать! Не то Власьев, а хоть сам Ушаков приди,

ничего не найдёт!..

Это-то письмо и перечитывал много раз Андрей Васильевич. Оно было написано по-французски, но вот его буквальный перевод:

«Наша участь решена, нас ссылают, ссылают навечно! Куда, право, не знаю! Ведь карта для нас такая страшная контрабанда, что при одном слове моём о том, что я хотела бы взглянуть на карту, Власьев зажал уши. Да и не всё ли равно?..

Пишу к вам наскоро, мой дорогой, бесценный друг, опираясь на обещание Фёклы, что она доставит это письмо непременно вам в руки; хочу вам сказать... Но прежде я должна поблагодарить вас за вашу заботу о моём удобстве и спокойствии. Знаете, ваше внимание в минуты моего несчастья давало мне столько отрады, что, право, не знаю, захотела ли бы я променять своё несчастное положение на то, чтобы лишиться этой отрады!

Но теперь всё решено. Мне жаль отца, который всё же заботился обо мне. Теперь моя очередь заботиться о нём. Постараюсь, сколько хватит моих сил, их успокаивать и утешать. Посвящу на то пока жизнь мою.

Вы, может быть, скажете, мой дорогой, незабвенный друг, что мои слова идут в противоречие тому, что я обещала вам. Вы скажете, что я отдаю им то, что мне не принадлежит, — отдаю себя. На это я позволю себе возразить.

Ни на одну минуту я не думаю, что могу, хотя бы мысленно, отменить что-либо, на что предоставила вам право рассчитывать. Напротив, ваша нежная обо мне заботливость делает меня вашей вечной должницей. Я душою, мыслью, всем сердцем невольно обращаюсь к тому вашему слову, которое было моим счастьем. Но моё положение в такой степени изменилось известными вам событиями, что я не считаю себя вправе признавать обязанностью для других в рассуждении меня то, что было принимаемо ими хотя и добровольно, но совершенно при других условиях. Теперь я бедная пленница, приговорённая к вечному заточению. Могу ли я рассчитывать на то, что относилось к принцессе курляндской и семигальской. Притом обязанность, о которой до того я не имела даже повода думать, заставляет меня сохранить мои отноше-

ния к воспитывавшему меня семейству. Бросить его теперь, в самую минуту падения, для меня невозможно. Если бы я это сделала, я бы презирала себя. Я должна посвятить себя им, по крайней мере, до тех пор, пока страшный перелом их жизни представляет жгучую, острую боль сердца, то есть пока этот перелом от времени не перейдёт хотя в горькое, но спокойное воспоминание. Потом, я была здорова, а теперь буду ли я здорова когда-нибудь, знает один Бог.

Среди этих колебаний я решилась, не отказываясь сама ни от чего, что ставит меня в какую-либо зависимость, освободить других от всякой их зависимости от меня.

Последнее относится преимущественно к вам, мой дорогой, бесценный друг! Вы были один, зависимость от которого была мне отраднa. Веря вполне вашим словам, я считала себя счастливой, что могла обещать отдать вам всю жизнь мою, всю себя. Знать, что вы мой, а я ваша, было для меня такой радостью, перед которой бледнеют все мои несчастья. Но, ввиду изменения моего положения и здоровья, я признала себя обязанной сказать

вам, что свято и с сердечной искренностью я сохраню вам всё, что обещала, но предоставлю вам полную свободу забыть, что вы обещали мне. Я ваша всем сердцем, всею душой, всем существом моим до тех пор, пока словом или делом вы не покажете мне, что я вам не нужна, что я для вас чужая и что вы для меня чужой... От вас же я не требую ничего. Возвращаю вам все слова, все обещания ваши, предоставляю полную свободу вашему чувству в будущем... Об одном прошу: вспоминайте иногда беспредельную мою благодарность за вашу заботу, попечения и помощь, оказанные в минуты несчастья от всего сердца преданной

Гедвиге Елизавете.

Ещё прошу наградить чем можно женщину, которая ходила за мной. Она так усердно заботилась обо мне от вашего имени, так берегла меня, наконец, с столь многими предметами ознакомила меня из русской жизни, о чём я не имела даже понятия, — между прочим, и с знаменитостью вашего славного рода князей Зацепиных, — что я считаю себя

очень и очень ей обязанною, и я весьма бы желала доказать ей мою благодарность; но у бедной пленницы нет ничего, поэтому я поневоле должна прибегать к посторонней помощи».

«Так вот чем кончился суд! Вот чем кончилась та блестящая карьера, которая полушляхтича-проходимца возвела на ступень владетельного герцога, самодержавно управлявшего обширной империей! — раздумывал князь Андрей Васильевич. — Вот чем кончился и мой роман! Само собой разумеется, что Гедвиги я забыть не могу. Воспоминание о ней я сохраню целую мою жизнь. Я не могу забыть тех светлых и отрадных минут, когда она мне сказала, что мои чувства к ней встречают ответ в её чувстве, что ни в ком она не надеется встретить такую опору своей жизни, какую видит во мне! Никогда не забуду, как она, милый ребёнок, с слезинками на глазах, склонила свою головку на мою грудь и прошептала: «Не разлюбите меня, а я... я ваша, я никогда не разлюблю!» Это были минуты незабываемой радости, минуты, от которых и теперь разливается отрадное ощущение... Но

вопрос не о любви! Я чувствую, что я люблю её, что она мне дорога, как моя радость, как угаснувшая надежда... Но дело не в том, что мне дорого, что я люблю. Вопрос в возвышении и укреплении рода князей Зацепиных, в предоставлении ему политического положения, а для этого соединение с дочерью павшего временщика — вещь немыслимая. Только восходящее солнце даёт надежду на светлый день, заходящее же может оставить только воспоминание. Но писать ей это, сказать — я не могу, я не в силах, — я ещё слишком люблю её!.. — И он снова начинал ходить, потом снова задумывался и снова читал. — Она нездорова, страдает... Бог знает чего бы я не дал, чтобы иметь право беречь её теперь, ухаживать за ней! Но обязанность, долг, зависимость от отношений — всё это должно быть выше желаний, выше чувства. Суд над нами, — но ведь это комедия!»

И действительно, суд над Бироном был комедия, повторение той самой комедии, которая столь недавно, по его приказу, была выполнена в суде над Волынским. Председателем был тот же генерал-аншеф Григорий Пет-

рович Чернышев, а в числе членов были те же Хрущов и Новосильцев, которые умели по-добрать столько вин бедному Артемию Петровичу и его друзьям, в том числе и другому Хрущову, которого прихватили так, для компании. К этим нелюбезным судьям присоединили ещё Яковлева, того самого Яковлева, который по приказу Бирона вместе с Граматиным и Семёновым был арестован за распространение слухов о подложности акта, назначавшего Бирона регентом, и экзаменован вместе с ними в Тайной канцелярии самим Ушаковым, да так экзаменован, что, как выразился Семёнов, рука-то как плеть висит. К этим беспристрастным судьям присоединили ещё Лопухина, личного врага Бирона, да ещё двух-трёх из оскорблённых Бироном лиц. Остерман и Миних умели выбирать судей, умели и вины подбирать, не отстал от них в этом отношении и князь Черкасский, который перед тем только выдал Бирону Пустошкина, когда тот от имени офицеров своего полка сказал ему, что назначение регентом Бирона обидно для России, а теперь указывал для того же Бирона Пелым.

В чём же можно было обвинять Бирона за его трёхнедельное управление, потому что все действия Бирона, до того как он стал регентом, прикрывались высочайшими повелениями и исходили не от него, а от министерства? Нашли, в чём обвинять! Первое обвинение было в том, что он исходатайствовал у покойной императрицы акт о регентстве.

Но в этом главнейше виноват Миних. Его слово было первое перед покойной государыней. Он первый сказал, будто общее желание всех видеть Бирона в челе управления. Виноват ещё князь Черкасский, он первый подал мысль о регентстве; виноваты Куракин, Левенвольд, Трубецкой, которые его убеждали; виноват Бестужев — ну да он арестован вместе с Бироном, а все другие правительствуют, занимая высшие государственные должности. Бирон только согласился, уступая общему настоянию, согласился потому, что все уверяли его, что это необходимо для блага империи, для охраны младенца-государя.

Вторая вина: не заботился о здоровье покойной государыни!

Как же не заботился? Да это значило бы,

что он не заботился о себе! «По рабской моей обязанности, — писал Бирон, — я всегда первейшее попечение имел о неоценённом здравии её величества и выписал для консультации знаменитого португальца, а равно и с своими докторами постоянно беседу имел о её болезни, сколько мог это слышать и знать из слов самой государыни. Но само собой разумеется, что я не доктор и не мог принимать каких-либо особых мер, особенно когда государыня болезнь свою скрывала».

Третья вина: не заботился об императоре, угрожал его родителям, принцу и принцессе, и многих знатных особ лютым мукам предал и чести лишил.

«Не только об императоре не заботился, но прилагал всевозможное попечение. Если и виноват я перед родителями государя, — объяснял Бирон, — то только вследствие постоянной и чрезвычайной моей ревности и заботливости о здравии и безопасности государя императора. Потому-то я и приказал строго экзаменовать Ханькова и других, я полагал, что затеи их касаются не одного только меня и моего регентства, но касаются самого импе-

ратора, то есть клонятся не только к перемене управляющего государством лица, но к перемене самой династии. Я не мог равнодушно переносить, видя, как неопытностью принца и принцессы пользуются те, которые хотят насытость свою насытить».

Предъявляя эти оправдания, Бирон надеялся, что в комиссии хотя один голос будет за него. Он надеялся на Новосильцева, которого все признавали его ближайшим клеветом. Действительно, с самого прибытия своего из Курляндии он постоянно благодетельствовал Новосильцеву, выводя его в люди, выпрашивая места и назначения и вообще помогая чем только мог. Но первое слово Новосильцева было: за злодеяния Бирона ему простой смертной казни мало, четвертовать его нужно, живого сжечь, и этого мало: с живого кожу содрать. И неизвестно, на чём бы остановилось его разыгравшееся воображение в приискивании разных казней, если бы не перебил его председатель Григорий Петрович Чернышев.

— Ну чего ещё тут придумывать! Четвертовать так четвертовать — так, что ли?

Все согласились и составили приговор.

Анна Леопольдовна, как было заранее предрешиено, по своему неизмеримому милосердию, от смертной казни его помиловала, а по совету князя Черкасского определила сослать Бирона со всем его семейством на вечное поселение в Пелым, а его братьев и зятя, Бисмарка, его первейшего адгерента, развести по разным городам Сибири.

Фёкла Яковлевна на словах передала Андрею Васильевичу, что Гедвига не смела написать, но что она очень, очень бы желала с ним проститься. И он бы очень хотел, но как? Если ехать, то нужно сейчас, ведь их рано вывозят, а до Шлиссельбурга всё же шестьдесят вёрст! В это время ему доложили, что из дворца уж третий раз присылают узнать, где он? Великая княгиня беспокоится. Притом если он поедет в Шлиссельбург проститься с павшим семейством, то сейчас дадут знать и взглянут на это подозрительно, очень подозрительно. «Нет, — подумал он, — как бы ни хотелось, но... ограничусь слёзным письмом... и не сегодня, — нет, а пошлю нарочного догнать на дороге; а теперь, теперь — скорей во

дворец; нужно не упускать свой случай!» И через пять минут он уже был на собственной половине правительницы.

Придворные заметили, что Анна Леопольдовна заметно повеселела.

— Что так поздно? Я беспокоилась, здоровы ли вы? — спросила принцесса.

— Прошу великодушного прощения, всемилостивейшая повелительница. Пришли письма из деревни, нужно было распорядиться.

Анна Леопольдовна, не любившая больших собраний и по чрезвычайной лени и распущенности не любившая одеваться, даже до того, что выходила иногда к обеду в капоте и накинутом на голову платке, проводила время с удовольствием только в своём интимном кружке избранных, который весьма ревниво оберегала от посторонних вторжений; зато она любила, чтобы этот кружок не манкировал посещать её. Некоторое сходство с графом Линаром, занимавшим её воображение, когда ей было четырнадцать лет, молодость и до некоторой степени усвоенная у дяди, под руководством м-м Леклер, любезность

открыли доступ в этот кружок князю Андрею Васильевичу, и он старался этим воспользоваться.

Не чувствуя ровно ничего к принцессе, он старался вызвать к себе её симпатию своей весёлостью, задумчивостью и какой-то особой распущенностью, которая тогда начинала входить в моду среди высшей сферы представителей русского петиметрства.

Молодая женщина очень рада была слушать весёлую болтовню молодого человека, которого находила интересным и Юлиана и которого любят и хвалят все. «Ведь когда-нибудь и отдохнуть можно, развлечься», — говорила себе Анна Леопольдовна, не замечая, что привычка видеть молодого князя, слушать его и смеяться с ним вкоренялась в неё глубже и глубже и что, когда его нет, ей уже начало чего-то недоставать.

— Он меня смешит — и только; а то все дела да дела! И так этот противный фельдмаршал пристаёт непрерывно с делами!

А Андрей Васильевич в это время думал:

«Она не императрица, но правительница на шестнадцать с лишком лет. Это много зна-

чит. Притом она и императрицей может себя объявить, прямо как наследница своей тётки, самодержавная правительница и мать императора. Мало ли было исторических примеров совместного царствования, — а тут мать и сын, это так естественно, особенно когда сын младенец. Вот и политическое положение рода князей Зацепиных. Этим стоит заняться. Жаль Гедвиги, но делать нечего».

Думая это, он начал говорить любезности Юлиане Менгден, которая принимала их со смехом, напоминая ржание лошади, и говорила обо всём не иначе как династическим «мы», подразумевая в этом «мы» себя и принцессу-правительницу.

— Нет, нам фельдмаршал надоел как горькая редька! Да он и принца обижает! А мы не хотим принца обижать! Мы хотим только, чтобы он не мешал нам! Пускай он забавляется там своими караулами да ученьями, — играет в солдатики, а о нас не думает! Мы будем и без него управлять.

— Фельдмаршал — человек опытный.

— Да! Но что же делать, когда он нам всё поперёк дороги идёт? Анята мне подарила

бироновские кафтаны, его самого и принца Петра. Мы от скуки велели принести жаровню, взяли два кафтана и стали выжигать; на ту пору войди Миних да и говорит: «Э, матушка, ваше высочество, хочется же вам дымом и копотью себе глазки портить, и выжиги-то на три гроша. Вы бы лучше положение о запасных артиллерийских парках пробежать и утвердить изволили». После обратился ко мне и прибавил: «И не стыдно вам самодержавную нашу повелительницу грошовым делом занимать». Так не грошовым же! Из выжиги-то я четыре больших шандала да полдюжины ложек сделала!

В это время к ним подошла принцесса.

— Вы, князь, не сели ни в вист, ни в ломбер? — спросила она, усаживаясь на диван и показывая Андрею Васильевичу место подле себя на кресле. Менгден заняла место на стуле позади ручки дивана и очутилась, таким образом, между ними.

— Нет, ваше высочество, — отвечал Зацепин, садясь. — Если, принимаясь за игру, я могу доставить себе удовольствие играть с повелительницей сердец наших, то... Играть

же для игры или для выигрыша я считаю напрасной тратой времени.

— Э, князь! Можно играть от нечего делать, от скуки! Да и мало ли на что мы тратим время? Вот фельдмаршал говорит, что я напрасно трачу время, когда читаю. Он говорит, что читать можно только полезное; а полезное, по его мнению: инженерные исчисления да какие-нибудь положения об устройстве казарм или запасных артиллерийских парков. «Вот, — говорит, — и я вчера целый день читал: утром «Положение о военных госпиталях», а вечером — «Походы Тюренья»! Читать же романы да сказочки, стихи да мадригалы... право, принцесса, — значит только время губить!» Думаете ли и вы, князь, что я напрасно трачу время, когда читаю романы? Признаюсь, что чтение приносит мне удовольствия более, чем самые великолепные праздники, на которых я чувствую только усталость и от которых на другой день болит голова.

— Нет, принцесса, чтение я не считаю тратой времени. Я полагаю даже, что оно необходимо, как гимнастика ума.

— Ах, боже мой! Эти мужчины для меня невыносимы, в том числе и вы, лучший из них. Всё у вас ум, ум и ум! Нужно же отвести какой-нибудь уголок чувству.

— Чувство, ваше высочество, это такой нежный предмет, о котором мы не смеем говорить в присутствии тех, кто его вызывает. Вы изволите знать, ваше высочество, что ведь оно не подчиняется законам разума, а является нежданно и большей частью там, где его не должно быть! Я одинаково могу влюбиться и в пастушку, и в королеву. А согласитесь, что ни того ни другого нежелательно бы испытать, так как в том и другом случае моё чувство будет только страдание.

— А вы не думаете о том, какое страдание может испытывать королева, особенно если она не любит своего короля? На прошлой неделе я читала одну немецкую книгу, забыла заглавие, да это всё равно! Там рыцарь спешит освободить даму своего сердца из рук её соперницы и злейшего врага и вдруг влюбляется в этого врага, соперницу и мучительницу дамы его сердца. Можете себе представить, какой из этого выходит сумбур. Если он осво-

бодит ту, которую любит, то погубит ту, в которую влюбился; если же захочет сохранить ту, в которую влюбился, то должен оставить на гибель ту, которую любит. Мужчины все такие гадкие! Они способны раздваиваться даже в своём чувстве.

— Вы думаете это о всех мужчинах, принцесса? — спросил князь Андрей Васильевич, останавливая на ней свой пристальный взгляд, а сам вспомнил Гедвигу и подумал: «Не права ли она, если в её рассказе есть намёк? Впрочем, нет, не права, потому что тут никакого чувства нет, а просто меркантильный расчёт разумности». И он повторил свой вопрос.

Анна Леопольдовна не выдержала его упорного взгляда, потупилась и проговорила тихо:

— Нет, о вас я этого не думаю.

— О вас мы так не думаем! — заговорила Менгден, вторя принцессе и, видимо, желая её поддержать. — Мы думаем, что вы молодой человек с душой и сердцем и что если вас удостоит своего взгляда королева, то вы примете этот взгляд как милость судьбы.

— Такой взгляд был бы не только милостью судьбы, но залогом моего счастья! Я, разумеется, молод, но ведь, согласитесь, что только молодость и сохраняет тот пыл чувства, то страстное томление, которое боготворит ту, к которой относится, будет ли она пастушка или... королева.

Последнее слово Андрей Васильевич сопровождал тем многозначительным взглядом, который заставил Анну Леопольдовну понять, что и к королеве можно относиться как к женщине. Губки её немножко дрогнули, она покраснела и не нашлась что сказать. За неё отвечала Менгден:

— И королева примет ваше скромное обожаение и наградит вас всем, чем может наградить женщина и королева, с тем, разумеется, что вы будете скромны и благоразумны.

Анна Леопольдовна, как бы в подтверждение ответа своей наперсницы, безмолвно подала ему свою руку.

Андрею Васильевичу в глубине души было смешно. Он подумал: «Вот хорошо! Любовное объяснение втроём. Случалось ли это какому-либо донжуану в мире?» Но, взяв в свою

руку ручку правительницы, он почувствовал, что она дрожала. Он держал её несколько секунд в своей руке, потом, пользуясь тем, что играющие на другом конце комнаты сосредоточили на игре всё своё внимание, тихо поднёс её ручку к своим губам и горячо её поцеловал.

При этом он заметил, что два тоненьких пальчика правительницы, большой и указательный, легонько сжимаются и что правительница как бы склоняется к нему и хочет ему что-то сказать.

Но в это время дверь из приёмной залы с шумом растворилась, и в дверях показалась раззолоченная фигура камер-фурьера, который, почтительно поклонившись правительнице, доложил:

— Его сиятельство граф Андрей Иванович Остерман просит милостивого дозволения вашего высочества беспокоить вас на несколько минут.

Андрей Васильевич, разумеется, должен был отпустить руку принцессы, которая взглянула с изумлением на Менгден, в то время как та в свою очередь бросила изумлён-

ный взгляд на правительницу.

Оба эти взаимных взгляда можно было перевести так: наперсница спросила у правительницы: «Зачем ещё этот?» Правительница отвечала: «Я его не звала и не хотела, верно, что-нибудь особое».

— Зови! — сказала она камер-фурьеру и, наклонившись к Андрею Васильевичу, прошептала ему: — Завтра приезжайте пораньше, я играть не сяду.

Камер-фурьер исчез.

В комнату вошёл граф Андрей Иванович Остерман.

Толстоватый и неуклюжий, одетый в коричневый шёлковый кафтан с редкими петлицами, обшитыми золотом, в измятые брабантские кружева около шеи и рук и большие бархатные сапоги, Андрей Иванович тихо продвигался на своих подагристых ногах, оглядывая присутствующих с улыбкою, в которой можно было заметить лёгкий оттенок торжества. Он как бы говорил: «Вот и я здесь, и буду приятным гостем, хотя вы все настойчиво желали меня сюда не допускать».

Он подошёл к правительнице, в то время

как Андрей Васильевич, польщённый в своём самолюбии и убаюкиваемый надеждой на завтра, старался настолько отдалиться от принцессы, чтобы не представиться всепроницающему оракулу слишком интимным собеседником.

— Простите, всемилостивейшая наша повелительница, что осмелился нарушить установленный этикет и явиться незванным-непрощеным... — начал Остерман.

— Что такое? — перебила правительница.

— Важное и спешное обстоятельство, касающееся службы его величеству и нашей августейшей покровительнице, вынудило меня скорее сделаться преступником, чем упустить конъюнктуры, которые не иначе как к пользе особы вашего высочества направлены быть могут.

— В чём дело, граф? Я всегда рада видеть вас! — отвечала правительница.

— Дело в том, всемилостивейшая государыня, что его величество польский и саксонский король, узнав о благополучном принятии вашим высочеством в свои руки верховного управления, прислал чрезвычайного по-

сланника поздравить ваше высочество и вашего супруга, принца, с счастливым событием, и этот посланник, конфиденциально явившись ко мне, просит, предварительно официального представления и принесения поздравления, исходатайствовать ему у вашего высочества частную, сепаратную аудиенцию для представления вашему высочеству особо секретных меморий.

Правительница всё это время стояла, не приглашая графа сесть, поэтому, разумеется, стояли как граф, которому это было довольно трудно по его больным ногам, так и баронесса Менгден, и князь Андрей Васильевич.

— Очень рада видеть посланника польско-саксонского короля и с удовольствием примем его меморий, — хмуро отвечала Анна Леопольдовна. — Привезите его хоть завтра утром! Кто же этот чрезвычайный посол польского короля?

— Он льстит себя надеждой, что не совершенно изгладился из памяти вашего высочества. Это граф Линар!

— Граф? — вскрикнула правительница.

— Граф Линар? — вскрикнула Юлиана

Менгден.

Андрей Васильевич заметил, что правительница разом побледнела, почти машинально опустилась на диван и замолчала. Граф Остерман, который с трудом стоял, тяжело переступая с ноги на ногу, опёрся на спинку кресла, на котором перед тем сидел Андрей Васильевич.

— Так это граф? — повторила правительница, стараясь удержать своё волнение. — Это граф?.. Боже мой!.. Что же вы не займёте место, Андрей Иванович? Садитесь! Вы его видели?

— Кого? Графа Линара? Как же, ваше высочество, и только по его настоянию о крайней спешности дела я позволил себе беспокоить не в указанное время...

— Очень благодарна вам, Андрей Иванович, и всегда прошу, когда вы свободны от ваших трудов... Привезите его завтра. О! Я его хочу видеть!..

А Менгден в это время ей что-то шептала на ухо. Правительница улыбнулась.

— Непременно завтра утром, я сделаю распоряжение! Много новостей привёз вам

граф? — спросила правительница, овладевая собой.

Граф Андрей Иванович откашлялся и повёл свою беседу как мешковатый, неуклюжий, но умный придворный, который хорошо понимает своё настоящее положение и значение.

Андрей Васильевич понял, что Остерман выписал ему опасного соперника, что он повторяет ту же историю, которая так удачно разыгралась в его пользу с покойной Екатериною и Левенвольдом. Ему не удалась интрига, которую он вёл против Бирона в пользу принца Антона, во время регентства которого Остерман бы царствовал. Миних предупредил его. И вот ему понадобился граф Линар, чтобы через него также царствовать и при регентстве Анны Леопольдовны. Иначе разве мог бы саксонский двор прислать послом человека, отозванного отсюда по требованию нашего двора...

«Это, ясно, дело Остермана! — сказал себе Андрей Васильевич. Но как молодой человек, избалованный успехами, он самонадеянно прибавил: — Увидим, как ещё удастся... зав-

тра не за горами!»

IV

Отъезд

На другой день происходила конфиденциально сепаратная аудиенция чрезвычайного польско-саксонского посланника. Граф Линар приехал с Остерманом. Их встретила Менгден, приветливо протянула графу Линару руку и проводила к правительнице. После первых официальных приветствий Остерман как-то стушевался, рассматривая картины, украшавшие стены приёмной правительницы. Они остались втроём.

— Наш гость, всегда приятный! — сказала Менгден. — Что ж вы не целуете у Анюты руку? Разве не наскучили вам ещё церемонные приветствия да книксены, которыми вы угощаете друг друга?

— Прежде я должен спросить, будет ли дозволено мне обратиться к прекрасной царевне с моей прежней искренностью и преданностью? — спросил Линар, стараясь придать

своему голосу и взгляду выражение покорной кротости.

— Разумеется! Разумеется! — отвечала за правительницу Менгден. — Только она уже не царевна, а великая княгиня и мать императора. Откуда вы приехали, что этого не знаете?

И Юлиана засмеялась своим лошадиным хохотом.

— Вы шутите! — отвечал Линар. — Но я, бедный изгнанник, воспоминание о царевне берегу как святыню, и для меня будет высшим счастьем найти в государыне великой нации ту же царевну, почтительное обожание которой было причиной моего несчастья и остракизма.

— А разве мы вас не вспоминали? Полноте, граф! — решила наконец сказать Анна Леопольдовна. — Если бы вы знали, что перенесла я во время этого, как вы называете, вашего остракизма! — И она протянула руку, которую тот страстно поцеловал.

— Боже мой, сколько лет прошло с тех пор, как мне мадам Адеркас сказала, что вы позволяете мне поцеловать вашу ручку...

— Да! И как я страдала... — заметила Анна Леопольдовна.

— Сколько лет? Я вам скажу, — проговорила шутливо Менгден. — Пять лет, восемь месяцев, шестнадцать дней...

— Вы тогда совсем ещё дитя были! — сказал Линар.

— Не говорите! Мне тогда только месяца или двух не хватало до пятнадцати!

— И как это хорошо было, помнишь, Анята, — заговорила опять Менгден, — мне тоже было четырнадцать с чем-то лет. Но я уже понимала вещи, как они есть. Меня поставили на часах; на случай, если бы тётушка или герцог в большую залу идти вздумали, я должна была каркнуть. Помню, как я училась каркать. Мы где-то читали, что итальянские разбойники всегда каркают на часах, когда увидят сбиров. Вот я стою и смотрю. Граф внизу за трельяж спрятался и за эту статую, как её, — которую змеи-то с детьми вместе обвивают. Анята вошла вместе с Адеркас. Адеркас пошла к императрице и будто не видит, а Анята вошла на эстраду да сверху из-за трельяжа и протянула свою ручку. А вы её нача-

ли целовать. Как мне завидно тогда было! Всё было точь-в-точь, как в романах пишут.

— Отрадное воспоминание, — сказал граф Линар. — А помнит ли всемилостивейшая государыня правительница те слова, которые сказала тогда мне царевна и которые мне даже теперь слышатся голосом ангела?

— Я ничего не забываю, граф, — задумчиво отвечала Анна Леопольдовна. — Я сказала: «Вечно и всегда!..»

Вечером князь Андрей Васильевич занялся своим туалетом весьма тщательно. Он помнил, что правительница назначила ему: «Завтра пораньше». Он надеялся услышать что-нибудь, что даст основание его честолюбивой мечте. «Я не о себе думаю! — говорил он. — Но не могут, не должны князья Зацепины стоять в ряду каких-то провинциальных бар, которые если и не боятся капитан-исправника, то потому только, что они ему хорошо платят...»

На основании этого рассуждения он решил употребить всё возможное, чтобы быть изящнее, красивее, лучше. Он знал, что Анна Леопольдовна, сама не любившая одеваться даже до неприличия, очень любила

нарядных и красивых кавалеров и на его костюме нередко останавливала особое внимание.

Поэтому он надел свой, только что сделанный, светло-голубой, шитый серебром, с золотыми петлицами и крупными алмазными пуговицами кафтан и белый, обшитый самыми тонкими и дорогими венецианскими кружевами и также шитый золотом, с пуговицами из сапфиров самой чистой воды камзол; кружевной воротник его рубашки и манжеты, так же как и телесного цвета шёлковые чулки и лакированные башмаки, застёгивались и стягивались аграфами и пряжками, в которых светились редкой игры опалы, осыпанные мелкими бриллиантами. Сверх того, он надел ещё на плечо аксельбант цвета правительницы, украшенный бриллиантовыми эгвильетами, наподобие знаменитых эгвильетов герцога Букингема, любимого героя дам тогдашнего общества, анекдоты о роскоши которого, о его победах и элегантности вызывали тогда особое сочувствие среди русских петиметров и их очаровательниц. Андрей Васильевич имел полное право думать, что рос-

кошный костюм его по своему богатству не уступал самым великолепным костюмам Букингема.

Если к этому прибавить ещё, что легко напудренный, маленький парик красиво оттенял его свежий и молодой цвет лица, тонкие, тёмные, союзные брови и выразительные глаза; что маленькая треуголочка с плюмажем и бриллиантовой кокардой и игрушка-шпага, осыпанная рубинами и бриллиантами, дополняли с полным эффектом этот и без того эффектный костюм, если и оглянуть всё это с точки зрения версальского петиметра, который с первого взгляда заметил бы и оценил приобретённые Андреем Васильевичем изящество манер, ловкость, грацию и сдержанность, — то нельзя было не признать, что с внешней, по крайней мере, стороны Андрей Васильевич был безукоризнен.

Осмотрев себя со всех сторон в тройное трюмо, Андрей Васильевич остался доволен. Он поехал в Зимний дворец, вспоминая, с каким выразительным взглядом встречала его всегда не приглашенная и не причёсанная Анна Леопольдовна и с каким любопытством

оглядывала каждую мелочь его одежды. Он думал: «Верно, она встретит меня одна с Менгден. Теперь играющим ещё рано собраться. Хотя она будет смотреть немножко хмуро, такой уже у неё взгляд, но с видимым наслаждением. А Менгден будет болтать, но болтать, как было до сих пор, в его руку. Потом Анна Леопольдовна протянет ему свою ручку, которую он почтительно поцелует. Может быть, она, как это было вчера, — с краской удовольствия на лице вспоминает Андрей Васильевич, — пожмёт мне при этом руку своими двумя пальчиками, вот здесь, в этом месте (Андрей Васильевич поцеловал то место своей руки, которое, чувствовал он вчера, сжималось нежными пальчиками правительницы), и тогда, может быть, скажет то, что ясно хотела сказать вчера. А ведь она миленькая, какая она стройная! Я не видал даже девушки с столь тонкой и стройной талией. Очень жаль только, что она так мало думает о себе, жаль также, что она любит хмуриться. Но если я буду на месте Бирона, то постараюсь всё это изменить. Я буду сам заниматься её костюмом, сам одевать её, и ей не будет скучно

одеваться под моим руководством. А хмурость её заставим исчезнуть от всегдашней нежности, тонкого внимания и более или менее собственной весёлости. Ведь не хмурится же она с Менгден; разумеется, не будет хмуриться и со мною, и тогда она будет прехорошенькая!.. Главное, всё будет в моих руках! Я сейчас же этого оракула, эту всезнайную лилицу Остермана по шеям! Довольно ему морочить людей и своим немцам открывать дорогу. Буду на первое время просить фельдмаршала принять всё на свои руки, пока сам не выучусь. Этот хоть и интриган, но, во-первых, действительно способный и полезный человек — инженер и военачальник, каких немного; а во-вторых, хоть и поддерживает немцев, но не закрывает дороги и русским. А что он сравнивал жалованье русских офицеров с немцами, — этого нельзя не признать заслугой! Остерман же — это подземная крыса, это крот, ведущий теперь свою интригу, видимо, против меня, хотя всегда был хорош с моим дядей. Нужно разбить, уничтожить все их предположения, которые могут препятствовать моему будущему. Князя Зацепины

должны быть князьями Зацепиными, а не возиться в самом деле целую жизнь с мужиками. Дядя прав, когда говорил, что наше дело — правительство, двор, армия, политические отношения...»

Таким образом, племянник встал уже на точку зрения своего дяди, изящного и великолепного князя Андрея Дмитриевича, то есть на точку зрения французской аристократии, думавшей, что она создана на свет как привилегированная порода людей, созданных иначе, чем эти плебеи — народ, сотворённый для того только, чтобы служить ей и чтобы ей было кому благодетельствовать. В понятиях своих Андрей Васильевич, незаметно для него самого, отошёл уже от того родового начала древних русских князей, которое держали в уме ещё отец и дядя его, что они призваны княжить на земле Русской, чтобы служить русскому народу. Они говорили: «Мы имеем право получать от народа кормы и мыты, но за то обязаны оберегать землю Русскую от врагов внешних и внутренних, сохранять в ней порядок и правду, поддерживать в ней народные права и вольности». В противоре-

чие этому переходящему из рода в род убеждению, отрицавшему даже права своего дома, в его московской ветви, самодержавствовать на Руси, Андрей Васильевич теперь начинал думать, что народ для него, а не он для народа, совершенно так же, как думали это Сен-Марсы, д'Егриньоны, Гизы и Монморанси — все те, которые получили свои права победой и кровью, а не были избраны, по соизволению Божию, волей всего народа, и как потому никогда не думали ни Ольговичи, ни Ростиславичи, ни Мономаховичи.

Легко и удобно было усвоить русской аристократии этот французский взгляд при существовании крепостного права, придуманного или, лучше сказать, заимствованного от тех же немцев, к которым русский народ относил и французов, и перенесённого на Русскую землю хотя не Рюриковичем, но с которым и Рюриковичи охотно примирились. Ни противоречия, ни борьбы не вызвало в русской аристократии новое мировоззрение, столь противоположное вековым преданиям русской жизни, столь противоречащее основным началам их родового права. Понятно, оно так

приятно было для аристократии по самой сущности, так льстило её самолюбию, «де-скать, мы сделаны из фарфора, а те из простой глины, какое же тут может быть сравнение», что говорить о её противодействии новому наставлению было немыслимо.

Андрей Васильевич был последним из русских князей, ставших на эту точку мировоззрения. Прошёл с небольшим только один год после того, как он горячо отстаивал мысли своего отца, что кто хочет пользоваться правом, принимай на себя и обязанности, а он уже думал, что он может осчастливить одним своим именем; что ему, как князю Рюриковичу, должно быть открыто всё и что его предназначение управлять, тогда как другие созданы, чтобы ему повиноваться; что это есть высшая небесная воля, закон природы, закон существования. Отсюда вывод естественный: он, избранник судьбы, должен быть представителем всего изящного и высокого, стало быть, должен быть поклонником наслаждения, как его дядя Андрей Дмитриевич. Разумеется, в этом мнении своём он не дошёл ещё до крайних пределов такого мировоззрения:

впрочем, вероятно, только по недавнему усвоению тех космополитических идей, которые с первого раза поразили его в изящном и действительно европейски развитом его дяде. Он не обратил внимания на то, что дядя его всё своё знание, всю свою развитость, всё своё изящество употреблял исключительно на самоудовольствование своей особы и питание своего эгоизма — эгоизма, доходящего до самообожания, до пантеизма древних. Андрей Васильевич не стыдился ещё, ради обязанности быть изящным, исключительным, говорить на своём родном языке, хотя и говорил большею частью по-французски, сперва для практики, потом по привычке и находя более удобным выражать свои мысли на выработанном языке французов, чем на тяжёлом, необработанном русском жаргоне тогдашнего общества. Он не считал неприличным заслушаться русской песней, которой в детстве отдавался со всем увлечением, не находил варварством похвалить русскую кулебяку или русский квас, хотя был не прочь пить шампанское. Но очень можно было ожидать, что если у него будут дети, то, пожалуй,

они, не стыдясь, будут картавить по-русски, заявляя, что они никак не могут привыкнуть к выговору этих шипящих, варварских букв; будут приходить в ужас от русских щей и каши; назовут русскую песню, то задушевную, то лихую, удалую, горлодраньем, а русскую поэзию мужичеством и будут смотреть на русского мужика именно как на вьючную скотину, которую эти негодяи управляющие, разные Карлы Карловичи, не умеют или не хотят заставить как следует платить оброк. Удивительно ли, что они отойдут от народа настолько, что не будут понимать ни нужд его, ни желаний, как, в свою очередь, народ не будет понимать их. А при таком положении, понятно, что перемены в их взаимных отношениях, устройстве, личном составе будут для народа совершенно безразличны.

Андрей Васильевич встал уже на эту почву антирусского аристократизма; стал на ту почву феодального презрения ко всему, не имеющему феодальных прав, которые столь несообразно отождествляло любимое народом русское боярство, и дружинников древних русских князей, образовавшихся из их

преемственных заслуг русскому народу, с теми подавляющими и ненавидимыми народом началами европейского феодализма, которые произошли из условий победы одной расы над другой и гнёта, наложенного победителями на побеждённых. Он забыл, как в русской жизни нижегородский мещанин и родовой князь Пожарский, тоже Рюрикович, дружно стали на защиту родной земли; забыл, что князь, тоже Рюрикович и первый боярин царской думы, а потом и царь, Василий Иванович Шуйский дружески относился к купцу Коневу, рассуждая о бедствиях и нуждах отечества во время первого самозванца; забыл, что самый предок предков их Ярослав Мудрый слушал советы именитого гражданина Великого Новгорода Вадима Гостомыслевича!..

А становясь на такую почву отрицания преданий русской жизни и исторической преемственности русских родовых начал и начиная отвергать свою солидарность с условиями нашей народности, князь Андрей Васильевич, опять незаметно для самого себя, изменял и чувству общечеловечности. Впадая

В космополитизм, он, естественно, отказывался от того, что присуще человеку как человеку. Незаметно для самого себя, каким-то неотразимым притяжением событий, он вдавался в то проходимость, от которого он вздрогнул с ужасом и омерзением, когда дядя говорил ему об отношениях Бирона и Левенвольда, рассказывая, что они милость покровительствующей им женщины разыграли между собою в карты. Вот и теперь он ехал в Зимний дворец, чтобы затмить, вытеснить соперника, и занялся исключительно своими честолюбивыми надеждами, забывая, что в то же время тихое и скромное дитя, когда-то составлявшее идеал его мечты и с такою доверчивой преданностью готовое отдать ему всю себя, — дитя, разбитое и материально и нравственно, увозилось куда-то под конвоем неумолимых тюремщиков и под гнетом не любивших её воспитателей, которые тяжесть своих страданий грубо перекладывали на неё. Он забыл Гедвигу Бирон, не отвёл ей уголка даже в мечте своей, даже в своих честолюбивых надеждах. Он даже не подумал, что вот когда я буду на месте Бирона, то облегчу её страда-

ния. Он вовсе не думал о ней, забыл о её существовании. На сердечное письмо её он не послал ни одного слова утешения. Да и когда тут было писать, среди придворной суеты, среди положения, вызывающего невольное волнение... А бедная девушка плакала, упрекая в глубине души тюремщиков и думая, что только их жестокость лишила её утешения хотя бы в одном слове участия...

Он вошёл в Зимний дворец, но его не ждали. Никто не говорил, что правительница два раза выходила и спрашивала его, что Менгден хотела посылать и прочее. Он приписал это тому обстоятельству, что приехал раньше обыкновенного, и спросил, кто у принцессы. Ему отвечали, что польско-саксонский посланник граф Линар; что он обедал сегодня у правительницы; что за обедом, кроме принца Антона и баронессы-наперсницы, никто не был; но что теперь принца Антона нет, а они сидят втроём с графом Линаром. Андрея Васильевича эти слова передёрнули, но в ту же минуту он самонадеянно подумал: «Тем лучше, тем лучше, по крайней мере, встретимся лицом к лицу».

Имея право по вечерам входить к правительнице без доклада, он вошёл.

Правительница и Менгден сидели на маленьком диване подле столика; напротив них сидел граф Линар и что-то читал.

Правительница сидела прямо против входных дверей и, разумеется, не могла не заметить входа Андрея Васильевича и его нежно-дипломатического, почтительного поклона, сделанного по всем правилам хореографии, как требовалось модою того времени. Но мысли Анны Леопольдовны были, видимо, слишком далеко от того, что было у неё перед глазами, и она безмолвно кивнула ему головой. Менгден тоже ограничилась только движением головы, сделав знак рукой, чтобы он не шумел.

«Эге, — подумал Андрей Васильевич, — да дело-то выходит хуже, чем я думал. Бывало, даже в пылу игры она находила возможным оторваться для милостивого и доброго слова».

Граф Линар окончил чтение, но Анна Леопольдовна не изменила своего холодного тона, хотя и пригласила его присоединиться к их кружку и представила его и графа Линара

друг другу, проговорив с своим обычным, задумчивым видом:

— Граф, это один из моих молодых друзей, князь Андрей Васильевич Зацепин, потомок одного из знаменитейших родов русских, а это — посол короля польского и курфюрста саксонского граф Линар.

Они отдали взаимно друг другу церемонные поклоны и заняли места вокруг столика, причём Андрею Васильевичу досталось сидеть подле правительницы, но от этого ему лучше не было, потому что внимание Анны Леопольдовны, видимо, сосредоточилось на графе Линаре. Менгден тоже была занята исключительно им.

Он взглянул на графа Линара, и его поразила та строгая, правильная, нежная и вместе с тем мужественная красота, которой отличался граф. Очерк лица графа и тонкие чёрные, почти союзные брови действительно несколько походили на его собственные, как с первого взгляда заметили Менгден и правительница, но какая разница в выражении, в силе. Тёмно-карие глаза графа то бросали искры, то покрывались матовой нежностью под

влиянием впечатлений, исходивших из предметов, которых касался разговор, или принесли глубоко спокойное выражение мысли, разума, анализа и потом опять сверкали страстью. Тонкие, чёрные, вьющиеся кверху усы польско-саксонского гусара, представляя резкое отличие тогдашнему обычаю, оттеняли нежное, свежее лицо уже совершеннолетнего и в цвете красоты мужчины и придавали лицу его выражение мужественности, энергии, силы; улыбка, необыкновенно приятная и делающая ямочку на правой щеке, вызывая симпатию, располагала и объясняла тот необыкновенный успех, которым пользовался граф Линар в обществе.

Притом граф Линар был высок, строен, изящен и ловок до чрезвычайности. По изяществу, благородству приёмов и движений в целом Петербурге он мог сравниться только с дядею Андрея Васильевича, князем Андреем Дмитриевичем, но имел, разумеется, перед ним преимущество молодости и свежести. Голос графа был мелодический, нежный и выработанный до совершенства. Андрей Васильевич не слышал, пел ли когда граф Линар,

но при первых звуках его голоса он угадал, что таким образом выработать голос можно, только обучаясь пению и декламации с детства. Своим голосом он принимал и умел передавать самые тонкие оттенки мысли, вместе с тем его голос был звучен, силен, способен на все изгибы и, видимо, мог увлекать. Притом граф Линар обладал ещё достоинством, весьма редким у нас даже до сих пор: умением слушать. Он не пропускал ни одного, даже самого ничтожного замечания, не выслушав его с той спокойной и приятной улыбкой, которая заставляет видеть, что ваши слова ценят, вашим мнением интересуются и хотят его усвоить. А это делало разговор графа Линара весьма приятным для всех, даже для тех, кто не мог понять ни его высокого образования, ни обширной эрудиции и далеко не дюжинного красноречия, умеряемого светской сдержанностью и любезностью.

Разговор шёл о предчувствиях. Граф Линар доказывал возможность предчувствий и их несомненную верность путём исторических примеров и аналитического рассмотрения физических условий их появления. Невоз-

можно себе представить того фейерверка остроумия и той увлекательности, с которыми он поддерживал свои странные и парадоксальные положения, стараясь доказать, что человек может сам в себе вызвать способность предвидения и что в такой способности нет ничего сверхъестественного, но что, напротив, она имеет свою научную почву в современных открытиях. Высокая образованность графа и ловкая диалектика его в этих объяснениях, можно сказать, били ключом. Перед входом Андрея Васильевича он читал отрывки из Метастазио, где поэт говорит, что он предчувствовал появление любимой им девушки, так как в ней находилась часть его души. Эти слова поэта он применял к себе, объясняя, что в самый день своего отозвания из Петербурга по требованию покойной императрицы почти шесть лет назад он предчувствовал своё сегодняшнее свидание. Разумеется, Анна Леопольдовна должна была опустить глаза свои долу. Затем он перешёл к характеру понятий о предчувствии древних, к их аллегорическим представлениям души, из свойств которой они выводили естествен-

ность предчувствия; говорил о религиях греков и римлян, о элевзинских таинствах египтян, из которых Пифагор заимствовал своё учение о переселении душ, а Платон — о их взаимном сродстве и симпатии. Всё это граф пересыпал солью остроумия, множеством анекдотов и самой лёгкой, светской любезностью. Не заслушаться его было невозможно.

Андрей Васильевич видел, что Анна Леопольдовна и Менгден его не только заслушивались, но, можно сказать, что, слушая его, они таяли от восторга.

И он сам слушал графа с большим удовольствием, хотя многого и очень многого не понимал, тем более что Линар часто от французского языка обращался к итальянскому, читая итальянских поэтов в подлиннике, а по-итальянски Андрей Васильевич только начал учиться и весьма ещё мало понимал, ещё менее понимал он цитаты из Вергилия, Овидия и Плавта. Когда же Линар перешёл к научным объяснениям, стал говорить о каком-то электричестве, опытах какого-то Винклера, с которым граф был знаком лично, о мнении, что электричество было известно египетским

жрецам и составляло одно из таинств элевзинских верований, так как среди обрядов египетского богослужения были приёмы, доказывающие знакомство жрецов с этой силой, посредством которой, по опытам Винклера, можно, пожалуй, будет разговаривать друг с другом за сотню вёрст, — то Андрей Васильевич почувствовал, что он не понимает ничего, не понимает даже того, о чём идёт речь. Какая такая может быть сила, которая делает ничтожным пространство в сотни вёрст?.. Не морочит ли уж он их всех?..

Тут он понял сущность разницы между действительной образованностью и только её внешней стороной; понял, что можно носить французский кафтан и манжеты, пить шампанское, говорить по-французски и быть в то же время не только полуобразованным, но и вовсе необразованным человеком. Например, что такое он сам, с приобретённым им лоском светскости, французским и немецким языками и убогими знаниями кое-чего из истории Франции и крестовых походов, из французской литературы, преимущественно Золотого века, то есть царствования Людови-

ка XIV, и из кое-каких общих мест моральной философии и мифологии? Между тем образование требует знания положительного, фундаментального знания жизни и природы. А из исторической жизни он не знает почти ничего, о природе же никогда и не думал... Он видел, что и правительница, и Менгден слушают графа, как говорят, разинув рот. Но всё же они могут понимать его, стало быть, по образованию настолько выше его, родового князя Зацепина, насколько знание выше невежества. Что же значит он против этого блестящего графа, блестящего не костюмом только и манерами, но умом, знанием, остроумием, — что он? Полуобразованный мальчик, и больше ничего!

Несмотря, однако ж, на то, что граф Линар решительно приковал к себе внимание как правительницы, так и Менгден, Андрей Васильевич нашёл случай напомнить Анне Леопольдовне вчерашнее приказание ему явиться пораньше. Но на это Анна Леопольдовна ответила ему как-то неохотно:

— Ах да! Точно! Только извините, князь, я позабыла совсем, что вчера хотела вам ска-

зять... — Потом, помолчав немного, она прибавила: — А не правда ли, граф Линар очень умён?

И она опять отошла слушать своего графа.

«Нет, этого мне из седла не выбить!» — подумал Андрей Васильевич. А как в это время начали уже съезжаться для игры, приехал гофмейстер правительницы Миних-сын с своей женой, родной сестрой Менгден, приехал английский посланник Финч и австрийский — маркиз де Ботта, то Андрей Васильевич счёл за лучшее исчезнуть.

«Если она вспомнит обо мне, то пришлёт, а нет — то насильно мил не будешь!» — думал он. Но самолюбие его сильно страдало, страдало так, что ему уже казалось, что он был страстно влюблён в правительницу и что любовь его приняла печальный исход...

«Постой, — сказал он себе, — не поеду несколько дней. Пришлют ли, заметят ли?»

И как ни скучно, как ни досадно было, но он не поехал. Но за ним не прислали и его не заметили!

Когда назначенный им себе срок прошёл, он снова явился во дворец, но — увы! — толь-

ко для того, чтобы убедиться, что о нём совершенно забыли. Правительница сидела за картами, когда он вошёл, и сказала ему только:

— А! Это вы, князь!

Менгден, которая не была ничем занята, встретила его подобным же замечанием.

— Вот и вы, — сказала она, — а мы всё это время были заняты нашим графом; не правдали — умный и красивый господин?

— Да, нельзя не отдать ему справедливости, — скрепя сердце должен был отвечать Андрей Васильевич. — Весьма приятный собеседник!

— И как он знает всё, сколько он видел, читал... Его слушаешь и не видишь, как время идёт. Вчера, помните?

— Меня вчера здесь не было.

— Не было? Я и не заметила! Вчера, представьте, он рассказывал о влиянии грома на рыб. Жаль, что вас не было, вы бы послушали, это так интересно. А послезавтра у нас будет торжественная аудиенция. Анюта будет под балдахинном стоять; приходите посмотреть!

Андрей Васильевич не сказал ни слова. Он уехал из дворца, не замеченный никем, как

незамечен был, когда и приехал; только принц Антон подошёл к нему перед отъездом и сказал:

— Что это вы нынче так бледны, князь? Я бы советовал вам приобрести гарлемских капель. Чудо как помогают от всякого расстрой-ства.

По приезде домой Андрей Васильевич сей-час же послал доложить дяде о том, что он просит позволения его видеть. Князь Андрей Дмитриевич приказал его звать.

— Представь себе, Андрей, — сказал ему дя-дя, как только он к нему вошёл, — я сию ми-нуту чуть не был свидетелем страшного изу-верства; могу даже сказать, что это изувер-ство не совершилось только благодаря моему присутствию. И главное, странно, что тут за-мешаны твои люди! Нужно тебе сказать, что здесь открылась весьма опасная беспопов-ская секта хлыстов. Эта секта не признает брака. Она доводит своё учение о равенстве прав человека до таких пределов, что ставит человека на степень животного. Они говорят, что у Бога нет ни красивых, ни безобразных,

ни старых, ни молодых, ни бедных, ни богатых, — что все равны, все одинаковы, поэтому все должны пользоваться одинаковыми благами. «За что же, — говорят они, — одному достанется жена старая и безобразная, а другому — молодая и красивая? Точно так же за что одной достанется муж молодой, здоровый и красивый, а другой — ледащий, хворый и старый? Находятся и такие, которые целую жизнь изживут, а себе мужа не достанут, особенно бедные и некрасивые...» Поэтому они и решили между собой, что всё принадлежит всем: кому когда что Бог даст. Коноводом этой секты Ермил Карпыч, помнишь, тот, у кого мы с тобой занимали деньги. Ну, он, разумеется, не из таковских, чтобы его можно было на софизмах ловить; но как тут дело оказалось нежданно выгодным, так что самый капитал его, может быть, образовался благодаря этому сектаторству, то он и принимает в нём горячее участие. Я эту секту давно знаю; но как я не генерал-губернатор, не начальник полиции и не управляющий Тайной канцелярией, то молчу. Пользуюсь, как грешный человек, этой сектой втихомолку, когда случает-

ся там что-нибудь особое и мне по вкусу. Ну да дело не в том!

Одной из начётчиц была у них Фёкла, из крепостных твоего отца, та самая, которую, помнишь, ты посылал ходить за принцессой Гедвигой, когда Бироны были уже арестованы, и которой ещё, по твоему приказу, в конторе выдали двести рублей, и она до того обрадовалась, что в конторе же было запела свою раденную песню. Эта Фёкла, когда ещё жила с мужем в Зацепине, была в связи с твоим кучером Елпидифором, тогда почти мальчишкой. Ну связь эта, разумеется, прекратилась, когда она уехала. Только как ты с Елпидифором приехал, они встретились и сошлись. Нужно сказать, что у них правило: живи со всеми и для всех, а на сторону или поговору с кем, хотя бы из своих, — ни-ни! Первый раз епитимию тяжкую наложат, второй раз в присутствии всех больно, чуть не до полусмерти, высекут, а на третий раз — смертная казнь. Выкупают, как есть в платье, в смоле, привяжут к столбу да и зажгут, а сами своё раденье начнут. Не то окуп за себя вноси, и большой окуп, и из их компании изгоняешь-

ся навсегда... Если же виновная, правильнее подозреваемая, не признается, то производится испытание огнём: насыплют в пригоршню горячих угольев и держи, твердя молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас», пока Ермил Карпыч не скажет «аминь». Не выдержишь, бросишь, стало быть, виновата, и дело с концом. Может быть, никто бы ничего и не знал о том, что Фёкле захотелось старинку вспомнить, и, верно, никто бы не подозревал, так как она уже стара и никакого подозрения не могло быть в том, что к ней земляки и она к землякам заходит, да, дура, сама на духу Ермилу Карпычу сказала, после того как первый-то раз свиделись; думала, что выдержит. Ну на неё и наложили тяжёлую епитимию, что-то двести поклонов утром да двести вечером и целую неделю в молчании на всю братию хлебы печь. Выполнила, но за ней уже наблюдать начали. После первого же раза, как твой кучер зашёл к ней, её и потребовали к исповеди. Она, вспомнив, что теперь уж не поклоны, а розги будут, да какие розги — самые изуверские, запёрлась. Ну вот ей огненное испытание и предстояло...

— И Елпидифору тоже?

— Нет! Он в секту ещё принят не был, клятвы не давал. Его обязали только молчать обо всём, что знает и видел, и не показываться к ним под угрозой, что будет из-за угла убит как собака.

— Так я его поскорей в деревню отправлю, попрошу другого на перемену прислать, хотя и жаль — хороший кучер! А что же Фёкла? Неужели выдержала испытание?

— Что ты! В моем-то присутствии? Это была бы уголовщина, чёрт знает что такое! После второго раза ведь был бы третий. Нет, я таких вещей не люблю! Вот пошалить, позабавиться, стариной тряхнуть, это дело особого рода, а чтобы к уголовщине припутаться — нет! Слуга покорный! Я шепнул слово Ермилу Карпычу, а ей велел скорее признаваться да просить назначить окуп на выход. Впрочем, мне и настаивать на этом не приходилось. Как принесли жаровню, так она так испугалась, что если бы и точно ничего не было, так на себя бы налгала. Окупу назначили триста рублей. Она двести сейчас же внесла, что ты ей дал, а, делать было нечего, ста рублями я

помог! Всё дело тем и кончилось. Главное, чем я доволен, что, кроме Ермила Карпыча, никто не узнал, что, по своей вечной страсти к молодости, авантюрам и красоте, фигурировал в их шайке неприступный и блестящий князь Зацепин, вице-адмирал и андреевский кавалер. За одно это можно было и не сто рублей пожертвовать!

— Так что, мои денежки вместо бедной женщины к тому же богачу Ермилу Карпычу попались?

— Как быть, друг мой! Капитал — что большая река, принимает в себя все ручьи и маленькие речки!

— Да, вот тут и рассуждайте о труде! Так или иначе, а капитал всё себе забирает... Дядюшка, я хотел с вами поговорить. Мне бы хотелось ехать в Париж поучиться!

— А что, разве наши честолюбивые замыслы не выгорают?

— Не то что не выгорают, они пошли было...

— Да это-то я знаю, что пошли было, но...

— Приезд этого...

— Это тебе Остерман подсахарил. Он заме-

тил, что ты ближе к Минихам, чем к нему, и...

— А я чувствую, что в том виде, как есть, я не в силах сбить соперника с позиции. Поэтому лучше уступить и явиться в новом виде, чтобы сражаться равным оружием.

— В тебе столько практической смётки, что не могу не высказать моего одобрения. Точно, оставаясь здесь, ты можешь наделать глупостей, а уехав и возвратясь, можешь представить прелесть новизны, тогда как твой соперник, пожалуй, успеет надоесть как горькая редька. Разделяю твой взгляд, Андрей, и, знаешь, еду с тобой, чтобы, как сказал какой-то поэт, «утренней зарей молодости осветить свой вечерний закат»! Едем, друг! Я там помогу тебе, представлю кому следует, введу в общество. Хотя, разумеется, многих нет, да всё же кто-нибудь и остался из моих прежних друзей!

— Я завтра же подам прошение о дозволении...

— Нам это всё устроит Остерман. Он будет так рад спровадить нас обоих, что, пожалуй, сделает антраша от радости на своих пухлых ногах.

— Я надеюсь за то отблагодарить его по возвращении.

— Не загадывай, друг, так далеко вперёд! В жизни пользуйся настоящим, а не напирай на будущее.

И дядя с племянником расстались до завтра.

V

Остерман

Наступило лето 1741 года. Миних в отставке хозяйничает в Гостилицах. Герцога Бирона с семейством увезли в Пелым; братьев его Густава и Карла и его главнейшего адгерента свояка, генерала Бисмарка, по разным городам Сибири развозят; Бестужева к смертной казни приговорили было, да смилостивились, велели безвыездно жить в своих деревнях; князя Зацепины, для поправления здоровья, на бессрочное время отпущены в Париж. Остерман царствует.

Да как ему не царствовать, когда принц Антон только и свет видел, что в глазах

Остермана, а правительница-принцесса, которая теперь великой княгиней себя величать велела, любит лучше романы читать, чем доклады слушать; любит лучше с наперсницей Юлианой да с красавчиком Линаром по тенистому саду гулять, чем распорядок чинить. Ну а Остерман сидит за работой, вдумывается, старается всё предугадать, всё предупредить.

«Вот, благодаря французскому золоту шведы войной грозят, нужно приготовиться, встретить их как следует. А тут вот ещё политическая путаница. У нас с цесарским двором давний оборонительный союз заключён, конъюнктуры общие в рассуждении турок и поляков, чтобы в узде держать, им силу укреплять не давать, — рассуждает про себя Остерман. — А тут этот несытый честолюбец Миних рассердился на цесарский двор за то, что он мир с турками заключил, когда он сам только что викторией заручился и на дальнейшую славу надеялся, взяв дело в свои руки на три месяца, да и заключил такой же союз с королём прусским, и ещё в такое время, когда прусский король решил на цесарский

двор напасть и Шлезию завоевать. Выходит, что по договору мы обязаны помогать союзнику против своего же союзника. Допустим, что выход из такой конъюнктуры всегда есть, — союз с Пруссией оборонительный, и мы можем и той и другой стороне предлагать добрые услуги, помощи же некоторой стороне не дадим; цесарскому двору станем указывать на шведские угрозы, а прусскому королю, как чинящему нападение, мы помогать не обязаны. Но Франция под рукой нам весьма злорадствует, хотя наружно всякую дружескую апаренцию оказывает. Она желает искони враждебный ей австрийский двор в ничтожество привести, прагматическую санкцию изорвать, земли габсбургские разделить и тем самой великую силу забрать. Для того она курфюрста баварского, короля сардинского и Испанию на цесарский двор напускает и прусские притязания поддерживает. Нам допустить таких притязаний никак нельзя! Нужно клониться к тому, чтобы Австрия в союзе с Пруссией французские диспозиты опровергнула. Но как Франция была посредницей в мире нашем с Турцией и гаран-

тировала его условия, то, ввиду шведского вооружения и желания Швеции сблизиться с Портою для общего на нас нападения, нам нужно всячески её менажировать и до явной злобы не допускать. Тут вот и надо подумать: как бы все эти инфлуансы на сторону своих конъюнктур перевести?..

Ну да теперь всё в моих руках, — думает Остерман. — Правда, в кабинете заседают ещё князь Алексей Михайлович Черкасский да граф Михаил Гаврилович Головкин, но это не такого рода люди, чтобы власть забрать могли. Для первого, известно, был бы хороший повар, а там ему хоть трава не расти, только его не трогайте! Ну а Головкин не то: это человек честолюбивый, очень честолюбивый! Видите, отец-то его, граф Гаврило Иванович, в кабинете первым человеком был, так и ему хочется по отцу идти; притом он и великой княгине-правительнице сродни и по Ромодановским[10]. Ну да где ж ему? Человек он болезненный, мнительный, к делу непривычный. Где ему работать?.. А не будет работать, не будет и управлять, всегда будет в руках работника. Всё придётся к Андрею Ивановичу

идти. Вот интриги разные подводить, на это он мастер! Хоть бы и теперь какую штуку выдумал, да ещё как хитро, первосвященного тут примешал да через Тимирязева и Менгден возьми и укажи правительнице: дескать, в манифесте о принятии правления она сравнена с Бироном, а в манифесте о престолонаследии пропущены её дочери. Виноват, дескать, Остерман. Он в пользу принца Антона бьётся, так нарочно, дескать, чтобы вызвать затруднения, пропустил. Да первый-то манифест не я и писал. Его писал Миних с своими адгерентами. Да и то: всё в одну ночь сварганили, где тут в каждое слово вдуматься. Манифест о наследстве, правда, писал я, но меня тоже торопили; Бирон чуть не на шее сидел. Потом, когда я писал, так дочерей у неё не было; да в нём и ссылка на завещание императрицы Екатерины есть, а там всё ясно высказано. Кажется, не о чем бы и рассуждение иметь! Я ровно не виноват ни в чём. Так нет! Все валят на меня, всё я виноват, все ко мне! Ну да ничего, мы отстоимся!.. Эх, не так бы я дело повернул, если бы принц Антон был хоть немножко потолковее, а то... Ну как, ка-

жется, не понять, что коли хочет православным царством заправлять, то и самому нужно православным сделаться. Этим он вызвал бы в русских сочувствие, стал бы им своим, и они бы стали стоять за него. Можно бы было потешить духовенство; отдать ему его имения в полное распоряжение или там что-нибудь да разослать десятков-другой тысяч по монастырям. У него образовалась бы партия, создалась бы сила. А то мямлит, мямлит; то того хочет, то другого боится, а дела нет! Не то такую штуку выкинет, что руки опустишь. Вот обрадовался, что жена Миниху отставку подписала, вздумал с барабанным боем по улицам объявлять, будто победу какую празднует. Миних справедливо обиделся. И вышел скандал, пришлось извинения просить, а потом того же Миниха бояться и прятаться, пока тот на остров не переехал и потом в свою Гостилицу не уехал; говорит: «Каналы рыл, крепости строил и брал, указы на целую империю писал, не одно ведомство устраивал и управлял, а теперь — репу сажать иду».

Рассуждая таким образом про себя, граф Андрей Иванович Остерман пересматривал

проект дополнительных статей к союзному трактату с Австрией, заключаемых между царским и саксонским дворами и Россией, по инициативе графа Линара, но согласно мнению графа Остермана и в прямое противоречие предположениям графа Миниха, находившего более соответственным интересам России союз с прусским королём, который удерживал бы шведов в их воинственных стремлениях.

«А дорого бы, я думаю, дал фельдмаршал, чтобы изорвать всё, что мы здесь пишем, и написать то же самое в пользу прусского короля, — думал Остерман. — Как уж он хлопотал, а не удалось-таки! — прибавил он с самодовольством. — Нашла коса на камень! А уж какой, кажется, орёл был! Граф Линар человек светский, блестящий, — он тоже работать не будет, поэтому Андрей Иванович и ему завсегда благоугоден будет. Он очень самолюбив, ну что ж? Мы самолюбие его будем разными цацами тешить, а дело будем все в своих руках держать. Правда, до тридцать пятого года у нас с ним по политике были не совсем гладкие счёты; но он дипломат, прошедшего

не помнит, а смотрит на будущее. По старым делам в чём можно уступим, а теперь всё же он ко мне благодарность чувствовать должен. Положим, не для него, а всё же я помог. А то бы как его сюда прислать, когда он по требованию нашего двора отозван был. Мог бы великую конфузию получить. Нам требовать тоже неловко было... А входит в силу, большую силу забирает, так что, пожалуй, принца Антона и поздравить можно». И Остерман едко улыбнулся.

Рассказывают, будто пошёл он гулять по Летнему саду, ну и гуляет; видит, что жена его с Менгден по дворцовому саду ходят, пошёл туда, — ходит. Только ни жены, ни Менгден нет. Верно, думает, они за решётку ушли, в третий сад, что к самой румянцевской даче подходит. Идёт туда, как вдруг перед решёткой, откуда ни возьмись, двое часовых и перед ним, генералиссимусом-то, штыки скрестили.

— Вы меня не знаете? — спросил он.

— Как не знать, ваше высочество! — отвечают. — Извольте быть генералиссимусом и шефом нашего полка.

— Что ж вы?

— Не приказано пускать никого, кроме тех, о коих наказ дан!

— А меня нет в наказе?

— Никак нет, ваше высочество!

Делать было нечего, пришлось сердечному скрепя сердце похвалить часовых за исправность и поворотить оглобли. Дело в том, что из сада-то в румянцевский сад калитка проделана, а этот флигель вместе с садом граф Линар нанял.

И Остерман характерно засмеялся.

Вошёл брат жены Остермана, генерал-майор Николай Иванович Стрешнев.

— А, здравствуй, брат Николай Иванович! Спасибо, что навестил. Я хотел посылать за тобой.

— Очень рад, братец, что нахожу вас в добром здоровье; а сестра?

— Слава богу! Хлопочет там по хозяйству; а моё здоровье — известно, хлопоты да дела. Я за тобой хотел посылать вот по какому делу... Надеюсь, ты не откажешь мне услужить? Слышал ты, какую историю о манифесте-то сочинили? Всё это, скажу тебе по конфиден-

ции, граф Михайло Гаврилович мины разные подводит. Съезди-ка ты к нему, поговори. Чего он хочет? Я всякое удовольствие готов ему сделать, чтобы нам только в союзе быть. А то оба ссору иметь будем, оба и провалимся. Теперь же нужно держать себя твёрдо. Новый инфлуент в силу входит. Этот будет, пожалуй, крепче Бирона.

— С удовольствием, братец! Только как прикажете: одному мне ехать или с братцем Василием Ивановичем? Они ведь нонче очень с графом Михаилом Гавриловичем сошлись. Вместе в каких-то грязях купаются.

— Что ж, съезди и Васю попроси. Скажи: очень и очень обяжете; сам отслужу.

— Так я сейчас еду, братец; заеду за братом и вечером ответ от графа Михайлы Гаврилыча привезём.

— С богом! До свиданья!

Стрешнев ушёл, а Остерман вновь начал перечитывать дополнительные статьи трактата.

«Да, если бы у меня под руками был такой военный человек, как Миних, — думал он, — тогда другое бы дело было, а то нет, реши-

тельно нет! Не на кого опереться. Ну вот Лесси и Кейт приехали. Генералы-то они хорошие, да иностранцы, по-русски ни бельмеса не смыслят и, ясно, в войске никакого инфлюанса иметь не могут. Нашего Альбрехта ребёнок кругом обойдёт. Прост уж очень. Даже и не подозревал, как Миних свою махинацию подводил, а ещё помощником его в Преображенском полку считался. Ну, да и чином мал. Принц гамбургский — трус! Апраксин на меня зверем смотрит, да и молод. Бутурлин — тот елизаветинец. Смотрит на неё, а у самого слюнки бегут. Вот Стрешневы, те свои и малые смышлёные, но тоже ещё в низших генеральских чинах обретаются, да и больших военных талантов в них незаметно. Разве Румянцева из Константинополя выписать? Тот генерал-аншеф, петровский служака. Несговорчивый, крутой человек... да и там нужен. Но делать нечего, пожалуй, придётся выписать, чтобы всем этим различным пропозициям конец положить. А то вот осенью Миних опять приедет. Его сын, Юлиана и все эти миниховцы начнут хлопотать и, чего доброго, отставного фельдмаршала с графом Линаром

сблизят. А не то, пожалуй, цесаревна Елизавета... Да, ей замуж пора! — твёрдо сказал себе граф Андрей Иванович. — На что это в самом деле похоже: русскую великую княжну, дочь Петра Великого, до тридцати двух лет в девицах держать и только сказкам разным повод давать. Нужно внушить это принцу Антону; пускай почаще твердит жене, а я с своей стороны и графу Динару объясню: «Дескать, непригоже им, что про тётку их двоюродную, такого великого государя дочь, разные басни ходят по городу. Говорят — не хочет. Как не хочет? В политике этого не можно. Ну, в монастырь ступай, коли не хочешь! А то ведь голштинец-то жив; через три года ему шестнадцать лет минет, стало быть, и без регента может управлять. Найдётся, пожалуй, кто-нибудь из этих елизаветинцев посмышлёнее да посмелее, такую штуку выкинут, что и не опомнишься! Лучше Миниха, пожалуй, комедию сыграют! Недаром Бирон последнее время всё с ней заигрывал да в конфиденсы входил, уж тут что-нибудь да было. Нужно отделаться, и поскорее отделаться! Удивительная беспечность этих людей! Им что ни говори,

на всё спустя рукава смотрят, всё мимо ушей пропускают. Ну, как бы, кажется, об этом не подумать? Вот у принца Антона есть брат Людовик, чем не жених? Его можно выбрать в курляндские герцоги. Я, кстати, рекомендовал поговорить по этому вопросу с польским королём, и Август прямо указал на него. Вот и поезжай, голубушка, в Митаву. Там верти голову кому хочешь и смейся сколько душе угодно, мы не помешаем».

В то время как Остерман рассуждал таким образом, во дворце цесаревны Елизаветы происходила большая суэта и возня. Под предлогом рождения у великой княгини-правительницы дочери Екатерины, чтобы быть ближе к дорогой родительнице, жившей в своём Летнем дворце, она назначила переезд из своего летнего помещения, где теперь Смольный монастырь, в свой зимний дом у Летнего сада. А в доме далеко не всё было в порядке, поэтому там чистили, мыли, убирали. Нарышкин ходил по дворцу сам и хлопотал, чтобы к приезду цесаревны хотя в собственных покоях её было всё на месте.

Экипажи у Смольного двора были уже го-

товы, чтобы цесаревне ехать. На дворе и у ворот собралось множество гвардейцев, особенно преображенских гренадеров из находившихся вблизи казарм, провожать и проститься с любимой ими цесаревной. С солдатами было много их жён и детей, крестников цесаревны. День шёл уже к вечеру, когда сквозь эту толпу с трудом проехали экипажи к крыльцу дворца. Цесаревна, прекрасная, стройная, с светлым взглядом и ласковой улыбкой, вышла на крыльцо, хотя видно было, что её гнетёт какая-то мысль. Она была очень задумчива. Солдаты встретили её восторженным «ура!».

— До свидания, дети, — сказала она им, — я буду часто приезжать к вам; ведите же себя хорошо и скромно.

— Рады стараться! — гаркнули солдаты. — Желаем здравия и счастья!

Елизавета не ограничилась своим приветствием и стала обходить толпу, заговаривая почти со всяким, лаская детей и приветствуя добрым словом солдаток.

— Матушка ты наша! Сердечная! Желанная! — кричали солдаты. — Когда же нам за

тебя постоять придётся? Мы все как есть готовы умереть за тебя!

— Тише, тише, дети, ради бога молчите! Не делайте себя несчастными! Пожалейте малюток, детей своих, не губите и меня. Ещё время не пришло, когда придёт, я вам заранее пришлю сказать.

— Матушка, — сказал старый, усатый гренадер, — слушаем тебя, ждём; только вот швед, говорят, войной идёт. Может, прогнать его и нас пошлют; а уйдём мы, с кем ты-то останешься, кто беречь-то тебя будет? Прикажи, родная, вот хоть сейчас на пытку — не выдам; вели идти — один пойду, стало, не за себя, а за тебя боюсь.

— Тише, тише, Вахрамеев, что ты! Бог милостив! Не губи себя! Для жены и детей своих себя побереги; видишь, сколько у тебя: мал мала меньше. Вот вы меня жалеете, так ты думаешь, мне вас не жалко? Да я, кажется, не перенесу, если что с вами случится.

— То-то и есть, матушка, — заговорили кругом солдаты, — жалеючи нас, ты себя не жалеешь. Будто мы не видим, какое житьё-то твоё. А ушлют на войну, без нас-то и невесть

что с тобой сделают.

— Молчите! Молчите! Авось, Бог даст, уладится. Я пришлю, сказала — пришлю! А пойдёте на войну, не убейте моего племянника. Помните: он родной внук вашего государя, родной внук великого Петра, который создал вас, образовал и всюду побеждал с вами; поберегите его!

— Будем всеми силами беречь, матушка! Только бы знать, где он.

Цесаревна подошла в это время к крыльцу, ещё раз простилась, делая привет всем своею маленькой, мягкой ручкой, села в карету и уехала, взяв в свою карету Шепелеву и Воронцова.

А премьер-майор Преображенского полка, стало быть в чине генерал-поручика армии, Альбрехт, проезжая в это время мимо Смольного двора и видя выходящих оттуда солдат, с усмешкой проговорил:

— Что это, цесаревна для преображенцев ассамблеи делает, что ли?

Он не придал, впрочем, ни сделанному замечанию своему, ни сущности самого факта ни малейшего значения. Остерман был прав,

когда говорил, что его обойдёт и ребёнок.

Между тем Стрешневы толковали с Головкиным о союзе, доказывая, что споры, вражда и интриги между кабинет-министрами повлекут за собой падение правительства, с чем непременно будет соединено и падение всех. Головкин шёл на компромисс с тем, чтобы Остерман, сохраняя полную власть по иностранным делам и флоту, оставил в полной от него зависимости внутренние дела. Уговорились и поехали к Остерману. Тот, поговорив об условиях взаимных отношений и дружеских действий ради общей пользы и сойдясь с Головкиным во всём, начал говорить о замужестве цесаревны Елизаветы; Головкин убедился, что Остерман прав; что для общей безопасности и укрепления правительства необходимо удалить цесаревну от преданной ей гвардии и для того, чтобы вместе с тем сблизить с Брауншвейгской фамилией, всего лучше выдать её за брата принца Антона, принца Людвигу Люненбургского, которого Остерман успел уже выписать и о выборе которого в курляндские герцоги уже начал дело. Согласившись с этим, Остерман и Головкин реши-

ли напасть со всех сторон, сесть, что называется, на шею, употребляя всё своё влияние и на принца Антона, и на правительницу, и на Юлиану Менгден, и на графа Линара; одним словом, устроить этот брак во что бы то ни стало.

Эту новость привезла к цесаревне от имени великой княгини-правительницы сестра вице-канцлера Головкина, вдова знаменитого генерал-прокурора Сената при Петре I Павла Ивановича Ягужинского, вышедшая потом замуж за бывшего нашим послом в Швеции Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, родного брата сосланного кабинет-министра Алексея Петровича, и родная сестра жены нынешнего генерал-прокурора князя Никиты Юрьевича Трубецкого Анна Гавриловна. Анна Леопольдовна поручила было сперва объяснить цесаревне эту её волю Левенвольду, но тот, зная, в какой степени такое сообщение огорчит Елизавету Петровну, от исполнения поручения уклонился. Тогда рассудили следующим образом. Михаил Петрович Бестужев-Рюмин выехал из Швеции за последовавшим объявлением войны. А как, по справед-

ливости, объявление Швецией войны относили к интригам французской дипломатии, а цесаревну Елизавету подозревали, что она к французскому посольству имеет более или менее близкие отношения, то и решили предоставить объявить цесаревне эту неприменную волю правительницы жене человека, который прежде всех пострадал от войны, лишившись назначения. И это было тем естественнее, что, по свойству своему с великой княгиней-правительницей, Анна Гавриловна Бестужева-Рюмина относилась к цесаревне враждебно и притом ещё, по прежним каким-то отношениям, питала к ней злобу. Поэтому она приняла на себя это неприятное поручение весьма охотно и передала его в самой жёсткой форме. С цесаревной от такой новости сделалась истерика. Анна Гавриловна видела её слёзы, плач, отчаяние и уехала, торжествующая, донести обо всём куда следует.

Разумеется, послали за Лестоком. Лесток явился.

— Что случилось? — спросил он у Воронцова, который, будучи дежурным, его встретил.

— Не знаю. Приехала эта ворона, Ягужинчиха, сказала: «От великой княгини-правительницы», разумеется, её впустили; она вошла, сказала что-то цесаревне, той сделалось дурно, начался плач, рыдание. Рюмина продолжала говорить, плач усилился. Я и послал за вами. Идите!

Лесток вошёл. Цесаревна плакала навзрыд, уткнув голову в подушку.

— Доктор, помогите мне! Убейте меня! Отравите меня! — с истерическими рыданиями, порывисто сказала цесаревна, когда Лесток подошёл к ней и взял за руку. — Я не могу, не хочу, я не в силах!.. Я лучше умру! Вы слышали? Бестужева приехала объявить, чтобы я готовилась венчаться с Люненбургским. Я не хочу замуж! Леопольдовна велела сказать, что она тоже не хотела, да её обвенчали же. Она может позволить с собою делать что хочет. А я не могу, не хочу! Без согласия невесты покойный отец не велел последнюю крестьянку венчать. Я не хочу, не могу! Ни за что не хочу!

И она горячо плакала и билась.

— Успокойтесь, прекрасная цесаревна,

полноте! Что делать? Я давно говорю, что нужно решиться, выбрать одно из двух: или царствовать, или повиноваться!

— Ах боже мой! Я только жить хочу! Пусть они царствуют, наслаждаются! Пусть они что хотят делают, я не мешаюсь! Я хочу только спокойствия и свободы... Чего же ещё им нужно от меня?

— Государыня, добрая, милостивая цесаревна, — сказал серьёзно Лесток, когда цесаревна несколько успокоилась, приняв данные ей Лестоком лавровишневые капли, и после того, как Лесток смочил одеколоном с водой её голову и дал подержать в руке тёртый хрен. — Высокое происхождение, предоставляя права, налагает и обязанности. Отказаться от выполнения этих обязанностей нельзя без самоотрицания. Вы не можете быть не тем, что вы есть! Вы дочь Петра Великого и останетесь дочерью Петра Великого, хотя бы и желали отказаться от прав, рождением вам предоставленных; поэтому вы должны принять и обязанности, с этими правами соединённые, или подчиниться всему, что из вашего отказа может произойти! А из вашего отка-

за происходит только бедствие, и прежде всего для вас самой. Что ж тут делать?

— Что вы говорите, доктор; и не грешно вам так говорить? Я ни от чего не отказывалась, ни в чём не противоречила; меня просто обходили! И за то, что я спокойно подчинялась их требованиям и начинаниям, они меня же давят! Ну разве можно мне предлагать в мужья таких лиц, как принц Людвиг? Сами они слепы, что ли? Или они думают, что у других ни глаз, ни понятия нет, когда сочиняют такие прекрасные проекты? А это всё старый злодей Остерман! Это всё его дело! Он думает, что может всех обманывать и, видимо, старается меня при всяком случае унижить. Он забывает, кто я и кто он! Забывает, что он всем обязан моему отцу, который вывел его из писарей. Но я не забуду того, что получила от Бога и на что имею право по своему происхождению!

— Но, ваше высочество, когда вы отказываетесь от ваших прав или, по крайней мере, не желаете ими воспользоваться?.. Помните, в прошлом году, летом, когда вы тоже переехали сюда, по случаю казни Волынского, мы

говорили с вами, и вы жаловались на то, как вас теснят, сколько случаев после того вы пропустили, чтобы взять то, что вам принадлежит? Смерть тётушки, перелом регентства, отставка Миниха — всё это были случаи, где вам стоило только сказать слово. Но вот вы упускаете и последний, уже подготовленный случай — шведскую войну...

Цесаревна перебила его:

— Где же упускаю? Но разве я могу принять их условия? Отдать им за сомнительную помощь всё то, что куплено моим отцом русскою кровью, что куплено потом и кровью моего отца... Разве я могу это? Разве не возненавидит меня за это вся Россия? Подумайте: уступить всё, что приобретено по Ништадтскому договору, это значит отказаться от главнейших последствий всех трудов моего отца! Отдать даже Петербург, где схоронен его прах? Это невозможно! Если бы я это сделала, я была бы не русская и действительно заслуживала бы все злодейства Остермана...

— Нет, они согласны оставить Петербург; они просят только Ригу и Ревель...

— Ни пяди из того, что приобретено моим

великим отцом! Могу уступить им Выборг, заплатить расходы, помогать во всём, но более... Вы не русский, доктор! Вы не можете себе представить того чувства народной гордости, которое лежит в груди русских от представления величия и славы нашей родины. Русские переносили и перенесут всякое тиранство, гнёт, крепостничество, произвол, насилие, даже царство иноземцев, но они не могут перенести и никогда не перенесут равнодушно унижения их дорогой родины, их любезного отечества!.. И чтобы я?.. Никогда! Никогда...

— Стало быть, нужно выходить замуж! Это гнёт, насилие, но вы сами говорите, что предпочитаете переносить... — хмуро начал говорить Лесток, но цесаревна перебила его:

— Да, я предпочла бы пожертвовать собою, чем отдать на растерзание, на уничтожение всё то, что сделано моим отцом! Вы видели, умела ли я переносить дерзость Меншикова, заносчивость Левенвольда, пренебрежение Долгоруких, высокомерие Бирона и лукавство Остермана. Сию минуту еду к моей племяннице, великой княгине. На коленях умолять

стану! Она дика, но добра. Ей самой и в голову не пришло бы меня мучить. Но советы Миниха, Остермана, оханье и стоны принца Антона, наговоры проклятой Жульки её смущают. Может быть, она меня и послушает, убедится... А нет — замуж за принца Людвига я всё-таки не пойду! Они грозят монастырём, я предпочту монастырь...

Лесток, видя экзальтацию цесаревны в направлении прямо противоположном его желаниям, замолчал.

Цесаревна стала излагать ему свои планы, если бы её мысли осуществились.

— Я никогда бы не позволила себе унижить Россию для моих личных целей и видов. Я женщина и могу быть доступна всем слабостям, всем ошибкам, но только как женщина. Государыня же должна быть выше слабостей, выше обыкновенных стремлений. Она должна отделить себя от своих страстей для счастья всех. Мой отец был тому живой пример. У него ли не было страстей, не было слабостей? Он и отдавался им, но только как человек. Там же, где вопрос касался России, касался государства, он везде и всегда говорил:

«Петру жизнь не дорога, была бы счастлива и долговечна дорогая ему Россия». На деле он доказывал это во всякую минуту. А мне, его дочери, предлагают разделить, растерзать эту дорогую ему Россию, отказаться от всего, что сделано им для её блага!

В это время раздались выстрелы с бастионов Петропавловской крепости.

— Что такое?

Цесаревна послала узнать.

Принесли известие о Вильманstrandской победе.

— И для этих-то союзников хотели, чтобы я изменила России. Для них, которые думали, что они, купленные чужим золотом, в силах стать лицом к лицу с войском, которое воспитал и которым предводительствовал Пётр. Они не поняли даже моего требования, чтобы при их армии находился мой племянник, герцог голштинский; не поняли того, что у всякого русского руки опустятся против крови Петра! Нет, дорогой мой доктор! Поезжайте к Шетарди, скажите, что я благодарю, очень благодарю его и его короля за участие... обещаю дружбу, помощь, деньги... но не уступлю ни

пяди русской земли, приобретённой моим отцом! Это моё последнее слово! Поезжайте! Бог захочет, пошлёт силу и помощь без союзников. Да будет воля Божия!.. Я еду к великой княгине-правительнице.

Выходя от цесаревны, Лесток встретил Разумовского.

— Поговорите вы... — начал было Лесток.

— Ны міего-то разума діло! — отвечал Разумовский, сторонясь.

Остерман в это время по желанию правительницы занимался составлением проекта о фиктивном браке между графом Линаром и Юлианой Менгден.

Граф Линар настаивал, чтобы потребовать цесаревну к допросу, так как с нескольких сторон приходили известия о её будто бы сношениях с французами и шведами, и во всяком случае истребовать от неё отречение от престола.

— К чему это послужит? — сказала Анна Леопольдовна. — Положим, она отречётся; а разве нет там чёртушки, как говорила тётушка, герцога голштинского; не она, так он будет заявлять свои права...

VI

Последователь философии пантеизма

Князя Зацепины, уволенные за границу для поправления здоровья, ехали по-княжески, в дормезе, в сопровождении кареты, коляски и двух курьеров, да ещё воза четыре шли за ними следом, со всеми принадлежностями их княжеского быта.

Молодой князь Андрей Васильевич был задумчив и скучен. Что тут ни говори, как тут ни объясняй, а он выбит из седла этим саксонцем. Его мучило самолюбие. Притом сквозь болезненное ощущение своего уязвленного самолюбия ему рисовался ещё облик беззаветно преданной ему Гедвиги. Он пожертвовал этой девушкой, пожертвовал своим чувством ради самолюбивых грёз, — и эти грёзы его обманули. Само собой разумеется, не влюбился же он в принцессу? Да, но всё же досадно!

Это понимал и его дядя, Андрей Дмитрие-

вич, и старался всевозможным образом его развлекать. Дядя не знал ещё, что печаль молодого человека двоятся между оставленной любовью и оскорблённым самолюбием. Он приписывал всю грусть только одному самолюбию. Но как человек гуманный и опытный, знающий по себе, что значит оскорблённое самолюбие и разрушенные грёзы, он постоянно занимал его мысли представлением новых предметов, которые должны были останавливать на себе его внимание, постоянно старался вызвать его любопытство.

В Вильну они приехали в то время, когда вся литовская знать была взволнована известием о конфедерации, о которой заявил коронный гетман, граф Потоцкий. Стараниями воеводы графа Ржевусского и коронного канцлера графа Понятовского эта конфедерация была разрушена; тем не менее смута, произведённая одним слухом о конфедерации, дала повод князю Андрею Дмитриевичу указать своему племяннику на все недостатки польского самоуправления.

— Люди не ангелы, мой друг, — говорил князь Андрей Дмитриевич, — и нельзя требо-

вать, чтобы они были ангелами. Поэтому в установлениях людей должны быть ограничения, взаимные обеспечения, условия, которые останавливали бы дикость и произвол; должны быть такие условия, которые смиряли бы и отстраняли всякую несоответственность. Нужно, чтобы самая жизнь, лучше сказать, элементы жизни не допускали того, чего не должно быть. Здесь, напротив, все элементы жизни, будто нарочно, поставлены так, что они ведут только к несоответственности и несообразности. Будто старались прийти не к тому, чтобы капитал помогал труду, труд поддерживал капитал, а род уравнивал взаимное стремление эксплуатации труда капиталом, а капитала трудом, а наоборот; будто о том только и думали, как бы сделать так, чтобы капитал мог эксплуатировать и род, и труд, чтобы род мог грабить капитал и давить труд, а труду оставалось бы только или разбойничать, или умирать с голоду. От такого рода порядков здесь идут рука об руку, с одной стороны, непомерная роскошь и чрезвычайные богатства разных магнатов, произволу и насилию которых нет узды и которые пе-

реходят иногда пределы самой необузданной фантазии; а с другой — бедность, страшная, поразительная, возмущающая. Ты смеялся, помнишь, когда в Подберезье мы спросили: «Далеко ли до Кейдан?», и нам отвечали: «Было прежде четыре мили, а теперь три». — «Как же это? — спросил ты. — Другую дорогу провели, что ли?» — «Нет, — отвечали нам, — дорога та же осталась, только прежде на ней стояло три столба, а теперь пан велел только два поставить и за три мили считать, чтобы ближе на заделье ходить было!» Это тебе образец самодурства здешних панов, самодурства, неумеряемого ни законом, ни обществом, ни образованием и готового идти прямо против логики. Если прибавить к этому царство жидов, сохраняющих своё самобытное управление и составляющих государство в государстве, и знать, как эти жида выжимают последний грош у труженика-крестьянина и надувают на последний хутор мотающего пана, то, при общем своеволии и безурядице, можешь себе представить, что такое Речь Посполитая, то есть нынешняя Литва и Польша, где всякое государственное отправление,

признанное необходимым королём, сенатом, даже народными представителями, может быть не допущено до осуществления последним шляхтичем и где этого же самого шляхтича может безнаказанно отдубасить палками первый магнат, которому придёт это в голову. Ты, впрочем, увидишь всё это сам. Вот мы завтра едем к Тышкевичу. Увидишь, что он встретит нас какою-нибудь самой дикой, самой невероятной выходкой, которая, разумеется, докажет его богатство и вместе с тем совершенную дикость и необузданность; между тем Тышкевич, представь себе, человек весьма образованный и приятный.

И точно, на другой день, не доезжая версты с полторы до Червонного Двора графа Тышкевича, их встретило множество людей и лошадей. Начальник этой ватаги, управляющий Червонным Двором, от имени графа подошёл к князю Андрею Дмитриевичу и заявил, что граф, узнав о приезде их сиятельств, выслал к ним навстречу сани, так как у него в Червонном Дворе теперь зима и ездить на колёсах нет никакой возможности.

— Как зима? Да ведь теперь май месяц? —

спросил Андрей Дмитриевич.

— Точно так, ясновельможный, сиятельный пан, — отвечал управляющий, улыбаясь. — Извольте сами видеть: снег кругом лежит!

И он указал на белеющуюся среди леса дорогу, которую Тышкевич, любящий до безумия подобные дикие сюрпризы, приказал засыпать солью.

Разъезжая по такого рода субъектам и знакомясь с положением страны, её законами и бытом, князь Андрей Дмитриевич старался развлечь своего племянника, возбудить его любопытство и занять его воображение. Проезжая Дрезден, он представил его королю Августу III, знаменитому тем, что у него была целая комната париков.

Вообще насколько племянник был грустен и задумчив под влиянием оскорблённого самолюбия, обманутых надежд и разбитого чувства, настолько дядя был весел и оживлён. Он чувствовал себя опять в Европе, среди обычаев, когда-то им усвоенных и от которых в течение семнадцати лет он не успел ещё отвыкнуть. Он встречал людей, интересующих не

одними придворными сплетнями, думающих не только об игре в карты. В Лейпциге он познакомил племянника с тем самым Винклером, рассказы об опытах которого графом Линаром его так заинтересовали. Андрей Васильевич сам видел эти опыты, сам делал их и сознал, в какой ещё степени ему много нужно учиться.

Оживление Андрея Дмитриевича особенно стало заметно после того, как, проехав Лотарингию, они въехали в границы коренной Франции. Андрей Дмитриевич просто помолодел. Перед ним сами собой возникали воспоминания молодости. Он вспоминал свою жизнь в Париже, прелесть и образованность тамошнего общества, блеск и роскошь двора. Он рассказывал племяннику эту жизнь; говорил, как интересуются там успехами наук, новыми открытиями, всеми родами искусства; рассказывал свои предположения о том, куда он надеется свезти племянника, кому представить; вспоминал тех, которые сошли уже со сцены света. Своим оживлением он часто заставлял племянника забывать своё огорчение от неисполнившихся надежд.

Не доезжая Парижа, они должны были пересечь реку Сену. Андрей Дмитриевич вспомнил маленькое местечко, которое они тогда проезжали, вспомнил, что он в молодости провёл здесь несколько летних недель в семье Куаньи. Пришло ему на память и смешное происшествие: однажды, думая встретиться с маркизой, он пошёл в рощу, подходящую к самому берегу Сены, и как вместо маркизы попал на её купающуюся горничную, красивую субретку, которая, впрочем, не была к нему слишком строга. Под влиянием этих воспоминаний он захотел выкупаться и предложил это племяннику. А день был жаркий, и хотя время было к вечеру, но солнце так и жгло. Был июнь месяц, и июнь в Средней Франции. Андрей Васильевич принял предложение дяди с удовольствием, и они вместе погрузились в воды Сены и долго наслаждались её освежающей влагой.

Но, купаясь, Андрей Дмитриевич забыл, что его племяннику нет ещё двадцати лет, а ему уже за пятьдесят; забыл, что племянник, верно, не раз купался в прошлом году даже в холодной Неве, а он не купался уже около

двадцати лет. Поэтому, смеясь и болтая, он вдруг почувствовал сильный озноб. Он вышел из воды, оделся, но согреться не мог. Озноб не давал ему покоя, и он приехал в Париж в лихорадке, больной до того, что в приготовленный им заблаговременно на бульваре Маделен отель, который занимал некогда знаменитый Колиньи, его внесли уже, под присмотром племянника, на руках.

— Напрасно ты беспокоишься, мой друг, — сказал Андрей Дмитриевич племяннику, — как-нибудь и без тебя уложили бы. Ну, а ты хлопотал; тем лучше, тем лучше! Благодарю, сердечно благодарю! Смешная вещь, — говорил он, когда его уложили и обставили кругом со всем изяществом его княжеских привычек. — Неужели я приехал в Париж для того, чтобы здесь умереть? Не правда ли, друг Андрей, ведь это было бы совсем глупо? Умереть с несравненно большим удобством я мог бы у себя в Петербурге на Мее или, ещё лучше, в моём Парашине, под Москвой. Ты не был у меня в Парашине, Андрей? Жаль! Прелесть что за место! На Пахре, и с огромным, раскинутым перед глазами лугом. Дом вы-

строен в итальянском стиле. В углу римская башня — это вход, как бы остаток древности. Затем анфилада зал — это приёмные. Фасад скопирован с дворца венецианских дождей; знаешь, прихотливо-готический стиль Возрождения. А потом, вправо и влево, жилой дом нового итальянского искусства, с террасами, верандами, выдающимися балконами, с видом на Пахру, на обширный покатый луг, оттеняемый в разных местах рощицами из лип, ив, клёна и наших пихты и сосны и окаймлённый киосками и павильонами в разных стилях, можно сказать, буквально залитыми цветами. А там, вдали, село с церковью и золотыми колосьями возделанных нив. Чудо как хорошо моё Парашино! Люблю я его! Оно напоминает мне свою прежнюю хозяйку. В прошлом году только на месте одного из киосков, в конце луга, я устроил ферму и выписал из Швейцарии коров. Оно так красиво должно выходить, когда по лугу ходят эти большие, полные, холёные коровы и звенят своими колокольцами. Думал было нынче летом там жить и пить их здоровое молоко, да вот ты меня соблазнил поездкой в Париж, я и

приехал. Согласись, что будет смешно, если я приехал, чтобы здесь умереть?

— Какой тут смех, дядюшка, будет очень грустно.

— Ну грустить-то очень будет нечего, — перебил его Андрей Дмитриевич. — Умирать, рано ли, поздно ли, всё-таки придётся; только зачем же умирать не дома? Странная вещь, — продолжал Андрей Дмитриевич в промежутке между пароксизмами лихорадки, припоминая свою счастливую молодость, — в то время когда, полный сил и надежды, я был настолько далёк от смерти, насколько может быть далёк двадцатидвухлетний, вполне здоровый молодой человек, я, при всех своих странствиях, думал, что умру непременно в Париже. Помню даже, что однажды мы с Куаньи и графом Лозеном как-то летом после ужина, который давал нам Мопу в своём загородном домике в Бельвиле, разгорячившись от вина и общего разгулья, чтобы освежиться, пошли в Париж пешком. Теперь Бельвиль почти уже слился с Парижем, там, говорят, построили фабрик и сделали из прелестного, чистенького местечка грязнейшее городское

предместье. Тогда было не то. Бельвиль был совершенно отдельный городок на берегу канала в Сен-Дени, представлявший одну из живописнейших окрестностей всемирной столицы цивилизации. Идя оттуда и любуясь красивыми пейзажами, которые являлись нам один за другим, будто в панораме, мы зашли на вновь устроенное кладбище. Нужно тебе сказать, что кладбищ в Париже до того не было вовсе. Всякий хоронил своих покойников где хотел. Разумеется, больше хоронили при церквях, но хоронили также в садах и даже во дворах в черте города. Нашлись новаторы, горячо восставшие против такого порядка. Они доказывали, что нельзя мёртвыми отравлять живых, и доказывали это научным образом положительно. Успехи химии дали им к тому способы. Молодёжь, разумеется, стала на сторону новаторов. А как новая мысль об устройстве кладбищ была весьма выгодна духовенству, то она и от него встретила сильную поддержку. Под самым Парижем, на высоком холме, стоял прекрасный загородный дом духовника Людовика Четырнадцатого, отца Лашеза. От дома к Парижу, по скату горы, шло

принадлежавшее ему же поле. Отец Лашез был уже очень стар и, говорят, в молодости был очень и очень небезгрешен, особенно по части прекрасного пола. Думая заслужить отпущение своих грехов, он пожертвовал часть этого поля под кладбище, долженствовавшее устроиться на новых основаниях, проповедуемых новаторами. Место было выбрано превосходное. Оно лежало на скате холма к Парижу. Город с этого ската был виден как на ладони; высокие окрестности рисовались вдали. Порядок был установлен беспримерный; устройство, можно сказать, образцовое. Несмотря, однако ж, на удачный выбор места, прекрасное устройство и порядок, французы не хотели на нём хоронить своих покойников, и кладбище стояло почти пустым, ограждённое со всех сторон, разбитое на кварталы, обсаженные деревьями. Посреди него стоял только один памятник, именно виконту Лозену, убитому на дуэли д'Егриньоном и которому поэтому духовенство отказало в похоронах при церкви. Граф Лозен уговорил нас зайти полюбоваться памятником, поставленным над могилой его дяди. Мы пошли. Среди цве-

тов и зелени, в беседке из дикого винограда, перевитого каприфолиями, стоял этот памятник, изображающий уязвленного Ахиллеса. Перед памятником, тоже вся в цветах, стояла полукруглая мраморная скамья, а перед нею мраморный столик. Всё это было поставлено так, что нельзя было не прийти в восторг от красоты места, от памятника, действительно артистически исполненного, наконец, от уютности и прелести помещения скамьи с её столиком, где так удобно было предаваться благочестивым размышлениям. Но нам, молодым сорванцам, благочестивые размышления, разумеется, не пришли и в голову. Мы решили, что на этой скамье, за изящным столиком, перед великолепным саркофагом и прелестью картины раскинувшегося перед нами Парижа, следует почитать одного из Лозенов продолжением пира Мопу. Мы решили освежить воспоминания о павшем, выпить за своё здоровье и счастливые похождения на том свете, ввиду эмблемы, олицетворяемой памятником. Задумано и сделано. Мы сыскали свои экипажи, и через несколько минут на кладбище явились ящики с вином и фрукта-

ми, корзины с закусками и десертом. Раздались шумные возгласы и тосты, смешивающие печальные воспоминания о прошлом с надеждами на будущее. Запылала жжёнка. Мы дали себе слово дожждаться во что бы то ни стало того заветного часа, когда, по заверениям бабушек-старушек, по всем кладбищам разгуливают привидения, желающие хоть одним глазком взглянуть на здешний мир. Разумеется, привидений мы не дождались, тем не менее разгульно и весело провели ночь, рассуждая о смерти и о том, что будет с нами там и что будет здесь после нас. Мы все были, говорить нечего, порядочные вольнодумцы и большие приятели с Вольтером, слава которого тогда едва возрастала, но который умел уже ловко шутить над патерами. Впрочем, если я не умру, то мы с тобой съездим к мадам Шастле в Сирей, во-первых, чтобы пить шампанское в самой Шампани; а во-вторых, чтобы познакомиться с парочкой, которую составляют первый остряк и безбожник в мире и первая последовательница философии, основанной на изучении точных наук, первая барыня-математик. Это стоит того, чтобы сде-

лать несколько десятков лье.

Рассказ Андрея Дмитриевича был прерван самым сильным пароксизмом лихорадки, который ещё усилился от принятого лекарства, почему Андрей Дмитриевич приказал все склянки с лекарствами выкинуть за окно.

— Так лучше, — сказал Андрей Дмитриевич. — Зачем я стану пичкать себя лекарствами, которые не помогают?

По миновании пароксизма он продолжал:

— Таким образом, пировали мы на пустом кладбище, забавляя друг друга разными рассказами из царства мёртвых. Куаньи рассказал нам, как один из его прадедов, казнённый шведским королём, к которому он поступил на службу, принёс наутро в подарок своему сыну в Париже свою голову. Сыну в этот день минуло ровно шестнадцать лет. Он давно не получал известий от отца. На этот день он ждал писем и, разумеется, отцовских подарков. Только перед утром он крепко заснул и видит: входит отец в шлеме и с опущенным забралом. В руках у него корзина. «Я не забыл прийти к тебе с подарком, мой дорогой сын, — сказал он. — Вот возьми и поминай от-

ца в день твоего рождения». Сын обрадовался, раскрывает корзину, а там отцовская голова... Он проснулся и после узнал, что именно в этот день и час голова его отца была отрублена в Стокгольме на эшафоте. Вольтер, когда ему рассказывали эту историю и сказали, что сын воспитывался в это время в иезуитском коллегииуме, выразил сомнение, не есть ли этот сон и эта голова искусное воспроизведение иезуитов, которые, зная о назначении времени казни отца и пользуясь наркотическими средствами, вызвали в сыне тот прерывчатый сон, после которого человек не помнит себя, и просто-напросто разыграли перед ним интермедию, которую после тот думал, что видел во сне. «Распространение суеверия составляет один из элементов их власти, — говорил Вольтер. — Удивительно ли, что они воспользовались таким подходящим случаем к приобретению себе верного адепта?» Но против этого замечания, переданного также Куаньи, крепко восстал Лозен. Он доказывал возможность взаимного сообщения родственных душ даже после смерти и напомнил самому Куаньи случай из преда-

ния в их роде, по которому один из его предков, умерший ста двадцати лет от роду, обещал приходить с того света всякий раз, когда будет угрожать какая-либо чрезвычайная опасность их роду, и исполнил это обещание накануне Варфоломеевской ночи... «Я этому тем более верю, — говорил Лозен, — что твой отец говорил, что он сам видел этот красный крест, поставленный предупреждающим предком, которым охранялись твои прадед и дед, бывшие тогда протестантами, от всеобщего избиения. В нашем роде, — продолжал Лозен, — тоже существует предание, по которому знаменитость его прекратится от убийства последнего члена нашего рода своим собственным кучером, но убийства не тайного, а всенародного, представляющего вид легальности, оправдываемой противоположностью начал и понятий между кучером и седоком, то есть естественной завистью, питаемой кучером к седоку»[11].

Слушая эти рассказы, я должен был тоже рассказать что-нибудь в этом роде. Мне пришло в голову рассказать о завещании нашего предка Ярослава Мудрого, по которому толь-

ко те отрасли его славного рода нашего будут цвести и множиться, которые сохранят верность родовым началам, сопряжённым с идеей служения народу и защиты его прав.

Лозен и Куаньи расхохотались над правами народа как бешеные.

«Какие такие права народа? — спрашивал Куаньи. — Права городов, парламента, аристократии — это так! А права народа?.. Это просто фраза новой философии женевца — фраза, не имеющая смысла. Народ везде народ. В свободной Греции и цезарском Риме, как и в королевской Франции, одинаково были илоты, плебеи и рабы, какие же у них права?»

«Первое право народа, — смеясь, говорил граф Лозен, — быть битым».

«Второе, пожалуй, неоспоримое право: служить своему господину, пока тот не прогонит!» — прибавил от себя Куаньи.

«А третье: работать, пока не возьмут всего заработанного».

«Или неотъемлемое право: пользоваться своею женой, пока её не потребуют к сюзерену».

«А самое важное право, — вскрикнул Лозен, — жить и дышать, пока не повесили».

И молодые люди хохотали искренно.

«Нет, господа, по нашему родовому закону русских князей это не так! — отвечал я. — Нам дали власть, дали силу, дали деньги, родовые преимущества за то, чтобы мы служили и оберегали народ. В этом смысле родовое начало должно служить противовесом гнету богатства, то есть ограничением стремлений наживы во что бы то ни стало. Наслаждения, доставляемые богатством, и та сила, которую оно создаёт, разумеется, должно вызвать во всех общее желание нажиться, разбогатеть во что бы то ни стало, и разбогатеть как можно более и сколь возможно скорее. При таком общем стремлении, разумеется, нет места ни великодушию, ни благородству чувств, ни общественной заслуге, если эта заслуга не будет материально оплачиваться. Все будут готовы идти в ростовщики, кабатчики, откупщики и другого рода профессии, представляющие более или менее верную и скорую наживу, не разбирая средств. Все будут давить и грабить один другого, сколько хватит сил. Чтобы па-

рализовать такое общее стремление и вызвать не покупную заслугу, является род, в смысле наследственного права передачи не только одного накопленного богатства, но и заслуженного уважения. Тебе, разумеется, приятнее быть сыном герцога Лозена, чем какого-нибудь ростовщика или кабатчика; отними же это право рода, и мы все захотели бы быть детьми богатых ростовщиков. Но чтобы такое право было существенно, — должно быть заслуженное уважение, должна быть заслуга, перед кем же? Ясно, перед народом...»

«Что ты за вздор говоришь, князь, — возразил мне Лозен. — Какая тут заслуга? Мы победили, то есть пришли и взяли это стадо вместе с их землёй, купили их своей кровью. Поэтому мы имеем на них полное право жизни и смерти. Мы, то есть наши предки, предпочли оставить им жизнь, чтобы они нам служили и принадлежали с их плотью и костями. Какие же у них могут быть права?»

«У нас не было ни победителей, ни побеждённых, — с досадою отвечал я. — Мы один народ, одна семья, стонавшая некогда вместе под игом победителей и сбросившая с себя

вместе это иго...»

«Хорошо, — опровергал меня Куаньи, — но ведь у вас есть *крепостное право*».

«Да, пожалуй, как злоупотребление, заимствованное у вас же и у немцев. Оно было введено не нашим родом и отразилось страшными последствиями. Но дело не в том: московская линия нашего дома, как будто в осуществление слов, завещанных Ярославом Мудрым, когда в своём стремлении к самовластию нарушила преступными путями народные права и вольности, то исчезла с лица земли. Об этом стоит подумать, рассуждая о том, имеем ли и можем ли мы иметь сношение с не здешним миром».

Лозен и Куаньи замолчали, заметив, что возражение их я принял слишком близко к сердцу.

Так болтали мы на косогоре кладбища, с бокалами в руках, вспоминая умерших и желая всевозможных успехов живущим. А утреннее солнце всплыло уж из-за зелени окрестностей и осветило весь Париж. Утро было превосходное. Перед нами расстилалась панорама причудливых зданий нового Вави-

лона, с его дворцами, садами и чудными окрестностями, перерезываемыми серебряной лентой Сены. Внизу, слева, раскинулся цветущий Бельвиль; справа зеленели бульвары столицы; позади виднелась обсаженная цветущими яблонями и грушами дорога к аббатству Сен-Дени и сен-дениский канал, по которому на шестах тянулись длинные барки, торопившиеся доставить к утренним базарам провизию; а впереди синел сен-венсенский лес. Аромат цветов несло отовсюду. Нам было так хорошо, так отрадно тогда. Голова освежилась, несмотря на выпитые бокалы, грудь дышала свободно весенним утром, и мы в самих себе чувствовали отраду и радость.

«Господа! — вдруг воскликнул Куаньи. — Я нахожу, что французы очень глупы, что не хотят хоронить здесь. Я хочу, когда умру, лежать именно на этом месте. Я хочу думать, что и после смерти меня будет окружать тот же свет и зелень, тот же аромат и счастье, которым наслаждаюсь я теперь, пируя с моими друзьями. Я из Нормандии, там наш фамильный склеп. Но пусть здесь, в виду этого горо-

да...»

«И я тоже! — заявил Лозен. — Подле тебя и того, кто не хотел допустить ни одного слова, касающегося его чести, и заплатил за то жизнью, хотя у нас есть тоже свой семейный склеп в Бретани!»

«И я с вами, — прибавил я, — хотя там, на востоке, в Зацепинском монастыре, у нас тоже покоятся все Зацепины...»

Наш пир окончился тем, что мы все купили себе места на кладбище отца Лашеза. Не правда ли, очень странно? Я приготовил вперёд себе место успокоения, будто знал, что приеду сюда умирать, и даже когда прошли установленные пятнадцать лет, то внёс снова сумму, чтобы удержать за собой право на купленное место. Но я тогда был молод и не понимал отрады, которая заключается в мысли, что бранные останки наши будут лежать подле праха близких нам людей. Покупали себе места другие, купил и я. Молодёжь, как я говорил, сочувствовала новаторам в устройстве кладбищ. Нас утешала мысль, что и после смерти мы будем пионерами новой мысли. Теперь я не то думаю. Не хочу лежать здесь!

Подари, мой друг, моё право городу, а меня увези в Зацепино. Знаю, что смешно заботиться о своём теле, после того как замрёт в нём та жизненная струйка, которая создаёт из этого тела моё «я». Но потому ли, что, живши, стало быть носивши это тело, я успел настолько к нему привыкнуть и так полюбить, что не хочу, чтобы после меня оно было брошено — ведь привыкают люди к старым халатам и сапогам, — или, может быть, потому, что, живя в России, я снова почувствовал в себе ту родную струну, тот отклик русскому чувству, которые делали меня русским; но я желаю, чтобы над моей могилой шумела от ветра наша плакучая берёза севера; чтобы над ней раздавались звуки колоколов Зацепинской пустыни и чтобы прах мой, смешиваясь с прахом давно почивших наших предков, служил на удобрение родной, а не чужой земли. Поэтому ещё раз прошу тебя, друг, — сказал он, обратившись к племяннику, — если уж predetermined мне умереть здесь, то увези мой прах к себе, в Зацепино, и положи там подле костей моего отца, твоего деда, где, вероятно, захочет лежать и твой отец, мой си-

ятельный брат.

— Ну что, дядюшка, говорить о смерти? Бог даст, выздоровеете, и мы с вами успеем ещё полюбоваться на Париж с холма кладбища отца Лашеза! — отвечал Андрей Васильевич, стараясь в свою очередь разогнать печальное настроение духа своего дяди.

— Э, друг мой! Жизнь и смерть — дело условное. Обе они идут одна с другой под руку, и не узнаешь, где является одна и возникает другая. Всё рождается, чтобы умереть, а умирает, чтобы дать расцвести жизни. Пастух, закалывающий ягнёнка, чтобы не умереть с голоду, разумеется, не думает, что он совершает убийство, как не подумает о том медведь, когда ему достанется съесть пастуха. Одно, что неизменно, это время, а моё время уже прошло. Умру ли я здесь, окружённый чужими людьми, но с которыми тесно сближают меня мои воспоминания, или успею ещё раз взглянуть на моё Парашино с его панорамой на Пахру, заливными лугами, тенистыми рощами, вновь отстроенной изящной колокольней моего села и вновь возведённой фермой, — ничто не прибавится к массе прожитых мною

впечатлений и ощущений. Я буду чувствовать только то, что я уже знаю, что уже испытал и чувствовал, с тою разницей, что в повторении не будет уже ощущения свежести, не будет волнения новизны. Какую бы красавицу я ни встретил, какую бы благосклонность от неё ни заслужил, я не буду уже чувствовать того невыразимого трепета, той радостной надежды, которыми сопровождалось моё первое свидание с маркизой Куаньи. Во мне уже не закипит так кровь, не прольётся то бешенство страсти, которое охватило меня, когда шаловливая Шуазель, кокетничая и играя со мной, увлекла меня в грот наяд в версальских садах и, принимая вдруг на себя роль наивной постницы, вздумала мне заявить, что она шутила. Точно так же не ударю я из шалости рупором по начиненной гранате; не вздрогну от восторга, взглянув в море на восход солнца; не замлею от страстных надежд, ожидая мою молодую, скромную супругу, обвенчанную со мной тайком от целого мира. Прошлому уже ничему не быть. Всё это прожито, прочувствовано, перенесено. В будущем только холод, один холод, — всё равно:

жизни или могилы!

Андрей Дмитриевич задумался, но через минуту прибавил весело:

— А вот что, мой друг, хотел я тебе сказать. Отель этот, что нам приготовили, удобен и хорош, но не довольно изящно обставлен. Вещей замечательных и действительно изящных нет совсем, а, признаюсь, это мне вовсе не по сердцу. Съезди, пожалуйста, в Пале-Рояль. Там, говорят, теперь, под теми самыми комнатами, которые занимал когда-то Мазарини и где он в своих изнеженных кардинальских руках умел держать в страхе пол-Европы, — орлеанские прожектёры вздумали открыть базар редкостей. Страсть к наживе одолела всех, доказательство падения родовых начал. Принцы бросились в коммерцию, будто наши Толстопятовы и Белопузовы. Говорят, однако ж, что на этом базаре есть действительно редкие вещи. Несколько картин Леонардо да Винчи и Франческо; несколько работ Бенвенуто Челлини и антики; а главное, античная статуя Афродиты. Говорят, это та самая статуя богини Киприды, работы Фидия, в честь которой на островах Кипре и Са-

мосе жители приносили в жертву девственность своих дочерей. Взгляни и узнай! Если это так, то заяви о моём желании купить её. Пускай принесут и покажут. Я заплачу, чего бы это ни стоило. Говорят, там продаётся также статуя Геркулеса Фарнезского. У меня есть она, но копия, римской работы, сделанная по заказу Нерона. А тут будто бы подлинный греческий оригинал. Ещё, говорят, есть спящий Амур, тоже превосходной античной работы, времён Праксителя. Если приобрести две-три такие вещи да повесить несколько порядочных картин, то, по крайней мере, моя комната примет вид того изящества, которым я любил всегда окружать себя. Не знаю, почему многие, особенно у нас в Белокаменной, вздумали прозвать меня развратником. Какой вздор! Развратником я никогда не был! А, признаюсь, всего более в жизни любил красоту. Красоту природы, зданий, искусства и, разумеется, красоту женщины. Пусть же если уж суждено мне умереть здесь, то я умру, созерцая совершенные формы античного искусства.

Умереть, однако ж, Андрею Дмитриевичу

тогда было не суждено. Он поправился и представил племянника в свете: молодому королю, его тогда всесильной любовнице девице де Мальи, кардиналу, герцогам Орлеанским, Бофору и принцам Конде и де Конти. Графини Шуазель не было уже на свете, как не было на свете давно и герцогини Муши. Маркиза де Куаньи была аббатисою какого-то монастыря на юге Франции. Граф Мориц не оставил ещё своей мечты о Курляндии, хотя ему было уже за шестьдесят, и, покрытый ранами, полученными им сколько в сражениях, столько же и на дуэлях, представлял только одно воспоминание своего прежнего блеска. Он уехал в Саксонию с какими-то целями проведения своих видов. Ездил потом даже в Москву, был принят, но уехал ни с чем. Но это было уже после. Представителями общественной жизни были другие лица, другие деятели. Кардинал Флери, одряхлевший, нерешительный, опирался на молодого и способного статс-секретаря графа Шуазеля (впоследствии всемогущего министра и герцога), двоюродного брата покойной графини. С отцом его князь Андрей Дмитриевич был близко зна-

ком; неоднократно оказывали они один другому различные взаимные одолжения и услуги, но теперь отец его был больной, расслабленный старик и жил в своём замке около Пуату. Впрочем, граф от имени своего отца захватил к Андрею Дмитриевичу ещё во время его болезни и заверил в своём расположении и готовности быть полезным как ему, так его племяннику, с которым тут же познакомился и взял с него слово приезжать к нему обедать по вторникам. Большим влиянием и общим расположением пользовался тогда известный любезник и сердцеед маршал Франции и первый петиметр века, товарищ детских игр Людовика XV герцог Ришелье. Этого Ришелье князь Андрей Дмитриевич знал ещё почти мальчиком, которого ему случалось не раз выручать из его маленьких бед, и потому теперь он встретил в нём полную готовность служить тем же в рассуждении его племянника. Ещё был один старик, отнёсшийся к Андрею Дмитриевичу вполне сочувственно. Это был один из бывших статс-секретарей, обиженный новым двором и даже высидевший сколько-то времени в Бастилии и поэтому

бранивший всё и всех на свете, кроме хорошего обеда. Это был граф де Шароле. Он предсказывал падение французской монархии, объясняя правительственные ошибки тем, что дают слишком сильное преобладание капиталу над родом.

— Эти откупщики доходов, эти интенданты армии и поставщики двора — чистые кровопийцы, — говорил он. — Они наживаются за счёт народа и аристократии и потом над аристократами смеются, а народ жмут. Все эти банкиры из жидов, министры из челяди и генерал-провиантмейстеры из торгашей буквально разоряют Францию. Ну да что о том говорить!

Под влиянием такого рода бесед молодой князь Андрей Васильевич начал посещать коллегии, университет и слушать лекции учёных по истории, государственному праву, естественным наукам, математике и философии. Эти беседы не могли не оказывать на него громадного влияния, тем более что происходили между его дядей и людьми замечательно умными и высоко стоявшими в обществе.

Князь Кантемир Антиох Дмитриевич, бывший в то время нашим послом в Париже, человек весьма образованный, интеллектуально развитый и талантливый писатель, отнёсся также весьма сочувственно к приезду Андрея Дмитриевича. Узнав, что он приехал больной и лежит в постели, князь, не ожидая его выздоровления, сам заехал его навестить. Он привёз ему приглашение короля по выздоровлении явиться к нему в качестве кавалера ордена Святого Духа и дозволение представить племянника, которого, до исцеления дяди, взялся руководить в его занятиях. По выздоровлении своём Андрей Дмитриевич, разумеется, первым поехал к князю Кантемиру. Там собиралась не только французская знать, но, можно сказать, вся интеллигентная Франция. Там видел Андрей Васильевич знаменитого Монтескье, почтенного старца, «дух законов» которого впоследствии имел такое неотразимое влияние на Екатерину II; слушал последователей Боссюэ, между которыми особенным блеском выдавался тогда аббат Прево, и ознакомился с богословскими тонкостями проповедей Масильона. Но в то же время

среди всего общества там уже вошла в плоть и кровь естественная философия глубокого талантливого женевца, как называли тогда знаменитого Жан-Жака Руссо, который, впрочем, сам был в то время в Голландии. Эта философия подготовила уже умы к тому общему отрицанию, поднятому энциклопедистами, которое в близком будущем отразилось столь печальными последствиями. Д'Аламбер, Пирон, Кребийльон были постоянными посетителями в салоне русского посла. Здесь же, когда являлся в Париж из замка своей подруги и почитательницы госпожи дю Шастле, царил и Вольтер с его всеобъемлющим остроумием, едкой насмешкой над всем на свете и с тем талантом истинного художника, бьющего своим чудным словом всё, что представляло узость воззрений, противоречило гуманности, являлось рутиной предрассудков, как замкнутость, обскурантизм и отсталость. Андрей Васильевич, отдавая справедливость всему, что было истинно хорошего, не мог не увлекаться этим фейерверком остроумия, веселости, изящества, которое царствовало в этом обществе. В нём, незаметно для него са-

мого, начал развиваться тот анализ, который не принимает на веру ничего, что признает доступным изучению. Вместе с способностью анализа понятий не могло не явиться в нём и уважение к личности, не могло не явиться сознание человеческого достоинства, которое не может не уважать человека уже потому, что он человек. А такой взгляд не мог не представляться явным противоречием тем остаткам феодализма, тем заскорузлым понятиям сословности, которые были тогда господствующими в общем строе жизни французской аристократии, составляя как бы неизменный кодекс её условного быта. Андрею Васильевичу прежде всего начали казаться странными многие из обычаев французской аристократии, обычаи мелкие, ничтожные по существу, но бросающиеся в глаза именно своею сословностью и пустым чванством. Например, ему казалось очень дико, что секретарь или камердинер, посланный куда-нибудь баринном в карете, ни в каком случае не смел сесть на его место, а должен был сидеть на передней скамье. Он начал находить несоответственным и стеснительным, что светлые кафтаны во

Франции воспрещено носить не только купцам, но даже судьям, адвокатам и нотариусам или, например, что герцогиня не позволит себе стать рядом с торговкой даже на гулянье, даже в церкви. Он начал находить странным и то, что его дядя, князь Андрей Дмитриевич, никогда не говорит с прислугой и ни за что не дозволит себе приказать, например, своему выездному лакею подать одеться или камердинера поставить служить за столом.

Отвергая эти мелочные, ничтожные обычаи, исходящие из условности быта, он начал опять незаметно для самого себя усваивать ту силу отрицания, которая уничтожает, не создавая, отменяет, не заменяя, которая учит разгрому, но не содействует сооружению. Например, по развитому чувству гуманности он не мог не стать явным противником крепостного права. Он ясно сознавал и оценивал всю нелепость понятий, которые признают возможным оправдывать принадлежность человека человеку. Он говорил вместе с другими: рабство — это проклятие, оно недостойно человечества, недостойно христианства, — оно должно быть отменено. Но каким

образом? Что сделать для того, чтобы оно действительно могло быть отменено, и чем заменить порядок, который вместе с рабством исторически образовался в общественной жизни всех государств? Об этих вопросах Андрей Васильевич никогда не думал, поэтому, разумеется, не мог бы на них отвечать. Оттого и выходило, что, отрицая рабство и требуя его уничтожения, Андрей Васильевич весьма бы затруднился, если бы он тогда же вынужден был отпустить своего Фёдора и Гвозделома, к которым он привык и заменить которых в Париже ему было бы нечем.

Нельзя, однако ж, не сказать, что Андрей Васильевич вовсе не думал останавливаться только на отрицании, особенно в применении мысли к социальным вопросам устройства человеческих обществ. Ему хотелось бы раскрыть, выяснить сущность такого отрицания и прийти к выводам положительного знания. Он понимал, что общество в том виде, в каком оно было тогда во Франции, оставаться не может; но в чём оно должно было измениться и каким путём прийти к этому изменению, он решительно не мог себе даже

представить. Он инстинктивно чувствовал, что учению энциклопедистов чего-то недостаёт, видел, что это замечают сами энциклопедисты. Вольтер, этот, можно сказать, предводитель отрицания, бросился изучать Ньютона, как представителя науки точного знания. Ясно, что если бы не было такого рода точной науки, то не было бы и научного знания, не было бы вовсе науки. Но где же указания этой точной науки, этого положительно-го анализа в применении к вопросам действительности? В чём можно открыть истину взаимных отношений человечества в его общественном быту? Ответа на эти вопросы он не находил. Да и мог ли он найти их тогда, когда о вопросах социального характера никто ещё и не думал, когда единственный гуманист того времени, женевец Жан-Жак Руссо, вызывал против себя общее преследование. Но ни изучение положительных знаний, ни занятия философией и рассуждения об экономическом устройстве общества не отвлекли Андрея Васильевича от светской жизни и общественных удовольствий парижского большого света. В его характере, образовавшемся

самостоятельно в детстве, среди свободы ко- стромских лесов, было то упорство, которое с постоянством истинной твёрдости преследует раз усвоенную мысль. Он не забывал цели, для которой приехал в Париж: сделать себя способным к поднятию рода князей Зацепиных в политическом отношении. Для этого, понятно, ему нельзя было оставлять общества. Изучение и усовершенствование своего внутреннего «я» должны были идти рука об руку с приобретением тех внешних условий изящества, которые усвоить можно только среди светской жизни. Дядя в этом отношении был ему пример и опора, и он более и более с ним сближался.

После представления королю они оба были засыпаны приглашениями. Андрей Дмитриевич являлся везде с удовольствием и апломбом. Он принимался везде как представитель прекрасного прошлого и своею любезностью, умом и готовностью быть приятным решительно привлекал к себе всё общество. Князь Андрей Васильевич, молодой, ловкий, отважный и сдержанный, под его руководством также не мог не иметь блестящего успеха, что

очень радовало дядю. Он жил в нём, проходил с ним воспоминания прошлого. В ответ на все приглашения и праздники, которые давались в честь его, Андрей Дмитриевич решил и сам дать праздник. Этот праздник, по примеру прошлых времён правления принца-регента, отличавшего свои ужины нередко затейливыми названиями, он назвал праздником парижских роз. Это был праздник столь роскошный и изящный, что о нём целую неделю говорил весь Париж. Праздник этот удостоил посетить сам христианнейший король Людовик XV и протанцевал менуэт и две кадрили. Царицей роз на празднике была избрана формально объявленная фаворитка короля девица де Мальи. Роскошь расположения, изящество убранства, богатство и радужные угощения, любезность хозяев и непринуждённый тон, который они умели сообщить празднику при неисчерпаемом разнообразии удовольствий, произвели на всех чрезвычайно приятное впечатление. Все заметили, что Андрей Дмитриевич, живя в России, не потерял своего искусства принимать и угощать.

К сожалению, увеселения двора скоро на некоторое время должны были смолкнуть. Король был огорчён почти внезапной смертью де Мальи. Некоторое время он был неутешен, тем более что, молодая, прекрасная, она обладала всеми признаками совершенного здоровья. Смерть пришла к ней неожиданно, среди полного торжества и вихря удовольствий, вызванных беспредельной к ней преданностью короля. Говорили, будто она была отравлена. Но как бы там ни было, общество потеряло в ней заступницу и покровительницу всего, что клонилось к добру, пользе, что приносило благодеяние. Она не вмешивалась в политику и не делала из любви короля ступени для своего возвышения. Она жила и умерла скромной женщиной, которая скорее тяготилась своим официальным положением, чем гордилась им, и сносила его только по действительно сердечному расположению своему к молодому и блестящему королю, который её беззаветно любил.

Первое время, мы сказали, король был неутешен. Он перестал принимать доклады, прекратил все увеселения. Но мало-помалу

лёгкость характера короля, отсутствие глубины чувства и непривычка к уединению и самосозерцанию заставили его исподволь обращаться к прежним привычкам, и двор опять повеселел. Предметом новых исканий своих король избрал родную сестру умершей фаворитки, столь известную потом под именем герцогини Шатору. Само собою разумеется, что эти искания в то время, когда король олицетворялся в понятии французской аристократии солнцем, освещающим мир, безуспешными быть не могли. Но преемница прежней фаворитки лучше своей сестры понимала характер Людовика XV. Она видела, что противодействие распаляет его страсть, но что самолюбие его в свою очередь не прощает отказа. Поэтому она повела свою игру с ним весьма ловко. Не отклоняя его исканий и отдаваясь, казалось, вся на его произвол, она, то опираясь на несоответственность занять место родной сестры, то поддаваясь припадкам той робости, которую невольно ощущает скромность, постоянно отдавалась его великодушию и прикрывалась им. Этим она заставляла короля самого отказываться от того,

чего он так страстно добивался, и страдал от собственного своего великодушия. Такого рода манёвром, высказывая за его великодушие беззаветную благодарность, она довела страсть короля до исступления. Он всё забыл, думая только о том, чтобы быть подле неё, слушать её слова ласки и преданности и её мольбу о великодушной охране её от самого себя.

Была назначена большая охота в Сен-Жермене. Андрей Дмитриевич и его племянник были в числе приглашённых. Андрей Дмитриевич захотел явиться на королевскую охоту во всём блеске. Он вздумал соединить французское изящество и вкус с восточной роскошью и не жалел ничего для осуществления своего желания. И точно, он вновь заставил весь Париж говорить о себе и о своём племяннике; заставил говорить о своих егерях, доезжачих, экипажах, лошадях, собаках, попонах, коврах и ещё бог знает о чём; заставил сравнивать свою роскошь даже с королевской, и сравнение это, не по количеству, а по качеству, было не в пользу короля. Лошадей он выписал из Англии от своего приятеля,

лорда Дерби, завод которого в то время не имел соперников; экипажи были заказаны в Вене, великолепной постройки, с гербами князей Зацепиных, осыпанных драгоценными сибирскими камнями и вензелями из бриллиантов. Собаки были датские, превосходных пород. Егеря и прислуга были одеты в зелёный бархат, шитый серебром. Ковры, попоны, сбруя — всё это было превосходное, из персидских и индийских материй, осыпанное драгоценными камнями, украшенное золотом и серебром, из которого были сделаны даже подковы. Сам князь Андрей Дмитриевич и по его инициативе его племянник вместо охотничьего костюма решили явиться в русских мундирах. Дядя надел богатый вице-адмиральский, шитый золотом мундир, с бриллиантовыми украшениями орденов Андрея Первозванного и Святого Духа и с осыпанными бриллиантами портретами двух императриц. Племянник надел камергерский мундир, также богато вышитый, украшенный драгоценными камнями и обшитый тончайшими брабантскими кружевами. Звание камергера Анна Леопольдовна дала Андрею Ва-

сильевичу при его отъезде. Вообще, вся роскошь и блеск, которыми окружили себя князь Зацепины, не могли не произвести эффекта даже при великолепном французском дворе.

По желанию короля им, как приезжим знатым иностранцам, отвели первое место на охоте, подле царицы праздника, бывшей девицы де Мальи, обращённой уже королевским повелением в маркизу де Шатору. В этот день, после всех колебаний и откладываний, маркиза наконец согласилась назначить королю час, когда она должна будет совершенно отдаться ему. Король млеет от ожидания.

Охота началась, гнали оленя. Молодой князь Зацепин на своём английском скакуне почти не отставал от него, подгоняя оленя хлопаньем бича и ставя его прямо против короля. Но король был занят не оленем. Он подошёл к маркизе и, не зная, как спросить о её решении, подал ей свой брегет и просил её поставить стрелку на тот час, который будет счастливейшим в его жизни и на котором стрелка должна будет остановиться навсегда, чтобы напоминать ему о его счастье.

Маркиза вздрогнула, покраснела, но взяла брегет и робкой, слегка дрожащей рукой поставила стрелку на половине второго.

Король просиял.

Князь Андрей Дмитриевич, видя, что король не обращает внимания на охоту и что поставленный так искусно его племянником против него олень прорвёт круг и уйдёт, к стыду охотников, приказал спустить навстречу оленю своих собак. Собаки, увидя оленя, понеслись и залились. Они бежали позрячему... Олень, завидя собак, повернулся назад, прямо на Андрея Васильевича, и был им сбит ударом бича. Собаки не успели ещё наскочить на него, как лихой наездник, ловкий Андрей Васильевич, успел соскочить с своей лошади на всём скаку и проколол оленя насквозь своей шпагой. Убитый олень был мгновенно уложен к ногам короля и прекрасной маркизы в ту минуту, как последняя возвращала королю его брегет.

— Ваше слово сопровождается триумфом победы! — сказал король маркизе, подавая руку князю Андрею Дмитриевичу и приветствуя ласковым наклонением головы Андрея

Васильевича.

В этот день успех князей Зацепиных был полный. Никому не досталось столько дичи, сколько им; никому не удалось показать ни такой роскоши, ни такой удали, как им же. Князь Андрей Дмитриевич, выставляя здесь ловкость и отвагу своего племянника, решительно первенствовал своим изяществом, грациозностью, находчивостью и богатством. Первые красавицы двора умильно посматривали на него, несмотря на его за пятьдесят. Многие подносили букеты. Царица праздника маркиза Шатору признала его победителем. Король подарил ему свой портрет. Племянник его положительно всеми был признан одним из самых ловких и блестящих молодых кавалеров и решительно первым, по своей отваге и искусству, охотником. Андрей Дмитриевич торжествовал. Но это была последняя песнь лебедя.

VII

Две смерти

День отъезда короля из Сен-Жермена был сырой и холодный. Сильный северо-западный ветер гнал тучи с моря через всю Францию. Моросило, по временам шёл дождь. Громадное скопление экипажей произвело остановку при выполнении требований почтовых лошадей для возвращения в Париж. Почти на каждой станции им приходилось ждать. Князь Андрей Дмитриевич, одетый легко для охоты, в надежде на прекрасный климат Франции и летнее время, очень прозяб. Он вышел было из кареты на одной из станций, думая согреться, но в довольно изящной станционной комнате, как нарочно, было выставлено окно; что-то поправляли, и его охватило сквозным ветром. Да и дома под Парижем вообще строятся так, что в них вовсе неудобно отогреваться. Андрей Дмитриевич поневоле вспомнил матушку-Москву.

После своей болезни Андрей Дмитриевич

не настолько ещё окреп, чтобы быть в силах противостоять разрушительному влиянию холодной и сырой непогоды. И он опять приехал в Париж совершенно больной. Разумеется, немедленно съехались все медицинские знаменитости. От докторов не было отбою. Андрей Дмитриевич был почти без памяти, а Андрей Васильевич, уже ради успокоения своей совести, должен был руководствоваться их советами. Но это мало облегчало больного, может быть, именно потому, что, как говорят, у семи нянек всегда дитя без глазу. Доктора решили, что у него воспаление лёгких в осложнении с лихорадочным расстройством всего организма, и, согласно тогдашней системе лечения, назначили сильное кровопускание. От кровопускания князь Андрей Дмитриевич, истощённый излишествами жизни и предшествовавшей болезнью, действительно пришёл в себя, но до того ослаб, что признал сам, что дни его жизни должны быть сочтены. Ноги у него распухли, дышалось тяжело; ясность мысли иногда тускнела под влиянием какого-то миража, который был как бы вступлением в ту двойственность, на кото-

рую готовилась разложить его жизнь.

Между тем его непрерывно навещали. Не только заезжали к нему старые друзья, но решительно все придворные считали за обязанность навестить человека, удостоенного особой королевской милости. К нему заезжали министры, члены парламента, философы, поэты, дамы, даже актёры, хотя он вовсе не был пропагандист слияния сословий. Он был львом дня, и все хотели поклониться льву. Такое общее внимание очень льстило Андрею Дмитриевичу, но и очень его беспокоило, тем более что он считал себя обязанным на любезность отвечать любезностью, за внимание благодарить вниманием и принимал решительно всех.

Княжна Марья Дмитриевна Кантемир, старшая сестра посла, жившая у него в доме на правах хозяйки (посол был холостой человек), тоже сочла своей обязанностью навестить больного соотечественника, весёлость которого и игривый разговор так часто оживляли её гостиную. Она очень любила и уважала Андрея Дмитриевича. Может быть, к этому её уважению примешивалось ещё воспоми-

нание чего-то прежнего, чего-то такого, что она давно бы хотела забыть. И оно понятно. Уроженка юга, в семействе, в котором образованность, успевшая перешагнуть даже угасшую византийскую цивилизацию, считалась обязанностью, она отцветала и старилась в доме своего отца в Москве или в Дмитрове, маленьком городке, данном Петром Великим на прожиток её отцу, бывшему господарю Молдавии; тому самому господарю, на требование выдачи которого туркам после прутской неудачи Пётр отвечал: «Скорей полцарства до Курска отрежу, чем доверенности изменю». Никем не замечаемая и никем не ценяемая между этими грубыми и холодными москвитями, требовавшими тогда от женщины только достоинств самки, она и сама не обращала ни на кого внимания. Вдруг встречает она человека блестящего, европейски образованного, русского князя, воспитанного в Париже, поэтому могущего её понять и оценить то, что делает её непохожей на других русских женщин того времени. Удивительно ли, что этот остроумный, ловкий и блестящий князь произвёл на отцветающую

уже тогда деву неотразимое впечатление. И много бессонных ночей провела она, когда узнала, что он женился. Ведь он для неё был последним проблеском луча, дающего надежду.

Теперь княжна Марья Дмитриевна давно уже отбросила от себя все нежные мечты. Она состарилась и сознала, что она уже отцвела. Она понимала, что теперь всякое поползновение на что-нибудь более сердечное, более увлекающее будет только смешно, что теперь её жизнь может быть только исполнением христианской обязанности. Быть полезным брату, всюду распространять добро, везде приносить отраду — вот была цель жизни княжны Марьи Дмитриевны. Ей хотелось быть полезной каждому, хотелось благотворить всем, от парижского гамена до проигравшегося и прокутившегося в Париже её соотечественника.

Узнав, что её прежний идеал, предмет нынешнего поклонения Парижа, блестящий князь Андрей Дмитриевич лежит на смертном одре и, как вдовец, без всякого женского призора и единственно на попечении своего

племянника, почти ещё мальчика, она ту же минуту поехала к нему, из истинно христианского чувства, нельзя ли чем помочь, чем успокоить страдающего. Когда она приехала и увидела этого весёлого остряка и говоруна почти в состоянии безнадёжности, увидела, что он окружён всем, что есть изящного и дорогого в мире, но что в этом изящном и дорогом проявляется полное отсутствие всякой религиозности, отсутствие всего, что сближает с другим миром, что, как она верила, успокаивает, утешает и облегчает страшные минуты перехода в другую жизнь, — когда она это увидела, ей стало даже страшно.

«Как, — подумала она, — русский, православный князь и умирает, не исполнив последнего христианского долга, не очистившись перед Господом в своих грехах и помышлениях? Он погубит душу свою, и этот грех ляжет на нас. Умиравший никогда не чувствует, как он близок к концу. Мы должны позаботиться, чтобы прежде этого конца он имел утешение религии. Мужчины вообще слишком самонадеянны, слишком беззаботны. Это дело наше, женское. Наше дело уми-

лить его душу, приготовить, расположить... Наше дело направить его мысли так, чтобы он с тёплым чувством коснулся светлых истин, дающих отраду и успокоение».

Притом княжна, проведя детство своё в Константинополе между подавленными народностями Востока, привыкла к тому взгляду, который соединяет православную обрядность с палладиумом народного чувства. Подчиняясь всем условиям тогдашнего казуистического взгляда на православие, она с ужасом думала, что этот минувший идеал её души явится на том свете отщепенцем от верующих, будет отринут от лица Божьего. Но она не допустит этого. Она станет перед ним на страже православия. Если Богу было не угодно, чтобы она здесь, на этом свете, заботилась о нём, берегла и лелеяла его тело, то она позаботится о его душе, она устроит, чтобы переход его в тот светлый, беспечальный мир был спокоен и радостен и чтобы, представ перед престолом Божиим, душа его чувствовала ту отраду, которую даёт исполненный долг.

При русском посольстве не было тогда ни церкви, ни священника, но княжна позаботи-

лась отыскать в Париже двух православных священников, что тогда, после Нантского эдикта о диссидентах, вообще было нелегко. Один из них был молдаванин, почти седой, с густыми волосами, аскет Афонской горы, хмурый, суровый, с страстной речью и громами восточного красноречия. Другой — из Литвы, питомец Киевской академии, тонкий, льстивый, уклончивый, как польский ксёндз, и упрямый, как истый хохол. Радуюсь этой находке своей, княжна поехала к Андрею Дмитриевичу.

Андрей Дмитриевич, в тёмно-гранатовом бархатном пудреманте с золотыми вышивками, завёрнутый в батист и кружева, полулежал на белой шёлковой подушке, в вольтеровских креслах, согревая свои опухшие ноги под лисьим черно-бурым мехом. Перед ним к свету поставлена была приобретённая на вес золота античная статуя Афродиты Киприды и подле неё засыпающий Амур. Статуи были обставлены померанцевыми и миртовыми деревьями. По стенам висели картины Франческо, изображающие виллы Баии и виды окрестностей Рима. Свежесть красок, про-

зрачность воздуха и необыкновенная глубина перспективы этих картин делали из стен кабинета Андрея Дмитриевича ряд очаровательных панорам, от которых глаз не мог оторваться. Между этими живыми панорамами прелестных видов природы, украшенной всей прелестью роскошного климата, и великих образцов искусства, как бы в противоречие их пластической красоте, размещались высокохудожественные создания Леонардо да Винчи со строгим и несколько сухим колоритом, но с необыкновенно ясным выражением мысли, чувств и ощущений и характерной верностью природе и жизни. Тут было Святое семейство: Спаситель и Иоанн Предтеча, ещё детьми, играющие с агнцем, Святая Дева с Младенцем, святой Иоанн с Ангелом. Противоположность стиля и колорита двух разнородных художников как бы изображали собой противоречие двух противоположных идей, в которых духовность аскетизма сопоставляется с прелестью пластичности. Взгляд Андрея Дмитриевича утопал в этой общей художественности его обстановки, дополненной всем, что именно, как говорила княжна

Марья Дмитриевна, могло представиться дорогого, редкого и изящного.

Перед ним на стуле сидел доктор, только что давший ему лекарство и теперь считающий пульс, тут же в стороне сидел племянник и что-то писал.

В кабинете было довольно душно. Воздух, по тогдашней фармацевтике, не признавался необходимым для излечения больного. О нём тогда не думали, даже боялись, относя свежесть его прилива к сквозному ветру.

— Ну что, доктор, протяну ещё недели с две? — спросил Андрей Дмитриевич слабым, но весёлым голосом. — Или до нашего первого Спаса не дотянуть?

Доктор промычал что-то неопределённое.

— Да, если не умру, то буду жив, а не буду жив — значит, умру! Это верно! Эх вы, господа доктора! Право, вы часто бываете темнее дельфийских оракулов. Но не в том дело! Вот расскажите мне о физиологических явлениях, которыми, согласно ходу моей болезни, должна сопровождаться моя смерть. Ваш почтенный дядюшка, которого я знал и уважал, за неременный долг поставил бы снабдить ме-

ня самым точным маршрутом.

Но доктор не успел ответить на этот вопрос, как доложили о приезде княжны Марьи Дмитриевны.

— Вы счастливите меня, княжна, делая честь своим посещением, — сказал Андрей Дмитриевич, приветствуя входящую. — Вы даёте мне право думать, что у меня в жизни были не только добрые, но и прекрасные друзья!

— Всегда с комплиментом, даже такой старухе, как я. Вы неисправимы, князь. Но сегодня я действительно с советом дружбы. Надеюсь, вы ведь верите дружескому расположению к вам ваших соотечественниц?

— Верил, когда был молод. Теперь же, когда я уже приготовил свой золотой для уплаты Харону...

— Э, князь! Мы христиане, и нам не нужно будет переплывать Стикс! Я думаю — и вот вам мой совет дружбы: вам нужно прибегнуть к истинам религии. В ней вы найдёте себе утешение, а может быть, Бог даст, и исцеление.

— Княжна, разве я плачу, что меня нужно

утешать? А исцеление, — боже мой, да нужно ли ещё оно? Ну, положим, я выздоровею, что же будет из этого? Я съезжу ещё раз или два на королевскую охоту; повру что-нибудь о красоте природы и сладости выздоровления; поспорю с Вольтером; прочитаю несколько мадригалов и эпиграмм; посмотрю «Дон Жуана» и «Заиру». Право, для этого не стоит много хлопотать!

— И вам не стыдно это говорить? Как христианин, молитесь о выздоровлении для добрых дел.

— Добро и зло, княжна, так смешаны в мире, что нам, слабым смертным, редко бывает доступно отличить одно от другого. На что, кажется, более добра спасти человека от голодной смерти, но этот человек может совершить потом десять убийств. Вот и зло, которое вышло из вашего добра. Рекомендую, княжна, — продолжал он, указывая на доктора, — в настоящем здешняя знаменитость, доктор Герман Боэргав, племянник того великого Боэргавы, который на своём веку столько уморил людей, сколько не удастся, пожалуй, уморить самой кровопролитной войне. Наде-

юсь, что в подражание своему почтенному дядюшке он не откажется сделать, мне честь уморить и меня по всем правилам своей науки; и это он сделает не хуже другого, тем более что он собирается к нам, в Россию, чтобы излечивать там все болезни. В чём будет больше добра, в том ли, что он всех вылечит, или в том, что уморит одного безбожника, — про то ведаёт Всевышний.

— Полноте, князь, — горячо сказала княжна, садясь подле него с чувством и терпением сестры милосердия, решившейся убедить больного принять лекарство. — Не с такими чувствами нам, христианам, следует приступать к великому переходу из этой юдоли плача в другую, светлую жизнь.

— Не знаю, что светлого ждёт меня в будущем, — задумчиво отвечал Андрей Дмитриевич, — но здесь, в этой юдоли плача, признаюсь, плакал я немного. Говорить нужно правду: весело-таки прожил век... Если бы и там...

Доктор между тем распрощался и ушёл. Княжна приступила к Андрею Дмитриевичу, чтобы он принял из приисканных ею священников которого хочет.

— Ах, боже мой, княжна, вы добры, как ангел! Дайте мне их обоих! Пусть никто не скажет, что князь Зацепин, умирая, отказался исполнить просьбу дамы, которая, не жалея себя, заботилась, чтобы спасти его душу. Пусть они войдут, княжна, и разделят между собою грехи мои, если успеют поймать их на лету!

Священники вошли: один тихой, кошачьей поступью католического ксёндза, другой — суровой походкой фанатика, осудившего на сожжение Савонаролу. Оба подошли к креслу больного.

— Приидите ко мне все страждующие и обременённые и аз успокою вас... — начал своё слово киевский академик.

— Грозен Бог во гневе своём!.. — начал говорить потомок древних римлян и фанатический представитель восточного православия.

Андрей Дмитриевич остановил их.

— Э-эх! И рад бы идти, да ноги не ходят! — шутливо отвечал он киевскому ритору. — Видите, опухли так, словно колоды лежат. Доктора говорят: от того, что крови много выпустили. Странное дело, стали полнее оттого, что много взяли! Ну да бог с ними! Мне от их

объяснения не легче!

Затем он обратился к грозному молдаванину и отвечал смиренно:

— Чувствую гнев Божий, но надеюсь на его милосердие! — И после продолжал, обращаясь к обоим: — О, безверие, грех мой! Если бы в ваших словах, святой отец, была сила слов нашего Божественного учителя, то, разумеется, я взял бы одр свой и пошёл, склоняясь всею душой моею перед величием Божьего милосердия. Но мне, неверующему грешнику, не суждено испытать на себе чуда Божьей милости, поэтому, с раскаянием и молитвой, я должен ждать себе призыва на грозный суд... Вот княжна, заботясь о душе больного собрата и не желая допустить его погибнуть вконец без покаяния, пригласила вас ко мне для напутствия при переходе в лучший мир. И я прошу вас о том, чтобы направить мою душу к истинному свету мудрости и вашими святыми молитвами напутствовать моё грешное тело к месту его последнего успокоения. Но как я не желаю торопиться посылать душу свою в горние селения и хочу сколь можно долее удержать её в этом брэнном теле, то и

прошу вас, святые отцы, обождать несколько с своими советами и молитвами. Едва же только я почувствую, что требование свыше за моею душою уже пришло, я сейчас же пошлю за вами и отдам вам всего себя для вашего напутствия. Для того же, чтобы вам было не скучно дожидаться этого призыва, мой племянник распорядится доставить вам средства в этом ожидании пристойно развлечь себя. А ваши слова и заботу обо мне я принимаю близко к сердцу, душевно благодарю и непременно постараюсь явиться на той стороне берегов Стикса, — не то! проклятая привычка вечно обращаться к изящным вымыслам Древней Греции, — явиться перед Архангелом с его огненным мечом, охраняющим двери рая, в полном всеоружии греко-русского православия.

Когда княжна и священники ушли, Андрей Дмитриевич сказал своему племяннику:

— Прикажи, друг Андрей, посылать попам по десяти луидоров каждую неделю до моей смерти. Много не выйдет, а это пусть будет задаток за их будущую службу, и увези меня куда-нибудь. Мне здесь душно. Это дешёвое уча-

стие, эти визиты, приставање мне страшно надоели... Наконец, и эскулапы... Положим, денег на них мне не жаль, но когда помочь они не могут, так зачем и деньги даром бросать? Для успокоения совести пригласи с собой Боэргава. Он поразумнее. А то собираются десятками, а толку нет! Если уж нужно умереть, то я хочу умереть, по крайней мере, на лоне природы; умереть так, чтобы мне весело было; чтобы я забыл, что я не у себя в Парашине. Знаешь, напиши к Шатонефу, не отдаст ли он мне на лето свой замок. Я был в нём у его отца. Там жила его подруга, знаменитая Нинона Ланкло, развалины красоты которой я ещё видел. Место превосходное, недалеко от Шарантона и почти на самом слиянии рек Сены и Марны.

Через несколько дней Андрей Дмитриевич располагался в прелестном замке на берегу Марны, неподалёку от впадения её в Сену. Перед глазами его расстилалось необозримое пространство цветущих долин обеих рек, оживлённых деятельностью трудолюбивого населения, пастбищами скота, садами и хлебными посевами. При слиянии рек, по ту сто-

рону Марны, раскинулся хорошенький городок Шарантон; слева высился древний замок того же имени; а за ними, за Марной, синел на горизонте сен-венсенский лес с выходящими, будто вырастающими из него шпилями и куполами сен-венсенского замка.

Андрей Дмитриевич лежал на террасе, окружённый цветами и зеленью. Статуя Афродиты, тоже вся в цветах, красовалась прямо перед его глазами, в ногах её помещался спящий Амур. Парижская комната его перенеслась сюда со всем изяществом её обстановки. Андрей Дмитриевич любовался открывающимся видом, вдыхая в себя свежий, ароматный воздух. В его глазах сновали лодки через Сену и Марну, неслась своею чередой жизнь со всей прелестью своей сельской природы, а солнце уходило за сен-венсенский лес. Андрей Дмитриевич от переезда очень ослабел, тем не менее он, видимо, наслаждался раскинувшейся перед ним картиной.

— Боже мой, как тут хорошо, — говорил он на другой день утром. — Мне так и кажется, будто я в Древней Греции, в храме великолепной, идеальной богини красоты. Вот плывут

галеры, фелуки, челны... — он указал на спущенные по сене и Марне лодки. — Они везут утренних поклонников божееству, разливающему между ними довольство и счастье. Ведь оно само по себе есть начало любви и производительности... Вот это самосцы со знаменем, изображающим голову совы, что, по элевсинским таинствам, означало мудрость, потому что для мудрости, чтобы видеть, не нужно дневного света. Они везут в жертву божееству цветы, эмблему красоты и юности. Ведь только в юности цвет, только в цвете красота. Наступит возмужалость, цветы дадут плод; плод — польза, но уже не красота... А вот я состарился и умирать собираюсь, а какую пользу я принёс? Стало быть, что же? Или я не цвёл, или моя молодость была пустоцвет? Богине не было принесено в жертву живой красоты при моём рождении, вот она и наказала мою жизнь пустоцветом. Между тем, говорят, был залог, что и я мог бы на что-нибудь и кому-нибудь быть полезным. Слушай, Андрей! Как ты думаешь? Была ли вся жизнь моя только пустоцвет? Говорят: кто посадил дерево, выстроил дом, написал книгу,

воспитал ребёнка, — тот недаром жил на свете. Не знаю, так ли? Но дома я не строил, отделял только чужие, устроенные другими; деревья сам не сажал, только указывал, где и как садить; книг не писал, а только читал, а ребёнок... Ну, у меня был ребёнок, но где он, что он? Я ничего не знаю! Я его не растил и не воспитывал...

— Как, дядюшка, разве у вас было дитя?

— Было, мой друг! Была Настя, милейшее в мире создание. Теперь ей должен быть девятый год, и она должна начать расцветать во всей своей прелести... Но — но не судил Бог мне её видеть, может быть, именно потому, что моя молодость была пустоцвет.

— Разве вы не знаете, дядюшка, где она?

— Как же я могу знать? Помню, убитый горем, я едва успел закрыть глаза жене на второй год после свадьбы, и, не успев ещё опомниться, вдруг прямо передо мной, будто вырос из-под земли, Андрей Иванович Ушаков. «Князь, — сказал он, — вас желает видеть государыня!» Я хотел было возразить, указывая на не остывший ещё и не убранный труп, но он не дал мне сказать ни слова. «Она знает,

князь! И простите, что позволю себе вам советовать ехать, не откладывая ни минуты. Вы знаете, — прибавил он, — бывают обстоятельства, когда человек должен быть, если можно так сказать, выше самого себя; ну и вы заставьте себя стать выше вашего горя! Ещё советовал бы не возражать, а предоставить всему плыть по течению, как понесёт жизнь. Впрочем, там увидите...» Что было делать? Я поехал. Императрица Анна Иоанновна вышла с слезами на глазах. «Не стало нашего ангела!» — сказала она. «Бог взял!» — отвечал я, будучи почти не в силах говорить. «Его святая воля, упокой Бог её душу! — тихо проговорила она, взглянув на образ, и искренние слёзы невольно показали в её глазах. Через секунду, однако ж, она оправилась. — Но мы, живые, должны думать о живых! — продолжала государыня твёрдо. — Сестра мне писала обо всём, князь. Я знаю её последнюю волю, и я на всё согласна! Но я должна принять меры против могущих быть недоумений и несчастий в будущем! Где Настя?» — «Моя дочь, моё единственное утешение, ваше величество, — где же она может быть? Она у меня, при гро-

бе... нет, даже ещё и не при гробе...» — отвечал я, не помня, что говорю. Слёзы у меня невольно капали из глаз. «Вы должны её уступить мне, князь!» — «Кого? Настю, государыня, единственную радость мою, единственную надежду в жизни?..» Она не дала мне продолжать. «Это необходимо! Я хочу! Польза отечества того требует! — настойчиво проговорила государыня. — Я не могу допустить, чтобы в будущем интрига и зависть могли пользоваться её именем для смут и беспокойства! Князь, но вы должны! Это моя непременная воля!»

Она проговорила это так, что я чувствовал, что возражать нельзя, поэтому невольно склонился... Когда я воротился к бранным останкам жены, у меня уже не было и дочери. Ушаков её увёз. После государыня сказала, что она на её имя положила полтора миллиона и отправила на воспитание во Францию, в один из здешних женских монастырей. При жизни государыни, разумеется, мне ни ехать, ни узнавать было нельзя, а вот теперь приехал и, видишь, некстати вздумал умирать!

— Бог милостив, дядюшка, поправитесь!

Мы вместе станем разыскивать и разыщем...

— Нет, друг, мне поправляться уже поздно! Я чувствую, что мне не встать! Отыщешь или не отыщешь мою Настю, но уже один ты! Вот, слушай, давно уже я хотел об этом говорить с тобой, да всё как-то не приходилось. Ты помнишь наш договор, когда ты приехал? Я тебе сказал, что я тебя везде буду представлять как своего наследника, но чтобы ты на наследство не рассчитывал...

— Дядюшка, разве я вам дал повод думать...

— Думать тут, друг, нечего, а надобно делать! Я это тебе тогда сказал потому, во-первых, что не хотел себя связывать; а во-вторых, потому, что хотел посмотреть на тебя. Теперь же скажу, что я именно тебя назначил своим единственным наследником всего движимого и недвижимого. Бумаги об этом я сделал ещё в Петербурге, и ты обо всём найдёшь подробные указания в моём конторском бюро. Позовёшь, впрочем, управляющего Чернягина, он тебе всё разъяснит. Ты по этим бумагам получишь мои дома в Петербурге и Москве со всем, что в них есть. Инвентари в конторе ве-

дутся в порядке. Получишь Парашино, имение, которое я отделявал с любовью и для украшения которого я ничего не жалел; получишь мои костромские, владимирские, тамбовские и саратовские имения, более пятнадцати тысяч душ; кроме того, там, в конторе, есть ещё липманских квитанций на внесённый в гамбургский банк капитал тысяч триста с чем-то. Это всё твоё, друг... Пстой, пстой, не задуши! — сказал Андрей Дмитриевич, отводя рукой племянника, когда тот хотел было броситься его благодарить. — Это я делаю, во-первых, чтобы поддержать род князей Зацепиных; а во-вторых, потому, что я тебя искренно полюбил и тебе верю! Ты моё имущество не промотаешь и что обещаешь, то исполнишь. А я хочу возложить на тебя именно ту обязанность, которую не мог исполнить сам.

— Дядюшка, прикажите.

— Ничего не приказываю, а прошу, и дай мне слово, что мою просьбу исполнишь. После моей смерти, схоронив меня в Зацепинском монастыре, ты сейчас же приезжай сюда, разыщи мою дочь Настю, твою двоюрод-

ную сестру, передай ей формально документы на получение в день совершеннолетия из амстердамского банка миллиона рублей и скажи, что от меня ей один завет. И просьба — не мешаться в политику!

— В политику, дядюшка? Что вы хотите этим сказать?

— А то, мой друг, что у нас на святой Руси, благодаря удаче таких прощелыг, каковы были Бирон и Левенвольд, развилось в такой степени проходимость, что, разумеется, её в покое не оставят. Для того-то, без сомнения, государыня и хлопотала, чтобы её удалить. Об одном и я прошу: не сдаваться на советы этого проходимства. И не слушать соблазнительных предложений, которые, нет сомнения, будут на неё сыпаться!

— А у вас нет никаких указаний, дядюшка, которыми можно было бы руководствоваться при поисках?

— Мало... но нельзя сказать, чтобы не было никаких. Первое, что мне известно, это то, что, где она воспитывается, знал Куракин-отец. Через него государыня и дело всё вела. Сыну, однако же, он не передал. Не

знаю, известно ли Бирону, но сказали мне, что знает в Париже ещё какая-то Вижье. Но кто такая эта Вижье и где она, я понятия не имею! Но вот тебе данные: совпадение времени — восемь лет назад; возраст — девятый год, отдана на воспитание агентом русского правительства; положенный на её имя в полтора миллиона капитал. Совпадение этих условий не может быть случайным. Я могу ещё указать на точные приметы: у неё над левой бровью маленькое родимое пятно, другое родимое пятнышко есть на правом плечике. Потом, смешная вещь: на второй или третьей неделе от рождения у Насти сделался первый лихорадочный припадок. Кормилка заявила, что у ребёнка родимчик, и как ты полагаешь, что она сделала? — сильный и глубокий порез правой икры. Уверяет, что у них всегда так делают. Порез залечили, но на икре остался широкий белый шрам, который, думаю, и теперь заметен. Наконец, я не полагаю, чтобы её заставили переменить религию, а тогда сохранили и имя Анастасия.

Андрей Васильевич любопытствовал ознакомиться с характером бумаг, которые он

должен был передать.

Андрей Дмитриевич ответил:

— Возьми и прочитай. Разумеется, если бы, когда вносил эти деньги, я знал тебя, то условия взноса были бы иные. Но тогда, не имея возможности никому довериться, я внёс их с тем, чтобы выдать такой-то, с описанием примет и обстоятельств воспитания, предоставляя банку право удостовериться в действительности личности. Если же в течение пятидесяти лет никто не явится, то внесённый капитал должен быть употреблён на благотворительные учреждения в Париже и Москве, носящие имя Анастасии.

— Доберусь, дядюшка, будьте покойны, и если только жива — отыщу, и ваше приказание будет выполнено в точности! Но, дядюшка, за что же вы лишаете её того, что ей следует, назначая меня вашим наследником?

— Нет, мой друг, ей этого не следует! Мне предоставлено было право воспользоваться имуществом моей жены с тем, чтобы ни в каком случае я не передавал его своей дочери, о которой бы даже забыл. Взамен этого наследства, я тебе говорил, государыня положила на

её имя капитал. Прибавляя к этому капиталу ещё миллион, я полагаю её достаточно обеспеченной. Между тем ведь и я князь Зацепин и не могу не желать, чтобы имя нашего рода, князей Зацепиных, цвело и красовалось из века в век, особливо видя, что ты будешь его достойный представитель и, вероятно, будешь стараться, чтобы и дети твои были достойны тебя! Род, мой друг, сам по себе в настоящее время потерял всякое значение. Осталось это значение только в королевских семействах, и то только в рассуждении наследника престола. Теперь важен капитал, имущество, собственность. Если у нас сохранились ещё кое-какие привилегии, то не в смысле родового права, а только как кастовые отличия, сословные преимущества. Действительная сила теперь в богатстве! Ну, ты и будешь богат, стало быть, будешь и силён... Однако ж я устал. Слава богу, что успел всё это тебе высказать! Теперь на душе легче! Знаю, что, когда меня не будет, ты сделаешь всё, что сделал бы я... — И Андрей Дмитриевич приказал унести себя в спальню.

На другой день Андрей Дмитриевич, рас-

положившись на террасе, вновь с особым любопытством следил за движением по реке. День был праздничный, и население Шарантона было особенно оживлено. Куда-то направлялся крестный ход, с двумя патерами во главе. Разряженные горожанки и поселянки, с цветами в руках, богомольно следовали за процессией и пели воскресные гимны.

— Право, Андрей, очарование полное, — сказал Андрей Дмитриевич. — Ну чем не остров Кипр с архипелагом кругом и чем не празднество моей богини Киприды? Вот она, увенчанная цветами, стоит и улыбкой своей счастливит всякого, в ком горит таинственный огонь страсти. Вот, смотри, собирается флотилия челнов и лодок, это кипряне. Они едут на остров любви поклониться божеству. Они везут ему в жертву живую красоту. Сам экзарх ведёт обречённую богине, одетую в пурпур и золото невесту. Она останется на ночь в храме у подножия и примет то, чем осенит её маленький спящий божок. Не есть ли это, впрочем, изящный и роскошный первообраз того, что в грубой и жёсткой форме проводит в русскую жизнь Ермил Карпыч, с

своим раденьем, напоминающим грациозные хороводы античных дев, с их прославлением Вакха и Киприды, но напоминающим так, как нацарапанная карикатура может напоминать художественное произведение?

Но именно поэтому и нельзя сравнивать одно с другим. Одно было изящно, светло, прекрасно; другое — грубо, жёстко, нелепо. Одно ласкало все чувства, все понятия, давало наслаждение изящным; другое — ничего более, как только грубая чувственность. Богине наслаждения приносилась в жертву красота, как вера в её могущество, как служение её культу. А тут кому, какая жертва? Там искренность и вера, а здесь недостойный обман.

Они приносили в жертву богине прекраснейшую, за то богиня защищала их в тяжкие минуты и защитила в годину роковой войны. Кипр победил несметную силу Ксеркса, идущую залить и потопить Элладу, а с нею и самый Кипр; победил не силою мышц своих воинов, а могуществом, которому нет на свете равного; могуществом любви и красоты.

Ты не читал Геродота? Жаль! Впрочем, читая его, и я не понял. Мне пояснил эту сцену

ориенталист Гаммер, который пользовался санскритскими и персидскими источниками. Там говорится о том, как кипрянки победили всю армию Ксеркса могуществом своей красоты.

На следующий день слабость усилилась. Андрей Дмитриевич не мог уже читать и с трудом говорил. Но он всё лежал на террасе, любовался Кипридою и раскинувшимся перед ним пейзажем.

— Мне бы хотелось, чтобы вон то стадо бурых коров с своими пастушками и пастухами паслось вот тут, внизу! — сказал он, указывая на расстилавшуюся перед ним долину. — Узнай, Андрей... устрой, если возможно.

Через несколько часов стадо паслось у его ног. Пастушки в праздничных костюмах кормили сочной травой полных и злчных коров, переливы пастушьих рожков звучали в воздухе.

— Взгляни, Андрей, как красив этот пастух, в своей швейцарской шляпе, с густыми седыми волосами. Он напоминает мне что-то библейское, что-то говорящее о праотцах. Я таким воображаю Исаака, встречающего Ревек-

ку.

Среди этой роскошной природы, любуясь её красотой и вдыхая свежий воздух Средней Франции, он видимо угасал. Но он всё слушал и смотрел, всё хотел обнять, всем насладиться. Услыша вдали песню, он вспомнил, что перед выездом из Парижа он слышал, что там ждут из Италии знаменитого певца Сарриотти, и выразил желание его послушать. Андрей Васильевич ту же секунду распорядился пригласить певца.

— Сегодня я чувствую себя очень нехорошо! — сказал вдруг Андрей Дмитриевич. — Послушай, друг, я дал слово княжне Кантемир непременно вызвать попов. Если я скажу «пора закладывать», ты ту же минуту пошли за ними. Я надеюсь сказать эти заветные слова уже тогда, когда по приезде они меня не застанут. Это будет похоже на то, как в моих глазах Пётр Второй, этот царственный мальчик, сумевший сослать в Сибирь своего воспитателя, на моих глазах сказал: «Подавать сани» — и погас. Тем лучше! По крайней мере, они не будут меня мучить. Да не оставляй меня здесь, увези хоронить в Зацепине, —

опять повторил он. — Пускай я там буду лежать со своими!

К вечеру приехал Сарיותти.

— Спой мне, мой дорогой, что-нибудь... вот оттуда, поближе к воде, подле подножья богини красоты и наслаждения... Потешь умирающего!

И нежные звуки итальянского тенора разлились в воздухе.

Андрей Дмитриевич заслушался.

— Знаешь, мой дорогой, скажи: много ли ты надеешься заработать своим голосом эти дни в Париже? — спросил его Андрей Дмитриевич.

— Надеюсь, ваше сиятельство, — хоть надежды бывают иногда обманчивы — никак не менее тысячи франков в день.

— Я гарантирую тебе две тысячи франков в день на три дня. Более трёх дней я не проживу. И послушай, перед тем как мне умереть, спой мне, знаешь, молитву Страделлы.

Прослушав арию, Андрей Дмитриевич сказал племяннику:

— Знаешь, Андрей, приготовившись материально и нравственно к переходу в другой

мир, я теперь даже не хотел бы выздоровли-
вать! Вели итальянцу спеть что-нибудь из
«Чимарозы». Мне что-то очень душно; пусть
нежные звуки языка Тассо и Петрарки разве-
ют мою грусть... А повезёшь меня домой, не
забудь — поклонись и Москве белокаменной,
её златоглавым соборам, и Зацепинскому
Спасу в нашем родовом селе, которого видеть
мне так-таки и не удалось, хоть я много раз
желал... Видно, недаром, когда меня провожа-
ли, то голосили как по покойнику, видно,
предчувствовали, что я покойником только и
ворочусь! Правда, не богомолен я был перед
нашими родовыми пенатами, но душа во мне
всегда была русская...

Сариотти запел. Андрей Дмитриевич слу-
шал. Потом он вдруг обратился к племянни-
ку.

— Пора закладывать, — сказал он. — Посы-
лай за попами! — Он опустился на подушку и
тяжело вздохнул.

— Страд... Страд... — проговорил он судорож-
ным языком.

Племянник понял и шепнул Сариотти. Тот
начал молитву Страделлы. Андрей Дмитрие-

вич вытянулся и с трудом перекрестился, потом повернул голову на другой бок и закрыл глаза. Ещё в его лице можно было заметить конвульсивное движение. Он вздохнул ещё раз, потом раскрыл рот и будто хотел что-то сказать, но не сказал ни слова. Сарриотти кончил, но было незаметно, слышал ли Андрей Дмитриевич конец. Он угадал: попы приехали в то время, когда его уже не было на свете.

В селе Зацепине между тем происходила другая борьба между жизнью и смертью. Вскоре после смерти Андрея Дмитриевича захворал смертельно старший представитель рода князей Зацепиных отец Андрея Васильевича, князь Василий Дмитриевич. И, по странному совпадению обстоятельств, болезнь его была та же, что и его младшего брата в Париже. Он простудился, обходя какой-то из своих обширных лесов для разметки надежда крестьянам.

— Рубят зря, где попало, — говорил он, — и только портят лес. Лучше всякого наделить и заставить беречь, — решил он.

Обозревая лес в этих мыслях, он попал в

болото, насилу выкарабкался, прозяб и приехал домой больной. Сперва на болезнь свою он не обращал никакого внимания, но потом, когда через день его начала бить лихорадка, так что он не мог свести зуб с зубом, и стало очень колоть бок, он дозволил своей жене, княгине Аграфене Павловне, натереть себя муравьиным спиртом, настоящим на зверобое, и напоить мятой и шалфеем. О докторах ему никто не смел и заикнуться. Аграфена Павловна тайком привела было какого-то знахаря и показала ему князя сонным. Тот велел принести воды, пошептал что-то на уголёк, этим угольком сделал над горшком воды несколько раз крестное знамение, опустил уголёк в воду и велел воду эту держать в изголовье. Но когда Василий Дмитриевич встал и увидел в головах своей постели горшок с водой, то велел вылить воду и разбить горшок. Княгиня Аграфена Павловна, услышав это приказание, и руки опустила. Напрасно умоляла она его дозволить хоть ещё раз намазать себя, хоть мяты и шалфею ещё разок настоять, или вон матушка попадья липовый цвет очень хвалит, — Василий Дмитриевич отка-

зался решительно. А как болезнь не проходила, то он стал готовиться к смерти. Он велел написать письма ко всем родным и знакомым, что желает по христианскому обычаю проститься с ними; велел написать ко всем, с кем только имел размолвку, что просит у них христианского прощения.

— Жаль, Андрюхи нет! — сказал он. — Теперь, поди, в Париже с братом беспутничают. Боюсь, на добро ли я послал его? Ну, да во всём воля Божия!

С ним делались припадки удушья, но он переносил эти припадки со стоическим терпением. Никто не слышал от него ни стога, ни жалобы, и он настаивал только на одном: чтобы ни в чём не изменялся обычный порядок его жизни. Только вместо утренней молитвы, которую обыкновенно Василий Дмитриевич прочитывал сам, приходил ежедневно священник и служил молебен перед образом Василия Блаженного, память которого Василий Дмитриевич праздновал своим тезоименитством.

Ежедневно священник окроплял больного святой водой и давал целовать крест. Когда

же, видя тяжкие страдания Василия Дмитриевича, он сказал, что не следует ли ему приготовиться по-христиански к последнему концу, то Василий Дмитриевич рассердился и ответил:

— Негоже, не приготовившись, к такому великому таинству без крайней нужды приступать!

То же ответил он и княгине Аграфене Павловне, когда она намекнула ему об этом, но сдался на её просьбы, дозволив ей дать себе богоявленской воды и зажечь у себя в головах перед образом крещенскую свечу.

После молебна каждый день Аграфена Павловна должна была прочитывать ему донесения из разных его волостей и имений и замечать и передавать его приказания. Каждый день она должна была ему говорить о жалобах, поступающих от крестьян. Больной, задыхающийся, он входил во все подробности, чинил распорядок, осуществлял то, что думал приводить к осуществлению год назад.

— Это моё дело, — говорил он. — Кто же моё дело делать станет? Если я не стану о них думать, — прибавлял Василий Дмитриевич,

указывая на своих крестьян, ожидавших его распорядка, — то кто о них подумает? И с чем я явлюсь к престолу Божию, когда ради своей небрежности и лени я на руки наёмников сдам тех, кто Им был поручен мне.

И дела по имениям шли, не останавливаясь, своим порядком. Привезли из Москвы молодые отводки каштанов. Василий Дмитриевич ещё в прошлом году заказал, хотел попробовать акклиматизировать их на берегу Ветлуги. Он приказал засаживать приготовленное место.

— Под тенью бы их дал вам Бог посидеть, князь! — сказал кто-то из соседей, сидевших подле постели больного.

— Пусть они знают, что их отец сажил эти деревья на смертном одре! — отвечал Василий Дмитриевич, указывая на детей. — Ясно, не для себя хлопотал!

И он сейчас же распорядился, чтобы опыт посадки каштанов производился и по другим его имениям, предназначенным его младшим сыновьям.

Между тем родные и близкие знакомые Василия Дмитриевича, получив известие о

его болезни, начали съезжаться. Они нашли его хуже, чем ожидали, но, разумеется, приходили с словами утешения. Приехал из Зацепинской пустыни и отец Ферапонт.

— Нужно вспомнить христианский долг, князь, исповедоваться во грехах своих и, прибегая к милосердию Божию, приобщиться Его Святых и Божественных Таинств!

— Не рано ли, святой отец? Простит ли Бог грешника, прибегающего к столь великому делу без приготовления?..

— По вере вашей дастся вам! — отвечал отец Ферапонт. — Бог установил великое таинство сие не только во искупление, но и во исцеление.

Этот довод убедил князя, и он решил завтра пригласить священников из двух ближайших своих сел; они должны были, соборне с отцом Ферапонтом, отслужить молебен Нерукотворному Спасу Зацепинскому, а после молебна он приступит к всенародной исповеди и святому причащению.

Утро было ясное; в семь часов утра священники начали своё служение с водосвятием. Больной лежал в постели, но усердно мо-

лился. Кругом него стояли жена, дети, приезжие, управляющие, дворня, весь дом. Все молились. По окончании молебна Василий Дмитриевич обратился к отцу Ферапонту:

— Вы, святой отец, мой отец духовный, вас прошу я прочитать мою последнюю волю! Груша, подай бумаги!

Княгиня со слезами на глазах, но послушно, тихой поступью прошла в брусяную избу, вынесла оттуда бумаги и подала князю.

— Это моя последняя воля, писана мной самим в твёрдом уме и памяти, будьте свидетелями все. Надеюсь, дети ни в чём не захотят её нарушить!

Отец Ферапонт начал читать:

— «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Помня час смертный и желая водворить в доме моём и между детьми моими мир и любовь, да царствует над ними Божья благодать и моё благословение, решил я, будучи в здравом уме и памяти, доставшееся мне после родителя моего имущество и нажитое моим прибытком распределить между женою моею и детьми моими следующим порядком: старшего сына моего Андрея благословляю занять

моё место, быть опорой и другом матери своей, отцом братьям и сёстрам своим, оказывать им любовь и помощь и назначаю ему Божьего и наших прадедов, дедов и родителей благословения образ Спаса Нерукотворного Зацепинского, да охранит его Господь своею милостию...» — Потом за перечислением других образов, вещей, разных принадлежностей шло перечисление волостей, домов, дач, земель, лесов и пустошей. То же шло о других детях и жене, согласно сделанному уже вперёд распорядку; распределялись лошади, скот, наконец, наличные деньги, из коих отделялись особо суммы на помин души, на украшение Зацепинской обители, на украшение своих приходских церквей, на раздачу бедным...

Чтение духовной приходило к концу. Все стояли безмолвно. Больной слушал, закрыв глаза и иногда крестясь. В это время вдруг подлетела коляска на шестерне почтовых. Из неё выскочил Андрей Васильевич.

— Батюшка, батюшка, что с вами? — закричал он, падая на колени перед кроватью.

Больной обрадовался:

— Андрей, Андрей! Тебя сам Бог принёс, чтобы я тебя благословил! Каким случаем? Что брат?

Андрей Васильевич замялся. Потом, опустив глаза, он проговорил:

— Его везут, батюшка!

— Как, и он? Ну, значит, пора! Схоронить нас вместе, подле отца!

Затем он поцеловал приехавшего сына и приказал продолжать чтение. Только по окончании чтения подошли к приехавшему его мать, братья и сёстры.

Но их свидание длилось одну минуту. Отец снова подозвал Андрея:

— Вот, Андрей, сейчас прочитали мою по­смертную волю. Я благословляю тебя большим крестом, назначаю всё, что обещал тебе, с тем, чтобы ты был отцом братьям своим, любил и помогал им, а они бы слушали и почитали тебя. На тебе первом почёт и моё благословение. Прости отца, в чём он виноват перед тобою, как и я тебя от души прощаю. По­дайте образ Спаса.

И коленопреклонённый сын принял его благословение. Затем подходили другие дети,

по старшинству. Отец у каждого просил прощения, в чём виноват, и благословлял, увещевая на жизнь любви, мира и послушания.

— Будьте настоящими Зацепиными, не уроните вашего имени! — говорил он.

После детей стали подходить родные, знакомые, наконец, управляющие и домашняя прислуга-дворня. Василий Дмитриевич прощался со всеми, просил отпустить вины его.

Последней подошла княгиня. Она упала на колени перед постелью мужа, с глазами, полными слёз, и с умилением, робко проговорила:

— Батюшка, Василий Дмитриевич, прости и меня, в чём виновата я! Прости, что худо ходила, не берегла; прости, коли прогневила чем...

Она не кончила; слёзы не дали ей говорить, и она припала к изголовью постели.

— Друг мой, милая! Двадцать два года ты была мне опорой и радостью, мне ли прощать тебя! Прости меня, мой друг, прости за нетерпеливость мою, за жёсткость слова иногда, за невнимание. Прости за всё, чем огорчал тебя!

Он горячо обнял её и долго держал у груди...

— Он будет опорой тебе! — наконец проговорил Василий Дмитриевич, указывая на Андрея Васильевича. — Люби и учи его, а ты слушай и почитай мать! Что она скажет, любя скажет...

Потом он благословил её и просил, чтобы и она благословила его предстать на высший суд... Затем отец Ферапонт начал читать исповедальные молитвы.

— Всенародно исповедоваться хочу, святой отец, — сказал он. — Прикажите звать всех, раскрыть все двери. Пусть всё свидетельствуют о грехах моих и видят раскаяние моё.

По этому слову больного комната наполнилась народом, обступившим постель его; видны были слушатели и в дверях, и в окнах, и около драпировки постели. Впереди стояли жена и дети.

Отец Ферапонт громко предлагал свои вопросы. Больной отвечал, и, чтобы все узнавали его ответы за его тихим голосом, он сопровождал их движением руки, делая или знаки отрицания, отмахиваясь, или утверждая по-

ложительным движением.

— Соблюдал ли чистоту супружеского ложа твоего? — спрашивал отец Ферапонт. — Не изменял ли супруге твоей делом, словом или помышлением?

Княгиня взглянула на мужа с выражением неотразимого любопытства и страха. В ней боролось, с одной стороны, сомнение, действительно ли муж не изменял ей, а с другой — боязнь, что такая измена ей, которую она от души прощает, будет известна всем, будет темой для толков и разглагольствований по всему околотку.

Но князь отвечал твёрдо:

— Никогда, святой отец! Честно держал я своё супружеское ложе. Не могу не сказать, чтобы в молодости, особливо во время болезни жены моей, не приходили мне иногда в голову и греховные мысли, но я отклонял от себя всякий соблазн и, положа руку на сердце, могу сказать, что супружеское ложе моё никогда ничем не было осквернено, даже в помышлении.

Было заметно, что, по мере того как он говорил, глаза княгини яснили и принимали

какое-то особое выражение любви к мужу и почтения.

— Воспитывал ли ты детей своих в страхе Божием, относился ли к ним с равною нежностью и не давал ли кому-либо из них преимущества? — спрашивал отец Ферапонт.

— Святой отец! Все дети были мне равно дороги, но, по родовым преданиям нашим, я должен был предпочитать старшего сына и предоставить ему преимущества.

— Родовые предания исходят из гордости человеческой, они как бы хотят предрешить будущее предназначение Промысла. А гордость — великий грех, принеси в ней искреннее покаяние перед Господом.

— Обращался ли ты одинаково, без всякого лицепрятия, со всеми подчинёнными тебе? — продолжал отец Ферапонт. — Со всеми зависящими от тебя поступал ли кротко, милосердно, как мы хотим, чтобы поступил с нами Царь небесный?

— Грешен и каюсь, святой отец. Я старался относиться без лицепрятия, но поддавался влиянию гнева, страсти, состояния духа! Каюсь в таком грехе моем.

— Не обидел ли кого с умыслом и без умысла? Не нарушил ли справедливости, не лукавил ли в сердце твоём, объясняя справедливостью то, что исходило из твоей страстности? Если кого обидел, отдал ли ему обиду его, вознаградил ли тем, чем мог вознаградить?

— С умыслом я никого не хотел обижать, святой отец. Никогда не брал ничего лишнего.

— Не правда ж, барин, меня обидел!

Все обратили своё внимание туда, откуда раздался голос, и через минуту толпа выдвинула вперёд невысокого серенького мужичонку, с длинными ушами, лет двадцати девяти, но от трудовой жизни казавшегося старше.

— Что ж, я правду говорю, — огрызался мужик на делаемые ему вопросы справа и слева, — ещё обидел-то во как!

Князь посмотрел на мужика. Он, видимо, не знал его.

— Как тебя зовут?

— Зовут-то? Стёпка Долгоухий.

— Чем же я тебя обидел?

— А как же не обидел? Летось раза три

приходил кланяться, дескать, хозяйка умерла, дети мал мала меньше, прошу оженить на Васюткиной дочке. Всё приказа никакого не было. А тут вдруг вышел приказ, и оженили на Омелькиной. Омелькина девка молодая, хорошая, жалиться бы нечего, да больно хрупкая и на работу негожая. Куда ей с пятью пасынками справляться, когда сама с шестым ходит. А Алёнка Васюткина — другой сказ. Она, баба, сызмальства в работе выросла, у самой детки ещё в девках были. Она за двух мужиков постоит.

— Я приказа о том, на ком тебя женить, не давал!

— Знаю, что не давал; это всё Трифон Савельич сварганил. Он всё приставал к Омелькиной-то дочке, дескать, любовь с ним веди, жена старая, так мне, дескать, свету в глазах нет! Она не согласилась, так вот он в отместку, дескать, помни же!.. Как нас всех сгоном венчать повели, он возьми да и запиши меня с Дунькой Омелькиной.

— Это когда беспоповщина одолевать стала? Но я приказал...

— Бог на тебя возложит, князь, заботу, и

твой грех, если твои сподручники и помощники кривдой живут! — сказал отец Ферапонт.

— Прости, Степан, в неправде моей. Вот после меня Андрей, чем в силах, поможет.

— Бог простит, господин, и нас не поминай лихом.

— Не обидел ли ещё кого? — слабым голосом спросил князь.

— Обидел! — раздался голос из другого угла.

— Кто это? Чем?

— А как же: уволок-то покосов — ещё отец косил, и я, с десяток уж лет, почитай, будет, владел, и тебе повинность оплачивал; а тут вдруг под мельницу взяли и дали ледащий перелог, так что другой год, почитай, совсем без травы сижу, а повинность-то требуют.

— Прости, брат, тоже недосмотрел. Андрей, рассмотри и вознагради!

— Нет ли ещё кого? — спросил отец Ферапонт, но никто не выходил.

— Простите, люд христианской, — проговорил князь, — простите, против кого согрешил.

— Бог простит! — гулом пронеслось по кре-

стыянам. — Прости и нас, в чём грубили.

Исповедь продолжалась. Отец Ферапонт, оглядев присутствующих, вдруг спросил:

— Мой духовный сын, я вижу всех кругом тебя, не вижу только старшей твоей дочери Аграфены; где она? Не виноват ли ты перед ней в чём?

Князь вздрогнул:

— Она, ты знаешь, святой отец... она не дочь мне. Она забыла долг повиновения отцу своему, забыла, что она княжна Зацепина.

— Смири перед Господом гордостью твою! — твёрдо сказал отец Ферапонт. — Чем виновата она, что в своей девичьей немощи захотела лучше служить Богу, чем коротать век с постылым — что отринула его...

— Нет, но она выбрала недостойного, избрала...

— Чем? Что он не из вековых князей? Но он слуга царский и добрый воин церкви Божией. И ты отнял за то её счастье. В горе и слезах проводит она дни свои, а ты и на одре смертном кичишься родом своим. Слова мои бессильны против воли Божией. А не пошлёт Бог разрешения грехам твоим и не благосло-

вит последний час твой, если не примиришься ты с родной своей дочерью и не дашь ей христианского прощенья и своего отцовского благословенья.

Княгиня Аграфена Павловна упала на колени перед постелью.

— Батюшка, друг!.. — могла только она выговорить.

Упала на колени перед отцом и другая дочь его, Елизавета. Все молчали, только младшие сыновья, Юрий и Дмитрий, проговорили:

— Отец, прости!

В эту минуту сквозь народную толпу пробралась молоденькая белица, в слезах и с отчаянием во взоре. Она тоже упала на колени, приложилась губами к опущенной руке умирающего и едва могла проговорить:

— Отец, не кляни меня! Ведь я твоя, твоя дочь!

С этими словами она глухо зарыдала, колотясь головой о перекладину постели.

Умиравший вздрогнул. В толпе раздался глухой ропот.

— Прости, князь! Прости, батюшка ба-

рин! — говорили кругом. — Полно, Василий Дмитриевич, прости, — видишь, как исхудала, сердечная.

— Клянусь, отец, что я не изменю твоей воли, посвящу служение своё Господу, — говорила княжна. — Ты и там будешь знать, что воля твоя исполнена твоей дочерью и что она не уронила рода своего ни в чём.

— Да, — проговорил князь, — а кто мне отдаст слово моё?

— Ты свободен от этого слова, батюшка Василий Дмитриевич, — проговорила княгиня Аграфена Павловна. — Он женился, узнав, что Груша в монастырь пошла, а за него идти не захотела. А Марьяна здесь нет, да и не будет, верно. Прости её, друг мой! Она молиться за всех нас будет! — прибавила она умоляющим, почти безнадежным голосом. — Прости её!

— Несть пользы в раскаянии, егда ты не примирился с братом твоим, сказано в Писании, — говорил отец Ферапонт. — А ты в своей гордости оттолкнул от себя родную дочь свою! Прости её, и Бог простит тебя.

Отец Ферапонт замолчал и стал молиться.

Князь Василий Дмитриевич приподнялся,

взглянул на образ и проговорил:

— Княжна Зацепина — и будет за Марьиным. Что скажу я предкам своим?.. Но да будет Его святая воля! — Князь перекрестился, потом обратился к дочери: — Снимаю с тебя твой грех, непослушная дочь! Прощаю и благословляю тебя! Да будешь ты счастлива, и да не укоряет тебя сердце твоё за твой грех послушания. Не снимаю с тебя твоей воли; останешься ли ты в монастыре или выйдешь за человека, тобою избранного, да почиет на тебе Божие и моё прощение и благословение! Дайте мне образ, я благословлю её.

Исповедь кончилась. Отец Ферапонт читал разрешительные молитвы. Все стояли на коленях и плакали. Наконец отец Ферапонт приступил к святому причащению. Ещё раз умирающий сделал поклон всему предстоящему люду, прося прощения и отпущения, в чём виноват перед кем, и приступил к принятию Святого Таинства, примирённый с людьми и Богом.

Затем всех пригласили к слушанию благодарственного молебна. Все вышли и потом опять окружили его постель с поздравления-

ми и выражением надежды, что Бог, удостоив его принятия Святого Таинства, пошлёт ему облегчение. Большой очень устал и почти не в силах был говорить. Однако ж к вечеру он позвал Андрея и говорил с ним, завещая ему любовь и помощь братьям и сёстрам и сохранение преданий рода их. Он узнал, что брат сделал наследником всего своего имущества князя Андрея, и очень обрадовался, что имущество это значительно. При этом он сказал:

— Да, я знал, что брат в душе своей всегда был истинный Зацепин. Мы будем вместе лежать с ним.

Вечером над ним совершили обряд соборования, после чего он ослабел и уснул.

Ночью ему стало хуже. Он приказал жене позвать всех и просил отца Ферапонта благословить себя и начал читать отходную.

Отец Ферапонт надел епитрахиль, перекрестил его и начал.

Умиравший слабо и отрывисто повторял слова молитвы. Вдруг он замолк, затем вытянулся, вздохнул — и его не стало.

Так угас последний представитель тех начал, которые столько лет почили благослове-

нием над землёй Русской, — начал любви, взаимной доверенности и преемственного уважения к вековым преданиям родной старины.

«Вот тоже смерть, тоже спокойная, твёрдая смерть мужа! — думал про себя Андрей Васильевич, стоя за двумя гробами, отца и дяди, во время похоронного служения. — Оба умерли, смотря смерти прямо в лицо. Но какая разница? Один хотел, кажется, до дна выпить всё, что давала ему здешняя жизнь; другой думал только о будущем. Ясно, что у последнего была почва, на которой он мог основывать свою надежду; у первого же не было ничего. Кто же из них прав?»

Через минуту он отвечал сам себе: «Чтобы решить этот вопрос, прежде всего нужно быть человеком самому. Нужно самому проверить, на что именно мысль о жизни человеческой может и должна опираться. Но вопрос этот должен быть решён не только в отвлечённом смысле, но в смысле отношения человека к обществу, к его жизни и требованиям. После похорон еду в Париж и постараюсь найти разрешение всему, на что должна

опираться истина. Притом на мне лежит обязанность выполнить последнюю волю дяди».

Но едва схоронили прах двух Зацепиных, как ему, прежде своего отъезда, пришлось разрешать вопрос сестры. Оставаться ли ей в монастыре или выходить замуж за того, кого отвергал её отец, но кого потом, благословляя её, он дозволил ей признать своим суженым?

Речь шла о молодом человеке, прекрасном, образованном, бывшем учителе её братьев, а теперь занявшем в военной службе весьма почётное положение — инструктора, как бы его назвали нынче; о молодом человеке, самая фамилия которого показывала, что он уж никак не родовой потомок древних имён.

— Как ты думаешь, отец и брат? — спросила его сестра Аграфена Васильевна, стоя перед ним с видом просительницы.

— Право, не знаю, что и отвечать, моя милая! Полагаю, что во всех родовых фамилиях встречалось подобное. Особенно если ты думаешь, что будешь с ним счастлива и что с его стороны ухаживанье за тобой было не только пустым донжуанством. Знаешь, я думаю: выходи за него замуж будто против на-

шей воли, а потом мы простим. Тут будет ему испытание, потому что он невольно может подумать: «А как не простят?» Если любит искренно — на этом не остановится, а не любит, то, по-моему, не стоит и говорить!

Сестра обняла брата и поцеловала. Она в тот же день скинула монашеское платье. В своём Марьине она была уверена.

Проезжая Москву, Андрей Васильевич узнал о положении дел в Петербурге; узнал, что великая княгиня-правительница теснее сблизилась с Линаром, чем покойная государыня была с Бироном; что всюду говорят о фиктивном браке графа Линара с Юлианой Менгден как о деле решённом. Узнал, что немцы всё царствуют... Говорили всё это явно; говорили, что великая княгиня думает объявить себя императрицей, царствующей совместно с своим сыном, и что её дочери получат титулы великих княжон. Обо всём этом судилось и говорилось. В ответ на этот разговор Андрей Васильевич, как и все русские люди, спрашивал себя с тоскою и грустью: «Чего же ждать?»

Андрей Васильевич уполномочил прини-

мать дела и имущества после дяди и отца своего поверенного, поручив ему в сомнительных случаях обращаться к матери, и писал к нему, а сам, не заезжая в Петербург, уехал в Париж учиться и веселиться, как он говорил тем, кто спрашивал его о цели поездки.

VIII

Решилась

Настояния, с которыми обратились к цесаревне Елизавете о выходе замуж за принца Людвига Брауншвейг-Люненбургского, не вели ни к чему. Цесаревна отказала, твёрдо и настойчиво повторяя свой отказ, как к ней ни приступали со всех сторон. Ни угрозы, ни уговоры не помогали.

— Что это, матушка, ты выдумала? От замужества отказываться. Всё не по нам! Да что тебе, месяц с неба свести, что ли? — сказала ей великая княгиня-правительница, рассерженная её упорством.

Цесаревну глубоко оскорбил и огорчил этот тон её племянницы, но она выдержала

себя, зная, что на бесхарактерный каприз скорее всего действует видимость покорности и уступчивости. Поэтому, не показав даже тени неудовольствия, с скромным, умоляющим видом просительницы она начала свою вперёд обдуманную и приготовленную речь:

— Государыня, моя милостивая повелительница и дорогая, многоуважаемая сестрица, как вам самим благоугодно было мне приказать называть себя, — говорила цесаревна сдержанно. — Я всегда ваша слуга — послушница. Но я дала клятву не выходить замуж. Я не хочу оставлять России и маяться в чужих землях, как, сами знаете, ваша матушка Катерина Ивановна и наша общая благодетельница, покойная государыня, ваша тётушка, Анна Ивановна, в чужих землях маялись. И к чему? Смолоду, когда лета такие были, замуж не вышла, так теперь... Мои года, сестрица, уж ушли. В эти годы выходить замуж даже опасно. Наследство русского престола теперь, милостию Божиею к вам, сестрица, утвердилось в мужеском колене ныне царствующего императора, моего любезного внука, а вашего сына. Зачем же я выйду? Может, для будуще-

го, только смуту плодить, только совесть мутить. Да и какая я невеста на тридцать втором году, а ведь мне, государыня, тридцать второй, я уже старуха... Нет, моя всемилостивейшая повелительница, уж если я чем прогневила вас, если вам не жаль погубить меня и вы не желаете меня видеть близ себя, то, как мне ни тяжело, как ни мало склонна я к монастырской жизни, но, исполняя ваше повеление и пользуясь предоставленным мне вами правом выбора, я избираю лучше монастырь. Так, по крайней мере, я могу покойно молиться за ваше здоровье, за здравие и возрастание его величества, моего государя-внука, и ваше милостивое и славное правление...

Такого рода покорность тётки совершенно обезоруживала правительницу, так что, как ни настроят её предварительно со всех сторон и её муж, принц Антон, и наперсница Юлиана, и графы Остерман, Головкин и Левенвольд, наконец, даже и тот, слова которого она называла своим счастьем и дорожила ими, будто принесёнными ей свыше, граф Линар, присоединившийся к охраняющему её большинству, — как ни настроят её быть

твёрдой и строгой, разговор с тёткой закончился всё-таки ничем.

И принц Антон опять поднимал глаза к потолку, упирая их в летящего амура, и начал вздыхать, говоря об опасности видеть царицу не замужем, в Петербурге, окружённую преданной ей гвардией. Фрейлина Юлиана, зная характер правительницы и то, чем настроить её против цесаревны, опять начинала в её присутствии расхваливать красоту Елизаветы. Она так боялась исчезнуть из того царственного «мы», с которым всегда примешивала себя к власти правительницы, что готова была уверять Анну Леопольдовну, что один взгляд цесаревны несёт уже для неё опасность. Опять Остерман, Головкин, Левенвольд и он, сам он, граф Линар, и все их приспешники начинали твердить о несоответственности, несообразности и явной даже опасности, что русская великая княжна, дочь такого государя, каков был Пётр, и такая красавица, как Елизавета, не выдана замуж, подвергается всем сплетням и пересудам и может подвергать опасности самую династию.

Под влиянием этого общего хора Анна Лео-

польдовна опять начинала говорить с Елизаветой, но опять, от её мягкой и покорной речи, впадала в нерешительность, как бы сдавалась и начинала противоречить самой себе.

— Я не желаю вам зла, сестрица, — раз сказала она цесаревне. — Я желаю вам всего лучшего. Но ведь, согласитесь, нехорошо, что мы свою тётку, нашу великую княжну, дочь такого великого государя, нашего деда, до сих пор оставляем в девицах и только даём повод к самой несообразной клевете. Я не могу согласиться оставить вас как есть... Вы скажете, что принц Людвиг вам не нравится... Эх, боже мой, да разве мне нравился принц Антон?.. Мы сделаем его герцогом курляндским. Польский король уже согласился. Вышла же замуж тётушка за герцога курляндского, да ещё за дрянь-то какую? Будто все непременно по любви замуж выходят.

— И я готова была выйти за кого бы вы приказали мне, — отвечала цесаревна. — Непременно исполнила бы ваше приказание выйти замуж за принца Людвига, если бы только была помоложе. Но теперь, теперь... Нет, наша общая покровительница и повели-

тельница, я готова беспрекословно во всё повиноваться вам, готова себя не жалеть... но идти замуж не могу. Не оставьте, милостивая повелительница, если уж я так несчастлива, что прогневала вас чем, — прикажите лучше запереть меня в монастырь; для вас всё равно, я исчезну из глаз...

Против такого рода просьбы правительница обыкновенно не возражала. Она была по характеру слишком легкомысленна и слишком добра, чтобы быть в состоянии ещё лично настаивать на этом. Разумеется, она не могла и отказываться от того, что было так хорошо обдуманно и обработано её советниками и что, по их мнению, доказанному ими с осязательной точностью, было положительно необходимо для упрочения положения её самой и её сына. Поэтому обе они, и тётка и племянница, после такого разговора обыкновенно расставались, не кончив ничем; обе просили одна другую подумать и оставляли решение до другого раза, к явному неудовольствию Остермана, который особенно настаивал, чтобы дело это окончить в возможной скорости.

— Она в монастырь идти хочет! — говорила ему Анна Леопольдовна.

— Чтобы вид угнетённой иметь, чтобы вся гвардия её освободить желание возыме-ла, — отвечал Остерман. — Нет, всемилости-вейшая государыня, цесаревна в монастыре опасной птицей может стать!..

И он снова брал с правительницы слово поговорить твёрже и настойчивее.

И цесаревна с каждым днём начинала чувствовать, что настояния правительницы становятся упорнее, что её возражения и мольбы с каждым днём действуют на неё слабее. Она видела, что весьма легко может случиться, что в один день вопрос ей будет поставлен ребром: предложат или дать согласие, или в самом деле указать тот монастырь, который она избирает для спасения своей души. И она очень тосковала.

Лесток, пользуясь этим состоянием духа цесаревны, старался всеми мерами возбудить её.

— Вы испытали уже монастырскую жизнь и знаете, что это значит! — говорил он. — Знаете, как тяжела, как невыносима она. При-

том это касалось только одной внешности, и то более по вашей воле. А когда монастырь будет иметь право входить во все; когда будут наблюдать каждый ваш взгляд, ревниво следить за каждой вашей мыслью; когда чтение того, что вы читаете, будет поставлено вам в грех; разговор, с кем вы захотите говорить, будет поставлен в преступление; когда вы, рождённая, чтобы царствовать, будете голодать и трудиться; когда вы будете мучимы всем, чего вы не можете переносить, именно потому, что вы этого переносить не можете, — тогда, о, тогда вы поймёте, какой действительно грех совершили вы над собой! Вы поймёте, что, отказываясь от того, что вам принадлежит по праву и на что вы рождены, и предоставляя тиранить не только себя, но и всю Россию разным Биронам, Остерманам, Левенвольдам и, вероятно, Линарам, вы совершаете более чем самоубийство, совершаете преступление. Решайтесь же, наша прекрасная, всеми любимая цесаревна! Подпишите обязательство... Вы читали шведский манифест? Они обещают удесятерить свои усилия. Герцог голштинский, ваш племян-

ник, также явится в армию... Все желания ваши будут исполнены; нужно только, чтобы у них было что-нибудь, чем бы они могли подвинуть шведов. Нужно обязательство...

— На уступку завоеваний моего отца? — горячо отвечала цесаревна. — Никогда! Никогда! Я просила вас, мой дорогой доктор, никогда со мною даже и не говорить об этом. Вы сами говорите, что я любимая всеми ваша цесаревна; о, тогда я буду всеми ненавидимая, презираемая! Нет, ни за что! Вот что я даю, вот на что я согласна, если они мне действительно помогут: я плачу все издержки вооружения и войны; во всю мою жизнь даю Швеции ежегодную субсидию; отказываюсь от всех враждебных Швеции союзов; предоставляю преимущество в торговых сношениях; ни с кем не вступаю в союз, кроме Швеции и Франции; помогаю во всех их затруднениях и защищаю их интересы всеми силами империи; наконец, со стороны Финляндии округляю границы в их пользу. Более ничего, решительно ничего! Не потому, чтобы я не хотела, но потому, что не могу; потому что заслужила бы презрение не только всех русских,

но даже самой себя. Идите, доктор, объясните это маркизу, пускай войдёт в моё положение. Я делаю, что возможно; больше ни сделать, ни обещать не могу.

Лесток пожал плечами.

А в это время граф Линар, прощаясь с правительницей перед своим отъездом в Саксонию, убеждал её быть твёрдой и во что бы то ни стало заставить цесаревну выйти замуж.

Он перед тем только был у Остермана, и Остерман доказал ему, что пока цесаревна находится подле них, не устроена и может оказывать свою инфлуэнцию на гвардию и народ, который видит в ней дочь Петра Великого, — ни правление великой княгини, ни царствование её сына, младенца Иоанна, твёрдыми быть не могут, и предпринимать что-нибудь до окончательного разрешения этого главного вопроса невозможно.

— Мы стоим на вулкане, — говорил Остерман. — Взрыв этого вулкана зависит от цесаревны. Самый отказ её от замужества доказывает уже, что она не прочь воспользоваться своим положением.

— Вы бы сами поговорили об этом с вели-

кой княгиней-правительницей, граф, — заметил Линар. — Вам, как члену кабинета и первому министру, всего ближе выяснить...

— Э, ваше сиятельство, — отвечал Остерман, — неужели изволите иметь мнение, что я об этом пространнейших рассуждений не имел и всемилостивейшей моей государыне правительнице обо всём обстоятельно не докладывал? Нет, я объяснял всё досконально, сиречь весьма основательно. Я пунктуально изложил всю опасность, какая происходит от неустройства в замужестве цесаревны. Но государыня принцесса мне не верит. Она всё полагает, что я на стороне её супруга, принца Антона.

Не желает она вникнуть, что я действительно на стороне принца Антона стоял, но только при Бироне и против него. Тогда я думал, что всё же лучше принц Антон, чем Бирон, уже и потому, что он отец нашего царствующего императора, да хранит его Бог! А они, все эти Минихи, Менгдены, Головкины, хотят её уверить, что я и теперь против неё и думаю только о принце Антоне. Да я за неё жизни бы своей не пожалел и хоть сейчас го-

тов для её благодарности и для того, что ей полезно быть имеет, всего себя отдать; и теперь всей душой хлопочу о том, чтобы от опасности всякой ей предотвращение сделать. Выслушайте, граф, — продолжал Остерман. — Я не говорю того, чтобы цесаревна устраивала какой-либо заговор или делала бы какие приготовления. Но если она этого не делает, то только по беспечности её характера и потому, что люди, которых она к себе приближала, были не такого сорта, которые решились бы на что-нибудь, выходящее из обыкновенного порядка. А что, если она попадёт на человека, который её подтолкнёт? А возможность она имеет. За нею пойдут, как пошли за Минихом против Бирона, но как не пошли бы ни за мною, ни за принцем Антоном, ни за Гессен-Гамбургским. Да, говорят, и за Минихом-то пошли потому, что думали, что он идёт сделать револьт в пользу цесаревны Елизаветы.

В это время Остерману доложили о приезде английского посла, баронета Финча.

— Что вы желать изволите, ваше сиятельство, — спросил Остерман у Линара, — чтобы

английского посла я при вас принял или один на один и рассказал бы вам потом подробности нашей беседы?

— Я предпочитаю подождать один, — отвечал Линар.

— Проби в гостиную, — сказал Остерман официанту и поднялся сам.

Линар остался дожидаться.

После первых приветствий, высказанных взаимно друг другу, и обычных дипломатических вопросов, сделанных Остерманом о здоровье английского короля, его первого министра лорда *Гаррингтона* и принцев, также о речи, произнесённой *Гаррингтоном* в парламенте, а равно и о победе, одержанной благодаря этой речи министерством по вопросу землевладения в Ирландии, — одним словом, по выполнении всех обрядностей, с которыми дипломаты приступают к серьёзным объяснениям между собою, английский посланник сказал Остерману:

— Англия и наш всемилостивейший государь король, равно как и лорд первый министр, настолько желают всякого преуспевания России и возвышения и укрепления ны-

нешнего её правительства, что не могут не относиться подозрительно ко всему, что может стать на этом пути. По этому-то общему всех нас, англичан, желанию содействовать всеми способами возвышению и процветанию нынешнего русского правительства, министр *Гаррингтон* ещё весной доставил мне сведения о существовании здесь большой партии, весьма враждебной нынешнему порядку вещей. Партия эта, как я тогда передавал вам, граф, группировалась только около шведского и французского послов и главой своей признавала цесаревну Елизавету. Теперь, после объявления вам шведами войны, всемилостивейший король мой, особо озабочиваясь действиями этой партии, могущими быть крайне опасными для царствующего императора и великой княгини-правительницы, особо поручил обратить на них ваше внимание и прочитать составленную у нас в министерстве по собранным точным сведениям меморию, оставив вам с неё копию.

Меморией этой цесаревна прямо обвинялась в сношениях с шведами, производимых чрез посредство её доктора Лестока и фран-

дузского посланника маркиза Шетарди, и в сообщении им, что если они объявят себя защитниками прав прямых наследников Петра Великого, то будут встречены народом и войском не токмо как враги, но как избавители.

Остерман был поражён этим известием, но, как истинный дипломат, не дал почувствовать, что его тут что-нибудь особо интересует. Взяв передаваемую ему копию с мемурии, он хладнокровно сказал:

— Нам это сообщение передавал уже несколько дней назад наш агент. Он доставил нам даже подлинный манифест, который шведский главнокомандующий старается распространить, вопреки обычаям образованных государств. К сожалению, он не передал нам оснований, на которые опирается его донесение. Разумеется, можно арестовать Лестока и от него добиться признания. Сообщение, переданное мне вашим превосходительством, даёт к тому полный повод.

Англичанин, который, видя спокойствие Остермана, не полагал видеть в этом спокойствии ту выдрессированную хитрость, которой Остерман отличался. Он подумал, что и в

самом деле вся нить сношений опасной, как он говорил русскому правительству, партии давно известна, и с ужасом подумал, что его дружественной мемории может быть придан вид доноса, по коему начнутся пытки и терзания. От этой мысли он невольно крепко поморщился.

Поэтому, разглаживая дипломатически свои рыжеватые бакены, он сказал с своею вечной флегмой:

— Дружеское сообщение, делаемое одним правительством другому, ни в каком случае не может служить документом для обвинения кого-либо. Оно только предупреждение. Без всякого сомнения, ваше правительство найдёт более точные доказательства для расследования и не вмешает в ход дела дипломатических сообщений моего короля; мы же с своей стороны употребим все меры, чтобы помочь русскому правительству в его изысканиях для раскрытия интриги, могущей быть опасною вследствие видимого французского влияния.

Остерман заверил посланника, что его сообщение будет содержаться в совершенной

секретности, что о нём не будет знать никто, кроме него, Остермана, и просил не оставлять дальнейшими извещениями. На этом они расстались.

Остерман в ту же минуту предъявил мемурию Финча графу Линару в подлиннике.

— Вот, ваше сиятельство, соизвольте прочитать. И вы, и государыня великая княгиня-правительница извольте быть недовольными, что я всё откладываю принятие великой княгиней титула императрицы, царствующей совместно с сыном. Но подумайте: как тут приступить к такому важному делу, как изменение статуса и отрицание дающего права на царство завещания покойной императрицы, когда, вы видите, даже с неприятелем военным в альянсы входят, советы дают и помощью обнадёживают? И всё вокруг цесаревны кружится. О Шетарди я писал Кантемиру. Нужно сделать, чтобы его отозвали, но сделать так, чтобы не обидеть французскую щекотливость. Я знал хорошо, что связью между всеми ими служит Лесток. Недаром барон Нолькен, бывший шведский посол, здоровый, как норвежский бык, каждую неделю раза по

три хворал и пригласал лечить себя Лестока. Но не будет маркиза, нет теперь шведского посланника, не будет Лестока — будут другие, будут, может быть, более решительные. Дело не в них, основание всему — цесаревна Елизавета. Выдайте её замуж, отправьте в Митаву, окружите почётом, но чтобы в этом почёте было полное отдаление от всяких надежд на присвоение себе отцовских прав, — и вы станете твёрдо, для вас не будут опасны ни Лесток, ни Шетарди. Скажут, есть внук Петра Великого. Да. Но каков то он ещё будет? Вызовет ли он в войске и народе симпатию? Сумеет ли поставить себя так, чтобы быть опасным тоже внучке Петра, хоть и от другого колена, но уже царствующей, уже владеющей? Это весьма сомнительно, тем более что, воспитываемый в немецких землях в лютеранской религии, он будет слишком далёк от русского народа. Цесаревна же близка к нему. Она им любима. Поэтому вопрос о выдаче её замуж — вопрос настоящий, вопрос насущный для благополучного царствования ныне владеющей линии; и если вы можете, граф, употребить ваше влияние, то ничем вы

так не укрепите положение нынешнего правительства, как уговорив великую княгиню выдать цесаревну замуж, хоть бы даже для того пришлось прибегнуть к насилию. После можно объявить себя императрицей и делать всё, что будет благоугодно и что может вести только к укреплению и возвышению. Не будет главной причины, способной вызвать, как я уже имел честь представлять, взрыв вулкана, — можно будет и не бояться взрыва.

Настроенный такого рода беседами, которые одинаково повторялись как самим Остерманом, так и его врагами, успевшими уже, для своего усиления, убедить правительницу возвратить из ссылки Бестужева-Рюмина, граф Линар решил со своей стороны действовать решительно. Он понимал, что как Остерман, державшийся принца Антона, так и он сам, и Головкины, стоявшие, разумеется, за принцессу Анну Леопольдовну, и даже миниховцы, для противодействия которым, равно как и в подрыв влиянию Остермана, признан нужным Бестужев, — все одинаково согласны в том, что следует уничтожить, лишить значения цесаревну Елизавету. В ней, и в одной

ей заключается вся опасность, вся шаткость положения нынешней правительницы и царствующего императора. Не будь её, привлекающей к себе общее сочувствие, вызывающей восторг даже в противниках её отца, значение её племянника само собою станет темнеть, искоренится, и русские привыкнут в потомстве Иоанна Алексеевича видеть наследственную линию своих императоров, видеть потомков того же Петра, только с боковой линии, линии, впрочем, старшей.

«Да, русские слишком безучастно относятся к тому, кто ими правит; они слишком привыкли к рабству, чтобы рассуждать, — думал граф Линар. — Не будет у них руководительницы, не будет опоры, — и все ухищрения разных Лестоков, Нолькенов, Шетарди будут мыльные пузыри, лопнувшие бураки фейерверка, сверкнувшие в воздухе и упавшие к ним же на голову.

Народ везде привыкает к зависимости по силе общей инерции; инерция русских в этом отношении особенно замечательна. У них действительно кто ни встал да палку взял, тот и капрал.

Стало быть, вопрос в том, чтобы цесаревны не было, чтобы она была удалена, и наилучший вид такого удаления, без всякого сомнения, — замужество. Какой вид удаления можно предпочесть этому, в котором предполагается семейное счастье, радость, любовь? Монастырь? Но тут она будет заключённая, страдальца, вызывающая сострадание, стало быть, и сочувствие. Кроме того, всякие монастырские двери раскрываются, всякие обеты снимаются. Явится предлог, — скажут, что эти обеты были насильственными... Смерть? Но смерть, даже естественная, вызывает клевету, народную ненависть, которую враждебные элементы будут, разумеется, питать и раздувать. Я уже не говорю о том, когда в прекращении мешающей нам жизни действительно принималось участие. А тут пусть рассуждают как хотят; удивительно ли, что девица её лет захотела наконец выйти замуж и стала счастливой женой, разделяющей интересы своего мужа, наконец, счастливой матерью. Это такого рода обеты, которые не сбросишь с себя, как монастырский клобук, не отопрёшь, хотя бы золотым ключом, как ворота крепо-

сти. Да, замужество, непременно замужество! Нужно непременно, чтобы Анюта на этом настояла».

Вот с такими-то мыслями о русских, о положении дел и потребностях минуты граф Линар решил настаивать перед Анною Леопольдовною о необходимости безотлагательно выдачи цесаревны Елизаветы Петровны замуж, во что бы то ни стало, тем более что и подходящий к тому жених, принц Людовик, был налицо.

— Что же я сделаю? — говорила правительница в ответ на настояние Линара. — Я уже грозила ей монастырём, и она согласилась лучше идти в монастырь, чем замуж! Она говорит, что там за меня молиться будет.

— Она очень ловка, эта цесаревна Елизавета, и слишком надеется на твою доброту и снисходительность, — возражал Линар. — Она говорит о молитве за тебя, а сама поднимает шведов и в твоих глазах составляет себе партию. Тебе нужно быть потвёрже, порешительнее. Нужно, чтобы она видела, что в твоей угрозе не только одни слова.

— Если ты хочешь, чтобы я в самом деле

заперла её в монастырь, я сделаю. Скажу завтра же Головкину и Остерману, чтобы они распорядились.

— Это не так легко. Ни Головкин, ни Остерман, пожалуй, не найдут помощников. Прежде всего нужно увести отсюда гвардию, на которую она, видимо, опирается. Или вот что: нельзя ли как, не приступая к чрезвычайным мерам насилия против её личности, действовать на людей к ней близких?.. Кто к ней теперь близок? — спросил он.

— Не умею тебе сказать, — отвечала Анна Леопольдовна с улыбкой. — Про неё так много говорили, что, право, кажется, нельзя верить. А теперь, ну, кто: Шувалов, Бутурлин или этот певчий, как его... да, Разумовский; до того, говорят, был какой-то Шубин, которого покойная тётушка приказала убрать. Вот у меня так только один грех, это ты! — задумчиво проговорила Анна Леопольдовна.

— Прекрасная повелительница, — отвечал Линар, становясь перед нею на одно колено. — Преклоняюсь перед тобой за этот грех, если можно назвать грехом чистую взаимную любовь нашу. Но теперь не о любви де-

ло, — продолжал он, вставая и садясь подле. — Мы не хотим мешать ничьей любви. Цесаревне можно тонко дать понять, что с выходом замуж она может сохранить хоть всех, любить кого угодно. Принца Людвига, надеюсь, можно уговорить быть неревнивым. Ведь это брак политический. Между тем нужно представить, что с её отказом, вызывающим сомнение в её намерениях, она подвергает опасности всех близких себе; что своим отказом она не только может подвергнуть их гибели, но вызвать грозу даже против самой себя. Вопросы политической жизни бывают так важны, что могут вынудить к мерам крайним. А эти крайние меры могут вести не только к монастырю, но и к пытке!

— Пытке? — с испугом повторила Анна Леопольдовна.

— Да, пытке! — жёстко повторил Линар. — Она государственная преступница, если сошлась с неприятелем. И если показания Лестока набросят на неё тень, то... Пётр Великий приказал же пытать своего сына, который вдесятеро менее был виновен, чем она. Он не сносился с воюющим неприятелем. А

если она сносится непосредственно с внешним врагом и, составляя внутреннюю партию недовольных для мятежа и возмущения, предлагает ему в этой партии опору, то чего она заслуживает? Если только ей это скажут и она будет уверена, что ей говорят не на ветер, то, поверь, она сейчас же согласится на всё. Тогда все препятствия будут устранены и ты будешь моя императрица-повелительница, и императрица не по имени только, но по существу и по народной любви к тебе, так как эту любовь не будут уже смущать интрига и пронырство. Поверь, мой друг, величие души зависит главнейше от твёрдости. Твоё положение требует этого величия. Если я, твой первый и преданный друг и поклонник, решаюсь для тебя надеть на себя цепи Гименея без радостей любви, решаюсь на это только для того, чтобы не компрометировать твоего положения двусмысленностью, то ты сама, для себя и для меня, для твоего сына и будущего России, должна быть настолько твёрдою, чтобы не уступать в том, что составляет твоё прямое право требовать; не уступать и не отступать ни перед упорством, ни перед

лукавой мольбой и покорностью. Ты дашь мне слово в этом, не правда ли, Аннетта, милая, прекрасная моя государыня?

В это время к ним вошла Менгден, и началось серьёзное совещание о всех подробностях. Это совещание было последним. Линар, взяв слово с Анны Леопольдовны быть твёрдою, взяв слово с своей номинальной невесты поддерживать её в этой твёрдости и уведомив обо всём этом Остермана и Головкина, на другой день рано утром уехал в Саксонию, чтобы взять там увольнение и явиться уже русским подданным, счастливым женихом Юлианы, и занять таким образом при Анне Леопольдовне то место, которое в течение десяти лет занимал при её тётушке герцог Бирон, и на тех же самых основаниях.

Прошло несколько недель. Была осень. Цесаревна Елизавета, грустная, печальная, сидела у себя и смотрела, как по Неве шёл лёд и как от воды поднимался густой пар, замерзавший в воздухе. Нева становилась. Улицы уже занесло снегом. Морозило. Цесаревна была бесконечно грустна. «Наступает зима, — ду-

мала она, — зима в природе, зима и в моей жизни. Уж лучше бы смерть, поскорей бы, по крайней мере». Впрочем, ей и было отчего грустить.

Настояния правительницы были настолько сильны и возвышались с таким упорством, что силы её сопротивления начинали слабеть и она начинала бояться уже самую себя. Слово «монастырь» не раз уже слышалось в их разговоре, и слышалось вылетевшим не из уст цесаревны. Его уже высказала правительница, и в таком тоне, что можно было ежедневно думать, что вот не сейчас, так после, не сегодня, так завтра потребуют категорического ответа на вопрос: «Замужество или келья?» — и что от этого вопроса нельзя будет отделаться ни упорством, ни мольбой, ни уклончивостью. Вопрос будет поставлен ребром, лицом к лицу, в упор.

«Теперь они боятся гвардии, — думала Елизавета, — но вот гвардия завтра или послезавтра уходит. Она уйдёт, и бояться им будет некого! А дело ведёт мой старый злодей Остерман, и от него не отделаешься ничем. Между тем если бы я... Неужели в самом деле

они осмелятся меня запереть в монастырь? — вдруг спросила себя Елизавета. — А почему же и не осмелиться? Осмелились же они лишить меня моего наследства, обойти кругом, осмеливаются наносить мне оскорбления, угрожать, если я не приму их сватовства. Кто помешает им запереть меня в келью? Вот придут возьмут, схватят, увезут, как тогда схватили и увезли моего первого друга Алексея Никифоровича, так что я не успела даже оплакать его, не успела даже сказать ему про-сти».

Вошёл Лесток.

— Я боюсь к вам нынче входить, прекрасная цесаревна, боюсь, чтобы вы не приняли меня за ворона, который умеет пророчить только несчастье. Но что ж делать, когда не приходится приносить к вам ничего, кроме печальных известий о гнёте, стеснениях и насилии. За грусть этих новостей вы, главнейше, пеняйте на себя, а наше дело, дело преданных вам людей, предупреждать о том, что есть!

— Ещё какую печальную новость вы принесли мне, доктор?

— Я принёс их две: одна касается собственно меня, другая — меня и вас. Так как все люди больше или меньше эгоисты, то из эгоизма я начну говорить о себе: меня приказано арестовать!

Лесток сказал это юмористически, хотя с видимой натянутостью, и улыбнулся. Цесаревна побледнела.

— Мне, собственно, за себя от этой новости смущаться, кажется, не от чего. Я давно должен был к ней готовиться. Должен был готовиться ещё в Москве, когда я, увлечённый видимостью любви к вам войска, советовал арестовать верховников, отстранивших вас от наследства, впрочем на свою голову, и принять то, что вам по праву принадлежало. С тех пор, вот уже одиннадцатый год, каждый день я жду, и не только простого ареста, но... Да теперь, впрочем, простым арестом, разумеется, и не отделаешься. Придётся побеседовать с Андреем Ивановичем Ушаковым. Принимая в основание, что в течение более десяти лет я только и думал о том, как бы сделать, чтобы моя прекрасная цесаревна стала истинной царицей-повелительницей, теперь я

не могу иметь претензии отделаться от такого приятного разговора. Я, впрочем, не смущаюсь, тем более что приказание обо мне дано условно, то есть когда увидят меня у Шетарди или вместе с Маньяном. Дурак я буду, чтобы они меня увидели. Ну а если уж в самом деле попадусь, то поговорить со мной как следует им всё же не удастся. Несколько крупинок прекратят непременно всякий разговор, как бы ни был он для них интересен. Но вот другая мысль занимает меня гораздо более. Остерман настаивает, чтобы отсюда был отозван Шетарди, стало быть, чтобы моя цесаревна потеряла последнего человека, который готов быть её опорой и поддержкой.

— Вы мне сообщаете чрезвычайно неприятные вещи, дорогой друг, особенно то, что вы говорите о себе. Неужели ещё мало воздвигли они на меня гонений? Неужели я должна бояться и за всех близких себе? Но что же вы полагаете делать? Хотите, чтобы я ехала, говорила...

— Нет, цесаревна, нет! Поедете вы, станете говорить, только усилите их подозрения. Тогда мне труднее будет отделяться от их

притязаний или скорее придётся прибегнуть к крупинкам. Сделать для меня то же, что и для себя, чтобы вывести всех нас из того сомнительно-тяжкого положения, в котором мы все находимся, и отделаться от неприятного замужества вы можете только одним, и это одно — начать царствовать!

— Но что же для этого нужно? Каким образом?..

— Таким же, каким Миних арестовал Бирона. Этим способом вы также можете арестовать всех ваших врагов. За них слова ни от кого не услышите! Ну а если вы не хотите, то ожидайте, что вот сегодня арестуют меня, завтра других вам близких, а потом доберутся и до вас. Вы скажете, что ни в чём не повинны. Но, во-первых, вам не поверят; а во-вторых, есть вина важная, и к ней не нужно приискивать ещё какие-либо другие вины. Это слушание воли самодержавной правительницы, отказ от предложенного ей вам замужества! Спаси себя от такого обвинения, опять скажу, вы можете одним — именно начать царствовать!

— Но для ареста Бирона повёл войска Ми-

них, фельдмаршал, которому войска привыкли повиноваться, а у меня кто?..

— Вы! Дочь Петра Великого.

В это время вошёл Воронцов и принёс какую-то ведомость сделанным и предположенным расходам.

— Ну вот и Михайло Ларионович не откажется подтвердить, что вам остаётся одно, чтобы не сгинуть среди каменного гроба, может быть, замурованного. Этот способ — принять на себя кормило правления и спасти себя и всех нас!

— Да, государыня, должен и я сказать, дело натянуто со всех сторон. Сейчас гвардия получила приказ выступить через три дня к Выборгу под тем предлогом, что будто Левенгаупт идёт на Выборг. А уйдёт гвардия, мы и все вам близкие должны ждать больших и больших неприятностей. Я уже слышал мельком, что Андрею Ивановичу Ушакову приказано приготовиться принять сначала доктора, потом меня и Шуваловых, обоих, и даже Мавру Егоровну. Нас велено пытать. А уйдёт ли Пётр Иванович и жена его от пытки, не знаю, но знаю, что наша судьба уже реше-

на — вырезать язык и на заводы... О себе я ничего не говорю. Я настолько вами облагодетельствован, что если мне придётся за вас пострадать, то я Бога благодарить должен. Он даёт мне случай доказать вам мою преданность. Но дело в том, что гроза не ограничится нами, она коснётся, государыня, и вас...

— Но что же я буду делать, мой добрый Воронцов? — горячо стала говорить Елизавета. — Доктор говорит арестовать принцессу Анну, как Миних арестовал Бирона. Но Миних был фельдмаршал. А я? Что сумею я? Я не сумею даже направить их как следует, если бы они меня и послушали... А если они не слушают? Миних, как фельдмаршал, мог распорядиться. Он знал, что не может встретить препятствия; отправил, например, Измайловский полк за Неву; везде приготовил себе поддержку; везде мог отстранить противодействие. А что я могу сделать, что представить, чем распорядиться? Если я поведу одни войска, а мне явятся навстречу другие? Если я прикажу идти, а меня не слушают, то что я сделаю? Если, когда я буду арестовывать, меня самую арестуют? Ведь тогда будет уже не

монастырь, не замужество. Это будет вооружённый бунт, и за него приговорят по меньшей мере к четвертованию. Я не боюсь смерти, но умереть на плахе...

— Да, дело, требующее великой отваги, — сказал Воронцов, — но если такой отваги недостаёт у дочери Петра Великого, то где же возможно её отыскать. Такой отваги, значит, отыскать нельзя. Нужно мириться с тем, что есть, и вам принимать предлагаемое замужество, а нам, — ну нам отделяваться кто как умеет! Авось не всем отрубят головы. Идя сюда, ваше высочество, я услышал о приказе, данном о выступлении гвардии, и сейчас подумал, что этот приказ должен решить вашу и нашу судьбу. Нет сомнения, что с гвардией вы теряете ту опору, которая доселе заставляла их опасаться прибегнуть в отношении вас к насилию. Теперь вы будете в их руках!

— Не хочу! Не хочу! — нервозно сказала цесаревна, взяв себя за голову. — Я не могу!.. Постойте, я ничего не могу решить... Голова кругом идёт!.. Подождите, завтра я дам ответ, боже мой, боже, что я должна делать?..

Этими словами цесаревна отпустила Ле-

стока и Воронцова. Она, видимо, колебалась. Она понимала, что дело не терпит отлагательств, что откладывать нельзя, и, естественно, боялась, не знала ни что, ни как предпринять. Множество случайностей, которые могли встретиться в её предприятии, бросались ей в глаза. Она дрожала перед этими воображаемыми случайностями и думала: «Мне ли, слабой девушке, перевернуть всё царство?» Но сейчас же на этот вопрос ей вспоминались слова Воронцова: если в дочери Петра Великого не отыщется отваги на это великое дело, то где же такую отвагу искать?

Вечером того же дня цесаревна поехала в Зимний дворец. Был понедельник — куртаг при дворе Анны Леопольдовны; день её приёма. Цесаревна думала: «Постараюсь рассеять её подозрения, а главное, не удастся ли убедить прекратить их сватовство».

Войдя во дворец, цесаревна увидела, что она сделала большую ошибку, приехав сюда. Правительница едва кивнула в ответ на её поклон и не ответила на приветствие. Она видела, как старались удалиться от неё придворные, чтобы она не заговорила с ними. Ле-

венвольд сделал даже прямую невежливость, не ответив на её вопрос о принце Антоне. Правительница ходила нервными шагами по зале, подходя иногда к Юлиане Менгден и перешёптываясь с ней. Наконец она ушла. Через минуту к цесаревне подошёл камер-фурьер и объявил, что правительница просит ее к ней в кабинет. У цесаревны невольно сжалось сердце, но делать было нечего, она пошла.

— Что это, сударыня, — начала горячо и гордо говорить Анна Леопольдовна, — я ноне каждый день получаю об вас известия одно другого лучше, одно другого интереснее. Вам недовольно было сойтись с этим отъявленным мерзавцем, этим интриганом Шетарди, французским развратником, который для своего безбожия готов перевернуть целый мир; вам мало было подстрекать наших неприятелей-шведов, которые прямо объявляют, что они сражаются за вас; мало смущать гвардию и входить с солдатами в разные конфиденсы; вы ещё выдумали давать неприятелям нашим инструкцию, вздумали учить выписать вашего племянника, будто

бы истинного наследника империи по праву. Ваш доктор снуёт всюду, разносит вести, делает всякие своды и переводы. Вот я сейчас получила письмо из Бреславля, там описываются все его факции. Ну да я приказала его арестовать, первый раз, как увидят его с Шетарди или Маньяном. Там мы посмотрим, что он перескажет; но я не хочу, чтобы и вы виделись с Шетарди; слышите, я не хочу! Я не позволяю вам!

— Ваше высочество, что мне делать, когда он приезжает? Разумеется, раз или два могу отказать, сказать, что дома нет или нездоровя, но отказывать всегда посланнику дружественной державы едва ли будет удобно и возможно. Впрочем, от вас зависит приказать Остерману сказать Шетарди, чтобы он ко мне не ездил...

— Что вы мне рассказываете! Вы знаете, что этого нельзя. Но чтобы этого не было, понимаете! Чтобы все эти конклавы да комплоты вы изволили оставить! Я хочу! Понимаете, хочу! В противном случае, я должна буду иначе распорядиться! Извольте принимать честное предложение... Или вы предпочитаете

монастырь? Хорошо! Мы остановимся на этом; мы не задумаемся отправить вас хоть в Якутск, к вашему Шубину!.. Слышите! Я хочу, чтобы на той неделе вы изволили дать мне положительный ответ. Принц Людвиг не будет стеснять вашего поведения, которое неприлично! Я должна вам сказать это и прибавить, что далее такое поведение я терпеть не намерена.

— Я не полагаю, чтобы в мои годы я могла сделать что-нибудь неприличное! — горячо отвечала Елизавета, выведенная совершенно из терпения. — Неприлично, по-моему, вот выйти замуж, а потом гоняться за молодым посланником, а для прикрытия женить его на своей фрейлине. Но я не замужем...

— Что вы хотите этим сказать? — с упорной злобой и решимостью сказала правительница. — Будете замужем, это я вам говорю! Не забудьте, что сношения с неприятелем есть измена, государственное преступление, подвергающее виновного, кто бы он ни был, пытке и смертной казни. Вы сами знаете, что ваш отец не остановился и велел пытать даже родного сына. Я ещё слишком добра, что с

вами разговариваю; мне нужно было бы прямо арестовать вас! И я арестую! Я прикажу...

Принцесса так разгорячилась, что уже не помнила, что говорила. Притом цесаревна заметила, что в какой степени она постоянно отстраняла её гнев своею уступчивостью и покорностью, в такой же степени она вызвала теперь её гнев и озлобление противоречием. Совершенно как у капризного ребёнка, который, разгорячась, не помнит себя.

Анна Леопольдовна разгорячилась в такой степени, что её не привели в себя ни слёзы цесаревны, ни её слова, желавшие её успокоить. Она только и твердила, чтобы ей на той неделе был дан ответ, и ответ удовлетворительный относительно принца Людвига, иначе она распорядится по-своему.

Расстроенная, разбитая и огорчённая до глубины души, цесаревна приехала домой, проплакала почти всю ночь и заснула только к утру.

На другой день Лесток, как сумасшедший, ворвался в её комнату, когда она лежала ещё в постели.

— Я к вам опять с печальною, страшною

новостью, — сказал Лесток. — Велено арестовать и убрать Разумовского, истиранив его предварительно, как истиранили они, помните, Шубина.

— Алексея?..

Цесаревна вскрикнула и упала на подушку без чувств.

Когда стараниями Лестока она пришла в себя и, набросив что-то на плечи, с распущенными волосами, плачущая уселась в кресло, Лесток рассказал ей подробности относительно привезённого им известия. Он говорил:

— Они думают, наша прекрасная цесаревна, что ваша привязанность к этому молодому человеку мешает вашей решимости принять их предложение; думают, что, отстранив его от вас, они отстранят самое важное препятствие вашему согласию. Цесаревна, вы помните, как вы страдали за Шубина. Помните, с каким отчаянием слушали вы от меня ответ Ушакова о мучениях, им перенесённых. Неужели вы можете согласиться на то, чтобы все, на кого упадёт ваше милостивое слово, были подвергаемы жесточайшим истязаниям? Если вы не жалеете себя, не жа-

леете нас, преданных вам всей душой, то спасите хоть этого юношу, так беззаветно увлечённого вами и так искренне и сердечно вас любящего...

Слушая эти слова, цесаревна ломала себе руки.

— За что он, — продолжал Лесток, — не испытал ещё жизни, встретив одну только радость в глазах ваших, должен будет не только лишиться отрады видеть вас, но, изуродованный и искалеченный, где-нибудь в тундрах Сибири клянуть тот час, который в настоящем ему кажется раем?

Цесаревна слушала его безмолвно. В лице её не отражалось ни кровинки, оно, казалось, было безжизненно. Вдруг в её глазах как бы сверкнул огонёк. Она сложила крестообразно на груди свои руки, вытянула голову и с умилением взглянула на висевший в углу образ Спасителя.

«Господи, — сказала она про себя. — Ты видишь сердце моё? Никому я не желала зла! Не жаждала я власти и не завидовала им, имеющим власть. Но если я могу сама переносить страдания и прощать, то не должна и не могу

подвергать страданиям тех, чья вина заключается только в том, что они любят меня, служат мне. Прости же меня, Господи, и не вмени, что я сделаю, в грех мне!..»

На лице цесаревны видно было умиление и восторг. Она молилась. Лесток молчал.

После нескольких минут общего молчания, в которые, кажется, можно было слушать биение её сердца, цесаревна сказала спокойно:

— Да, доктор, вы правы! Я могу страдать и прощать свои страдания, но отдавать на страдание других за любовь ко мне я не могу и не должна. На это я не имею права! Делать нечего, я решаюсь! Прикажите прислать мне к вечеру несколько преданных гренадеров, а теперь оставьте меня одну.

Взглянув на прекрасное и гордо-спокойное лицо цесаревны, полное какого-то неизъяснимого выражения величия и покорности судьбе, Лесток невольно поклонился. Он видел в ней ту же красоту, которую привык видеть всегда, но эта красота была освещена новым светом; в ней являлось что-то неземное, что-то высшее; являлось то, что вызывает восторг

и поклонение.

«Так создавались древние типы, — подумал Лесток. — Принимали человека в ту минуту, когда он выше себя. — И Лесток ушёл, думая: — Боже мой, как она прекрасна!»

IX

Переворот

Гренадеры явились в одиннадцать часов вечера. Цесаревна не выходила. Она весь день просидела у себя в комнате, не принимая никого. Лесток, Воронцов, Шуваловы и Разумовский с беспокойством поглядывали друг на друга, как бы задавая один другому вопрос: «Что будет?» И ни один не знал, что отвечать.

«Ну, придут гренадеры, — думал Лесток. — Она станет говорить, жаловаться, потом заплачется, и ничего. А завтра дадут знать Ушакову, принцу, будет знать Остерман... Хоть поговорить бы...» Он спросил о цесаревне камер-медхен; та отвечала: «Не приказали себя беспокоить, не кушали ничего, кроме кусочка

хлеба утром с чаем, и сидят, запершись». — «Такое ли время, чтобы теперь запираяться, когда нужно каждую минуту ждать, что придут и возьмут...»

Шуваловы тоже ходили, опустив голову, сами не свои. Она не пустила к себе даже Мавру Егоровну.

— Оставь меня, Мавруша, — сказала она через двери. — Я здорова, только дай мне побыть наедине с собой...

Но более всех смущён и расстроен был Алексей Григорьевич Разумовский. Ему сказали, что его хотят брать к ответу перед Ушаковым. «Нехай их берут! Що було, то було, и баать о том нечего. Я ны дівчина, що мене бы пугалом запугали. От меня как есть слова не выжмут, только бы ясочка наша здорова була!»

И он метался из стороны в сторону, стараясь узнать, что с цесаревной и здорова ли она.

Когда двенадцать гренадеров-урядников Преображенского полка явились в караульную комнату дворца, Лесток пошёл доложить сам. По первому его слову она вышла. В чёрном платье, с чёрным, накинутым на голову

кружевным вуалем и золотым, осыпанным бриллиантами медальоном с портретом отца на груди, — она была величава, была прекрасна, была именно тип решимости и спокойствия. На глазах её виднелись следы слёз — явный признак колебания, внутренней борьбы. Лицо её носило ещё признаки этой борьбы, оно было бледно. Но ни колебания, ни борьбы уже не было. Она была тверда и уверена в себе, будто вперёд знала, что должно было быть. Она велела позвать гренадеров в залу и спокойно, величаво, с любезной улыбкой вышла к ним, делая рукой знак общего приветствия.

— Здравствуйте, дети мои! — сказала она тихо и ласково. — Я обещала, когда будет нужно, прислать за вами; видите, я сдержала своё слово. Хотите ли служить мне?

— Рады стараться, ваше высочество, матушка цесаревна! Рады все головы сложить за тебя! — грянули гренадеры. — Вели — все живыми в гроб ляжем!..

И гренадеры окружили её.

— Матушка цесаревна, — начал говорить урядник, — все наши умереть готовы за тебя,

только нас от тебя уведут! Завтра второй батальон, а послезавтра и мы уходим. Сердце замирает, как подумаем, что-то с тобою, государыня, без нас сделают? Веди нас сейчас, государыня цесаревна, клянёмся умереть за тебя!

— Готовы умереть за тебя! — в один голос, как один человек, повторили гренадеры.

— Дети мои, — сказала в ответ цесаревна, — ведь и я за вас готова велеть в гроб себя положить. Да благословит же Бог наше начинание! Идите, соберите тихонько свою роту, прихватите и из других, кто захочет, из надёжных, — я сейчас сама к вам буду!.. — Она подала ближайшему к ней гренадеру руку, тот поцеловал её, потом упал перед ней на колени и проговорил восторженно:

— Государыня! Как Бог свят, ни жены, ни детей не пожалею, в огонь за тебя пойду!..

— И мы, и мы, — вторили гренадеры, — не выдадим!.. — И все упали на колени перед нею.

Она дала им по очереди перецеловать свою руку и сама поцеловала каждого в голову. Потом она вынесла крест и сказала:

— Клянусь на этом кресте, оставленном

мне великим отцом моим и бывшем с ним в великий день Полтавской битвы, — клянусь ни себя, ни жизни своей не жалеть для вас и ваших товарищей! Клянусь быть вам матерью, как вы — дети мои! Если Бог явит свою милость к нам и России и благословит успехом, то ваша верность и преданность не забудутся; а теперь клянитесь и вы за себя и товарищей ваших, что вы мне не измените и меня не оставите!

Гренадеры с благоговением стали подходить к кресту, повторяя слова присяги.

— Теперь идите, соберите товарищей, расскажите им всё, что здесь было и что я говорила вам, и ждите меня смирно, чтобы никто не видал и не слышал вас.

И она осенила их крестом. Гренадеры смотрели на неё как очарованные, пока один из них не сказал:

— Идём, братцы, соберём молодцов. Мы ведь присягали умереть за цесаревну.

Они ушли, ушла и она, сказав Воронцову, чтобы он распорядился приготовить сани.

Войдя к себе и прижимая крест к своей груди, она бросилась на колени перед обра-

зом Спасителя.

«Сниспошли Господь благословение Твоё моему началу для блага России. Клянусь перед Тобою: ни злобы, ни мести да не будет в царствовании моем! Клянусь, не подпишу ни одного смертного приговора, не отниму ни от кого жизни, данной Тобою. Да будет везде милосердие и правда, да снизойдёт на Россию благодать Твоя!..»

Затем сверх своего платья она надела кирасу и пошла.

— Доктор, вы сопровождаете меня! — сказала она Лестоку. — И ты, Ларионыч, едешь! — прибавила она Воронцову. Шувалов стоял тут же, но она не сказала ему ничего. К ней подошёл Разумовский:

— Матушка, а я? Дозволь и мне...

— Ты оставайся здесь и молись за меня! — твёрдо сказала Елизавета тоном, не допускающим возражения, и вышла. Навстречу ей бежал старый музыкальный учитель Шварц, живший во дворце на пенсии.

— Ты куда, старик? — спросила Елизавета.

— Матушка, дай хоть взглянуть на тебя, хоть ручку поцеловать...

— Едем со мною; надеюсь, что тебя-то не станут тиранить на пытках!..

Сани с цесаревной и приглашёнными ею лицами покатили к Преображенским казармам.

Гренадерская рота Преображенского полка, в полном сборе, с заряженными ружьями в руках, сидела, притаившись, на дворе Преображенских казарм.

Офицеры стояли в кучке и наблюдали, чтобы не было ни разговоров, ни шуму. К ним так же, как и к солдатам, присоединилось множество охотников. Цесаревну любили. Все ждали молча.

— Не видать ещё? — спросил Хитров, подпрыгивая, чтобы согреться. — Сегодня, однако ж, морозец, и крещенскому под стать!

— Молчи! Едут! — отвечал Грюнштейн, оправляя свой шарф, за которым у него был заткнут пистолет. — Смотри, Хитров, не отставай; гаркнем дружно: дескать, за тебя, цесаревна, умереть готовы!

— Не тебе меня учить, не мне тебя слушать, — отвечал с досадою Хитров. — Мы ведь русские и за свою цесаревну не только

кричать, а и взаправду голову сложить готовы.

Сани уже подкатили. Цесаревна вышла, прижимая к груди своей крест, который привезла с собою.

— Ребята! — сказала она звонко. — Вы знаете, чья я дочь? Я дочь вашего государя Петра Первого, Великого, и вашей государыни Екатерины Алексеевны! Вам говорили ваши товарищи, зачем я собрала вас. Вот на этом кресте я клялась умереть за вас, клянитесь же и вы не оставлять меня и, если будет нужно, умереть за меня!

— Клянёмся, матушка ты наша! Родная ты наша! Ни в жизнь не оставим! Себя клянёмся не жалеть! — кричали солдаты кругом.

— Прикажи только, родная, всем им голову свернём! — буркнул кто-то в толпе.

— Нет, ребята, тогда я не пойду с вами! Тихо, смирно, с полным послушанием и не обижая никого должны вы идти, как бы вы шли за моим отцом! Обещаете ли вы быть послушными, клянётесь ли не убивать и не обижать никого?

— Клянёмся, матушка! Что ты велишь, то и

будем делать! Ты наша мать, мы твои дети... — загремела толпа.

— Да, если Бог благословит, я буду вам матерью! Ступайте же за мною, и будем думать только о том, чтобы отечество наше и всех нас сделать счастливыми!

И цесаревна села в сани. Солдаты окружили её; несколько офицеров стали на запятки.

— С Богом! — сказала цесаревна. Сани тронулись, и толпа повалила.

Подъезжая к Литейному проспекту, цесаревна обернулась и приказала Грюнштейну отделить отряды для ареста по дороге графа Головкина, барона Менгдена, графа Левенвольда и Лопухина, потом она приказала Воронцову послать особый отряд арестовать фельдмаршала Миниха и представить к ней во дворец, а на Лестока возложила обязанность особо озаботиться Остерманом. Тут же Лесток передал Грюнштейну список, кого следует арестовать из второстепенных лиц, между которыми значился и генерал Альбрехт.

Сани продвигались по Невскому. К гренадерам присоединялись солдаты из других рот и полков, узнавая, что ведёт их цесаревна

Елизавета. За ними валила толпа народа.

— Тише, дети, без шума, — говорила цесаревна, и все шли в гробовом молчании. Только мерный шаг солдат отдавался в морозном воздухе. Народ шёл за ними тоже безмолвно, смиренно, не понимая ничего, но инстинктивно чувствуя, что происходит что-то, что не может быть худо для него.

Подъехав к площади, цесаревна вышла из саней, но оказалось, что ей трудно идти по глубокому снегу...

— Матушка, государыня наша, промочишь ножки, позволь тебя донести?

Двое из гренадеров скрестили руки, посадили Елизавету и понесли к новому Зимнему дворцу, переделанному из дома графа Апраксина и стоявшему на том месте, где теперь четырёхугольник дворца, который выходит на Неву, против Адмиралтейства.

Войдя во дворец, цесаревна прошла прямо в караульню.

— Дети мои, — сказала она солдатам, которые её окружили, — не пугайтесь! Я пришла освободить вас от немцев! Вы знаете, сколько я терпела; знаю, что много натерпелись и вы.

Хотите ли служить мне, как служили моему отцу? Освободимся от наших мучителей!

— Матушка, мы давно ждём слова твоего; прикажи, мы всё сделаем!

Но офицеры в карауле были из немцев.

— Смирно! Бей тревогу! Караул вон! — закричал командующий караулом. Но гренадеры, пришедшие с Елизаветой, разом скрутили его.

Не хотели сдаваться и другие три офицера.

— Арестуйте их! — сказала цесаревна.

Началась было сумятица, в которой один из гренадеров хотел приколоть несдающегося офицера штыком. Цесаревна сама схватила солдата за ружьё.

— Помните, вы клялись не убивать и не обижать никого! — сказала она. — Если он не слушает, возьмите его и свяжите!

Из караульни цесаревна пошла на половину правительницы, поручив Воронцову идти на половину принца Антона, а Лестоку, который подошёл к ней и шепнул на ухо, что Остермана уже повезли к её дворцу, поручила взять императора Иоанна и его новорождённую сестру Екатерину. Лесток с Хитровым,

другими офицерами и несколькими гренадерами пошёл на половину малолетнего императора.

Перед комнатой правительницы цесаревну остановил стоявший на часах унтер-офицер.

— Не велено никого пускать, ваше высочество! — сказал он.

— Возьмите его! — сказала Екатерина, обращаясь к своим. Часовой тотчас был убран.

Цесаревна вошла.

На широкой царственной кровати, под императорскими гербами, спала Анна Леопольдовна вместе с своей наперсницей Юлианой Менгден. Рука её была откинута, волосы распущены, она спала крепко.

— Сестрица, пора вставать! — сказала цесаревна, легонько трогая её за руку.

Анна Леопольдовна проснулась и приподнялась.

— Это вы, сударыня, пожаловать изволили? Зачем? И кто позволил вам без докл...

— Извините, сестрица, но, видите, вам нужно ехать... Не угодно ли пожаловать!

Юлиана между тем тоже приподнялась,

оглянула всех сонными глазами и опять бухнулась в подушки.

— Ты, матушка, тоже вставай, с тобой церемониться не станут! — сказала цесаревна Менгден.

И она приказала стоявшему подле неё офицеру растолкать её.

Юлиана вскочила от первого прикосновения.

Анна Леопольдовна оглянулась и увидела, что кругом неё стоят гренадеры. Она догадалась и взвизгнула.

— Ни плакать, ни кричать не за чем, сестрица; я не угрожаю вам пыткой! А вот прикажу привести к вам вашу горничную. Потрудитесь одеться, да торопитесь, некогда!

— Не убивайте меня, тётушка, и детей моих, — начала говорить растерянная Анна Леопольдовна, — не разлучайте нас с ней!

И она обняла совершенно обезумевшую Менгден.

— Хорошо, хорошо, будьте покойны, только одевайтесь скорей! — говорила Елизавета, стоя перед кроватью, на которой вертелись две женщины, так крепко спавшие за мину-

ту и так много думавшие перед тем о своём «МЫ».

В это время один из гренадеров притащил за шиворот к Елизавете камер-медхен бывшей правительницы.

— Одевай принцессу, да скорее! Извольте и вы одеваться, сударыня, если не хотите, чтобы я поручила вас одевать моим гренадерам! — повторила цесаревна, обратясь к Менгден строго, когда та, накинув себе на плечи платок, готова была вновь опуститься на постель.

Лесток в это время привёл в спальню мамок и нянек с детьми.

Елизавета взяла бывшего императора на руки, поцеловала его и сказала:

— Бедный малютка, ты ни в чём не виноват! Виноваты твои родители, а ты платишь за их грехи! Но я о тебе позабочусь. Ну пора снаряжать гостей! Идёмте! Вы, доктор, поезжайте с детьми. Узнайте, готовы ли сани?

Анну Леопольдовну Елизавета взяла с собой, принца Антона с фрейлиной Менгден посадили с Воронцовым, а бывший император с нянькой и принцесса Екатерина, на руках

кормилки, должны были сесть с Лестоком; все они, окружённые гренадерами и офицерами, приверженцами Елизаветы, на запятках отправились к её двору, а там уже их ждали арестованные Миних и Остерман. Другие арестованные были оставлены под караулом в своих домах.

Между тем на улицах росла народная толпа. Гвардейские полки, узнав, что их матушка цесаревна решилась наконец взять на себя государство, вышли сами из казарм и построились фронтом в улицах, перед её дворцом. Лесток, Воронцов, Шувалов, Разумовский, Нарышкин и другие приближённые поехали сами и разослали всюду нарочных объявлять о случившемся, то есть о принятии в свои руки царствования цесаревной Елизаветой.

Все, разумеется, спешили приветствовать и поздравить вновь восходящее светило, забывая тех, перед кем ещё вчера курили фимиам. Князь Алексей Михайлович Черкасский также поздравлял Елизавету с законным и прирождённым восприятием правления в свои царственные руки и также просил дозволения отпраздновать это благополучное со-

бытие торжественным обедом, как год тому назад он просил отпраздновать принятие в свои руки правления Анной Леопольдовной. Одним из первых явился с поздравлением Бреверн, тайный кабинет-секретарь, правая рука Остермана, который только накануне уверял своего милостивца, что его преданность к нему неизменна. Явились уверять в своей преданности и те, которые никогда и не думали ни о какой преданности. Одним словом, всё шло так, как всегда идёт между людьми. Начальник полиции князь Шаховской узнал о случившемся перевороте чуть не последним. Оно и лучше, зачем много знать. Недаром говорят, кто много знает, скоро старится, а князю Шаховскому стариться, должно быть, не хотелось. Алексей Петрович Бестужев, хотя возвращённый и восстановленный прежним правительством, не встретил, однако ж, препятствия написать манифест, в котором об этом правительстве сказал, что «...оно через разные персоны происходило, отчего как внешние, так и внутренние беспорядки и немалое разорение всему государству следовали». Прибыл и фельдмаршал Лесси,

заявивший, что он рад служить крови Петра Великого, и другой фельдмаршал старик Трубецкой, последний боярин русский, который с обыкновенным своим заиканьем успел только выговорить: «П-п-поздравляю!» Императрица вышла на балкон, и народ грянул:

— Да здравствует наша матушка государыня царица Елизавета Петровна! Ура! Ура!

Шапки полетели в воздух, и народ, видимо, пьянел от радости. Столица присягала на верность Елизавете, а убаюкиваемый Иоанн Антонович спал сладко под напев колыбельной песенки своей мамки, которая, неизвестно, пропела ли и теперь ему два прибавочные стиха, которые любила припевать прежде:

*Будешь, Ваня, вырастать,
Будешь царством управлять.*

Часть четвёртая

I

Новое царствование

С воцарением Елизаветы Петровны наступила действительно новая эра русской жизни. Не было и помина о кровавых днях и страшных казнях царствования Анны Иоанновны или ужасах бироновщины. По улицам не ходили языки со страшным «слово и дело». В домах, между родными, знакомыми, даже посторонними, можно было говорить, не опасаясь, что в числе близких людей есть клеветы Бирона, его шпионы, которые всякое слово передадут с прикрасами и привлекут говорящего к ответу в застенке. Не было уже и этого ужасного Ушакова, одно имя которого наводило страх. С тем вместе не было и того глухого волнения, той общей заботы о завтрашнем дне, того недовольства, выражавшегося беспрерывными толками о новостях, об ожидаемых переменах, которыми сопровождалось

правление Брауншвейгской фамилии. Всё как бы успокоилось, вошло в свою колею, приняло естественное направление. Даже несколько беспорядков, произведённых упоенными успехом солдатами, не могли нарушить общего мирного настроения.

Императрица сдержала своё слово, данное ею перед Богом: не подписывать никому смертного приговора, не отнимать ни у кого то, что даёт только Бог. Остерман только был взведён на эшафот, но не казнён. Хотя он своими происками удалил её от престола по смерти её племянника Петра II; хотя он наносил ей непрерывные оскорбления и огорчения; хотел насильно выдать замуж за какого-нибудь убогого принца; наконец, так непозволительно бранил её при своём арестовании, что вполне заслуживал смерть; но и ему вместо страшной казни, назначенной судом, была объявлена только ссылка. Ссылка же была назначена Миниху, Головкину и Левенвольду. Они тоже много неприятностей делали Елизавете: приставляли к ней шпионов, стерегли как пленницу, клеветали на неё. Но она не мстила! Она хотела только

быть спокойной от их дальнейших происков, от их интриг и покушений, хотела только отнять у них средства делать зло в будущем. При допросах никого не пытали.

Лишив таким образом власти и силы тех, кто ей противодействовал, Елизавета озабочилась наградить тех, кто ей помогал, и вообще всех, кто ей оказывал услуги, когда она была в тесном положении опальной цесаревны. Ближайшие лица её двора, бывшие камер-юнкеры: два брата Шуваловы, Воронцов и Разумовский — были сделаны её действительными камергерами. Один из Шуваловых, Александр Иванович, любимец цесаревны, был назначен начальником Тайной канцелярии вместо ужасного Ушакова, который за усердие и многие службы был назначен сенатором, получил золотую цепь Андрея, а после и графское достоинство. Елизавета не забыла, что ещё при жизни матери её, Екатерины, Ушаков хлопотал, чтобы её утвердить наследницей. Другой Шувалов, Пётр Иванович, женатый уже на ближайшей фрейлине цесаревны, известной нам Мавре Егоровне Шепелевой, пошёл в ход. Он был назначен начальни-

ком артиллерии и сенатором. В Сенате он проводил свои финансовые проекты, которые неизвестно, принесли ли пользу государству, но, несомненно, что принесли пользу ему самому. Впрочем, нельзя не сказать, что отмена внутренних застав и таможен, сделанная по настоянию Шувалова, должна сохраниться в памяти потомства как результат его полезной деятельности. Воронцов тоже женился на предмете своих вздохов, Анне Карловне Скавронской, и за ней, кроме приличного приданого, получил графское достоинство. Генерал-аншефы: Румянцев, Чернышёв и Левашёв и действительный тайный советник Алексей Петрович Бестужев-Рюмин получили Андреевские ленты, а граф Головин, князь Куракин, как имевшие уже этот орден, вместе с Ушаковым получили золотые цепи, высший знак кавалеров Андрея Первозванного. Михаил Петрович Бестужев был сделан обер-гофмаршалом. Детям Волынского было возвращено имение их отца и честь их имени. Возвращены были все ссыльные, освобождены все заключённые времён Анны Иоанновны и Бирона. Одним словом, сделано было всё, чтобы

загладить, сколько возможно, раны, нанесённые жестоким антинациональным управлением, в котором немцы, не покоряя России, сумели наложить на неё иго более тяжкое, чем то, от которого стонала она во время татарского владычества.

Не забыта была и гренадерская рота Преображенского полка, доставившая престол Елизавете, не забыты были и полки гвардии, столь постоянно доказывавшие ей свою преданность. Из гренадерской роты была образована так называемая лейб-компания, нечто вроде особых телохранителей государыни. Императрица объявила себя их капитаном. Штабс-капитаны, или капитан-поручики, были полные генералы; поручики — генерал-лейтенанты, прапорщики равнялись полковникам, капралы капитанам, а все рядовые признавались офицерами. Все нижние чины, участвовавшие в экспедиции арестования Брауншвейгской фамилии, получили дворянское достоинство и каждый, по соразмерности своих заслуг, поместье. Наименьшее поместье было в тридцать душ, но были и такие, как, например, Грюнштейн, поручик и

адъютант полка, из перекрещённых евреев, который получил около тысячи душ. Всей гвардии было выдано не в зачёт третное жалованье и на каждый полк была ещё назначена особая сумма для распределения между нижними чинами.

— Они помогали мне, берегли меня, — говорила императрица, — и я должна их наградить. — И она награждала с истинно материнской щедростью.

Но более всех был награждён тот, кто действительно более всех содействовал восшествию на престол императрицы Елизаветы. Это её лейб-медик, доверенный друг, ганноверский уроженец французского происхождения, Арман, или Герман, Иоганн Лесток.

За особенные и давние услуги, чрезвычайное искусство и испытанную преданность Лесток был назначен первым лейб-медиком двора её величества и собственным доктором государыни, произведён в действительные тайные советники, сделан управляющим всей медицинской частью империи, с огромным по тому времени содержанием семь тысяч рублей, кроме разных акциденций. На

уплату долгов ему была дана значительная сумма, пожаловано имение, а вскоре дано и графское достоинство. Но выше и дороже всех наград было то, что он стал первым приближённым государыни, можно сказать, первым её советником. Ни Шувалов, ни Разумовский не имели на неё и десятой доли того влияния, которое имел Лесток. Первое время своего царствования Елизавета не предпринимала ничего ни в политической, ни даже в частной жизни своей, не выслушав мнения Лестока. Он был не фаворит, но именно, как он когда-то говорил, больше всех фаворитов. Она ему верила. И её первому лейб-медику приходилось иногда докладывать не только по медицинским, но и по церемониймейстерским, придворным, даже сенатским и военным делам. Он присутствовал даже при допросах, назначался членом высших комиссий. Государыня в чём особенно хотела удостовериться, поручала вместо себя быть Лестоку. И всё, что он представлял, о чём докладывал или ходатайствовал, принималось государыней почти без возражения.

Да как Елизавете было и не верить Лесто-

ку? Преданность его была испытана. Его не мог подкупить даже Бирон. Он рисковал жизнью, чтобы поставить её в то положение, в котором она находилась теперь. Свой ум, знание людей, ловкость и осторожность он только что доказал. Если бы она послушалась его десять лет назад, сколько бы обид, оскорблений, несчастий она бы избежала. Могла ли после того Елизавета ему не доверять.

Наградив всех, кого можно было наградить, Елизавета озаботилась привести строй государственного управления в тот самый вид и порядок, в каком оставил его её великий отец. Кабинет, в смысле высшего учреждения, был уничтожен. Вся власть была сосредоточена в Сенате. Восстановлены коллегии в прежнем составе, учреждена совещательная конференция. Для собственных домашних дел государыни была учреждена особая канцелярия, или кабинет, как было при Петре Великом, и управлять этим кабинетом был призван тот же Иван Антонович Черкасов, который был тайным секретарём её отца и которого Бирон ни за что выгнал со службы и сослал в Казань.

Таким образом, Елизавета начала царствовать кротко и милостиво. Она помнила свои слова: «Как женщина, я могу увлекаться, отдаваться своим слабостям, но, как государыня, я должна быть выше своих страстей».

И с её воцарением в народе начало разливаться довольство и спокойствие. Немцев, которым бы нужно было разбогатеть во что бы то ни стало, и разбогатеть сейчас, сию минуту, не было: никто не зóрил родной земли, никто не давил православный народ, как зóрили землю и давили народ под разными предлогами: взыскания недоимок, соблюдения интересов казны и необходимости выполнения государственных нужд — всевозможные Левенвольды, Менгдены, Остерманы и Бироны. Нужно было устроить и внешние сношения.

— Как, однако ж, заменю я Остермана? — спросила Елизавета у Лестока чуть ли не в первый день своего царствования.

— А кем вы изволите думать, всемилостивейшая государыня? — спросил Лесток, делая из своего вопроса как бы пробный шар, хотя в голове у него давно было решено, о ком ходатайствовать.

— Ума не приложу, — отвечала государыня. — Вот если бы они не убили Волынского, никому бы с такой охотой не отдала я внешних сношений, как ему. Правда, он не знал языков, зато сильно любил отечество и был предан мне, так что при своих способностях управился бы и через переводчиков. Но когда его нет, что же делать?

— Само собой разумеется, государыня, делать нечего! На такие места всегда трудно выбирать. Но кругом вашего величества столько способных молодых людей...

— В том-то и дело, что кругом меня всё неопытная молодёжь, — прервала его государыня. — А этот старый плут Остерман так вёл дела, что даже те, которые при нём состояли, не знали, куда и к чему он направляет. Я говорила с Бреверном. Что ж ты думаешь? Ни в зуб! Даже кто где резидентами нашими числится и в каком ранге, не знает. Принцесса Анна была в делах так неопытна и была настолько в руках этих старых злодеев Миниха и Остермана, что, прогнав их, боюсь в самом деле не сделать бы какой ошибки. А не хотелось бы.

— Что, ваше величество, изволите думать о Воронцове?

Лесток сделал этот вопрос потому, что ещё прежде переворота, когда распределялись места между приближёнными цесаревны, Воронцову всегда предназначалась дипломатическая часть и Елизавета нередко в шутку называла его своим дипломатом.

— Воронцов? Да! — сказала Елизавета. — Я всегда смотрела на него как на будущего дипломата. Но ему прежде нужно многому поучиться, на многое посмотреть. Это и я понимаю, хоть я не учёная и не дипломатка. покойный Шафиров, когда я была в Москве, бывало, говорил мне о Воронцове: «У вас алмаз, цесаревна, нужно его только отшлифовать»; ну а когда тут шлифовать, когда нужно сейчас, сию минуту! Ведь не оставить же в самом деле внешние дела на руках у нынешнего номинального канцлера Черкасского?

— Да, ваше величество, князь Алексей Михайлович куда-куда, а уж в канцлеры-то не годится. Хотя он тоже не знает иностранных языков, как и Волынский, но он не Волынский!

— Для внешности-то бы и ничего, пожалуй, — ответила Елизавета, — но... Про него Шафиров тоже говорил: «По богатству, знатности и, пожалуй, неуклюжей неподвижности Черкасскому какое угодно место дать можно, какие хотите цацы наложить, только с тем, чтобы пружина была, которая бы за него думала». Вот такую-то пружину, которая могла бы ворочать неуклюжую тушу князя Черкасского, я и ищу.

— Государыня, — сказал Лесток, — ваш светлый взгляд и ясное рассуждение справедливо оценило трудность выбора человека для внешних сношений, особенно при нынешних трудных конъюнктурах государства. Он должен быть опытный делец, человек трудолюбивый, тонкий, умный и вам преданный. Но мне кажется, что у вас под руками именно есть такой человек. Он не уступит Остерману ни в трудолюбии, ни в знании, а по разуму и тонкости, пожалуй, будет выше его. Притом человек, не такой неблагодарный, как Остерман; он помнит благодеяния к нему вашего родителя и предан вам всей душой.

— Кто же это? Трубецкой? — спросила Ели-

завета.

— Нет, ваше величество всемилостивейшая наша повелительница. Трубецкой — это такой человек, о котором подумать нужно; к тому же он на месте, и ещё на таком, заместить которое теперь, пожалуй, будет труднее, чем заменить Остермана. Вместе с тем Трубецкой по внешним сношениям совсем не имеет опыта, он будет просто как в лесу. Я говорю вашему величеству о человеке опытном, о человеке, доказавшем свои дипломатические способности, у которого Михаилу Ларионовичу поучиться не стыдно и не грех будет. Это Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.

— Рюмин? — с удивлением и с некоторым оттенком неудовольствия сказала государыня. — Да, точно, я о нём и не подумала. Он человек действительно способный. Зато такой бездушный и холодный. Знаешь, Лесток, смешная вещь, я боюсь этих спокойных и холодных людей, я предпочитаю даже таких ветреников, как ты. По-моему, человек без чувства...

— Для внешних сношений, всемилостивейшая государыня, самый лучший дипломат

в мире тот, который ничего не чувствует. Сентиментальность в дипломатической переписке, можно сказать, даже непростительна. Бестужев, ещё при блаженной памяти вашем родителе, с его согласия поступил на службу к ганноверскому курфюрсту, ныне английскому королю. Тот послал его резидентом к самому же вашему родителю. И он, ведя дело к пользе и удовольствию обеих сторон, доказал, что он истинно политический человек! Поэтому государь взял его у курфюрста назад и назначил посланником, не помню хорошенько куда, кажется, в Данию, хотя тогда ему не было ещё и двадцати пяти лет. А покойный родитель ваш, говорить нечего, умел выбирать людей.

— Да, и тогда же, говорят, он вошёл в сношения с лопухинской шайкой, хотел служить царевичу Алексею, когда тот прятался в Вене, стал прямо против моей матери.

— В то время, ваше величество, царевич Алексей был законный и единственный наследник. Удивительно ли, что он желал и старался ему угодить? Это доказывает только его ум и сообразительность. А потом, не старался

ли он об интересах блаженной памяти сестрицы вашей Анны Петровны? А когда вместо Волынского его сделали кабинет-министром, не желал ли он вам и всем приближённым вашим выказать свою искреннюю и постоянную преданность? Недаром же Миних велел его арестовать вместе с Бироном и судить.

— И тут он стал оговаривать Бирона, который ему благодетельствовал, а затем, когда Миних потерял кредит, взваливал небылицы и на Миниха. Нет, ваш Бестужев, по-моему, крайний интриган.

— Государыня! Да ведь человек, чтобы избавиться от той страшной казни, которая его ожидала, поневоле заговорит не то, что думает. Смел ли бы он хоть одним словом коснуться Миниха во время его всемогущества. Ведь страшный Андрей Иванович Ушаков тут же сидел. После первого же слова, пожалуй, его бы в застенки повели и на дыбу вздёрули. Но, говоря о Бироне и Минихе, он ни одним словом не нарушил своего уважения к особе вашего величества.

В эту минуту вошёл Воронцов.

— Скажи, Ларивоныч, что ты думаешь? —

обратилась государыня к Воронцову. — Вот Лесток говорит, что внешние дела нужно поручить Бестужеву, Алексею. Ты что скажешь? — Она не знала, что Лесток и Воронцов ещё накануне уговорились просить государыню о назначении Бестужева, с тем чтобы Воронцова назначить к нему помощником и он мог приглядеться и понаучиться.

— Что ж, ваше величество, всемилостивейшая моя государыня тётушка и светлейшая покровительница. Мы все так неопытны в этих делах, что, кажется, лучшего выбора и сделать невозможно. Алексей Петрович умный и деловой человек. Дипломатию знает. Сколько лет в чужих землях жил и всё служил по дипломатической части.

— Признаюсь, Ларивоныч, думая об иностранных делах, я рассчитывала на тебя.

— Всемилостивейшая государыня, для службы вашему величеству я рад положить все силы души моей. Но мудрецом никто не родится. Мне учиться нужно, и многому учиться, чтобы потом по совести оправдать вашу доверенность. Взять же на себя страшную ответственность за то, чего я вовсе ещё

не знаю, в чём никогда не упражнялся, прямо противно моей совести и моей беспредельной вашему величеству преданности.

— Ты прав, Ларивоныч, и я это думаю. Но Бестужев-Рюмин... Это сухой, самолюбивый интриган, человек, не способный ни к любви, ни к благодарности. Однако вы оба стоите за него. Хорошо! Только вот что я вам скажу: вы просите на себя розгу! Против того и другого Бестужев непременно будет интриговать. Вы на меня потом не пеняйте.

— Мы уверены, государыня, в вашей справедливости и милости. Но если бы мы и погибли от интриг Бестужева, то ради пользы и спокойствия вашего величества, мы ни на минуту не задумались бы сказать правду, что он способный и умный человек! — отвечал Воронцов.

— Делать нечего, — сказала, подумав, Елизавета. — Он точно умный человек. Велите его позвать ко мне. Но всё же пока я оставлю канцлером Черкасского, пусть Бестужев будет только вице-канцлером, хотя и будет руководить делами. Всё же на его интриги хоть какая-нибудь узда будет.

Таким образом, ходатайство Воронцова и Лестока обрушилось прежде всего на самого Воронцова. Ходатайствуя о назначении Бестужева канцлером, он думал получить звание вице-канцлера, чтобы привыкать к делу, учиться, как он говорил, но так как государыня канцлерство оставила за Черкасским, то он и остался ни при чём. Лестоку пришлось его утешать надеждой на будущее.

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин сидел в это время у себя в кабинете с двумя академиками, Таубертом и Гольдбахом.

— Будто это возможно, господа? И вы говорите, что прочитаете всякую зашифрованную депешу?

— Непременно, ваше высокопревосходительство, — отвечал Гольдбах. — Нужно только знать правила того языка, на котором депеша написана. Разумеется, я не могу прочитать депеши по-испански, так как не знаю испанского языка, но если депеша будет написана по-латыни или по-французски, тем более по-немецки или по-русски, мы вот с камердомом её непременно прочитаем.

— Каким образом? Этого я понять не могу. Положим, депеша, написана по-русски, но вместо букв поставлены цифры, и не в порядке, а так как-нибудь, например, вместо А — девять, вместо Б — семь, или означена каким-нибудь знаком, крестом, что ли, или звёздочкой. Как же тут добаться?

— Очень просто, ваше высокопревосходительство, — стал объяснять профессор Тауберт, приписывавший себе честь открытия возможности разбирать шифры. — Каждый язык имеет свои правила, исходящие из его логических оснований, совершенно отличных от оснований других языков, так же как и оснований тонических того же языка. Для чтения депеш нужно опираться на логические основания, хотя, без всякого сомнения, много могут помочь и правила тонические, особенно там, где тоника языка имеет особое значение, например, при чтении стихов. Но это уже частности. Теперь в общем: какие, например, правила следует принять в основание при чтении депеш на русском языке. Первое: все слова русского языка оканчиваются непременно или гласной или безглас-

ной. Следовательно, если выписать из дее-
ши все знаки, которыми оканчиваются слова,
то мы будем иметь ряд знаков, которые могут
быть одной из следующих букв: *a, e, u, o, y, ы*
или *ъ* и *ь*; остальные знаки, не встречающи-
еся в конце слов и не стоящие одиночно, яс-
но, должны означать согласные буквы. Вто-
рое: знак, поставленный одиночно, непре-
менно означает одну из гласных букв: *a, u, o*
или *y*, так как ни *e*, ни *ы* одиночными знака-
ми не имеют значения. Третье: в каждом языке
есть определённая пропорция, в которой
происходит употребление букв, например, на
столько-то *a* нужно столько-то *b* и столько-то
m; а в русском языке ещё и столько-то *ъ* и *ь*, и
эта пропорция неизвестна типографщи-
кам. Далее, например, *ы* с другим знаком упо-
требуется только в местоимениях *мы, вы,*
ты и частице *бы*. Таким образом, если вы до-
брались, что какой-нибудь знак означает *ы*,
то вы можете уверенно определять, что дру-
гой знак, с ней стоящий, непременно будет *в,*
т, м или *б*. Начиная разбирать таким обра-
зом, разумеется с трудом и терпением, вы
начнёте получать более и более известных

знаков, пока не прочитаете всю депешу.

— Но, может быть, они не станут употреблять безгласных букв в окончании, а будут оканчивать слова просто согласными? — заметил Бестужев.

— Это сейчас будет видно уже и потому, что в окончаниях слов будут чрезвычайно разнообразные знаки, — отвечал Гольдбах. — Разумеется, ваше высокопревосходительство, всякое особое условие требует своего приёма, чтобы до него добраться. Поэтому мы и говорим о терпении и труде.

— Послушайте, господа, — сказал Бестужев. — Если это так, если вы будете в состоянии читать шифры и я буду управлять в какой-нибудь степени делами, то смею вас уверить — никакой награды не пожалею, при условии вашей скромности.

— Ваше высокопревосходительство, позвольте заверить честью, — отвечали академики.

— И я честью уверяю вас! Впрочем, и уверять нечего. Вы мне будете нужны — лучшее ручательство, что забыть о вас я не могу.

В это время явился фельдъегерь просить

Бестужева к государыне.

Можно себе представить, что заговорили в обществе, когда узнали, что самый важный пост в государстве отдан Бестужеву-Рюмину по влиянию Лестока. Правда, канцлером был оставлен тот же князь Черкасский, но всякий понимал, что при Бестужеве, так же как и при Остермане, Черкасский будет только ширма, только внешний представитель того, что Бестужев будет проводить; тем более что ему, так же как и Остерману, было предоставлено право личного доклада государыне.

— Ясно, что все дела и вся иностранная политика будут в руках Бестужева, — говорили все, — стало быть, будут под влиянием Лестока, ходатайствовавшего о его назначении; таким образом, Лесток будет всё!

В последнем обществе жестоко ошиблось. Бестужев был не такой человек, который допустил бы кого-нибудь иметь на себя влияние. Елизавета не ошиблась, сказав Лестоку и Воронцову:

— Прося за него, господа, вы просите на себя розгу!

В то время среди высшей знати, окружав-

шей государыню, было две партии: одна стояла за союз с Веной, за Марию-Терезию, её права на наследственные земли Габсбургов и влияние на Германскую империю; другая была на стороне Франции и стояла за француско-прусские интересы, заключавшиеся в том, чтобы унижением австрийского дома усилить Пруссию и предоставить Франции преобладающее значение в Средней Европе. Борьба между этими партиями составляла политический интерес, злобу дня того времени. Присмет ли Россия сторону Марии-Терезии, то есть поможет ли Австрии сохранить своё значение, или оставит её на произвол судьбы, — было вопросом дипломатов всего мира. От Петербурга ждали решения этого вопроса лихорадочно. Здесь поэтому сосредоточивались все интриги, долженствовавшие склонить русский двор на ту или другую сторону. Бирон держался австрийской стороны. Влияние Миниха, последовавшее за падением Бирона, дало преобладание прусской политике. Значение Линара, виды Остермана, наконец, родство принца Антона с австрийским домом, выдвинули на первый план опять австрий-

ский дом. Теперь являлся вопрос: что скажет на это Елизавета и её вновь назначенный вице-канцлер.

Посланником Марии-Терезии при петербургском дворе был тогда маркиз Ботта, дипломат умный, опытный и имевший большое влияние на бывшую правительницу Анну Леопольдовну. Бестужев, по возвращении его Анной Леопольдовной из ссылки, первый визит свой сделал маркизу Ботте. Удержит ли и теперь он свой прежний взгляд на необходимость, в видах русских интересов, поддерживать дом Габсбургов или, под влиянием Лестока и Шетарди, перейдёт на сторону Франции и Пруссии. Знать это было весьма важно для обеих партий. Прагматическая санкция, предоставлявшая габсбургское наследство Марии-Терезии, дочери последнего Габсбурга, в нарушение феодальных прав многих государей Европы, дала повод к войне. Прусский король занял уже австрийскую Силезию и завоевал её, Россия, занятая своими внутренними делами и войной со Швецией, не могла помочь Австрии. Императорская германская корона, по выбору германских князей, влияни-

ем Франции, была возложена на курфюрста баварского; стало быть, влияние Габсбургов на Германию было уничтожено. Теперь желалось отнять ещё у Австрии Богемию и уничтожить её влияние в Италии. Тогда Австрия должна была снизойти на степень второстепенных держав, а Франция в Западной Европе получит видимое преобладание.

Все знали симпатию государыни к Франции, знали, что она более или менее была обязана французскому двору. Благодарность её и расположение к французскому послу маркизу Шетарди были в виду всех. В силах ли будет вновь назначенный к управлению внешними делами вице-канцлер изменить этот взгляд или сам всецело передастся французско-прусским интересам, стараясь поддаться этим под симпатию государыни и удовлетворить известные всем отношения Лестока к французскому двору? Это занимало и тревожило всех. Прусский король, опираясь на союз свой с вновь избранным германским императором, готов уже был начать действовать. Он опасался только России, и, как последствия показали, опасался не напрасно.

Бестужев был непроницаем. Он принял дела не как будущий руководитель их, а как слепой исполнитель приказаний князя Черкасского и указаний самой государыни. Он не только не высказывался против французских интересов, но как будто склонялся к ним. Одно время Шетарди считал даже возможным совершенно привлечь его на свою сторону. Тем не менее, несмотря на расположение императрицы к французскому двору и особо к самому маркизу Шетарди, дела расположились так, что маркиз должен был представить свои отзывные грамоты. Назначенный на его место граф Дальон не мог иметь и той доли того влияния, которое имел Шетарди.

Государыня проводила Шетарди чуть не со слезами, она осыпала его милостями. Не прошло и года, как она начала вновь его вызывать. Шетарди приехал как частный человек, но никто, однако же, не сомневался, что он имел при себе полномочие даже на заключение оборонительного и наступательного союза. Но этого полномочия ему не удалось даже предъявить. Положение дел изменилось со-

вершенно.

Прежде всего Лесток не пользовался уже тем обширным влиянием, каким он пользовался прежде. Государыня была к нему милостива, отдавала справедливость его искусству; особенно после того, как посланный в Ярославль, по случаю тяжкой болезни Бирона, он вылечил его чуть не в несколько дней, и после того, как он вылечил и невесту великого князя принцессу Ангальт-Цербстскую, будущую русскую государыню Екатерину Великую, государыня не могла не отдать справедливости его способностям и держала его при себе; но той дружеской доверенности, того расположения, которое было заметно прежде в каждом её слове к нему, далеко не было. Затем, насколько ступивалось влияние Лестока, настолько же возросло влияние Бестужева.

Говорят, будто первое сомнение императрицы в Лестоке было возбуждено Разумовским. Это было весьма вероятно, так как Разумовский был хорошим и с Трубецким, и с Бестужевым, а Трубецкой был тогда Лестоку врагом явным и наиболее ненавистным. Бес-

тужев внешним образом был хорош с Лестоком, но, действуя прямо вразрез его видам, знал, что они непременно будут врагами. Таким образом, с той или другой стороны, то есть от Бестужева или Трубецкого, но Разумовскому ловко сумели внушить, что Лесток употребляет во зло личную к нему доверенность государыни и своё докторское знание. Его успели уверить, что легкомыслие государыни и её нередкие увлечения неестественны, что Лесток, изучив натуру императрицы, как доктор, старается искусственно то возбуждать, то притуплять её ощущения и тем сохраняет над ней постоянно неотразимое влияние. Главнейше возбудили ревность и самолюбие Разумовского указанием на то, что сближение государыни с Александром Ивановичем Шуваловым произошло будто бы именно вследствие искусственного возбуждения, подготовленного Лестоком, даже без ведома самого Шувалова. Ему сказали, что будто бы Лесток, видя, что Разумовский не содействовал и не способен содействовать её решимости на переворот, подумал, не будет ли более способен к тому Шувалов... Поверила ли

государыня подобным внушениям или отнесла их к явной и недобросовестной клевете, исходящей из придворных интриг, но, не отдаляя от себя Лестока, она нередко стала советоваться с другими врачами, поверяя его рецепты их мнением. Вероятно, что положение Лестока и оставалось бы в этом виде и, может быть, наведённое на него сомнение рассеялось бы само собою, так как государыня привыкла к Лестоку, любила слушать его болтовню и чувствовала себя во многом ему обязанной, если бы не Бестужев.

Первый же приступ к внешним делам Бестужева, по званию вице-канцлера, убедил Лестока, что он встречает в нём сильного противника всем своим планам. Визит маркизу Ботте, видимо, отражался в его действиях. Хотя почти с первого же дня своего назначения Бестужев стал в враждебные отношения к своему прямому начальнику князю Черкасскому, обижавшемуся тем, что Бестужев нередко пользовался своим правом обращаться прямо к императрице и государыня, разумеется, больше слушала Бестужева, чем Черкасского, и хотя видно было, что Бестуже-

ву хотелось вытеснить Черкасского, чтобы самому занять его место, — но эта вражда не имела никакого влияния на политическую деятельность Бестужева. Черкасский был явный сторонник австро-венгерской королевы. Бестужев против ожидания всех тех, которые старались его поднять, думая, что он непременно станет в прямое противоречие мнениям Черкасского, тоже стал, видимо, на сторону австрийского двора и был явным противником французских интересов, за которые стоял Лесток. Таким образом, взаимная вражда между Черкасским и Бестужевым стояла только на почве их личных отношений, на политику же России она не имела ни малейшего влияния. И тот и другой одинаково старались провести русско-австрийский союз, и Лестоку пришлось в этом весьма скоро убедиться.

Видя себя, таким образом, обойдённым, и именно тем, на кого он рассчитывал и кого сам же рекомендовал, Лесток понял, что, несмотря на свою близость к императрице и влияние, которым он тогда ещё пользовался, почва под ногами его исчезает и что потому

он должен стараться её укрепить. Для этого он решил, по возможности, сойтись с молодым двором в особе несовершеннолетнего племянника государыни, принца голштинского, Петра Фёдоровича, объявленного уже наследником престола, с его наречённой невестой, которую он успел вылечить от смертельного воспаления лёгких, с её матерью, принцессой Ангальт-Цербстскою и с гофмаршалом великого князя Брюмером. Кроме них Лесток думал было ещё найти опору в Воронцове, но ошибся. Воронцов, имея в виду вице-канцлерство, когда Бестужев будет канцлером, уже сошёлся с Бестужевым.

В это же время Лесток почувствовал охлаждение к себе императрицы.

«Ясно, что это дело Бестужева, — подумал он. — Нужно уничтожить Бестужева во что бы то ни стало, непременно нужно!»

В то время приехал Шетарди и был принят государыней как друг, как человек задушевный и близкий. Он, как мы сказали, приехал как частное лицо. Желая, однако ж, служить интересам своего двора и поддержать своего друга и агента Лестока, он также стал в пря-

мое противоречие Бестужеву и начал употреблять все усилия, чтобы лишить Бестужева кредита. Первоначально его влияние было столь велико, что когда Черкасский и Бестужев начали докладывать государыне о действиях французских агентов в Константинополе, возбуждающих Турцию против России, то Елизавета сказала:

— Не знаю, что делают французские агенты в Турции, но знаю, что австро-венгерскому посланнику здесь доставлено триста тысяч золотых для подкупа моих министров.

Такого рода замечание государыни, разумеется, заставило как Черкасского, так и Бестужева быть осторожнее в своих настояниях об оказании помощи австрийской королеве. А тут ещё последовало открытие, одного за другим, двух заговоров, желавших сделать контрпереворот в правлении и возвести на престол опять Иоанна Брауншвейгского. Один заговор был Турчанинова и главнейше распространялся между придворными служителями; другой же возник и укрепился в семействе Лопухиных под влиянием двух женщин: той самой Лопухиной, которая в молодости

сти по своей красоте была единственной соперницей Елизаветы и была потом явно в близких отношениях с Левенвольдом, сосланным Елизаветой в Соликамск; и её близкой приятельницы, Бестужевой-Рюминой, женой брата вице-канцлера, обер-гофмаршала Михаила Петровича, вдовой Ягужинского, урождённой Головкиной, которая приезжала к Елизавете объявить волю правительницы Анны Леопольдовны о её непременном замужестве с принцем Людвигом, братом принца Антона Брауншвейгского, и брат которой, граф Михаил Гаврилович, был тоже сослан Елизаветой.

Из показаний обвиняемых оказалось, что бывший австро-венгерский посол маркиз Ботта, переведённый уже в то время в Берлин послом к прусскому королю, не только поддерживал попытки этих заговоров на контрпереворот в пользу Брауншвейгской фамилии, но даже сам вызывал их.

Разумеется, такого рода открытие огорчило Елизавету и возбудило её против австрийского двора, тем более что её жалобы на маркиза Ботту за столь явное нарушение характе-

ра посла дружественной державы были приняты Марией-Терезией весьма холодно.

Впрочем, как было и принять эти жалобы Марии-Терезии? Ввиду успеха Елизаветы в сделанном перевороте при содействии Шетарди, она легко могла думать, что может удалась и контрпереворот. А такой контрпереворот, при оказываемой Елизаветой симпатии к Франции, её исконному врагу, при потере Силезии, отнятой уже прусским королём, при новом общем напоре врагов со всех сторон и при уверенности, что Брауншвейгская фамилия, во всяком случае, и по родству, и по отношениям станет непременно на её стороне, был для неё вопросом жизни и смерти, и она, естественно, сама могла в этом смысле дать своему послу, маркизу Ботте, инструкцию. Не удастся ли и ему повторить в пользу Иоанна Антоновича то же, что удалось Шетарди в пользу Елизаветы? А теперь от неё требуют наказания, и ещё примерного наказания, за то, что исполнялось по её же приказанию. Ведь в оправдание себя перед судом Ботта может представить её же инструкцию. Наконец, и собственное чувство не допускало

её наказывать за то, чего она сама же желала стараться достичь, что сама же приказывала.

Но, разумеется, такого рода открытие и холодность не могли вести к дружественности отношений и союзу; не могли они вызывать расположение и к тому, кто хлопотал о таком союзе. На вице-канцлера, хлопотавшего о союзе с Австрией, прямо легло подозрение, тем более что в заговоре была замешана жена его брата, с которою хотя и не жил последний и с которым именно из-за женитьбы на ней был он в ссоре, но которая всё же носила их фамилию. И кредит Бестужевых весьма и весьма ослабел.

Этим положением воспользовался прежде всего прусский король. Узнав о деле Ботты, он в ту же минуту потребовал отозвания его от себя. Король говорил:

— Я не могу держать при своём дворе человека, который стремится устраивать заговоры против государей, при которых он аккредитован. — Поступком своим, о котором он поручил передать Елизавете, как о выражении его особого к ней уважения, прусский король заставил Елизавету выразиться перед

прусским посланником графом Мардефельдом, что она признает его короля истинным рыцарем чести.

Вместе с тем ослабление кредита Бестужевых опять поднимало кредит Шетарди и Лестока, тем более что Брюмер, представитель молодого двора, был на их стороне. Шетарди уже думал, что в недалеком будущем он не только лишит Бестужева всякого значения, но даже найдёт случай отправить его с места вице-канцлера, по меньшей мере, в свои деревни. Дело стало только за тем, кого рекомендовать на его место императрице. Думали было Румянцева, но императрица высказалась о нём, что он может быть хороший генерал, но едва ли искусный политик. Куракина тоже едва ли государыня согласится выбрать, по его любезной французской болтливости, которая и теперь заставляла его иногда проговариваться в таких вещах, о которых лучше бы не говорить. Кого же?

Но Бестужев подорвал все эти колебания. У него было оружие, которого они не ожидали. Он представил государыне копии с шифрованных депеш Шетарди к министру ино-

странных дел Франции графу д'Амелоту со своими к ним замечаниями и объяснениями.

Из этих депеш видны были все ведённые Шетарди в России интриги, бесчисленные подкупы на обман, на подлог, на распространение ложных слухов; далее видны были его невыгодные и неприличные отзывы не только о министрах и о всех близких государыне людях, но и — что особенно её поразило — о ней самой.

Чтением этих депеш императрица была глубоко возмущена и оскорблена. Сперва она вспылила, объявила, что прикажет арестовать Шетарди, отдаст палачам... Но через минуту она опомнилась и расплакалась.

— Какое двоедушие, какое гадкое двоедушие! — говорила она. — Уверять меня в преданности, уважении и в то же время писать клеветы... А я считала его своим другом!.. Пускай он уезжает скорей, сейчас! Я не хочу его видеть! Бог с ним!..

Но через минуту ей вдруг пришло в голову: не обман ли, не подлог ли это? Ведь от придворных интриг всего можно ожидать. Пожалуй, нарочно подготовили эти депеши

да и говорят, что писал их маркиз Шетарди. Особенно этот Бестужев, он на всё способен! Потом отговорится, скажет, что сам был введён в обман.

— Это мы сейчас узнаем, — сказала она. Ей вспомнилась в эту минуту известная точность, непоколебимая исполнительность и способность Ушакова в раскрытии самых запутанных дел, — того самого страшного Ушакова, теперь графа и сенатора, который был столько лет грозой для каждого, кому только случалось о нём хоть подумать. Она приказала его позвать.

— Граф, — сказала она ему. — Я просила вас, чтобы воспользоваться вашею опытностью, уверенная, что вы настолько меня любите, что употребите все меры раскрыть истину и меня успокоить. Вот депеши Шетарди. Я огорчена, взволнована и не хочу его видеть, если эти депеши действительно его. Пускай тогда он уезжает скорей, сию минуту, иначе я не отвечаю за себя. Но если это обман, подлог, раскройте мне это, успокойте меня!

— Слушаю, ваше величество. Это легко исполнить. Я приеду к нему торжественно со

свитою и объявлю ваше повеление: выехать из Москвы немедленно за дерзкие выражения в депешах. Если депеши не его — он непременно будет протестовать, если же его...

— Тогда предложите ему убираться!..

Двор тогда был в Москве, по случаю празднования мира с Швецией. Шетарди занимал превосходный дом на Басманной, принадлежавший некогда князьям Серебряным-Оболенским и который когда-то занимал Овчина-Оболенский, фаворит и первый министр правительницы Елены.

Рано утром, часов около шести, камердинера Шетарди просят доложить маркизу, что приехал генерал-аншеф граф Андрей Иванович Ушаков и желает его видеть по крайне нужному делу.

Камердинер выбежал и заявил, что маркиз нездоров, недавно уснул и приказал не будить. Но граф Ушаков настоял, чтобы доложили.

Шетарди, не надев даже парика, в полушляфроке из голубого левантина, вышел к приехавшим.

Он нашёл в приёмной Андрея Ивановича

Ушакова и Петра Семёновича Голицына. С ними был секретарь Иностранной коллегии Курбатов. Через минуту вошли ещё члены Иностранной коллегии Неплюев и Веселовский.

Шетарди приветствовал приехавших с своей обычной французской любезностью, но видимо сконфузился, понимая, что такого рода ранний визит и в таком составе должен заключать что-нибудь особое.

— Чтобы не заставить ждать дорогих посетителей, я принимаю как есть, по-домашнему. Прошу располагаться как у себя! — И он протянул Ушакову руку.

Но Ушаков, смотря на Шетарди упорно в лицо, не принял руки. Другие также смотрели как-то в сторону, не желая воспользоваться любезностью маркиза. Никто не сел.

— В чём дело, господа? — спросил тогда Шетарди с каким-то сомнением. — Здесь чуть не вся коллегия Иностранных дел, будто я не мирный путешественник, но опять посол моего христианнейшего короля.

— Название мирного путешественника, которое вашему превосходительству угодно

принять на себя, далеко не соответствует характеру тех действий, которыми вы изволили отплатить благорасположению нашей государыни и её гостеприимству, — начал Ушаков спокойно, твёрдо, холодно и стоя, почему должен был стоять и Шетарди. — Поэтому, — продолжал Ушаков, — к глубокому моему сожалению, от её императорского величества имени уполномочен я вам объявить, чтобы, во избежание дальнейших неприятностей, вы изволили в двадцать четыре часа оставить Москву, а в течение недели выехали бы вовсе из России.

Ушаков говорил это в такой степени изысканно вежливо, что Шетарди вздрогнул. Он подумал: «Не арест ли, не пытка ли мне готовятся? От этих варваров всего жди! Не случился бы опять переворот? Что всё это значит?» Однако, несмотря на мысли, мелькнувшие в его голове, Шетарди выдержал себя и спросил по возможности хладнокровно:

— Что вы хотите сказать, граф? Я не совсем понимаю! От чьего имени вы говорите и на какие мои действия намекаете?

— Я говорю от имени своей государыни

императрицы и самодержицы всероссийской Елизаветы Петровны, за благорасположение которой вы изволили отплатить интригами, клеветой и непристойными отзывами. Государыня имела полное право, поступки, сделанные вами в её империи в характере частного лица и направленные ко вреду её государства, предать исследованию и суду, тем паче что вы, не представляя о себе никаких грамот, коснулись зловредно её чести. Но, по своему великому милосердию, она...

— Клевета! Прямая, очевидная клевета! — воскликнул Шетарди. — Никогда, ни одним словом не коснулся я чести государыни, которую всегда признавал своею покровительницей и благодетельницей...

— Вам угодно удостовериться, что это не клевета? — спросил князь Голицын.

— Да, я желаю лично объясниться с государыней и рассеять её подозрения, если враждебные мне лица успели их возбудить...

— Государыня не желает и не может вас видеть! — проговорил сухо Ушаков. — Что же касается до удостоверения, что все поступки ваши раскрыты, что ваши действия по подку-

пам, как светских, так и духовных лиц, и ваши отзывы о самой императрице известны, то на это я уполномочен... Покажите маркизу его последнюю подлинную депешу! — прибавил Ушаков, обращаясь к Неплюеву. — Это ваша рука?

Шетарди увидел свою подлинную депешу, отправленную им двое суток тому назад и доставленную директором почт бароном Ашем прямо в руки Бестужева, под главным заведованием которого находилось всё управление почт.

Взглянув на депешу, Шетарди внутренно улыбнулся. «Ну, — подумал он, — из этой депеши они немного узнают. Она написана шифрами и новым ключом, который украсть у меня не было возможности».

— Прочитайте маркизу содержание его депеши! — сказал Ушаков, обращаясь к Курбатову.

Курбатов начал читать текст депеши, написанной по-французски.

Шетарди побледнел.

— Прочитайте копии и с других, отправленных маркизом, депеш.

По мере того как чтение продолжалось, Шетарди бледнел всё более и более. Он видел, что вся переписка его раскрыта, все отношения его известны, предположения предотвращены и разбиты. Он опустил в кресло.

— Повинуюсь велению всероссийской императрицы, — сказал Шетарди. — Сегодня же уезжаю из Москвы, а через неделю не буду в России. Благодарю государыню за милость и снисходительность! Прошу прощения за свои отзывы, которые признаю недостойными... Могу только сказать, что самая вина моя против государыни исходит из моего желания сблизить её интересы с интересами моего всемилостивейшего короля...

Шетарди исчез, но депеши его остались. В них часто упоминался Лесток, как человек, преданный французским интересам, получающий от французского двора пенсию и передававший маркизу Шетарди каждое слово государыни.

Эти упоминания о Лестоке в депешах французского посла были для государыни выписаны особо и снабжены примечаниями Бестужева, который старался в многообразных

видах доказать, что нельзя в одно и то же время служить и Богу, и мамоне.

Несмотря на то, государыня всё ещё относилась к Лестоку милостиво.

— Ты ужасный негодяй, Лесток! — сказала она ему. — Я начинаю верить, что ты в своих видах готов меня отравить! Неужели тебе мало всего, что я стараюсь тебе дать? Ты, кажется, только и думаешь о том, кому бы продать меня?

Лесток начал уверять государыню, что упоминания о пенсии относятся к прежнему времени, когда они вместе с Шетарди старались возвести её на престол; что в настоящем с Шетарди он не имел никаких политических сношений, а что только, любя хорошее общество, он с удовольствием проводил у него время, так как нигде нельзя было лучше пообедать, поболтать и поиграть, как у него. Если же по неосторожности он и проронил какое-либо слово из того, что императрица ему говорила или о чём советовалась, то это была только одна неосторожность, а никак не измена и не желание повредить ей.

— Смотри же, Лесток! На этот раз я тебя

прощаю, но будь осторожнее! Я считала себя тебе обязанной, теперь мы рассчитались; в другой раз я тебе не прощу!

Но Лесток не мог жить без интриг, как рыба без воды.

Назначенный на место Шетарди, после первого ещё его отъезда, французский посланник граф Дальон не мог сойтись с Лестоком. Понятно! Он смотрел на Лестока как на друга своего соперника по дипломатической карьере, стало быть, как на врага. Дальон даже хлопотал о прекращении производимой французским правительством Лестоку пенсии на том основании, что Лесток не пользуется уже тем влиянием, или, по крайней мере, об уменьшении этой пенсии. Но, не сходясь с французским посланником, Лесток, по тождеству французских интересов с прусскими, весьма близко сошёлся с посланником прусского короля графом Мардефельдом и принял прусскую королевскую пенсию.

Мардефельд хлопотал в это время привлечь к прусским интригам Воронцова и Трубецкого и старался сблизить последнего с Лестоком, хорошие отношения которого с моло-

дым двором и с гофмаршалом наследника Брюмером придавали ему новое значение. Все они сошлись вполне на почве общей ненависти к Бестужеву.

Воронцов, назначенный наконец вице-канцлером за смертью князя Черкасского, открывшею Бестужеву дорогу к канцлерству, стал сходиться с прусским послом, потому что видел, что при канцлере Бестужеве он, несмотря на свою близость к императрице и родство с ней через жену, будет всегда в конференции только нулём. А ему, разумеется, хотелось иметь значение. Для получения такого значения, ясно, ему нужно было иметь свою программу, свой независимый взгляд, — взгляд другой, а не тот, представителем которого считали Бестужева. Естественно затем, что ему нужно было сблизиться с идеями, которые до того он сам же отвергал.

Трубецкой сходился с Мардефельдом именно на почве ненависти к Бестужеву. Он надеялся, что при помощи прусского посланника и Лестока он отыщет что-нибудь, что даст повод вызвать на Бестужева подозрение. Он говорил: «Пусть меня назначат только для рас-

следования, а я головой ручаюсь, что тогда доведу этого проклятого хорька до эшафота».

Несмотря, однако ж, на всевозможные уловки, несмотря на все хитрости, которые предпринимались с целью уловить Бестужева, довести дело до того, чтобы Трубецкому поручили произвести над Бестужевым расследование, им не удалось. Бестужев перехитрил.

По всей вероятности, никто из них не знал, что зашифрованные депеши их прочитываются точно с таким же удобством, как бы они были нешифрованными, ибо после первой же депеши ключ шифра был в руках академиков.

Таким образом, чуть не изо дня в день императрица знала, что Лесток о ней говорил, что из её слов передавал и что предполагал. Всё это, вероятно, не имело бы особого значения, если бы не подвернулась тут ещё новая интрига, — интрига, желающая возвести на престол племянника государыни, уже назначенного ею наследником престола, от которого, по этой новой интриге, она должна была отказаться в пользу племянника.

— Стреляй в того, кто тебе скажет это, кто

бы он ни был, хотя бы фельдмаршал! — отвечала государыня солдату, который объявил ей о том со слезами, как об общем стоворе, пущенном будто бы с её соизволения, и умолял свою милостивицу от престола не отказываться ради их всех, то есть солдат гвардии, и ради матушки-России.

— Ведь ты, матушка царица, у нас как солнце в глазу! — говорил солдат.

— Говорю: стреляй в каждого, кто это будет говорить! — повторила государыня и приказала Шувалову расследовать, откуда идёт такой слух.

Ей осторожно сумели доложить, что слух этот идёт от Лестока, интригующего теперь против неё, так как он видит, что прежнего своего влияния восстановить при ней не в состоянии, и надеется на молодой двор; тем более что безусловное уважение наследника к прусскому королю хорошо известно.

Выслушав доклад с приложением новых выписок из депеш графа Мардефельда, которыми компрометировался даже Воронцов, государыня долго думала, наконец сказала:

— Подобных негодяев жалеть нечего!

Она велела арестовать графа Лестока и допросить.

— Но без пристрастия! — сказала она, содрогнувшись при воспоминании о допросах во времена Бирона. Улики были налицо. Лестоку нельзя было даже изворачиваться.

Несмотря, однако ж, на приказание государыни допрашивать *без пристрастия*, Шувалов Александр, приписывавший отдаление его от государыни и предпочтение ему не только Разумовского, но и Бутурлина Лестоку, так же как и Лесток содействовал его временному сближению, не захотел упустить случая в свою очередь над ним потешиться и порядочно-таки его поломал. Он знал, что государыня его не увидит, а все, кто будут судить Лестока, скорей будут сочувствовать Шувалову, чем поднимут свой голос за Лестока. Ганноверец очень и очень надоел всем. Передали дело в комиссию, составленную из врагов Лестока.

Комиссия приговорила его к смертной казни. Но государыня заменила казнь ссылкой в Углич, где он и содержался под караулом, в чрезвычайном стеснении, до самой смерти

Елизаветы.

— Умный, ловкий и приятный человек, — говорила государыня, — искусный доктор, но такой негодяй, у которого ничего святого нет и который и отца, и отечество, и свою собственную душу во всякое время за грош продать готов.

Не забыла государыня, по восшествии своём на престол, и своего прежнего фаворита Алексея Никифоровича Шубина[12]. Долго не могли его отыскать; наконец отыскали где-то в глубине Якутской области, насильно обвенчанного с камчадалкой и страдающего чрезвычайно. Его привезли. Государыня приказала представить его себе.

Каково же было её изумление, когда вместо молодого красавца офицера, каким она его видела три с половиной года назад, к ней явился искалеченный, больной, обросший седоватой бородой, хромым старик с клеймами на лице.

— Алексей! Ты? — вскрикнула было она, когда вслед за докладывающим камер-фурьером ввели его, опирающегося на камер-лакея. Но её возглас замер на губах от первого взгля-

да. Она даже отступила шаг назад, когда Шубин, тоже едва ли помня себя, зашатался и замычал...

— М-м-м...

— Что с тобой? Что с тобой? — закричала Елизавета, испуганная.

— М-м-м, — мог отвечать ей только Шубин.

Язык у него был вырезан по повелению Бирона. «Пусть не хвастается своим счастьем!» — говорил Бирон. Руки у него были вывихнуты на дыбе, одна нога раздроблена в тисках кровавой пытки. Клейма на лицо были поставлены для того, чтобы, как ссыльный навечно, он не мог бежать. Он харкал кровью и совершенно обессилел от истощения, так как предоставленный в его положении самому себе в неизвестном и суровом крае он почти не имел средств к пропитанию.

При взгляде на него с императрицей сделался нервный припадок. Она опустилась в кресло и сперва захохотала.

— Что с ним сделали? — проговорила она. — Где он? Где он? Алёша, Алёша, что с тобой? — Потом она расплакалась, разрыдалась горько-горько и долго не могла успокоиться,

рассматривая и ощупывая его изломанные кости... — О, Бирон, Бирон! — сказала она. — Я облегчила твою участь, я готова была всё воротить тебе, но я не знала твоего зверства. Этого я тебе не прощу, никогда не прощу!..

Потом она озаботилась, чтобы, чем возможно, вознаградить Шубина, чтобы сделать дальнейшую жизнь его сколь возможно сносной, во всяком случае покойной, если уже не приятной.

Она произвела его сейчас же в премьер-майоры Семёновского полка и генерал-майоры армии с увольнением в отпуск для излечения болезней; подарила ему две тысячи с чем-то душ крестьян; позаботилась о доме в этом имении. Желая вполне его успокоить, она вытребовала к себе его родную сестру, сама выбрала и подарила ему карету. Позаботилась даже о том, чтобы в недалеком расстоянии от него был доктор, и поручила начальнику Тайной канцелярии Александру Ивановичу Шувалову наблюдать, чтобы он был успокоен и устроен совершенно. Одним словом, она сделала для него всё, что было в силах человеческих, и тогда, с искренним со-

жалением и слезами, исходившими из самого тёплого участия, проводила его вместе с его сестрой в деревню.

— Алексей, — сказала она Разумовскому на возвратном пути с проводов Шубина. — Тебя ожидала та же участь! Чтобы спасти тебя, я должна была решиться на переворот...

— И благодарение Богу, что решились, все-милостивейшая моя повелительница. За эту решимость благодарит вас вся Россия. Что же касается меня, многомилостивая государыня, то ништо бы мне, як поломали бы мои кости хорошенько! За такое счастье, какое мне по милости вашей выпало, и пострадать можно! — С этими словами Разумовский страстно припал к её царственной руке.

Генерал-бас

Между тем шли годы, лучшие годы. Князь Андрей Васильевич в Париже старался усвоить всё, что могло сделать молодого человека изящным, интересным, обворожительным. Он был уже не мальчик, обращающий на себя внимание своей внешностью и щегольством, но молодой человек, вполне замечательный как по образованию, так и по способностям. Время своё он посвящал не только лёгким предметам поверхностного, светского воспитания, но и наукам точным — наукам, дающим основание мысли, составляющим положительное знание. Лёгкость, с какой давалось ему изучение; обширные средства, предоставлявшие возможность многому учиться и многое узнавать наглядно, вообще многое видеть и усваивать; наконец, личная его любознательность, любовь к чтению и привычка мыслить и обсуждать сделали то, что в небольшой относительно промежуток

времени он многое усвоил, многое узнал. Он обладал обширной эрудицией, знал главные европейские языки, был знаком со всеми отраслями литературы, со всеми системами философии и значительно успел в знании естественных и точных наук; притом он занимался музыкой и рисованием; о внешнем лоске и блеске, о предметах тогдашнего спорта нечего и говорить. Ловкий ездок и смелый охотник ещё в деревне, он поражал парижанок меткостью своей стрельбы, ловкостью движений и смелостью гимнастических приёмов. Вообще русский принц, как его называли в Париже, признавался одним из блестящих петиметров и самых соблазнительных сердцеедов тамошнего общества.

— Это лев! — говорили про него. Может быть, потому-то название льва и привилось впоследствии, через сотню лет, тем последователям петиметрства, которые желали в XIX столетии восстановить тот лоск и блеск парижского общества, которым отличалось оно в XVIII веке.

Про него говорили, что он не только пользовался благосклонностью многих и многих,

но что русским принцем была заинтересована всесильная тогда маркиза Помпадур; говорили даже, что Людовик XV мог сравнивать себя с Зевсом не только потому, что держал в руках гром и молнию на всю Европу, но и по другим украшениям, которыми убирала его голову парижская Юнона.

Но князь Андрей Васильевич не думал о своих успехах в парижском свете. Он думал о России.

Он знал всё до мелочи, что делается в России; поэтому, естественно, знал о вступлении на престол Елизаветы, о завидном положении Разумовского; знал о влиянии братьев Шуваловых, Воронцова, Лестока; наконец, о преобладании, которое получили в делах Бестужев и Трубецкой и их взаимной борьбе.

Зная это, Зацепин слышал и о том, что государыня нередко огорчается, что её хохол-певчий остаётся всё тем же хохлом-певчим, каким первый раз явился он к ней во дворец. Несмотря на свой природный ум и смётку, несмотря на своё блестящее положение, он ровно ничем не мог отвечать ни её любознательности, ни требованиям её хотя

поверхностного, но всё же многостороннего образования. Он потерял даже свой голос. Выучился он только ломанию и чванству переходного русского барства да употреблению крепких напитков. Притом же он был, как говорят, настолько неспокоен во хмелю, что государыня много раз была вынуждена прогнать его от себя.

«При таких условиях, — думал Андрей Васильевич, — женщина не может видеть в мужчине мужа, друга. Она никогда не признает в нём нравственное дополнение самой себя. Может ли она разделять с такой женщиной свою мысль, может ли говорить с ним от сердца? Никогда! Она не будет видеть в нём опоры своего разума, не может ожидать ни совета, ни помощи, не может желать разделить с ним своё горе и радость. Ещё в обыкновенном быту, где меркантильные хлопоты о доме и детях более или менее отвлекают и занимают, женщина может обманывать себя. Она может думать, что муж её хотя глупый и пустой, но всё же муж, всё же помощник, хотя в материальном отношении. Он помогает ей в её трудах, в её меркантильных расчётах и

хлопотах. Но когда положение столь высоко, что ни экономическая, ни воспитательная сторона жизни не могут иметь значения, то во взаимных отношениях между образованной женщиной и неучем-мужем непременно образуется пустота. Этой пустоты женщине наполнить будет нечем. Она будет скучать, как бы ни старалась себя рассеять, даже в какой бы степени не отдавала она себя требованиям своей чувственности. В ней самой, в её внутреннем существе, её самость, её внутреннее я не будет удовлетворено. Оно не будет дополнено тем сочувствием, которое для неё должно приходить извне. В женщине, как бы ни мало она была развита, непременно является желание встретить себе отклик, является требование разделить то, что её развитие создаёт и вырабатывает. Разумеется, требование этого отклика, этого сочувствия будет тем больше, чем развитие женщины и её положение выше. А какой отклик, какое сочувствие может встретить женщина в грубом неуче, который к тому же пьёт до самозабвения, а в пьянстве шумит и болтает вздор. Может ли сколько-нибудь образованная женщина ува-

жать такого человека? Ясно, нет! А нет уважения — нет и любви!

В Разумовском, нельзя не отдать ему справедливости, рассуждал Андрей Васильевич, — ещё слишком много ума, много природного такта. До сих пор он умеет держаться, умеет заставить себя не ненавидеть. И это уже много, слишком много.

На что, например, поверхностнее было образование принцессы Анны Леопольдовны и её наперсницы Юлианы Менгден? Но и у них требования внутреннего я сейчас же взяло верх над всякой внешностью. Принц Антон, разумеется, не мог соответствовать никаким, ни материальным, ни нравственным, требованиям. Да чему и могло соответствовать это золотушное, слабое и бесхарактерное создание? Ему можно было отдаться только под грозой гнева тётки, и ещё такой тётки, которая не считала грехом приказать переломать кости у ослушника. Но когда грозы от тётки уже не было, то, естественно, не только увлекаться, но и терпеть этого принца Антона, вечно стонущего и хнычущего под камертон Остермана, было невозможно. Нужно было

искать исхода, который мог бы удовлетворить надежды. Разумеется, они невольно должны были остановиться прежде всего на внешности. Но едва явился интеллект, остановивший на себе внимание в такой степени, что они обе не могли о всякой внешности не забыть, то решительно обе влюбились в Линара без памяти. Любопытно, что одна, именно Анна Леопольдовна, влюбилась в него за себя; она требовала взаимности, искала сочувствия. Юлиана же влюбилась, и ревниво влюбилась, за другую; влюбилась по дружбе, для компании. Она в любви своей могла иметь одну цель — самопожертвование. В таком самопожертвовании была своего рода страсть, своего рода увлечение. Я думаю, что Юлиана чувствовала даже самое сладострастие. Она чувствовала его в наслаждениях своей подруги, как те старики, которые, будучи не в состоянии наслаждаться чувственными удовольствиями, наслаждаются тем, что смотрят на наслаждение других. Она именно чувствовала наслаждение в сознании быть жертвой, быть сакрифисом подруги, которой она отдавала тогда всю себя, так как

высокое положение правительницы в то время было для неё светом солнца. Разумеется, теперь, я надеюсь, граф Линар не выбил бы меня из седла; но тогда — тогда я сразу почувствовал, что должен уступить... А если бы не уступил, то заставил бы себя ненавидеть, хотя бы даже был в самых близких отношениях; потому что хотя бы физически женщина и была удовлетворена, но нравственная пустота всё-таки оставалась бы, а при такой нравственной пустоте никакая женщина довольной быть не может. Она всё будет надеяться, будет желать найти человека, который был бы ей другом, радостью, утешением... Что ж, разве ехать, разве попробовать? Я исполнил поручение дяди, видел эту пресловутую мою кузину Настасью Андреевну, которую воспитали так, что она и в самом деле считает себя чуть ли не единственной наследницей русского престола, и, несмотря на свои двенадцать лет, встретила такой милой гримаской передаваемый мной совет её покойного отца — не вдаваться в политику, будто я предложил ей не глядеть на свет божий. Теперь я свободен. Разве ехать? Цесаревна же Елизаве-

та, как я её помню, была чудо как хороша. Род князей Зацепиных тоже ждёт от меня жертвы, а такая жертва не может не быть приятна самому жертвователю. Быть её другом, дополнить собою ту пустоту, которую не в силах наполнить ни Разумовский, ни Шувалов, ни вся их братия, — дополнить, для блага вверенных ей народов, для блага своего отечества, наконец, принести своему роду то, чего он давно ждёт, то есть политическое значение, — право, всё это стоит того, чтобы прокатиться до Петербурга». Нужно к этому прибавить, что решение ехать в Петербург мотивировалось в голове Андрея Васильевича ещё следующими обстоятельствами. В числе светских приятелей князя Андрея Васильевича было двое молодых статс-секретарей короля. Один, граф де Шуазель, двоюродный брат той Шуазель, которая была подругою его дяди, а другой — маркиз де Шавиньи. После смерти кардинала Флери, в управление министерством, под номинальным руководством короля, графом д'Амелотом, оба они получили весьма важное политическое значение. Граф Шуазель, кроме своего служебного положения, пользовался

ещё особым расположением короля и имел на него весьма сильное влияние, соперничая в этом отношении с самой маркизой Помпадур, которая, впрочем, относилась к нему тоже весьма сочувственно. Князь Андрей Васильевич, бывая у того и у другого из своих приятелей, видел, каким уважением все окружают их, каким почётом они пользуются. Естественно, что в нём заговорило честолюбие. Нельзя ли таким же почётом пользоваться и ему, разумеется, у себя в России? Нельзя ли им, этим двум друзьям своим, руководящим управлением большим государством, противопоставить себя, в руководстве другим, тоже не менее большим и сильным государством, составляющим его отечество? Тогда на их мемории и ноты он будет отвечать своими мемориями и нотами; между ними возникнет переписка, возникнут государственные сношения. Они будут оказывать взаимно, один другому, добрые услуги, будут взаимно содействовать возвышению и процветанию управляемых ими народов. Между ними может возникнуть соперничество, но соперничество ума, тонкости, остроты. А ведь приятно, не

правда ли, заставить своего близкого приятеля сознаться, что он перед нами пас?..

«В конце концов, — сказал себе Андрей Васильевич, думая обо всём этом, — еду в Петербург!»

Нечто подобное тому, что думал князь Андрей Васильевич в Париже о петербургских делах и отношениях государыни к Разумовскому, думал в Петербурге и Пётр Иванович Шувалов.

— Нет, брат, ты больно швах! — говорил он своему брату Александру Ивановичу. — Хотя бы допущение этого замужества, — ведь это чёрт знает что такое! Где же ты был? Что ты думал в это время? Куда девались твои страстные порывы, твоё увлечение? Это просто ни на что не похоже.

— Что ж было делать, брат? Ты знаешь, как она впечатлительна и как религиозна. А тут приезд в Москву, разъезды по монастырям, длинные проповеди, в которых указывалось на неё, как на опору православия, где она прославлялась, как истинная и Богом любимая дочь церкви. Наконец, приезд из деревни на свидание этого злополучного Шубина, о кото-

ром она не может вспомнить без слёз, — всё это вместе расположило её к тому, что она называет своим покаянием. Ну, а Разумовский, малый не промах, этим воспользовался. Он представился тоже религиозным и необыкновенно нравственным. Он начал уверять, что его грызёт тоска, мучит совесть за брачную жизнь без брака, без Божьего благословения. Вздумал уверять, что его в монастырь запореть нужно, вериги надеть, ну вот...

— В том-то и дело, что воспользовался. А ты что? Разве не мог ты также воспользоваться, также уверить? Да что и говорить: вся эта история ставит тебя как-то на второй план, как-то затеняет, и добро бы хоть человеком, а то просто каким-то чурбаном, бурсаком, от которого слова путного не услышишь. Прежде хоть пел, а теперь, как голос лопнул, так и на клирос поставить нельзя. За одно только и можно сказать спасибо, что не мешается и молчит, по крайней мере, пока не напьётся. А тогда за то изволь переносить от него бог знает что; изволь вдаваться во все крайности, чтобы только как-нибудь успокоить, как-нибудь сладить и чтобы, по крайней

мере, больших неприятностей не вышло, чтобы хоть на нож-то с ним не лезть. Ты знаешь, Мавра Егоровна моя всякий раз, когда я возвращаюсь с охоты, ездив с ним, и не выйдет никакой неприятности, благодарственный молебен служит. Да и точно. Что ты с ним станешь делать, как спьяна не только драться полезет, а просто велит шелепами отдуть или в плети поставить? Ты там на него после жалуйся. Ведь муж не башмак, с ноги не сбросишь! Ну и рассыпаешься мелким бесом, и порешишь чепуху, чтобы в лад говорить. Именно чтобы большого-то избежать, а уж за мелочами и не гонишься. Вон и прошлый раз меня лафитом облил, да что делать? А всё это твоя оплошность, твоё, можно сказать, раскисанье. Ты не видишь, что у тебя под носом делается! Воспользоваться всем этим мог бы ты, особенно тогда, когда, благодаря Лестоку, как говорят, или уж просто так — может, на него и врут, но ты тогда свой случай просто за рога схватил. Ведь тогда в тебе просто души не чаяли.

— Да, брат; но ведь нужно сказать правду, я для неё никогда не заменял Разумовского.

— А кто ж велел не заменять? Кто же велел глазами хлопать? Нужно было заставить забыть, что какой бы то ни было Разумовский и на свете есть; привлечь на себя всё, что могло к нему обращаться. Вот тут-то и были бы хороши страстные порывы, огненные речи и всё, что заставляет женщину забывать для мужчины целый мир. Над этим стоило подумать, стоило заняться. А ты схватить-то случай схватил да и раскис, словно из тебя опару для пирога сделали. Довольно того, что тогда тебя Бутурлин из седла выбил, прохаживаться под окнами заставил. А Разумовский поправился и обоих вас обошёл. Нет, мой друг, это не рука. Между тем мы, видимо, теряем всякое значение. Недаром Куракина моей жене целые уже две недели визита не делает. А вот в Сенате на прошлой неделе мой финансовой проект о соли потерпел полнейшее фиаско. Скажу тебе более, что если дело останется в этом виде, то ни ты, ни я на местах не удержимся, и Мавра Егоровна не поможет. Разумовский свернёт обоим шеи, хотя пока и притворяется приятелем. Ведь эти хохлы всегда так: спроста да сдуру такого коку с соком

поднесут, что и не опомнишься. А, знаешь сам, у нас с тобой доброжелателей-то немного.

— Что же делать? — задумчиво сказал старший брат.

— Что делать? Восстановить наше влияние.

— Каким образом?

— А это дело разума. Нужно подумать. Вот, например, если представить императрице нашего маленького кузена Ванюшу. Что ты думаешь? Он малый смазливый и вечно с книжками, особенно с французскими возится; прямая противоположность Разумовскому, который, почитай, и по-церковному-то читать забыл. Притом он малый вежливый, деликатный, а уж грубость-то бурсацкая не может быть, чтобы ей до смерти не опротивела.

— Что ж, брат, — задумчиво сказал Александр Иванович, — против Вани я ничего не скажу. Дай бог ему счастья! Он мальчик точно хороший и находчивый. Будет в случае — нас поддержит. Молод ещё!

— Что за молод, двадцатый год! Разумов-

ский был моложе взят к цесаревне. Ведь теперь ей за тридцать пять буде, не больше. Лесток, поглядишь, был прав, когда говорил, что большой пост смолоду всегда разжигает на старость. Ваня малый вкрадчивый да такой нежненький да сладенький, что должен понравиться непременно. И уж, верно, считать звёзды на потолке по-твоему не станет. За это я тебе ручаюсь!

— Дай бог ему счастья, ещё раз скажу, — со вздохом сказал Александр Иванович. — Что же касается меня, признаюсь, она мне очень-очень нравилась. Без неё, бывало, думаешь: вот то-то и то скажу, тем-то и тем займу её, а как увижу — и забуду всё. При ней я всегда как-то растаиваю, даже говорить ни о чём не могу, не то что какое влияние иметь...

— Баба ты, баба, вот что! — сказал Пётр Иванович. — Валяем совокупное послание к Ване! Была не была!

В тот же день от старших двоюродных братцев, почтенных дядюшек, как величал их молоденький кузен Иван Иванович Шувалов, полетело к нему в Москву письмецо.

— Братцы в Петербург зовут, на службу

определить и ко двору представить берутся, во всём помочь обещаются! — говорил тот, получив письмо.

«Старших братцев слушаться нужно, недаром же я их дядями зову, — подумал Ваня Шувалов про себя, — нужно собираться».

Иван Иванович Шувалов был моложе Александра Ивановича и Петра Ивановича на семнадцать и шестнадцать лет.

В то же время и почти о том же беседовали и в Стокгольме.

Министр иностранных дел и сенатор граф Тессин пригласил к себе молодого барона Вольфенштерна, бывшего перед тем шведским посланником при саксонском дворе и отличавшегося нескончаемыми любовными похождениями при дворе польско-саксонского короля Августа III.

— Настоящим положением своим она довольна быть не может! — говорил граф Тессин. — Это было бы неестественно, несообразно. Она тогда увлеклась, весьма вероятно, под влиянием стеснений, претерпеваемых ею при жизни покойной государыни. Это увле-

чение могло быть только случайное, могло быть только делом минуты. Потом, под влиянием собственной религиозности, а может быть, подчиняясь настояниям духовенства, которое опиралось на её религиозность, она сделала несоответственность. Разумовский, как бывший певчий, весьма вероятно, нашёл в духовенстве сильную поддержку и особенно, как сам малоросс, в духовенстве малоросском, играющем теперь в русской иерархии первую роль. Но, уступив этим настояниям, она не может не чувствовать теперь, что сделала несообразность, и не может не желать эту несообразность исправить и положение своё изменить. Швеция, своими несчастными войнами, особенно последнею, когда должна была под Гельсингфорсом сдать на капитуляцию всю свою армию, к сожалению, поставлена в такое печальное положение, что находится почти в зависимости от России. Чтобы обезопасить себя от её притязаний, она хочет заключить союз с Пруссией, но вследствие русских интриг не может и этого достигнуть. На вас, барон, Швеция возлагает свои надежды. Она надеется, что вы вашей ловкостью,

вашиими способностями сделаете в политике России переворот в интересах Швеции. Если бы вам удалось, пользуясь вашими преимуществами, стать у нынешней императрицы в положении графа Линара при Анне Леопольдовне и тем сделать револьт в политике русского двора, как это удалось тогда графу Линару, — то Швеция признала бы вас своим спасителем.

— Вы приписываете мне, граф, такие достоинства, которыми, к сожалению, я не обладаю, — отвечал барон с своей чрезвычайно приятной, хотя несколько саркастической улыбкой, указывающей на высокую степень его самолюбия. — Русская императрица, несмотря на свои годы, столь ещё прекрасна, что, несомненно, окружена целой мириадой поклонников, среди которых ваш бедный и неловкий посланник должен будет совершенно потеряться.

— Унижение паче гордости, барон! — возразил граф Тессин, тоже улыбаясь в ответ, как улыбаются ребёнку, когда он уверяет, что никогда не шалит. — Знаем мы вашу неловкость! Графиня Оппенгейм недавно мне жа-

ловалась... — И он шутливо погрозил барону пальцем. — Но я не касаюсь ваших тайн. Швеция надеется, что вы раскроете ей чужие тайны. Потому она указывает на вас, как на единственную надежду исправить несчастья её оружия, а вам указывает, как на существеннейшую цель вашего посольства, — на непосредственное сближение с императрицей. Если же этой цели достигнуть будет нельзя, то тогда, как это ни неприятно, что мы должны будем действовать против самих себя, но вашей целью должен быть новый переворот, новая перемена династии в России. Как ни тяжело сознаваться, что, содействуя видам цесаревны относительно вступления её на престол вместо императора Иоанна, мы променяли кукушку на ястреба, но сознаться в этом мы должны. Пусть лучше царствуют принц Иоанн с Анной Леопольдовной, если уж этого нельзя избежать. Средства к тому опять в ваших личных качествах. Граф Борк доносит о некоторых дамах высшего общества, которые очень недовольны нынешним порядком вещей. Правда, что на донесения графа Борка я не очень надеюсь и не советую

вам на них опираться без непосредственной, личной проверки, но что такие дамы есть — это несомненно. Самое лопухинское дело указывает уже на брожение умов именно в женском обществе. Такому сердцееду, как вы, в случае неудачи с императрицей, вероятно, удастся привлечь к себе сердца этих дам. К тому же ваши естественные союзники: граф Мардефельд — прусский посол и Дальон — французский. Союзником вашим будет и Лесток. Он потерял прежнее влияние, но всё же может быть полезен хоть советом. Если же уже ни того ни другого достигнуть будет нельзя, то, по крайней мере, нужно достигнуть во что бы то ни стало смены Бестужева и отозвания от нас Корфа. Швеция за такого рода услуги будет вам весьма благодарна. Достигнуть всего этого вам будет тем легче, что вы сами любите играть, а петербургское общество только и дела делает, что картёжничают. Швеция, несмотря на свою финансовую крайность, не скупится назначить вам такое содержание, чтобы у вас были игрушки; будьте же и вы благодарны Швеции, служа её необходимейшим требованиям.

С такого рода инструкциею Вольфенштерн отправился в Петербург, в прямое и видимое соперничество предположениям братьев Шуваловых.

Но ни Иван Иванович Шувалов не успел прибыть из Москвы, ни барон Вольфенштерн испросить себе аудиенцию, прежде чем в Петербург приехал из Парижа молодой и блестящий князь Зацепин, предшествуемый славой о его парижских похождениях.

На дворе дома покойного дяди его встретили управляющие его различными имениями и домами, конторская прислуга, бурмистры и находящиеся в Петербурге крестьяне, в числе более двух тысяч человек.

Старший из бурмистров от имени всех поднёс ему на золотом блюде хлеб-соль, поздравил с приездом и просил от себя, бурмистров и крестьян дозволения поцеловать его ручку.

Андрей Васильевич поцеловал бурмистра, поблагодарил, но руки целовать не дал ни ему, ни другим, которые, видимо, желали сделать то же, причём заметил, что этим произвёл на крестьян решительно неблагоприят-

ное впечатление.

Он вспомнил, как возвращался откуда-нибудь его отец. Крестьяне тоже встречали его, подносили хлеб-соль, и он сейчас же садился на крыльце и допускал к себе всякого. Всякий целовал его руку, говорил с ним. Отец спрашивал о ходе дел, о хозяйстве, о положении каждого, — и все были довольны.

«Неужели в них так въелось рабство, что они не понимают и не хотят понять человеческих отношений? — подумал Андрей Васильевич под влиянием парижских веяний и мыслей. — Неужели они не понимают, что целовать руку без прав взаимности есть унижение человеческого достоинства?»

В то же время ему выказалось ясно, что, должно быть, не понимают, потому что какая-то баба, бывшая тут же с мужиками, прямо подошла к нему и сказала:

— Позволь, кормилец, ручку поцеловать?

Андрей Васильевич поцеловал бабу в губы, но, видя, что всё это неблагоприятно отзывается на крестьянах, сказал:

— Друзья мои, сегодня я так устал, что не в силах с вами говорить; но вот у меня чрез две

недели праздник, день моего рождения, прошу вас прийти, чтобы я мог вас угостить.

Крестьяне закричали и побросали шапки вверх. А он вошёл в дом, думая, отчего он сказал друзья, а не дети мои, как непременно сказал бы его отец?

В доме встретили его метрдотель, комнатная и дворовая прислуга со сладким пирогом и фруктами на подносе, взятом из его же буфета. Они не просили поцеловать ручки, не называли батюшка кормилец, хотя действительно он был их кормильцем, а величали просто: «Ваше сиятельство».

«Ясно, что есть разница, — думал он. — В чём же?»

После, угощая крестьян по своему слову и разговаривая с ними, он увидел, что, несмотря на крепостное право, дававшее помещику несообразную власть, русские мужики были далеко не рабы, далеко не то, что были немецкие кнехты, польская челядь и французские пейзажи. Они говорили и умели говорить своему барину правду. Просто и без лести, хотя и с почтением, они высказывали ему в глаза подчас столь горькие истины, что

он должен был сознать, что рабы так не говорят. И не смущались они от его хмурого взгляда. Лакеи же его были, как и везде, только лакеи.

«Что бы это значило? — спрашивал себя Андрей Васильевич. — Откуда такая разность и на чём основаны их взгляды и выводы? Например, они, видимо, довольны мною; но опять, видимо, находят, что я не то, чем бы они хотели, чтобы я был».

Однако ж он приехал не для крестьян. Нужно было заняться собой, своей судьбою. Богатое убранство дома и великолепная обстановка во всём, что касалось внешней жизни, оставленные ему покойным дядей, освободили его от обязанности заботиться о своём помещении. Но он сделал несколько распоряжений, клонившихся к тому, чтобы ещё более украсить его местопребывание и служить доказательством его изящного вкуса. Он приказал заменить деревянный забор железной решёткой, а поставленных на воротах тяжёлого египетского стиля львов заменить сфинксами. В комнатах он приказал разместить несколько модных, привезённых им вещей,

картин и статуй, между которыми находилась и знаменитая статуя Афродиты Киприды.

Столовая была им монтирована почти вся вновь. Он решил давать обеды, так как, будучи человеком молодым и холостым, он не мог надеяться на успех своих вечеров или балов. Он также весьма тщательно пересмотрел свой конюшенный порядок и частью возобновил, частью заново монтировал свой выезд. На всё это не потребовалось, впрочем, много времени. У него были деньги, большие деньги. Одна экономия в течение пяти лет, как он жил в Париже, проживая тысяч по полутора-ста франков в год, образовала ему капитал, превышающий миллион рублей. А это при остатках от прежних лет, накопленных процентах и капиталах, оставшихся от отца и дяди, составило весьма значительное денежное состояние, весьма редкое тогда в России. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Двадцать две тысячи душ в превосходных имениях, оставленных ему отцом и дядей, давали ему более трёхсот тысяч рублей дохода. Одним словом, более блестящего молодого че-

ловека во всех отношениях в Петербурге тогда не было.

Ему нужно было делать визиты. Он знал, что высшая сфера политической деятельности делилась тогда на две партии. Одна руководствовалась генерал-прокурором Трубецким, другая — канцлером Бестужевым. Лесточка уже не было. Он находился в Угличе, искалеченный пыткой, вопреки приказанию государыни. Князю Андрею Васильевичу хотелось стать между существующими партиями независимо, подобно тому, как, возвратясь из Парижа, когда-то стоял его дядя князь Андрей Дмитриевич между партиями Меншикова и немцев и коренных русских вельмож Долгоруких, Голицыных. Притом естественно, что, по происхождению, симпатиям и прежним отношениям, его тоже тянуло более к партии Трубецких, у которых он был принят как свой ещё до отъезда в Париж, тем более что к этой же партии льнул и Воронцов, хотя с Бестужевым он находился тогда ещё, по крайней мере с виду, в наилучших отношениях.

По этим соображениям первый его выезд и был сделан к Трубецким, генерал-фельдмар-

шалу и генерал-прокурору. Дочь фельдмаршала Трубецкого, принцесса гессен-гамбургская, тогда тоже уже жена фельдмаршала, влюбилась в него сразу и поддержала таким образом его парижскую репутацию. Но ему нужно было не это, и он поехал к генерал-прокурору. Там его приняли как родного, как своего и не стали скрывать своей ненависти к нынешнему министерству, называя канцлера Бестужева не иначе как креатурой Бирона.

От них он заехал к князю Куракину, обершталмейстеру. Князь сообщил ему все обычаи нового двора и очертил лиц, окружающих императрицу. Андрей Васильевич хорошо знал и Воронцова и Шуваловых. С нынешней графиней Воронцовой он не раз танцевал в комнатах императрицы Анны, знал и Мавру Егоровну, когда она была ещё фрейлиной цесаревны. Но когда Куракин начал было говорить о Разумовском, о его случае, Зацепин перебил разговор.

— Ну что, — сказал он, — стоит ли о нём говорить! — Он решился игнорировать Разумовского совершенно, будто о нём он ничего не слышал.

Следующий день был посвящён посещению лиц бывшего двора цесаревны. Воронцов принял его весьма обязательно, Нарышкин даже с чувством. Он вспомнил его дядюшку, его вечера, его искусство жить. Шуваловы тоже приняли его если не симпатично, то весьма вежливо. Заехал он и к своему бывшему начальнику Ушакову и к принцу гессен-гамбургскому, на которого было возложено тогда командование гвардией, жена которого, видев князя Андрея Васильевича у своего отца, прямо растаяла от нежности и, разумеется, как хозяйка засыпала своими любезностями. Зацепин числился в Преображенском полку. Он тонко намекнул принцу о своём желании быть зачисленным в роту императрицы, названную ею лейб-компанией. Принц заявил, что новых назначений, без особого повеления императрицы, делать он не имеет права, но что он надеется испросить для него это повеление после того, как он ей представится.

В представлении императрице князь Андрей Васильевич встретил, однако, затруднение. Он был камергер, стало быть, имел право представиться при первом же выходе. Но за-

ние камергера было ему пожаловано Анной Леопольдовной, а императрица повелела: все сделанные пожалования от имени императора Иоанна не признавать. На этом основании, посоветовавшись с Нарышкиным и Куракиным, он решил испросить обыкновенным порядком разрешение представиться не в звании камергера, а в звании офицера гвардии, дворянина и князя. На принятие этого решения вызывали его ещё и другие соображения. Дядя его, князь Андрей Дмитриевич, по своей женитьбе, был в свойстве с Анной Леопольдовной. Императрица, будучи цесаревной, хотя и была с ним всегда весьма любезна, но могла вовсе не желать видеть его племянника; тем более что одно время и сам он признавался человеком весьма близким к Анне Леопольдовне, а это опять не могло располагать к нему государыню. Наконец, по восшествии её на престол он ни поздравления не прислал, ни сам не прибыл. Тогда он не знал, в какой степени сделанный переворот может быть твёрд, а теперь это легко могло отозваться на нём весьма неблагоприятно. Лучше было не спешить. Но все его затруднения

взялся уладить Куракин, и точно, разрешение представиться последовало весьма скоро.

Назначен был день. Ловкий и красивый Андрей Васильевич не мог не остановить на себе внимания государыни. Она стала расспрашивать его о Париже, жалуясь, что французский двор, которому она была всегда так благодарна за его помощь ей в бытность великой княжной и за постоянно выказываемую ей симпатию, теперь идёт постоянно вразрез всем её видам.

— Государыня, — скромно отвечал Андрей Васильевич, — современная политика европейских государств не входила в круг изучаемых мной вопросов; тем не менее, зная чувства христианнейшего короля, бывшего ко мне весьма милостивым и восторгающегося всегда вашим мужеством и величием; зная также и чувства принцев, благоговеющих перед вашей мудростью и красотой; наконец, общие симпатии французского народа к русским, — я позволяю себе полагать, что если и существуют какие-либо между Францией и Россией недоумения, то они не могут быть иначе как временными, и будут непременно

отстранены благоразумием министров вашего величества.

Этот ответ, вызывая чувство удовольствия в Елизавете, польстил и Бестужеву. Поэтому он нашёл случай подойти к князю Андрею Васильевичу и напомнить ему своё прошлое знакомство с его дядюшкой Андреем Дмитриевичем.

В ответ на вежливость Бестужева князь на другой же день был у него с визитом.

А на следующий день он был позван к государыне обедать.

После обеда к нему подошёл Разумовский.

— Простите меня, ваше сиятельство, як позволю себе беспокоить вас вопросом. Вы из Парижа пожаловать сюда изволили, из обетованной Палестины, в которую стремятся сердца и кошельки всех наших барынь и графинь. Не изволили ли вы встретить там, или по дороге где, моего братишку, Кирилку?

— Извините, не имею чести знать, с кем имею удовольствие говорить? — отвечал с чрезвычайно изысканной вежливостью, но с заметной недоступностью князь Андрей Васильевич и осмотрел Разумовского с головы

до ног.

Перед ним стоял молодой черноволосый и с чёрными глазами человек, лет двадцати шести, статист в полном смысле этого слова, плечистый, здоровый, стройный, что называется кровь с молоком. Мундир обер-егермейстера, голубая лента и осыпанный бриллиантами портрет императрицы носились им довольно небрежно. Заметно было прямо, что он не придаёт своему костюму большой цены, но его взгляд был самоуверен и настойчив. Видно, что он верил в себя и в своё счастье и явно с улыбкой недоверия встретил вопрос Андрея Васильевича о том, кто он.

— Я-то, ваше сиятельство, всемилостивейший князь? Я простой хохол был, козак, по прозвищу Розум, а теперь, милостью её царского величества императрицы, нашей общей всемилостивейшей покровительницы и повелительницы, стал граф Разумовский и генерал... Так вот, милостию государыни, я отправил младшего братишку своего Кирюшку учиться. Нашему брату хохлу учиться уже поздно; дураком изжил, дураком и умру. Ну а ему, молодому, не худо на людей посмотреть

и себя показать. С ним отправил я Теплова, из академии нарочно взял. Хоть и не понравилась мне его рожа, признаться, полагаю, что он ни над чем не задумается, но учёный зато, у — какой учёный! Получил из Берлина от него весточку, что прусский король их принимал, ласкал и они от него дальше в путь отправились. Ему от меня было внушено, что где встретит наших сиятельных князей или там наших бояр важных, так ко всем бы с респектом ездил. Так я и думаю, неужто он такого важного и сиятельного барина, каким признают ваше сиятельство, пропустил? Непростительно, непростительно! Сейчас же Теплову выговор с нарочным пошлю.

— За что же, ваше сиятельство? Не имея чести быть генералом никакого оружия, ни инфантерии, ни кавалерии, ни артиллерии, ни даже генерал-баса или, пожалуй, баритона и не имея также никаких прав на звание важного барина, я полагаю, что я ничем не мог привлечь к себе особого внимания, ни тёплого, ни холодного! Я не более как скромный капитан гвардии её величества, и то ещё, если государыне будет угодно утвердить меня в

этом чине, так как моё производство последовало по распоряжению некоронованного императора. В противном случае, я только поручик... Но перед вами, граф, я не стану таиться. Не слыхав прежде фамилии вашего сиятельства, я, может быть, и пропустил без внимания встречу с вашим братом, если мы где случайно встретились. Знаете, Париж такая деревенька, что... Однако, извините, граф; государыне, кажется, угодно мне что-то сказать. — И Андрей Васильевич пошёл к креслу, где сидела императрица, как бы сравнивавшая между собой их обоих.

Разумовский долго смотрел за ним вслед.

«Эге! — подумал он. — Да этот князь настоящий Зацепин. Зацепа и есть!»

III

Опять Гедвига

Почти весь вечер государыня проговорила с Зацепиным. Её очень занимали рассказы о праздниках Людовика XV и тамошних вельмож. Особенно занимало её описание одного из этих праздников, озаглавленного: «Боккаччо в лицах». Тонкий юмор, наблюдательность, остроумие всегда увлекали Елизавету. А тут она встретила не только эти достоинства в приятном собеседнике, но и знакомство со всем, что могло её интересовать. Сама она рассказывала ему о приезде в Москву графа Морица, о бывших праздниках по случаю её коронавания. Прощаясь с ним, она подала ему руку и сказала, что она не помнит, со времени отъезда Шетарди, чтобы она провела так приятно вечер, и выразила желание, чтобы он был её частым гостем.

Производства были утверждены, и Андрей Васильевич, по своему званию камергера, должен был нередко бывать при дворе. Кроме

этого, он получал особые приглашения к государыне чуть не ежедневно.

Андрей Васильевич умел быть разнообразным.

Начиная от дамских мод до объяснения философских тезисов Вольтера, Андрей Васильевич умел говорить обо всём с чрезвычайной лёгкостью и ясностью. Мало того, иногда он вводил государыню в мир истинной философии, истинного знания, объясняя ей теории Декарта, Лейбница и великие открытия Ньютона. И всё это так просто, так естественно, понятно, что, не сознавая себя, Елизавета его заслушивалась. Она начала находить в нём дополнение своей мысли, встречать в нём отклик своим желаниям и разрешение своему сомнению.

Её не могли не беспокоить иногда государственные дела, доклады, представляемые ей генерал-прокурором от Сената, канцлером, президентами коллегий. Она обращалась с вопросами к Зацепину.

Князь Андрей Васильевич не только объяснял ей логические основания тех или других выводов, но и историческое значение каждо-

го факта. Он вспоминал прошлое в жизни разных государств и народов, разбирал, сравнивал и, не давая готовых выводов, наводил на них мысль логическим анализом сущности. И всё, что он говорил, было так занимательно, так интересно...

Между тем нельзя было не признать его красавцем мужчиной, изящным, деликатным, с грациозностью в каждом движении.

— Как он ловко танцует, — говорила государыня, — как он изящно одевается. Только его дядя Андрей Дмитриевич, сколько я помню, да маркиз Шетарди умели так одеваться и так благородно держать себя.

При таком положении дела последовало представление шведского посла Вольфенштерна. Государыня его даже и не заметила. Потом, когда ей сказали, что он очень хорош собою, она спросила:

— А какой он?

Барон, однако, не пришёл в отчаяние с первого раза. Он думал: «Собью спесь с этого русского при первой встрече». Но при первом же свидании он убедился, что при князе Зацепине он должен невольно стушёвываться;

что ни по образованию, ни по искусству привлечь к себе внимание, ни по изяществу приёмов и увлекательности речи он не может идти с Зацепиным ни в какое сравнение. Он понял это точно так же, как некогда понял то же самое Андрей Васильевич при первой встрече с графом Линаром.

У государыни был музыкальный вечер. Граф Вольфенштерн недурно играл на флейте, но и в этом отношении Андрей Васильевич оказался художником. Рисовали карикатуры на данные темы. Но и тут карикатуре Андрея Васильевича нужно было отдать первенство. Темой было назначено чванство. Вольфенштерн выбрал неудачно сюжет, нарисовав в чрезвычайном чванстве кухарку, ставшую госпожой. Этот сюжет слишком напоминал происхождение матери государыни, поэтому не вызвал ничего, кроме порицания. Князь Зацепин выбрал сюжетом разжиревшего в России немца и так характерно очертил Остермана в его презрении к русским, что возбудил всеобщий смех.

Одним словом, партия была настолько проиграна Вольфенштерном, что он просил

Тессина о своём отозвании, так как выполнить своё предназначение, с какой бы то ни было стороны, он, видимо, не мог.

Ещё с меньшим апломбом и значением прошло представление двоюродного брата Шуваловых Ивана Ивановича. Это был нежененький, скромненький мальчик, с французскими книжками и французскими стихами. Мальчик застенчивый, почти деревенский.

По расположению своему к Шуваловым, особенно к Мавре Егоровне, государыня назначила его своим камер-пажом, дала какое-то соответственное поручение и совершенно о нём забыла. Никакое напоминание не вызвало в ней даже желанья с ним видеться. Он ей показался вялым, скучным, непривлекательным. Внимание её в это время всецело посвящалось Андрею Васильевичу.

Около Зацепина, как около восходящего светила, начали обращаться обе партии петербургского общества. Его дом был полон посетителями. Все хотели его видеть, засвидетельствовать своё почтение. На его обеды по субботам принимали приглашение даже канцлер, даже генерал-прокурор, даже фельд-

маршалы. Его блеск возбудил если не зависть, то соревнование в Воронцове, и он заявил государыне, что он видит, что для истинной и полезной ей службы ему нужно поучиться так же, как поучился Зацепин.

— Ведь другой человек стал, не правда ли? Поэтому, всемилостивейшая государыня тётушка, я и прошу отпустить меня тоже в чужие края.

Государыня согласилась и сказала, что она с удовольствием принимает на себя все издержки его путешествия и что он не сделает ей лучшего подарка, если возвратится столь же способным человеком, какого она видит в настоящее время в князе Зацепине.

В это время по городу разнёсся слух, передаваемый под страшным секретом от одного к другому и только между людьми близкими. Слух этот заключался в том, что в Зимнем дворце произошёл шум. Разумовский подкутил и начал говорить непристойные вещи при самой государыне. На уговоры Шуваловых, Куракина, Нарышкина и Черкасова он отвечал дерзостями. Когда его уговаривали уйти, он кричал, что он у себя дома, так что

его должны были увести насильно, да и тут он отбивался. Подобного рода случаи бывали и прежде, но они оканчивались обыкновенно тем, что на другой день проспавшийся Разумовский являлся с повинной к государыне, падал к её ногам и вымаливал себе прощение. Теперь государыня его не приняла, а когда Разумовский, стоя на коленях у дверей её спальни, стал плакаться и умолять, то из спальни её величества вместо неё вышел семидесятилетний генерал-аншеф, бывший страшный начальник Тайной канцелярии граф Андрей Иванович Ушаков.

— Что вы тут делаете, граф? — спросил он его строго.

Разумовский потерялся.

— Я хочу видеть мою государыню, — отвечал он.

— А если она не хочет вас видеть?.. Послушайте, граф, всякому терпению, всякому милосердию бывает конец! Не забудьте, что она ваша самодержавная государыня, и ваше малейшее ей послушание есть уже государственное преступление!.. Кажется, трудно представить себе милости более тех, которыми осы-

пала вас императрица; не усиливайте же вашу неблагодарность к ней ещё непослушанием! Не забудьте: никакие отношения, никакие права не оправдывают послушание перед государыней. Напоминаю вам царицу Евдокию, первую жену Петра Великого. Потрудитесь сию минуту идти в ваши комнаты и оставаться там до последующего высочайшего повеления. Это объявляю я вам именем нашей всемилостивейшей государыни. Извольте беспрекословно исполнить её волю или вы, по рабской моей должности, вынудите меня...

Но расстроенный, разбитый, огорчённый Разумовский настолько ещё помнил себя, что не дозволил себе возражать.

— Воля её величества для меня священна, — сказал он и отправился к себе.

И вот уже третий день он сидит в своих комнатах; говорят — писал, но письма не приняли и возвратили ему нераспечатанными.

По прошествии недели государыня позвала к себе Разумовского, но не допустила его ни до коленопреклонений, ни до целования

руки. Она сказала ему твёрдо, величественно:

— Граф, я вас прощаю, хотя вы допустили вести себя так, что заслуживаете обвинения в оскорблении величества. Но я не могу допустить, чтобы у меня в доме могли происходить сцены, подобные той, какую позволили себе вы в моём присутствии. Поэтому во внимание к вашей верной мне до сих пор службе и вашим заслугам я не отнимаю у вас ничего, сохраняю за вами все ваши должности и титулы и дарю в вашу собственность купленную мною для вас Аничкову усадьбу; вы выстроите там себе дом по вашему вкусу. Средства на сие вам будут даны штатс-конторой, но с тем, чтобы вы посещали меня не иначе как на общем основании или всякий раз с моего высочайшего соизволения, и притом с тем, чтобы никакого нарушения надлежащего респекта и установленного мной порядка вами чинимо не было...

На такую всемилостивейшую речь государыни Разумовский преклонил колена. Но Елизавета ушла, передав приготовленную данную на Аничкову усадьбу в руки барона Черкасова для передачи Разумовскому, кото-

рый, стоя на коленях, плакал.

— Что я сделал? Что я сделал? — говорил он себе. — А всё этот проклятый Зацепа!

После изгнания Разумовского из апартаментов Зимнего дворца государыня сосредоточила на Зацепине своё особое внимание. Она советовалась с ним, рассуждала, читала. Ей было это тем отраднее, что она видела, что суждения Андрея Васильевича не принадлежали партии и не заключали задних мыслей. Она видела, что он совершенно беспристрастно относится как к трудам Бестужева, так и Трубецкого, отдавая справедливость тому и другому. Даже говоря о прошлом, о горе и притеснениях, которые она терпела, она встречала в нём глубокое сочувствие своим несчастиям, но не встречала того льстивого озлобления против лиц, с которым обыкновенно относились её придворные к павшим.

Андрей Васильевич прямо говорил ей, что Миних и Остерман действительно поступали против неё злодейски, тем не менее они были люди способные и действительно приносили государству пользу. «Это были единственные немцы, которые заслужили благодарность

потомства». Но вне дел, вне советов, полных разума, искренности, стремления к добру и пользе, его разговор, приятный, разнообразный, особо увлекал её. И это увлечение было для неё тем более ново, что в нём не было ничего чувственного, ничего материального; что самая даже пластичность картин, обрисовывающая древнюю жизнь Греции или Рима, принимала в его рассказах тон художественности, воспроизводила красоту, а не касалась грязных сторон цинизма. Это ощущение было для государыни слишком ново, слишком отраднo, чтобы желать его переменить. Притом она начинала чувствовать, что переменить это положение зависит от него, а не от неё; что она с своей стороны ни за что в мире не решится на это. Она чувствовала, что она начинает робеть перед ним, начинает желать быть его достойной. Ни за что в мире не согласилась бы она отказать ему в чём-либо, что было в её власти; нужно было только, чтобы он потребовал, пожелал, а он, казалось, даже ни о чём не думал...

Между тем это только казалось. Андрей Васильевич очень думал об этом. Он видел, что

овладел всеми чувствами, всеми мыслями императрицы, и знал, что затем вспышки страсти не заставят себя ждать.

«Стоит уехать на несколько недель, и она, можно сказать, будет гореть от нетерпения, но... но... Подожду! Мне недовольно, чтобы она меня только любила».

Он видел, что хотя она и старше его, но она прекрасна, величественна. Доброта её души, мягкость характера и сдержанность были ею уже доказаны на опыте. Но он всё ещё рассуждал, всё ещё хотел большего.

«Что же? — думал он. — Разумовский может в самом деле идти в монастырь. Ему могут предоставить все льготы, все удобства, удовлетворить все его желания. Его монашество может быть только номинальным. А я могу стать в глазах её столь нравственным, наконец, столь почтительным, что она признает соответственным, чтобы я занял его положение. Надеюсь, что это будет достойно рода князей Зацепиных, хотя я займу это положение после какого-то Разумовского. Да, после... но я будут не тем, чем был он!»

Полный этих мыслей, он воротился из

дворца уже не рано. Был час одиннадцатый ночи. Он обедал у государыни и был осчастливлен её особой доверенностью.

— Я не знаю почему, но я не могу ничего скрывать от вас, князь! — сказала она и рассказала ему эпизод своей жизни с Шубиным.

Мягкость характера и душевная доброта её всего осязательнее выяснилась перед ним в этом рассказе; вместе с тем выяснилась и её глубокая к нему преданность. Возвратясь домой, он думал обо всём этом, разбирал каждое слово, интонацию её голоса. В это время вошёл его камердинер-француз и доложил, что его просит позволения видеть одна дама.

— Дама! Какая дама?

Нужно сказать, что это было в Москве, куда приезжала государыня нередко. Она любила Москву. Дом, оставленный князю Андрею Васильевичу дядей, стоял у Никитских ворот и был окружён садами.

— Какая дама?

— Не могу знать, ваше сиятельство; она прошла непонятным образом через сад, вызвала меня через официанта и приказала доложить, что она явилась под большим секре-

ТОМ.

— Какая же она?

— Невысокого роста, вся в чёрном, лицо покрыто густым вуалем, так что нельзя рассмотреть; но по голосу, по разговору можно заключить, что благородная дама, принадлежащая к обществу. Когда она узнала, что я француз, стала говорить со мной по-французски.

— Хорошо! Проводи в лиловую гостиную, я сейчас выйду! Да никого не принимать!

«Кто бы такая? Невысокого роста?» — думал он.

Он встал и пошёл.

Едва он вошёл в лиловую гостиную, как ожидавшая его дама сбросила вуаль и бросилась к нему на грудь.

— Андрей! Андрей! Бог привёл мне ещё увидеть тебя!

Андрей Васильевич взглянул и остановился ошеломлённый.

— Гедвига! — невольно вскрикнул он.

— Да, твоя Гедвига, молившаяся столько лет об этой минуте свидания. И вот Богу угодно было услышать мою молитву. Я тебя вижу,

тебя вижу!

— Родная! Дорогая моя! Милая! — невольно вскрикнул Андрей Васильевич, поднимая обе руки её к своим губам и покрывая их поцелуями...

В людском флигеле зацепинского дома тоже раздался возглас удивления. Елпидифор сидел в своей кучерской и поправлял шлею или хомут, пристёгивая где-то ремешок и прилаживая петлю. Ему зачем-то пришлось обернуться, и перед ним вдруг нежданно, негаданно очутилась Фёкла.

— С нами крестная сила! — вскрикнул Елпидифор, перекрестясь. — Матушка Фёкла Яковлевна, ты ли? Как? Откуда?

— Из Ярославля, прямо к вам во двор! Княжну сюда привезла! Очинно уж жаль стало! Она добрая такая, за ними как раба ходила, а они её грызмя грызут. Ну, целуй! Аль старуху-то и поцеловать не хочешь?

— Нет, что вы, Фёкла Яковлевна! Мы всегда с нашим то ись удовольствием. А точно, что постарели маненько, — отвечал Елпидифор, целуясь с Фёклой. — В Ярославль-то вы зачем попали?

— В Ярославль? Как тебе сказать. Да как здесь-то мне из-за тебя, шельмеца, пришлось такую студу в обществе выдержать, что никуда и носу показать нельзя стало; а из общества меня исключили, а благодаря только старому князю, дай Бог ему царствие небесное! довелось живой уйти, так мне здесь-то уж не житьё было. Все пальцами показывать начали. Куда ж мне деваться? Думала я, думала да и решила: что мне тут маяться? Вы все в Париж уехали, своих никого нет. Не с кем душу отвести. Дай, думаю, поеду в Зацепино. Авось там по-прежнему молельню устроим. Вот и пошла. Иду это я уж пошехонским лесом, одна, а со мной дотоле две товарки были, из беглых. Одна была князя — вот что бывал у старого-то князя, большой генерал, заика такой, да — Трубецкого; сбежала потому, что управляющий его из немцев требовал, чтобы она с ним в любовь вошла, а она: «Ни, — говорит, — как я с тобой любиться буду, когда ты немец, из поганых значит; эдак, дескать, со всякой собакой любиться нужно будет!» Ну немец, разумеется, озлился и перво-наперво показал ей собаку: приказал её на полосе, как тут они

овёс жали, отстегать; её и отстегали, да так отстегали, что девка целую неделю себя не помнила. А потом немец опять повстречался и говорит: «Коли и теперь не придёшь, я вдвое опять отстегать велю». Ну она ничего не сказала, а всё не пошла. А как наутро-то немец велел её отстегать на гумне, — хлеб молотили в то время, — так она, будто по своей надобности, вышла да за овин спряталась и притаилась. Как ни искали, не нашли; а она просидела до вечера, а там и поминай как звали. А другая-то старуха, Нащёкинской вотчины; на богомолье просилась, не пустили; она без дозволенья ушла, да с той поры всё и бродит. Так дотоле мы все шли втроём. Только перед лесом-то они меня оставили. Старуха пошла на Тихвин, Тихвинской Божией Матери помолиться, а молодая повернула в Тверь. Там у ней любовник, грабежом занимается, так к нему. Вот и пришлось одной идти. Страшновато было лесом-то, всё нет-нет да и кажется, что вот медведь сейчас из-за кустов выскочит. Ну а делать нечего, иду. Только вот слышу, вдруг зашуршало что-то и заломилось в лесу. Я так и обмерла. Так и есть, думаю,

медведь; ан святой человек вышел, — святой, Божий человек.

— Как святой, Божий человек?

— И не говори, святой и есть! Фому Емельяныча я ещё в Костроме знала. Бывало, зимой и летом босой, в изорванной рубашке, верёвкой подпоясан, идёт и пророческие стихиры поёт; кому споёт «свят» — тот богатство жди, а кому «не рыдай меня мати» — гроб заказывай.

— Что ж он, болезный или юродивый какой, что ли?

— Да не знаю, как тебе сказать. Он, говорят, был зажиточным, исправным крестьянином в Больших Солях, женился, двух детей имел. Только вышел как-то неурожай. Кормить ни жену, ни детей нечем; скотина тоже с голоду мрёт. А тут, как его, капитан-исправник, — дескать, недоимка, вынь да положь! В то время ведь Биронов был, так с недоимками-то дело плохое было.

«Откуда же я возьму, — говорит Фома Емельяныч, — вот хлеба-то зерно на зерно не уродилось, а ведь мне нужно семью кормить».

«Это твоё дело! — говорит. — А недоим-

ки — государственные повинности — подай».

«Да когда нет?»

«Врёшь! Верно, спрятал и платить не хочешь, но ведь у нас пытка есть! Мы продадим твоё имущество, а там чего не хватит, доставай отколе знаешь, а нам подай».

И продали всё до нитки, что у крестьянина было. Не хватило и половины на уплату.

«Ну давай остальные», — говорит исправник.

«Да откуда же я возьму? Помилосердуйте! Не то вот возьмите и вырежьте кусок мяса, может, кто-нибудь что-нибудь и даст. Больше у меня ничего нет».

«Врёшь! Верно, деньги где-нибудь запрятаны! Знаем все ваши плутовства. Подавай, или пытка».

«Да что тут, дело пустое! Вот, признаюсь, понравилась мне очень...» Ей-богу, рассказать не в силах, — продолжала Фёкла, — но вот те крест, что так было: помощник-то исправника, тутошний помещик, так это он и вмешался, и заявил, что, дескать, пусть мне на недельку жену пришлёт, так недоимки я заплачу.

Фома засвиристел и наговорил, чего и не следовало бы.

Вот на другой день и определили его под пристрастие подвести.

Но исправнику всё же на сердце жалость пришла, он и говорит:

«Слушай, Фома, ты не понимаешь, чему себя подвергаешь. Вот посмотри. Если ты денег не внесёшь, то послезавтра с тобой то же будет!» И велел его вести смотреть пытку.

И взглянул Фома Емельяныч, как на дыбу поднимают, да ноги и руки в тисках давят, да огнём подошвы подпаливают.

Взглянул он на все эти страхи-то да так и залился хохотом. Смеётся, да и всё тут.

«Ишь, — говорит, — рожи какие корчат!» А потом засмеялся да и давай песни петь.

«Что ты, что ты, дурак! — говорят ему. — Чему радуешься? Завтра сам над собой испробуешь». А он и ухом не ведёт: то духовное что, а то и «по улице мостовой» задирает.

На другой день его и повели пытать. Он ничего, и тоже всё, то стихиры, то песни поёт. Его подняли на дыбу, воловьими жилами бьют, спрашивают о деньгах, а он поёт «ми-

лость мира — жертву хваление».

С тех вот пор он и бродит так. Святой как есть человек! Жена недоимку заплатила, дом ведёт и детей кормит, а он жену бросил, детей забыл, бродит себе босой, неодетый, нечёсанный. Дадут где кусок хлеба — съест, не дадут — и так мается. То в лесу где-нибудь ночует, то на паперти церкви где всю ночь Богу молится. Сперва-то всё было около Костромы ходил, потом всё дальше да дальше забирать-ся начал, говорят, до самого Киева доходил.

Вот как вышел-то он на дорогу, увидел меня и спросил:

«Куда путь-дорогу держишь?»

Я и говорю: «В село наше Зацепино; там Богу молиться, Божий дом по старой вере устроить хочу! Благослови, Фома Емельяныч!»

А он-то сперва закуковал кукушкой, а потом и говорит:

«Какое тут Зацепино, далеко до Зацепина. Ступай в Ярославль! Там теперь свет Божий! Богородица, Акулина Савельевна, сама пожаловать изволила! Там и дом мне построишь, и масляничную ветвь принесёшь! Велел тебе Бог белую голубицу от злых коршунов спасти

и тем венец Божьей милости заслужить!»

Сказал он это и запел: «Слава в Вышних Богу» — и побежал; скоро таково побежал, что и на лошади, пожалуй, не догнать было.

По этому слову я и пошла в Ярославль; думаю, верно, воля Божья на то есть, чтобы я в Ярославль шла.

И точно, благодать Божья там явно меня осенила. Самой Акулине Савельевне послужить пришлось. И таково это было радостно. Придут это, бывало, верующие благословение получить, кто хлеб, кто рыбу, яйца, а кто и бутыл с вином или бочонок с пивом тащит. Всё это отберёшь у них ещё до свету, пока сама ещё не встала, и всякий это ещё тебе кто грош, кто пятак сунет, чтобы только их под благословенье-то допустить; и всё это на твоих руках и без счёта хранится... Так и жила я в Ярославле-то, почитай, больше двух лет, пока матушка Акулина Савельевна не преставилась и душу-то её святую ангелы Божии на своих ручках на небо не унесли. Ну а как померла-то она, я хотя и накопила кое-что, а всё осталась без пристанища. Вот, думаю, теперь пойду в Зацепино, хоть кости свои там поло-

жу. Так и тут не удалось!

К Акулине-то Савельевне часто заезжала воеводиха ярославская. Всё о сыне спросить. Сын-то её ахвицером где-то служил и на войне был; так приедет она да и спросит:

«Что, матушка Акулина Савельевна, скажи, здоров ли? Я сегодня во сне золото видела, стало быть, слёзы лить».

«Здоров, здоров, голубка! — отвечает Акулина Савельевна. — Я просила сына своего поберечь его!»

«Помолись, Акулина Савельевна, — говорит воеводиха. — А уж я тебе сама слуга буду!»

И точно, как, бывало, получит от сына письмо, узнает, что жив и здоров, и шлёт, бывало, гостинца Акулине Савельевне, и холста, и мёду, и круп, и ягод разных, а иногда и деньгами не забудет... Добрая душа, и ко мне была милостива.

Вот как Акулина-то Савельевна побывшилась, значит, она мне и говорит: «Иди, Фёкла, ко мне, я тебя не оставлю, хоть когда матушку-то, Акулину Савельевну, мне напомнишь». Я было ни то ни се. Супружника-то её очень

боялась. Супружник её, воевода, Пушкин по прозвищу-то, был барин крутой, сердитый и нашей братьи, бабья, не любил. К тому же и воевода, — с ним много не наговоришь! Но как я ни отнекивалась, воеводиха уговорила.

Вот и стала я у воеводы жить. Ничего, мной довольны, и я была довольна всем. На руки мне бельё постельное сдали, и я должна была за этим бельём смотреть. Дом большой, хороший, жить можно было, только воеводе на глаза пореже попадаться.

Только раз я иду куда-то, а сама думаю: «Вот уж не думала не гадала у воеводы в прислуге быть» — и вдруг повстречала, кого же? Княжну! Ту самую княжну, что, помнишь, я за больной-то ходила в Шлюшине и которую, кажись, как родную дочь полюбила.

Она, сердечная, увидала меня и тоже будто родной обрадовалась. Говорит: «Зайди, пускают теперь! И отцу на двадцать вёрст кругом ездить разрешили». Ну я и зашла.

Она, голубушка, не знала, чем и угостить, как и приласкать; такая она добрая да приветливая. Платочек с своей шейки сняла и мне подарила; дескать, береги себя, Фёкла, не

простудись да навещай почаще! Ты меня всегда обрадуешь!.. А тут старый мучитель-то, Биронов, всё на неё да всё не так! Зачем и глядишь туда, а не сюда; зачем и говоришь эдак? Да и сама Бирониха на неё всё фить да хм! А Биронята-то поганые разные подвохи выкидывают да поганства чинят: то платье к полу гвоздём прибьют, когда она занята чем-нибудь и не слышит, или мышь за пазуху посадят... Она, бедненькая, от всего отшучивается, всё переносит. А если как-нибудь спужается, что ли, и крикнет или что-нибудь там сделает, — вот как крысу-то ей пустили, она испужалась и крикнула, — сейчас всё на неё. А то вот однажды у воеводы за столом говорили, а я, не подумавши, возьми да и перескажи, что вот, мол, дело какое в Петербурге вышло: государынин шут, Аксаков, перепугал государыню до смерти. Принёс он в шапке ежа да вдруг и поднёс к лицу. С государыней чуть обморок не приключился. Биронята переглянулись, не сказали ни слова, а сами потом пустили ежа к ней в постель. Та, не зная, легла в постель и ночью, разумеется, спужалась так, что в себя прийти не могла, и сама же вино-

вата кругом осталась, дескать, отца и мать потревожила, совести, мол, нет!

«Неладно тебе жить тут, моя ладушка, — говорю я. — Не ко двору ты им приходишься! Измучат они тебя, со света сживут!»

«Да, голубушка Фёкла, ты и сама видишь, что невыносимо, — отвечала мне княжна. — Поехала бы, в ноги бросилась государыне, может, и помиловала бы; да что же делать-то, средств нет, да и стерегут как тюремницу».

Я как услышала это, возьми да и расскажи воеводине, а она мужу. Он потребовал меня да и велел туда ходить кажинный день и изо дня в день всё ему рассказывать. Он, говорят, и был один из тех, что Биронова-то в клетку посадили. Самое воеводство, говорят, он за то в награду получил. Потому, говорят, к нему под присмотр и назначен был Биронов. Дескать, он поневоле, для самого себя станет караулить хорошо. Только вот однажды он велел мне сказать, что если княжна хочет, то пусть бежит к воеводине, воеводиня её примет и к государыне отправиться средство даст. Я и пошла.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело

делается. Сказала я это княжне. Думаю, может, она-то и есть голубица моя белая, что в когтях лютых коршунов, может, её-то Фома Емельяныч мне и спасти велел...

Вот государыня в Москву приехала, узнали, что к Троице на богомолье едет. Воеводи-ха посылает сказать, чтобы случая не пропустила. А она всё ещё, голубушка моя, сомневалась.

Наконец решилась; поплакала со мной и из церкви Божией, — у вечерни была, — да прямо к воеводине и прошла. Пришла да сама себя не помнит, к ней как к матери родной бросилась.

— Значит, и впрямь её уж мучили-то очень?

— И не приведи бог слышать! Грызья грызли! Без ножа резали! Без пилы пилили! Да и злющий какой этот старик-то Биронов, да и жена-то его Бирониха! Как княжна-то ушла, им мучить некого было, а у Биронихи была собака, так они ту мунштровать начали; мунштруют-мунштруют, да потом между собою же и перегрызутся. А на княжну, подумай, как им было не бросаться. Они говорят,

что она виновата, что они теперь в тюрьме сидят, за какого-то там принца замуж не пошла... И пилят её, бывало, пилят... А она хоть бы слово! Сидит себе, будто в воду опущенная, и им же чем-нибудь тут старается услужить...

— А отчего же она замуж-то не пошла?

— Я спросила, так княжна только усмехнулась. Они, говорит, мне и не говорили. Может, и точно я бы не пошла, но им упрекать меня не в чем, я об этом принце даже и не слыхала. Знаю только то, что, кажется, он моложе меня был. Старику Биронову, рассказывала она, пришло в голову об этом принце тогда, когда они уж в ссылке, где-то прежде Ярославля, были. Он там надумался, как бы это было хорошо, кабы она за тем принцем замужем была, да с той поры всё и твердит... Ну да теперь пусть как хотят бранятся — с пустым-то местом!

— И уехали вы так? — спросил Елпидифор.

— Да! Воеводиха снарядила и сама с нами отправилась. У Троицы государыню мы не застали, поехали сюда. Здесь воеводиха к своему было родному какому-то поехала, да тот пустить не согласился; ну она поехала отыс-

кивать, где бы пристать. А княжна захотела прежде всего к вашему князю заехать и поблагодарить, что лечил; вот и заехали.

— Ну, а ты-то надолго в Петербург?

— И сама не знаю, как княжна отпустит. Воеводиха меня ей, а её мне поручила.

— Ну, чем же угощать прикажете? — спросил Елпидифор, убирая свой прибор.

— Да что, пивка бы выпила!

— Пивка! Вот как! Ты ноне и пиво пьёшь?

— Ещё бы! Мы с Акулиной Савельевной и всё пиво пили.

— Как, с богородицей-то?

— Что ж? Когда живёшь подле такой святости, так и согрешить не грех. Ты согресишь, а она грех снимет. Ей стоит только рукой махнуть да Господи помилуй сказать. А пиво-то, нечего сказать, Акулина Савельевна любила-таки тянуть; бывало, нам все дюжинами, а не то бочонками приносили...

IV В милости

Князь Андрей Васильевич сидел против Гедвиги.

Первый взгляд его на неё, первая минута свидания были до того неожиданно радостны, были до того светлы, что Андрей Васильевич невольно поддался им. Они охватили его как воспоминание молодости, как ощущение первого проблеска чувства. Всё святое, всё чистое было в этом ощущении, оно разлилось отрадой по всему его существу. Под влиянием этого сердечного порыва радости, не помня себя, он бросился и покрыл руки Гедвиги поцелуями.

Но через минуту, прежде чем она успела сказать хотя одно слово, перед ним тяжким кошмаром возник, будто вырос, вопрос: «А что скажет, что подумает «она»?»

И он невольно остановился в своём порыве, опустил руки Гедвиги и повторил уже другим голосом, под влиянием других чувств:

— Гедвига, это вы? Откуда? Каким образом?

Гедвига инстинктивно поняла разность тона в восклицании и вопросе. Она угадала в нём и измену чувств, и перемену отношений, и внутренний холод. Ей пришло в голову: «Он неожиданно обрадовался, но одумался. Может быть, он жених, может быть, любим и любит, может быть, и забыл совсем...»

Под влиянием этих мелькнувших мыслей она отвечала грустно:

— Да, это я, князь, та самая Гедвига, которая полагала быть... — быть вашей Гедвигой хотелось ей сказать, но она не сказала этого, а прибавила только: — Которая приехала из Ярославля с вашей Фёклой и хотела во что бы то ни стало видеть вас...

— Вы очень добры, Гедвига, вы напомнили мне счастливейшие минуты моей жизни, но...

— Повторение даже счастливейших минут бывает скучно! — прибавила Гедвига тоном обманутого ожидания. — Не будем же говорить о том, чего нет и не может быть.

Она старалась сказать это просто, даже с

весёлой улыбкой, тогда как грудь её сжалась от невыразимой тоски и слёзы готовы были хлынуть из глаз.

Андрей Васильевич взглянул на неё пристально.

Страдания в течение стольких лет положили на неё свою печать. Она побледнела, исхудала, опустилась. Стан её не только не был строен, но как-то скривился, сгорбился; цвет лица далеко не был так прозрачен. Тем не менее казалось, что от всех этих перемен к худшему она не стала хуже. Напротив, она стала привлекательнее. Нежность выражения и какая-то особая задушевность засветились в её глазах, обозначились в облике её лица, в её доброй, отрадной, хотя и грустной улыбке. В каждом взгляде её виднелась прекрасная душа, оживлённая силой разумной мысли; виднелась готовность к самоотрицанию, ради добра, блага, пользы, ради всего, что может только вызвать готовность к самопожертвованию.

У Андрея Васильевича тоже стеснило грудь от слов Гедвиги. Он невольно вспомнил, с каким трепетом и замиранием сердца

он встретил в первый раз выражение её сочувствия; вспомнил ту радость, тот невыразимый восторг, который охватил его в ту минуту, когда в ответ на его страстные слова, от которых у ребёнка-девушки закружилась головка, кровь прилила к сердцу и она, тоже полная трепета, невыразимой радости и непонятных желаний, прижала к его груди своё пылающее личико и чуть прошептала своё «люблю». Вспомнил он, как тогда говорили они, клялись, детски клялись любить друг друга, вечно, всегда, не только до смерти, но и после смерти... Вспомнил, как тогда сорвал он первый поцелуй и как долго поцелуй этот отзывался в нём сладостным ощущением... Да, тогда эти слова, эти клятвы, эта нежность возносили его на верх благополучия, давали ему блаженство осуществления всех надежд, всех оттенков его мечты. Удовлетворяя чувству зарождающейся склонности, они ласкали также и ту его преобладающую страсть, которая, вне его сознания, ещё с детства охватывала собою всю его душу. Эта страсть — безмерное честолюбие. Он сам не знал, до какой степени он честолюбив, а он был честолюбив

именно беспредельно. В то время Гедвига давала ему всё. Она удовлетворяла всем требованиям его мечты, всем тем требованиям, с которыми он сроднился и которые как бы составляли часть его самого. А теперь, теперь перед ним та же самая девушка... Нет, ещё лучше, прекраснее, поэтичнее... Отрадное воспоминание, сочувствие и невыразимая привлекательность Гедвиги выводят его из себя, вынуждают броситься сейчас перед ней на колени, прижать к своей груди и сказать: «Друг мой, родная моя! Ведь ты моя, как и я твой! Осчастливь же меня, проговори мне опять те же заветные слова любви и нежности, которыми когда-то ты туманила мою голову, счастливила мою жизнь...» Да! Но где же тогда будут его мечты?

В эту минуту в его воображении пронёсся величавый, спокойный и хотя несколько поблекший, но всё же обаятельный образ императрицы Елизаветы; пронеслась картина его будущего, когда он, волей величия, окружающего этот обаятельный образ, будет вознесён на тот пьедестал, перед которым склоняется человечество и на котором одним мановени-

ем руки решается судьба миллионов...

Он очарован этим минутным представлением своего воображения. Да! Он встанет на этот пьедестал, не обманет мечты князей Зацепиных, восстановит политическое значение своего славного рода. Он отдаст всего себя, все свои задушевные желания тому, что лелеял в груди своей с детства, чему посвящал себя, всю жизнь, всю мысль свою... На что же тогда ему Гедвига? Зачем она? Какие последствия произойдут от каждого его слова любви и нежности?

Под влиянием этой минутной борьбы его помыслов, борьбы, отразившейся в его взгляде, в выражении лица, в движении бровей, он, однако же, сознавал, что должен что-нибудь сказать Гедвиге, что-нибудь решить, и решить сейчас, сию минуту. «Прибытие её не может не стать известным «ей» завтра же, и тогда что «она» скажет, что подумает? С тем вместе, — думал он, — я должен, обязательно должен выяснить свои отношения Гедвиге, должен сказать... Обман и двусмысленность не соответствуют имени князя Зацепина».

— Не упрекайте меня, Гедвига, за то, что

есть и чего нет в жизни! — начал говорить он, выполняя, как он искренно думал тогда, условия требований разума. — Отрадное воспоминание, охватившее меня бесконечной радостью вас видеть, всё же только воспоминание, а не жизнь!

— Разве вы ожидали от меня упрёка? Нет, князь, вы свободны в ваших чувствах! Ваши слова, ваши обещания, ваши... — Она, может быть, хотела сказать «клятвы», но воздержалась. — Я вам возвратила их.

Сказав это, она остановилась. Она чувствовала, что с этими словами что-то как бы оторвалось от её сердца, и она невольно глубоко вздохнула.

— Одно, за что бы я могла попенять вам, — продолжала Гедвига после минутного молчания, — так это только за то, что вызов, сделанный девушкой в письме, заслуживал какого-нибудь ответа. Вы могли написать хотя бы для того, чтобы уничтожить напрасные ожидания, напрасные мечты... Мне казалось, что я заслуживала настолько вашего участия, чтобы хоть дать мне знать, что то, что было, то прошло...

— Не только участие, Гедвига, но полное сочувствие вашему положению, полнейшая готовность всем в мире искупить ваши терзания. Видит Бог, ни одной минуты я не задумался бы пожертвовать жизнью, чтобы освободить вас от страданий, которые на вас обрушились. Но, к сожалению, изменить что-либо из велений судьбы, касающихся вас, было не в моей власти. Я не мог иметь ни малейшего влияния на ход дел, обернувшихся столь неблагоприятно к герцогу, вашему воспитателю, и отразившихся поэтому столь тяжело и на вас. Между тем на мне лежат обязанности более важные, чем личные отношения... Ведь мы оба с вами были ещё дети, Гедвига; оба ещё не осознавали, что жизнь требует не только увлечения, но и разума! Что же я мог вам написать?

— Вы правы, бесконечно правы, князь, — с особою живостью перебила его Гедвига. — Мы оба были дети, а стоит ли думать о детских планах и детских мечтах! Без всякого сомнения, взрослый человек прежде всего должен думать о том, что он делает, а я, решившись видеть вас во что бы то ни стало, об

этом не подумала. Я должна была понять, что ваше молчание в течение стольких лет, когда уже не могло быть и речи о трудности передачи письма, было самым красноречивым и ясным ответом на мой вопрос. Было ясно: то, что было, прошло, а что прошло, того не будет вновь! Я должна была догадаться! Не догадалась, — простите, что отняла у вас слишком много времени от исполнения ваших обязанностей...

И она встала. Ни слезинкой, ни упрёком не почтила она своих разбитых надежд, своей восьмилетней мечты, в которой она жила не иначе как в сближении с её Андреем; только губки её дрогнули в уголках её маленького ротика, когда она узнала, что всё, о чём она думала, о чём мечтала в течение стольких лет, было не более как детская фантазия, был мыльный пузырь, созданный её девичьим воображением.

— Куда же вы, Гедвига? Что вы хотите делать? Одна? Ночью?.. Позвольте мне предложить вам гостеприимство. Я сию минуту пошлю к Нащокиной, к Трубецкой; кто-нибудь из них с удовольствием проведёт с вами ночь.

Потом, простите, Гедвига, есть ли у вас деньги? Позвольте мне, по крайней мере, сделать для вас то, что я могу для вас сделать?

И он невольно обратился с тем выражением искренней привязанности, которую к ней всегда чувствовал.

— Мы уже чужие, князь, — отвечала Гедвига, — поэтому извините, что я не приму ни одного из ваших предложений. Я не могу беспокоить вас ничем, что не касается вас! Одно, что я вас прошу, это забудьте, что я живу на свете!.. Я тоже постараюсь забыть... — Тут силы изменили ей, и слёзы невольно покатались из глаз. Она быстро повернулась и вышла. Андрей Васильевич остался один, не давая вполне себе отчёта, кто с ним был, кого он видел, будто перед ним мелькнуло привидение...

Но то был для него день, лучше сказать, ночь сюрпризов.

Не успел он опомниться от исчезновения Гедвиги, как ему опять доложили, что ещё одна дама желает его видеть.

— Проси! — отвечал Андрей Васильевич как-то апатично, под влиянием впечатлений,

которые за минуту до этого его волновали.

В его гостиную вошла Леклер.

С первого взгляда казалось, что живая, игривая француженка не переменилась ни-сколько. Она по-прежнему вбежала лёгкой походкой, с обворожительной любезностью; по-прежнему начала болтать обо всём, кроме дела, за которым пришла. Только внимательный взгляд мог бы заметить, что брови её стали как бы гуще и чернее, румянец лица как-то неподвижнее и губки будто розовее того, чем они были прежде. Она весело протянула руку Андрею Васильевичу.

— Не ждали, князь, не правда ли? А узнали? Хороши, нечего сказать! Эти ужасные мужчины только и думают о самих себе! Больше полугода, как возвратились в Россию, после стольких лет отсутствия, и хоть бы из любопытства навестить пожаловали. Так что заставили меня, чтобы видеть вас, бросить всё и приехать сюда, в Москву, где все на нас так косо смотрят. Ведь это бессовестно! Впрочем, вы, мужчины, все таковы! А мы, бедные женщины, за них страдаем, о них думаем, на них надеемся... Ну стоит ли?

— Жозефина! Вот не ждал! Рад вас видеть! Боже мой, вы всё молодеете и хорошеете с каждым днём.

— Смейтесь! Я успела уже совсем состариться! Я старуха, оставленная за штатом на роли благородных матерей. А вы?.. Вы? — Она без церемонии дёрнула его за руку и оглядела с головы до ног. — Да! Мне уж не придётся теперь учить вас менуэту!

— Зато, может быть, захотите научить меня чему-нибудь другому! — смеясь, сказал Андрей Васильевич.

— Нет! Я приехала учиться у вас побеждать сердца!

— Знание этой науки может быть передаваемо только вами; это я на себе испытал! Ну скажите, Жозефина, кого вы теперь образовываете? Молодой граф Головин говорил, что вы его доводите до отчаяния своею жестокостью.

— Вот мужчины! Они хвастают тем, чьё сердце разобьют, и не думают о том, сколько страданий причиняют они нам!

— Да тут, кажется, вопрос о разбитом сердце мужчины?

— А вы не хотите вспомнить о моём бед-

ном сердце, — отвечала Леклер, смеясь. — Не хотите вспомнить, как, бедное, оставленное своим победителем, оно металось и рвалось... Но не буду надоедать вам воспоминаниями моих страданий за вас и от вас! Знаю, что было бы бесполезно. Я приехала к вам... Вы ведь знаете, что я деловой человек, поэтому приехала к вам по делу.

— По делу? Вот как! Да какое дело могут иметь деловые люди ко мне, человеку вовсе не деловому?

— Шутите, мой добрый, милый князь! Слышим, что ваше влияние, как говорят русские, растёт не по дням, а по часам.

— Этого я не слыхал! Куда же вы бы хотели направить моё, как вы говорите, растущее влияние?

— На спасение друга! На спасение страдающего друга, который, бывало, оживлял собою всё наше общество! На спасение того друга, который одинаково был способен исцелить и тело и душу... Вы его забыли, разумеется, потому, что человек, получающий политическое значение, обыкновенно забывает всех. Вы очень добры, что меня вспомнили. При-

знаюсь, я на такую доброту вашу даже не рассчитывала и запаслась письмом от вашего парижского приятеля, графа де Шуазеля. Вот это письмо. Но положим, что вы забыли человека, который был одним из самых преданнейших ваших почитателей. Этот человек теперь в ссылке, в изгнании, страдает...

— У меня память настолько хороша, что я угадываю, о ком вы хотите говорить, Жозефина. Я полагаю, что вы говорите о графе Лестоке! — заметил Андрей Васильевич, распечатывая и пробегая письмо графа де Шуазеля, который рекомендовал ему Леклер как одну из талантливейших представительниц драматического искусства и присовокуплял, что исполнением её ходатайства он особенно и сердечно обяжет преданного ему Шуазеля.

— Да, я прошу о нём! Вы знаете, что не было человека, который более желал бы вам достижения того, чего вы теперь достигаете, как граф Арман. Вы знаете, что когда случилась история с Шубиным, то он руки себе ломал от досады, что он не предупредил её, представив вас, по его мнению, единственного человека, могущего стоять на высоте своей задачи. По-

могая ему, вы поможете человеку вам более чем преданному!

— Верю вам, но скажу откровенно, что тут трудно будет что-нибудь сделать. Кроме его политики, которую нельзя же одобрить, — кроме того, что он вызывал опасение за самое начало власти, опасение возмутителя, и возмутителя опасного, как это доказал уже опыт, Лесток умел ещё стать виновным в личных преступлениях против величества, а такого рода преступления не прощаются.

— Да, если прощение испрашивается не такими лицами, которым нет отказа. А я по себе знаю, легко ли вам отказать! Послушайте, мой дорогой, мой любезный князь! Уж если вы вступаете на политическую арену света, то, разумеется, не можете не принять какой-нибудь общей программы. Я слишком хорошо знаю вас, чтобы думать, что вы упустили это из виду. Из чего же может состоять такая программа? Политика России в настоящее время ясна. Она распадается на два противоположных курса. Союз с Австриею против Франции или союз с Францией против Австрии. Вы, естественно, не можете стоять

за немцев, стало быть, ваша программа стоять за союз с Францией. А идее союза с Францией самый верный слуга Лесток, сосланный и изгнанный, тогда как противник его, представитель, желающий союза с Австрией, Бестужев-Рюмин, стоит во главе управления... Я женщина, мой бесценный князь, и, разумеется, не смею вмешиваться, не смею учить, да вы меня бы и не послушали; тем не менее, при всей своей неопытности, я думаю, что, становясь на политическую почву, вы не можете сойтись с Бестужевым. Вам нужно стереть его! А для этого Лесток опять вам будет верный помощник, не только как его естественный противник, но и как личный враг, который не забудет никогда, что за добро, которое Лесток ему сделал, Бестужев заплатил злом. Таким образом, из всего выходит, что, прося за Лестока, вы будете просить не только для него, но и для себя!

— Боже мой, какой вы тонкий дипломат, Жозефина! Я и не подозревал в вас таких способностей, — смеясь, проговорил Андрей Васильевич. — А почему вы думаете, что я не могу стоять за немцев? Ведь для меня не мо-

гут быть особенно дороги ни французские, ни австрийские интересы. Я должен думать об интересах русских, которые иногда могут идти прямо вразрез с французскими.

— Этого не может быть, мой дорогой князь, потому что Франция и Россия — два великих государства, которым нечего отнимать друг у друга и не в чем одно другому завидовать. Завидовать России, как завидуют они Франции, могут только немцы. Это первое. А второе, если бы вы могли когда-либо стоять за немцев, я инстинктивно не могла бы вас так любить, как я вас любила! Вы француз, мой добрый князь, француз по воспитанию, по складу вашего ума, по взглядам. Вы жили в нашей прекрасной Франции, а кто там жил, не любить её не может!

— Разве потому! А может быть, и потому, Жозефина, что первая женщина, которую я любил, была, как вы, вероятно, не забыли, француженка! — шутливо отвечал Андрей Васильевич. — Итак, по-вашему, Жозефина, я должен хлопотать о восстановлении влияния человека, который хотя для меня ничего не сделал, но, по вашему уверению, хотел сде-

лать, так ли?

— Зато, поверьте, бесценный друг, сделает! А вас просит о нём женщина, беззаветно вам преданная и которой некогда и вы оказывали ваше расположение. Притом скажу вам: граф Арман человек с золотым сердцем и невероятно подвижным умом. Государыня, которую я видала только со сцены, стало быть, могу судить о ней лишь по общим рассказам, обладает весьма мягким и добрым сердцем. Поэтому я убеждена, что, уступив влиянию врагов Лестока и удалив его, она будет рада слышать ходатайство за него, особенно когда это слово ходатайства будет сказано человеком, который... который... ну, неотразимость влияния которого я испытала на себе... Послушайте, князь, мой добрый, дорогой князь, ради мольбы оставленной вами женщины, ради будущих услуг, которые вам граф Арман непременно окажет, наконец, ради вашей доброты и любезности, — вспомните о нашем бедном Лестоке, помогите ему!

— Ради столь важных государственных причин, высказываемых столь прекрасными устами и столь убедительной просьбы неко-

гда чаровавших меня глаз, решаюсь попытаться счастья, но не ручаюсь за успех...

— Успех будет, это несомненно! И граф Арман опять оживит собою наше общество... Однако ж я засиделась, уж поздно, слышите — час! — прибавила Леклер, лениво поднимаясь с кресел и думая, не захочет ли он удержать её по старой памяти. Но — увы! — он не захотел удерживать её, несмотря на то что глаза Леклер из-под подкрашенных ресниц метали искры.

— Итак, вы обещаете? — спросила она, подавая руку на прощанье.

— Попытаться, только попытаться, не более, — отвечал Андрей Васильевич, провожая Леклер до аванзала.

Но эта ночь, как мы уже сказали, была для него ночью сюрпризов. Возвращаясь с проводов Леклер, в дверях у своей лиловой гостиной он встретил стоящего на коленях человека, который при его входе пал ниц и поцеловал его сапог.

Это было так неожиданно, что Андрей Васильевич вздрогнул. Не сообразил он того, что те, которые хотят убить или ограбить, не

целуют сапог. Он растерянно спросил:

— Кто вы? Что вам угодно?

Перед ним на коленях стоял Ермил Карпыч.

— Что такое, что с вами? — спросил Андрей Васильевич. — И как вы попали сюда в это время?

Андрей Васильевич опять не сообразил, что, во-первых, золотой ключ, как говорят, отпирает все двери; а у Ермила Карпыча был такой золотой ключ, стало быть, не было ничего удивительного, что в какое бы то ни было время он мог куда бы то ни было пробраться; во-вторых, что самое положение Ермила Карпыча, на коленях в дверях, указывало в нём просителя, самого униженного просителя.

И какая разница была между Ермилом Карпычем, сидевшим в его петербургском доме в венецианской гостиной, на золотой парче, и философствовавшим перед его покойным дядей о том, что денежки беречь нужно, что они должны расти, как зерно в земле, и приносить своему хозяину свой рост, — и Ермилом Карпычем, стоящим на коленях перед дверьми другой его лиловой гостиной в его

доме в Москве, куда он мог пробраться в такое время, ясно, только раздавая, что можно, и швейцарам, и официантам, и комнатным, и камердинерам...

— Ваше княжеское высокопревосходительство, — начал Ермил Карпыч, — не оставьте вашей великой милостью, помогите...

— Что случилось с вами? И разве не было у вас другого времени?

— Не было, высокографский князь! Только теперь... я и осмелился. Думаю, авось по старой памяти покойного дядюшки... Ко мне очень, очень милостив покойный был, да и вашему сиятельству, видит Бог, постараюсь...

— Да встаньте, по крайней мере! Садитесь же! — сказал Андрей Васильевич, садясь в первое попавшееся кресло и указывая Ермилу Карпычу табурет. — Ну-с, что же такое случилось, что вы не могли ко мне явиться с вашей просьбой иначе как ночью?

— Я в тюрьме сижу, высокородный сиятельный милостивец, в тюрьме за тремя замками; четверо часовых караулят меня. И днём никак нельзя уйти, того и гляди, что спросят, и тогда такая катавасия подымется, что хоть

СВЯТЫХ ВОН ВЫНОСИ.

— В тюрьме? За что?

— По злобе злых людей, высокородный милостивец, только по одному завидующему злобству! Молились мы Богу по-нашему, по-старинному, никому-то мы не мешали, никого не трогали. Как вдруг ни за что на нас князь Яков Петрович взъелся; говорит: народ смущаем. А чем смущаем? У него девушка жила, так, приживалка какая-то, говорят, будто родственница с левой стороны. Может, и так! Отец-то Якова Петровича любил, покойник, того... Да не в том дело! Эта девушка и просветилась светом истины, узрела силу благодати, вошла в нашу общину доброй волей, даже по-сильный взнос от себя сделала. Ну благодать Божия и осенила её. Она отяжелела. В чём же я тут виноват? Что же тут сделала наша община? Говорят: вредный человек; спрашивают: где ребёнок? В ребёнке была благодать, и он пострадал за грехи мира; опять же я тут не причина!

— Я-то тут при чём же? — спросил Андрей Васильевич. — Что я могу сделать?

— Да если высококняжеский господин ска-

жет только одно словечко, не то Александру Ивановичу, а хоть Якову Петровичу, что в Синоде порядки новые заводит, то всё дело сейчас же прахом станет. Всякий возьмёт, что ему нужно; а напрасно тянуть — разуму не будет; будут знать, что покровитель есть... А уж я-то бы для вашего княжеского сиятельства пару таких птиц подстрелил, что только на диво миру показывают. Дядюшка ваш покойный очень любил таких, свеженьких, молоденьких... все дичью называть изволили; шутник были большой!

— Ну я не в дядюшку и за дичью не гонюсь! — улыбаясь, ответил Андрей Васильевич. — Но послушай, Ермил Карпыч, дело, разумеется, не моё. Я с своей стороны думаю, что молись всякий, кто как умеет и как кому совесть подсказывает. Но молитва молитвой, а обман обманом. Коли вы вместо молитвы обманываете грубый и несведущий народ и в обманах своих доходите даже до злодейства, как ты вот сам же тут о ребёнке высказал, то, согласишься, что прекратить такой обман уже не то что совести людской в молитве коснуться, а значит — злодейское дело остановить. Я

не знаю, в чём ваша старинная вера состоит; не знаю, какие порядки вы там между собой наблюдаете; но уже из твоих слов вижу, что князь Яков Петрович Шаховской, близко зная действительную сторону вашего исповедания по своей побочной родственнице, совершенно прав, что начал против вас преследование. Я не прочь тебе помочь, в чём могу, но стоять за то, чего не может допустить никакое общество, уж, разумеется, не стану.

— Да помилуйте же, ваше княжеское высокопревосходительство! Мы не токмо что там какое злодеяние, мы и молельню-то совсем ломаем, и общину распустим. Нам только бы дело-то прекратить, а то пристрастием уж очень пугают. Ну, разумеется, сколько в силах, отплачиваемся, да ведь скоро уж и сил не станет. Окажите благодеяние, будьте милостивцем!

И Ермил Карпыч с табурета снова бухнул в ноги.

— Полноте, полноте, не кланяйтесь! На этом основании, то есть чтобы никакой там секты, никакой молельни не было, а всё бы жили просто, по христианскому закону, я со-

гласен поговорить и с Александром Ивановичем, и с Яковом Петровичем. Государыня прошлое простит. Она милостива; но с тем, чтобы это не повторялось. Понимаешь, Ермил Карпыч? Если же потом опять дойдёт жалоба, пеняй на себя!

Ермил Карпыч начал кланяться и благодарить, а сам думал: «Господи, какой дурак! Даром обещает! А я двадцать пять тысяч самими новенькими рублёвиками ему приготовил, чтобы только дело-то как-нибудь кончить, а то важное дело — молельня. Мы новую устроим! Не понимает он того, что мы кому чем следует кланяемся, и в Петербурге, и здесь кланяемся, слова не говорим. А тут грех такой приключился, на дурака попали, никаких денег не берёт! Ну да один дурак сгубил, а кажется, даст бог, другой выручит. О-ох, грехи, грехи!»

И Ермил Карпыч, рассуждая таким образом, с чувством удовольствия подарил золотой елизаветинский рубль комнатному, который его пропустил, обещая, коли дело его кончится, ещё два таких же подарить, а встретив камердинеров Андрея Васильевича,

одного француза и другого, знакомого нам, Фёдора, подарил первому пять, а второму три рубля, — дескать, напомните обо мне барину: дело кончится, забыты не будете! А почему он напоминание французское оценил в пять, а русское только в три рубля, — это уже было дело Ермила Карпыча; должно быть, оттого, что французское увесистее, сильнее действует.

Последний сюрприз, который получил в эту ночь князь Андрей Васильевич, заключался в поданном ему его камердинером-французом приглашении к государыне завтра пораньше утром. Приглашение это, доставленное не в обычное время, было написано ею собственноручно, и в нём было столько милости, столько душевной доверенности, что Андрей Васильевич, счастливый, довольный, вошёл в свою спальню и, приказывая поставить будильник на шесть часов, даже и не вспомнил ни о Гедвиге, ни о Леклер, хотя некогда... Ну да мало ли что было некогда?

На другой день в семь часов утра Андрей Васильевич был уже в Лефортовском дворце,

где останавливалась государыня. Говорили, что государыня этот день назначила для отъезда в Петербург, поэтому раннее приглашение было неудивительно. Страннее казалось то, что государыня приказала ни о ком, кроме Андрея Васильевича, даже не докладывать. Что это такое? Зачем бы? Даже когда государыня принимала Разумовского, то не отдавала таких приказаний. А тут ещё в последний день перед отъездом! И хотя Бестужев приносил важные бумаги из Иностранной коллегии, но так и уехал, не повидав государыни.

Андрея Васильевича государыня приняла ещё в утреннем костюме, сделанном из голубой кашемировой шали, обшитой кружевами, в голубых же бархатных ботинках, шитых золотом и жемчугом и так рельефно вырисовывавших на пунцовом ковре её маленькую, изящную ножку.

Елизавета, несмотря на свои тридцать шесть — тридцать семь лет, была ещё увлекательно хороша. Некоторая полнота, обозначившаяся в её миловидном круглом лице, разумеется, изменила тот игривый, весёлый тип любезной девушки, от которого некогда

приходили в восторг все посланники, и обратила её в величественную, прекрасную даму, добрые, голубые глаза которой смотрели от-раднo, приветливо; тонкие губы её улыбались светло и радостно, а густая каштановая коса, хотя и напудренная слегка и поднятая вверх по французской моде, весьма и весьма могла напомнить собою её чудную косу, «красной девицы красу». Андрей Васильевич с чувством удовольствия и внутренней гордости взглянул на величественный тип прекрасной женщины, положение которой, как государыни и самодержицы всея России, невольно кружило ему голову. Он чувствовал, что эта женщина всей душой своей предана ему, она смотрит на него как на оракула, видит единственно в нём человека, в котором может найти опору и помощь во всех случаях жизни, имеющих государственное значение.

— Я просила вас к себе, князь, не как подданного, а как друга, — начала говорить государыня своим густым, но чрезвычайно симпатичным голосом, напоминавшим её некогда весёлый смех в комнатах влюблённого в неё племянника, императора Петра II, пред-

лагая ему занять место на канаве против её кресла. — Не откажитесь помочь мне и словом, и делом. В чём это дело — я и сама не понимаю; но понимаю то, что это нужно раскрыть, разъяснить; что с этим тесно связано не только моё спокойствие и безопасность, но и спокойствие всего государства.

— Государыня, — отвечал Андрей Васильевич, целуя протянутую ему руку и сядя на указанное канаве. — Если преданность может заменять искусство, то вы найдёте во мне самого искусного исполнителя ваших повелений.

— В вашем искусстве не может быть сомнения. Вопрос исключительно касается только вашего желания. Цари и повелители народов, к числу которых привлекла судьба и меня, постоянно подчиняются одному закону — быть обманываемыми.

Они не слышат или почти никогда не слышат правды. Эту же участь испытывают все женщины вообще. Их тоже обманывают всегда, даже в самые торжественные минуты их жизни. Я — самодержавная императрица и женщина, стало быть, подвергаюсь двойному

обману от всех. Достанет ли у вас силы воли стать выше этого общего стремления, можно сказать, даже страсти к обману, и, раскрыв дело, представить его мне именно в том виде, в каком оно есть?

— Всемиловитивейшая покровительница, — отвечал Андрей Васильевич, — хотя моё воспитание мне довелось оканчивать во Франции, но, как русский в душе, я, говоря со своей государыней, имею полное право сказать: «Несть лести во языке моем!»

Да, Андрей Васильевич имел право это сказать. В языке его не было лести; но лесть была в его глазах, в выражении лица и в самой позе, глубоко почтительной, светски свободной, вместе с тем какой-то вызывающей, будто высказывающей беспредельную преданность.

— Если так, то вы во мне встретите тоже всё, чего только можете от меня ожидать. Не знаю, найду ли я в груди своей столько чувства, чтобы отблагодарить вас как женщина, но знаю, что, как государыня, я буду в силах поставить вас столь высоко, насколько эта высота может удовлетворить ваши ожидания. Моя просьба: спасите меня вашей прав-

дой, князь; разъясните мне то положение, которое меня томит, меня смущает. Скажите мне, что это такое: случайность, интрига или просто обман? Раскрыть это мне необходимо.

— Всё, что изволите приказать, всемилостивейшая государыня! Видит Бог, не пожалею себя, чтобы сделать всё, что может вас успокоить.

— Вы знакомы с положением моего двора? Мы много раз говорили с вами о том противоречии взглядов, которое я встречаю в окружающих меня. Первое, что, признаюсь, меня существенно беспокоит и смущает, — это что мой племянник и наследник просто помешан на прусском короле. В нём, и только в нём, он видит образец всех добродетелей. Кажется, и государство, и меня, и самого себя отдал бы он ему по одному его слову. Не говорю о том, в какой степени это несоответственно внуку Петра Великого, наследнику русского престола, но не могу не сказать, что это имеет на моих приближённых неотразимое влияние. Оно, вы знаете, выразилось чуть не заговором, по крайней мере, весьма энергическими действиями партии, желавшей, для охраны

прусских интересов, пожертвовать мной. Они хотели не более не менее как заставить меня отказаться от престола в пользу племянника. Мне удалось заблаговременно остановить такого рода зловредные замыслы. Но при этом я имела случай убедиться, что не могу положиться на самых близких мне людей. Даже Воронцов получает от прусского короля пенсию. Дело, впрочем, не в нём. Двое из лиц, которым поневоле я должна предоставить наибольшую долю власти, находятся в явной между собою вражде и ищут всевозможные способы подвести один другого. Против них нет ничего явного, что могло бы заставить меня в чём-нибудь их подозревать, хотя, по своей взаимной вражде, они постоянно обвиняют один другого в самых непозволительных поступках. Трубецкой, например, явно говорит, что я и государство проданы Бестужевым австрийскому дому, а Бестужев в каждом докладе своём старается доказать, что Трубецкой решительно торгует правосудием и что благодаря его действиям возбуждена ко мне ненависть чуть не в целой России.

— Не слишком ли уж пересолил граф Алек-

сей Петрович своё усердие, ваше величество? — отвечал Андрей Васильевич. — Чтобы вас, милостивую, добрую, облегчившую всё и всех, изгнавшую даже воспоминание о бироновских ужасах, Россия могла ненавидеть? Нет, государыня, это клевета на Россию! К вашему имени могут идти только благословения! Пусть даже вы заподозрите мои слова в искренности, но...

— Я и сама знаю, что я не заслуживаю ненависти; однако ж вот прочитайте. Это мне собрал и прислал Бестужев, как доказательство того, что делается в Русской земле.

И государыня подала ему кипу бумаг. Бумаги эти заключали в себе донесения о различного рода беспорядках и волнениях. Здесь — башкиры собираются уйти в киргизские степи; там — ловят беглых тысячами; во многих местах не прекращаются разбои; а главное, поднялась мордва, под предводительством одного из отчаянных изуверов, бывшего переkreщенца Несмеяны, который не только поднял своих одноплеменников, но грозит разлить пожар возмущения на всю Восточную Россию, присоединяя к себе род-

ственные племена чувашей, вогуличей и других инородцев, и уже выдержать столкновение с войском.

— Что вы на это скажете, князь?

Андрей Васильевич пожал плечами.

— Вы скажете: непонятно; то же думаю и я. Мордва — народ добрый, тихий, послушный. Он доселе верит тому, что должно случиться, не следует даже ставить препоны, потому что это значило бы идти против судьбы или их идола, забыла, как они его называют. Всё зло, какое существует в их понятии, они, говорят, соединяют в лице капитан-исправника и потому особенно чтут его и повинуются, чтобы не озлобить злое начало природы. А тут, подумайте! Они выполняли без ропота все требования отца, ни одним звуком не выразили неудовольствия против тиранства, или, как вы говорите, бироновских ужасов, и вдруг поднимаются все, как один человек, и когда же? Когда я, кроме оказания им милости, не сделала ничего. А башкиры? А тептяри? Откуда в них появилась такая непримиримая ненависть к русским? Я бы поняла это, если бы волнение их возникло в то время, когда

принц гессен-гамбургский был около их мест с войском или когда всюду искал средства для снабжения своей армии Миних, вообще при подобных стесняющих обстоятельствах. А теперь, когда нет ничего, ровно ничего?..

— Не скрою, всемилостивейшая государыня, что это и мне кажется весьма странным.

— Бестужев говорит прямо, что в этом виноват Трубецкой, его нажим, его несправедливость. А вот прочитайте, как объясняет эти вопросы Трубецкой.

Андрей Васильевич начал читать:

«По рабской мой обязанности считаю долгом представить на высокое воззрение вашего императорского величества, что неудовольствие башкир имеет прямым источником действия нашей пленимпотенции иностранных дел, ибо башкиры присылали от себя к вашему величеству депутацию с жалобами на их губернатора, чинящего им разные обиды и насилия. По заведённому обычаю о предоставлении таковой депутации права всемилостивейшего вашего лицезрения, они обратились к канцлеру, но г. канцлер, задаренный губернатором, приславшим ему, как

это доподлинно известно, 30 000 р., таковую депутацию до лицезрения вашего величества не допустил. Что же касается мордвы, то хотя и нет указаний, чтобы она также могла быть подвинута на свои разбойные приключения от внешних сношений, но, принимая в основание слух, пущенный между ними, что будто некоторых из них хотят отправить в подарок в Пруссию, подобно тому, как двое из мордвин были туда отправлены при покойном вашем родителе, и как таковой слух ниотколе не мог возникнуть, как только от Коллегии иностранных дел, то и можно полагать, что таковые зловредные действия тоже не без влияния г. канцлера произошли».

— Но какая цель могла руководить канцлером? — спросил Андрей Васильевич.

— Цель может быть одна. Его настояния отпустить Брауншвейгскую фамилию, его постоянное желание направлять политику России вразрез политике Франции и Пруссии, даже его участие в этом негодяе Ботте, — всё это клонится к одному — к австрийским интересам.

— Но, ваше величество, ведь это была бы

подлость безмерная, измена отечеству! Как поднимать возмущение для того только, чтобы дискредитировать своего соперника. Подозревать в этом канцлера...

— Я никого ни в чём не подозреваю, никого ничем не дискредитирую. Я хочу только узнать: действительно ли хищничество и несправедливость внутреннего управления вызывают беспорядки, или эти беспорядки — результат внешних интриг, имеющих влияние на моего канцлера? — Она помолчала минуту и продолжала — Вот, князь, задача, которую налагает на вас государыня и женщина. Если, с одной стороны, действительно у кормила власти стоит человек, который думает только о том, как бы возвратить брауншвейгцев с их императором Иоанном, ради того, что таковой возврат вполне обеспечивает интересы Марии-Терезии; а с другой стороны, если интересы моего государства вверены мною человеку, который своими неправдами вызывает ко мне ненависть, так как Бестужев доставил мне собрание донесений, которые вы читали и из которых видно, какой хаос и неправда происходит в моём государстве, а

Трубецкой объясняет, что виною этого беспорядка сам же Бестужев, — то кому же верить? Где искать правды? Моё сердце указало мне на вас. Разрешите мне эту задачу, князь. Ваши имения во многих местах соприкасаются с местностями, занятыми мордвой. Зацепинск один из таких городов, куда мордва привозит свои произведения. Поезжайте, узнайте, в чём тут дело, где правда? И вам будет сердечно благодарна и государыня, и женщина. Я вам представляю полную мочь, требуйте войска для вашей безопасности, распорядитесь сменой лиц, которые вам представятся неблагонадёжными, делайте всё, что вам скажут ваш разум и сердце, — только донесите мне правду, одну правду.

Разумеется, Андрею Васильевичу оставалось только заявить, что он употребит все усилия, чтобы оправдать доверенность государыни и заслужить её милости.

— Всё, что вы хотите, требуйте от меня тогда! Вы не думайте, чтобы я не чувствовала лишения, отпуская вас. Напротив, я, можно сказать, отрываю вас от сердца. Вы единственный человек, от которого я могу при-

нять совет, перед кем я могу раскрыть своё горе. Но личные чувства свои я считаю необходимым принести в жертву обязанностям государыни. К тому же я надеюсь, что вам не потребуется для исполнения моего поручения много времени. И я решаюсь, опять скажу, потому, что поверить могу только вам.

Как ни был Андрей Васильевич отвлечён рассмотрением поручения, даваемого ему императрицей, но успел, однако ж, сказать ей несколько слов о Лестоке.

— Мы это обсудим вместе, по вашем возвращении, — отвечала она. — Не могу не согласиться с вами, что Бестужеву во всяком случае необходим противовес; но ещё предстоит решить: нужен ли Бестужев?

Этими словами государыня его отпустила, допустив к целованию обеих рук — своих полненьких, маленьких, кругленьких, беленьких, с розовыми ноготками, хорошеньких ручек...

Барон Черкасов

Тем самым вечером, который мы называли в рассуждении князя Андрея Васильевича днём или, правильнее, ночью сюрпризов и накануне дня, когда императрица Елизавета Петровна столь откровенно высказала перед ним свои мысли, возлагая на него важное государственное поручение, барон Иван Антонович Черкасов сидел у себя в кабинете и заканчивал бумаги, которые государыня спешно приказала приготовить и держать в особой тайности.

Барон Иван Антонович был человек уже немолодой, лет эдак пятидесяти пяти, с небольшой лысинкой и коротко подстриженными седоватыми волосами, на которые в парадные дни он надевал парик.

Он всякий день благодарил Бога за то, что Бог его так устроил; особенно благодарил, когда думал о том, что он есть, и вспоминал, чем он был.

Правда, он достиг всего своим примерным трудолюбием, усидчивостью, а главное — скромностью и безупречной честностью, но всё-таки без воли Божией ничего бы не могло выйти.

Особенно отрадно было ему думать об этом, когда он вспоминал все понесённые им труды, преодолённые искушения и претерпённые невзгоды.

Поступил он на службу в Посольский приказ младшим подкопиистом. Там и отец, и дед его целый век служили копиистами, а дядя — тот и по сие время служит подкопиистом. Жалованья было три алтына в неделю, а работы часов одиннадцать на день. Изволь тут справляться и отцу помогать.

Мальчик он был тихий, послушный, смирный; принялся за работу усердно. Сидит себе, бывало, да пишет, и за отца, и за дядю, и за себя, всё пишет, — кто бы что ни дал. Переписывал он хорошо, старательно и без ошибок; бумаги даром не портил. Ясно, что его на службе полюбили. Вот для начала ему прибавили жалованье, выдали награду, потом повысили; наконец сделали копиистом и женили на до-

чери тоже какого-то копииста или подкопииста. Всё шло как по маслу; живи себе с миром, пока не умрёшь, разве если начальство будет уж очень довольно, то в протоколисты произведёт. А тогда, само собой, и рюмку водки иногда выпить можно будет, и именины или крестины справить, и товарищей позвать. Тогда и умрёшь, так будет похоронить на что. Ну а до тех пор держи зубы на полке и учи жену гречневую кашу варить, коли крупа есть.

Так жил его отец, его дед, и, надо думать, прадед, и все Черкасовы, ибо испокон веку все в копиистах да подкопиистах в Посольском приказе служили; в протоколисты никто не попадал. Вот дядя — тот и теперь так же живёт и служит; только его и в копиисты не производят, а всё держат чуть не с полвека в старших подкопиистах; да нрав у него крутой, язык за зубами держать не умеет, какое же тут производство будет?

Итак, выше звания копииста Черкасовы не доходили; правда и то, коли отец копиист, так сыну не дьяком же, по-старому, или по-новому — не секретарём же быть?

Только вот во время самого разгара шведской войны потребовались великому государю писцы, велел он Шафирову выбрать из приказа понадёжнее и прислать к армии. В число выбранных попал и Иван Антонович, которому и к жене сходить проститься не дали, а прямо из присутствия да на подводы. Понравился государю его почерк, понравились его исправность и смирение, он и перевёл его из Посольского приказа в свою собственную канцелярию.

Тут жалованья было побольше, а работы, пожалуй, поменьше, но куда не в пример труднее. Государь был неумолим и нетерпелив. Пришлёт, бывало, записку листов этак в шесть, переписать, дескать, скорей, нужное, да через час и шлёт: «Готово ли?» А пока эту записку пишешь, государь собственноручно три другие приготовит, и все нужные, и все подавай сейчас! Как знаешь тут, так и управляйся!

Полениться или прогулять работу под надзором Петра и думать не моги! А ошибёшься в чём или дело не в порядке поведёшь, пеняй на себя! А у государя, не говоря о чём прочем,

и дубинка всегда близко была.

Ну да ничего, — вспоминает Иван Антонович, — служили не тужили и государя не гневил. Руки от работы не отваливались, и сами мы ни в чём не провинились. Разумеется, все усилия прилагали и ни о чём другом, кроме воли царской, не думали, не то что нынешняя молодёжь, которая работу в руки возьмёт, а глазами ворон считать начнёт! За то государь и оклад возвысил, и своей милостью не оставлял; жаловаться грех было, хотя подчас и очень жутко приходилось.

— И милостив ко мне стал в Бозе почивший, не по заслугам милостив, особенно с тех пор, — вспоминал Иван Антонович, — когда узнал, что от меня никакой тайности выпытать не можно и что кто другой там, а уж я не продам, не выдам ни за царствие небесное.

Случай такой тут подошёл, и ему пришлось увериться. Входит это к нам в канцелярию князь Яков Фёдорович Долгорукий. Он заготавливал провиант для армии и ведомость царю о заготовленных предметах представил. На этой ведомости царь собственноручные резолюции положил и велел мне переписать.

Я сел переписывать, а государю куда-то понадобилось, он и уехал. Когда воротится, никто не знал.

И вот вошёл князь в канцелярию да прямо ко мне.

— Тебе, Черкасов, государь подал мою ведомость с своими отметками? Подай их сюда!

— Власть ваша, ваше сиятельство, а подать и даже показать не могу, — присягу держал, всё, что узнаю, или увижу, или от государя получу, держать в тайности и никому, кроме самого государя, не выдавать и не показывать.

— Да я для государевой же пользы, глупый! — сказал князь.

— Не смею в том сомневаться, ваше сиятельство, только дело это не моё! По присяге, без царского указа, ни показывать, ни говорить не смею. Извольте у государя спросить.

— Да его в Москве нет, олух, понимаешь! А дело спешное. В убыток большой введёшь.

— Опять же это дело, ваше сиятельство, меня не касается. Может, прибыль, может, убыток будет. Моё дело держать в тайности всё, что государь мне отдал и что велел в тай-

ности сберегать!

— Фу дурак какой! — сказал с досадой князь Яков Фёдорович. — Заладил одно: «Дело не моё да дело не моё». Я тебе письменный приказ напишу, стало быть, я и в ответе буду.

— Нет уж, ваше сиятельство, зачем вам беспокоиться и в ответе быть? Без царского указа ни в жизнь не соглашусь, ни по чьему приказу. Власть ваша! Хоть в могилу заройте, не могу! Пусть государь прикажет, всё, что угодно отдам и сам перепишу, но пока он не сказал — ни за что!

Яков Фёдорович разговаривать не стал, рассердился страшно — да мне что делать-то было?

Только на этом дело не кончилось. Прислал он мне этот приказ за своими подписями и печатью и велит выдать копию с этой ведомости и резолюций государя какому-то жидку-подрядчику.

Жид начал дело с подходцем.

— Вижу, васе высокоблагородие, большие маетности маете?

— Какие маетности? — отвечал я. — У меня и в жизнь мою ничего не бывало.

— Что же, это всё равно; коли маетностей не маете, так за службу жалованье, верно, большое и награды всякие получаете? Одиному человеку как не жить.

— Ну жалованье получаю, жаловаться грех, и наградами не обходят.

— Так, почитай, васе высокоблагородие, всякий год большие остатки есть! Вам одним куда прожить.

— Какие остатки? Так изо дня в день перетягиваешь. Из жалованья-то остатки? Ах ты жид! Да и кто тебе сказал, что я один? У меня жена, дочь, и ещё сын недавно родился.

— О, вей мир, тяжело тогда, тяжело! С детьми много возиться нужно; много тратить; да и беречь нужно, чтобы на чёрный день что им припасти.

— До сбережений ли тут; хотя бы поднять-то как Бог дал.

— Ну Бог не без милости! На вашем же месте, да как же чтобы детей не поднять. Простите, ваше высокоблагородие, что я, простой, цестный еврей, такое рассуждение иметь себе позволяю и такие вопросы делаю. Большие геданки вы по вашей должности получать из-

волите?

— Геданки? За что? Моя должность ведь не воеводская или не хозяйственная какая, чтобы мне гешенки да геданки получать. Я ведь только переписываю! Скажут — перепиши, вот хоть бы приказ, чтобы Шмуля или — как вас зовут? — повесили, я и перепишу; ни отменить, ни переменить, ничего не могу. За что же вам мне гешенке делать?

— Помилуйте, ваше высокоблагородие, да как же? А если вы, как переписывать-то станете, Шмулю или хоть бы мне на ушко шепнёте: завтра, дескать, тебе на воздухе ногами болтать суждено, — ведь Шмуль, разумеется, забьётся туда, что его и в три века не найдут, а вас спасителем жизни своей почитать будет и, разумеется, от всего сердца поблагодарить будет готов. Да и случаи бывают разные. Например, цену знать на что-нибудь, утверждённую последнюю цену, для коммерческого человека всегда приятно... Вот я вам привёз приказ, подписанный князем Яковом Фёдоровичем, чтобы мне ведомость выдать. Ответ перед государем князь на себя берёт, стало быть, забота не ваша, а все, дадите вы мне

эту ведомость, я пятьсот рублей сейчас геданком поднесу! Да и другие прочие разные дела бывают, всякому любопытно знать...

— Да! А так как я, несмотря на подписанный князем указ, ведомости показать не могу, то тебе кланяться мне геданком будет не за что! Да и по другим делам тоже, коли я присягу принимал, чтобы ни жене, ни сыну, то есть чтобы всё, что знаю, в самой тайности держал и без слова государя никому не выдавал, то как же и за что же я стану геданки, или гешенки, получать?

Так жид и провалился ни с чем; после оказалось, что он с ведома самого Долгорукого приходил.

Государь воротился через неделю. Долгорукий стал жаловаться, что государь уехал, ему не дал знать, и оттого казне убыток.

— Хотели гривну с рубля спустить, коли решу на другой день, а теперь больше пятака не спускают, да и условия тягче ставят. А твой Антоныч, государь, чистый дурак. Я ему письменный приказ давал — показать мне твои резолюции; взглянув на них, я бы на себя взял решить; так ни за что! Хоть ему кол на

голове теши!

— Что делать, Яков? Крайняя нужда была ехать, и из головы вышло сказать, чтобы тебе показали. А на Антоныча не сердись. Ему от меня такой наказ был дан. Вижу, что тебе было нужно; но разреши тайность нарушать, от одних подкупов не отобьёшься.

— Да чего, государь, я твоего Антоныча и подкупать посылал. Жид ловкий взялся за это дело. Думал, запишу на твой счёт, брошу, думал, пятьсот, а спасу тысячи. Да ничего не взял. Антоныч и на корысть не пошёл.

С этой-то поры и полюбил меня очень ба-тюшка царь, стал мне верить, тайным секретарём сделал и разные тайные дела поручать стал. Дело-то царевича Алексея и всё, почи-тай, через мои и Толстого руки шло, да и дру-гие дела...

— А что, Антоныч, — раз спросил у меня государь, уже в Петербурге, в конце своего славного царствования, — семья у тебя есть какая? Ты мне о ней никогда не говорил. Же-ну твою я видел, а дети есть?

— Как не быть, государь? Нашего брата трудового человека чем другим, а детьми все-

гда Бог не оставляет. Дочь и три сына, твои будущие слуги, государь!

— И на возрасте? — спросил государь.

— Девке-то пятнадцатый пошёл! Почитай, скоро и под венец обряжать придётся, было бы на что. А те — погодки, старшему двенадцать будет.

— Покажи мне их. Коли подростки, учить нужно. Мне учёные и хорошие люди куда как нужны, а твои дети, если в отца выйдут, хорошие люди будут. Вот наутро пойду в Адмиралтейство, зайду к твоей хозяйке анисовой выпить, ты мне их и представь.

Делать было нечего, поклонился и просил осчастливить пожаловать.

Государь жену мою видел прежде, поэтому, выпив рюмку анисовой с поданного ею подноса и закусив голландской селёдкой, ничего особого не сказал, заметил только, что она пораздобрела. «Муж бережёт, значит, так и мужа нужно беречь», — прибавил он, обращаясь к ней. А как Анютку-то подвели, он сказал:

— Эге! Да она уж совсем невеста. Ну что ж, я сватом буду, у меня же есть на примете... Хо-

чешь замуж?

Та покраснела как маков цвет и глаза вниз опустила. Зарделась девка от царского вопроса и бухнула:

— А мне что? У батьки спроси!

Царь засмеялся.

— Батька-то батькой, — сказал он, — а твоя-то девичья воля куда тянет? Слышала указ, что без согласия невесты венчать не велено? Ну да ничего! Коли девка краснеет да на отца и мать ссылается, так прок будет. Вот будет худо, как ни краснеть не будут, ни отца и мать знать не захотят...

Сказав это, он взглянул на старшего сына Петра. Мальчишка шустрой такой, красивый был, просто молодец; глазёнки так и бегают, так и искрятся, и смотрел он на государя таково бойко.

— Гм! — сказал государь. — Ну, брат, в моём тёзке тебе мало толку будет. Трудиться-то он станет, да всё от дела как-то в сторону смотреть будет. Потому, ясно, и дело у него всякое будет вкось идти. Вот за бабьем ходить, так на то мастак будет! Ну готовь его куда-нибудь в приказ, где бы поменьше работы

было.

И он повернулся к младшим; тоже красивые ребята были, только против старшего куда!

— Вот это другое дело! — сказал государь. — Это будут работники, умные работники! Видишь, как этот глубоко смотрит, будто всю внутренность высмотреть хочет, — сказал он об Александре. — Отдай его в доктора! Хорошие доктора нам теперь зело нужны! А этого во флот! — сказал он про Ивана. — Видишь, глядит он ровно, смело, спокойно, а во флоте это первое дело. Нужно, чтобы спокойствие и морской взгляд были!

По этому слову царскому детки мои и пошли в ход. Дочке государь посватал жениха умного, хорошего, — Татищева, родовой человек и не захудалый. Царь приданое снарядить помог и сам посажёным отцом был. Петруха в Коммерц-коллегию на службу поступил. И точно, трудиться-то не очень любит. Он хоть и примется за работу, а всё именно как-то по сторонам глядит. Начать начнёт, и хорошо начнёт, а глядишь, через неделю и надоело. Вот женился теперь, взял девицу хорошую, из

боярского рода, и богатую девицу взял, а всё остепениться-то настояще не может. Александр доктором, и, говорят, хороший доктор. В Сорбонне и Гёттингене экзамены сдал. Приехал — и мать в тот же день вылечил. Она уж три года всё на бок жаловалась. Он послушал да постучал, дал каких-то капелек — и будто рукой сняло. Всю докторскую науку произошёл, а лечить не хочет! Говорит, что наука-то их до настоящего не дошла. Поступил на службу и у Бестужева в большом фаворе считается. Огорчает меня, что не женится. Ну да, видно, час воли Божией не пришёл! А Иван, тот истинное утешение, уж люгером командует. Теперь хочет жениться на дочке своего адмирала, княжне Белосельской. Дело-то, кажется, на лад клеится. Да он бравый такой, лихой. А всё его милость царская была. Всем наградил и не оставил.

Зато после него тяжело мне стало. Все эти Меншиковы, Девьеры, Ягужинские, так же как Апраксин, Головкин и Головин — все они на меня зубы точили. Всем приходилось быть в таком же положении ко мне, как князь Яков Фёдорович Долгорукий, только тот для цар-

ского же интереса хлопотал, а они о том, чтобы свою мощну набить, думали. Поэтому злобились на меня очень, что никакой тайности, ни для дружбы, ни для денег, от меня заполучить нельзя было. И сама императрица Екатерина на меня косо смотрела. Когда дело Мона было, ничего от меня она вперёд не узнала, хоть и засылала с разными посулами. Но она хотя милостей своих не оказывала, однако ж за мою верную службу меня не губила. Она понимала, что присяжный человек должен присягу держать и сердиться за то на него нельзя. А вот когда Анна Ивановна с своим Бироном державствовать начали, меня живо свернули. Государыня сердилась на меня за прошлую переписку, когда она ещё в Курляндии была и о Петре Михайловиче Бестужеве хлопотала; а Бирон не мог переносить того, что без именного приказа государыни, по каждому делу особо, я ему, Бирону, самой безделушки не показывал. Вот они придрались к чему-то, да меня, раба Божия, в ссылку, в Казань и отправили; что было на виду и чем государь меня наградил, отобрали, чинов лишили, жалованье отняли, а там живи как зна-

ешь, хоть в кулак свисти. Тяжело, куда как тяжело было.

Но вот спасибо дочь-то Петра Великого мою службу её отцу вспомнила, из ссылки воротила, в действительные статские произвела и вновь при себе тайным и домашних дел секретарём определила. Знает, что уж я не выдам, не продам и никакой её тайности не разболтаю. И вот теперь ну как Бога не благодарить: квартира у меня тёплая, помещительная, сухая, — в самом дворце, как в Петербурге, так и здесь, в Москве, отводят. Дров, масла, свечей отпускают вволю. Жалованье хорошее, остаток каждый год бывает. Стол от двора приносят, четыре перемены, хороший стол! И мёд, и пиво, и вино. Дядя на днях обедал да и говорит: «Смотри, брат, ты за таким столом не облопайся. Мы с братом Антоном, твоим отцом, и в жизнь такого обеда не видали, а тебе каждый день дают. Бывало, как раскошелишься на капусту с квасом да зажаришь говяжью печёнку в сметане, а потом для лакомства купишь мочёной морошки али черёмухи с мёдом, так думаешь, что и чёрту не брат; а тут сделайте одолжение, не то что

каждый день пироги и мясо, да ещё фрикасе разное и цыплят подают, французским черносливом разварным откармливают да вином фряжским отпаивают; право, будто на убой! Недаром сватьяшка-то, племянница-матушка, в толщину больше распространяется. Нет! Зашёл я, брат-племянник, к тебе, чтобы к себе на именины обедать звать. А теперь не зову! Лучше сам к тебе обедать приду, это сытнее будет!»

— Милости просим, дядюшка Мирон Никитич, — отвечала жена, — всегда рады!

И точно рады, хоть и в ссоре с дядей были; чуть не двадцать лет не виделись. А из-за чего? И отец, и дядя петуший бой любили, да из-за петуха и поспорили. Друг с другом видеться перестали и до смерти не говорили, хоть и служили в одном приказе. После смерти отца и мы к дяде ни ногой. Только в прошлом году я подумал, что не то что тех спорных петухов, да и отца-то давно костей нет, из чего же нам тут вражду питать? Пошёл. Дядя обрадовался. Вот мы и сошлись. Как и не сойтись? Видит он — государыня ко мне милостива, всем награждает, дети идут хорошо, а он одиноким

вдовцом живёт и всё ещё подкопистом числится. Хоть от скуки когда на племянника и внуков взглянуть захочется, придворного стола покушать. Ну а мы угождаем старику и чем можно кланяемся.

Так сидел и рассуждал про себя, вспоминая свою прошлую жизнь, вышедший из писарей в люди, а теперь барон, действительный статский советник Иван Антонович Черкасов, тайный и домашний секретарь императрицы Елизаветы Петровны, заведующий её частными делами и после сосланного Лестока её ближайший поверенный. Он сидел у себя в беличьем халате, в туфлях и уже поужинав. Жена его ушла спать, да и он собирался на боковую, благо последнюю бумагу дописал, как вдруг ему докладывают, что приехала какая-то дама и желает его видеть по безотлагательному и крайне нужному делу.

— Скажи, пожалуйста, братец, что я раздет, что я спать ложусь, — сказал он своему лакею. — Какая там дама? Что такое?

— Я докладывал-с! — отвечал человек. — Она сказала, ничего-с. Пусть примут как есть, а мне крайне нужно сегодня же их видеть!

Скажи, дескать, дело важное!

— Ну делать нечего, братец, зови! Да скажи, чтобы не сердилась, что я принимаю как есть! Что бы такое было?

Дама вошла. И как же изумился барон Черкасов, когда увидел перед собой принцессу Гедвигу Бирон.

— Барон, — сказала Гедвига в ответ на приносимые Черкасовым извинения за свой халат и туфли. — Я прошу дозволения видеть сегодня же государыню! Я бежала из Ярославля, и государыня, может быть, меня казнить велит, может быть, простит, — но мне крайне нужно её видеть, сейчас, сию минуту!

— Помилуйте, княжна, разве это возможно? Государыня, я думаю, уж в опочивальню пройти изволила. Завтра...

— Вы шутите, барон! Завтра? А куда же я денусь сегодня? Кто даст приют бежавшей? Из-за меня даже и жену ярославского воеводы Бобрищеву-Пушкину никуда не пускают. Нет, доложите, прошу вас, доложите сейчас! Государыня ещё играет в маленькой гостиной. Проходя к вам, я спрашивала. Умоляю вас, барон! Хотя, может быть, вы и имеете право сер-

диться на моего названного отца, но вы не будете столь жестоки, чтобы мстить за то его ни в чём не повинной дочери.

Черкасов был человек добрый и вовсе не мстительный. Пойманный врасплох, он не знал, что и делать. Наконец, видя, что отделаться нельзя и просительницу девать некуда, он решился одеться и идти к государыне. Через десять минут он воротился и принёс ответ, что государыня сейчас принять её никак не может, а примет завтра вечером.

— До завтра же государыня просит вас, княжна, — прибавил Черкасов, — воспользоваться моим гостеприимством, если вам угодно будет его принять, за что я почтительнейше буду вам благодарен.

Гедвига, разумеется, приняла это предложение с благодарностью и тем с бóльшим удовольствием, что при этом барон сообщил ей приятное известие, что императрица не только не рассердилась, но очень обрадовалась, узнав, что Гедвига приехала.

Через четверть часа баронесса Анна Семёновна, поднятая с постели, хлопотала изо всех сил, чтобы устроить и успокоить свою

новую гостью.

На другой день за утренним кофе Гедвига встретила барона Александра Ивановича Черкасова, доктора и секретаря при канцлере. Когда она вошла, он хотел было закурить сигару. Взглянув на неё, он, разумеется, остановился. По тогдашнему этикету курить при даме, даже курить перед тем, как надеешься быть в дамском обществе, было более чем непростительно. Поэтому нисколько не было странно, что он ту же минуту опять положил свою сигару в ящик и задул восковую свечу, но странно показалось, что, взглянув на Гедвигу, Александр Иванович как бы вздрогнул и весь покраснел. Александр Иванович был ещё молод, но уже не в те годы, когда краснеют от взгляда на девушку: ему было около тридцати лет. Наконец, живя за границей в течение шести или семи лет, он настолько должен был привыкнуть к обществу, что встреча с новым лицом, хотя бы и неожиданная, не должна была бы его смущать. Между тем когда Анна Семёновна, повёртывая свою жирную особу к Гедвиге, проговорила: «Мой сын Александр» — и потом, оборачиваясь к

нему с такой ловкостью, с какой оборачивается супруга слона, сказала: «Принцесса Гедвига Елизавета Бирон», то на вежливый и церемониальный книксен Гедвиги Александр Иванович положительно не нашёлся что сказать. Он решился начать говорить только после того, как все сели и когда он несколько раз взглянул на неё своим всепроницающим взглядом.

— Простите меня, княжна, — сказал он, — но мне кажется, что вы нездоровы, и даже очень нездоровы. Не могу ли я своим советом содействовать облегчению ваших страданий?

— Отчего вы это думаете, барон? — спросила Гедвига кротким, задушевым голосом, останавливая на нём ясный и добрый взгляд. — Действительно, я была очень ушиблена в минуту катастрофы с моим отцом, с тех пор... Притом же в условиях лишений и страданий невольной затворницы и ежедневных огорчениях нельзя пользоваться цветущим здоровьем.

— Правда. Но мне кажется, что затворническая жизнь скорее помогла, чем препятствовала вашему излечению от ушибов, пото-

му что заставляла невольно предоставлять лечение целебной силе природы. Другое дело огорчения и неприятности.

— Бог даст, Его святой волей и милостию государыни неприятности и огорчения будут устранены, и тогда... — начал Иван Антонович, принимая от матери кофе.

— А мы, — перебил его сын, — заставим науку помочь, чтобы исчезнули и следы прошлого. Ведь я доктор, княжна, и хоть отказался от практики, но, ради такого рода субъекта, как наша прекрасная гостья, буду счастлив сделать исключение.

Это был первый разговор барона Александра Ивановича Черкасова и Гедвиги Елизаветы Бирон, бывшей принцессы курляндской и семигальской.

Вечером Гедвига была приглашена к императрице.

Елизавета сидела на диване перед маленьким овальным столиком из ляпис-лазури и разрезала перламутровым, с инкрустацией ножичком книгу.

Гедвига бросилась к её ногам и, обливая их

слезами, сказала только:

— Пощадите! Простите!.. — Она не в силах была больше говорить.

— Встаньте, успокойтесь, моё дитя, — сказала государыня, подавая Гедвиге руку. — Вам очень тяжело было у ваших?

— Невыносимо тяжело, моя всемилостивейшая повелительница, добрая, милосердная государыня! — успела наконец выговорить Гедвига, покрывая её руку поцелуями, смешанными с горькими горячими слезами, и не вставая с колен. — Простите меня, государыня, простите, что смею беспокоить мольбой своей! Ваше величество, всемилостивейшая государыня, видит Бог, я не виновата ни в чём, что делал мой названный отец. Я ничего не знала! Он никогда не говорил мне никаких своих предположений! Но если нужно, если должно, чтобы я была затворницей, чтобы я не видела света Божьего, то будьте моей благодетельницей, — повелите сослать меня в ссылку, в Сибирь, посадить в тюрьму, запретить в один из монастырей ваших. Там, по крайней мере, я буду молиться за ваше благоденствие и прославлять вашу милость ко

мне, бедной. Только, ради всего святого, не возвращайте меня к воспитавшему меня семейству!

— Встаньте, полноте, встаньте, Гедвига, вы ещё совершенный ребёнок, куда же я вас сошлю? Никто, впрочем, и не винит вас ни в чём. Вы всегда были доброе дитя, и ссылать вас не за что. Но что же делать? Мы смолоду все принадлежим семье, и если вас оставляли с вашими, то потому, что не хотели насильно разлучать. А в монастырь — лютеранку-то? Нет, Гедвига, вы ещё совсем дитя. Вставайте же!

И государыня помогла ей подняться и посадила её подле себя.

— Вы слишком милостивы, государыня! В продолжение всего моего заключения вы осчастливили меня вашим вниманием, посылая мне арфу, клавесины, книги, ноты, узоры, материалы для работ, даже конфеты. Благодарить за эти посылки, за это внимание я могла только в своей сердечной молитве о вашем счастье. Но я глубоко чувствовала доброту вашу к брошенной всеми девушке и горячо молилась за вас! Теперь вы изволили сказать,

всемиловитивейшая государыня, что я оставалась в семействе, приютившем меня, потому, что меня не хотели насильно с ними разлучать и что в монастырь меня, как лютеранку, поместить нельзя; но ведь я русская, государыня! Не знаю, почему меня сделали лютеранкой; вероятно, потому, что в Митаве в то время не было русского священника. Я русская в душе, по чувству, по вере, с которой я сроднилась, живя в России и охотно выполняя все обряды православия. Между тем приютившая меня семья — не моя семья. Вы сами изволили сказать, что никто не признает меня виновной; а они думают, что я не только виновна, но даже что именно я причина их несчастья. Поэтому не признаете ли возможным, государыня, заключить меня в монастырь с тем, что я приму правила православной церкви, к которой давно стремилась душой и которая сделает мне уже и то благодеяние, что возвращение моё в прежнее моё семейство сделает невозможным...

— Принять православие? Поступить в монастырь? Вы считаете это столь лёгким, Гедвига?

— В принятии православия, ваше величество, я действительно не встречаю затруднения, так как я православная в душе и всегда была православной, несмотря на формальную принадлежность к лютеранской религии; в Ярославле я даже постоянно ходила в русскую церковь. Что же касается монастыря, то я это принимаю как крайность, как меру необходимости моего заточения, если оно, по видам политическим или каким бы то ни было, признается необходимым. Я прошу его только как милости, чтобы заменить одно заключение другим...

— Такой необходимости нет, Гедвига. Я освобождаю вас и беру под своё покровительство, если вы даёте слово не иметь сношений с вашими прежними родными и не содействовать каким-либо их проискам... Скажу более, я бы их всех освободила, если бы не убедилась сама, своими глазами, до какой степени жестокости доходил ваш названный отец в дни своего могущества; если бы не убедилась, что народная ненависть права, упрекая меня и за то облегчение участи, которое я ему уже сделала. Я не имею ничего против него лич-

но. Я даже была благодарна ему за то, что он для меня сделал, когда власть была в его руках. Моими врагами были Миних и Остерман, но не Бирон. Но, как государыня, я не могу думать только о себе, Бирон оскорблял и мучил весь русский народ, и я не могу и не должна таких оскорблений и мучений моего народа оставлять без наказания!

— О, государыня! Самое принятие мною православной веры будет речательством, что я не могу входить с ними в сношения и помогать им. Я вручаю вам, моя всемилостивейшая покровительница, судьбу мою. Я сделаю всё, что вы прикажете, что вы решите...

Гедвига опять упала перед ней на колени. Елизавета обняла её головку.

В тот же день состоялось высочайшее повеление о назначении княжны курляндской Гедвиги Елизаветы Бироновой старшей фрейлиной государыни, с назначением места её жительства в Зимнем дворце. Фёклу, в знак благодарности, Гедвига оставила при себе.

— Признаюсь, я не встречал более симпатичной личности, как эта княжна Гедвига Би-

ронова, как теперь её называют, — говорил Александр Иванович Черкасов своему отцу. — И, признаюсь, если бы я смел надеяться... Вот, отец, ты часто упрекал меня, что я не женюсь. Клянусь совестью, ни одной минуты не думал бы!.. Но такое счастье слишком велико для нашего брата, труженика и бедняка.

— Она точно милая и умная девица, — отвечал Иван Антонович, — но, к сожалению, как ты сам сказал, девица хворающая и слишком разбитая своим несчастьем. Посмотри на её улыбку, на её взгляд. Она и улыбается-то сквозь слёзы.

— Да! А сколько доброты, сколько нежности в этом взгляде и в этой улыбке. Что же касается её нездоровья, то минута счастья с этой хворой, поэтической девушкой вознаграждает весь труд ухода за ней, всю обязанность внимания к ней... Пусть она только взглянет ласково, пусть только снисходительно выслушает — и, кажется, всю жизнь мою посвящу ей, с радостью умру за неё... Признаюсь, батюшка, я готов боготворить её!

— Ну вот уж ты и вздор говоришь! Удивительное дело нынешние молодые люди. Чуть

что, и понесут ахинею: и умер бы, и боготворю! И это говоришь ты, доктор, который должен смотреть на все поразумнее... Ну понравилась она тебе, хлопочи и ты, чтобы понравиться. А там всё будет зависеть от милости императрицы.

— Перед чувством, батюшка, пасует разум. Я не смею подойти к ней, не смею говорить, так где уж тут понравиться? Мне хотелось предложить ей полечить себя, но у меня не хватило духа сказать, что я должен послушать у неё грудь и спину. Просто я немею перед ней, и как ни принуждаю себя быть свободнее, проще, — не могу!..

— Хочешь ты, чтобы я сказал ей, что ты выражаешь желание её вылечить, только просишь дозволения послушать биение её сердца?.. — сказал с улыбкой отец.

— О, батюшка, вы меня сделаете счастливым. Только я боюсь: услышу ли я что-нибудь, будучи вне себя от восторга, когда приложу свою голову к её груди. Влюблённый — всегда плохой доктор; но всё же, всё же... Одна надежда её вылечить дала бы мне такую отраду, что не умею даже и выразить. Помогите

мне, батюшка, в чём можете...

— Моя помощь, друг мой, может быть только условна, то есть если ты будешь сохранять самообладание. Вот видишь, я не получил твоего воспитания, не изучал многого, что изучил ты. Я учился на медные деньги у дьячка. Но поверь моей опытности, женщина может полюбить мужчину только тогда, когда она видит в нём человека, владеющего собственным чувством; человек же, который от любви сходит с ума, правда, льстит её самолюбию и иногда, при счастливых обстоятельствах, заставляет уступить, но никогда не вызывает чувства...

На этом разговор отца с сыном прервался. Отца потребовали к государыне с зацепинскими бумагами. Иван Антонович, как исправный служака, поспешил вниз, в кабинет императрицы.

VI

Зацепинск

Зацепинский воевода мирно храпел после своего сытного завтрака, заменявшего в тот день обед чуть не целому городу. Домик у него был уютный, красивый, прямо против конторы соляных сборов, на городской площади пресловутого богоспасаемого города Зацепинска, бывшего некогда стольным городом Зацепинского княжества и столицей именитого рода князей Зацепиных. В доме воеводы спальня была тесовая, а в спальне кровать широкая. На кровати подле воеводы лежала его дебелая, жирная, мягкая супруга, такая белая и такая мягкая, что казалось, сделана была из белого лебединого пуха. Она храпела так же, как говорят, «в обе завёртки», в тон и лад своему супругу. Перед кроватью с обеих сторон клевали от дремоты носом мальчик и девочка, поставленные тут для обмахивания высоких почивающих особ воеводы и воеводици от комаров, мух, слепней и всякого рода

других тварей, которые пожелали бы, без всякого уважения к высокому рангу спящих, обратиться к ним на нос. Кроме этих несчастных мальчика и девочки, в доме воеводы спали все; лакеи, кучера, повар и прочая мужская прислуга спала на ларях в передней, на рундуках в коридоре, на полу под лестницами, на чердаках, в сарае, на сеновалах; а женская прислуга — в девичьей, на кухне, в кладовой и кто где сыскал себе укромное местечко. Впрочем, спал в это время, точь-в-точь как в доме воеводы, и весь город.

Да как было и не спать воеводе и воеводице, как не спать славному городу Зацепинску, когда в тот день воевода, по случаю дня своего рождения, давал завтрак, — такой завтрак, чтобы после него никто не обедал; пир, что называется, на весь мир, на который приглашались все без изъятия, являвшиеся для его поздравления, по стародавнему обычаю — дать воеводе покормиться, с различного рода приношениями и подношениями.

Известно, с какой энергией восставал против этого стародавнего обычая воеводской кормёжки Пётр Великий. Но ни его гений, ни

его железная воля не только не могли искоренить этого обычая, но ещё усилили его. В прежнее время праздновались только именины воеводы, а если воевода был женат, то и воеводици, а с Петра заимствованный у немцев обычай праздновать день своего рождения удвоил число дней приношений и подношений. С назначением нынешнего воеводы Зацепинск вместо двух кормёжных дней должен был справлять четыре и нести в эти дни воеводе все, кто чем богат. Столяры несли кресло, кузнецы — замки, купцы — вино, сахар, материи; дворяне, по силе, свои приношения. Сперва зацепинцы крепко было возроптали на то, что воевода выдумал праздновать день своего ангела не только на Якова, но и на Онуфрия, а воеводици не только на Марью, но и на Дарью; но как воевода оказался тихим, добрым, неприжимистым, а воеводици хотя и жирной, ленивой, но ласковой и хлебосольной, а город Зацепинск был богат, и зацепинцам ровно ничего не стоило накинуть каждому по какому-нибудь рублёвику в год, чтобы удовлетворить воеводское желание праздновать два раза в год свои и жены

своей именины, и как такое празднование повторялось уже более пятнадцати лет и всякий раз сопровождалось угощением до отвала, — то зацепинцы наконец так привыкли к этим празднованиям и к своим на них приношениям, что, кажется, если бы нашёлся такой воевода, который от таких приношений отказался, то зацепинцы бы даже обиделись...

А город Зацепинск был некогда весьма богатым городом. И как ему было не быть богатым, когда, до возникновения Петербурга и открытия торгового пути по Балтийскому морю, вся торговля Востока и Севера с Западом и Югом шла через него. Московские цари не раз умели смирять при его помощи строптивость новгородцев, останавливая в нём отправку хлеба, в котором Великий Новгород всегда нуждался. После падения Новгорода через Зацепинск, Великий Устюг и другие северные города велась внешняя торговля России на Архангельск. Северные товары Сибири: меха, ягоды, масло, кедр, мёд, предметы оленеводства и рыболовства — шли в Россию исключительно через Зацепинск. С расцветом Петербурга и открытием нового торгового пути

торговля Зацепинска вместе с торговлей всей северо-восточной полосы России стала заметно падать, а благосостояние жителей уменьшаться. Но даже и в то время, благодаря прежним накоплениям и сделанным запасам, тамошние мещане, награждая своих дочек при их замужестве, считали иногда даваемый в приданое за ними жемчуг получетвериками.

Такое богатство старинного исторического города выразилось значительным количеством каменных церквей, сооружённых в разное время усердием жителей, и большинством каменных же домов, с каменными амбарами и кладовыми. На площади против дома воеводы стоял большой каменный собор во имя Нерукотворного Спаса, полуготического, полуроманского стиля, с узорочными украшениями в мавританском вкусе, напоминающий не то церковь Василия Блаженного в Москве, не то собор Святого Марка в Венеции, разумеется, в уменьшенном размере; собор величественный, памятник глубокой старины и минувшей славы города Зацепинска. В нём лежали мощи угодников Божиих, родона-

чальников князей Зацепиных, Василия Константиновича и его сыновей Бориса и Глеба, замученных Батыем за Русь святую, за веру православную. За собором выстроился покоем гостиный двор, или ряды, частью каменные, частью деревянные на каменном фундаменте, с подвалами, входами, стеклянной галереей и выставленными вместо вывесок и надписей образцами товаров, — хороший гостиный двор. Позади гостиного двора стоял длинный дом прежде бывшего воеводского приказа, переименованного ныне в воеводскую канцелярию, с застенком для пристрастия. Дом этот, говорят, переделан был из бывших княжеских зацепинских палат, но в нём не осталось ничего, что могло бы напоминать о его бывшем назначении. Позади этого дома было устроено лобное место, состоявшей впереди виселицей и ввинченным в её верхнюю перекладину заржавленным железным кольцом, заржавленным от того, что уже в течение нескольких лет, с времени падения Бирона, город не видел ни одного повешенного. Затем во все стороны шли частные дома зацепинских обывателей, неболь-

шие, большей частью каменные и выстроены так, что каждый дом походил на крепость, с толстыми стенами, железными дверями для входа, железными решётками в окнах и железными ставнями.

За воеводским домом, как и за другими более зажиточными домами, были сады. Сады эти были засажены черёмухами и рябинами, разросшимися в такой степени, что были едва в обхват человеку. Густые, ветвистые яблони, кусты калины, малины, смородины и крыжовника составляли богатство сада. Посреди них в воеводском саду было посажено единственное неплодовое дерево — широкий, развесистый дуб, вокруг которого нынешним хозяином была устроена беседка. В углах этого сада, удалённых от дома, высились небольшие группы тоже саженных кедров, которые один из бывших воевод, большой любитель садоводства, занимая этот дом до самой своей смерти, лет двадцать пять с лишком, успел тут вырастить. У ворот воеводского дома и воеводской канцелярии стояли часовые с заряженными ружьями. Город был обведён валом, между которым местами была выстрое-

на каменная стена с зубцами и башнями. За городом, невдалеке, на возвышении, белелись здания и высились главы и кресты церквей Зацепинской пустыни, мужского монастыря, в котором с самого начала своего отдельного княжения хоронились князья Зацепины и где лежали они рядом от самого князя Бориса Дмитриевича до князя Данилы, уступившего Зацепинск, и, наконец, до князей Дмитрия Андреевича и сыновей его Василия и Андрея Дмитриевичей — деда, отца и дяди князя Андрея Васильевича.

Воевода спал богатырским сном подле своей дражайшей половины, но выспаться ему всласть не удалось. Его покой нежданно-негаданно был нарушен приездом фельдъегеря из Сената.

Фельдъегерь прилетел к нему прямо на двор и поднял такой шум, что сонное царство поневоле поднялось. Он потребовал, чтобы воеводе сейчас же было доложено, для представления ему самонужнейшего и секретнейшего указа.

Воевода насилу успел опомниться и прийти в себя, приказав вылить себе на голову два

ведра воды.

— Что такое? — спросил он.

— Указ, ваше высококородие, самонужнейший! — отвечал фельдъегерь.

Воевода дрожащей рукой распечатал пакет и узнал, что едет в их город и провинцию доверенная особа государыни, обер-шталмейстер, гвардии секунд-майор князь Андрей Васильевич Зацепин, для исполнения всемилоостивейше возложенного на него поручения, и что поэтому следует принять его с подобающей ему честью и исполнять его требования и приказания, как бы они были требованы и приказаны самой государыней.

«Вот не было печали, — сказал себе воевода, прочитав указ. — С подобающей ему честью. А какая ему честь подобает?» И он послал за правителем своей канцелярии, городским головой, полицмейстером, обоими капитан-исправниками, отцом архимандритом, старшим протоиереем собора и всеми военными и гражданскими начальниками разных команд и учреждений.

— По важному делу, скажи; приказали, мол, сию минуту просить.

Все собрались.

— Какая же такая честь ему подобает? — спросил воевода у всех собравшихся на совещание.

— Какая честь? Известно какая! Как и всякому генералу, — начал говорить правитель канцелярии. — Ну явимся. Спросим, нет ли приказаний. Пришлём от караула почётного ординарца. А чтобы почтить ещё превосходнее, господин полицмейстер назначит кого-нибудь от себя оберегать его спокойствие. Купечество, если захочет, может хлеб-соль поднести...

— С этим согласиться нельзя, — возразил полицмейстер из военных. — Если бы Сенат полагал, что мы должны встретить его, как всякого генерала, он не послал бы нарочного фельдъегеря с указом. Тут, видимо, особа доверенная и важная; так что хотя в указе и говорится, что он не более как гвардии секунд-майор, стало быть, простой генерал, но по званию обер-шталмейстера его следует считать выше.

— Да в указе сказано: с подобающею ему, а не просто с следующей генералу честью, ста-

ло быть, генералу честь особая, а ему особая! — сказал один из капитан-исправников.

— Прежде всего, где он остановится? Ведь он едет по службе, с поручением государыни; не на постоялом же дворе ему стать? — заметил другой капитан-исправник.

— Город отведёт ему дом, — отвечал голова. — Может, и он чем-нибудь городу послужит, что-нибудь исходатайствует.

— Ну так, стало быть, — начал говорить воевода, — мы его встретим у городских ворот, проводим на отведённую квартиру, спросим приказаний, поставим ординарца и назначим полицейского. Не назначить ли почётный караул?

— Не лишнее ли будет? — заметил воинский начальник.

— Как же лишнее, помилуйте! Ведь доверенная особа, с поручением от самой государыни.

— Так-то оно так, а всё кажется...

— Помилуйте, тут казаться нечего! Вы как думаете, господа? — спросил воевода.

— Разумеется, отчего ж не назначить. Честь лучше бесчестья! Сенат пишет, почему

ж?.. Никто никогда не жалуется на излишнее чувствование! — заговорили присутствующие.

— Итак, почётный караул?

— Почётный караул!

— Ещё что?

— Я предложу ему своего повара, — сказал один из помещиков, приехавший вместе с другими послушать. — А городской голова хлопочет о припасах.

— Ну что ему ваш повар и ваши припасы! Он здешний, и если захочет, то потребует из Зацепина и поваров, и припасов столько, что накормить весь Зацепинск будет можно. Да, верно, впрочем, он повара-француза с собой привезёт, да и запасов разных, там омаров каких-нибудь да редкостей, верно, всего натащит!

— Да кого присылают-то к нам, кого назначили? — спросил отец архимандрит.

— Князя Зацепина, — отвечал воевода.

— Князя Зацепина? Нашего родового князя? Позвольте, у нас в монастыре сохраняется особое указание о чине принятия в монастырь князей Зацепиных. А в соборе, на престоле Божиим, — положен договор князей За-

цепиных с царём московским Иоанном III о сдаче Москве Зацепинска и клятвенное обещание царя за себя и всех наследников и преемников выполнять этот договор в точности, из века в век. Там подробно определён порядок встречи князей Зацепиных в случае приезда их, с согласия царя, в их бывший стольный град.

— Ах, боже мой! Так что ж мы думаем? Нужно прочитать этот договор. В самом деле, Зацепин — ведь это наш князь!

— Да, — заметил правитель канцелярии в отмену своего первого мнения, — теперь становится понятно, почему Сенат пишет: «С подобающею ему честью!»

— Нельзя ли, отец архимандрит и отец протопоп, достать сюда эти бумаги, чтобы нам всем ознакомиться можно было? — сказал воевода.

Распорядились, и через четверть часа присутствующие разбирали древние хартии, из коих ясно увидели, что князю Зацепину должны быть отданы все царские почести; что встреча его должна происходить за городом священниками в полном облачении, с об-

разами и крестами, при колокольном звоне; что во время нахождения своего в городе он — главный предводитель войск; что жители обязаны ему почтением, таким же, как бы и самому государю; наконец, что не только помещение, но и продовольствие его и всей его свиты должно быть на счёт города.

На основании этих указаний воевода вместе с духовенством, капитан-исправниками, правителем канцелярии и другими лицами стал составлять церемониал встречи точь-в-точь в том самом виде, в каком встретили бы они самую императрицу Елизавету.

Усомнились было несколько в возможности исполнения такого церемониала начальник инвалидов и полковой командир стоявшего там полевого полка.

— Положим, фронт я выведу и могу церемониальным маршем провести, но бить поход, склонять знамёна... Воля ваша, это не идёт.

— Да как же не идёт, когда сказано: «Как бы самому царю, под клятвой и страшным наказанием». А Сенат пишет: «С подобающею ему ...» Если чего не выполним или отменим,

будет неподобающая честь, недостаточная... И бог знает, как Сенат тут распорядится.

Для успокоения военных начальников в их сомнениях решились послать им официальную бумагу, в коей изложить требование Сената и существующий в соборе исторический документ о принятии в городе Зацепинске родовых князей Зацепиных, из коих князь Андрей Васильевич теперь старший представитель.

Все эти толки, препирательства и объяснения властей через несколько часов, разумеется, стали известны всему городу, и Зацепинск вдруг ожил.

— Приедет наш настоящий зацепинский князь, и мы его как государя своего принимать и чествовать должны! — говорила Адуева, супруга одного из местных тузов-помещиков, три дочери которой были замужем тоже все за тузами.

— Матушка Анфиса Панфиловна, а что я в домёк-от не возьму: это, говорят, наш князь, а распространяется ли власть его и на Заболотское, и на Дорское?

— Разумеется, распространяется. Не одного

же он города князь; вся провинция Зацепинская в его власти!

— Так что, скажите, он может, например, приказать нам отрубить головы?

— Да с какой стати он нам головы рубить станет?

— Я не к тому... а если бы приказал?

— Ну и отрубили бы!

— Так он, стало быть, заправский, настоящий князь, а не то чтобы только один блезир был. И что же, ему дворец здесь строить будут?

— Если жить останется, и дворец выстроят, а пока дом Ильи Андреевича Белопятова очищают и готовят.

— Ахти какая притча! Была бы погода только, а то непременно навстречу выеду.

— Говорят, купцы устроили, что коли хорошая погода будет, так улицу-то до самого собора красным сукном устлать, а от собора до дома Белопятова коричневым бархатом.

— Да? А вы видели, что стены-то по дороге коврами убирают!

— Такого торжества давно в Зацепинске не было. Оно и правда, коли настоящий, заправ-

ский, наш зацепинский...

— Само собой... А вы слышали, что ещё Пентюхов придумал: собирают что ни на есть красивых девиц, чтобы цветы ему несли.

— Девиц? Да зачем же девицы? Разве он не женат?

— Холост, холост!

— Ах, боже мой! Так надобно, чтобы и мою Машеньку выбрали. Может, на счастье, и понравится...

Пока город Зацепинск толковал таким образом и готовился к встрече, князь Андрей Васильевич летел во весь дух в своём дормезе, думая о том, как бы лучше исполнить волю государыни и возможно скорее вернуться в Петербург, так как государыня должна была уже туда возвратиться из Москвы.

Будущее, видимо, ему улыбалось. Императрица, возлагая на него государственное поручение, и такое поручение, которое требовало её полной доверенности, обращалась к нему как к другу, как к человеку, мнением, чувством, уважением которого она дорожит более, чем чьим-либо. Он должен поддержать такое чувство её доверия, возвысить, укрепить...

пить, возвести его на степень страсти, а страсть довести до самозабвения, до отрицания самой себя... И он это сделает, только были бы случаи, подобные настоящему, когда он может издали представляться ей в поэтическом свете.

Всё это он передумывал и разбирал. Вспоминал и Гедвигу, стараясь, однако ж, не думать о ней.

Позади него ехала карета с его секретарями, за ней другая с камердинером и прислугой, потом ещё две брички с запасами и принадлежностями.

Всё это несло, летело сломя голову, при помощи трёх пружин русской жизни, вызывающих бешеную езду: предписаний начальства, надёжных арапников в руках Гвозделома и другой прислуги и щедрого «на водку»!

Все три пружины были в действии, поэтому князь Андрей Васильевич именно не ехал, а летел.

Вдруг, не доезжая до города версты полторы, он увидал, что ему идёт навстречу крестный ход, а за ним весь город разряженный, парадный. Погода, будто нарочно, была пре-

восходная.

Андрей Васильевич приказал остановить-
ся.

Впереди всех шёл отец Ферапонт, в архи-
мандритском облачении, с крестом в руках.
Его вели под руки два иподиакона, а сзади
шло всё городское духовенство, неся образа,
между ними и образ Спаса Нерукотворного
Зацепинского, церковные хоругви и кресты.

Андрей Васильевич вышел из кареты, ста-
раясь припомнить, какой в этот день был
праздник. Но вспомнить ему не удалось.

Отец Ферапонт, которого Андрей Василье-
вич сейчас же узнал, несмотря на то что с по-
хорон отца и дяди прошло уже более семи
лет, прямо подошёл к нему и, осеняя его кре-
стом, сказал:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
прийди, возлюбленный княже, в стольный
град свой, и да внидет с тобой радость и бла-
годать Божия, — аминь!

И он подал ему крест.

Андрей Васильевич машинально прило-
жил к кресту.

Загудели колокола сорока церквей города

Зацепинска, заревел народ в радостном восторге, раздались выстрелы на валу города.

Андрей Васильевич совершенно потерялся.

Но перед ним уже стоял отец протоиерей в полном облачении, с Евангелием в руках.

— Се палладиум славы Божией в Богоспасаемом стольном граде твоём Зацепинске! С ним приходим мы перед твои светлые княжеские очи. В нём милость и Божие благословение. Преклонись перед ним, подобно благочестивым светлым предкам твоим, да наделит Он разум твой мудростью Соломонью, укрепит мышцы твои силою львиною, а сердце твоё да наполнит христианским милосердием. И вознесётся род твой превыше всех родов земных, и сокрушится враг твой, яко сокрушился змий в геенне огненной!

С этими словами отец протоиерей указал на зацепинский образ Нерукотворного Спаса, образ, по преданиям, чудотворный, к которому и отец, и дед, и прадед Андрея Васильевича имели большую веру.

Андрей Васильевич поклонился до земли и поцеловал образ, а затем святое Евангелие.

Тут выступил воевода и поднёс ему ключи города Зацепинска; затем голова с выборными поднёс на серебряном блюде хлеб-соль; за ними шли девицы с приветственными речами и цветами.

У Андрея Васильевича закружилась голова, а духовенство начало своё благодарственное славословие. Колокола загудели вновь, и процессия с Андреем Васильевичем в центре, осыпаемая цветами с балконов, из окон, с крыш, вступила на красное сукно.

Из каждой церкви, мимо которой проходила процессия, выходило духовенство с крестом и местными иконами и приветствовало своего жданного, Богом посланного князя, присоединяясь потом к общему строю движения. Так вошли они на площадь.

Раздалась команда: «Слушай, на кра-ул!»

Знамёна преклонились, загремел поход.

«Боже! Что это?» — подумал про себя Андрей Васильевич и прошептал на ухо отцу Ферапонту:

— Уведите меня куда-нибудь, отец Ферапонт. Я чувствую, что упаду!

Между тем командиры частей и ординар-

цы являлись по уставу, начался салют, гремела музыка, гудели колокола, и народ буквально вопил, упоенный торжеством.

По счастью, это было уже подле дома Белопятова. Андрей Васильевич, совершенно отуманенный, вошёл в дом, где было приготовлено пиршество.

Всю ночь город Зацепинск горел в разноцветных огнях. Щит, изображавший герб князей Зацепиных, старших представителей угасшей линии московских князей, горел на зацепинском озере, на котором разъезжали на лодках и пели старинную, древнюю славу русскому князю православному, его дружине верной и всему русскому воинству. Разумеется, Андрей Васильевич не мог сомкнуть глаз во всю ночь[13].

VII

Подкопы

Императрица Елизавета Петровна только что встала. Она накануне приехала из Москвы и очень устала с дороги. Едва она успела сесть перед зеркалом, разрешив расчёсывать свои чудные каштановые волосы, сохранявшие до сих пор свою шелковистость и густоту, как к ней вошла Мавра Егоровна Шувалова, урождённая Шепелева, её бывшая старшая фрейлина и наперсница, теперь её гофмейстерина и ближайшая статс-дама.

— Мавруша, ты? Что так рано? Верно, твой благоверный опять на охоту уехал?

— Нет, всемилостивейшая государыня. Он с графом Алексеем Григорьевичем собираются послезавтра. Я к вам похвастаться новой выдумкой. Извольте помнить, французские кенкеты накрываются металлическими колпаками. Выходит грубо и неизящно. Правда, нынче стали раскрашивать сторонки этих колпаков в разные цвета и с позолотой, но

всё выходит, по-моему, аляповато. Я придумала заменить металлические дощечки колпаков матовыми стёклами. А чтобы сделать их красивее, выдумала новую работу: сетки из стекляруса, бисера, блесок, вообще чего-нибудь блестящего. Взгляните, ваше величество, на такую сетку. Это выходит и ново, и красиво. Если позволите, я вам приготовлю такой кенкет для письменного стола?

Разговор начался о новой, придуманной Маврой Егоровной работе и продолжался всё время, пока императрице расчёсывали волосы и убирали голову, причём, разумеется, необходимо было присутствие горничной и парикмахера.

Но вот перед государыней поставили маленький столик и принесли превосходной работы серебряный прибор с кофе. Посторонние уши исчезли.

— Пожалуй, я не пила сегодня и буду рада вспомнить то счастливое девичье время, когда достаивалась всякий день разделять ваш завтрак. Кстати, мне принесли новый рецепт приготовления кофе от метрдотеля покойного князя Андрея Дмитриевича Зацепина.

Помните, какой у него был всегда превосходный кофе.

— В чём же секрет?

— В том, что к зёрнам мокка, когда их жарят, примешивают несколько бобов какао. Это придаёт кофе особый вкус.

— Нужно отдать справедливость князю Андрею Дмитриевичу, покойник умел жить, — заметила государыня.

— Думаю, что в этом отношении не уступит ему и племянник! — ответила Мавра Егоровна. — Муж у него обедал и нахвалиться не может, как у него всё было приготовлено и как сервировано. И знаете, государыня, — вдруг прибавила Мавра Егоровна с улыбкой. — Перед вами открыты все мои помыслы. Я никогда ничего не умела и не умею от вас скрыть. Вы знаете, я вышла замуж по любви. Сказать правду, я и до сих пор люблю своего Петра Ивановича. Он человек умный и вам преданный. В настоящем положении дела я, разумеется, не изменю ему. Но если бы можно было думать, что он полюбит истинно, если бы можно было верить этому, то, признаюсь, единственный человек, для кото-

рого бы, кажется, я и мужа, и себя забыть готова, — это молодой князь Зацепин. Я не встречала никого, кто был бы так увлекателен, как он. Любезный, умный, приятный. Он просто очарователен. Наконец, он настолько выше всех наших любезников по своему образованию, что, право, простительно, что наши барыни не дают ему покоя и все, кажется, на шею ему готовы повеситься. Одно жаль, что с такой очаровательной внешностью он соединяет такую бездушную холодность и такое непомерное честолюбие.

— Какой ты вздор говоришь, Мавруша, — несколько нервно отвечала государыня, которую разговор о достоинствах Андрея Васильевича, видимо, задел за живое. — Из чего ты заключила, что он холоден и бездушен? Что он не бросается на наших барынь; да стоят ли ещё они того, чтобы на них бросаться? При этом, может быть, сердце его занято одною, — прибавила государыня с улыбкой. — Что же касается его честолюбия, — продолжала она, — то, по-моему, это не порок, а скорее достоинство. Но он и не честолюбив, — в этом я не один раз имела случай удостовериться.

— О, государыня, если бы это было так, я влюбилась бы в него без памяти! Но, к сожалению, я не ошибаюсь. Все помнят, как при покойной императрице он любезничал с маленькой Бирон. Потом он начал было сближаться с правительницей, но приехал Линар, и старая привязанность взяла верх. Теперь он точно не обращает внимания на наших барынь, но почему? Потому что ни одна из них не соответствует видам его честолюбия. Но, не любя никого, бесчувственный, холодный, он тем не менее вдаётся в разврат. Представьте себе, государыня, в Москве, за день до своего отъезда, приехав из дворца, он принимал у себя одну за другой двух дам и просидел с каждой наедине часа по два, так что последняя уехала от него далеко за полночь. Вероятно, что они с ним не Евангелие же читали!

Императрицу укололо это известие.

«Как? — подумала она. — В то самое время, когда я, полная симпатии к его чувству, полная надежды на его беззаветную преданность, благословляла его на труд для меня, труд, долженствующий служить звеном нашего первого сближения; когда я так искрен-

не готова была обещать и в сердце своём обещала... А он в то самое время принимает развратных посетительниц... Не может быть, — подумала она, — это клевета», — однако ж спросила:

— Кто же были эти дамы, ты не знаешь, Мавруша?

— Первая осталась неизвестной; другая же — бывшая его любовница, известная Леклер.

— Леклер? Это уж слишком! — невольно высказалась государыня.

Но через минуту она подумала:

«Именно потому, что у него была Леклер, а не какая-нибудь другая, я не должна обращать на это внимания. Мужчины все вообще такие гадкие; для них женщины необходимы, и Леклер могла быть для него такой необходимостью. Однако всё же досадно. Желала бы я знать, кто была первая дама?»

— Разумеется, винить молодого человека, зачем он живёт не постником, нельзя. В нашем распущенном веке не только в его годы, но буквально мальчишки имеют любовниц. Кроме того, в этом отношении ему не может

не служить примером его дядя. Князь Андрей Дмитриевич, известно, до самой смерти своей любил весёлые похождения. Ну, видно, и племянник по дядюшке пошёл. Я, впрочем, его не обвиняю. Я говорю только о себе. По-моему, нельзя любить человека, который моё чувство может смешать с грязью какой-нибудь Леклер. Не будь этого, признаюсь откровенно, голова Петра Ивановича была бы небезопасна от юпитеровского украшения. Теперь же он может спать спокойно.

В это время государыне доложили, что приехал канцлер и президент Коллегии иностранных дел граф Бестужев-Рюмин с докладом. Мавре Егоровне пришлось откланяться.

Но она уже сделала своё дело. Она заронила в сердце Елизаветы сомнение, возбудила желание узнать... На первый раз чего же больше? Вопрос поставлен круто, ребром. Если Мавра Егоровна, невзрачная, черноватая Мавруша, не может любить такого человека, который не ценит привязанности, не уважает женского чувства, то может ли любить его красавица Елизавета? Ответ должен быть отрицательный. Самолюбие государыни в этом

ручательство. А затем? Государыня не стара, красива, кокетлива. Она уже решила уда- лить от себя Разумовского. Ясно, при ней дол- жен будет находиться новый обер-камергер. Этим камергером может быть их милый Ваня, как было условлено между её мужем и его братом Александром Ивановичем. А при на- стоящем положении если их скромный, ми- лый Ваня будет близок к государыне, всё се- мейство их опять пойдёт в ход. Воронцов не будет важничать своим родством и граф- ством. Ваня возвысит их фамилию, даст ей по- литическое значение. Их тоже могут сделать графами; ведь сделали же Разумовских? «Мы к ней тогда будем самыми близкими; понево- ле нам в глаза смотреть будут. А главное, фи- нансовые проекты моего мужа Сенат не по- смеет браковать и мой Пётр Иванович, при- носья, разумеется, пользу государыне и госу- дарству, может не забыть и себя, а деньги нам крайне нужны».

Так рассуждала Мавра Егоровна, возвраща- ясь из дворца к себе, и она была права. Сомне- ние такой яд, для действия которого довольно одной капли. Государыня невольно подумала:

«Неужели вся преданность, вся сила чувства его ко мне, весь огонь были более ничего, как только одни виды его честолюбия? Неужели всё это было только одно притворство? Неужели меня, красавицу Елизавету, нельзя уже любить ни за что более, как только за то, что я императрица, что я своих любимцев могу осыпать милостями, вывести в люди, поставить на высокую ступень, могу тешить их честолюбивые мечты? Но ведь я не совсем ещё состарилась, мне далеко нет ещё сорока. Глаза мои, я сама вижу, ещё сверкают, ещё блестят; а волосы? Есть ли у кого из двора такие волосы, как у меня? А моя маленькая ножка? Правда, она несколько пополнела, но это её не портит. Я стала, как говорил этот негодяй, но любезный и умный негодяй, Шетарди, той роскошной царицей, от которой по ночам не спится, а днём грезится. А тут этот ясный, светлый, этот милый, приятный человек, если и говорит, если и смотрит, то только в видах честолюбия. Нет, не может быть! Он слишком искренен, слишком благороден. Да он и не честолюбив... Однако ж, точно, я припоминаю: говорили, что он очень сближался

с Биронами; потом ухаживал за принцессой Анной... Боже мой, какое несчастье, когда ни от кого нельзя услышать слова правды, когда кругом ложь и только ложь!»

Вошёл Бестужев с бумагами.

Бестужеву в это время было около пятидесяти трёх или четырёх лет, но он казался несравненно старше от сплошной проседи в его густых тёмных волосах. Тем не менее мускулистое сложение, резкий и упорный взгляд из-под нависших бровей, высокий лоб и тонкая, чуть заметная улыбка, при необыкновенной подвижности лица, обозначали в нём человека умного, хитрого, сдержанного, но вместе нервного и решительного.

«Таким, — вспомнила Елизавета, — был Волынский».

Елизавета в это время думала об Андрее Васильевиче. Ей и обидно, и досадно было верить, что вот человек, которого она признавала чуть не совершенством, которому верила, которого любила... всю себя готова была отдать ему, а он, может быть, всякое слово своё рассчитывал, всякий взгляд свой соразмерял, стало быть, обманывал и словом, и взглядом,

а для чего? Для возвышения своей личности, для удовлетворения своих честолюбивых видов, для которых она, Елизавета, должна была служить только ступенью! И этот обман, эта маска была до того нагла, до того бессовестна, что в то время как она — он не мог не видеть этого — смотрела на него чуть не с благоговением, он вдавался в разврат... Фи! Да разве она хуже Леклер? Да она и не старше её! И смел он сравнивать? Но ведь это вздор! Он, может быть, и не думал ни о каком сравнении. Он в такой степени откровенен, прям, смотрит так ясно и с такою преданностью... Однако ж это верно: он очень сблизился с принцессой Анной...

Елизавета думала это в то время, как Бестужев читал доклад о мемории Ланчинского, нашего посла в Вене, описывавшего ему свою последнюю аудиенцию у Марии-Терезии и объяснявшего принятое решение об аресте маркиза Ботты, что государыню чрезвычайно заинтересовало.

— Я не зла, — сказала Елизавета, — но, признаюсь, очень рада, что этот мерзавец не останется безнаказанным. В то время как он

уверял меня в своей особой преданности, в искренности своего двора, как извечного союзника России, в то самое время составлять заговоры, помогать моим врагам...

— Что делать, государыня, политика! Разумеется, им нельзя не желать возврата Брауншвейгской фамилии, но это нисколько не препятствует им заключить союз с вашим величеством, если конъюнктуры государственные того требуют. Меня обыкновенно упрекают, что я стою за австрийские интересы. Позволяю себе доложить, государыня, что напротив. По душе, я первый их противник. Уж одно то, что, по своему близкому родству с принцем Антоном, они не могут не желать воцарения принца Иоанна, не может не ставить меня, преданнейшего слугу вашего величества, в прямую оппозицию всяким их предположениям. Но мы, государственные люди, призванные волей вашего величества к руководству внешней политикой нашего отечества, не имеем права отдаваться нашим личным симпатиям. Мы должны строго взвешивать, что полезнее для России и славнее для имени вашего величества: предоставить

ли Габсбургов их судьбе или поддержать их в прежнем значении. Конъюнктуры нашего государства таковы: если мы допустим раздел австрийских земель, то в Центральной Европе не останется ни одного самостоятельного государства. Все они подпадут под преобладающее влияние Франции. А такая французская, враждебная нам гегемония будет для нас крайне опасна.

Французы, имея постоянными своими союзниками наших извечных врагов Турцию и Швецию, в соединении с прусским королём, будут постоянной грозой России. Швеция, опираясь на силу французов, начнёт опять домогаться возврата сделанных у них завоеваний; турки с крымским ханом будут стараться оттеснить нас от Чёрного и Каспийского морей; а прусский король, при его видимом желании усилиться за счёт соседей, при увеличившемся могуществе Франции, будет видеть возможность исполнения своих желаний единственно только в отнятии чего-либо у нас или у Польши. От присоединения к своему королевству Силезии и большей части Богемии аппетит его разгорится, и он, взяв

Померанию и Познань, пожелает Курляндию, а может быть, позарится и на Ригу. Весьма может быть, что с Польшей он поладит, обещая для неё, взамен отбираемых земель, отвоевать, вместе со шведами, при французской помощи, у нас Малороссию и всю западную границу до Смоленска. Тогда едва ли нам удастся отстоять и Петербург. Россия, нечего и говорить, превратится опять в азиатское государство, и труд блаженной памяти в Бозе почившего великого государя, вашего родителя, будет уничтожен, пропадёт сам собой. Чтобы избежать такого несчастья, нужно не допускать падения Австрии, не ради Габсбургского дома, а ради самих себя.

Государыня выслушала этот монолог своего канцлера весьма внимательно.

— Разве мы не можем войти в соглашение с французами? Разве не можем вперёд согласиться с прусским королём? — спросила она.

— Нет, всемилостивейшая государыня! Все депеши Кантемира и Гросса, которые я имел счастье подносить на ваше благосклонное воззрение, ясно доказывают не только нерасположение к нам французского двора, но и

его явную враждебность! К тому же вот ещё дело о студенте Мариамском. Из него, ваше величество, изволите усмотреть, что, кроме прямых, политико-враждебных действий, французы засылают своих агентов в Малороссию и Лифляндию, чтобы раздуть тлеющий там сепаратизм и возбудить волнение против самодержавной власти вашего величества. Зависть к усилению вашего могущества, могущества единственной монархини, сумеющей положить предел их властолюбивым замыслам, столь велика, что не даёт им покоя. Самое даже желание их видеть вас на престоле вашего родителя исходило не из какого-либо другого источника, как только из надежды видеть смуту и междоусобие в соперничающем с ними по своей силе государстве. Возбуждённая ими против нас шведская война, покрывшая оружие вашего величества новой славой, показывает уже, до какой степени это желание их может быть для России вредоносно. Потому-то я и настаиваю, всемилостивейшая государыня, ради пользы престола и славы вашего имени, пока есть ещё время, решить этот вопрос вне личных отно-

шений к царствующим домам, а той высокой вашей мудростью, которая в лице вашем указывает решительницу судеб Европы.

— Я слишком далека, граф, от того, чтобы мои личные отношения вмешивать в дела, от коих зависит благо государства! — отвечала Елизавета. — Но я не могу быть неблагодарной. Французский двор хотя немного, но всё же помог моему вступлению на престол. Да и могу ли я стоять за австрийский двор, после того как открылись его старания через этого негодного маркиза Ботта, для своих видов, лишить меня дарованных мне самим Богом прав. И какие слухи они для того распускали, какие подкопы придумывали: что и незаконная-то я дочь, и что отстранена будто бы своею матерью от всякого участия в наследовании, и бог знает что!.. Но законность сына или дочери, неотвергаемая при жизни родителей, не может отвергаться по их смерти. А мать моя, предоставляя престол внуку моего отца и утверждая, что мужские наследники имеют преимущество, руководствовалась только справедливостью... Племянник мой, герцог голштинский, будучи неправослав-

ным по религии, не может иметь передо мной преимущества, поэтому престол и по роду, и по завещанию моей матери принадлежит мне. Но и тут, чтобы не обидеть племянника, я назначила его своим наследником, разумеется, с тем, чтобы он принял православие. Но всё это не даёт никакого права австрийскому двору вмешиваться в наши чисто уже семейные дела и поддерживать линию, не имеющую к русскому престолу никакого отношения. В заключение, нельзя же не помнить личного оскорбления, нанесённого мне австрийским двором, который дал оправдание на мои сообщения лживым объяснениям Ботты. Тем не менее я вполне согласна с вами, граф. Мы не должны давать слишком усиливаться ни Франции, ни прусскому королю.

— Об этом-то недопущении усиления враждебных нам элементов я и позволяю себе доложить вашему всемилостивейшему вниманию. Между тем враги мои, из личной зависти ко мне, готовы употребить все средства, чтобы восстановить здесь вновь французское влияние. Они знают, что за этим неминуемо должно последовать лишение ме-

ня вашего доверия, стало быть, и моё падение. Они забывают, что если бы я имел несчастье не угодить вам, то вы, как самодержавная монархиня, и без французов изволили бы меня уволить. Для удовлетворения же своей личной вражды ко мне втягивать государство в политику, вредную и, по существующим конъюнктурам, весьма опасную, по моему разумению, не дело верных слуг своей государыни, тем более что, стараясь об усилении своей партии, они не останавливаются ни перед чем.

— Э, полноте, граф, — отвечала Елизавета. — Ваша подозрительность везде рисует вам врагов! Какая же партия? Где? И разве я слушаю какие-то партии?

— Осмелится ли кто сомневаться в высокой справедливости вашего величества? Но партии всё же существуют, и не доложить вашему величеству о том, что есть люди, стремящиеся извращать видимые всеми факты, чтобы ввести в заблуждение самую справедливость, было бы, с моей стороны, изменой своему долгу. Вот эти-то люди, ваше величество, и становятся опасными. Заметив выра-

жение вашей милости к молодому князю Зацепину, которого, по воспитанию, продолжительной жизни во Франции, наконец, по преемственности взглядов его дяди, признают преданным французским интересам, они думают через него достигнуть своих антипатриотических и противных видам Петра Великого целей. Для того прежде всего хлопочут о возвращении Лестока. Для них Лесток весьма важен по своей опытности в интриге. С тем вместе они стараются усилить себя привлечением к своему единомыслию новых адгерентов, в лице принца гессен-гамбургского, его тестя и свояка, князей Трубецких, Бутурлина, Салтыковых. К моему глубокому огорчению, действия их вообще столь успешны, что они перетянули в свой круг даже моего помощника и сотрудника, графа Михайлу Ларионовича, как ваше величество сами изволили усмотреть из перлюстрации шифрованных депеш прусского посла графа Мардефельда. Кроме того, Веселовский, Бреверн и все члены моей коллегии на их стороне, так что я не могу раскрыть рта, черкнуть двух слов, чтобы мои слова не были переданы Дальону, Марде-

фельду и этому баварцу Нейгаузу; а те сообщают их своим дворам, настроенным к нам наиболее враждебно: французскому, прусскому и двору вновь избранного влиянием Франции германского императора, успевшего уже связать себя тесным союзом с Пруссией. Они хотят видеть на моём месте Румянцева, зная, что почтенный генерал, при всей преданности вашему величеству и своей испытанной храбрости, весьма недалёкозоркий политик и постоянно подчиняется влиянию своей супруги, а с графиней они уже успели сойтись. И для всего этого употребляются ими самые недостойные способы подкупа, подлога, застраживания, наконец, соблазна через агентуру известной французской актрисы Леклер, которую, к великому огорчению, поддерживает молодой князь Андрей Васильевич Зацепин. Влияние этой Леклер на молодого князя Андрея Васильевича в прежнее время было несомненно. Теперь, заметив его необыкновенное честолюбие, они постарались влияние это восстановить если не силою чувственности, то соблазном и представлением картин, льстящих его честолюбивым стремлениям. В

таком виде, ваше величество, изволите согласиться, дело оставаться не может и не должно. Поэтому обо всём этом я с моим рабским почтением счёл долгом, как верный слуга, доложить и слёзно молить: если мои взгляды и выводы не удостоиваются вашего одобрения, то всемилостивейше повелите оставить мне мой пост, передав должность мою, кому вы изволите указать. Если же моё усердное служение, при моём малом разуме, изволите признавать нужным и полезным для особы вашего величества и русских интересов, то не оставьте всемилостивейшим соизволением на раскрытие всех нитей этой интриги, охватившей, единственно из вражды ко мне, бóльшую часть вашего двора и всех служащих по моему ведомству, которые в своей вражде зашли уж столь далеко, что явно вредят предначертаниям вашего величества. Раскрытие это тем необходимее, что, можно сказать, ежедневное возрастание силы прусского короля и его близкое к нам соседство, при его согласии с Францией, делают наше положение крайне опасным.

— Что же для этого нужно? — спросила го-

сударыня.

— Прежде всего построже допросить Леклер, ваше величество, а тогда, по всей вероятности, выяснятся те обстоятельства, которые укажут, к чему необходимо приступить для охраны интересов вашего величества от всякого злоумышления.

— Хорошо! Мне надоела уже эта французская интриганка, о которой столько лет я слышу со всех сторон, как о ядовитой и во всех отношениях вредной женщине. Передайте это дело Александру Шувалову, он сделает свои распоряжения. Но без пытки, прошу вас, без пытки!

В это время в голове государыни мгновенно пробежала мысль: «Кстати, я хочу знать об отношениях её к князю Андрею. Неужели он мог, неужели решался играть моими чувствами и, выражая мне словом, взглядом, каждым своим движением полную и беззаветную преданность, в то же время позволял себе забавляться Леклер или, что ещё хуже, продавать меня через неё Дальону, Мардефельду и всем этим пиявицам, думающим только о том, как бы, пользуясь слабостью женщины, обмануть

русскую императрицу? О, если это так, он не стоит тогда ни малейшего моего внимания! Тогда Мавруша права, утверждая, что он холодный, бездушный честолюбец, у которого нет ничего святого и который всем готов жертвовать для удовлетворения своих честолюбивых желаний. Для него тогда, понятно, любовь женщины — игрушка, ступень для достижения своих замыслов. Тогда... тогда я его возненавижу!»

— Государыня, — сказал в ответ Бестужев, с выражением восторженности, может быть напускной, придворной, тем не менее всегда производящей своё впечатление, хотя в то же время он чувствовал большое неудовольствие от того, что дело будет производиться под наблюдением Шувалова. — Я всегда знал, что справедливость и великодушие присущи крови Петра Великого, но теперь скажу, что Пётр не умер. Гений его царит над нами в лице его великой дочери, умеющей для блага государства побеждать даже самую себя! Позволю себе представить на ваше воззрение последнюю перлюстрацию дешифрованных депеш Мардефельда и Нейгауза. Из них вы изво-

лите усмотреть, в какой степени настояние моё о необходимости раскрытия интриги, охватывающей бóльшую часть вельмож вашего величества, вызывается насущными обстоятельствами.

И Бестужев, положив на стол бумаги, откланялся.

Несколько дней спустя Жозефина Леклер приказала разбудить себя ранее обыкновенного.

Она рассчитывала в этот день съездить к прусскому посланнику графу Мардефельду, приёмы которого назначались довольно рано; потом думала навестить бедного больного француза, приехавшего к ней с письмами из Франции и захворавшего от петербургской воды; в заключение думала завтракать у вернувшегося из Москвы Мятлева, который, говорили, положительно решил бросить московский разгул и остепениться, взяв на своё попечение только двух француженок.

«Я ему предложу, — думала Леклер, лёжа ещё в постели, — взять ещё одну, с кругленьким личиком, с вьющимися на висках чёр-

ными волосами и чёрненькими глазками, немножко жидовского типа, одним словом, мадемуазель Матильду; а другую — белокуренькую, с тоненькими чертами лица, розовенькими губками и чудными поэтическими голубыми глазками — Лизетту».

В это время востроносенькая француженка, горничная Леклер, вошла к ней в спальню с заспанными глазами и сказала, что уже семь часов.

Леклер торопливо вложила свои босые ножки в шитые золотом мягкие туфли, надела юбку, накинула сверх ночной кофточки батистовый, обшитый брюссельскими кружевами пудремант и села к зеркалу, распустив свои всё ещё густые и прекрасные волосы.

Горничная принялась их расчёсывать с той ловкостью, к которой способны только француженки, и не прошло получаса, как головка Леклер, осыпанная пудрой, кое-где подвитая, с приколотым по тогдашней моде цветком, была совсем готова.

Нужно было принести тёплой воды.

Горничная пошла. Но только она вышла из дверей спальни, как вскрикнула и вороти-

Лась назад.

— Что ты?

— Мадам, в зале солдаты!

— Что?..

Но расспрашивать Леклер много не пришлось, потому что солдаты без ружей, впрочем, стояли уже на пороге обеих дверей её спальни, и из-за них вылетела чёрная фигура, с толстым, круглым и красным лицом, в сюртуке с вышитым золотым кантом по чёрному стоячему воротнику и с треугольной шляпой в руках.

— Ты Леклер? Жозефина Луиза, французская комедиантка? — спросил чёрненький человек, держа в руках какую-то бумагу.

Позади него появился не то служивый отставной подьячий, не то торгующий грек, с приподнятым откидным воротником и подпоясанный шарфом.

— Она, ваше благородие, она! — сказал он.

Это был официальный агент Тайной канцелярии, долженствовавший удостоверить личность арестуемых.

— Ты Леклер?

— Да, я Леклер, — отвечала перепуганная

француженка. — Что вам угодно?

— По указу её императорского величества и предписанию его высокографского сиятельства генерал-аншефа Александра Ивановича Шувалова я тебя арестую! Идём! Берите её!

— Что вы? Что вы? Я ни в чём не виновата! — вопила растерявшаяся Леклер вне себя. — Я французская подданная! Мой всемило- стивейший король... Да в чём же я виновата?

— Там узнаешь; разберут, кто твой король! Бери же, говорят! Что стали? — крикнул он на солдат.

— Да хоть одеться дайте, помилуйте!

— Какое тут одеванье. Ну дай ей накинуть что-нибудь потеплее и тащи!

И двое солдат подхватили под обе руки взвизгнувшую, почти раздетую, перепуганную француженку и поволокли её из комнаты. Горничная едва успела накинуть на неё сверх пудреманта салоп. У подъезда втолкну- ли её в какую-то парусинную фуру на дрогах. Арестовавший её чёрненький человек сел подле.

— Пошёл! — крикнул он, и фура тронулась.

Через полчаса фура остановилась перед

подвалом. Леклер высадили и провели тёмным коридором в грязную комнату, в которой стоял письменный стол, покрытый оборванным и замасленным сукном.

За столом сидел чиновник, который записал её имя, звание и приметы и указал на скамью, куда её посадили. Арестовавший её чёрный господин исчез. Леклер всё ещё не могла прийти в себя от страха.

Пришёл другой чиновник, вместе с тем, который её арестовал.

— Ну что? — спросил записывавший.

— Велено отвести в застенок.

— Пытать будут, что ли?

— Не знаю, надо думать — пытать.

Слово «пытать», будто ножом, кольнуло в сердце Леклер. Это слово ей было слишком знакомо, чтобы не понять. Впрочем, Леклер могла уже порядочно понимать по-русски.

Её опять подхватили, опять повели по коридору, потом заставили ещё спуститься на три или четыре ступеньки и ввели в странную комнату, с не виданными ею ранее орудиями и необыкновенной обстановкой.

Это был застенок.

Продолговатая, невысокая комната была разделена поперёк на две неравные части, из коих в первой, меньшей, был настлан пол в виде помоста. На помосте стоял большой стол, покрытый зелёным сукном, обшитый по краям золотым позументом. На столе стояло зеркало, несколько чернильниц и были положены бумаги. Вокруг стола стояли стулья, между которыми находилось два кресла, украшенных позолотой.

В другой части комнаты, в которую вела особая дверь, пол был земляной, усыпанный песком. Он приходился несравненно ниже помоста первой части комнаты. Вдоль задней стены и с боков были поставлены старые деревянные скамьи, почерневшие от времени и загрязнённые от употребления; такие скамьи, по которым ясно было видно, что с теми, которым приходится на них сидеть, не думают церемониться.

Посреди этой части комнаты был вбит столб с приделанной к нему глаголем переключиной, в конце этой переключины был сделан блок, сквозь который проходила верёвка, оканчивающаяся вплетённым в неё кольцом.

Это была так называемая дыба, с виду весьма похожая на виселицу. Подле дыбы лежали её принадлежности: хомут, верёвка, бревно и гири, долженствовавшие усиливать её действие, а на особо приделанном к дыбе крючке висели выделанные воловьи жилы.

С правой стороны дыбы стояла «кобыла», то есть бревно, устроенное в виде косо́й скамьи, с приделанной у высоких ножек небольшой перекладной с отверстиями для просовывания рук. Понятно, что на такой кобыле можно было распластать человека, привязав его так, чтобы он не мог пошевелиться. Подле кобылы лежало несколько пучков свежих розог и стоял особый станок, на котором были развешаны разного рода плети, воловьи жилы и помещался длинный кнут, плетённый из ремня и со вплетённым в конец куском жёсткой юфти.

С левой стороны дыбы стояли тиски для сжимания ног, винт для раздавливания пальцев на руках и жаровня с горящими углями, в которой добела раскаливались железные щипцы с деревянными ручками. Тут же на стене висели топор, палица и другие орудия

казни и пыток.

Перед приходом Леклер в застенке были только двое помощников палача, прибиравших и расправлявших орудия своего ремесла. Это были два здоровых парня в красных кумачовых рубашках, на которых не могли быть так заметны пятна крови, как могли бы быть заметны на белом полотняном белье.

— Ты, Тимоха, не рассказывай мне о своей силе, — говорил один, размахивая плетью, — тут не сила нужна, а сноровка, ловкость! А уж по ловкости куда ж тебе! Сам Калистрат Парфёныч говорит, что по ловкости я первый человек; говорит, что у меня золотые руки, и точно, за себя я постою, это верно!

— А всё без силы больно не ударишь, — заметил Тимоха.

— Ну нет! Я тебе скажу: сила силой, а ловкость и сноровка прежде всего. Хоть бы вот эта плеть: я буду класть удар подле удара, полуса подле полосы, ни разу не ударю по одному месту, а все рядом да подле, новинкой так и пойду. А после положу накрест, да так всю спину выпишу, что будто разрисованная станет, и ни сесть, ни лечь будет нельзя. Куда же

тебе?

— Да коли силы настоящей нет, так всё боли той не будет. Вот коли я ударю, так будь там хоть какой — почувствует; а ты что!

— Ну нет, ничто! — возражал Тимохе товарищ, которого, кстати сказать, звали Ефимом. — Наказание-то я куда больше тебя заставлю почувствовать. Оно так, что своей силой ты первый удар дашь такой, что всякий скажет: удар — ужас! А потом и пойдёшь бродить и вкривь, и вкось, удар на удар, по одному месту. Пойдёт кровь, а по крови-то уж человеку чувства такого не будет; жару-то уж поддать будет нечем. У меня другое дело. Я всего человека этак широкими кровавыми полосами, будто узорами, распишу, а потом, вконец-то, как поперёк буду бить, из каждого, то есть вот по этим узорам, цветочка, кровь пущу. А вот кнут, так тем ты со всей своей силой и разу не ударишь, как вот хоть бы Калистрат Парфёныч бьёт, так что с каждым разом кусок мяса вырывает. Тут не сила нужна, а выхлест; а у тебя выхлеста-то и не будет. Знаешь, кнутом можно человека сразу перешибить, так что он тут же и душу Богу отдаст.

— Ну сразу-то не перешибёшь.

— Нет, право! Вот я могу...

В это время ввели Леклер и посадили её, дрожащую, обезумевшую, на скамью у задней стены, в нижней половине комнаты.

— Что это, пытаться, что ли? — спросил Тимоха.

— А кто её знает, должно, пытаться! Калистрат Парфёныч приказывал, чтобы, на всякий случай, сегодня и дыба, и всё к пристрастию готово было. А впрочем, и пытаться-то, кажись, тут нечего, гляди какая! И так душа в теле еле держится, спужалась, должно, уж очень!

И точно, Леклер обводила застенок совершенно потерянным взглядом. Она не могла опомниться от ужаса перед всеми этими предметами, которые представились ей как нечто страшное, давящее, разящее. Она не могла даже подумать о том, что вот в этих тисках будут давить её маленькие ножки, а этот винт будет щемить её белые нежные руки, которые она так холила и берегла. А розги? А плети? Неужели ими будут её бить, сечь? А калёные щипцы, жаровня? Неужели

будут поджигать и рвать её нежное тело? Страшно! Страшно! Ей казалось, что все эти предметы ожили; казалось, будто они сами встали и вот уже бьют, ломают, рвут, жгут. Что же это? Что же?.. Она закрыла глаза и сидела, бледная, омертвелая. В цветах, пудре, кружевном пудреманте, видневшемся через запахнувшийся салоп, в шитых золотом, надетых на босую ногу туфлях, она дрожала как в лихорадке и казалась бежавшей из чистилища или вставшей из гроба. Руки её тряслись, зубы стучали один о другой.

— Ну вот её, на приклад, возьмёшься ты кнутом сразу зашибить? — спросил Тимоха.

— Её-то? Эту-то? Да на неё кнута не нужно, я и плетью перешибу! Так, с первого удара до самой кости и прорежу. Ты, брат, ещё не знаешь, что такое кнут! Хочешь об заклад на осьмуху водки, что вот я кнутом на кобыле зарубку положу, а может, и кусок дерева вырву.

— Хвастай! Ну где ж из дерева вырвать.

— Право, вырву! Хочешь на осьмуху?

— Да ты тише болтай-то, ведь слышит.

— Разве не видишь, что чухна, что ли, али хранцуженка какая; по нашему-то не знает.

Но Леклер понимала и с ужасом смотрела, как один из палачей снял со станка кнут длиною около трёх сажень и, показывая на тонком конце вплетённую туда заскорузлую юфть, объяснял, что она куда твёрже дерева и тело как ножом режет.

Но в это время вошёл суровый мужик в красной шёлковой рубашке и синей бархатной однорядке нараспашку.

Увидев его, Ефим опустил кнут, а Тимофей наклонился, делая вид, что прибирает лежавшие у кобылы розги.

— Чего галдели? Чем дело делать, а вы только языки чешете! Вон жаровня-то, почи-тай, совсем потухла. Смотри, чтобы я щипцы-то на вас попробовать не вздумал.

Малые испуганно переглянулись. Вошедший был палач, сам Калистрат Парфёныч.

«Боже мой, Господи мой! — молилась про себя Леклер. — Неужели Ты допустишь такое злодейство? Неужели отдашь этим извергам рвать меня, терзать тело моё, ломать кости мои? Защити меня, Господи! Нашли на них гнев Свой. Укрой меня! Я грешная женщина, грешница великая. Но, Господи... по Твоему

милосердию... Заступница милостивая, помоги, прости! Ведь это ужасно, ужасно!». И она дрожала, билась, тряслась.

Палач начал приводить все орудия пытки в порядок, осматривая и пробуя каждое. Леклер не помнила себя, бросая кругом свой мутный, совершенно потерянный взгляд. Она чувствовала, что её напудренные волосы поднимаются на голове, что её сердце замирает от ужаса.

Наконец раздалось: «Идут, идут!» Палачи положили на места свои инструменты и сами стали подле них. Вошёл Шувалов, за ним обер-прокурор Сената Брылкин и секретарь.

— Подвести обвиняемую к допросу! — сказал Шувалов. И к скамье, на которой внизу сидела Леклер, подошёл сторож, приглашая её идти. У Леклер не было сил встать. Её подняли и посадили против стола. Стоять она не могла.

Но только её опустили, как она повалилась на землю.

— Пощадите! Пощадите! — закричала она. — Помилуйте!

Её подняли и усадили. Шувалов велел её

держать.

— Не бойтесь, сударыня, вам ничего дурного не сделают, — сказал Шувалов, — если только вы будете откровенны и станете с полной ясностью отвечать на все вопросы, ничего не скрывая и не утаивая. Если же вы будете что-нибудь скрывать или тем более говорить неправду, то вините уже сами себя. Вы видите, у нас есть средство заставить говорить истину. Приготовить розги и дыбу, — прибавил он, обращаясь к палачам.

Леклер начала божиться и клясться, что она ни в чём не виновата и что на вопросы будет отвечать как перед Богом, с полной искренностью, и расскажет всё, что знает, не скрывая ничего.

Начался допрос.

Леклер показала, что она французская подданная, актриса, всегда желала всякого добра своему отечеству и очень желала, чтобы между Россией и Францией был вечный мир и согласие; что в нынешнюю политику Франции и России она не путалась и не мешалась, ибо не пользуется расположением нынешнего французского посланника графа Дальона. Ко-

гда же здесь был послом маркиз Шетарди, который очень желал, чтобы вступила на престол Елизавета, тогда через секретаря Маньяна она сообщала ему много известий, клонящихся к тому, чтобы содействовать предприятию цесаревны, так как один из её постоянных посетителей, который к тому же был с ней в близких отношениях, доктор цесаревны Иоганн Герман, или Жан Арман Лесток, настойчиво требовал от неё собрания таковых сведений отовсюду, откуда только можно было их получить. Относительно образа и средств своей жизни Леклер объяснила, что она извлекала эти средства из стремления богатых людей пользоваться жизнью и удовольствиями, стараясь в этом отношении угодить всем. Она рекомендовала богатым старикам хорошеньких любовниц, устраивала игорные вечера, давала любительские спектакли. У высокопоставленных и бывающих у неё особ она выпрашивала для разных лиц различного рода милости, за что получала благодарность. Всё это в совокупности давало ей значительный доход, совершенно вне всяких политических целей, о которых она, кро-

ме выполнения требований Лестока, никогда не думала. О государыне никогда ни с кем не говорила, зная, что в России это строго преследуется; говорила только, что с её царствованием началась тишина и благоденствие и ничего не слышно о страшных пытках и казнях, которыми сопровождалось владычество Бирона. Прусского посланника графа Мардефельда она знала, познакомилась с ним через Лестока. Одно время, когда жена его была продолжительно больна, была с ним в связи, но никакого поручения от него к канцлеру не принимала и никаких заверений не делала. На повторенный по этому предмету под угрозой вопрос она подтвердила то же самое, объясняя, что свидания её с канцлером и продолжительные разговоры с ним касались его единственного сына Андрея Алексеевича, который начал пошалить, играть в карты и волочиться за француженками, от чего отец хотел его удержать. Относительно князя Андрея Васильевича она сказала, что лет едва ли не десять или более назад, когда Андрей Васильевич только приехал в Петербург и был чуть не мальчик, она влюбилась в него

без памяти и была у него на содержании. Она учила его танцевать и практиковала в разговоре на французском языке, но когда он уехал за границу, то все отношения её с ним прекратились. Недавно только узнала она, что он давно уже воротился и пользуется большим влиянием и почётом, поэтому, по совету графа Мардефельда, решила по старой памяти обратиться к нему с просьбой за Лестока, для чего нарочно ездила в Москву... Когда её спросили, почему же она так заботилась о Лестокке, она без запинки отвечала, что Лесток, будучи постоянным её посетителем и крупным игроком, давал ей значительный доход, привлекая множество посетителей и оживляя в её гостиной своим весёлым характером всё общество. На вопрос, продолжалась ли связь её с Зацепиным по возвращении его из Парижа, она отвечала отрицательно, повторяя, что о возвращении его не знала, хотя, разумеется, готова была бы употребить все средства, чтобы его опять притянуть к себе. Когда же узнала о его приезде и приехала к нему по делу, то если бы он изъявил хоть какое-нибудь желание, то она никак, ни в чём бы ему не отказа-

ла, но как он не только никакого желания не изъявлял, но даже, видимо, отклонялся от всякой фамильярности, то она и не могла войти с ним в прежние отношения и более его не видала.

Когда же её спросили, какой ответ дал Зацепин о Лестоке, она отвечала, что его ответ был уклончивый, так как он слышал, что Лесток в чём-то провинился лично против государыни, поэтому вперёд он ничего обещать не может.

— На мои убедительные просьбы, — говорила Леклер, — он обещал попытаться. Но как на третий день после того он уехал и ответа никакого не дал, то я и полагаю, что или попытка его не удалась, или он на таковую попытку не имел времени.

Вот всё, что показала Леклер на предлагаемые ей вопросы, и утвердила это даже тогда, когда её подвели под дыбу и надели на руки хомут. Было видно, что она отвечала с полной откровенностью и не утаивала ничего. На пытку Шувалов не решился, ввиду положительного приказа государыни к пытке не прибегать и вспоминая, как неблагоприятно

было принято государыней его излишнее усердие в деле Лестока. Поневоле он ограничился только одним застрачиванием, которое, впрочем, настолько сильно отозвалось на бедной Леклер, что, возвратясь домой с целыми руками и ногами, она почти не верила себе, а от испытанной ажитации и нервного потрясения слегла в постель и была между жизнью и смертью в течение девяти дней.

Допрос этот и ответы Леклер препроводили к генерал-прокурору. Трубецкой и Шувалов, разрабатывая эти ответы с обер-прокурором при помощи Мавры Егоровны, дополнявшей доклад объяснением того, что было между строками, представили государыне дело это, вместе с своими соображениями, в таком виде:

«Живя развратом и содержа игорный дом, француженка Леклер находилась в любовной связи с Лестоком, прусским посланником графом Мардефельдом, молодым князем Зацепиным и многими другими. Стараясь своим посредничеством сгруппировать партию, стоящую за союз с Францией, она полагала быть тем полезной своему отечеству. По нераспо-

ложению к ней нынешнего французского посланника и тождественности интересов французского и прусского дворов, она главнейше держалась в настоящее время прусского посланника и, по указанию его, для сосредоточения этой партии хлопотала о возврате из ссылки Лестока. Для достижения сей цели она решилась воспользоваться своим прежним влиянием и своею близостью к молодому Зацепину, как известному поклоннику Франции и желающему с нею союза и дружбы. При этом, хотя она и уверяет, что последнее время прервала с Зацепиным всякую связь, к канцлеру же никакого поручения никогда не имела, но это уверение её не заслуживает уважения, так как по воле государыни она допрашиваема была без пристрастия, а обстоятельства таковыя её объяснения прямо опровергаются, ибо из её же слов видно, что она у Зацепина просидела ночью более двух часов и что к канцлеру езжала нередко, в надежде заручиться его содействием к сближению русских и французских интересов, избирая предлогом для того весёлые похождения его сына, молодого графа».

— Вот будет хорошо, — с улыбкой сказал Трубецкой, — если мы расследованием, начатым по представлению канцлера, на него же наведём подозрение! Таких примеров, кажется, и в римской истории не бывало! — И он засмеялся.

— Что ж, — ответил хмуро Шувалов, — он любит других в дурацкие колпаки наряжать, пусть на себе примерит...

В заключение доклад испрашивал разрешения подвергнуть допрашиваемую пытке, так как при таком пристрастии она, вероятно, все интриги свои и каверзы яснее выскажет и объяснит. Но государыня последнего предположения не утвердила, а решила выпроводить Леклер за границу для прекращения беспутных вечеров и игрецких собраний.

Время между тем шло. Александр Иванович Черкасов, встречая Гедвигу у отца, во дворце, в церкви, где она готовилась принять миропомазание, полюбил её так, как любят только раз в жизни. Он почувствовал, что его жизнь не полна без этой хворой, задумчивой девушки, что в её иногда оживлённой улыб-

ке, в её добром взгляде вся его жизнь, вся его радость. Он видел, что она добра к нему, очень внимательна, но видел, что есть что-то тайное, что-то страшное, что убивает в ней всякое чувство, всякую самостоятельность, и что до разрешения вопроса об этом тайном он не может надеяться не только на взаимность, но даже на снисходительность. Сознание этого положения убивало Черкасова. Он был сам не свой. Все мысли его направились к одному — к Гедвиге; чем бы помочь, как бы разве-селить, как бы облегчить её? Он посвящал ей всего себя. Службой он не занимался, ни о чём не думал, тосковал страшно и, разумеется, высох и похудел.

Иван Антонович не знал, что делать с сыном, и сам чуть не сходил с ума. Наконец он решился рассказать обо всём государыне. Почему он думал, что государыня может помочь его горю и облегчить его нравственно и физически больного сына, он и сам не знал. По беспредельной преданности своей к государыне он думал, что она может всё. Вместе с тем Иван Антонович, выросший и состарившийся среди придворных интриг, волновавших ещё

двор Петра, так сказать, перегоревший в них во время трёх царствований, разумеется, весьма боялся вновь возникающего влияния молодого князя Андрея Васильевича, к которому он не имел никакого отношения, которого почти не знал и, стало быть, на доброе расположение его рассчитывать не мог.

Старик, выслужившийся из низших слоёв бюрократии, поэтому не получивший не только блестящего, но и никакого воспитания, своим простым русским разумом успел достигнуть многого, чего не достигают иные многолетними трудами и учением. Он был настолько развит, что понимал безусловность нравственного влияния. А такого нравственного влияния государыня, бесконечно добрая и задушевная, не могла не иметь как на Гедвигу, которой заменила мать, сестру, друга и которой истинно покровительствовала, так и на его сына, который с детства привык видеть в ней единственную их покровительницу. Он понимал также и значение материальных, физических отношений супружеской жизни. Он думал: «Она, наша покровительница, уговорит Гедвигу выйти за Алек-

сандра замуж, и он успокоится, обладая любимым предметом. А его достоинство, любовь, ум, нежность заставят себя полюбить. Недаром же деды и отцы говорили: сживутся — слюбятся, — так объяснял себе Иван Антонович свои настояния и думал: — Они будут счастливы. Мой Александр опять будет тот Александр, о котором великий государь говорил, что он насквозь видит».

Размышляя так, Черкасов выбрал удобную минуту и высказал императрице своё горе.

— Как дети прибегают к своей попечительной матери в своём горе, — говорил Иван Антонович, заливаясь слезами, — так и я к вам, всемилостивейшая наша мать и покровительница! Не поможет мать, кто же поможет? Опять, если и не поможет мать, так утешит, успокоит, обрадует, а тем и самое горе облегчится, и самое несчастье становится легче. Вот горе, матушка государыня, горе такое, что руки опускаются, что негоден сам становлюсь, даже на службу тебе негоден. А уж что тот за человек, который и тебе, нашей милостивой матери, служить не годится? Лучше в могилу лечь...

— Что же случилось с тобой, старик? Расскажи!

— Вот, государыня, вы знаете моего сына Александра? И что это за удалый молодец был, весёлый, бравый, почтительный. Науку произошёл как следует, в академии и университете экзамены сдал и дипломы получил; в службу поступил и на службе отличился своей исправностью, разумом и способностями. Сиятельный канцлер не раз сам мне хвалил его. А уж как предан вашему величеству! Так же предан, как я сам. Он знает, что вы наша единственная благодетельница...

— Кто это такой с такими идеальными совершенствами и добродетелями? Нельзя ли и мне с ним познакомиться? Я бы с ним поспорила если не в знаниях и разуме, то, по крайней мере, в степени преданности нашей общей покровительнице и благодетельнице?

Этот вопрос раздался в дверях, и в нём чрезвычайно слышался иностранный выговор молодой особы, которая, однако, всеми мерами старалась дать своей речи правильное русское строение, поэтому говорила с расстановкою, как бы обдумывая, какое слово

следует сказать вперёд и какое после.

Вошла молодая, ещё очень молодая женщина, стройная, изящная, с спокойным выражением больших голубых глаз, густыми каштановыми волосами, такими же весьма гладкими бровями и овальным складом лица. В общем очерке её стана была заметна некоторая, как бы сказать, наклонность к округлению форм, могущему выразиться впоследствии большей или меньшей полнотой, но в то время молодая женщина была так стройна, что про неё можно было вполне сказать, как говорится в русской песне:

*И тонка, и стройна,
И собой хороша!*

— А, Катя! — сказала государыня. — Иди сюда, милая! Каково ты спала? Мне показалось вчера, что у тебя головка горяча была! Или это так, оттого что ты вчера расшалилась очень, представляя германских принцев, сюзеренов над голой скалой и деревней из семи дворов, вооружающих свою армию в одина-

дцать человек...

— Что ж, добрая, милостивая тётя, при решимости и гении, говорит прусский король, можно с десятью драбантами Рим взять! А тут даже не десять, а одиннадцать!

Вошедшая сказала это шутливо и с лёгким оттенком насмешки над прусским королём Фридрихом II. Но, смотря на неё в ту минуту, когда она говорила эти слова, и заметив, как тоненькие губки её вздрогнули и как бы поднялись кончиками вверх при словах «гений и решимость», тогда как округлость её щёчек ни малейше не изменилась от её улыбки, можно было твёрдо сказать, что в решимости и у неё недостатка не будет.

Эта Катя была супруга племянника государыни и наследника русского престола Петра Фёдоровича, урождённая принцесса Ангальт-Цербстская, великая княгиня Екатерина Алексеевна, в будущем Екатерина Великая.

— Ступай сюда, Катя, — сказала государыня, целуя с нежностью её головку, когда она подошла и поцеловала её руку. — Садись, вот Иван Антонович нам поведаёт своё горе необъятное о том, как его удалого молод-

ца-сына Змей Горыныч со света сживает!

— И точно, матушка государыня, будто Змей Горыныч свою чёрную немочь наслал, будто своим василисковым взглядом околдовал. Приехала к нам эта княжна Гедвига просить доложить государыне о её приезде, — продолжал он, обращаясь к Екатерине. — Государыня назначила быть ей у неё на другой день ввечеру. Куда же, бедной, ей ночью было деваться! Я предложил ей остаться у меня. Она и пробыла у меня двое суток, пока государыня, общая всех нас покровительница и прибежище, её при себе не устроила. С той минуты Александр мой как в воду опущенный ходит, совсем на человека не похож стал. Именно, государыня, будто Змей Горыныч своего аспида на него напустил! Не ест, не пьёт, сохнет как былинка, даже думать о себе забыл...

— Может быть, он просто полюбил Гедвигу, Иван Антонович, как говорят: влюбился без ума, без памяти? Вы знаете по русской поговорке: «Девичья красота — молодцу сухота», — сказала великая княгиня с любезной улыбкой и поглядывая на свою царственную

свекровь — тётку. Екатерина, не зная ещё языка, выучила чуть ли не все русские пословицы и искусным употреблением их часто поражала даже тогдашних грамотеев, какими считались в то время Флоринский, Тредьяковский, Ломоносов, Трубецкой, Сумароков, Елагин, Теплов и Ададуrow.

— Именно влюбился, наша матушка, преславная великая княгиня, ваше высочество, наше будущее солнышко! — проговорил Черкасов. — Да так влюбился, что с ума сошёл! Вот и пришёл я к государыне, не вразумит ли по своей великой милости, как бы молодца опять на путь поставить?

Заметив, что государыня не только не выразила неудовольствия на сделанное ею объяснение болезни молодого Черкасова, а, напротив, видимо, смотрела на неё с любовью и удовольствием, великая княгиня продолжала игриво и весело:

— О чём же тут спрашивать? Гедвига такая милая, такая очаровательная, что в неё не влюбиться почти нельзя. Теперь вот она и закону нашему православному учится, так же как и я когда-то училась, тоже когда... — и она

вдруг опустила глазки и замолчала. Ей хотелось сказать: когда великого князя, своего жениха полюбила; но она почувствовала, что в этих словах будет такой шарж, что, пожалуй, бросится в глаза своей неправдивостью, и она тихонько проговорила, целуя вновь руку своей тётки: — Когда я беспредельно мою благодетельницу тётю полюбила...

В ответ на эту ласковую тираду императрица обвила своими руками её хорошенькую головку и поцеловала её высокий царственный лоб.

— Вы просто жените вашего сына на Гедвиге, и делу конец! Всякая болестъ, всякая сухость пройдёт, — как рукой всё снимет! — шутливо сказала Екатерина Черкасову.

— Вы шутить изволите, ваше высочество, великая княгиня, наша надежда милостивая, а мне, право, жизнь не в жизнь. Пойдёт ли княжна Биронова за моего сына? При милости царской и...

— Отчего же не идти? Сами вы говорите: ваш сын учен, разумен, красив, хорошо служит... Не богат, так он и она богаты царской милостью. Она — княжна, вы — барон! Но она

княжна весьма недавнего происхождения; ничто не помешает и вашему сыну заслужить себе все отличия и со временем быть тоже князем. Гедвига девушка умная, поймёт это и захочет сделать удовольствие государыне, своей покровительнице, осчастливив собою одного из её верных подданных, сына её старого и преданного слуги.

— Ах ты моя милая дипломатка! — сказала с чувством удовольствия Елизавета, вновь обнимая её. — Поручаю это дело твоему благоразумию. Барон, вот вам надежда видеть вашего сына здоровым и счастливым!

— О да! Я сделаю их счастливыми! Мою милую Гедвигу и его, вашего сына, — сказала Екатерина, весело подпрыгивая и прихлопывая своими ручками, будто совершенно отдаваясь чувству овладевшей ею весёлости, в то время как сама думала: «Как бы не сделать лишнего прыжка, могущего обеспокоить мою дорогую тётю-благодетельницу, или такого, который мог бы показаться выисканным выражением мыслей, которых у меня не было или, по крайней мере, какие не должны были быть».

Она думала и постоянно рассчитывала, чтобы в её весёлости не было фальши, деланности, а были бы та естественность и простота, которыми Елизавета всегда в ней восхищалась. Она хотела, чтобы весёлость её казалась просто естественным выражением игривости её характера, тогда как именно игривости-то характера в ней и не было; не было даже тогда, когда она только что приехала в Россию и ей ещё не было пятнадцати лет.

«Что делать? — рассуждала про себя Екатерина, будущая Семирамида Севера. — Это любят! Ведь на жизненной сцене света мы всё более или менее актёры и актрисы, и успех достаётся тому, кто лучше сыграет свою роль».

— О да! Я все усилия употреблю, чтобы сделать милую Гедвигу и вашего сына счастливыми! — продолжала великая княгиня совершенно естественно и как бы искренно, от души.

Черкасов в это время стоял, не увлекаясь ни кажущейся весёлостью великой княгини, ни её искренностью; разумеется, ему тоже и в голову не входило подозревать те внутренние

соображения, которые пробегали в это время в её молоденькой головке и которые двадцати лет от роду заставили её сказать себе: «Умру или буду царствовать». Но опять нельзя же думать, чтобы барон Иван Антонович, хотя и не получивший особого воспитания, но поседевший при дворе и умевший из ничтожного звания переписчика достигнуть высокой степени тайного секретаря и попасть в число приближённых лиц, мог сказать что-нибудь спроста. Тем не менее он вдруг бухнул:

— Кто бы, матушка государыня, великая княгиня, будущая радость русская, ваше высочество, не успокоился, слышав ваше милостивое слово; кого бы слово это не сделало счастливым? Но, говорят, принцесса Гедвига невеста, страстно любит своего жениха и любима им; а жених-то её такой человек, перед которым мой сын — пас во всех отношениях и который тоже пользуется милостью нашей всемилостивейшей покровительницы. Говорят, что она как приехала в Петербург, так прямо к нему. Что ж тут мой сын? Жених-то её, говорят, молодой князь Зацепин!

При последних словах Черкасова о князе Зацепине государыня вдруг побледнела и схватилась за сердце. Она почувствовала, будто что-то сдавило её в груди и душило крепко-крепко, потом вдруг будто укололо чем...

Великая княгиня, которая, несмотря на свою молодость, слишком хорошо понимала отношения двора, остановила на Черкасове свои изумлённые глаза, как бы говоря: «Старик, ты из ума выжил! Такие вещи следует рассказывать осторожно, а ты — ни с того ни с сего...»

С государыней сделалась истерика и потом страшные спазмы.

Зачем это сказал Черкасов? В самом ли деле не думая, как это казалось по внешности, а просто от горя видеть своего сына в том положении, в котором он был, или по инициативе великого канцлера графа Алексея Петровича Бестужева, с которым Черкасов был весьма близок? Об этом история умалчивает, об этом не догадалась даже сама Екатерина.

VIII

Опасность соединяет врагов

Генерал-прокурор князь Никита Юрьевич Трубецкой сидел у себя в кабинете и думал, как бы делом Леклер навести подозрение на Бестужева?

Он третий или четвёртый раз перечитывал показание Леклер, вдумывался в каждое её слово, сопоставлял её показания с показаниями по другим делам, касающимся тайных агентов иностранных дворов или шпионов, но всё-таки ничего существенного, ничего такого, что могло бы навести на мысль поручить генерал-прокурору исследовать ближе действия канцлера, — найти не мог. Напрасно он забирал дела из Тайной канцелярии и вместе с Александром Ивановичем Шуваловым перебирал даже архив Преображенского приказа. Ничего и ничего!..

«Ну она к нему нередко приезжала. Да мало ли кто к канцлеру приезжает? — думал он. — Он принимал её у себя в кабинете, гово-

рил подолгу... Опять ничего не доказывает: мало ли о чём он мог с ней говорить... Хотя бы какой-нибудь намёк, какое-нибудь обстоятельство. А то прямо говорит: никаких предложений не делала и даже поручения на то не имела... Вот при пристрастии мы бы заставили как-нибудь высказаться, а тут ничего, — ну ровно ничего!»

Ему доложили о приезде графа Алексея Григорьевича Разумовского. Он сейчас же встал и пошёл к нему навстречу.

Трубецкой встретил графа перед своей аванзалой в ту самую минуту, когда тот поднялся на последнюю ступеньку лестницы.

— Гость всегда жданный и желанный, — с любезной улыбкой проговорил Трубецкой, протягивая Разумовскому обе руки.

— Вашему сиятельству засвидетельствовать почтение от всего усердия моего! — отвечал Разумовский, с южнорусским выговором, пожимая в свою очередь обе руки князя.

Затем, взявшись под руки, они оба пошли в кабинет хозяина, причём Трубецкой осмотрел Разумовского, как говорится, с головы до ног.

Разумовский был в богатом мундире обер-егермейстера, со звездой, в голубой ленте Андрея Первозванного и с никогда не снимаемым им портретом императрицы, осыпанным крупными бриллиантами. Тёмно-малиновый бархатный, шитый золотом и обвитый дорогими кружевами мундир, белый, с крупными жемчужными пуговицами камзол и белые, с золотыми лампасами, туго натянутые панталоны, с чулками, шитыми золотом подвязками и бриллиантовыми пряжками на башмаках, — в такой степени шли к немного смуглому, но чрезвычайно нежному, обрамленному чёрными, вьющимися волосами, лицу Разумовского, его чёрным, глубоким, с поволокой глазам и его стройной, атлетической фигуре, что Трубецкой невольно подумал: «Что и говорить, красив, очень красив! Не скоро такого молодца из головы выкинешь! Атлет просто! Если не психическая, то физическая сторона такой природы подкупит всякую женщину, особенно женщину чувственную и, что греха таить, избалованную...»

Гость и хозяин под руку друг с другом прошли анфиладу приёмных комнат, вошли в ка-

бинет и уселись в креслах, около круглого инкрустированного столика, на котором стоял ящик с превосходными сигарами, то, что называют нынче гильотинка и что тогда называлось просто резаком, тарелочки китайского фарфора и другие принадлежности курения, с особой горкой для чубуков и ящиков для табаку. На столе горела восковая свеча.

— Не прикажете ли, ваше сиятельство? — спросил Трубецкой у Разумовского, подавая ему сигару.

— Ни-ни, ваше сиятельство! — отвечал Разумовский. — Такие сигары мыни будут — ни в коня корм! Разумеется, такому родовитому князю, как ваше сиятельство, и сигары должны быть настоящие, сиятельные; а мне, простому казаку, сызмальства привыкшему к люльке с тютюном, баловать себя дорогими сигарами не приходится, особливо после изгнания из рая, подобно нашим первым прародителям...

— Рай с нами и в нас, говорят новые проповедники, — отвечал Трубецкой. — А мы все твёрдо уверены, что ваше сиятельство изволите обратить старую Аничкову усадьбу

именно в цветущий рай, который озарит своим сиянием сама Аврора. Кстати, граф, вы не слышали, что сей сон значит: посылка князя Зацепина?

— Куда нам такие сны видеть, ваше сиятельство? — отвечал Разумовский. — Князь Зацепа большой барин! С нашим братом, простым казаком, и говорить не хочет. Ну на то его воля княжеская, мы не плачем. А что послали-то его, значит, в милость входит, силу набирает. Государыня любит одного другим поверять. Зацепин теперь в ходу, он и будет поверять всех. Вот теперь и ваше сиятельство изволите находиться в поверке, и вы, и канцлер, благо между собой ссоритесь! А потом и другие пойдут. Зацепа переберёт всех. Много раз государыня и меня на поверку соблаговоляла назначать, да я всегда своим малым разумом да непонятием отделялся. Ну а этот не скажет: «Не по носу табак», всё в свои руки заграбастит. Придётся и вам, и канцлеру, прежде чем государыне, ему докладывать. Впрочем, что же это я болтаю спроста? Эх, князь, да и вы хороши! И не остановите, что я тут разные билиндрысы распускаю и забыл,

что князь Зацепин ваш давний приятель. Знаете, он меня зацепил, крепко зацепил, так я сдуру-то и разоврался. Не следовало, совсем не следовало! Простите, ради бога! Он человек учёный, шлифованный, не нам чета, и разные теории там знает, и Вольтера понимает, а мы себе на медные гроши учились, где же нам всё понимать? Зато мы жили и другим жить давали, а с ним, вот увидим, много ли ещё люди наживут. Ещё раз прошу извинить, что так о приятеле вашем говорю.

— Полноте, граф, чем он мне особый приятель? Ну, знакомый, как и все. Я был хорош с его дядей, князем Андреем Дмитриевичем, естественно, не могу не быть знакомым и с ним. Но, вы знаете, у нас при дворе — всякий за себя, а Бог за всех!

— Что же, ваше сиятельство, если это так, то позволю себе говорить откровенно. Вы меня, позволяю себе думать, изволите знать? Я человек неопасный. Куда не следует своего носа не сую. Со мной всегда есть лад и будет. Ну а Зацепа — зацепа и есть! Так не позволите ли вы мне просто, прямо, по-хохлацки, высказать всё, что на душе; может, что и порас-

судим вместе! Если уж я стар кажусь, что ли, или просто надоел, так ведь я ничего не говорю. Как быть-то? Не я один на свете с привесками на лбу хожу. Но пусть уж лучше, по-моему, этот Ванюша, или Иван Иванович, будет. Недаром Шуваловы хлопочут. Вы с Шуваловыми тоже приятель, так вам их опасаться нечего. А Иван Иванович мальчик скромный, незаносчивый, с моим братом Кирюшкой вон как родные сошлись; французские книжки все вместе читают. Само собой, что будут на себя тянуть, но не в обиду же всем, не взарез что называется. Ну а не Шувалов, другой кто, — я не препона; только бы не этот Зацеп, который... который... поверьте, ваше сиятельство, в вас же в первого вцепится!.. А может, даже уж и вцепился, как знать; недаром же на поверку поехал... Знаете, по-моему, променять Ивана Ивановича на такого Зацепу — значит променять овцу на волка; а сами порассудите: хорошо ли потом с волком-то жить?

— А ваше сиятельство изволите думать, что князь Зацепин послан, чтобы меня проверить?

— Я ничего не думаю, ваше сиятельство; а вот если изволите желать, я вам дам прочесть бумажку: это наставление ему, или, как по-вашему-то, инструкция, которую государыня в самой секретности ему вручить изволила. Не спрашивайте, откуда и как добыл, а слово в слово списано.

И Разумовский подал Трубецкому бумагу. Трубецкой впился в неё глазами.

«Так-то! — сказал он про себя. — И мне хоть бы слово сказал, хоть бы намёком предупредил, гм!..» И он снова прочитал бумагу.

— Выходит, нас обоих с канцлером под цугундер, — сказал Трубецкой Разумовскому. — Ну что ж, коли не угодны, насильно мил не будешь. А не позволите ли спросить, ваше сиятельство: графу Алексею Петровичу вы об этом говорили?

— Ну как не говорить. Он сегодня утром ко мне заехал и говорит, что князь Зацепа ему во сне привиделся. Я ответил, что сон в руку, и ему вот это самое наставление прочесть дал.

— Что же он?

— Говорит: не страшны бы нам все эти по-

верки были, если бы мы с господином генерал-прокурором в такой ссоре не находились. А то не он нас съест, а мы сами себя поедом едим, да, пожалуй, оба и провалимся. Хорошо, коли только в ссылку сошлют.

— Пожалуй, что и так, — задумчиво ответил Трубецкой. — А кто виноват, что он свои вины на других валит?..

— Ваше сиятельство, — перебил его Разумовский, — что старое перебирать. Он и сам видит, что не прав, да что делать-то; вот хоть и близок локоть-то, да не укусишь. Не лучше ли о будущем подумать и, пока на носу у обоих этот Зацепа, хоть перемирие заключить? Ведь в самые большие войны перемирие бывает.

— Да я рад и на мир, и на перемирие; только, ваше сиятельство, вы сами знаете, какой граф Алексей Петрович человек. Он толкует о мире, а сам подкоп ведёт. Уж скольких он так погубил, начиная с Лестока.

— Нашли кого пожалеть, ваше сиятельство. Но теперь другое дело; ввиду общей опасности...

— Что правда, то правда! Этой Зацепе

непременно нужно крылья обрезать, поэтому нужно спеться; только где бы на нейтральной почве...

— Да всего лучше у меня! Не сделаете ли, ваше сиятельство, мне честь пожаловать хоть завтра откусать? Я и господина канцлера позову, и посредником в перемирии буду, если удостоите...

Князь Никита Юрьевич принял предложение, но, по отъезде Разумовского, сейчас же принялся опять за дело Леклер, надеясь извлечь из него что-нибудь против Бестужева. Ему хотелось доказать, что Леклер служила посредницей между канцлером и прусским послом графом Мардефельдом, с которым Леклер призналась, что одно время была в связи; хотелось доказать, что через неё была предложена Бестужеву от прусского короля пенсия, которую тот будто бы принял; что, стало быть, поэтому Бестужев состоит теперь на жалованье прусского короля и потому ни верить ему, ни оставлять канцлером нельзя. Но как ни старался Трубецкой придать такой смысл показаниям Леклер, всё не выходило ничего.

Не знал того Трубецкой, что он ломает себе голову напрасно, что на этой почве Бестужев неуязвим. Ему давно предлагали пенсии и англичане, и голландцы, и французы, и датчане, и пруссаки, которые не останавливались ни перед чем, просили только назначить цифру; но от всех этих предложений Бестужев отказался, и государыня это знала из подлинных депеш, прочитанных академиками. Стало быть, все выводы Трубецкого в этом направлении не только не достигли бы цели, но обрушились бы прямо на него самого. Государыня не могла им поверить против несомненных и чуть не ежедневно представляемых ей доказательств. Правда, Бестужев, пользуясь близостью своих отношений к английскому королю, бывшему курфюрсту ганноверскому, у которого прежде он состоял на службе, просил англичан ссудить его взаимобразно некоторой суммой из шести процентов, необходимой ему для отделки дома и дачи на Каменном острове, и государыня это знала. Но она знала и то, что англичане не согласились, говоря: «Даром возьми сколько угодно, а займы — ни гроша!» А он отвечал: «Займы —

обязете, а в подарок — ничего! Моя совесть не продажная, и Англии меня не купить!» Англичане взбесились. Но суровый, сдержанный канцлер вида не подал, что ими недоволен, и по-прежнему стоял за австрийский союз, стало быть, по тогдашним конъюнктурам, за дружбу с Англией...

Одно, на что мог бы указать Трубецкой и чем, может быть, он вызвал бы в государыне сомнение в рассуждении добросовестности Бестужева, это почему он, представляя государыне к прочтению депеши Шетарди, Дальона, Ньюгауза, Мардефельда, Борка, Вальфенштерна, ни разу не представил для прочтения депеш маркиза Ботта, графа Братислава и других послов австрийского двора? Но вопроса этого Трубецкой возбудить не мог, потому что об искусстве чтения депеш не только ничего не знал, но, вероятно, и не подозревал, как не подозревали этого, надобно полагать, отправлявшие эти депеши посланники, описывая в них подробности своих действий и свои предположения. Граф Мардефельд, правда, начал подозревать, что его депеши делаются известными, но, вероятно, он думал, что это де-

лается через измену канцелярии у него или в Берлине, почему в одной из депеш даже грозил проколоть виновного шпагой. Но от подозрения до уверенности, как от угроз до исполнения, целая пропасть. Трубецкому же, никогда не занимавшемуся иностранными делами, и в голову не могло прийти то, что делало Бестужева столь сильным. Поэтому, не признавая Бестужева бескорыстным, он думал, что непременно должен найти случай так или иначе уличить его в подкупности. И теперь он трудился над этим до пота лица, хотя завтра должно было состояться между ними перемирие. Но Трубецкой едва ли не лучше Бестужева изучил правило: мирись на ссору, ссорься на мир.

В ту самую минуту, как Трубецкой особенно напрягал свою голову, чтобы извлечь из показаний Леклер то, чего нельзя было из них извлечь, он получил из Сената несколько донесений с полнейшим и обстоятельнейшим описанием того, что происходило в Зацепинске в день прибытия туда князя Андрея Васильевича.

Трубецкой на минуту онемел.

«Эге, приятель, это другое дело! Ты очень торопишься в цари попасть. Выходит — приблизить тебя к делу всё равно что пустить козла в огород. Не только Бирона, ты и Ришелье хочешь за пояс заткнуть! Всё разом захватить желаешь, о приятелях и не думаешь! Нет, постой! Будем как-нибудь пока валандаться с Бестужевым, а тебя, сердись не сердись, выведем на чистую воду; услужим по-приятельски, была не была! Попробуем отстояться!»

Он изорвал всё, что перед тем писал, и дело Леклер, за высылкой её из России, кануло в вечность.

На другой день, поехав обедать к Разумовскому, он взял, на всякий случай, с собой донесение о приёме князя Андрея Васильевича в Зацепинске, раздумывая, показать его канцлеру или не показывать?

Впрочем, Бестужев в это время, с своей стороны, вёл также контрапрошу. Он осыпал любезностями адъютанта графа Разумовского Александра Петровича Сумарокова, расспрашивая его о бывшем, в присутствии государыни, представлении воспитанниками един-

ственного тогда корпуса его трагедии «Хорев»; рассыпался в похвалах его сочинениям и говорил, что он хорошо знал его батюшку, Петра Спиридоновича, который ездил от Ягужинского в Митаву предупредить бывшую герцогиню Анну Ивановну против козней Долгоруких и Голицыных, задумавших ограничить её самодержавие.

— Пострадал тогда за то ваш батюшка, — говорил Бестужев, — зато после пользовался постоянным вниманием покойной государыни, и мы все, добронамеренные люди, всегда встречаем его с уважением, которое с чувством удовольствия переносим и на его сына, тем более что видим его вполне того достойным.

Польщённый вниманием канцлера и его похвалами, самолюбивый писатель был на седьмом небе от восторга.

Переходя затем вновь к сочинениям Сумарокова и к тому, какие пьесы будут представляться, Бестужев изъявил желание быть на всех репетициях следующей пьесы, говоря, что он желает не пропустить ни одного случая доставить себе удовольствие ближе озна-

комиться с его действительно образцовыми сочинениями, напоминая ему, Бестужеву, произведения Расина и Корнеля.

Разумеется, Сумароков таял от радости и на другой же день доставил ему записку о времени и месте репетиции и почтительнейшее приглашение на них от бывшего тогда директором корпуса князя Юсупова.

И вот великий канцлер чуть не ежедневно являлся на репетицию, восхищался стихами Сумарокова, давал советы, указывая, каким образом лучше достигнуть того или другого эффекта, как исполнить то или другое место, как прочесть тот или другой стих.

Но, разговаривая, давая советы и нахваливая автора, великий канцлер, разумеется, не думал ни о представлении, ни о стихах, ни о пьесе. Он был занят исключительно одним питомцем, мальчиком лет восемнадцати, редкой красоты, которого государыня уже заметила и раза три во время представления изволила к нему подходить и кое о чём расспрашивать. Бестужев, по своей рабской должности, счёл нужным узнать, чем и кем интересуется государыня, разумеется, для того, что-

бы иметь случай, в чём будет возможно, предупредить её желания.

Дело в том, что, желая уничтожить князя Зацепина, Бестужев очень боялся и Шувалова, не Ивана Ивановича, нет! Этот был слишком ещё молод и неопытен, чтобы разом мог взять силу и стать канцлеру опасным. Но войдёт в фавор Иван Иванович, возьмёт силу и делами заправлять будет Пётр Иванович. А это — враг опасный. Он сумеет справиться. Он же и с Разумовским хорош, и с Трубецким друзья закадычные, да и Мавра Егоровна тут. Ясно, что при таких конъюнктурах Бестужеву несдобровать.

Поэтому нельзя ли вместо Ивана Ивановича подготовить своего и сойтись с ним, сдружиться, как Остерман с Левенвольдом. Тогда никаких поверок, никаких комплотов не надо будет бояться. Тогда, в союзе с Разумовским, у которого настолько-то разума хватит, чтобы не замечать ничего, можно будет и Трубецкого, и Шуваловых в трубу пустить; пожалуй, и в застенке с ними поговорить. Надобно поэтому узнать этого мальчика, познакомиться с ним поближе, обласкать.

Вот по этим-то соображениям канцлер, как ни был он занят, ездил на репетицию чуть ли не каждый день, говорил любезности Сумарокову и принимал такое горячее участие в кадетских представлениях.

Обед у Разумовского проходил среди самых искренних, душевных излияний. Трубецкой и Бестужев, оба, казалось, только и желали одного — взаимной дружбы. Оказывается, что они, несмотря на ссору, так любили, так уважали друг друга, что других таких друзей и в мире нет. Чтобы отделаться от Зацепина, Бестужев предложил отправить его послом в Париж.

— Ему будет лестно, а мы его с рук сбудем, — говорил Бестужев.

На это, однако ж, к великому удивлению Бестужева, Трубецкой возразил:

— Не жирно ли ему будет быть послом? И к чему с ним такая церемония? Опять и то: если точно фавор близко, то его не соблазнишь быть послом, когда он надеется быть чуть не царём. Нет, отделаться от Зацепина я беру на себя, но, ваше сиятельство, услуга за услугу. Прежде всего, как мы уж с графом говорили,

поддержать в чём можно Ивана Ивановича, а потом...

И они начали улаживаться, как поделить между собой власть при посредстве Разумовского, который хотел только одного: отстранить князя Зацепина. Впрочем, чтобы сойтись ближе с Разумовским и закрепить это сближение родственной связью, Бестужев сделал тут же ему предложение соединить законным браком своего сына, графа Андрея Алексеевича, с племянницей графа Разумовского Авдотьей Даниловной, дочерью брата его, казака Данилы, умершего прежде, чем граф Алексей Григорьевич попал в случай, и жившей теперь в качестве фрейлины Зимнего дворца. Предложение было принято, и выпивкой столетнего венгерского закрепился новый союз, к которому присоединился и Трубецкой.

— Позвольте узнать, молодой человек, как ваша фамилия? — спросил Бестужев у красавчика юноши, когда после обеда у Разумовского приехал на репетицию.

— Бекетов, ваше сиятельство, — отвечал

молодой человек.

— А как по имени и отчеству? — продолжал спрашивать Бестужев.

— Никита Афанасьевич.

— Так, Никита Афанасьевич. Рад с вами познакомиться. Я знал вашего батюшку, Афанасия Никитича, так, кажется, его звали?

— Афанасий Алексеевич, ваше сиятельство, — отвечал Бекетов.

— Да, Алексеевич, виноват. Ведь он в Симбирске был?

— Точно так, ваше сиятельство, он и теперь в Симбирске воеводой.

И Бекетов с удовольствием стал говорить об отце.

Это был юноша, прямая противоположность князя Андрея Васильевича, когда ему было восемнадцать лет. В нём не было ничего загадочного, ничего такого, что заставило бы задуматься, заставило бы спросить себя: что выйдет из этого юноши в будущем? Он был стройный, красивый молодой человек, довольно высокого роста и плотно сложенный, с круглым лицом, весьма невысоким лбом, добрыми карими глазами, тонкими алыми гу-

бами и сверкающими белизной зубами. Волосы у него были чёрные с отливом, как вороново крыло, и чёрные же тонкие и небольшие брови. Но на что нельзя было в нём не засмотреться — это изумительная нежность и белизна. С таким цветом лица редко можно было встретить даже девушку. Он был бел и нежен до того, что, казалось, сквозился и останавливал на себе внимание решительно всех, в том числе и государыни.

— Сколько вам осталось быть в корпусе? — спросил его однажды Бестужев между репликами его роли.

— Последний месяц, ваше сиятельство, — отвечал Бекетов, — если только выдержу экзамен.

— Вы, конечно, выдержите?

— Бог знает, ваше сиятельство; признаюсь, не очень надеюсь. Трудно очень, особливо алгебра. Был болен три месяца, много упустил.

— Ну а если выдержите, куда же вы думаете поступить?

— Куда же, ваше сиятельство, разумеется, в какой-нибудь полевой полк. У отца нет состояния, чтобы содержать меня в гвардии,

нас у него четверо; да думаю, и по экзамену не удостоят.

— Ну Бог милостив! Приезжайте ко мне обедать в воскресенье, я за вами пришлю.

— Ваше сиятельство изволите быть столь милостивы. Я буду счастлив...

Бекетов обедал у канцлера, а затем, к великому своему удивлению, выдержал экзамен самым блестящим образом. Оставалось выбрать полк.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна, на основании данного ей государыней поручения, уговорила Гедвигу обратить внимание на своё здоровье и начать серьёзное лечение.

— Я много говорила, милая Гедвига, с молодым Черкасовым и убедилась, что он прав. Тебе нужно лечиться, непременно лечиться. Грешно и стыдно не беречь своё здоровье и пренебрегать им. И государыня желает этого. Она тебя так любит, Гедвига. Ты этим докажешь своё послушание и благодарность. Наконец, ты и меня обрадуешь. Я тебя хоть и недавно узнала лично, но я много о тебе слышала и уже успела полюбить.

Гедвига с сердечной благодарностью принимала заботу о ней великой княгини и истинно, от души, её благодарила, но решиться начать лечение не могла. Она чувствовала, что ей нужно будет лечиться у молодого Черкасова, как единственного специалиста этого рода болезней.

— Ваше высочество, — говорила Гедвига, — для меня ваше участие, ваше милостивое внимание, так же как и внимание нашей общей всемилостивейшей матери и благодетельницы, дорого бесконечно. Всею душой своей я ценю ваше желание меня устроить, успокоить, исцелить. Не нахожу слов высказать свои чувства. Я не привыкла ни к такому сочувствию, ни к такой заботливости. С детства обо мне заботилась только одна женщина — моя мать, и то только тогда, когда герцог смотрел на это равнодушно. Но чуть он начал хмурить брови, и она, родная мать, меня оставляла. В вас, обожаемая великая княгиня, и в нашей общей благодетельнице государыне я встречаю то, чего не видела даже от родной матери. Но исполнить ваше желание, поручить заботиться о моём здоровье молодому

Черкасову, я просто не могу.

— Отчего же, Гедвига? Все говорят, что он и доктор, и человек хороший, специально изучал эти болезни. Притом он желает сам. Разве ты хочешь вечно быть больной? И к чему эта всегдашняя грусть? Может быть, ты очень близко к сердцу принимаешь положение твоих воспитателей?

— Нет, ваше высочество. Если я была сколько-нибудь обязана им за моё воспитание, то после тех огорчений, которые вынесла, я могу считать себя свободной от всякой благодарности. Но тут другое обстоятельство, другой вопрос. Вы не любили, ваше высочество? Вы приехали сюда ещё столь молоды и не успели оглянуться, как вам указали жениха. Вы его приняли как назначение судьбы. Я — другое дело. Я тоже была очень молода, но любила страстно, всей душой; к сожалению, несчастливо.

Способность располагать к себе сердца, которою впоследствии Екатерина так часто пользовалась, будучи на престоле, развилась в ней вместе с её умом чрезвычайно рано. Когда она только что приехала в Россию четыр-

надцатилетней девушкой, как будущая невеста наследника русского престола, то она, разумеется, стала изучать русский язык и правила нашей Православной Церкви. Мы говорили уже, что прежде чем успели ей передать правила русского языка, она сама выучила наиболее употребительные русские пословицы, поговорки и присловья, так что своим знанием удивляла иногда коренных русских. Правила Православной Греко-Российской Церкви нашей нашли в ней тоже примерную ученицу и усердную последовательницу. Зная религиозность императрицы Елизаветы, зная, что она весьма богомольна и строго придерживается обрядов православия, Екатерина постаралась убедиться или сделала вид, что убедилась в их непреложности. И хотя впоследствии она переписывалась с Вольтером, отдавая, разумеется, справедливость его уму и обходя подводный камень религии, но тут сумела в такой степени выставить свою религиозность, что Елизавета была от неё, как говорится, без памяти. Перед свершением обряда святого крещения, когда всё к тому было уже подготовлено, при поездке в Москву

она простудилась и смертельно захворала. Несмотря на то что были приняты все средства, ей делалось всё хуже и хуже. Мать её, принцесса Ангальт-Цербстская, приехавшая с ней в Москву, видя разрушение всех своих честолюбивых надежд и в огорчении от предстоящей несомненной потери дочери, полагала, что всё уже кончено и что, следовательно, ей нет нужды в чём-либо себя сдерживать, потребовала лютеранского пастора для напутствования умирающей. Но четырнадцатилетняя девушка отказалась его принять.

— Я приготовилась быть православной, — сказала она. — Если Богу не угодно, чтобы я совершением таинства окончательно присоединилась к сонму истинно верующих, то, во всяком случае, я настолько проникнута истинами Православной Церкви, что напутствовать последние минуты моей жизни может только православный священник. Попросите ко мне моего учителя, отца Симеона (Тудорского)!

Такая самостоятельность и твёрдость в четырнадцатилетней девочке, разумеется, более чем удивительны; тем не менее она пора-

зила всех тогда же и своей отважностью. Приехал Лесток, выписанный нарочно из Петербурга. Лесток в то время пользовался полной доверенностью императрицы и как человек, и как доктор.

Взглянув на принцессу и согласясь со всеми, что она безнадежна, отважный доктор, однако ж, сказал, что, по его мнению, есть героическое средство, которым можно изменить направление болезни. Это — пустить кровь! При этом Лесток заявил об опасности этого средства в том положении, в котором находилась Екатерина, объясняя, что в случае неудачного исхода последует почти немедленно астения и смерть. Императрица, которой доложили мнение Лестока, была в нерешимости. Мать Екатерины не хотела и слышать об этом. Но вот сказали ей самой. Она стала убедительно просить государыню согласиться.

— Я полагаюсь на милость Божию и на признаваемое всеми искусство доктора, — сказала она. — Отец духовный и мой учитель мне только сейчас говорил, что милосердию Божию нет пределов, а доктор вашего величе-

ства, которого вы изволите называть своим другом, не может не вызывать моего полного к нему доверия.

И Лесток её вылечил.

Удивительно ли, что с таким тактом, с таким характером и с такой волей Екатерина обворожила Гедвигу и та раскрыла перед ней всю свою душу, передала все мечты и всю печальную, кратковременную историю своей чисто детской любви к князю Андрею Васильевичу, свои надежды и ожидания, своё томление в течение стольких лет, возвысившие в воображении молодой девушки силу этой любви до степени апофеоза чувства. Потом она должна была рассказать и своё полное разочарование, вследствие той холодности, которая была им выказана, как необходимость в достижении целей, возвышающих род князей Зацепиных, содействовать чему не могло, разумеется, сближение с девушкой из опасного семейства.

Гедвига рассказывала всё это в порыве чувства, согретая участием и сочувствием, не думая о политике и каких-либо видах. Екатерина же смотрела на этот вопрос иначе и по-

думала, что совсем иное может быть, когда вместо Разумовского будет князь Зацепин. Поэтому она сочла нужным передать разговор свой с Гедвигой государыне.

— О, какая бездушная холодность! Какое честолюбие! — воскликнула государыня, когда ей передали всю историю Гедвиги, после того уже, как последовал доклад дела Леклер. — Неужели Мавруша права?

Через шесть недель после назначения своего фрейлиной Гедвига Елизавета Бирон принимала святое миропомазание по правилам Православной Церкви. Восприемниками её были фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой и великая княгиня, супруга наследника русского престола, цесаревича Петра Федоровича, Екатерина Алексеевна. В честь крёстной матери Гедвига при святом крещении в православии была наречена Екатериной, стало быть, по-русски, княжной Екатериной Ивановной Бироновой; так она и была записана в списке современных фрейлин. Императрица сама присутствовала при совершении обряда, происходившего в придворной церкви Зимнего дворца. А ещё через неделю,

по твёрдому настоянию своей крёстной матери, она должна была начать серьёзный курс лечения у молодого доктора барона Александра Ивановича Черкасова, которого великая княгиня сама просила вылечить её подругу и крёстную дочь, больную, как она говорила, и физически, и нравственно.

— Буду стараться, ваше императорское высочество, — отвечал Александр Иванович Черкасов с чувством глубокой благодарности. — Поверьте, сделаю всё возможное. К глубокому огорчению, должен сказать, что болезни спинных костей очень туго поддаются лечению. Хорошо ещё, что не были порваны нервные позвоночные связи. Боже, как она должна была страдать! Однако этот Листениус, должно быть, был хороший доктор. С редким искусством он сделал исправление и залечил надлом. Поверьте, ваше высочество, души своей не пожалею, чтобы следы всех этих несчастий, если можно, окончательно уничтожить.

— Да, доктор, постарайтесь, — сказала Екатерина, — и вас Бог наградит. Медицина — великая наука, — продолжала она, выслушав

объяснение Черкасова о состоянии здоровья Гедвиги. — Большой грех на душе того, кто, обладая знанием этой науки, ею пренебрегает. Ничем он не искупит такой грех свой. Барон, — прибавила она торжественно, — это замечание моё прямо относится к вам. Вам Бог пошлёт счастье в излечении Гедвиги, если вы дадите перед Ним клятву никогда не отказываться быть полезным своими знаниями другим, на пользу всего человечества.

Прошло не более недели после заключения между Трубецким и Бестужевым перемирия, Трубецкой приготовил свой доклад о князе Андрее Васильевиче.

Он предупредил на всякий случай Мавру Егоровну Шувалову для того, чтобы она подготовила почву.

И точно, почва была подготовлена. Мавра Егоровна целое утро проговорила с государыней о достоинствах князя Андрея Васильевича, о его непомерном честолюбии и его холодном, бездушном эгоизме. Елизавета начинала соглашаться с ней, принимая во внимание не только доставленные ей данные об отноше-

ниях его к Леклер, Гедвиге, Анне Леопольдовне и другим женщинам, но и то положение, которое он занимал в рассуждении её самой.

«Он, видимо, хотел, чтобы я страдала от его невнимания, — думала она. — Не бездушность ли это, не эгоизм ли?»

И они опять вместе жалели Гедвигу.

В это время дежурный камер-паж, Ваня Шувалов, доложил, что приехал с докладом генерал-прокурор.

— Не уезжай, Мавруша, — сказала государыня, когда та встала, — обедай у меня. Мы поболтаем. Я сегодня свободна, а то мне так редко достаётся поговорить с тобой.

Мавра Егоровна, разумеется, не заставила повторить приглашение, но на время доклада скрылась в уборную, успев, однако ж, до своего ухода обратить внимание государыни на хорошенького кузена своего мужа, камер-пажа Ваню, и рассказать анекдот о его уме, способностях и совершенной ещё наивности. Государыня смеялась, когда вошёл Трубецкой.

Доклад свой Никита Юрьевич начал с того, что хотя неправильность осуждения Волынского уже доказана и государыня, по своему

неизречённому милосердию, восстановила детей его во всех правах отца, но что он, Трубецкой, считает своим долгом доложить, что прецедент, который заставил Бирона и Остермана ходатайствовать о предании Волынского суду, существует, несомненно, и переходит весь длинный период времени от самого межцарствия до настоящего времени, сохраняясь в старинных княжеских родах и передаваясь преемственно от поколения к поколению. Волынский, разумеется, ни в каком случае не мог иметь никакого преимущества в родовом отношении против дома Романовых, так как боковые потомки той Волынской, которая была за великим князем Дмитрием Ивановичем Донским, во всех отношениях представляют линию более отдалённую от московского царственного угасшего дома, чем Романовы, боковые потомки Анастасии Романовны Романовой-Юрьевой, бывшей за царём Иваном Васильевичем Грозным, так что всякое притязание в этом отношении, помимо права по избранию, но и по самому происхождению, не имеет смысла. Но самое указание Волынского на его, хотя бы весьма отда-

лённое, свойство с московским царственным домом доказывает уже существование прецедента, оставить который без внимания правительство не могло и не может, тем более что прямые, ближайшие потомки московского дома, имевшие несомненные права на его наследование, непрерывно заставляют о том вспоминать.

Такого рода напоминаниями старыми княжескими фамилиями о своих правах князь Трубецкой признавал неоднократные волнения при царе Алексее Михайловиче, бунты стрельцов, дело царевича Алексея Петровича, избрание на престол Анны Ивановны и стремление ограничить её самодержавие.

Слабое знание отечественной истории, разумеется, не дозволило государыне видеть во всём этом явную натяжку, хотя не нужно было быть глубоким историком, чтобы видеть, что, например, восстание Стеньки Разина не могло иметь к правам старых домов никакого отношения. Но государыня думала, что Трубецкой, как один из представителей старинного рода, хотя и не Рюриковичей, но занимавшего почётное место среди удельных кня-

зей, мог всё это лично знать по своим семейным преданиям.

— Нет сомнения, — продолжал Трубецкой, — что в продолжение твёрдого и счастливого царствования и когда надежды государства поддерживаются, видимо, для всех потомством царствующего дома, такого рода попытки могут быть только слабым отсветом существующих сомнений; но когда отсутствие прямого потомства в царствующей линии, слабость царствования или какие-либо особые обстоятельства дают повод думать, что престол может остаться вакантным, они возникают в усиленном виде и могут становиться иногда даже опасными.

— К чему вы всё это говорите мне, князь? — сказала скучающая Елизавета. — Я это уже сто раз слышала и много раз читала.

— К тому, всемилостивейшая государыня, что особенно опасны могут быть такого рода попытки в настоящее время, когда народ не имеет надежды видеть от вашего величества прямого наследника, а объявленный вами наследник не пользуется народным сочувствием. В настоящее время подобная попытка мо-

жет разом повернуть весь государственный механизм и нарушить спокойное и благополучное ваше царствование.

— Но ведь вы не подозреваете никого, кто бы покушался на это? — спросила Елизавета подозрительно.

— Напротив, ваше величество. Старший представитель угасшего московского дома, в старшей боковой ветви князей владимирских, суздальских и нижегородских, имеющий по роду полное право быть представителем московских великих князей, князь Андрей Васильевич Зацепин, посланный вами для расследования, приказал в своём наследственном, бывшем Зацепинском княжестве отдавать себе все царские почести и признавать себя истинным владетельным князем, каковым и признала его вся страна. Вот донесения о том архиерея, воеводы, городского общества и тамошнего воинского начальника, который пишет, что его встречали даже царским походом и салютацией знамён.

— Князь Андрей?.. Князь Зацепин?.. Не может быть!

— Не угодно ли взглянуть на эти донесе-

ния, всемилостивейшая государыня. А вот и его собственное донесение, что мордва, встречавшая сопротивлением даже посланное войско вашего величества, усмирена одним его появлением. Кроме того, вот частные донесения и описания его встречи, приездов, разных обстоятельств и случаев.

Государыня, как ни была ленива от природы на серьёзное чтение, стала, однако ж, читать сама.

— Да, — сказала она, прочитав всё, что было ей подано, — это переходит все пределы. Его честолюбие не имеет границ. После того я не хочу его видеть. Напишите, что я повелела ему оставаться безвыездно под арестом в своих деревнях. Если же он оказал бы сопротивление, то поручите моим именем Бутурлину сломить всякое сопротивление и усмирить всякое возмущение, для чего дать в его команду нужное число полевых полков, а буде нужно, и артиллерию. Потрудитесь распорядиться немедленно.

И Елизавета встала. Никите Юрьевичу только этого и было нужно. Он уехал.

Но Мавра Егоровна, которой государыня

рассказала всё дело, была решением государыни очень недовольна. «Ведь из всякой ссылки могут возвратить», — подумала она. Поэтому она пыталась неоднократно возобновить разговор, чтобы поставить вопрос в таком виде, что такого рода встреча и такого рода признание Зацепина своим князем целой страной есть прямое возмущение; а если тут было возмущение, то дело следует передать розыску, пытаться сообщников, раскрыть и наказать виновных, руководителей и участников. Мавра Егоровна находила это тем более необходимым, что холодное, беспредельное честолюбие князя Андрея Васильевича, известное уже государыне, заставляет всегда опасаться, что он... Но все манёвры Мавры Егоровны оказались бесцельными. Государыня не изменила своего решения, только особой запиской подтвердила Трубецкому, что она желает, чтобы решение её было приведено в исполнение сколь возможно поспешнее.

— Ну какой же полк вы выбрали, мой милейший Никита Афанасьевич? — спросил Бестужев у Бекетова, когда тот, полный самодо-

вольства, сказал ему, что его производство всем корпусным начальством утверждено и он на той неделе представится государыне.

— Да какой-нибудь из полевых полков, как я имел честь докладывать вашему сиятельству.

— Ну а что, если, например, я вам предложу поступить генеральс-адъютантом к какому-нибудь из генерал-аншефов или фельд-маршалов.

— Ваше сиятельство, ведь это даёт капитанский чин, — сказал весь вспыхнувший Бекетов.

— Что ж, разве вы думаете, что капитаном быть хуже, чем прапорщиком?

— Помилуйте, ваше сиятельство, как хуже? Да чем же я заслужил?

— Захотите — заслужите. А вот если хотите, так я предлагаю вам поступить генеральс-адъютантом к генерал-аншефу графу Разумовскому.

Бекетов при этих словах канцлера даже побледнел.

— Благодеяния вашего сиятельства... — начал было говорить он.

— Ладно, ладно, сосчитаемся! — перебил его Бестужев. — Записывайтесь же. А вот вам и записка Разумовского, что он желает именно вас иметь своим адъютантом.

И Бекетов был назначен адъютантом Разумовского и помещён, чтобы быть под рукой своего начальника, во дворце, у одной из камер-фрау государыни, особенно ею любимой, потому что никто не умел так чесать пятки, как госпожа Елагина, муж которой, Иван Перфильевич Елагин, служил в то время под непосредственным начальством Бестужева и признавался одним из лучших грамотеев того времени, причисляясь даже к разряду писателей.

И как добра была эта Елагина к Бекетову. У самой ничего не было, а она заботилась не только о том, чтобы у него было всё, что нужно, но чтобы и поразвлечься молодому человеку, и пощеголять было на что; тонкое бельё, кружева, золотые пряжки на башмаки ему привозила, о карманных деньгах его заботилась.

Зажил наш Никита Афанасьевич, как сыр в масле катается. А Бестужев посмеивается.

«Они думали меня кругом обойти, — говорил он себе, — думали, что их Иван Иванович на первый план станет; а вот увидим, увидим».

И он имел право говорить так и смеяться. За обедом, к которому был приглашён вместе с Бестужевым и Бекетов, а Иван Иванович, по своему рангу камер-пажа, должен был стоять за стулом государыни, Елизавета не могла отвести глаз от нежного лица Бекетова, так привлекателен был его чистый и светлый взгляд, а к Шувалову ни разу даже не обернулась.

Бестужев торжествовал.

«Этот будет мой, — думал он. — И мы увидим, как Шуваловы и Трубецкие верх возьмут».

Но Шуваловы не пришли в отчаяние. Пётр Иванович особенно сочувственно отнёсся к Бекетову.

— Что за прелесть, — говорил он. — Ни у одной девицы такой белизны и нежности нет. Одно жаль, молодой человек кутить любит. Но хорош зато, идеально хорош.

— Скажите, молодой человек, — раз спросил он у Бекетова глаз на глаз, — вы ведь в ар-

тиллерии числитесь, стало быть, до некоторой степени мой подчинённый, хотя и откомандированы, — каким способом вы получили такую нежность и белизну, что нет красавицы, которая бы вам не позавидовала? Вы не употребляете дьяволетты?

— Нет, ваше высокопревосходительство. Я не употребляю ничего, кроме чистой воды. А дозвоьте спросить, что это такое дьяволетта?

— Мазь такая, что лицо белее и чище делает, свежесть необыкновенную лицу придаёт. Вы думаете, например, моё ржавое лицо сохранилось бы до сих пор в таком виде без дьяволетты? Шутите! Каждую неделю перед баней намазываюсь. Дорога только очень, проклятая. На два золотых самую малюсенькую баночку присылают. А вы напрасно не попробуйте когда-нибудь. Хоть вы и так белы необыкновенно, но она отлично свежит и сохраняет. У вас, думаю, лицо просто сиять начало бы. Притом же оно и приятно. Хотите, я вам пришлю попробовать?

Суровый фельдцейхмейстер проговорил всё это не улыбнувшись.

Бекетов поблагодарил.

Вечером, на куртаге у государыни Шувалов подал ему маленькую скляночку золотистой, необыкновенно ароматной мази. Бекетов не утерпел, вымазался перед баней, и к утру всё лицо у него было в страшных прыщах.

А Мавра Егоровна говорила про него государыне:

— Точно, что хороший молодой человек. Только уж кутит очень! Знаете, я даже боюсь проходить близко. Вот наш Ваня...

В это время вошёл Бекетов, по обязанности камер-юнкера, которым уж успели его наградить. Императрица взглянула на него и обомлела. В тот же день Бекетов был переведён в Астраханский полк, а Ваня, нежненький, скромный камер-паж, вскоре занял вакантное место Бекетова. Он был сделан камер-юнкером и стал Иван Иванович Шувалов. Государыня поехала на богомолье. Он в это время успел ловко воспользоваться её благосклонностью и пошёл в ход. Сперва его камергером, а потом и обер-камергером сделали. Милости посыпались на него, а с ним вместе были не

забыты и оба Шуваловы. Они скоро попали в графы и были произведены в фельдмаршалы.

Нежненький, скромненький Иван Иванович, вечно с французской книжкой в руках или сочиняющий затейливые акrostихи, переписываемые им на розовую бумажку, украшенную виньеткой с целующимися голубками, был, видимо, счастлив. Он старших братьев уважал и для них всё готов был сделать. «Ведь благодаря им всё моё счастье!» — говорил он себе.

— Як ни тот, так ытот; мыны всё ж одно! Бог с ними! — говорил Разумовский Трубецкому. — Ны я одын на свити, яко голову гирляндю убирать нужно! На что Зывс многомоцный был, и того Юнона всыгда цвитами украшала! Но всё-таки она знала, что муж не башмак, с ноги не сбросишь! А Зацепа? От того всего ждать надо было! Пожалуй, в монастырь бы запер или в тюрьме бы сгноил.

— Зато графу Алексею Петровичу жутко приходится, — смеясь, сказал Трубецкой. — Шуваловы ему не простят, что он им колом в горле стоял.

— Ну, Бог с ними! Одно, племянницу жаль!

За ледащего вышла; ну да назад не развенчаешь, — заметил Разумовский и задумался. «Моё развенчание, однако ж, было близко», — подумал он.

IX

Борьба начал

Из доклада князя Трубецкого государыне мы знаем, что приезд князя Андрея Васильевича в Зацепинск имел самое благотворное влияние на успокоение волнений, возникших было среди различных инородцев Восточной Руси. По его требованию мордва, башкиры, тептяри выслали в Зацепинск своих выборных, — жалобщиков, как они говорили, — для непосредственного объяснения своих обид.

— Чем недовольны вы, кто и чем вас обижает? — спросил князь Андрей Васильевич старика мордвина, явившегося к нему вместе с другими выборными.

— Милосердуй, бачка! Покойников зорят! Погосты отнимают!

— Как зорят?

— Так — зорят, бачка, ни за что зорят! Сам знаешь, бачка, живой человек бывает хороший человек и худой человек, а мёртвый человек всегда хороший человек. С живым что хошь делай, а мёртвого не тронь! Так ли, бачка?

— Ну так что же? Ну не тронут ваших мёртвых, в чём же дело будет?

— А в том, бачка, и дело, чтобы не трогали, и всем довольны будем!

— Ну ладно! Ваших мёртвых не будут трогать! Смотри же, чтобы всё мирно было!

И в силу данной ему власти князь Андрей Васильевич распорядился о прекращении несообразного усердия местной власти, вздумавшей очищать православные кладбища от захороненных там некрещёных покойников.

Мордва успокоилась, а за ней скоро при-
смирели башкиры и тептяри.

Теперь Зацепину оставалось рассмотреть вопрос, кто же виноват в допущении беспорядков, вызвавших волнение. Трубецкой ли, послабляющий злоупотреблениям местных властей, или Бестужев, ради своих видов пре-

кращающий поступление всяких жалоб на делаемые притеснения?

«Раскроем это дело начистоту!» — сказал себе Андрей Васильевич, отправляя донесение о всём сделанном.

Но раскрыть этого ему не удалось.

Прежде чем он успел приступить к чему-нибудь, он получил указ Сената «по высочайшему повелению». Этим указом постановлялось: оставить дело без дальнейшего исследования, а самому ехать немедленно в своё село Зацепино для безвыездного там пребывания, под присмотром начальства, за ненадлежащее присвоение себе царских почестей.

Получив этот указ, князь Андрей Васильевич не верил своим глазам.

«Каким образом? Даже не потребовав объяснения? Да разве я виноват тут в чём-нибудь? Разве я требовал каких бы то ни было почестей? Разве я желал? Я даже не думал...»

Первое, что ему пришло в голову: «Еду сию минуту в Петербург и объясню». Но в эту минуту явился к нему зацепинский воевода и заявил о полученном им указе отправить его,

князя Зацепина, под конвоем в его родовое имение и неослабно наблюдать о его безвыездном там пребывании.

Из разговора с воеводой князь Андрей Васильевич узнал, что все отправленные от него письма велено доставлять в Сенат, жалоб никаких не принимать, особых свиданий, кроме как с самыми близкими родными, не допускать. Дозволяется ему при скромной жизни и полном послушании выезжать из Зацепина для охоты или для посещения других своих деревень, но не далее двадцати вёрст в окружности, и то не иначе как с воеводского ведома, подобно тому, как это было установлено относительно Бирона при водворении его в Ярославле. В противном случае воевода должен сейчас же его арестовать и донести Тайной канцелярии.

Одним словом, князю Андрею Васильевичу пришлось убедиться, что видеть его не желают и что приняты все меры к тому, чтобы непосредственного объяснения его с государыней, ни личного, ни письменного, быть не могло. Он понял, что об этом позаботилась дружеская рука Трубецкого, стало быть, ни

возражать, ни обойти нельзя. Всякое возражение, всякое желание обойти сделанное распоряжение не только будет бесполезно, но и весьма опасно. Оно может повести к страшным неприятностям. Никиту Юрьевича он знал хорошо, поэтому решил исполнить немедленно указ Сената и ехать в своё село, не подавая даже вида, что он этим недоволен. Воевода назначил для его сопровождения и нахождения при нём, в виде конвоя, пятерых солдат при унтер-офицере.

В Зацепине его никто не ждал. Там был храмовой праздник одной из церквей, была ярмарка. Сельская площадь была буквально залита народом, одетым по-праздничному. У кабаков трывкали балалайки, разгулявшийся люд пускался в пляс. На лужайке, подле княжеского сада, водили хоровод. Пятьдесят или шестьдесят девушек ходили одна за другой под мотив песни, вызывая то или другое действие словами этой песни и то замедляя, то ускоряя такт.

При выезде на площадь Андрей Васильевич, который давно уже не видал картины коренной русской праздничной жизни, прика-

зал остановиться. Он вслушивался в мотив песни, знакомый ему с детства; любовался той жизнью, в которой и сам когда-то любил принимать участие; но любовался ею, как любят картиной, как живут воспоминаниями. Разделять же эту жизнь теперь он уже не мог! Она для него была уже чужая; как стала ему чужая Гедвига, когда он увидел её через десять лет; именно потому, что, как тогда он сказал Гедвиге: «Воспоминание — не жизнь!»

Въехавший на площадь дормез, за ним карета, другая карета, потом коляска, брички, далее телеги с конвойными, разумеется, не могли не остановить на себе внимания ярмарочной толпы, но веселье продолжалось, песня лилась, тринканье балалаек раздавалось, продолжался и пляс. Но вот кто-то его узнал и закричал: «Наш князь, барин приехал!» «Князь! Барин! Барин!» — раздалось на площади, и ярмарка смутилась. Хоровод остановился, тринканье смолкло, плясавшие и толпившиеся все будто разом провалились.

«Куда ж они пропали, будто я съем их? — подумал про себя Андрей Васильевич и велел ехать во двор. — Однако ж, — думал он, — ко-

гда возвращался мой отец, народ не пропал, а бежал к нему навстречу, хоровод не смолкал и даже балалайки продолжали свою тринкотню, только разве крепко подгулявшие старались зайти куда-нибудь за угол. Да! Но отец мой был им свой, а я?..»

На дворе его встретили приказчик, четверо старост, выборные от разных приходов и волостей, дворецкий и ключник. Тут же стояли старшие конюшие, выездные, псари, было несколько женщин. Все низко поклонились, приказчик поднёс откуда-то явившуюся хлеб-соль и узорочное полотенце. Андрей Васильевич поблагодарил, но сказать ему было нечего, и никто к нему не подходил.

Андрей Васильевич вошёл в дом. Дом держался в порядке. Всё оставалось так, как было при его отце.

«Но боже мой, какая же всё это дрянь! Разве можно тут жить? Ни изящества, ни вкуса, ни удобства, — перебирал про себя Андрей Васильевич, проходя по комнатам. — Что это? Боже мой, рогожа! А это просто деревянные лавки, покрытые сукном. А стены?.. Боже мой! И как это я сам... Едва десять лет прошло

с тех пор, как я находил дом этот не только обитаемым, не только удобным, но даже красивым... Но ведь это дикость! Комнаты точно конуры для собак. Мебель будто из застенка вытащена, чтобы удобнее было на ней кости ломать, а украшения напоминают роскошь жителей Сандвичевых островов. И это человеческое жилище!»

Между тем тут жил его отец и дед и прадед, жили и находили удобным и покойным.

— Но ведь это дикость, дикость! — проговорил опять князь Андрей Васильевич и потребовал к себе камердинера-француза, пока Фёдор с Гвозделомом здоровались и целовались с обступившей их дворней, вынимая вещи из экипажей.

— Жак, устрой мне хоть одну комнату по-человечески! — приказал он.

И через несколько часов описанная уже нами княжья комната приняла другой вид. Стены были в виде шпалеры обтянуты штофом. На пол, по рогоже, был натянут ковёр, шкафы вытащены, устроен альков для постели, письменный стол обтянут сукном, окна драпированы, повешены картины, поставле-

ны статуэтки, часы, подсвечники, вазы. Со всего дома было собрано всё, подходящее из мебели, которая тоже наскоро была переформирована, сколько было возможно: благо в дворне князя нашлось множество всевозможных мастеровых. Неменьшие переделки происходили и в кухне, по требованию француза-повара — того самого Жозефа, искусство которого прославило завтраки князя Андрея Дмитриевича и заставило о его собственных обедах говорить весь Петербург, в том числе и Мавру Егоровну Шувалову. Тем не менее, обходя дом, Андрей Васильевич признал его неудобобитаемым и в ту же минуту отправил нарочного в Зацепинск спросить, может ли он выписать к себе архитектора, с тем, что если разрешат, то посланный ехал бы прямо в Петербург и привёз с собой всё то, что Андрей Васильевич для своей жизни считал необходимым.

Несколько недель спустя Андрей Васильевич устроился довольно комфортабельно в нескольких комнатах отцовского дома. Архитектор приготовил уже ему план нового дома, нечто вроде римской виллы, с готической

башней и итальянским бельведером. Этот дом Андрей Васильевич рассчитывал построить к будущей осени. Были сделаны заказы на стёкла, зеркала, камины, изразцы. Нужно было всё выписывать. Кое-что везли из Петербурга, из Москвы, из Парашина. Он писал уже кое-кому о своей надежде, что в Зацепине скоро будет человеческое жилище, как он говорил, проектируя себе что-то вроде великолепного, хотя и не обширного дворца.

Среди этих занятий однажды вошёл Фёдор и доложил:

— Его сиятельство князь Юрий Васильевич Зацепин!

Андрей Васильевич приказал просить.

Он обрадовался приезду брата и выбежал к нему навстречу.

— Здравствуй, Юрий, — сказал он приветливо. — Ну что ты, как? Здоров ли, друг? Спасибо, что приехал, голубчик; бесконечно рад тебя видеть!

Несмотря, однако ж, на такого рода радушный и родственный привет, князь Юрий Васильевич, выйдя из своей брочки, принял какую-то изысканную, почтительную, видимо,

натянутую позу и с завистливым подобострастием проговорил приготовленное вперёд и заученное приветствие:

— Узнав случайно, многопочитаемый мной сиятельный братец, что вы изволили прибыть в своё Зацепино, счёл долгом вас поздравить!

Эта заготовленная фраза весьма неприятно поразила Андрея Васильевича.

«Что это такое? — подумал он. — Он ничего не знает, что ли? Или умышленно хочет смеяться, хочет поддразнивать, поздравляя меня с ссылкой? И что он хотел сказать, напирая на случайность и на моё сиятельство?»

Несмотря, однако ж, на эти невольные пробежавшие в его голове вопросы, Андрей Васильевич радушно обнял брата, поцеловал, взял под руку и повёл к себе.

Юрий Васильевич, вполне подчиняясь движению брата, пошёл с ним, но как-то обдёргиваясь и оглядываясь, будто ожидая, что брат его уколёт или обожжёт.

Вошли в кабинет. Братья уселись друг против друга. Андрей Васильевич закурил сигару и предложил брату, но тот отказался.

— Я не курю, братец, — сказал он с таким видом, как бы прибавляя: куда, дескать, нам такую роскошь!..

Беседа ограничилась сухим разговором о состоянии здоровья и чуть ли не о погоде — разговором, видимо не интересным ни для того, ни для другого. Андрей Васильевич всматривался в брата.

Юрий Васильевич был упитанный деревенским молоком телец, жирный, белый, с круглым лицом, с мягкой, вьющейся небольшой бородкой и голубоватыми, бегающими глазами. Он был одет в коричневый, шёлковый, с обшитыми галуном петлицами кафтан, переделанный из отцовской однорядки, а может быть, и из дедовской ферязи, в шёлковый же, голубой, шитый серебром, вероятно доморощенной искусницей, камзол, с кружевами, тоже домашнего производства. На нём был парик с тупеем, сделанный рукой крепостного парикмахера. Говорил Юрий Васильевич тихо и как бы процеживая сквозь зубы каждое слово.

— Как же вы великолепно устроились тут, братец, — говорил он, оглядывая комнату. —

И всё тут по-французскому да по-немецкому. Нашего Зацепина и узнать нельзя. Хоть убейте меня, а не угадал бы, что мы в отцовской княжьей горнице сидим! А все средства!..

— Средства нужны были не бог знает какие, а, разумеется, нужны были вещи, которые действительно стоят больших средств, но мне, благодаря дяде, стоил только провоз. Ну а ты, друг, как устроился?

— Понемножку, братец! Ведь наше дело маленькое, с нашей волестью далеко не уедешь! Что ж, братец, вы изволите располагать теперь жить в Зацепине?

— Велели, так поневоле располагаю, дорогой друг. Ты разве не знаешь, что я в опале, сослан? Чем я заслужил немилость, что случилось там? Не знаю ничего! Ну, да на то двор! Приятели, надо полагать, помогли!

— Что ж, братец, отчего вам теперича и здесь не жить? Ведь вы, братец, говорят, уже в генеральском ранге?

— Это ещё не бог знает что! Я поручик лейб-кампании, а у нас и подпоручики генералами числятся. Ну, к тому же я действительный камергер, обер-шталмейстер и тай-

ный советник. Всё это звания генеральские. Да что в том, когда надобно вот в Зацепине сидеть?

— Ну нет, братец, оно всё-таки приятно! Особливо когда и поддержка есть, настоящая княжеская. Ведь, говорят, дядюшка-то вам большое богатство оставил?

— Да! Пятнадцать тысяч душ, два дома, деньги, множество дорогих вещей... Облагодетельствовал покойник, дай Бог ему царствие небесное!

— Да-с, хорошее состояние, где ни жить, везде хорошо; притом же и родитель, царствие ему небесное, по старому порядку вам одним семь тысяч душ завещал да какие волости, села; а на нас двоих только три тысячи душ благословил...

— Ты не нуждаешься ли, брат? Скажи!

— Нет-с, братец, что же? По милости Божией, в долги не входим и милостыни не просим! Вот к родительскому-то благословению я ещё полторы тысячи душ прикупил.

— Это каким образом?

— Очень просто, братец! Как рекрутчина-то была, с меня причиталось пятнадцать

рекрут, а я возьми да и поставь их двести; а квитанции-то и стал продавать мещанам да крестьянам, которые побогаче, ну и помещикам. На эти деньги вот-с и купил...

— Как двести рекрут с полутора тысяч душ, почти весь контингент молодёжи?

— Ну, нет, не весь, братец, остались ещё кое-кто. В больших семьях подростки все остались; да хоть бы и всё, что ж, братец? В новой-то вотчине опять молодёжь та же ко мне назад пришла, а в придачу и те, которые из лет рекрутчины вышли, но работники ещё хорошие, да и подростки, и бабье! Я уж и не говорю об угодьях, землях, лесах, — село, две запашки со скотом и живностью, — всё это мне в придачу пришло. Барыш чистый! Да ещё и деньги-то не все издержал, ведь квитанции-то мы недёшево продавали!

— Но это ужасно, бесчеловечно, бессовестно, брат! Как, если у отца три сына взрослых, ты всех трёх...

— Ну, нет, братец, нельзя же было дом без работника оставлять! А, разумеется, если есть ещё подростки, да сам отец работать может, или есть старший брат, который...

— Не говори, не говори, брат! Это страшно! Ведь это значит мясом и жизнью человеческой торговать! Боже мой, верить не хочется, ужасно, ужасно!

— Хорошо вам, братец, говорить, как у вас больше двадцати тысяч душ, да сами вы говорите, и дома, и деньги, и вещи; а как тут... Да вот теперь, впрочем, я надеюсь кое на чём поправиться. Вступил я в дело с купцом Белопятовым, хотим казну пообъегорить маленько...

— Брат, и ты это говоришь? Ты, князь Зацепин?..

— Что ж, братец, князь Зацепин; с полутора тысячами душ — какой князь! Я ещё молод; жениться думаю, может, и дети будут. А тогда, рассудите, детям-то мне, пожалуй, и по сотне дворов оставить не придётся. Нонче, братец, тот только князь, у кого карман княжеский. Вот вы, братец, и дом строить хотите, и здесь себя украшаете именно по-княжески, а отчего? Оттого, что есть из чего... А нам... Какое уж тут княжество?

В это время на двор влетела, с громом, стуком и звоном бубенчиков, бешеная тройка. Кучер, малый лет двадцати, сидел на козлах

беговой тележки и обеими руками только держался за козлы; тройкой правил сам барин, стоявший в тележке за кучером на колёсах, в красной шёлковой рубашке, с перекинутым через плечо, по-цыгански, шарфом. Бархатная накидка, обшитая по-венгерски шнурами и кисточками, свалилась у него с плеч в телегу. Он этого не замечал, поводя кнутом по тройке с визгом и криком. Тройка летела именно как бешеная, пока, с разлёта, правящий за кучера не осадил лошадей разом у подъезда. На сиденье тележки удобно расположилась большая датская собака.

— А вот и Дмитрий приехал! — сказал Юрий Васильевич, взглянув в окно на тройку.

— Брат Дмитрий? Ну идём встречать! — сказал Андрей Васильевич и встал. Но встречать ему не пришлось. Князь Дмитрий Васильевич, миновав все доклады и отталкивая француза-камердинера, который думал было заступить ему дорогу, влетел в кабинет и прямо бросился Андрею Васильевичу на шею.

— Узнал ли, брат, Митьку-Митуна? Вспомнишь ли? А я, брат, каждый день о тебе думал, каждый день писать собирался!

И он безжалостно мял и рвал брабантские кружева князя Андрея Васильевича, прижимая его к своей груди и целуя с таким жаром, будто в самом деле тосковал и скучал до того, пока увиделся.

Юрий Васильевич с братом Дмитрием поздоровались между собою весьма холодно.

— Только узнал, что ты здесь, сейчас прикатил! И каково? На своих, на долгих, без перемены, в три дня четыреста вёрст! Такие кони, скажу, что на десять воеводств кругом не сыскать. А вот рекомендую: мой лучший друг, пёс, каких тоже немного! У молодого Бирона в Ярославле в карты выиграл. Мой Аякс!.. Кланяйся, Аякс, делай честь! Это наш старший брат! Сиятельный и превосходительный кавалер, князь Андрей Васильевич Зацепин, наш отец, милостивец и покровитель!.. Кланяйся!

И Аякс, по слову своего господина, сделал какой-то особый прыжок, долженствовавший изображать поклон Андрею Васильевичу.

— Рад тебя видеть, брат! — сказал Андрей Васильевич, стараясь освободиться от его объятий. — Как живёшь, что делаешь? Са-

дись, бери сигару!

— Как тебе сказать, — отвечал Дмитрий Васильевич. — Живу — не тужу; что делаю — кучу; а сигарочку возьму и в честь брата закурю. Извини, что я так к тебе прямо, по-родственному, без финти-фантов эдаких разных, немецких! Да, думаю, хоть ты нынче и большой барин стал, но, верно, от брата не отрёкся, стало быть, и не обидишься.

— Чем же обидеться, я рад...

— Ну рад не рад, а снаряди, брат, завтра охоту, старинку вспомнить! Ведь шутка, больше восьми лет, как в Зацепине не охотился. Как матушка-то скончалась, мы по своим углам разбрелись, так с тех самых пор и не был.

— Ну не знаю, потешу ли я тебя этой забавой. Признаюсь, я, как не особый поклонник охоты, не вспоминал о ней и не знаю, сохранилось ли что от прежнего...

— Так что ж ты, брат? Играешь в карты?

— Нет!

— И не охотишься, и в карты не играешь, что же ты, брат, делаешь? Правда, вот он, брат Юрий, тоже ни охоты не любит, ни в карты не играет, но ведь он жидомор! Он то и

дело свои рублёвики считает и про чёрный день откладывает; а занят он тем, что думает, как бы кого объегорить да рублёвиков побольше набрать. И меня на пустошь «Кривую Пяту» объегорил. Как это они там с межевщиком устроили, бог их ведаёт! Только пустошь до того моя была, а тут вдруг ни с того ни с сего его стала. Ну да то он, а ты другое дело! Что же ты делать тут будешь?

— Как что буду делать? Буду читать, заниматься, — отвечал Андрей Васильевич.

— Ну уж это не по нашей части! Вам, генералам, великим людям, и книги в руки! Я так, признаюсь, от книг как бы подальше; попу Семёну, должно быть, сродни прихожусь, во всякую минуту книги продать, а карты купить готов!.. Моё дело: по полям попорскать, банчишку или фараон соорудить да ещё хоро-вод красных девок разбить и одну или двух к себе затащить! Ну, а как ты всё с книгами возишься, то, прости, я тебе не товарищ и долго у тебя не засижусь.

— Я, может, и жидомор, — заметил сурово Юрий Васильевич, — а ты пустота бесшабашная, голова забубённая! Потерянный ты чело-

век, вот что!

Андрей Васильевич, чтобы прекратить дальнейшее препирательство между братьями, пригласил их осмотреть сделанные им переделки в доме.

Дмитрий Васильевич сказал правду. Хоть он и убил на другой день лисицу и двух зайцев, хоть и утащил к себе из зацепинского хоровода какую-то красавицу девицу или красную молодницу, но в Зацепине долго не усидел. Сдержанность и серьёзность брата были ему не по душе, они его ограничивали невольно, а он не привык себя ограничивать. Притом ему было скучно без цыган, без раздолья, без карт, без товарищей, с ним кутящих, пьющих и кричащих. Поэтому дня через три он, выпросив у Андрея Васильевича взаймы без отдачи тысячу рублей, велел снаряжать свою тройку.

— Что же это у тебя, новый кучер? — спросил у него Юрий Васильевич, когда он сажился в свою тележку. — А где же тот, как его звали, Клим, что ли, которым ты так хвастался?

— Проиграл, чёрт его душу возьми, на Марьевской ярмарке! Жаль страшно, да что

делать-то? Кучер хороший был, ну да и в цене же пошёл! Впрочем, и этого выучу. Он у меня, подожди, и Клима за пояс заткнёт! — С этими словами он свистнул, взял вожжи в руки и с гиком понёсся вихрем из села.

Юрий Васильевич прогостил у брата ещё дня три, хотя и видел, что братец как-то хмуро смотрит.

«Ну да ничего, нельзя, ведь эдакое богатство ему досталось! Притом всё же генерал», — думал он. Наконец собрался и он.

Невольно задумался Андрей Васильевич, провожая глазами брата и смотря из окна, как он усаживался в свою бричку и как, несмотря на довольно ясный осенний день, приказывал укутывать себе ноги ковром, подкладывать подушки за спину и сбоку и накрывать всю бричку кожей, причём усаживающий и завёртывающий его Парфён получил порядочную зуботычину. Наконец он уселся. Парфён вскочил на запятки, и бричка тронулась лёгонькой рысью, но, не съезжая с красного двора, должна была опять остановиться. Потребовалось поправить какой-то ремешок, подтянуть какую-то уздечку. Кучер должен

был сойти с козел и при помощи Парфёна связывать, натягивать, исправлять... Юрий Васильевич сердился, бранил обоих, грозил наказанием. Наконец всё уладилось, кучер и Парфён заняли свои места, бричка тронулась и медленно выехала за ворота.

«Немного утешения представляют мне мои дорогие братья, немного надежд к возвышению рода князей Зацепиных, — сказал себе князь Андрей Васильевич, провожая бричку глазами. — И откуда могла явиться в них такая ограниченность, такой взгляд узкой закоружлости, такая затхлость и пустота? От необразованности? Неразвития?.. Нет, не то! Мало ли необразованных и вовсе неразвитых людей, сохраняющих тем не менее честь, доблесть, человеческое достоинство. А тут...

Впрочем, оно естественно! Отец, хмурый, суровый, колебавшийся в сущности своих начал и постоянно занятый мыслью о возвышении своего рода, разумеется, непрерывно толковал им о значении нашего знаменитого имени, о его минувшем величии, как это до того он толковал и мне. Но ни примерами своей жизни, ни каким-либо указанием он не

мог определить, что в этом величии они должны были сохранять, чем руководствоваться. Сам он думал, что обязан жить для людей, от него зависимых, и действительно жил для них, но жил рутинно. Ясно, что он не мог иметь никакого влияния на развитие и воспитание братьев. Хорошая, любящая, но без всякого образования матушка, готовая, можно сказать, во всякую минуту себя отдать ради детей своих, балующая их всеми способами и желавшая только одного: видеть их здоровыми и весёлыми, стало быть, для которой вопрос физической жизни был всё, разумеется, не могла вызвать в них работу мысли. А, с одной стороны, совокупность непрерывных подёргиваний тщеславия, и ещё в то время, когда высокое положение рода в общем имени поддерживалось преданием, с другой же — совершенное отсутствие всякого нравственного направления не могли не отразиться на воспитании братьев потерей всяких принципов, всяких начал; так именно они и отразились. Братья стали именно тем, что они есть, идя один к другому в противоположном направлении, то есть пришли оба

к совершенному, хотя противоположному друг другу нравственному ничтожеству. И кто мог иметь на них нравственное влияние? Кто мог внушить им уважение к нравственному убеждению? Тот же швед, тот же попovich, та же Силантьевна, что и при мне ещё были и которые, прежде чем осмелятся что-нибудь говорить, должны были просить позволения у княжичей ручку поцеловать — они ли могли вызвать силу нравственного развития? Между тем они росли именно только в таком кругу, только под таким влиянием... Чего же можно было от них ожидать?

Вообще нужно признать, что крепостное право, с детства окружая человека лестью и угодничеством и отстраняя всякую заботу о самых даже обыденных предметах жизни, не может не парализовать всякое стремление мыслительной деятельности, а отсутствие таковой деятельности, понятно, не может не приводить человека к тому, что он будет или беситься и в карты играть, или думать только о том, как бы кого объегорить. Да и что ж ему делать, когда он ничего другого не знает, ни о чём не слышал, ничем не интересуется; а

убеждения, какие бы то ни было — нравственные, гражданские, политические, ему никогда и в голову не приходили?

Но опять непонятно, каким образом в нашем роду могло вкорениться крепостничество, когда даже московский дом, при всём стремлении своём к самовластию, о крепостном праве никогда не думал? Каким образом оно могло до того въестся в душу моих братьев, что стало их плотью и кровью? Они не только не видят в крепостном праве унижения человеческого, но, кажется, даже не представляют, что можно жить без крепостного права.

Я понимаю тех, которые смотрят на крепостное право как на случайное общественное зло, вроде войны, мора, землетрясения или чего-нибудь в этом роде, — зло, которое всеми мерами нужно искоренять, уничтожать; но решительно не могу понять тех, которые смотрят на него как на божественное учреждение, охраняющее порядок, уравнивающее общественные отношения. Братья стали крепостниками полными, до глубины своего сердца, до того, что один не считает за

грех торговать человеческим мясом и даже хвастает этим, как умно обдуманной аферой. Для него крепостные ничего более, как особой породы животные, необходимые в хозяйстве так же, как лошади и рогатый скот. Он не признает за ними ни чувства, ни привязанности, ни даже человечности; по крайней мере, не считает нужным входить в это, отнимая у матери сына, у детей отца, у жены мужа и награждая усердие и старание угодить ему — тычком, ударом, руганью... Между тем, — что поистине удивительно, — после такой бесчеловечной аферы его не проклинали. Я даже не слышал, чтобы жаловались, что он жесток. По мнению рабства — это не жестокость. Ведь не считали жестокостью римские рабы, когда их откармливали для того, чтобы в свою очередь откармливать ими содержащихся в рыбных садках и приготавливаемых для стола патрициев мурен. По общим отзывам о брате Юрии, он милостивый и заботливый помещик, расчётливый, ворчливый, но добрый барин. Что за противоречие? Нисколько! Он добр из-за расчёта, из того соображения, что потеря крепостных оттого,

что они перемрут или разбегутся, так же как и разорение их, отразятся весьма невыгодно на его хозяйстве. Вот его доброта!

Не помню, где-то и когда-то я читал индийскую сказку о змее, которой отдали во владение угрей. Каждый угорь должен был платить ей пошлину, и она, ясно, становилась тем богаче, чем более у неё было угрей. Целый мир, говорит сказка, удивлялся справедливости, милости и заботливости змеи в управлении угрями. Она себя не жалела, чтобы им было хорошо, заботилась о каждом так, как родная мать не могла бы заботиться. И у неё явились большие, откормленные, здоровые угри, каких в целом мире было не найти. Но вот кто-то сказал змее, что стоит перерезать угря пополам, как у одной половины вырастет голова, а у другой хвост, и из одного угря будет два. Змея сообразила, что от этого доход её удвоится, и, недолго думая, велела всех угрей перерубить пополам. Напрасно ей доказывали, что хотя угри выздоровеют и удвоят доход, но каково будет им, когда их будут рубить? Змея о том и слушать ничего не хотела... Не похожа ли эта сказка на аферу брата

Юрия?

Но ведь то сказка о змее, а мы люди, христиане! Разве можем мы думать, что самая кровь и мысль других людей, самые чувства и разум их могут быть созданы только для нас?

Французы, думая подобным образом, имели, по крайней мере, прецедент в завоевании; а Москва какой могла представить прецедент?

Между тем крепостничеством нарушается не только народное право, но и наше кровное, родовое, потому что является не род, как один из элементов общности, не право передать часть своего заслуженного уважения потомству, а является сословная корпорация, захватившая в свои руки не только общественное благосостояние, но и личность, и жизнь народа, который таким образом лишается человеческих и гражданских прав. Эта корпорация, заключая в себе все недостатки преобладания сословности, из взаимного соперничества между своими членами должна была получить то же стремление к наживе, какое при других условиях общественного устройства представляет только

капитал; стало быть, вместо противодействия стремлению капитала она должна была усвоить один из самых ядовитых его атрибутов: стремление наживаться какими бы то ни было средствами, наживаться во что бы то ни стало. И ясно, что вопросы человечности, благородства, заслуги должны были отойти на второй план. Была бы только выгода, можно бы было только нажать...

Но вот другой брат — Дмитрий. Он о наживе и не думает, выгод не рассчитывает, требований ни рода, ни капитала не признает. Он просто хочет жить в своё удовольствие, не думая ни о прошлом, ни о будущем. Но, бог знает, лучше ли это? Для него крепостные даже не животные; для него они вещи, которые по хорошей цене можно и в карты проиграть.

И это князья Зацепины, долженствующие стоять за своё родовое право, думать о возвышении своего значения, стало быть, долженствующие отвергать крепостничество как начало, явно враждебное всему строю жизни Древней Руси, следовательно, враждебное тому основанию, на которое опиралось значение истинно родовых русских князей. В са-

мом деле, Рюрик был призван волей народа владеть и княжить, охраняя народные права и вольности; а могло ли быть выражение свободной воли народа при крепостном праве? Никогда! При крепостном праве может проявляться только насилие. При насилии же о родовом начале, нашем русском родовом начале, нельзя даже и думать, так как оно исходило и опиралось прежде на почтение и любовь, вызванные заслугой и доблестью, передаваемыми от предков к потомкам, от поколения к поколению, из рода в род. При крепостном праве могла явиться только феодальная, ненавидимая всеми аристократия, подобная французской и германской; аристократия родовая, пожалуй, но родовая в насилии, а не в почтении и любви, не в заслугах и доблести... И у нас теперь такая аристократия начала появляться. Это так! Все эти Левенвольды, Ягужинские, Девьеры, Бироны, — все эти немецкие, жидовские и хохляцкие графы, взятые всё равно откуда бы ни было, из баронов ли или из конюхов, но поставленные в ряд русской знати личным произволом, без всяких заслуг и без всякой связи с народом,

не могут найти себе опору в народе. Они, впрочем, об этом и не заботятся. Крепостное право не могло не произвести своего растлевающего и подавляющего влияния; не могло не вызвать той одеревенелости и тупости, при которых о народной любви и нравственном достоинстве не думают. Пример — мои братья!

Продукт стремлений Москвы к самовластию, крепостное право, — продолжал рассуждать Андрей Васильевич, — отразилось ужасными последствиями на самой Москве. Стремление татарского выходца укрепить за собой и своим потомством власть прежде всего оборвалось на самом учредителе и его детях. Тем не менее, оборвавшись на роде Годуновых, оно не могло быть уничтожено и его последующими преемниками, хотя и не татарскими выходцами; оно было ценой, уплаченной за самовластие; оно было ценой, подкупающей всех, в том числе и потомков нашего славного рода. Но все, в том числе и мы, Рюриковичи, получая себе право сделать из народа рабов, забывали, что тем самым становимся рабами сами. Подвергая народ кнуту

и пытке, мы должны были испытывать кнут и пытку на себе. Вводя восточные жестокости в своих стремлениях держать народ в унижении и рабстве, мы должны были испытать сами всю силу и тяжесть этих жестокостей. Подвергая унижению человечество, мы должны были испытать это унижение на себе. Оно и понятно: требующий рабства должен стать и сам рабом. И он всегда становится рабом, если не в прямом смысле рабом деспота, когда, например, он сам деспот, то рабом страстей своих...

Таким образом, крепостное право стало отравой русской жизни, отравой для всех. Оно отравляет и развращает весь народ сверху донизу. Уничтожая родовое достоинство и стремление к заслуге перед народом, оно заражает и уничтожает одинаково и княжескую доблесть, и дедовское богатство, и народный труд. Из князей и бояр оно делает или кулаков, как брат Юрий, об уважении к которому, как к человеку, не может быть и речи, или забубённые головы, бесшабашных кутил, как брат Дмитрий, который, когда промотается, недалеко будет от мазурничества. И ниче-

го не будет удивительного, если в третьем или в четвёртом поколении они даже сделают себе из мазурничества ремесло... В этом ли должна была заключаться и к тому ли вести их родовитость? А при таком примере родовитых домов что остаётся делать простому люду, которого, с одной стороны, хотят обобрать, а с другой — всеми способами объегорить? Понятно, люду капитальному приходится в свою очередь жить только обманом; а народу, крепостному, закабалённому и забитому народу, остаётся только, — когда ему удастся убежать от палки, которою его и кулак и забубённая голова охотно наделяют, — остаётся только пьянствовать, пьянствовать без просыпа, с горя и радости, пропивая последнюю нитку своего обихода. И вот братья... Однако ж я строго сужу братьев, а сам я? Был ли я сам верен тому началу, которое понял и усвоил, как завет предков, как достоиние нашего славного рода — служить народу, стоя во главе его и ведя его за собой к добру и славе? Шёл ли я сам прямым путём чести, достойным моего славного имени? Я не боялся труда, — правда! Но был ли труд мой направ-

лен к тому, чего требовали разум, честь и правда?»

Андрей Васильевич задумался над этими вопросами. Перед ним пронеслась картина всей его жизни, с её различными перипетиями, где постоянно была одна цель, для которой он жертвовал и чувством, и трудом, и убеждениями; эта цель — поиск фавора. Это ли цель жизни мужа, стоящего во главе славного имени? Это ли доблесть родового князя Рюриковича? Положим, что, добившись фавора, он употребил бы его на пользу, на благо своей родины; но цель не оправдывает средства; а достигнуть своей цели он хотел тем же, чем достигали своих своекорыстных видов Бироны, Левенвольды и вся эта компания бесшабашных проходимцев. Достойно ли это князя Зацепина, потомка в прямой линии Ярослава Мудрого, Владимира Равноапостольного, Святослава Храброго и Владимира Мономаха доблестного?

Под влиянием этих мыслей, волнений, колебаний, вопросов, которые мучили его и томили, представляясь в многообразных оттенках снова и снова, которые как бы требовали

разрешения, требовали ответа за его прошлое для указания будущему, — Андрей Васильевич почувствовал неодолимое желание быть одному, уединиться от всего, что могло его отвлекать. Ему тяжело было видеть и своего архитектора с чертежами, и управляющих, и конторщиков, и даже своего камердинера-француза. Он хотел быть совершенно один, вне всех развлечений, всех занятий. Наконец, ему скучен был и этикет его дома, заведённый ещё его дядей; этикет, который его брат князь Дмитрий Васильевич называл французскими и немецкими финти-фантами. В самом деле, у их отца не было этого этикета, хотя от того он был не менее родовой русский князь и пользовался не меньшим уважением тех, кто его знал. Желая уединиться, Андрей Дмитриевич полюбил прогулку. Ранним утром ему обыкновенно подавали коня, и он уезжал в свои обширные липовые и сосновые леса, назначая себе завтрак или в одной из дальних деревень, где ещё отцом его были устроены заездные избы, или в одном из охотничьих помещений, построенных когда-то любителем охоты, его прадедом, и под-

правленных по его желанию всё поправить и привести в достойный имени Зацепина вид, или, наконец, в домике какого-нибудь лесного сторожа. Иногда он оставлял в одном из этих домов свою лошадь и шёл бродить пешком, отдаваясь волне своих мыслей и развлекаясь той близостью к природе, которую само собой создаёт уединение. Так бродил он иногда до темноты, так что Жозеф, старый повар его дяди, не потерявший ещё кулинарной художественности, всегда ворчал и жаловался на то, что он невольно становится хуже всякого ученика, пережаривая перепелов, потому что не знает, к которому часу готовить княжеский обед.

Разумеется, князь Андрей Васильевич не обращал внимания на эти жалобы. Для него вопросом дня было его прошлое. Он сознавал, что он тоже был не тем, чем должен был быть; что, упрекая братьев, на которых отразилось влияние крепостного права, он ещё с большей строгостью должен был относиться к себе. На нём влияние крепостного права отразилось рельефнее, ощутительнее, между тем как самое образование его должно было

его от такого влияния охранить. «Что же теперь я должен делать, чему себя посвятить? — спрашивал он себя под гнетом укора, который приносило ему его прошлое. — Идти в монастырь, жениться на Гедвиге, совершить путешествие в Палестину, выпросить отдалённое назначение, — близкого назначения мне не дадут, — или, наконец, примириться с жизнью в Зацепине и быть для своих владений тем, чем был мой отец?» Каждый из этих вопросов заставлял его думать, заставлял разбираться. Но он не мог прийти к удовлетворительному разрешению ни по одному из них. «А отчего?» — спрашивал он себя.

«Оттого, что и у меня, как у моих братьев, нет почвы, нет основания, которое служило бы мне опорой для разрешения. Я колеблюсь между тем родовым началом, которое было палладиумом славы древних русских князей, было их доблестью, — жить для народа и служить ему, и тем началом феодальной аристократии, которая говорила, что первое право народа — это быть битым и дышать, пока не повесили! Я колеблюсь между тем и другим, а отчего? Оттого, что самая моя мысль, самое

моё образование исходят не из народного духа, не из естественного развития, а из напускного требования внешнего блеска, которое опирается на крепостное право, отказаться от которого сам я не в состоянии. Если бы я стоял на почве своего деда и думал, что мне следует стоять изолированно от целого мира и ждать, пока сама судьба не выдвинет вновь князей Зацепиных на политическую арену действия, то, разумеется, я прилепился бы к тому, что теперь отрицаю. Я сосредоточил бы тогда свою деятельность на тех, кому действительно мог принести пользу, и не как моим рабам, но как народу; тем более что у меня средств, и материальных, и нравственных, несравненно более, чем какими мог располагать дед. Тогда, может быть, завернувшись в плащ анахорета, я мог бы принести в жертву то, что развратило нас всех своею тлетворной отравой, мог бы возвыситься до самопожертвования, дав свободу двадцати двум тысячам своих рабов. Но в том виде, как я есть, я этого сделать не могу; это выше моей воли. Меня грызёт жажда обширной деятельности, и величие в малом для меня недоступно. Я желал

бы дать свободу целому миру, а не могу отказаться от того, что окружает меня!

Во Франции, когда я там был, возникло и распространилось учение физиократов. Родоначальником этого учения называли Кене. Граф Мирабо много содействовал его распространению. По этому учению землевладение должно было составлять основание общественного устройства. Землевладельцы, так учили физиократы, должны быть краеугольным камнем государственной жизни. По возможности они не должны оставлять своих владений и быть крепкими на них, как опора, как устой.

Я никогда не разделял этого мнения. Я находил, что оно есть то же извращение понятий, которое создал феодализм. Согласно мнению моего покойного дяди, я всегда находил, что все виды полезной деятельности равно почётны и имеют разные права на уважение. Но помню, раз я много спорил и едва не убедился выводами этого учения, приводимыми тогда одним из красноречивейших юношей, третьим сыном герцога Ноаля, которому, как младшему, не доставалось ни одной пяди зем-

ли из обширных отцовских владений. Он готовился поэтому, по обычаю французской аристократии, к поступлению в духовное звание. Может быть, он и убедил бы меня, но мы скоро расстались. Он уехал в Рим, а я остался в Париже. Обдумывая его слова вне влияния, которое производило его действительно недюжинное красноречие, я убедился в том, что дать перевес землевладению, стало быть феодалам, будет почти то же, что вновь восстановить крепостное право в его первобытном виде совершенного рабства. Когда же я стал на более твёрдую почву экономических знаний, я хотел снова видеть молодого Ноаля, чтобы в свою очередь убедить его. Но каково же, помню, было моё изумление, когда, уже возвращаясь в Россию, я встретил его на дороге в одежде траписта, и на высказываемые мною сомнения он дал мне один ответ: «Memento mori!»

Не следовало ли мне ответ этого некогда красноречивого диалектика принять за девиз моего будущего? Тогда фавор в самой высокой степени был бы для меня не только не целью, но даже и не средством».

Анализируя все эти мысли, Андрей Васильевич в одну из своих обычных поездок по окрестностям оставил свою лошадь и пошёл бродить пешком по отдалённой липовой роще. Вдруг он неожиданно наткнулся на довольно высокий забор, обмазанный глиной и обсаженный кустами шиповника, жимолости и калины.

«Что это такое: скит, сторожевая будка, разбойничий притон?» — подумал он и, ощутив при себе оружие, без которого почти никогда не выезжал, пошёл вдоль забора. Тут он заметил в заборе закрытую кустами и плотно притворенную калиточку и вошёл в неё.

Он увидел довольно большой мазанковый сарай, подле которого была небольшая полуземлянка, вроде тех, которые строят себе охотники; вокруг между кустами жимолости и шиповника стояло два ряда ульев, соединённых между собой шестами, уже почерневшими от времени.

Тут Андрей Васильевич вспомнил, что ещё дедом его дано было зацепинскому монастырю право в одной из принадлежащих ему липовых рощ держать пчельник, или пасеку.

Ему до тех пор никогда не случалось её видеть.

На крылечке землянки сидел монах в старой рясе и обдерганном клобуке, в руках у него были чётки, сделанные из можжевельных ягод. Он перебирал эти чётки, но, видимо, по привычке, не твердя про себя ничего.

— Что это, пасека зацепинского монастыря? — спросил Андрей Васильевич. — Извините, святой отец, не знаю, как величать вас по имени?

— Смиренный раб Божий Мертий! — отвечал скромно монах, вставая. — Да, по милости вашего сиятельства, здесь мы пчельник держим!

Монах поклонился.

Это был человек лет пятидесяти, с длинными седоватыми, секущимися волосами, которые выбивались из-под клобука, соединяясь с светло-русой, не особенно густой, но довольно длинной, раздвоенной бородкой и тонкими, добродушно улыбающимися губами. Светло-серые глаза его смотрели вяло, безжизненно; притом левый глаз у него немного подмигивал, что сообщало его словам и его добро-

душной улыбке какое-то особое выражение, не то простодушное, не то насмешливое.

— Много у вас ульев? — спросил Андрей Васильевич.

— Десятков с пяток будет, — отвечал монах.

— И вы тут одни?

— Нет, послушник в помощь есть, да пошёл в монастырь за припасами. Припасы нам на неделю отпускают, вот он и ушёл.

— Вы не боитесь оставаться в такой глуши?

— А чего бояться-то? Злой человек ко мне не пойдёт, знает, что взять нечего. Медком же если бы попользоваться захотел, то пчёлки сами за себя постоят. Они не любят, когда чужие их трогают. А зверь? Так забор-от высок, и к вечеру я запираюсь. Правда, по ночам, случается, медведи вплотную ревут, а на забор не лезут; кругом же канава вырыта и колья вбиты.

— И много работы за пчёлами?

— Как работе не быть? Пчела, тварь Божия, любит уход. Перво-наперво чтобы чистота была. В чистоте она и работает, и роится. А коли

сор да грязь да помыслы греховные, так она и работать не станет и как есть подохнет вся!

— А не кусают вас пчёлы?

— Нет, привыкли и не кусают! Они знают, что худого я им не сделаю. К тому же коли днём около них работаешь, так старых-то пчёл нет, за взятком улетают, а молодые домашними работами занимаются: вощину тянут, черву воспитывают и не жалят!

— Это любопытно! Неужели у пчёл также распределены занятия по разным рангам, как будто в человеческом обществе?

— А как же, ваше сиятельство! Тоже на всё свой закон, своё установление и своё время. Чин чина также почитает! Трутень ли, пчела ли, матка ли молодая — все себя знают! — отвечал монах и при этом подмигнул левым глазом и скривил правую половину рта, как бы улыбаясь и говоря: «Ещё князь, а этого не знаешь!»

— Как же у них распределяется время?

— А так же, батюшка князь, как бы у вас в вотчине, по вашему приказу. С утра рабочие пчёлы за взятком летят, а молодые поновку тянут, соты делают, чтобы матке было куда

яйца класть, а рабочим пчёлам мёд наливать. А вот хоть бы примерно теперь полдень, — скоро из каждого улья молодые пчёлы на отдых да на проигру вылетят. Там соты тянули да детву запечатывали, к домашнему устройству приноровлялись, а теперь летать учиться станут да улей свой замечать, чтобы как в чужой не залететь. А как попривыкнут и понаучатся, этак через недельку или полторы, вместе со старыми пчёлами тоже за взятком полетят и будут соты мёдом и хлебиной наполнять; а соты подготавливать и за червой ходить станут опять молодые пчёлы, которые в это время выключнутся из ячеек, — и так до той самой поры, пока холода начнутся и матка яйца класть перестанет.

— А матка много приносит яиц?

— Чем больше, тем лучше. Летом в тёплые дни она только и дело делает, что яйца кладёт в приготовленные ячейки. Сперва осматривает каждую ячейку, чисто ли в ней и хорошо ли устроена; потом положит туда яичко; и кладёт всё по порядку, не торопясь, но и без отдыха. Хорошая матка ни одной ячейки не пропустит. И так этим она занята, что даже

есть не имеет времени, и её кормят окружающие пчёлы. А как чем больше пчёл, тем сильнее улей и работать пчёлам легче, то матка и пользуется тем большим от него уважением, чем более кладёт яиц. Бывают плодовые матки, что кладут до тысячи яиц в день и распределяют, какие яйца должны тоже маток производить, какие — рабочих пчёл, а какие — трутней. Для трутней особые даже ячейки делаются...

— А трутни что делают?

— Да ничего! Летом улей стерегут и с молодыми матками у летка играют, ну и оплодотворяют их; а на зиму пчёлы их всех из улья изгоняют, и они мрут. Пчела — тварь трудолюбивая и тунеядцев не любит!

— По-вашему выходит, что весь улей зависит от матки?

— Как же, ваше сиятельство! Матка в самом деле мать улья, его голова, царь, настоятель. От неё весь порядок и устройство. Без матки пчёлы работать не станут, а если и станут, то работают не в порядке и непременно передохнут, если не приищут себе другую матку.

— А больше одной матки в улье не бывает?

— В благополучном улье матка всегда одна; если бы появилась другая, то была бы сейчас же убита. Но матка сама выводит пчёл, способных быть матками. Эти молодые пчелы, по мере того как они выклёвываются из ячейки, готовятся и улетают на проигру; там каждая из них по очереди оплодотворяется трутнем, отчего молодая пчела делается способной быть маткой и в свою очередь кладёт яйца. Тогда одно из двух: или старая матка убьёт молодую, или уступит ей своё место, а сама оставляет улей и производит новый рой. Затем выклёвывается опять матка, летит на проигру, и образуется новый рой. И так в лето бывает три и даже четыре роя. К зиме же роёв не бывает, чтобы не обессилить улей и чтобы было кому его согревать.

— Каким образом согревать?

— Своим дыханием!

И отец Мертий начал обстоятельно и толково рассказывать князю Андрею Васильевичу жизнь пчёл и порядки, царствующие в улье. Он рассказал разность воспитания простой рабочей пчелы, трутня и матки; сказал,

что для высиживания простой пчелы нужно двадцать суток, трутня — двадцать четыре, а матки всего только семнадцать, но при этом количество, а может быть, и качество корма, даваемое для вывода каждого вида пчёл, бывает совершенно иное; потому естественно, что природа каждого из этих видов бывает совершенно отдельная, не имеющая между собой ничего общего, и потому весьма легко их один от другого отличить. Назначение рабочей пчелы — только работа, матки — размножение и устройство, а трутня — только оплодотворение и защита в летнее время. Матка руководит ульем и содействует его усилению, а рабочая пчела устраивает улей, для чего приносит взяток, перерабатывает его в воск, мёд и хлебину, делает соты и наполняет их мёдом. Для строительства сот, а также для воспитания червы нужна в улье определённая степень теплоты, чтобы воск был достаточно мягким; теплота эта и производится дыханием пчёл. Когда пчёл много, то это достигается ими легко; когда же улей слаб, то есть пчёл мало, то им для нагревания приходится употреблять чрезвычайные усилия, для

вознаграждения которых приходится усиливать потребление пищи; отчего может погибнуть весь улей, так как усиленное потребление пищи развивает в пчёлах болезни, усиливающие накопление нечистот в улье, чего пчёлы не переносят.

Долго отец Мертий разъяснял всё это князю Андрею Васильевичу, который слушал с любопытством, думая: «Отчего же пчёлы успели привести в такой порядок своё общественное устройство, а люди не могут? Отчего рабочая пчела не хочет быть маткой, а матка не обращается в рабочую пчелу? Отчего трутень, как тунеядец, совершенно изгоняется у пчёл, когда между людьми столько тунеядцев кормятся на свете?»

Хотя бы то же крепостное право, — рассуждал про себя Андрей Васильевич, — право, исходящее из стремлений Москвы к самовластию, в то время когда самые основы такого самовластия уничтожились сами собой, — разве не могло оно получить божественную санкцию в том порядке, который указан самой природой в пчелином улье? Да, положим! Но ещё вопрос: в самой Москве-то отку-

да явилось такое стремление к самовластию, в отмену того порядка, который был принят и усвоен вековыми обычаями нашего рода и установлением взаимных отношений его к народу и его правам? Откуда могло явиться такое понимание, что все для меня, а я ни для кого, в видимый разрез тому, как думали русские люди? Наш славный предок, сделавший первый шаг к освобождению от ига татар, не дал права даже думать, что он желал перенести на себя татарскую власть, желал сам стать ханом уже не татарской, а русской орды. После победы, возвеличившей и прославившей его, он оставался тем же, чем и был: первым между равными. Правда, татарские взгляды начинали уже проглядывать у нас во многом и многом, но всё же... А Византия? А греческое царство и Софья Палеолог?

Если перенести свой взгляд на Древний Рим и заметить, что везде чистая демократия вела к цезаризму, от преобладания произвола которого охранял только феодализм Средних веков, то придётся заключить, что наилучший порядок, которого общество может достигнуть, есть именно тот, который устроили

у себя пчёлы; стало быть, признать, что крепостное право есть именно одно из тех учреждений, которое наиболее соответствует правильному пониманию общественного устройства. Оно создаёт именно рабочих пчёл, которые своим трудом поддерживают улей, в то время как класс трутней его защищает, а матка им управляет».

— Стало быть, — проговорил Андрей Васильевич, слушая объяснение отца Мертвца о пении маток перед образованием роя, о их вражде и драке насмерть, в случае неразделения роя, наконец, о выборе себе новой матки пчёлами, если бы по какому-либо случаю прежняя погибла, — стало быть, улей пчёл разрешает вопрос общественного и государственного устройства. Все эти толкования о правах рода, значении капитала и силе труда разрешаются просто неизменным сословным устройством крепостных или трудящихся, управляющих и охраняющих и, наконец, матки или руководителя, царя, короля, или как бы там его ни называли, — с тем, чтобы они никаким образом не могли обратиться в других, а всякий выполнял бы то назначение, ко-

торое ему предопределено. Так ли, отец Мертий? Ведь так живут ваши пчёлы?

Отец Мертий задумался над этим вопросом.

— Так-то оно так, ваше сиятельство, — после нескольких минут молчания проговорил он. — Только вот что: рабочая пчела не может размножаться и производить потомства. Она потому не может ничего и желать, кроме выполнения своей работы и поддержания своих сил пищей. Размножает население улья только матка, поэтому она всем и распоряжается. Притом матка летает на проигру только раз в жизни. Соединившись с трутнем, она уже на весь свой век оплодотворена. Расположение требует от неё только кладки яиц; она и делает то, к чему предназначена, а не ищет других трутней и не покровительствует им... А трутни? Матка, оплодотворившись трутнем, уносит с собой всё, что он мог ей дать, обращает его в евнуха, который почти сейчас же от этого и умирает. Ясно, что затем и ему более ничего желать не приходится. Те же трутни, которые не оплодотворили какой-либо матки в то время, когда должно было происходить

оплодотворение, как не исполнившие своего назначения изгоняются из улья на голодную смерть; поэтому они также не могут смущать улья своими нуждами и желаниями. А люди хоть и принижены, хоть и закреплены будут, все сохраняют свои желания всего... А желания, ваше сиятельство, сами изволите знать, к чему иногда приводят...

И отец Мертий замигал своим левым глазом, кривя немного рот и потряхивая, вследствие этого, своей раздвоенной бородкой.

«Монах прав, — думал Андрей Васильевич, уходя с пчельника по тропинке, по которой он пришёл из дома лесника, где оставил лошадь. — Точно, кастовое разделение, следовательно, крепостное право и феодальный абсолютизм были бы верны в применении к общественному устройству в таком только случае, если бы сама природа их установила. Тогда же, когда мой крепостной Елпидифор может иметь те же желания, что и я, всякий нажим с моей стороны на его желания есть уже насилие; поэтому не может быть и мысли о том, что один должен быть вечно кучером, а другой вечно седоком. А, стало быть, вопрос

приводится опять к той двойственной борьбе, которую следует уравновесить. Сначала начинает преобладать род, следствием чего является или деспотизм, или феодальная система, со всеми её гибельными последствиями, уже указанными историей. Затем возьмёт верх демократия, стало быть, по смыслу разума, должен бы получить преобладание труд; но не тут-то было. Начинается если не террор, то преобладание капитала, с последствиями ещё более гибельными, с последствиями ужасными, приводящими к диктаторству, то есть к тому же деспотизму. Где же середина? Где же истина?»

Думая это, Андрей Васильевич проходил небольшую прогалинку, вёрстах в полутора от пчельника. Прогалинка была окружена валежником, образовавшимся, вероятно, от бывших здесь некогда лесных пожаров и буреломов и обросшим густым малинником. Предположение о бывших пожарах казалось тем вероятнее, что около прогалины, более чем на версту кругом, был сухостой, на котором почти не виднелось зелени и который готов был свалиться от первой бури.

Мысли Андрея Васильевича от общих, социальных идей об устройстве общества невольно перешли на частное явление, которым тоже больна русская жизнь Севера, — перешли к лесным пожарам.

В это время вдруг в лесу раздался рёв, за которым последовали один за другим два выстрела.

Не успел Андрей Васильевич оглянуться в ту сторону, откуда раздался рёв, как на прогалину выскочил необыкновенной величины расвирепевший раненый медведь.

Увидев перед собой человека и принимая его, разумеется, за действующего заодно с теми, от которых он бежал, медведь остановился, сел на задние лапы и страшно зарычал. Потом он приподнялся и медленно, с рёвом и мычанием, начал надвигаться на Андрея Васильевича.

Взглянув на страшного врага, от которого спастись было некуда, а бежать нельзя, Андрей Васильевич не оробел. Он вспомнил свои юношеские годы, когда ещё до отъезда в Петербург не раз ходил с охотниками на Михайла Ивановича Топтыгина, как в шутку на-

зывали медведя мужики ветлужских лесов. Он не раз видел, как русский охотник сходил-ся с медведем один на один и как справлял-ся с ним, прося товарищей без нужды не по-мочь ему.

У него в кармане камзола был превосход-ный трёхгранный итальянский стилет, а в палке великолепный кинжал. Клинок его был дамасский, но вделан в палке он был в Англии и обнажался мгновенно нажатием пружины. Обеими этими оружиями Андрей Васильевич владел мастерски, отбивая кин-жалом даже удары эспантона и сабли.

Андрею Васильевичу в это время было без малого тридцать лет. Он был здоров, силен, ловок; в оружии своём он был уверен и поэто-му взглянул на медведя как на свою жертву. Глаза его вспыхнули кровожадным блеском. При виде неотразимой опасности на лбу его обозначилась зацепинская жилка. Он вспом-нил приём, который употребляют охотники в борьбе с медведем один на один, и живо обер-нул коротким летним плащом свою правую руку, взяв в неё стилет, в то время как в левой руке его засверкал своей широкой стальной

полосой обоюдоострый кинжал.

Медведь тихо надвигался на задних лапах, разводя передними и оглашая рёвом воздух. Из правой брови и правого уха его капала кровь, но видимо, что пуля лишь задела его и от раны он только свирепел.

Андрей Васильевич стоял спокойно, подавая корпусом вперёд и опираясь преимущественно на отставленную несколько назад левую ногу. Только губы его будто дрогнули ввиду предстоящей борьбы и глаза засверкали. Он приготовился дать отпор, сунув правую руку с стилетом в пасть медведя и в то же время левой рукой распоров ему живот. Медведь был близко.

Как задумал Андрей Васильевич, так и сделал. Лёгким прыжком он очутился подле медведя, и вмиг обвёрнутая плащом рука его очутилась в медвежьей пасти. Медведь заревел отчаянно, чувствуя, что стилет входит ему в нёбо, режет язык, а кинжал уже колет бок. Инстинктивно он сделал необыкновенное усилие, взмахнув левой передней лапой, и через голову Андрея Васильевича, по своему необыкновенному росту, успел когтями за-

деть его затылок. В это время Андрей Васильевич, вероятно попав ногой на льющуюся из медведя кровь, слегка поскользнулся. Медведь этим воспользовался и живо подмял его под себя, стараясь своротить ему череп. Но тут ружейная пуля одного из двух выбежавших из леса охотников, направленная опытной рукой почти в упор лба, прекратила торжество медведя. Андрея Васильевича вытащили из-под него уже без чувств.

Х

Схима

Андрея Васильевича принесли в Зацепино на носилках. Он был без памяти. Его несли восемь человек зацепинских молодцов, накрытого шёлковым, изорванным медвежьими когтями, плащом. Сзади вели его осёдланного коня, а за конём шла всё увеличивавшаяся толпа народу.

Крестьяне и дворовые со всего Зацепина и соседних деревень сбежались взглянуть на помятого медведем барина. Княжеские дворы

наполнились народом, туда же принесли и убитого медведя. Народ осматривал его и толковал. Все пожалели Андрея Васильевича.

— Красивый такой был, — говорили они. — Жаль только, что говорил-то больше всё не по-нашему.

От всех этих толков Андрею Васильевичу было не легче. Он был без чувств. Его внесли в дом.

Приехавший только несколько дней перед тем молодой доктор, предназначавшийся собственно к тому, чтобы быть постоянным хранителем здоровья зацепинских жителей, прибежал со всех ног принять необходимые меры к облегчению и исцелению их главы. Он приказал обмыть раны, сделать тепловатую ванну, начать трения, приложить к соответствующим местам горчичники. Но, к его великому огорчению, принятые им меры не принесли ожидаемых последствий. Андрей Васильевич не приходил в себя. Тогда скромный юноша, надеясь подкрепить свои познания чужой опытностью, просил о приглашении других докторов, и чем больше, тем лучше, по русской поговорке — ум хорошо, а два

лучше.

Несколько гонцов полетели за докторами.

Прошло три дня. Андрей Васильевич всё лежал без движения и без памяти.

«Память отшибло», — говорили дворовые.

А доктора выбивались изо всех сил, как бы эту память возвратить. Каких способов они ни придумывали, каких мер ни принимали, а сделать ничего не могли. Напрасно они заставляли тереть его конечности, обёртывать различными компрессами, прикладывать отводящие средства, напрасно бились, вливая сквозь зубы возбуждающие капли, щекоча в носу, давая нюхать возбуждающие спирты. Ничто не помогало. Летаргическое состояние не проходило, пульс почти не прослушивался, дыхание было чуть заметно. Представитель рода князей Зацепиных лежал на своём аристократическом, украшенном гербами и раззолоченном ложе, как пень, как лежал бы всякий крестьянин, которому случилось быть помятым медведем, как помят был Андрей Васильевич. Не добившись ничего и утомившись донельзя, доктора приказали продолжать указанные меры, а сами отправились

подкрепить свои ослабевающие силы хорошей закуской и здоровой выпивкой, предложенной им старым буфетчиком в бывшей брусняной избе, отделанной под малую столовую.

Там, угощаемые со всем гостеприимством тогдашних помещиков и со всей роскошью петербургского Лукулла, они начали обсуждать положение Андрея Васильевича и причины, от которых могла произойти летаргическая бесчувственность, в которой он находился.

Молодой доктор, желая поучиться у опытных, слушал.

К великому его огорчению и удивлению, среди всего этого докторального рассуждения сколько было голов, столько же и умов. Всякий объяснял и действие медведя, и должествующие происходить явления, то есть и причину и её последствия, совершенно своеобразно и делал выводы, противоположные тому, на что указывал другой.

Один находил, что когти медведя в болезни Андрея Васильевича не имеют почти никакого значения, что они коснулись только

поверхности; всё дело в том, что Андрей Васильевич был придавлен. Поэтому, по приведении его в себя, можно надеяться видеть его полное, скорое и совершенное исцеление. Другой находил, напротив, что самая летаргия и бесчувственность происходят от разрыва нервных волокон, весьма близких к мозжечку, и полагал, что результатом такого расстройства должна последовать несомненная смерть. Он даже утверждал, что Андрей Васильевич не может прийти в себя, что астения, которая его уже охватила, должна последовательно распространяться на весь организм и погасить последние вспышки жизни. Третий, напротив, обещал непременно физическое выздоровление, но сопряжённое с сумасшествием, ибо, по его мнению, последовало расстройство мозговых покровов. Четвёртый отстранял несомненность сумасшествия, но признавал непременно следствием в будущем нервные припадки. Один обещал вечную головную боль, другой — спазмы конечностей и слабость зрения. Все, наконец, пришли к тому, что никто из них ничего не может сказать верного.

Слушая эти противоречащие одно другому рассуждения и заключения, молодой доктор молчал. Он видел, что ни одно из них не имеет точного основания. Все эти отвлечённые рассуждения, все эти выводы а priori для него были, видимо, не более как диалектические упражнения, которые ровно ничего не доказывали, ровно ни к чему не приводили. Стало быть, вопрос излечения должен был опираться только на эмпирические опыты, которые случайно могли примениться удачно и неудачно, на чистый риск. А затем ясно, что и слушать эти рассуждения было нечего. Он и не стал слушать. Он пошёл к больному и стал вглядываться в его бледное, неподвижное лицо.

Естественно, что молодому, недавно окончившему курс врачу хотелось зарекомендовать себя, хотелось отличиться. Ведь если благодаря его усилиям князь опомнится, потом выздоровеет, то не только он, не только весь околоток, но даже все собратья его будут смотреть на него иначе, чем если окажется, что он неспособен ни на что, кроме пустой болтовни, да разве ещё уничтожения вкусной

закуски и здоровой выпивки. Он видел уже, что его опытные собратья знают не больше его и рассуждают так же, как и он мог бы рассуждать. Поэтому нужно приниматься за дело; но как? Придумать нужно; но что?

Молодой доктор продолжал пристально смотреть в лицо больного, в его закрытые, будто спящие глаза; он смотрел на его сжатые, будто замершие губы, на приподнявшиеся на висках и слегка дрожавшие жилки и следил за слабым, нервным дрожанием его пульса.

В комнате он был не один. Подле самой постели больного стоял и также смотрел ему прямо в лицо камердинер Андрея Васильевича, француз.

Он думал:

«Если князь умрёт, то я потеряю хорошее место. Нужно бы чем-нибудь за то себя вознаграждать, чем-нибудь себя обеспечить. Нужно воспользоваться чем-нибудь из того, что у меня на руках. Чем же? Бриллиантовыми пуговицами с кафтана, или которым-нибудь брегетом, или тростью, вот с набалдашником из яшмы, с вставленными крупными бриллиан-

тами? Лучше всего и тем, и другим, и третьим, а если можно, то и табакерку захватить, которую мы в Париже для той молоденькой актрисы заказывали, да не успели отдать. Эти олухи пока хватятся — я далеко буду!»

Нечто подобное, только в несравненно скромнейших размерах, думала барыня из мелких соседок, явившаяся незвано-непрощено ходить за больным и уставлявшая в это время на столике в холодную воду со льдом различные банки и склянки с лекарствами. Её очень соблазняли серебряные ложечки, брошенные там и сям, которые в суете так легко можно было взять.

Ничего подобного не приходило в голову старой Силантьевне, вынянчившей всех трёх княжат и любившей Андрея Васильевича, как старшего и наиболее к ней приветливого. Она сидела на скамеечке и тихо плакала. Ей очень хотелось бы повыть, поголосить, как она называла. Смолоду же говорили, что она мастерски умеет выть. Но увы, ввиду строгого запрета и страха перед немедленным изгнанием, она должна была плакать молча.

В комнате стоял ещё Гвозделом, одетый в княжескую ливрею, которая сидела на нём, как на корове седло. Он был позван сюда, потому что мог поднимать и ворочать князя, пожалуй, вместе с кроватью. Стояли ещё: комнатный дежурный и два казачка, на случай необходимых посылок. В раскрытых дверях виднелись ещё: старый дворецкий, ключница, Фёдор, несколько лакеев и женщин из домовой прислуги, а также несколько посторонних любопытствующих с села, имевших случай сюда пробраться: старая дьяконица — вдова умершего дьякона, пономарша, харчевница и ещё кое-кто, кому дома делать нечего, а везде совать свой нос — страсть.

— А что, коли умрёт, наймут плакать? — спросила старая дьяконица у харчевницы, зная её давнишнюю дружбу с Силантьевной, дворецким, ключницей и вообще с аристократией домовой прислуги.

— Как чать не нанять! — отвечала харчевница. — Ведь заправский князь, большой барин. Нельзя же такого барина да в молчок, как нищего какого, хоронить.

— А ведь как батюшка-то его, князь Васи-

лий Дмитриевич, помер, — тоже ведь большой барин был, — а не то что плакальщиц не нанимали, и своим-то голосить не дали. Я хорошо помню. Мужа читать позвали, а нас ни-ни! — заметила пономарша.

— Он тогда запретил, — ответила харчевница, махнув рукою на постель. — Из чужих земель тогда воротился и говорит: «Нехорошо, неприлично!» В чужих землях, вишь, не плачут, и не велел.

— В чужих землях! Да там о ком плакать-то? — рассудила дьяконица. — Все немцы, хранцузы да басурманы разные живут. Ещё бы о них плакать! Коли умер который, так туда ему и дорога; одним басурманом меньше! А по нашем, заправском, православном князе, да как не плакать? Хоть бы и не платили, так всё же поневоле голосить пойдёшь.

— Вишь ты! А вот не велел! — резюмировала харчевница. — Матушка-то его, княгиня Аграфена Павловна, потом очень сердилась и огорчалась. Дескать, неужели сто рублей пожалеть на плакальщиц, а отца хоронить, буд-то какую мелкую сошку-помещика? А он всё

своё: дико, говорит, и грех. А какой тут грех? По-моему, бедным людям работа. Ну да и то, перепадёт им что за вытьё, ко мне горло промочить зайдут, — высказалась харчевница.

— Зато как княгиня-то Аграфена Павловна побывшилась, — начала рассказывать пономарша, — его-то не было, в каком-то настранном государстве, говорят, звёзды считать учился. Похоронами-то распорядился молодой княжич Дмитрий Васильевич, — князь Юрий с матерью-то в разладе был и только в самый день похорон приехал, — так тот не только что всех своих баб сгоном на вой согнал, да и чужих плакальщиц чуть не с сотню нанял. Четыре дня голосили без устали. На похоронах, впереди гроба-то, чуть не с версту все плакальщицы шли и во всю мочь голосили. Таково жалостно было, как по матери родной плакали. А тут была одна из Пенькова; как начнёт она причитать да приговаривать, откуда что берётся, кажись, камень и тот бы расплакался.

— Да, бывают иные. Так, пожалуй, и теперь плакать велят, коли князь Дмитрий Васильевич хоронить станет.

— Береги только бог от Юрья Васильевича, коли делиться станут! Не приведи бог! Такой аспид, что и сказать нельзя! И в кого только он уродился. Кажись, и в роду-то у них эдакого аспида не бывало.

Молодой доктор всё время продолжал всматриваться в бесчувственное лицо больного, прислушиваться к нервному вздрагиванию, обозначавшемуся в его дыхании то перерывами, то каким-то урканьем, слышным даже для непривычного уха. Он смотрел и думал, но придумать после принятых уже мер не мог ничего.

В это время, плотно закусив и хорошо выпив, вошли и другие доктора. Благодарные за роскошное угощение, они подумали: «Однако, ведь мы здесь не для того, чтобы угощаться, нужно и дело делать».

— Ну что? — спросил один из них у молодого доктора, но тот не отвечал.

Ему пришла в голову идея, и он весь отдался ей, отдался так, как отдаются идее только в годы первой деятельности. Устремляя горячий, пристальный взгляд в лицо больного, он не видел и не слышал ничего. Ему показыва-

лось, будто он заметил нервное сотрясение в
зрачках князя, и он смотрел и смотрел, смотре-
л и думал.

— Он кончается, слышите «колоколец»? Не
послать ли за священником? — спросила
незванная и непрошенная для хождения за
больным соседка, полагавшая, что заметила
предсмертное хрипение больного.

Молодой доктор не отвечал и ей. Он не
слыхал вопроса. Он всем существом своим от-
дался созерцанию больного, был весь внима-
ние. Вдруг глаза его как-то особенно сверкну-
ли, выражение лица оживилось. Совершенно
вне себя, будто под влиянием какого-то наития,
он совершенно неожиданно воскликнул:

— Шампанского! Дайте шампанского!

Все шесть докторов переглянулись.

Через минуту молодой доктор влил в пол-
бокала принесённого шампанского немного
бобровой струи, взял ложечку этой смеси и
начал вливать её по несколько капель в рот
больного через каждые пять минут.

Доктора поняли его мысль и стали ему по-
могать.

Между тем один из казачков, по приказу

непрошеной соседки, бежал во весь дух по селу за священниками. Но в то время как священники из обеих сельских церквей с Святыми Дарами и причтом прибыли в княжеский дом, Андрей Васильевич начал приходить в себя.

— Какой кошмар... как он налёг... как давит... — проговорил он, не раскрывая глаз.

Вероятно, Андрей Васильевич находился под впечатлением тяжести медведя и, видимо, бредил, потому что вслед за этим перешёл к продолжению тех мыслей, которые его занимали прежде, чем он встретил медведя.

— Давит всех нас крепостничество, — проговорил он. — Ведь только крепостное право, развращая, может давить... Оно всех задавило, в том числе и наше родовое значение... Став крепостниками, мы перестали быть русскими князьями...

Проговорив эти слова, он светло и легко взглянул кругом. Но через секунду глаза его опять помутились, и он зажмурился. Потом он приподнялся и сказал отчётливо, будто споря с кем:

— Какой тут род, когда для того, чтобы

быть господином, нужно быть прежде лаке-
ем?

Проговорив, будто отрезав, эту фразу, Андрей Васильевич снова опустился на подушку и не то сквозь сон, не то в каком-то нравственном оцепенении проговорил опять без связи, опять как бы в бреду:

— Рабочая пчела... трутень... сословность естественная... кастрация... мысль...

Но вслед за тем он поднялся и сказал твёрдо и как бы в виде докторального вывода своих мыслей, которые перед тем его одолевали:

— Да! Нет и не может быть благословения Божия в крепостном праве, в каком бы виде это крепостное право ни существовало. Бог осенит своим покровом в роде и потомстве его, только того, кто его разрушит совсем!

После этих слов он заснул, тяжело, лихорадочно, с какими-то нервными подёргиваниями, но сон его был не летаргия, не бесчувственность, это был настоящий сон. Не прошло, однако ж, и получаса, как он опять закричал:

— Почва!.. Почва!.. Я, князь Зацепин...

Молодой доктор через небольшие проме-

жутки времени продолжал давать ему шампанское с бобровой струей.

Через час или немного более Андрей Васильевич совсем опомнился.

Он всех узнал, в глазах его обозначилось сознание. Он поблагодарил молодого доктора, видимо понимая, что сознанием своим обязан его усердию, но было заметно, что он чувствовал чрезмерную слабость, полное истощение.

Собравшись с силами, он сказал слабым голосом:

— Мне не встать, я это чувствую! Хочу умереть, как следует князю Зацепину, на своей родовой почве. Позовите ко мне Черныгина да пошлите карету за отцом архимандритом, — скажите: умираю и прошу.

Молодой доктор, ободрённый успехом придуманного им способа привести больного в себя, в то время как другие, более опытные его собратья только хлопали глазами, хотел было, в полноте увлечения, высказать ему несколько слов надежды, но Андрей Васильевич перебил его:

— Нет, доктор, моя песенка спета, мои ми-

нуты сочтены. Вот я опомнился, слава Богу! Могу умереть настоящим Зацепиным, если не умел жить им. Благодарю вас за то и не забуду в своём завещании.

Доктор огорчился и вспыхнул:

— Князь, я не с тем...

Андрей Васильевич махнул рукой.

— Молодой друг, — сказал он, — я не хотел вас обидеть. Но умирающий без прямых наследников ничем иным не может выразить своей благодарности. Пошлите же Чернягина.

Вошёл старый управляющий его дяди, человек испытанной честности и аккуратности. Князь велел ему сесть подле своей постели и просил оставить их вдвоём.

— Вот и мне умирать приходится, Чернягин, — начал говорить Андрей Васильевич, стараясь выразить привет старому и заслуженному слуге его дяди, освобождённому и награждённому за верность и добросовестность, но не оставившему своей службы как при дяде, так и племяннике. — Думали ли вы, Чернягин, что меня переживёте?

— Бог не без милости, ваше сиятельство! Будет — Его воля...

— Ну нет! За что Богу ко мне быть особо милостивым? По правде сказать, не за что! Видите, Михайло Иванович потоптал, а наш зацепинский Михайло Иванович шутить не любит. Недаром Топтыгиным прозвали.

— Ваше сиятельство, мы все без ума и без памяти, как услышали...

— Без ума быть не от чего, да и память поберечь не худо. Можно себя утешать тем, что Бог всё делает к лучшему. Хуже бы было, например, если бы я вместо медведя попал в лапы хоть к тому же Андрею Ивановичу Ушакову. Медведь только ломит, а тот и ломит, и жжёт. Ну да так или иначе умирать, всё один конец — смерть! Нужно о живых подумать. Для того я и позвал вас. Вы будете моим душеприказчиком.

— Весь всегда к услугам вашего сиятельства; как дядюшке вашему служил, так и вам...

— Благодарю и надеюсь на вас. Вы увидите, что и я вас не забыл. Вы знаете, что дядя оставил мне всё состояние. Он сделал это в надежде, что я буду содействовать возвышению нашего рода, и потому, что не имел пра-

ва отдать это состояние своей родной дочери. Он, впрочем, считал её достаточно обеспеченной и во мне был уверен, что в случае чего бы то ни было я не допущу её нуждаться в благо-разумных расходах. Я на братьев своих не на-деюсь, поэтому решил просить из всего со-стояния, доставшегося мне от отца и дяди, сделать заповедное имение, которое должно управляться порядком, мною указанным, и быть предоставлено моей двоюродной сестре княжне Настасье Андреевне Зацепиной в по-жизненное владение, с тем чтобы после её смерти оно перешло к тому из племянников, если они будут, который, по её мнению, ока-жется более достойным. Вот ключ... возьмите из правого ящика бюро бумаги. Они готовы и подписаны. Поезжайте в Петербург и от мо-его имени просите Трубецкого; с поклоном попросите, понимаете?..

— Как не понять, ваше сиятельство; будет сделано!

— Живого меня, по всей вероятности, уто-пил именно он. По крайней мере, моя ссылка устроилась, наверно, не без его участия. Но для меня, умирающего, он непременно сдела-

ет всё, особенно если будет видеть свой интерес... Потом, из капиталов, мною оставляемых, я желаю сделать выдачи... записывайте.

И он начал диктовать:

— «По давнему обычаю моих предков, на поминование моей души, Зацепинскому монастырю, церквам, бедным Зацепинского округа».

Он не забыл никого, ни самого Черныгина, ни камердинера-француза, ни повара, ни Гвозделома, ни Фёклу, ни даже служащих в доме казачков, не говорим о дворецком, ключнице и Силантьевне, которым, утвердив вольные, назначил полное обеспечение до смерти. Молодому доктору, кроме платы за время и труд наравне с другими, Андрей Васильевич, щадя его деликатность, не назначил особой выдачи, но оставил ему на память золотой несессер, подарок какой-то герцогини, вроде первой покровительницы его дяди, и его жалованье обратил в пенсию.

Продиктовав всё это, он прибавил:

— Поторопитесь же, мой друг, не жалейте денег, главное — скорей! Я чувствую, что недолго протяну!

Черныгин откланялся и через час уехал.

Андрей Васильевич потребовал к себе второго управляющего, архитектора, бурмистра, а потом и метрдотеля. С ними он занялся распоряжением как относительно начатой постройки дома, так и будущими своими похоронами и устройством себе последнего помещения в Зацепинском монастыре, в соборе Всех Святых, подле лежащих там отца его, дяди и всех Зацепиных. Похороны должны были происходить без всякой пышности, но с приличными благотворениями и исполнением служб в сорока церквях, в исполнении старинного обычая. Одним словом, он не оставил без внимания ничего, что могло относиться к последним минутам его жизни и тому порядку, который должен был выполняться до принятия имени новой владелицей. Потом, вспоминая последние минуты своего отца, он приказал раскрыть двери и допустить к себе всех, кто пожелает с ним проститься; причём приказал объявить, чтобы ему свободно высказывали свои просьбы и желания и что по возможности он постарается их удовлетворить. Желание его было ис-

полнено, но заявленные просьбы были столь незначительны, что о них не стоило и говорить. Какой-то отец просил дозволения выдать замуж свою дочь в чужую вотчину, да какой-то мужик — простить недоимку по уважению многочисленности семейства. Русские люди, несмотря на кажущуюся грубость, настолько деликатны по своей природе, что будто чутьём угадали, что просить в это время у Андрея Васильевича значило бы пользоваться слабостью, стоять над душой, поэтому и не признали удобным беспокоить умирающего. На другой день приехал архимандрит отец Ферапонт.

— Бог милости прислал, многоуважаемый князь и многолюбимый сын мой духовный, — сказал он, входя и подавая Андрею Васильевичу просфору. — Во здравие и благоденствии!..

— Благодарю, святой отец! Здоров я буду, это несомненно! Там нет ни болезней, ни воздыхания... Что же касается благоденствия, то вот моя мольба: помогите мне перейти этот путь, чтобы он привёл меня к истинному благоденствию... Я прошу вас, преподобный отец,

как предстателя за всех нас, князей Зацепиных, перед престолом Всевышнего: помогите мне сделать этот переход к вечному здоровью и спокойствию достойно моего рода, достойно имени моих предков!

— Что вы этим хотите сказать, князь? — спросил отец Ферапонт серьезно. — Перед всемогуществом Божиим нет ни князей, ни рабов. Все мы одинаково, с чистым сердцем и раскаянием в душе должны будем, по Его неисповедимому промыслу, предстать перед Ним, в надежде на Его милосердие.

Андрея Васильевича укололи эти слова. Он приподнялся немного на постели и стал говорить громче, чем говорил, видимо силясь выразить яснее свою мысль:

— Не сомневаюсь, преподобный отец мой духовный, и не кичусь перед Господом. Но одному Бог дал талант, другому — десять. Не должен ли был последний принести Господу больше в трудах своих? Прося об облегчении мне перехода в лучшую жизнь, я хотел сказать, что если я не умел жить как истинный князь Зацепин, которому был дан не один талант, то хотел бы, по крайней мере, умереть

настоящим Зацепиным, сознающим перед великим промыслом Божиим ничтожество своё, грех жизни своей...

Сказав это с усиленной энергией, Андрей Васильевич обессилел и замолчал, облокотясь на подушку. Но через минуту он продолжал слабым голосом:

— Да, в жизни своей я не умел понять того, что от меня требовал сам Бог, указывая на путь разума и добра. Я не понял своих обязанностей к земле Русской, к народу православному, возложенных на меня самим родом моим, самым именем предков моих. Я стремился к недостойному, думал возвысить себя тем, что меня бесконечно унижало. Я хотел идти по дороге, далеко прежде меня проложенной проходимцами и искателями наживы. Я забывал, что не след идти путём этим потому что Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха... И Бог наказал меня!..

Он опять замолчал, но через небольшой промежуток времени опять продолжал, как бы боясь, что не успеет всего высказать:

— Теперь, хоть перед смертью, я должен искупить этот грех перед родом моим. Хоть

перед смертью я должен встать на ту его родовую почву истинного величия в сознании грехов и ошибок своих и пасть ниц перед правосудием Всевышнего.

И вот я прибегаю к вам, мой духовный отец. Примите душевное раскаяние моё и — постригите меня! Я желаю умереть, приняв ангельский образ инока, желаю умереть в схиме праведных!..

Отец Ферапонт был поражён этими словами.

— Сын мой, подумай, что ты говоришь? Ведь за произнесением клятвы нет возврата. Это великий шаг...

— Да, святой отец, я знаю это и умоляю исполнить моё желание, позволить мне следовать примеру стольких предков моих, светлых князей дома Рюрика и Владимира Равноапостольного. Да поймут мои родичи, и если Бог сохранит имя князей Зацепиных в достойных потомках, то пусть вникнут, пусть усвоят они, что слава рода, величие имени заключаются не в интригах и крамоле, а в самоотрицании и благости... Постригите меня, святой отец, я уже отказался от всего земного!

— Но ты молод, мой сын! Божьему милосердию нет пределов, ты можешь выздороветь...

— Тогда я приму всякое послушание и буду жить для Бога! Я хотя и был знаком с Вольтером, но не стал атеистом, и верю, что премудрость Божия вразумит и научит меня... Я чувствую, что если Господу Богу угодно будет продолжить жизнь мою, то только в схиме я могу искупить свой грех и стать достойным потомком Ярослава Мудрого! — От оживления и усилий, с которыми Андрей Васильевич говорил, с ним сделались конвульсии. Доктора, обещавшие в будущем нервные припадки, переглянулись. Отец Ферапонт творил про себя молитву.

На обращённом к Неве балконе вновь воздвигнутого графом Растрелли Зимнего дворца, ещё только отделяваемого, сидели барон Александр Иванович Черкасов и Гедвига, тогда уже княжна Катерина Ивановна Биронова. Они, по приглашению великой княгини, вместе с ней и молодой, только что вышедшей замуж княгиней Дашковой, пришли по-

любоваться этим произведением гениального художника, где роскошь и великолепие должны были состязаться с художественностью и изяществом. Великая княгиня с Дашковой пошли осматривать приготавливаемую для неё и для её мужа, великого князя Петра Фёдоровича, половину, а Александр Иванович и Гедвига любовались чудным видом на другой берег Невы с Петропавловским шпилем, крепостью и зеленеющими, несмотря на осень, островами и садами.

Гедвига сидела задумчиво. Александр Иванович говорил:

— Я слишком уважаю ваши воспоминания, княжна, чтобы мог себе позволить сказать вам что-нибудь, что могло бы вас огорчить. Ваша воля для меня всё! Но я говорю не о себе, а о вас. К чему же томить себя только прошлым, когда перед вами будущее? Опять повторяю: я не о себе говорю, хотя вы знаете, что за вас я душу готов отдать. Но пусть я буду отверженный, несчастный... Себя-то за что вы губите? Пусть бы перед вами были препятствия, была бы надежда отстранить их... А то ведь ничего такого нет. Все препятствия за-

ключаются в бездушной холодности того, о ком вы думаете, и которую вы признали за ним сами. Зачем же думать только о том, что заслуживает одно ваше презрение?

— Разве можно задать себе, о чём думать, или, лучше, можно ли себя заставить о чём не думать? — спросила Гедвига.

— Нравственные силы души, княжна... — начал было говорить Александр Иванович, но Гедвига его перебила:

— Всегда склоняются перед явлениями мысли. Вы знаете анекдот? Какому-то алхимику принесли верный рецепт жизненного эликсира, рецепт вечной молодости и красоты. Ему сказали, что этот эликсир он должен сварить непременно сам, притом в течение всего времени приготовления ни разу не вспомнить белого медведя. В противном случае эликсир должен потерять свою чудодейственную силу. «Да зачем я буду вспоминать о белом медведе, когда я забыл даже о том, что белые медведи существуют?» — сказал алхимик в ответ на делаемое предостережение. И что же! Двадцать лет сряду, каждый день бедный алхимик принимался варить свой

эликсир и ни разу не мог окончить, чтобы белый медведь не пришёл ему в голову. Так он и умер, не испробовав чудных свойств этого эликсира. А казалось, так легко... Поэтому, друг мой, — я могу назвать вас этим именем, — не считайте себя ни отверженным, ни несчастным, если в этих словах вы подразумеваете сколько-нибудь меня, но... Если бы вы были отвержены мною, то разве я могла бы подчинить вам себя в такой степени, что каждая минута моей жизни, каждое движение моей мысли я приношу на ваш суд. Вы скажете: я подчиняюсь не вам, а доктору. Да, доктору; но такому доктору, которому верю, которого уважаю, которого люб... да, люблю, но только ещё не той любовью, которою полюбила... Вам неприятно это воспоминание, и я не продолжаю. Скажу только: перестанем об этом говорить. Теперь ещё не время, теперь рана ещё слишком свежа! Когда придёт это время, я и сама не знаю! Когда оно наступит, я скажу вам, как сказала когда-то и... Видите, я беспрерывно наталкиваюсь на воспоминания. Но что же делать, когда я не могу... — Она замолчала. Александр Иванович

тоже замолчал.

— Но настанет же это время? Скажи, Гедвига! Дай хоть надежду, подари хоть взгляд!

— Ах, барон, — сухо ответила Гедвига. — Я сказала уже, что теперь я не могу, что это выше сил моих! Что теперь я и сама ничего не знаю! И зачем вы зовёте меня Гедвигой? Я хочу даже забыть, что была когда-то Гедвига. Я Катерина! Если хотите, Катерина Ивановна. Это имя так хорошо! Оно мне так нравится!

И она встала, с нею встал и Александр Иванович.

— По вашему расписанию моей жизни, — взглянув на часы, проговорила Гедвига приветливо, — мне нужно гулять ещё четверть часа, потом капли и отдых.

— Да, но если вы устали...

— Нет, ничего, пройдёмте ещё по залам!

И они ушли.

В это время Андрей Васильевич исповедовался у отца Ферапонта. Он говорил о своих честолюбивых замыслах, говорил о Гедвиге, о своём чувстве к ней, которым он пренебрёг ради своих видов.

— Я разбил душу этой девушки, уничтожил её веру в людей, — говорил Андрей Васильевич. — Простит ли меня Господь?

— Милосердие Божие неисчерпаемо! — отвечал отец Ферапонт. — Молитесь!

И отец Ферапонт начал читать разрешительную молитву. Андрей Васильевич слушал и повторял за ним слова молитвы с благоговением.

После принятия Святых Тайн началось Святое соборование маслом. Обряд длился долго. Андрей Васильевич лежал неподвижно, словно в забытии. Но когда отец Ферапонт коснулся освящённым елеем его лба, он вздрогнул, открыл глаза и проговорил глухо:

— Схиму... скорее...

Отец Ферапонт пристально взглянул ему в глаза и, по своей опытности убедившись, что смерть неминуема, приступил к пострижению.

— Отрицаешься ли мира сего и всего, что есть в мире, по заповеди Господней? — спрашивал отец Ферапонт по чину пострижения.

— Да, отрицаюсь! — отвечал Андрей Васильевич.

Но стоявший подле него отец Мертий, которого Андрей Васильевич тоже просил вызвать, громко проговорил ему в ухо:

— Отвечайте: «Эй, Богу содействующу!» — так подобает по уставу.

Андрей Васильевич отчётливо повторил эти слова.

— Пребудешь ли в монастыре и постничестве даже до последнего твоего издыхания? Сохранишь ли послушание даже до смерти? Претерпишь ли скорбь и тесноту монашеского жития ради царствия небесного? Сохранишь ли себя в девстве, целомудрии и благоговении? — спрашивал отец Ферапонт.

— Эй, Богу содействующу! — отвечал Андрей Васильевич. Затем он продолжал слушать увещания и повторял за отцом Ферапонтом молитвы, представляющие заклятия от мирских страстей. Настала минута самого пострижения. Андрей Васильевич ещё имел силы подать три раза отцу Ферапонту ножницы. Наконец по третьему разу отец Ферапонт, нарекая его в схимонашестве именем Константина, в память святого мученика, предка его, Константина Всеволодовича, замученно-

го Батыем, окончил пострижение. Началось одевание нового брата в ризу правды и радования, в одежду нетления и чистоты, в кукол незлобия, в шлем упования.

Клир пел славословие и молитвы. Андрей Васильевич, или ныне уже брат Константин, молился.

Обряд кончился. Отец Ферапонт поздравил новопринятого сына с поступлением в ангельский чин и сказал:

— Блюди мысли свои, сын мой, в чистоте и святости, и Бог пошлёт тебе исцеление...

Андрей Васильевич только слабо улыбнулся. Однако ж он спросил ещё о Чернягине.

— Нет, ещё не приезжал! — отвечали ему. Но в эту минуту на двор влетела курьерская тележка. Чернягин в дорожном платье вошёл в комнату.

— Всё сделано по вашему желанию, — проговорил Чернягин. — Государыня всё изволила утвердить!

Андрей Васильевич перекрестился и закрыл глаза.

— Боже, — проговорил он едва внятно, — если Ты простишь славлюбивый, многогреш-

ный род наш и меня, окаянного, то ниспошли мне спокойную смерть...

Но, видно, Бог ещё не простил его. Смерть его была мучительна. У него начались конвульсии. Нервная боль доводила его до галлюцинаций, и тогда он не помнил себя.

В одну из таких минут общего расстройства он сказал:

— Мы выносили гнёт, чтобы иметь право угнетать самим; мы сносили пытку их терзания, чтобы иметь силу мучить и терзать других; мы были холопами, чтобы самим иметь холопов... Мы забыли, что наше достоинство — уважение и свобода, что наша гордость — уважение и любовь!.. Мы измельчали оттого, что были жадны, изолгались, потому что были развращены... Но что это? — вдруг прервал он себя, указывая в приступе галлюцинаций на пустое пространство в воздухе. — Откуда явился ты, брат трапист? Или ты принёс мне святое слово истины? Ты видишь — и я монах... Я тебе брат по обету своему... Я осознал уже, что на праве силы нет благословения Божия, когда она давит... Я осознал это!.. А ты?.. Что?.. Что?..

Memento mori!

Да, вот слово, которое равняет всех, всех делает людьми: Помни смерть!

Это были последние слова его. Он умер, как умирали его предки, — в схиме.

После его смерти Чернягин, назначенный по его распоряжению душеприказчиком, послал его братьям повестки, извещая о кончине Андрея Васильевича и прося их прибыть для выслушания его последних распоряжений и получения того, что каждому из них назначено. Такого рода повестки он послал ко всем, о ком было упомянуто в завещании. Таковую повестку получила и Гедвига. Ей на память о себе князь Андрей Васильевич оставил две картины: Иоанна Предтечу — Леонардо да Винчи и святого апостола Андрея Первозванного — Доминикино.

Известие это застало Гедвигу опять вместе с Александром Ивановичем Черкасовым, который, впрочем, от неё почти не отходил.

Взглянув на записку, Гедвига вскрикнула и залилась горькими слезами.

Испуганный Черкасов, не понимая ничего, бросился к ней, чтобы поддержать её, утешить, узнать... Но, взглянув на записку, которая выпала у неё из рук, замолчал. Он чувствовал, что тут всякое слово будет лишним.

И точно. Не прошло десяти минут горьких слёз, она встала, помолилась перед образом и подошла к Черкасову.

— Теперь — да! — сказала Гедвига, подавая ему свою руку. — В мыслях своих я давно его оплакала, а в вашем чувстве я надеюсь найти своё счастье!

Александр Иванович страстно припал к её руке, прижимая её к своим губам. И у него на глазах были слёзы.

— Желала бы я знать только, какое было его последнее слово перед смертью? — спросила Гедвига, когда волнение её несколько успокоилось...

Бог знает, что она думала, спрашивая это; не думала ли она, что его последние минуты были посвящены ей?

Через неделю, когда подробности смерти

Андрея Васильевича стали известны, ей сказали, что его последние слова были: Помни смерть![14]

Примечания

Название *кучера* хотя и употреблялось в 1740 году, но было далеко не во всеобщем употреблении. Употребление слова лакей, заимствованное от французов, как выдумали парижанки называть сопровождающих себя людей, в России распространилось только с последней четверти прошлого века. Всего прежде в России вошло в употребление слово *форейтор*; их начали так называть с введением крытых больших колымаг, стало быть, ещё при царях Рюриковичах, прежде лихолетья, во всяком случае не позже первого самозванца.

[^^^]

2

Дом графа Протасова-Бахметьева.

[^^^]

Марья Андреевна Румянцева была дочерью графа Андрея Артамоновича Матвеева, сына боярина Артамона Сергеевича Матвеева, убитого стрельцами в 1682 году, и Анны Степановны Аничковой, родной сестры стольника Михаила Степановича, которому и принадлежала Аничкова усадьба, купленная впоследствии государыней для графа Разумовского. Марья Андреевна была женщина европейски образованная, знала иностранные языки и весьма приятная. Говорят, что ещё девицей она сблизилась с Петром Великим, который и выдал её замуж за своего любимого денщика Румянцева, бывшего впоследствии нашим послом в Турции и фельдмаршалом. Она любила светскую жизнь и имела значительное влияние на политические кружки своего времени; жила долго — до 90 лет. Граф Сеггор упоминает о ней в своих записках.

[^^^]

Дом г. Глазунова.

[^^^]

5

Дом голландской церкви.

[^^^]

6

БЫВШИЙ дом г. Коссиковского, затем г. Елисеева.

[^^^]

Николаевский и Александровский сиротские институты и училище глухонемых.

[^^^]

С. М. Соловьёв в истории царствования Елизаветы Петровны, исчисляя пожалованные вступившей на престол императрицей вознаграждения пострадавшим от тиранства Бирона, обозначает Шубина прапорщиком Семёновского, а не Преображенского полка, ссылаясь на журналы Сената. У автора имелись в руках данные, которые указывали на Шубина как на преображенца. Подлинных же журналов Сената автор не имел случая видеть, потому он и оставил за Шубиным произведение в Преображенский, а не Семёновский полк, хотя Миних, будучи фельдмаршалом и президентом Военной коллегии, по тогдашнему положению мог из сержантов произвести в прапорщики как в тот, так и в другой полк, но, числясь подполковником Преображенского полка и управляя им как ближайший начальник, был ближе к Преображенскому, чем к Семёновскому полку, которым заведовал Ушаков.

Парасковья Ивановна была в тайном браке за генерал-аншефом графом Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым. Автор извиняется в романической вольности, что соединил её с вымышленным лицом князя Зацепина.

[^^^]

Князь Иван Фёдорович Ромодановский, носивший титул князя-кесаря, сын князя-кесаря Фёдора Юрьевича, знаменитого сподвижника Петра и начальника Преображенского приказа, был женат на Настасье Фёдоровне Салтыковой, родной сестре царицы Парасковьи Фёдоровны, урождённой Салтыковой, бывшей замужем за царём Иваном Алексеевичем — родным дедом принцессы Анны Леопольдовны. Граф Михаил Гаврилович Головкин был женат на единственной дочери князя Ивана Фёдоровича, княжне Екатерине Ивановне Ромодановской, приходившейся, таким образом, Анне Леопольдовне двоюродной тёткой.

[^^^]

Говорят, что поверье это оправдалось в дни первой французской революции, когда граф Лозен был обезглавлен именно своим кучером, поступившим в помощники палача.

[^^^]

В изданных в 1871 году г. Кашпиревым памятниках русской новой истории есть статья Г. Петрова о Шубине, в которой он, неизвестно на каком основании, называет его Алексеем Яковлевичем. Автор имел в руках несколько документов, удостоверяющих, что Шубина звали Алексей Никифорович.

[^^^]

Последний приём такого рода городами потомков своих бывших удельных князей, с отдаением им царских почестей, происходил в царствование императрицы Екатерины, когда город Ростов подобным образом принимал посланного туда по высочайшему повелению князя Лобанова-Ростовского. Екатериной II позже сделано было общее распоряжение, по коему все подобные поставленные в договорах с московскими великими князьями условия отменялись.

[^^^]

Читатели, интересующиеся дальнейшей судьбой главных лиц этого романа, могут узнать о том из другого романа того же автора под заглавием «Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы», который в скором времени выйдет новым изданием.

[^^^]